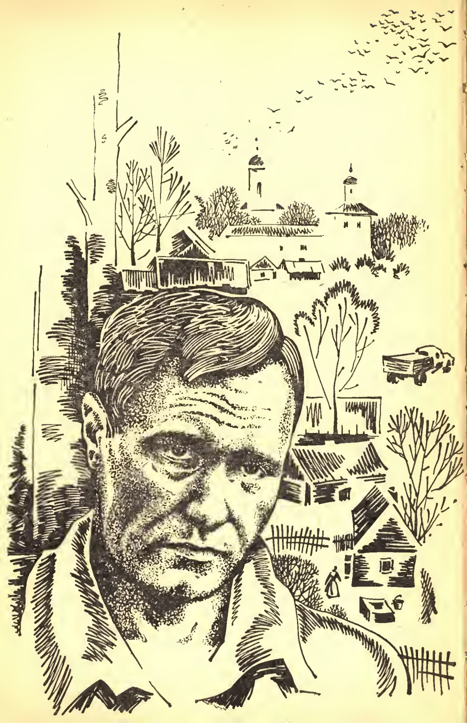
ВАСИЛИЙ ШУКШИН

ИЗБРАННОЕ



ВАСИЛИЙ ШУКШИН

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

РАССКАЗЫ

ЛЮБАВИНЫ

СТАВРОПОЛЬСКОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1978

Р2
Ш95

ХУДОЖНИК
Н. Д. БУДНИКОВ

Ш $\frac{70302-37-78}{М159(03)-78}$ 37—78

РАССКАЗЫ

СЕЛЬСКИЕ ЖИТЕЛИ

«А что, мама? Тряхни стариной — приезжай. Москву поглядишь и вообще. Денег на дорогу вышлю. Только добирайся лучше самолетом — это дешевле станет. И пошли сразу телеграмму, чтобы я знал, когда встречать. Главное, не трусь».

Бабка Маланья прочитала это, сложила сухие губы трубочкой, задумалась.

— Зовет Павел-то к себе,— сказала она Шурке и поглядела на него поверх очков. (Шурка — внук бабки Маланьи, сын ее дочери. У дочери не клеилась личная жизнь (третий раз вышла замуж), бабка уговорила ее отдать ей пока Шурку. Она любила внука, но держала его в строгости.)

Шурка делал уроки за столом. На слова бабки пожал плечами — поезжай, раз зовет.

— У тебя когда каникулы-то? — спросила бабка строго. Шурка навострил уши.

— Какие? Зимние?

— Какие же еще, летние, что ль?

— С первого января. А что?

Бабка опять сделала губы трубочкой — задумалась.

А у Шурки тревожно и радостно сжалось сердце.

— А что? — еще раз спросил он.

— Ничего. Учи знай.— Бабка спрятала письмо в карман передника, оделась и вышла из избы.

Шурка подбежал к окну — посмотреть, куда она направилась.

У ворот бабка Маланья повстречала соседку и стала громко рассказывать:

— Зовет Павел-то в Москву погостить. Прямо не знаю, что делать. Прямо ума не приложу. «Приезжай,— говорит,— мама, шибко я по тебе соскучился».

Соседка что-то отвечала. Шурка не слышал, что, а бабка ей громко:

— Оно, знамо дело, можно бы. Внучат ни разу не видела еще, только по карточке. Да шибко уж страшно...

Около них остановились еще две бабы, потом еще одна подошла, потом еще... Скоро вокруг бабки Маланьи собралось изрядно народа, и она снова и снова начинала рассказывать:

— Зовет Павел-то к себе, в Москву. Прямо не знаю, что делать...

Видно было, что все ей советуют ехать.

Шурка сунул руки в карманы и стал ходить по избе. Выражение его лица было мечтательным и тоже задумчивым, как у бабки. Он вообще очень походил на бабку — такой же сухощавый, скуластенький, с такими же маленькими умными глазами. Но характеры у них были вовсе несхожие. Бабка — энергичная, жилистая, крикливая, очень любознательная. Шурка тоже любознательный, но застенчивый до глупости, скромный и обидчивый.

Вечером составляли телеграмму в Москву. Шурка писал, бабка диктовала.

— Дорогой сынок Паша, если уж ты хочешь, чтобы я приехала, то я, конечно, могу, хотя мне на старости лет...

— Привет! — сказал Шурка.— Кто же так телеграммы пишет?

— А как надо, по-твоему?

— Приедем. Точка. Или так: приедем после Нового года. Точка. Подпись: мама. Все.

Бабка даже обиделась.

— В шестой класс ходишь, Шурка, а понятия никакого. Надо же умнеть помаленьку!

Шурка тоже обиделся.

— Пожалуйста,— сказал он.— Мы так, знаешь, на сколько напишем? Рублей на двадцать по старым деньгам.

Бабка сделала губы трубочкой, подумала.

— Ну, пиши так: сынок, я тут посоветовалась кое с кем...

Шурка отложил ручку.

— Я не могу так. Кому это интересно, что ты тут посоветовалась кое с кем? Нас на почте на смех поднимут.

— Пиши, как тебе говорят! — приказала бабка.— Что я, для сына двадцать рублей пожалею?

Шурка взял ручку и, снисходительно сморщившись, склонился к бумаге.

— Дорогой сынок Паша, поговорила я тут с соседями — все советуют ехать. Конечно, мне на старости лет боязно маленько...

— На почте все равно переделают,— вставил Шурка.

— Пусть только попробуют!

— Ты и знать не будешь.

— Пиши дальше: мне, конечно, боязно маленько, но уж... ладно. Приедем после Нового года. Точка. С Шуркой. Он уж теперь большой стал. Ничего, послушный парень...

Шурка пропустил эти слова — насчет того, что он стал большой и послушный.

— Мне с ним не так боязно будет. Пока до свиданья, сынок. Я сама об вас шибко...

Шурка написал: «жутко».

— ...соскучилась. Ребятишек твоих хоть посмотрю. Точка. Мама.

— Посчитаем,— злорадно сказал Шурка и стал тыкать пером в слова и считать шепотом: — Раз, два, три, четыре...

Бабка стояла за его спиной, ждала.

— Пятьдесят восемь, пятьдесят девять, шестьдесят! Так? Множим шестьдесят на тридцать — одна тыща восемьсот? Так? Делим на сто — имеем восемнадцать... На двадцать с чем-то рублей! — торжественно объявил Шурка.

Бабка забрала телеграмму и спрятала в карман.

— Сама на почту пойду. Ты тут насчитаешь, грамотей.

— Пожалуйста. То же самое будет. Может, на копейки какие-нибудь ошибся.

...Часов в одиннадцать к ним пришел Егор Лизунов, сосед, школьный завхоз. Бабка просила его домашних, чтобы, когда он вернется с работы, зашел к ней. Егор много ездил на своем веку, летал на самолетах.

Егор снял полушубок, шапку, пригладил заскорузлыми ладонями седеющие потные волосы, сел к столу. В горнице запахло сеном и сбруей.

— Значит, лететь хотите?

Бабка слазила под пол, достала четверть с медовухой.

— Лететь, Егор. Расскажи все по порядку — как и что.

— Так чего тут рассказывать-то? — Егор не жадно, а как-то даже немножко снисходительно смотрел, как бабка наливает пиво.— Доедете до города, там сядете на Бийск — Томск, доедете на нем до Новосибирска, а там спросите, где городская воздушная касса. А можно сразу до аэропорта ехать...

— Ты погоди! Заладил: можно, можно. Ты говори, как надо, а не как можно. Да помедленней. А то свалил все в кучу.— Бабка подставила Егору стакан с пивом, строго посмотрела на него.

Егор потрогал стакан пальцами, погладил.

— Ну, доедете, значит, до Новосибирска и сразу спрашивайте, как добраться до аэропорта. Запоминай, Шурка.

— Записывай, Шурка,— велела бабка.

Шурка вырвал из тетрадки чистый лист и стал записывать.

— Доедете до Толмачева, там опять спросите, где продают билеты до Москвы. Возьмете билеты, сядете на Ту-104 и через пять часов в Москве будете, в столице нашей Родины.

Бабка, подперев голову сухим маленьким кулачком, горестно слушала Егора. Чем больше тот говорил и чем проще представлялась ему самому эта поездка, тем озабоченнее становилось ее лицо.

— В Свердловске, правда, сделаете посадку...

— Зачем?

— Надо. Там нас не спрашивают. Сажают, и все.— Егор решил, что теперь можно и выпить.— Ну?.. За легкую дорогу!

— Держи. Нам в Свердловске-то надо самим попроситься, чтоб посадили, или там всех сажают?

Егор выпил, смачно крякнул, разгладил усы.

— Всех. Хорошее у тебя пиво, Маланья Васильевна. Как ты его делаешь? Научила бы мою бабу...

Бабка налила ему еще один стакан.

— Когда скупиться перестанете, тогда и пиво хорошее будет.

— Как это? — не понял Егор.

— Сахару побольше кладите. А то ведь вы все подешевле да посердитей стараетесь. Сахару больше кладите

в хмелину-то, вот и будет пиво. А на табаке его настаивать — это стыдоба.

— Да,— задумчиво сказал Егор. Поднял стакан, поглядел на бабку, на Шурку, выпил.— Да-а,— еще раз сказал он.— Так-то оно так, конечно. Но в Новосибирске когда будете, смотрите не оплошайте.

— А что?

— Да так... Все может быть.— Егор достал кисет, закурил, выпустил из-под усов громадное белое облако дыма.— Главное, конечно, когда приедете в Толмачево, не спутайте кассы. А то во Владивосток тоже можно улететь.

Бабка встревожилась и подставила Егору третий стакан.

Егор сразу его выпил, крякнул и стал развивать свою мысль:

— Бывает так, что подходит человек к восточной кассе и говорит: «Мне билет». А куда билет — это он не спросит. Ну и летит человек совсем в другую сторону. Так что смотрите.

Бабка налила Егору четвертый стакан. Егор совсем размяк. Говорил с удовольствием:

— На самолете лететь — это надо нервы да нервы! Вот он поднимается — тебе сразу конфетку дают...

— Конфетку?

— А как же. Мол, забудься, не обращай внимания... А на самом деле это самый опасный момент. Или тебе, допустим, говорят: «Привяжись ремнями».—«Зачем?»— «Так положено».—«Хэх... положено. Скажи прямо: можем навернуться, и все. А то — положено».

— Господи, господи! — сказала бабка.— Так зачем же и лететь-то на нем, если так...

— Ну, волков бояться — в лес не ходить.— Егор посмотрел на четверть с пивом.— Вообще реактивные, они, конечно, надежнее. Пропеллерный, тот может в любой момент сломаться — и пожалуйста... Потом: горят они часто, эти моторы. Я один раз летел из Владивостока...— Егор поудобнее устроился на стуле, закурил новую, опять посмотрел на четверть. Бабка не пошевелилась.— Летим, значит, я смотрю в окно: горит...

— Свят, свят! — сказала бабка.

Шурка даже рот приоткрыл — слушал.

— Да. Ну, я, конечно, закричал. Прибежал летчик... Ну, в общем, ничего — отматерил меня. Чего ты, говорит,

панику поднимаешь? Там горит, а ты не волнуйся, сиди... Такие порядки в этой авиации.

Шурке показалось это неправдоподобным. Он ждал, что летчик, увидев пламя, будет сбивать его скоростью или сделает вынужденную посадку, а вместо этого он отругал Егора. Странно.

— Я одного не понимаю,— продолжал Егор, обращаясь к Шурке,— почему пассажирам парашютов не дают?

Шурка пожал плечами. Он не знал, что пассажирам не даются парашюты. Это, конечно, странно, если это так.

Егор ткнул папироску в цветочный горшок, привстал, налил сам из четверти.

— Ну и пиво у тебя, Маланья!

— Ты шибко-то не налегай — захмелеешь.

— Пиво, просто...— Егор покачал головой и выпил.— Кху! Но реактивные, те тоже опасные. Тот, если что сломалось, топором летит вниз. Тут уж сразу... И костей потом не соберут. Триста грамм от человека остается. Вместе с одеждой.— Егор нахмурился и внимательно посмотрел на четверть. Бабка взяла ее и унесла в прихожую комнату. Егор посидел еще немного и встал. Его слегка качнуло.

— А вообще-то не бойтесь! — громко сказал он.— Садитесь только подальше от кабины — в хвост — и летите. Ну, пойду...

Он грузно прошел к двери, надел полушубок, шапку.

— Поклон Павлу Сергеевичу передавайте. Ну, пиво у тебя, Маланья! Просто...

Бабка была недовольна, что Егор так скоро захмелел — не поговорили толком.

— Слабый ты какой-то стал, Егор.

— Устал, поэтому.— Егор снял с воротника полушубка соломинку.— Говорил нашим деятелям: давайте вывезем летом сено — нет! А сейчас, после этого бурана, дороги все позанесло. Весь день сегодня пластались, насилу к ближним стогам пробились. Да еще пиво у тебя такое...— Егор покачал головой, засмеялся.— Ну, пошел. Ничего, не робейте — летите. Садитесь только подальше от кабины. До свиданья.

— До свиданья,— сказал Шурка.

Егор вышел; слышно было, как он осторожно спустился с высокого крыльца, прошел по двору, скрипнул калиткой и на улице негромко запел:

Раскинулось море широко...

И замолчал.

Бабка задумчиво и горестно смотрела в темное окно. Шурка перечитывал то, что записал за Егором.

— Страшно, Шурка,— сказала бабка.

— Летают же люди...

— Поедем лучше на поезде?

— На поезде — это как раз все мои каникулы на дорогу уйдут.

— Господи, господи! — вздохнула бабка.— Давай писать Павлу. А телеграмму анулироваем.

Шурка вырвал из тетрадки еще один лист.

— Значит, не полетим?..

— Куда же лететь — страсть такая, батюшки мои! Соберут потом триста грамм...

Шурка задумался.

— Пиши: дорогой сынок Паша, посоветовалась я тут со знающими людями...

Шурка склонился к бумаге.

— Порассказали они нам, как летают на этих самолетах... И мы с Шуркой решили так: поедем уж летом на поезде. Оно, знамо, можно бы и теперь, но у Шурки шибко короткие каникулы получаются...

Шурка секунду-две помешкал и продолжал писать:

«А теперь, дядя Паша, это я пишу, от себя. Бабоньку напугал дядя Егор Лизунов, завхоз наш, если вы помните. Он, например, привел такой факт: он выглянул в окно и видит, что мотор горит. Если бы это было так, то летчик стал бы сшибать пламя скоростью, как это обычно делается. Я предполагаю, что он увидел пламя из выхлопной трубы и поднял панику. Вы, пожалуйста, напишите бабоньке, что это нестрашно, но про меня — что это я вам написал — не пишите. А то и летом она тоже не поедет. Тут огород пойдет, свиннота разная, куры, гуси — она сроду от них не уедет. Мы же все-таки сельские жители еще. А мне ужасно охота Москву поглядеть. Мы ее проходим в школе по географии и по истории, но это, сами понимаете, не то. А еще дядя Егор сказал, например, что пассажирам не даются парашюты. Это уже шантаж. Но бабонька верит. Пожалуйста, дядя Паша, пристыдите ее. Она же вас ужасно любит. Так вот вы ей и скажите: как же это так, мама, сын у вас сам летчик, Герой Советского Союза, много раз награжденный, а вы боитесь летать на каком-то несчастном гражданском самолете! В то время, когда мы уже преодолели звуковой

барьер. Напишите так, она вмиг полетит. Она же очень гордится вами. Конечно — заслуженно. Я лично тоже горжусь. Но мне ужасно охота глянуть на Москву. Ну, пока до сьиданья. С приветом — Александр».

А бабка между тем диктовала:

— ...Поближе туда к осени поедем. Там и грибки пойдут, солонинки какой-нибудь можно успеть приготовить, варенья сварить облепишного. В Москве-то ведь все с купли. Да и не сделают они так, как я по-домашнему сделаю. Вот так, сынок. Поклон жене своей и ребятишкам от меня и от Шурки. Все пока. Записал?

— Записал.

Бабка взяла лист, вложила в конверт и сама написала адрес:

«Москва, Ленинский проспект, д. 78, кв. 156.

Герою Советского Союза Любавину Павлу Игнатьевичу.

От матери его из Сибири».

Адрес она всегда подписывала сама: знала, что так дойдет вернее.

— Вот так. Не тоскуй, Шурка. Летом поедем.

— А я и не тоскую. Но ты все-таки помаленьку собирайся: возьмешь да надумаешь лететь.

Бабка посмотрела на внука и ничего не сказала.

Ночью Шурка слышал, как она ворочалась на печи, тихонько вздыхала и шептала что-то.

Шурка тоже не спал. Думал. Много необыкновенного сулила жизнь в ближайшем будущем. О таком даже не мечталось никогда.

— Шурк! — позвала бабка.

— А?

— Павла-то, наверно, в Кремль пускают?

— Наверно. А что?

— Побывать бы хоть разок там... посмотреть.

— Туда сейчас всех пускают.

Бабка некоторое время молчала.

— Так и пустили всех,— недоверчиво сказала она.

— Нам Николай Васильевич рассказывал.

Еще с минуту молчали.

— Но ты тоже, бабонька: где там смелая, а тут испугалась чего-то,— сказал Шурка недовольно.— Чего ты испугалась-то?

— Спи знай,— приказала бабка.— Храбрец. Сам первый в штаны наложишь.

— Спорим, что не испугаюсь?

— Спи знай. А то завтра в школу опять не добудишься.

Шурка затих.

1962

ОДНИ

Шорник Антип Калачиков уважал в людях душевную чуткость и доброту. В минуты хорошего настроения, когда в доме устанавливался относительный мир, Антип ласково говорил жене:

— Ты, Марфа, хоть и крупная баба, а бестолковенькая.

— Эт почему же?

— А потому... Тебе что требуется? Чтобы я день и ночь только шил и шил? А у меня тоже душа есть. Ей тоже попрыгать, побаловаться охота, душе-то.

— Плевать мне на твою душу.

— Эх-х...

— Чего «эх»? Чего «эх»?

— Так... Вспомнил твоего папашу-кулака, царство ему небесное.

Марфа, грозная большая Марфа, подбоченившись, строго смотрела сверху на Антипа. Сухой маленький Антип стойко выдерживал ее взгляд.

— Ты папашу моего не трожь... Понял?

— Ага, понял,— кротко отвечал Антип.

— То-то.

— Шибко уж ты строгая, Марфонька. Нельзя так, милая: надсадишь сердечушко свое и помрешь.

Марфа за сорок лет совместной жизни с Антипом так и не научилась понимать: когда он говорит серьезно, а когда шутит.

— Вопчем, шей.

— Шью, матушка, шью.

В доме Калачиковых жил неистребимый крепкий запах выделанной кожи, вара и дегтя. Дом был большой, светлый. Когда-то он оглашался детским смехом, потом, позже, бывали здесь и свадьбы, бывали и скорбные ночные часы нехорошей тишины, когда зеркало завешивали и слабый свет восковой свечи — бледный и немощный — чуть-чуть высвечивает глубокую тайну смерти. Много всякого было. Антип Калачиков со своей могучей поло-

виной вывел к жизни двенадцать человек детей. А всего у них было восемнадцать.

Облик дома менялся с годами, но всегда неизменным оставался рабочий уголок Антипа — справа от печки, за перегородкой. Там Антип шил сбруи, уздечки, седелки, делал хомуты. И там же, на стене, висела его заветная балалайка. Это была страсть Антипа, это была его бессловесная глубокая любовь всей жизни — балалайка. Антип мог часами играть на ней, склонив набочок голову,— и непонятно было: то ли она ему рассказывает что-то очень дорогое, давно забытое им, то ли он передает ей свои неторопливые стариковские думы. Он мог сидеть так целый день, и сидел бы, если бы не бдительная Марфа. Марфе действительно нужно было, чтобы он целыми днями только шил и шил: страсть как любила деньги, тряслась над копейкой. Она всю жизнь воевала с Антиповой балалайкой. Один раз дошло до того, что она в гневе кинула ее в огонь, в печку. Побледневший Антип стоял и смотрел, как она горит. Балалайка вспыхнула сразу, точно берестинка. Ее стало коробить... Трижды простонала она почти человеческим стоном — лопнули струны — и умерла. Антип пошел во двор, взял топор и изрубил на мелкие кусочки все заготовки хомутов, все сбруи, седла и уздечки. Рубил молча, аккуратно. На скамейке. Перетрусившая Марфа не сказала ни слова. После этого Антип пил неделю, не заявляясь домой. Потом пришел, повесил на стену новую балалайку и сел за работу. Больше Марфа никогда не касалась балалайки. Но за Антипом следила внимательно: не засиживалась у соседей подолгу, вообще старалась не отлучаться из дома. Знала: только она за порог, Антип снимает балалайку и играет — не работает.

Как-то раз, осенним вечером, сидели они — Антип в своем уголке, Марфа — у стола с вязаньем.

Молчали.

На дворе слякотно, дождик идет. В доме тепло и уютно. Антип молоточком заколачивает в хомут медные гвоздочки: тук-тук, тук-тук, тук-тук-тук...

Отложила Марфа вязанье, о чем-то задумалась, глядя в окно. Тук-тук, тук-тук — постукивает Антип. И еще тикают ходики, причем как-то так, что кажется, что они вот-вот остановятся. А они не останавливаются.

В окна мягко и глуховато сыплет горстями дождь.

— Чего пригорюнилась, Марфонька? — спросил Антип.— Все думаешь, как деньжат побольше скопить?

Марфа молчит, смотрит задумчиво в окно. Антип глянул на нее.

— Помирать скоро будем, так что думай не думай. Думай не думай — сто рублей не деньги.— Антип любил поговорить, когда работал.— Я вот всю жизнь думал и выдумал себе геморрой. Работал! А спроси: чего хорошего видел? Да ничего. Люди хоть сражались, восстания разные поднимали, в гражданской участвовали, в Отечественной... Хоть уж погибали, так героически. А тут как сел с тринадцати годков, так и сижу — скоро семисит будет. Вот какой терпеливый! Теперь: за что я, спрашивается, работал? Насчет денег никогда не жадничал, мне наплевать на них. В большие люди тоже не вышел. И специальность моя скоро отойдет даже: не нужны будут шорники. Для чего же, спрашивается, мне жизнь была дадена?

— Для детей,— серьезно сказала Марфа.

Антип не ждал, что она поддержит разговор. Обычно она обрывала его болтовню каким-нибудь обидным замечанием.

— Для детей? — Антип оживился.— С одной стороны, правильно, конечно, а с другой — нет, неправильно.

— С какой стороны неправильно?

— С той, что не только для детей надо жить. Надо и самим для себя немножко.

— А чего бы ты для себя-то делал?

Антип не сразу нашелся, что ответить на это.

— Как это «чего»? Нашел бы чего... Я, может, в музыканты бы двинул. Приезжал ведь тогда человек из города, говорил, что я самородок. А самородок — это кусок золота — редкость, я так понимаю. Сейчас я кто? Обыкновенный шорник, а был бы, может...

— Перестань уж!..— Марфа махнула рукой.— Завел — противно слушать.

— Значит, не понимаешь,— вздохнул Антип.

Некоторое время молчали. Марфа вдруг всплакнула... Вытерла платочком слезы и сказала:

— Разлетелись наши детушки по всему белому свету.

— Что же им, около тебя сидеть всю жизнь? — заметил Антип.

— Хватит стучать-то! — сказала вдруг Марфа.— Давай посидим, поговорим про детей.

Антип усмехнулся, отложил молоток.

— Сдаешь, Марфа,— весело сказал он.— А хочешь, я тебе сыграю, развею тоску твою.

— Сыграй,— разрешила Марфа.

Антип вымыл руки, лицо, причесался...

— Дай новую рубашенцию.

Марфа достала из ящика новую рубаху. Антип надел ее, подпоясался ремешком. Снял со стены балалайку, сел в красный угол, посмотрел на Марфу...

— Начинаем наш концерт!

— Ты не трепись только,— посоветовала Марфа.

— Сейчас вспомним всю нашу молодость,— хвастливо сказал Антип, настраивая балалайку.— Помнишь, как тогда на лужках хороводы водили?

— Помню, чего ж мне не помнить. Я как-нибудь помоложе тебя.

— На сколько? На три недели с гаком?

— Не на три недели, а на два года. Я тогда еще совсем молоденькая была, а ты уж выкобенивался.

Антип миролюбиво засмеялся.

— Я мировой все-таки парень был! Помнишь, как ты за мной приударяла?

— Кто? Я, что ли? Господи!.. А на кого это тятя-покойничек кобелей спускал? Штанину-то кто у нас в ограде оставил?

— Штанина, допустим, была моя...— Антип подкрутил последний колочек, склонил маленькую голову на плечо, ударил по струнам... Заиграл. И в теплую пустоту и сумрак избы полилась тихая светлая музыка далеких дней молодости. И припомнились другие вечера, и хорошо и грустно сделалось, и подумалось о чем-то главном в жизни, но так, что не скажешь, что же есть это главное.

Не шей ты мне ма-минька,
Красный сарафа-ан,—

запел тихонечко Антип и кивнул Марфе. Та поддержала:

Не входи, родимая,
Попусту в изъян...

Пели не так чтобы очень уж стройно, но обоим сделалось удивительно хорошо. Вставали в глазах забытые

картины. То степь открывалась за родным селом, то берег реки, то шепотливая тополиная рощица припоминалась, темная и немножко жуткая... И было что-то сладко волнующее во всем этом. Не стало осени, одиночества, не стало денег, хомутов...

Потом Антип заиграл веселую. И пошел по избе мелким бесом, игриво виляя костлявыми бедрами.

Ох, там, ри-та-там,
Ритатушеньки мои,
Походите, погуляйте,
По-ба-луй-тися!

Антип был трогательно смешон в своем веселье. Он стал подпрыгивать... Марфа засмеялась, потом всплакнула, но тут же вытерла слезы и опять засмеялась.

— Хоть бы уж не выдрючивался, господи!.. Ведь смотреть не на что, а туда же.

Антип сиял. Маленькие умные глазки его светились озорным блеском.

Ох, Марфа моя, ох, Марфынька,
Укоряешь ты меня за напраслинку!

— А помнишь, Антип, как ты меня в город на ярманку возил?

Антип кивнул головой.

Ох, помню, моя,
Помню, Марфынька,
Ох, хаханечки-ха-ха,
Чечевика с викою!

— Дурак же ты, Антип,— ласково сказала Марфа.— Плетешь черт те чего.

Ох, Марфушечка моя,—
Радость всенародная...

Марфа так и покатилась.

— Ну, не дурак ли ты, Антип!

Ох, там, ри-та-там,
Ритатушеньки мои!

— Сядь, споем какую-нибудь,— сказала Марфа, вытирая слезы.

Антип слегка запыхался... Улыбаясь, смотрел на Марфу.

— А? А ты говоришь: Антип у тебя плохой!

— Не плохой, а придурковатый,— поправила Марфа.

— Значит, не понимаешь,— сказал Антип, нисколько не обидевшись за такое уточнение. Сел.— Мы могли бы с тобой знаешь как прожить! Душа в душу. Но тебя замучили окаянные деньги. Не сердись, конечно.

— Не деньги меня замучили, а нету их — вот что мучает-то.

— Хватило бы... брось, пожалуйста. Но не будем. Какую желаете, мадемуазель фрау?

— Про Володю-молодца.

— Она тяжелая, ну ее!

— Ничего. Я поплачу хоть маленько.

Ох, не вейти-ися чайки над морем,—

запел Антип,—

Вам некуда, бедненьким, сесть.
Слетайте в Сибирь, в край далекий,
Снесите печальну-я весть.

Антип пел задушевно, задумчиво. Точно рассказывал.

Ох, в двенадцать часов темной но-очий
Убили Володю — молодца-а;
Наутро отец с младшим сыном...

Марфа захлюпала.

— Антип, а Антип!.. Прости ты меня, если я чем-нибудь тебя обижаю,— проговорила она сквозь слезы.

— Ерунда,— сказал Антип.— Ты меня тоже прости, если я виноватый.

— Играть тебе не даю...

— Ерунда,— опять сказал Антип.— Мне дай волю — я день и ночь согласен играть. Так тоже нельзя. Я понимаю.

— Хочешь, читушечку тебе возьмем?

— Можно,— согласился Антип.

Марфа вытерла слезы, встала.

— Иди пока в магазин, а я ужин соберу.

Антип надел брезент и стоял посреди избы, ждал, когда Марфа достанет из глубины огромного сундука, изпод тряпья разного, деньги. Стоял и смотрел на ее широкую спину.

— Вот еще какое дело,— небрежно начал он,— она уж старенькая стала... надо бы новую. А в магазин вчера только привезли. Хорошие! Давай — заодно куплю.

— Кого?

Марфина спина перестала двигаться.

— Балалайку-то.

Марфа опять задвигалась... Достала деньги, села на сундук и стала медленно и трудно отсчитывать. Шевелила губами и хмурилась.

— Она же у тебя играет еще,— сказала она.

— Там треснула досочка одна... дребезжит.

— А ты заклей. Возьми да варом аккуратненько...

— Разве можно инструмент варом? Ты что, бог с тобой!

Марфа замолчала. Снова стала считать деньги. Вид у нее был строгий и озабоченный.

— На.— Она протянула Антипу деньги. В глаза ему не смотрела.

— На четвертинку только? — У Антипа отвисла нижняя губа.— Да-а.

— Ничего, она еще у тебя поиграет. Вон как хорошо сегодня играла!

— Эх, Марфа!..— Антип тяжело вздохнул.

— Что «эх»? Что «эх»?

— Так... проехало.— Антип повернулся и пошел к двери.

— А сколько она стоит-то? — спросила вдруг Марфа сурово.

— Да она стоит-то копейки!— Антип остановился у порога.— Рублей шесть по новым ценам.

— На.— Марфа сердито протянула ему шесть рублей.

Антип подошел к жене скорым шагом, взял деньги и молча вышел: разговаривать или медлить было опасно — Марфа легко могла раздумать.

1963

И РАЗЫГРАЛИСЬ ЖЕ КОНИ В ПОЛЕ

И разыгрались же кони в поле,
Поископытили всю зарю.
Что они делают?
Чью они долю
Мыкают по полю?
Уж не мою ль?
Тихо в поле.
Устали кони...
Тихо в поле —
Зови не зови.
В сонном озере, как в иконе,—
Красный оклад зари.

Минька учился в Москве на артиста.

Было начало лета. Сдали экзамен по мастерству.

Минька шел в общежитие, перебирал в памяти сегодняшний день. Показался он хорошо, даже отлично. На душе было легко. Мерещилась черт знает какая судьба — красивая. Силу он в себе чуял большую.

«Прочитаю за лето двадцать книг по искусству,— думал он,— измордую классиков, напишу для себя пьесу из колхозной жизни — вот тогда поглядим».

В общежитии его ждал отец, Кондрат Лютаев.

Кондрат ездил на курорт и по пути завернул к сыну. И теперь сидел на его кровати — большой, загоревший, в бостоновом костюме,— ждал. От нечего делать смотрел какой-то иностранный журнал с картинками. Слюнявил губой толстый прокуренный палец и перелистывал гладкие тоненькие страницы. Когда попадались голые женщины, он внимательно разглядывал их, поднимал массивную голову и смотрел на одного из Минькиных товарищей, который лежал на своей кровати и читал. Подолгу смотрел, пристально. Глаза у Кондрата неожиданно голубые — как будто не с этого лица. Он точно хотел спросить что-то, но не спрашивал. Опять слюнявил палец и осторожно переворачивал страницу.

Кондрат Лютаев лет семь уж был председателем большущего колхоза в степном Алтае. Дело поставил крепко, его хвалили, чем Кондрат в душе сильно гордился. В прошлом году, когда Минька, окончив десятилетку, ни с того ни с сего заявил, что едет учиться на артиста, они поругались. Кондрат не понял сына, хотя честно пытался понять. «Да ты спроси у меня-а! — орал тогда Кондрат и стучал себя в грудь огромным, как чайник,

кулаком.— Ты у меня спроси: я их видел-перевидел, этих артистов! Они к нам на фронте каждую неделю приезжали. Все алкоголики! Даже бабы. И трепачи». Минька уперся на своем, и они разошлись.

Минька удивился, увидев отца.

Кондрат криво усмехнулся, отложил в сторону журнал.

Поздоровались за руку. Обоим было малость неловко.

— Ну, как ты здесь? — спросил Кондрат.

— Нормально.

Некоторое время молчали.

— Тут у вас выпить-то хоть можно? — спросил Кондрат, оглядываясь на другого студента.

Тот понял это по-своему:

— Сейчас займем где-нибудь... Завтра стипуха.

Кондрат даже покраснел.

— Вы что, сдурели! Я ж не в том смысле! Я, мол, не попадет вам, если мы тут малость выпьем?

— Вообще-то не положено,— сказал Минька и улыбнулся. Странно было видеть отца растерянным и в новом шикарном костюме.— В исключительных случаях только...

— Ну и пошли! — Кондрат поднялся.— Скажете потом, что был исключительный случай.

Пошли в магазин.

Кондрат чего-то растрогался, начал брать все подряд: колбасу дорогую, коньяк, шпроты... Рублей на сорок всего. Минька пытался остановить его, но тот только говорил сердито: «Ладно, не твое дело».

А когда шли из магазина, разговорились. Неловкость помаленьку проходила. Кондрат обрел обычный свой — снисходительный — тон.

— Не забывай, когда знаменитым станешь, артист... Забудешь небось?

— Что за глупости! Кого забуду?..

— Брось... Не ты первый, не ты последний. Надо, правда, сперва знаменитым стать... А?

— Конечно.

Выпили вчетвером — пришел еще один товариш Миньки.

Кондрат раскраснелся, снял свой бостоновый пиджак и сразу как-то раздался в ширину — под тонкой рубашкой угадывалось крупное, могучее еще тело.

— Туго приходится? — расспрашивал он ребят.

— Ничего...

— Вижу, как ничего... Выпить даже нельзя, когда захочешь. Тоскливо небось так жить? Другой раз с девкой бы прошелся, а тут — книжки читать надо. А?

Ребята смеялись; им стало хорошо от коньяка. Минька радовался, что отец пошел открыто на мировую. Может, кто ему втолковал на курорте, что не все артисты — алкоголики. И что не пустое это дело, как он думал.

— А я считаю — правильно! — басил Кондрат.— Раз приехали учиться — учитесь. Девки от вас никуда не уйдут. И пить тоже еще рано — сопли еще по колена... Я на Миньку в прошлом году обиделся... Я снимаю свой упрек, Митрий. Учитесь. А если, скажем, у вас после окончания не будет получаться насчет работы, приезжайте ко мне, будете работать в клубе. Минька знает, какой у меня клуб—со столбами. Чем в Москве-то ошиваться...

— Тять...

— Не то говорю? Ну ладно, ладно... Вы ж ученые, я забыл. А хозяйство у меня!.. Вон Минька знает...

Потом Кондрат и Минька пошли на выставку — ВДНХ.

Минька вспомнил свой экзамен, и ему стало вдвойне хорошо.

— Вот ты, например, человек,— заговорил он, слегка пошатываясь.— И мне сказали, что тебя надо сыграть. Но ведь ты — это же не я, верно? Понимаешь!

— Понимаю.— Кондрат шел ровно, не шатался.— Тут дурак поймет.

— Значит, я должен тебя изучить: характер твой, повадки, походку... Все выходки твои, как у нас говорят.

— А то ты не знаешь?

— Я к примеру говорю.

— Ну-ка, попробуй мою походку,— заинтересовался Кондрат.

— Господи! — воскликнул Минька.— Это ж пустяк! — Он вышел вперед и пошел, как отец,— засунув руки в карманы брюк, чуть раскачиваясь, неторопливо, крепко чувствуя под ногой землю.

Кондрат оглушительно захохотал.

— Похоже! — заорал он.

Прохожие оглянулись на них.

— Похоже ведь!— обратился к ним Кондрат, показывая на Миньку.— Меня показывает — как я хожу.

Миньке стало неудобно.

— Молодец, — серьезно похвалил Кондрат. — Учись — дело будет.

— Да это что!.. Это не главное.— Минька был счастлив.— Главное: донести твой характер, душу... А это, что я сейчас делал,— это обезьянничанье. За это нас долбают.

— Пошто долбают?

— Потому что это не искусство. Искусство в том, чтобы... Вот я тебя играю, так?

— Ну.

— И надо, чтобы в том человеке, который в конце концов получится, были и я и ты. Понял? Тогда я — художник...

— Счас пойдем глянем одного жеребца,— заговорил вдруг Кондрат серьезно.— Жеребец на выставке стоит образцовый!..— Он зло сплюнул, покачал головой.— Буяна помнишь?

— Помню.

— Приезжала нынче комиссия смотреть — я его хотел на выставку. Забраковали, паразиты. А сегодня прихожу на ВДНХ, смотрю: стоит образцовый жеребец... Мне даже нехорошо сделалось. Какой же это образцовый жеребец, мать бы их в душеньку! Это ж кролик против моего Буяна. Я б его кулаком с одного раза на коленки уронил, такого образцового.

Минька представил Буяна, гордого вороного жеребца, и как-то тревожно, тихонько, сладко заныло сердце. Увидел он, как далеко-далеко, в степи, растрепав по ветру косматую гриву, носится в косяке полудикий красавец конь. А заря на западе — вполнеба, как догорающий соломенный пожар, и чертят ее — кругами, кругами — черные стремительные тени, и не слышно топота коней — тихо.

— Буяна помню, как же,— негромко сказал Минька.— Хороший конь.

Кондрат долго молчал. Сощурил синие глаза и смотрел вперед нехорошо — зло.

— Я его последнее время сам выхаживал,— заговорил он.— Фикус ему в конюшню поставил — у него там, как у невесты в горнице стало. Как дите родное, изучил его. Заржет черт те где, а я уж слышу. Забраковали!..— Кондрат замолчал. Ему было горько.

Минька тоже молчал. Расхотелось говорить об искусстве, не думалось о славной, нарядной судьбе артиста...

Охота стало домой. Захотелось хлебнуть грудью степного полынного ветра... Притихнуть бы на теплом косогоре и задуматься. А в глазах опять встала картина: несется в степи вольной табун лошадей, и впереди, гордо выгнув тонкую шею, летит Буян. Но удивительно тихо в степи.

— Да,— сказал он.

— Со всего края приезжали смотреть...

— Да ладно, чего уж теперь.

Образцовый жеребец стоял в образцовой конюшне, за невысокой оградкой. Косил на людей большим нежнофиолетовым глазом, настороженно вскидывал маленькую голову, стриг ухом.

Остановились около него.

— Этот?

— Но.— Кондрат смотрел на жеребца как на недоброго человека, ехидные повадки которого хорошо изучил.— Он самый.

— Орловский.

— По блату выставили.

— Красивый.

— «Красивый»,— передразнил сына Кондрат.— Ты уж... лучше походки изучай, раз не понимаешь.

— Чего ты? — обиделся Минька.

— Ты сядь на него да пробежи верст пятьдесят — тогда посмотри, что от этой красоты останется.

— Но нельзя же сказать, что он некрасивый!

— Вот за эту красоту он и попал сюда. У нас ведь все так... Конечно, полюбоваться можно, особенно кто не понимает ни шиша. А ты глянь! — Кондрат перешагнул оградку и пошел к жеребцу. Тот обеспокоился, засучил ногами.— Трр, стой! — прикрикнул Кондрат.— Гляди сюда — это грудь? Это воробьиное колено, а не грудь. Он на двадцатой версте захрипит...

Тут к ним подошел служитель в синем комбинезоне.

— Гражданин, вы зачем зашли туда?

— На коняку вашего любуюсь.

— Смотреть отсюда можно. Выйдите.

— А если я хочу ближе?

— Я же вам русским языком сказал: выйдите. Нельзя туда.

Кондрат выразительно посмотрел на сына, вышел из оградки.

— Понял? Издаля только можно. Потому что знающие люди враз раскусят. Чистая работа!

Служитель не понимал, о чем идет речь.

Кондрат хотел уже уйти, но вдруг повернулся к служителю и спросил совершенно серьезно:

— Вопрос можно задать?

— Пожалуйста.— Служитель важно склонил голову набок.

— Этот конь — он кто: жеребец или кобыла?

Служитель взялся за живот... Он хохотал от души, как, наверное, не хохотал давно.

Кондрат внимательно, с грустью смотрел на него, ждал.

— Так ты, значит... Ха-ха-ха!.. Ой, мама родная! Так ты за этим и ходил туда? Узнать? Ха-ха-ха!..

— Смотри не надсадись,— сказал Кондрат.

Служитель вытер глаза.

— Жеребец, жеребец это, дорогой товарищ.

— Но?

— Что «но»?

— Неужели жеребец?

— Конечно, жеребец.

— Значит, я Василиса Прекрасная.

— При чем тут Василиса?

— При том, что это не жеребец. Это ишак.

Служитель рассердился.

— Заложил, наверно, вчера крепко? Иди похмелись.

— Иди сам похмелись! А не то — съезди вон на своем жеребце. На нем только в кабак и ездить.

Служитель нашел это замечание чрезвычайно оскорбительным.

— Выйдите отсюда! Давайте, давайте... А то сейчас милицию позову.— Он тронул Кондрата за руку.

Кондрат зашагал от конюшни. Минька — за ним.

— Видел жеребца? — Кондрат закурил, несколько раз глубоко затянулся.— Приеду, пойду к той комиссии... Я им скажу пару ласковых. Ты тут спиши все данные про этого жеребца и пришли мне в письме. Я на них высплюсь там, на этих членах комиссии... Черти.

Минька тоже закурил.

— Куда сейчас?

— На вокзал. В девять пятнадцать поезд.

У Миньки защемило сердце. Он только сейчас осознал, как легко ему с отцом, как радостно и легко.

— Как вы там? — спросил он.

— Ничего, живы-здоровы. Мать без тебя тоскует. Соскочила один раз ночью — вроде ее кто-то в окно позвал. Я вышел — никого нету. Тоскует, вот и кажется.

Минька нахмурился.

— Чего она?..

— Так ить наше дело теперь не молодое... «Чего».

— А в деревне как?

— Что в деревне?

— Ничего не изменилось?

— Все так же. Отсеялись нынче рано. Ту луговину за солонцом помнишь? Гречиху вечно сеяли...

— Но.

— Всю ее под сады пустил. Не знаю, что получится. Старики говорят, зря.

Минька не знал, что еще спрашивать. Не спросишь же: «А что, по вечерам гуляют с гармошками?» Несерьезно. Да и спрашивать нечего — гуляют. Как все это далеко! Туда поедет отец. Там мать, ребята-дружки...

— Через трое суток дома будешь.

— Ты-то не приедешь летом?

— Не знаю. Кружок тут один веду... Не знаю, может, приеду.

— На будущий год он здесь будет,— твердо сказал Кондрат.— Я своего добьюсь.

— Кто?

— Буян. Я уж спланировал, как его по железной дороге везти. Не на того нарвались, я их сам забракую.

— А хорошо там у нас сейчас, да? Ночами хорошо?..

— Тоскуешь здесь?

— Да нет, что ты! Тут тоже хорошо. Пойдешь, например, в парк культуры Горького — там весело.

— Москва,— раздумчиво сказал Кондрат.— На то она и столица. Мы как сейчас поедем-то?

— Можно на метро, можно на троллейбусе. Лучше, конечно, на метро — одна пересадка, и все.

Кондрат посмотрел на сына.

— Ты уж освоился тут.

— Не совсем, но...

— Москва,— еще раз сказал Кондрат.— Я в войну бывал тут. Но тогда она, конечно, не такая была.

На вокзале Миньку охватило сильное чувство, похожее на боль. Тяжело вдруг стало.

Отец взял чемоданы из камеры хранения. Пошли

в вагон. Пока шли через зал и по перрону, молчали. Вошли в вагон.

Отец долго устраивал чемодан на верхнюю полку, потом присел к столику, напротив сына. И опять молчали, глядели в окно.

По перрону шли и шли люди. Одни торопились, другие, многое ездившие, шли спокойно.

«И все они сейчас поедут»,— думал Минька.

В купе пахло чем-то свежим — не то краской, не то кожей.

Потом по радио объявили, чтобы провожающие вышли из вагонов и чтобы они не забыли передать билеты отъезжающим.

Минька вышел из вагона и подошел к окну, за которым сидел отец.

Смотрели друг на друга. Кондрат смотрел внимательно и серьезно.

«Что он так? Как в последний раз»,— подумал Минька.

Поезд все не трогался.

Наконец тронулся.

Минька долго шел рядом с окном, смотрел на отца. Отец тоже смотрел на него. Он сидел, навалившись на маленький столик, не шевелился. Был он седой, хмурый и смотрел все так же — внимательно и строго.

Минька остановился. В последний раз увидел, как отец привстал и прислонился к стеклу... И все. Поезд прогудел густым басом и стал набирать ходу.

Минька пошел домой.

Шел до самого общежития пешком. Шел бездумно, нарочно сворачивал в какие-то переулки — чтоб устать, и прийти, и сразу уснуть.

В комнате никого не было. На столе осталась всевозможная закуска и стояла недопитая бутылка дорогого коньяка.

Минька разобрал постель... Долго сидел не раздеваясь. Потом разделся и лег.

Взошла луна. В комнате стало светло. Минька представил, как грохочет сейчас по степи поезд, в котором отец... Отец смотрит, наверно, в окно. А по земле идет светлая ночь, расстилает по косогорам белые простыни...

Минька перевернулся на живот, уткнулся в подушку.

И опять, в который раз, увидел: степь и табун лошадей несется по степи...

С этим и заснул Минька. И слышал, как в соседней комнате играет радиола. И ему снилось, что тот самый служитель с выставки стоит над ним и хохочет — громко и глупо.

1964

СТЕПКА

И пришла весна — добрая и бестолковая, как недозрелая девка.

В переулках на селе — грязь по колено. Люди ходят вдоль плетней, держась руками за колья. И если ухватится за кол какой-нибудь дядя из «Заготскота», то и останется он у него в руках, ибо дяди из «Заготскота» все почему-то как налитые, с лицами красного шершавого сукна. Хозяева огородов лаются на чем свет стоит.

— Тебе, паразит, жалко сапоги замарать, а я должо́н каждую весну плетень починять?!

— Взял бы да накидал камней, если плетень жалко.

— А у тебя что, руки отсохли? Возьми да накидай...

— А, тогда не лайся, если такой умный.

А ночами в полях с тоскливым вздохом оседают подопревшие серые снега.

А в тополях, у речки, что-то звонко лопается с тихим ликующим звуком: пи-у.

Лед прошел по реке. Но еще отдельные льдины, блестя на солнце, скребут скользкими животами каменистую дресву; а на изгибах речных льдины вылезают синими мордами на берег, разгребают гальку, разворачиваются и плывут дальше — умирать.

Шалый сырой ветерок кружится и кружит голову... Остро пахнет навозом.

Вечерами, перед сном грядущим, люди добреют.

Во дворах на таганках потеют семейные чугуны с похлебкой. Пляшут веселые огоньки, потрескивает волглый хворост. Задумчиво в теплом воздухе... Прожит день. Вполсилы ведутся неторопливые, необязательные разговоры—завтра будет еще день, и опять будут разные дела. А пока можно отдохнуть, покурить, поворчать на судьбу, задуматься бог знает о чем: что, может, жизнь — судьба эта самая — могла бы быть какой-нибудь иной, малость лучше?.. А в общем-то и так ничего — сойдет.

В такой-то задумчивый хороший вечер, минуя большак, пришел к родному селу Степан Воеводин.

Пришел с той стороны, где меньше дворов, сел на косогор, нагретый за день солнышком, вздохнул. И стал смотреть на деревню. Он, видно, много отшагал за день и крепко устал.

Долго сидел так, смотрел...

Потом встал и пошел в деревню.

Ермолай Воеводин копался еще в своей завозне — тесал дышло для брички. В завозне пахло сосновой стружкой, махрой и остывающими тесовыми стенами. Свету в завозне было уже мало. Ермолай щурился и, попадая рубанком на сучки, по привычке ласково матерился.

...И тут на пороге, в дверях, вырос сын его — Степан.

— Здорово, тять.

Ермолай поднял голову, долго смотрел на сына... Потом высморкался из одной ноздри, вытер нос подолом сатиновой рубахи, как делают бабы, и опять внимательно посмотрел на сына.

— Степка, что ли?

— Но... Ты чо, не узнал?

— Хот!.. Язви тя... Я уж думал: почудилось.

Степан опустил худой вещмешок на порожек, подошел к отцу... Обнялись, чмокнулись.

— Пришел?

— Пришел.

— Чо-то раньше? Мы осенью ждали.

— Отработал... отпустили пораньше.

— Хот!.. Язви тя!..— Отец был рад сыну, рад был видеть его. Только не знал, что делать.— А Борзя-то живой ишо,— сказал.

— Но?— удивился Степан. Он тоже не знал, что делать. Тоже рад был видеть отца.— А где он?

— А шалается где-нибудь. Этта в субботу вывесили бабы бельишко сушить — все изодрал. Разыгрался, сукин сын, и давай трепать...

— Шалавый дурак.

— Хотел уж пристрелить его, да подумал: придешь — обидишься...

Присели на верстак, закурили.

— Наши здоровы?— спросил Степан.

— Ничо, здоровы. Как сиделось-то?

— Ничо, хорошо. Работали.

— В шахтах небось?

— Нет, зачем — лес валили.

— Ну да.— Ермолай кивнул головой.— Дурь-то вся вышла?

— Та-а...— Степан поморщился.— Не в этом дело, тять.

— Ты вот, Степка...— Ермолай погрозил согнутым прокуренным пальцем.— Понял теперь: не лезь с кулаками куда не надо. Нашли, черти полосатые, время драться... Тут без этого...

— Не в этом дело,— опять сказал Степан.

В сарайчике быстро темнело. И все так же волнующе пахло стружкой и махрой.

Степан встал с верстака, затоптал окурок... Поднял свой хилый вещмешок.

— Пошли в дом, покажемся.

— Немая-то наша,— заговорил отец, поднимаясь,— чуток замуж не вышла.— Ему все хотелось сказать какую-нибудь важную новость, и ничего как-то не приходило в голову.

— Но?— удивился Степан.

— И смех и грех...

Пока шли от завозни, отец рассказывал:

— Приходит один раз из клуба и маячит мне: жениха, мол, приведу. Я, говорю, те счас такого жениха приведу, что ты неделю сидеть не сможешь.

— Может, зря?

— Чо зря? Зря... Обмануть надумал какой-то — и выбрал полегче. Кому она к шутам нужна такая. Я, говорю, такого те жениха приведу...

— Посмотреть надо было жениха-то. Может, правда...

А в это время на крыльцо вышла и сама «невеста»— крупная девка лет двадцати трех. Увидела брата, всплеснула руками, замычала радостно. Глаза у нее синие, как цветочки, и смотрела она до слез доверчиво.

— М-эмм, мм,— мычала она и ждала, когда брат подойдет, и глядела на него сверху, с крыльца... И до того она в эту минуту была счастлива, что у мужиков навернулись слезы.

— Вот те и «мэ»,— сердито сказал отец и шаркнул ладонью по глазам.— Ждала все, крестики на стене ставила — сколько дней осталось,— пояснил он Степану.— Любит всех, как дура.

Степан нахмурился, поднялся по ступенькам, нелов-

ко приобнял сестру, похлопал ее по спине... А она вцепилась в него, целовала в щеки, в лоб, в губы.

— Ладно тебе,— сопротивлялся Степан и хотел освободиться от крепких объятий. И неловко ему было, что его так нацеловывают, и рад был тоже и не мог оттолкнуть сестру.

— Ты гляди,— смущенно бормотал он.— Ну, хватит, хватит... Ну, все...

— Да пусть уж,— сказал отец и опять вытер глаза.— Вишь, соскучилась.

Степан высвободился наконец из объятий сестры, весело оглядел ее.

— Ну как живешь-то?— спросил.

Сестра показала руками — «хорошо».

— У ей всегда хорошо,— сказал отец, поднимаясь на крыльцо.— Пошли, мать обрадуем.

Мать заплакала, запричитала:

— Господи-батюшка, отец небесный, услыхал ты мои молитвы, долетели они до тебя...

Всем стало как-то не по себе.

— Ты, мать, и радуисся и горюешь — все одинаково,— строго заметил Ермолай.— Чо захлюпала-то? Ну, пришел теперь, радоваться надо.

— Дак я и радуюсь, не радуюсь, что ли...

— Ну и не реви.

— Здоровый ли, сынок?— спросила мать. — Может, по хвори какой раньше-то отпустили?

— Нет, все нормально. Отработал свое, отпустили.

Стали приходить соседи, родные.

Первой прибежала Нюра Агапова, соседка, молодая гладкая баба с круглым добрым лицом. Еще в сенях заговорила излишне радостно и заполошно:

— А я гляжу из окошка-то: осподи-батюшка, да ить эт Степан пришел?! И правда — Степан...

Степан улыбнулся ей.

— Здорово, Нюра.

Нюра обвила горячими руками красивого соседа, прильнула наголодавшимися вдовьими губами к его потрескавшимся, пропахшим табаком и степным ветром губам...

— От тебя, как от печки, пышет,— сказал Степан.— Замуж-то не вышла?

— А где они тут, женихи-то?— Два с половиной мужика на всю деревню.

— А тебе что, пять надо?

— Я, может, тебя ждала?— Нюра засмеялась.

— Пошла к дьяволу, Нюрка!— возревновала мать.— Не крутись тут — дай другим поговорить. Шибко чижало было, сынок?

— Да нет,— стал рассказывать Степан. — Там хорошо. Я, например, здесь раз в месяц кино смотрю, так? А там — в неделю два раза. А хошь — иди в красный уголок, там тебе лекцию прочитают: «О чести и совести советского человека» или «О положении рабочего класса в странах капитала».

— Что же, вас туда собрали кино смотреть?— спросила Нюра весело.

— Почему?.. Не только, конечно, кино...

— Воспитывают,— встрял в разговор отец.— Мозги дуракам вправляют.

— Людей интересных много,— продолжал Степан.— Есть такие орлы!.. А есть образованные. У нас в бригаде два инженера было...

— А эти за что?

— Один — за какую-то аварию на фабрике, другой — за драку. Дал тоже кому-то бутылкой по голове...

— Может, врет, что инженер?— усомнился отец.

— Там не соврешь. Там все про всех знают.

— А кормили-то ничего?— спросила мать.

— Хорошо, всегда почти хватало. Ничего.

Еще подошли люди. Пришли товарищи Степана. Стало колготно в небольшой избенке Воеводиных. Степан снова и снова принимался рассказывать:

— Да нет, там, в общем-то, хорошо! Вы здесь кино часто смотрите? А мы — в неделю два раза. К вам артисты приезжают? А к нам туда без конца ездили. Жрать тоже хватало... А один раз фокусник приезжал. Вот так берет стакан с водой...

Степана слушали с интересом, немножко удивлялись, говорили «хм», «ты гляди!», пытались сами тоже что-то рассказать, но другие задавали новые вопросы, и Степан снова рассказывал. Он слегка охмелел от долгожданной этой встречи, от расспросов, от собственных рассказов. Он незаметно стал даже кое-что прибавлять к ним.

— А насчет охраны строго?

— Ерунда! Нас последнее время в совхоз возили работать, так мы там совсем почти одни оставались.

— А бегут?

— Мало. Смысла нет.

— А вот говорят: если провинился человек, то его сажают в каменный мешок...

— В карцер. Это редко, это если сильно проштрафился... И то уркаганов, а нас редко.

— Вот жуликов-то, наверно, где! — воскликнул один простодушный парень. — Друг у дружки воруют, наверно?..

Степан засмеялся. И все посмеялись, но с любопытством посмотрели на Степана.

— Там у нас строго за это, — пояснил Степан. — Там, если кого заметют, враз решку наведут...

Мать и немая тем временем протопили баню на скорую руку, отец сбегал в лавочку... Кто принес сальца в тряпочке, кто пирожков, оставшихся со дня, кто пивца-медовухи в туеске — праздник случился нечаянно, хозяева не успели подготовиться. Сели к столу затемно.

И потихоньку стало разгораться неяркое веселье. Говорили все сразу, перебивали друг друга, смеялись... Степан сидел во главе стола, поворачивался направо и налево, хотел еще рассказывать, но его уже плохо слушали. Он, впрочем, и не шибко старался. Он рад был, что людям сейчас хорошо, что он им доставил удовольствие, позволил им собраться вместе, поговорить, посмеяться... И чтоб им было совсем хорошо, он запел трогательную песню тех мест, откуда только что прибыл:

> Прости мне, ма-ать,
> За все мои поступки,
> Что я порой не слушалась тебя-а!..

На минуту притихли было; Степана целиком захватило чувство содеянного добра и любви к людям. Он заметно хмелел.

> Х, я думала-а, что тюрьма д это шутка,
> И этой шуткой сгубила д я себя-а! —

пел Степан

Песня не понравилась — не оценили чувства раскаявшейся грешницы, не тронуло оно их...

— Блатная! — с восторгом пояснил тот самый простодушный парень, который считал, что в тюрьме — сплошное жулье. — Тихо вы!

— Чо же, сынок, баб-то много сидят? — спросила мать с другого конца стола.

— Хватает.

И возник оживленный разговор о том, что, наверно бабам-то там не сладко.

— И вить дети небось пооставались.

— Детей — в приюты...

— А я бы баб не сажал! — сурово сказал один изрядно подвыпивший мужичок. — Я бы им подолы на голову — и ремнем!

— Не поможет, — заспорил с ним Ермолай. — Если ты ее выпорол — так? — она только злей станет. Я свою смолоду поучил раза два вожжами — она мне со зла немую девку принесла.

Кто-то поднял песню. Свою. Родную.

Оте-ец мой был природный пахарь,
А я работал вместе с им...

Песню подхватили. Заголосили вразнобой, а потом стали помаленьку выравниваться.

...Три дня, три ноченьки старался —
Сестру из плена выруча-ал...

Увлеклись песней — пели с чувством, нахмурившись, глядя в стол перед собой.

...Злодей пустил злодейку пулю,
Уби-ил красавицу сестру-у.

Вошел я на гору крутую,
Село-о родное посмотреть;
Гори-ит, горит село родное,
Гори-ит вся родина моя-а!..

Степан крепко припечатал кулак в столешницу.

— Ты меня не любишь, не жалеешь! — сказал он громко. — Я вас всех уважаю, черти драные! Я сильно без вас соскучился.

У порога, в табачном дыму, всхлипнула гармонь — кто-то предусмотрительный смотался за гармонистом. Взревели... Песня погибла. Вылезали из-за стола и норовили сразу попасть в ритм «подгорной». Старались покрепче дать ногой в половицу.

Бабы образовали круг и пошли и пошли с припевом.

И немая пошла и помахивала над головой платочком.

На нее показывали пальцем, смеялись... И она тоже смеялась — она была счастлива.

— Верка! Ве-ерк!— кричал изрядно подвыпивший мужичок.— Ты уж тогда спой, ты спой, чо же так ходить-то!— Никто его не слышал, и он сам смеялся своей шутке — просто закатывался.

Мать Степана рассказывала какой-то пожилой бабе:

— Кэ-эк она на меня навалится, матушка, у меня аж в грудях сперло. Я насилу-насилу вот так голову-то приподняла да спрашиваю: «К худу или к добру?» А она мне в самое ухо дунула: «К добру!»

Пожилая баба покачала головой.

— К добру?

— К добру, к добру. Ясно так сказала: к добру, говорит.

— Упредила.

— Упредила, упредила. А я ишо подумай вечером-то: «К какому добру,— думаю, — мне суседка-то предсказала?» Только так подумала, а дверь-то открывается — и он вот он, на пороге.

— Господи, господи, — прошептала пожилая баба и вытерла концом платка повлажневшие глаза.— Надо же!

Бабы втащили на круг Ермолая. Ермолай, недолго думая, пошел вколачивать одной ногой, а второй только каблуком пристукивал... И приговаривал: «Оп-па, ат-та, оп-па, ат-та». И вколачивал и вколачивал ногой так, что посуда в шкафу вздрагивала.

— Давай, Ермил! — кричали Ермолаю. — У тя сёдня радость большая — шевелись!

— Ат-та, оп-па,— приговаривал Ермолай, а рабочая спина его, ссутулившаяся за сорок лет работы у верстака, так и не распрямилась, и так он и плясал — слегка сгорбатившись, и большие узловатые руки его тяжело висели вдоль тела. Но рад был Ермолай и забыл все свои горести — долго ждал этого дня, без малого пять лет.

В круг к нему протиснулся Степан, сыпанул тяжкую, нечеткую дробь.

— Давай, тять...

— Давай — батька с сыном! Шевелитесь!

— А Степка-то не изработался — взбрыкивает.

— Он же говорит: им там хорошо было. Жрать давали...

— Там дадут — догонют да еще дадут.

— Ат-та, оп-па!..— приговаривал Ермолай, приноравливаясь к сыну.

Плясать оба не умели, но работали ладно — старались. Людям это нравилось; смотрели на них с удовольствием.

Так гуляли.

Никто потом не помнил, как появился в избе участковый милиционер. Видели только, что он подошел к Степану и что-то сказал ему. Степан вышел с ним на улицу. А в избе продолжали гулять: решили, что так надо, надо, наверно, явиться Степану в сельсовет — оформить всякие там бумаги. Только немая что-то забеспокоилась, замычала тревожно, начала тормошить отца. Тот спьяну отмахнулся.

— Отстань, ну тя! Пляши вон.

Вышли за ворота. Остановились.

— Ты что, сдурел, парень? — спросил участковый, вглядываясь в лицо Степана.

Степан прислонился спиной к воротнему столбу, усмехнулся.

— Чудно? Ничего...

— Тебе же три месяца сидеть осталось!

— Знаю не хуже тебя... Дай закурить.

Участковый дал ему папиросу, закурил сам.

— Пошли.

— Пошли.

— Может, скажешь дома-то?.. А то хватятся...

— Сегодня не надо — пусть погуляют. Завтра скажешь.

— Три месяца не досидеть и сбежать!..— опять изумился милиционер.— Прости меня, но я таких дураков еще не встречал, хотя много повидал всяких. Зачем ты это сделал?

Степан шагал, засунув руки в карманы брюк, узнавал в сумраке знакомые избы, ворота, прясла... Вдыхал знакомый с детства терпкий весенний холодок, задумчиво улыбался.

— А?

— Чего?

— Зачем ты это сделал-то?

— Сбежал-то? А вот — пройтись разок... Соскучился.

— Так ведь три месяца осталось!— почти закричал участковый.— А теперь еще пару лет накинут.

— Ничего... Я теперь подкрепился. Теперь можно сидеть. А то меня сны замучили — каждую ночь деревня снится... Хорошо у нас весной, верно?

— Н-да. .— раздумчиво сказал участковый.

Долго шли молча, почти до самого сельсовета.

— И ведь удалось сбежать!.. Один бежал?

— Трое.

— А где те?

— Не знаю. Мы сразу по одному разошлись.

— И сколько же ты добирался?

— Две недели.

— Тьфу!.. Ну, черт с тобой, сиди.

В сельсовете участковый сел писать протокол. Степан задумчиво смотрел в темное окно. Хмель прошел.

— Оружия нет? — спросил участковый, отвлекаясь от протокола.

— Сроду никакой гадости не таскал с собой.

— Чем же ты питался в дороге?

— Они запаслись — те двое-то...

— А им по сколько оставалось?

— По много...

— Но им-то хоть был смысл бежать, а тебя-то куда черт дернул?

— Ладно, надоело!— обозлился Степан.— Делай свое дело, я ж тебе не мешаю.

Участковый качнул головой, склонился опять к бумаге. Еще сказал:

— А я, честно говоря, не поверил, когда мне позвонили. Думаю: ошибка какая-нибудь — не может быть, чтоб на свете были такие придурки. Оказывается, правда.

Степан смотрел в окно, спокойно о чем-то думал.

— Небось смеялись над тобой те двое-то? — не вытерпел и еще спросил словоохотливый милиционер.

Степан не слышал его.

Милиционер долго с любопытством смотрел на него. Сказал:

— А по лицу не скажешь, что дурак.— И продолжал сочинять протокол.

В это время в сельсовет вошла немая. Остановилась на пороге, посмотрела испуганными глазами на милиционера, на брата...

— Мэ-мм?— спросила брата.

Степан растерялся.

— Ты зачем сюда?

— Мэ-мм?!— замычала сестра, показывая на милиционера.

— Это сестра, что ли?— спросил тот.

— Но...

Немая подошла к столу, тронула участкового за плечо и, показывая на брата, руками стала пояснять свой вопрос: «Ты зачем увел его?!» Участковый понял.

— Он... он, — показал на Степана,— сбежал из тюрьмы! Сбежал! Вот так!..— Участковый показал на окно и показал, как сбегают.— Нормальные люди в дверь выходят, в дверь, а он в окно — раз, и ушел. И теперь ему будет...— Милиционер сложил пальцы в решетку и показал немой на Степана.— Теперь ему опять вот эта штука будет! Два!— растопырил два пальца и торжествующе потряс ими.— Два года еще!

Немая стала понимать... И когда она совсем все поняла, глаза ее, синие, испуганные, загорелись таким нечеловеческим страданием, такая в них отразилась боль, что милиционер осекся. Немая смотрела на брата. Тот побледнел и замер — тоже смотрел на сестру.

— Вот теперь скажи ему, что он дурак, что так не делают нормальные люди...

Немая вскрикнула гортанно, бросилась к Степану, повисла у него на шее...

— Убери ее,— хрипло попросил Степан. — Убери!

— Как я ее уберу?..

— Убери, гад! — заорал Степан не своим голосом.— Уведи ее, а то я тебе расколю голову табуреткой!

Милиционер вскочил, оттащил немую от брата... А она рвалась к нему и мычала. И трясла головой.

— Скажи, что ты обманул, пошутил... Убери ее!

— Черт вас!... Возись тут с вами, — ругался милиционер, оттаскивая немую к двери.— Он придет сейчас, я ему дам проститься с вами!— пытался он втолковать ей.— Счас он придет!..— Ему удалось наконец подтащить ее к двери и вытолкнуть.— Ну, здорова! — Он закрыл дверь на крючок.— Фу-у... Вот каких ты делов натворил — любуйся теперь.

Степан сидел, стиснув руками голову, смотрел в одну точку.

Участковый спрятал недописанный протокол в полевую сумку, подошел к телефону.

— Вызываю машину — поедем в район, ну вас к черту... Ненормальные какие-то.

А по деревне серединой улицы шла, спотыкаясь, немая и горько плакала.

1964

КОСМОС, НЕРВНАЯ СИСТЕМА И ШМАТ САЛА

Старик Наум Евстигнеич хворал с похмелья. Лежал на печке, стонал.

Раз в месяц — с пенсии — Евстигнеич аккуратно напивался и после этого три дня лежал в лежку. Матерился в бога.

— Как черти копытьями толкут, в господа мать. Кончаюсь...

За столом, обложенным учебниками, сидел восьмиклассник Юрка, квартирант Евстигнеича, учил уроки.

— Кончаюсь, Юрка, в крестителя, в бога душу мать!..

— Не надо было напиваться.

— Молодой ишо рассуждать про это.

Пауза. Юрка поскрипывает пером.

Старику охота поговорить — все малость полегче.

— А чо же мне делать, если не напиться? Должон я хоть раз в месяц отметиться...

— Зачем?

— Што я, не человек, што ли?

— Хм... Рассуждения как при крепостном праве.— Юрка откинулся на спинку венского стула, насмешливо посмотрел на хозяина.— Это тогда считалось, что человек должен обязательно пить.

— А ты откуда знаешь про крепостное время-то?— Старик смотрит сверху страдальчески и с любопытством. Юрка иногда удивляет его своими познаниями, и он хоть и не сдается, но слушать парнишку любит.— Откуда ты знаешь-то? Тебе всего-то от горшка два вершка.

— Проходили.

— Учителя, што ли, рассказывали?

— Но.

— А они откуда знают? Там у вас ни одного старика нету.

— Они учились. В книгах написано...

— В книгах... А они, случайно, не знают, отчего человек с похмелья хворает?

— Отравление организма: сивушное масло.

— Где масло? В водке?

— Но.

Евстигнеичу хоть тошно, но он невольно усмехается:

— Доучились.

— Хочешь, я тебе формулу покажу? Сейчас я тебе наглядно докажу...— Юрка взял было учебник химии, но старик застонал, обхватил руками голову.

— О-о... опять накатило! Все мать-перемать...

— Ну, похмелись тогда, чего так мучиться-то?

Старик никак не реагирует на это предложение. Он бы похмелился, но жалко денег. Он вообще скряга отменный. Живет справно, пенсия неплохая, сыновья и дочь помогают из города. В погребе у него чего только нет — сало еще прошлогоднее, соленые огурцы, капуста, арбузы, грузди... Кадки, кадушки, туески, бочонки — целый склад. В кладовке — полтора куля доброй муки, окорок висит пуда на полтора. В огороде — яма картошки, тоже еще прошлогодней, он скармливает ее боровам, уткам и курам. Когда он не хворает, он встает до света и весь день, до темноты, возится по хозяйству. Часто спускается в погреб, сядет на приступку и подолгу задумчиво сидит. «Черти, драные. Тут ли счас не жить!»— думает он и вылезает на свет белый. Это он о сыновьях и дочери. Он ненавидит их за то, что они уехали в город.

У Юрки другое положение. Живет он в соседней деревне, где нет десятилетки. Отца нет. А у матери, кроме него, еще трое. Отец утонул на лесосплаве. Те трое ребятишек моложе Юрки. Мать бьется из последних сил, хочет, чтоб Юрка окончил десятилетку. Юрка тоже хочет окончить десятилетку. Больше того, он мечтает потом поступить в институт. В медицинский.

Старик вроде не замечает Юркиной бедности, берет с него пять рублей в месяц. А варят — старик себе отдельно, Юрка — себе. Иногда, к концу месяца, у Юрки кончаются продукты. Старик долго косится на Юрку, когда тот всухомятку ест хлеб. Потом спрашивает:

— Все вышло?

— Ага.

— Я дам... Апосля привезешь.

— Давай.

Старик отвешивает на безмене килограмм-два пшена, и Юрка варит себе кашу.

По утрам беседуют у печки.

— Все же охота доучиться?

— Охота. Хирургом буду.

— Сколько ишо?

— Восемь. Потому что в медицинском — шесть, а не пять, как в остальных.

— Ноги вытянешь, пока дойдешь до хирурга-то. Откуда она, мать, денег-то возьмет сэстоль?

— На стипендию. Учатся ребята... У нас из деревни двое так учатся.

Старик молчит, глядя на огонь. Видно, вспомнил своих детей.

— Чо эт вас так шибко в город-то тянет?

— Учиться... «Что тянет». А хирургом можно потом и в деревне работать. Мне даже больше глянется в деревне.

— Што, они много шибко получают, што ль?

— Кто? Хирурги?

— Но.

— Наоборот, им мало платят. Меньше всех. Сейчас прибавили, правда, но все равно...

— Дак на кой же шут тогда жилы из себя тянуть столько лет? Иди на шофера выучись да работай. Они вон по сколько зашибают! Да ишо где лесишко кому подкинет, где сена привезет совхозного — деньги. И матери бы помог. У ей вить ишо трое на руках.

Юрка молчит некоторое время. Упоминание о матери и младших братьях больно отзывается в сердце. Конечно, трудно матери... Накипает раздражение против старика.

— Проживем,— резко говорит он.— Никому до этого не касается.

— Знамо дело,— соглашается старик.— Сбили вас с толку этим ученьем — вот и мотаетесь по белому свету, как...— Он не подберет подходящего слова — как кто. — Жили раньше без всякого ученья — ничо, бог миловал: без хлебушка не сидели.

— У вас только одно на уме: раньше!

— А то... иропланов понаделали — дерьма-то.

— А тебе больше глянется на телеге? Или на печке лежать?

— А чем плохо на телеге? А еслив поехал, так знаю: худо-бедно — доеду. А ты навернесся с этого свово ироплана — костей не соберут.

И так подолгу они беседуют каждое утро, пока Юрка не уйдет в школу. Старику необходимо выговориться — он потом целый день молчит; Юрка же, хоть и раздражает его занудливое ворчание старика, испытывает удовлетворение оттого, что вступается за Новое — за аэропланы, учение, город, книги, кино...

Странно, но старик в бога тоже не верит.

— Делать нечего — и начинают заполошничать, кликуши,— говорит он про верующих.— Робить надо, вот и благодать настанет.

Но работать — это значит только для себя, на своей пашне, на своем огороде. Как раньше. В колхозе он давно не работает, хотя старики в его годы еще колупаются помаленьку — кто на пасеке, кто объездным на полях, кто в сторожах.

— У тебя какой-то кулацкий уклон, дед,— сказал однажды Юрка в сердцах.

Старик долго молчал на это. Потом сказал непонятно:

— Ставай, проклятый заклеменный!..— И высморкался смачно сперва из одной ноздри, потом из другой. Вытер нос подолом рубахи и заключил:— Ты ба, наверно, комиссаром у них был. Тогда молодые были комиссарами.

Юрке это польстило.

— Не проклятый, а — проклятьем,— поправил он.

— Насчет уклона-то... смотри не вякни где. А то придут, огород урежут. У меня там сотки четыре лишка есть...

— Нужно мне.

Частенько возвращались к теме о боге:

— Чо у вас говорят про его?

— Про кого?

— Про бога-то.

— Да ничего не говорят — нету его.

— А почему тогда столько людей молится?

— А почему ты то и дело поминаешь его? Ты же не веришь!

— Сравнил! Я — матерюсь.

— Все равно — в бога.

Старик в затруднении.

— Я, што ли, один так лаюсь? Раз его все споминают, стало быть, и мне можно.

— Глупо. А в таком возрасте вообще стыдно.

— Отлегло малость, в креста мать,— говорит старик.— Прямо в голове все помутнело.

Юрка не хочет больше разговаривать — надо выучить уроки.

— Про кого счас проходишь?

— Астрономию,— коротко и суховато отвечает Юрка, давая тем самым понять, что разговаривать не намерен.

— Это про што?

— Космос. Куда наши космонавты летают.

— Гагарин-то?

— Не один Гагарин... Много уж.

— А чего они туда летают? Зачем?

— Привет!— воскликнул Юрка и опять откинулся на спинку стула.— Ну, ты даешь. А что они, будут лучше на печке лежать?

— Чо ты привязался с этой печкой? — обиделся старик.— Доживи до моих годов, тогда вякай.

— Я же не в обиду тебе говорю. Но спрашивать: зачем люди в космос летают? — это я тебе скажу...

— Ну и растолкуй. Для чего же тебя учут? Штоб ты на стариков злился?

— Ну, во-первых: освоение космоса — это... надо. Придет время, люди сядут на Луну. А еще придет время — долетят до Венеры. А на Венере, может, тоже люди живут. Разве не интересно поглядеть на них?..

— Они такие же, как мы?

— Этого я точно не знаю. Может, маленько пострашней, потому что там атмосфера не такая — больше давит.

— Ишо драться кинутся.

— За что?

— Ну, скажут: зачем прилетели? — Старик заинтересован рассказом.— Непрошеный гость хуже татарина.

— Не кинутся. Они тоже обрадуются. Еще не известно, кто из нас умнее,— может, они. Тогда мы у них будем учиться. А потом, когда техника разовьется, дальше полетим...— Юрку самого захватила такая перспектива человечества. Он встал со стула и начал ходить по избе.— Мы же еще не знаем, сколько таких планет, похожих на Землю! А их, может, миллионы! И везде живут существа. И мы будем летать друг к другу... И получится такое... мировое человечество. Все будем одинаковые.

— Жениться, што ли, друг на дружке будете?

— Я говорю — в смысле образования! Может, где-нибудь есть такие человекоподобные, что мы все у них по-

учимся. Может, у них все уже давно открыто, а мы только первые шаги делаем. Вот и получится тогда то самое царство божие, которое религия называет — рай. Или ты, допустим, захотел своих сыновей повидать прямо с печки — пожалуйста, включил видеоприемник, настроился на определенную волну — они здесь, разговаривай. Захотелось слетать к дочери, внука понянчить — лезешь на крышу, заводишь небольшой вертолет — и через какое-то время икс ты у дочери... А внук.. ему сколько?

— Восьмой, однако.

— Внук тебе почитает «Войну и мир», потому что развитие будет ускоренное. А медицина будет такая, что люди будут до ста — ста двадцати лет жить.

— Ну, это уж ты... приврал.

— Почему?! Уже сейчас эта проблема решается. Сто двадцать лет — это нормальный срок считается. Мы только не располагаем данными. Но мы возьмем их у соседей по Галактике.

— А сами-то не можете — чтоб сто двадцать?

— Сами пока не можем. Это медленный процесс. Может, и докатимся когда-нибудь, что будем сто двадцать лет жить, но это еще не скоро. Быстрее будет построить такой космический корабль, который долетит до Галактики. И возможно, там этот процесс уже решен: открыто какое-нибудь лекарство...

— Сто двадцать лет сам не захочешь. Надоест.

— Ты не захочешь, а другие — с радостью. Будет такое средство...

— «Средство»... Открыли бы с похмелья какое-нибудь средство — и то ладно. А то башка, как этот... как бачок из-под самогона.

— Не надо пить.

— Пошел ты!..

Замолчали.

Юрка сел за учебники.

— У вас только одно на языке: «будет! будет!..» — опять начал старик. — Трепачи. Ты вот — шешнадцать лет будешь учиться, а начнет человек помирать, чо ты ему сделаешь?

— Вырежу чего-нибудь.

— Дак если ему срок подошел помирать, чо ты ему вырежешь.

— Я на такие... дремучие вопросы не отвечаю.

— Нечего отвечать, вот и не отвечаете.

— Нечего?.. А вот эти люди!..— сгреб кучу книг и показал.— Вот этим людям тоже нечего отвечать?! Ты хоть одну прочитал?

— Там читать нечего — вранье одно.

— Ладно! — Юрка вскочил и опять начал ходить по избе.— Чума раньше была?

— Холера?

— Ну, холера.

— Была. У нас в двадцать...

— Где она сейчас? Есть?

— Не приведи господи! Может, будет ишо...

— В том-то и дело, что не будет. С ней научились бороться. Дальше: если бы тебя раньше бешеная собака укусила, что бы с тобой было?

— Сбесился бы.

— И помер. А сейчас — сорок уколов, и все. Человек живет. Туберкулез был неизлечим? Сейчас, пожалуйста: полгода — и человек как огурчик! А кто это все придумал? Ученые! «Вранье»... Хоть бы уж помалкивали, если не понимаете.

Старика раззадорил тоже этот Юркин наскок.

— Так. Допустим. Собака — это ладно.. А вот змея укусит?.. Иде они были, доктора-то, раньше? Не было. А бабка, бывало, пошепчет — и как рукой сымет. А вить она институтов никаких не кончала.

— Укус был не смертельный. Вот и все.

— Иди подставь: пусть она тебя разок чикнет куданибудь...

— Пожалуйста! Я до этого укол сделаю, и пусть кусает сколько влезет — я только улыбнусь.

— Хвастунишка.

— Да вот же они, во-от! — Юрка опять показал книги.— Люди на себе проверяли! А знаешь ты, что когда академик Павлов помирал, то созвал студентов и стал им диктовать, как он помирает.

— Как это?

— Так. «Вот,— говорит,— сейчас у меня холодеют ноги — записывайте». Они записывали. Потом руки отнялись. Он говорит: «Руки отнялись».

— Они пишут?

— Пишут. Потом сердце стало останавливаться, он говорит: «Пишите». Они плакали и писали.— У Юрки у самого защипало глаза от слез. На старика рассказ тоже произвел сильное действие.

— Ну?..

— И помер. И до последней минуты все рассказывал, потому что это надо было для науки. А вы с этими с вашими бабками еще бы тыщу лет в темноте жили... «Раньше было! Раньше было!..» Вот так было раньше?! — Юрка подошел к розетке, включил радио. Пела певица.— Где она? Ее же нет здесь!

— Кого?

— Этой... кто поет-то.

— Дак это по проводам...

— Это — радиоволны! «По проводам». По проводам — это у нас здесь, в деревне только. А она, может, где-нибудь на Сахалине поет — что, туда провода протянуты?

— Провода. Я в прошлом году ездил к Ваньке, видал: вдоль железной дороги провода висят. На столбах.

Юрка махнул рукой.

— Тебе не втолковать. Мне надо уроки учить. Все.

— Ну и учи.

— А ты меня отрываешь.— Юрка сел за стол, зажал ладонями уши и стал читать.

Долго в избе было тихо.

— Он есть на карточке? — спросил старик.

— Кто?

— Тот ученый, помирал-то который.

— Академик Павлов? Вот он.

Юрка подал старику книгу и показал Павлова. Старик долго и серьезно разглядывал изображение ученого.

— Старенький уж был.

— Он был до старости лет бодрый и не напивался, как... некоторые.— Юрка отнял книгу.— И не валялся потом на печке, не матерился. Он в городки играл до самого последнего момента, пока не свалился. А сколько он собак прирезал, чтобы рефлексы доказать!.. Нервная система — это же его учение. Почему ты сейчас хвораешь?

— С похмелья, я без Павлова знаю.

— С похмелья-то с похмелья, но ты же вчера оглушил свою нервную систему, затормозил, а сегодня она... распрямляется. А у тебя уж условный рефлекс выработался: как пенсия, так обязательно пол-литра. Ты уже не можешь без этого.— Юрка ощутил вдруг некое приятное чувство, что он может спокойно и убедительно доказывать старику весь вред и все последствия его выпивок.

Старик слушал.— Значит, что требуется? Перебороть этот рефлекс. Получил пенсию на почте? Пошел домой... И ноги у тебя сами поворачивают в сельмаг. А ты возьми пройди мимо. Или совсем другим переулком пройди.

— Я хуже маяться буду.

— Раз помаешься, два, три — потом привыкнешь. Будешь спокойно идти мимо сельмага и посмеиваться.

Старик привстал, свернул трясущимися пальцами цигарку, прикурил. Затянулся и закашлялся.

— Ох, мать твою... Кхох!.. Аж выворачивает всего. Это ж надо так!

Юрка сел опять за учебники.

Старик, кряхтя, слез с печки, надел пимы, полушубок, взял нож и вышел в сенцы.

«Куда это он?»— подумал Юрка.

Старика долго не было. Юрка хотел уж было идти посмотреть, куда он пошел с ножом. Но тот пришел сам, нес в руках шмат сала в ладонь величиной.

— Хлеб-то есть? — спросил он строго.

— Есть. А что?

— На, поешь с салом, а то загнесся загодя со своими академиками... пока их изучишь всех.

Юрка даже растерялся.

— Мне же нечем отдавать будет — у нас нету...

— Ешь. Там чайник в печке — ишо горячий, наверно... Поешь.

Юрка достал чайник из печки, налил в кружку теплого еще чая, нарезал хлеба, ветчины и стал есть. Старик с трудом залез опять на печь и смотрел оттуда на Юрку.

— Как сало-то?

— Вери вел! Первый сорт.

— Кормить ее надо уметь, свинью-то. Одни сдуру начинают ее напичкивать осенью — получается одно сало, мяса совсем нет. Другие наоборот — маринуют: дескать, мясистее будет. Одно сало-то не все любют. Заколют: ни мяса, ни сала. А ее надо так: недельку покормить как следовает, потом подержать впроголодь, опять недельку покормить, опять помариновать... Вот оно тогда будет слоями: слой сала, слой мяса. Солить тоже надо уметь...

Юрка слушал и с удовольствием уписывал мерзлое душистое сало, действительно на редкость вкусное.

— Ох, здорово! Спасибо.

— Наелся?

— Ага.— Юрка убрал со стола хлеб, чайник. Сало еще осталось— А это куда?

— Вынеси в сенцы, на кадушку. Вечером ишо поешь.

Юрка вынес сало в сенцы. Вернулся, похлопал себя по животу, сказал весело:

— Теперь голова лучше будет соображать... А то... это... сидишь — маленько кружится.

— Ну вот,— сказал дед, укладываясь опять на спину.— Ох, мать твою в душеньку!.. Как ляжешь, так опять подступает.

— Может, я пойду куплю четвертинку? — предложил Юрка.

Дед помолчал.

— Ладно.. пройдет так. Потом, попозже, курям посыпешь да коровенке на ночь пару навильников дашь. Воротчики только закрыть не забудь.

— Ладно. Значит, так: что у нас еще осталось? География. Сейчас мы ее... галопом.— Юрке сделалось весело: поел хорошо, уроки почти готовы — вечером можно на лыжах покататься.

— А у его чо же, родных-то, никого, што ли, не было? — спросил вдруг старик.

— У кого? — не понял Юрка.

— У того академика-то. Одни студенты стояли?

— У Павлова-то? Были, наверно. Я точно не знаю. Завтра спрошу в школе.

— Дети-то были, поди?

— Наверно. Завтра узнаю.

- - Были, конечно. Никого еслив бы не было родных-то, немного надиктуешь. Одному-то плохо.

Юрка не стал возражать. Можно было сказать: а студенты-то! Но он не стал говорить.

— Конечно,— согласился он.— Одному плохо.

1966

ВЯНЕТ, ПРОПАДАЕТ

— Идет! — крикнул Славка.— Гусь-Хрустальный идет!

— Чего орешь-то? — сердито сказала мать.— Не можешь никак потише-то?.. Отойди оттудова, не торчи.

Славка отошел от окна.

— Играть, что ли? — спросил он.

— Играй. Какую-нибудь... поновей.

— Какую? Может, марш?

— Вот какую-то недавно учил!..

— Я ее не одолел еще. Давай «Вянет, пропадает»?

— Играй. Она грустная?

— Помоги-ка снять. Не особенно грустная, но за душу возьмет.

Мать сняла со шкафа тяжелый баян, поставила Славке на колени. Славка заиграл «Вянет, пропадает».

Вошел дядя Володя, большой, носатый, отряхнул о колено фуражку и тогда только сказал:

— Здравствуйте!

— Здравствуйте, Владимир Николаич,— приветливо откликнулась мать.

Славка перестал было играть, чтоб поздороваться, но вспомнил материн наказ — играть без передыху, кивнул дяде Володе и продолжал играть?

— Дождь, Владимир Николаич?

— Сеет. Пора уж ему и сеять.— Дядя Володя говорил как-то очень аккуратно, обстоятельно, точно кубики складывал. Положит кубик, посмотрит, подумает — переставит.— Пора... Сегодня у нас... што? Двадцать седьмое? Через три дня — октябрь месяц. Пойдет четвертый квартал.

— Да,— вздохнула мать.

Славку удивляло, что мать, обычно такая крикливая, острая на язык, с дядей Володей во всем тихо соглашалась. Вообще становилась какая-то сама не своя: краснела, суетилась, все хотела, например, чтоб дядя Володя выпил «последнюю» рюмку перцовки, а дядя Володя говорил, что «последнюю-то как раз и не надо пить — она-то и губит людей».

— Все играешь, Славка? — спросил дядя Володя.

— Играет! — встряла мать.— Приходит из школы и начинает — надоело уж... В ушах звенит.

Это была несусветная ложь; Славка изумлялся про себя.

— Хорошее дело,— сказал дядя Володя.— В жизни пригодится. Вот пойдешь в армию: все будут строевой шаг отрабатывать, а ты в красном уголке на баяне тренироваться. Очень хорошее дело. Не всем только дается...

— Я говорила с ихним учителем-то: шибко, говорит, способный.

Когда говорила?! О боже милостивый!.. Что с ней?

— Талант, говорит.

— Надо, надо. Молодец, Славка.

— Садитесь, Владимир Николаич.

Дядя Володя ополоснул руки, тщательно вытер их полотенцем, сел к столу.

— С талантом люди крепко живут.

— Дал бы уж, господи...

— И учиться, конечно, надо — само собой.

— Вот учиться-то...— Мать строго посмотрела на Славку.— Лень-матушка! Вперед нас, видно, родилась. Чего уж только не делаю: сама иной раз с им сяду: «Учи! Тебе надо-то, не мне». Ну!.. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Был бы мужчина в доме... Нас-то много они слушают!

— Отец-то не заходит, Славка?

— А чего ему тут делать? — отвечала мать.— Алименты свои плотит — и довольный. А тут рости, как знаешь...

— Алименты — это удовольствие ниже среднего,— заметил дядя Володя.— Двадцать пять?

— Двадцать пять. А зарабатывает-то не шибко... И те пропивает.

— Стараться надо, Славка. Матери одной трудно.

— Понимал бы он...

— Ты пришел из школы: сразу — раз — за уроки. Уроки приготовил — поиграл на баяне. На баяне поиграл — пошел погулял.

Мать вздохнула.

Славка играл «Вянет, пропадает».

Дядя Володя выпил перцовки.

— Стремиться надо, Славка.

— Уж и то говорю ему: «Стремись, Славка...»

— Говорить мало,— заметил дядя Володя и налил еще рюмочку перцовки.

— Как же воспитывать-то?

Дядя Володя опрокинул рюмочку в большой рот.

— Ху-у... Все: пропустили по поводу воскресенья, и будет.— Дядя Володя закурил.— Я ведь пил, крепко пил...

— Вы уж рассказывали. Счастливый человек — бросили... Взяли себя в руки.

— Бывало, утром: на работу идти, а от тебя, как от циклона, на версту разит. Зайдешь, бывало, в парикмахерскую — не бриться, ничего,— откроешь рот: он по-

брызгает, тогда уж идешь. Мучился. Хочешь на счетах три положить, кладешь — пять.

— Гляди-ко!

— В голове — дымовая завеса,— обстоятельно рассказывал дядя Володя.— А у меня еще стол наспроть окна стоял, в одиннадцать часов солнце начинает в лицо бить — пот градом!.. И мысли комичные возникают: в ведомости, допустим: «Такому-то на руки семьсот рублей». По-старому. А ты думаешь: «Это ж сколько поллитр выйдет?» Х-хе...

— Гляди-ко, до чего можно дойти!

— Дальше идут. У меня приятель был: тот по ночам все шанец искал.

— Какой шанец?

— Шанс. Он его называл — шанец. Один раз искал, искал — показалось, кто-то с улицы зовет, шагнул с балкона, и все, не вернулся.

— Разбился?!

— Ну, с девятого этажа — шутка в деле! Он же не голубь мира. Когда летел, успел, правда, крикнуть: «Эй!»

— Сердешный...— вздохнула мать.

Дядя Володя посмотрел на Славку...

— Отдохни, Славка. Давай в шахматы сыграем. Заполним вакум, как говорит наш главный бухгалтер. Тоже пить бросил и не знает, куда деваться. Не знаю, говорит, чем вакум заполнить.

Славка посмотрел на мать. Та улыбнулась.

— Ну отдохни, сынок.

Славка с великим удовольствием вылез из-под баяна... Мать опять взгромоздила баян на шкаф, накрыла салфеткой.

Дядя Володя расставлял на доске фигуры.

— В шахматы тоже учись, Славка. Попадешь в какую-нибудь компанию: кто за бутылку, кто разные фигли-мигли, а ты раз — за шахматы: «Желаете?» К тебе сразу другое отношение. У тебя по литературе как?

— По родной речи? Трояк.

— Плохо. Литературу надо назубок знать. Вот я хожу пешкой и говорю: «Е-два, Е-четыре», как сказал гроссмейстер. А ты не знаешь, где это написано. Надо знать. Ну давай.

Славка походил пешкой.

— А зачем говорят-то: «Е-два, Е-четыре»?— спросила мать, наблюдая за игрой.

— А шутят,— пояснил дядя Володя.— Шутят так. А люди уж понимают: «Этого голой рукой не возьмешь». У нас в типографии все шутят. Ходи, Славка.

Славка походил пешкой.

— У нас дядя Иван тоже шутит,— сказал он.— Нас вывели на физкультуру, а он говорит: «Вот вам лопаты — тренируйтесь».— Славка засмеялся.

— Кто это?

— Он завхозом у нас.

— А-а... Этим шутникам лишь бы на троих сообразить,— недовольно заметил дядя Володя.

Мать и Славка промолчали.

— Не перевариваю этих соображал,— продолжал дядя Володя.— Живут — небо коптят.

— А вот пили-то,— поинтересовалась мать,— жена-то как же?

— Жена-то? — Дядя Володя задумался над доской: Славка неожиданно сделал каверзный ход.— Реагировала-то?

— Да. Реагировала-то.

— Отрицательно, как еще. Из-за этого и разошлись, можно сказать. Вот так, Славка! — Дядя Володя вышел из трудного положения и был доволен.— Из-за этого и горшок об горшок у нас и получился.

— Как это? — не понял Славка.

— Горшок об горшок-то? — Дядя Володя снисходительно улыбнулся. — Горшок об горшок — и кто дальше.

Мать засмеялась.

— Еще рюмочку, Владимир Николаич?

— Нет,— твердо сказал дядя Володя.— Зачем? Мне и так хорошо. Выпил для настроения — и будет. Раньше не отказался ба... Ох, пил!.. Спомнить страшно.

— Не думаете сходиться-то? — спросила мать.

— Нет,— твердо сказал дядя Володя.— Дело прынципа: я первый на мировую не пойду.

Славка опять сделал удачный ход.

— Ну, Славка!..— изумился дядя Володя.

Мать незаметно дернула Славку за штанину. Славка протестующе дрыгнул ногой: он тоже вошел в азарт.

— Так, Славка...— Дядя Володя думал, сморщившись.— Так... А мы вот так!

Теперь Славка задумался.

— Детей-то проведуете? — расспрашивала мать.

— Проведую.— Дядя Володя закурил.— Дети есть дети. Я детей люблю.

— Жалеет счас небось?

— Жена-то? Тайно, конешно, жалеет. У меня счас без вычетов на руки выходит сто двадцать. И все целенькие. Площадь — тридцать восемь метров, обстановка... Сервант недавно купил за девяносто шесть рублей — любо глядеть. Домой приходишь — сердце радуется. Включишь телевизор, постановку какую-нибудь посмотришь... Хочу еще софу купить.

— Ходите,— сказал Славка.

Дядя Володя долго смотрел на фигуры, нахмурился, потрогал в задумчивости свой большой, слегка заалевший нос.

— Так, Славка... Ты как? А мы — так! Шахович. Софы есть чешские... Раздвижные — превосходные. Отпускные получу, обязательно возьму. И шкуру медвежью закажу...

— Сколько же шкура станет?

— Шкура? Рублей двадцать пять. У меня племянник часто в командировку на восток ездит, закажу ему, привезет.

— А волчья хуже? — спросил Славка.

— Волчья небось твердая,— сказала мать.

— Волчья вообще не идет для этого дела. Из волчьих дохи шьют. Мат, Славка.

Дождик перестал; за окном прояснилось. Воздух стал чистый и синий. Только далеко на горизонте громоздились темные тучи. Кое-где в домах зажглись огни.

Все трое некоторое время смотрели в окно, слушали глухие звуки улицы. Просторно и грустно было за окном.

— Завтра хороший день будет,— сказал дядя Володя.— Вот где солнышко село, небо зеленоватое: значит, хороший день будет.

— Зима скоро,— вздохнула мать.

— Это уж как положено. У вас батареи не затопили еще?

— Нет. Пора бы уж.

— С пятнадцатого затопят. Ну пошел. Пойду включу телевизор, постановку какую-нибудь посмотрю.

Мать смотрела на дядю Володю с таким выражением, как будто ждала, что он вот-вот возьмет и скажет

что-то не про телевизор, не про софу, не про медвежью шкуру — что-то другое.

Дядя Володя надел фуражку, остановился у порога...

— Ну, до свиданья.

— До свиданья...

— Славка, а кубинский марш не умеешь?

— Нет,— сказал Славка.— Не проходили еще.

— Научись, сильная вещь. На вечера будут приглашать... Ну, до свиданья.

— До свиданья.

Дядя Володя вышел. Через две минуты он шел под окнами — высокий, сутулый, с большим носом. Шел и серьезно смотрел вперед.

— Руль,— с досадой сказала мать, глядя в окно.— Чего ходит?..

— Тоска,— сказал Славка.— Тоже ж один кукует.

Мать вздохнула и пошла в куть готовить ужин.

— Чего ходить тогда? — еще раз сказала она и сердито чиркнула спичкой по коробку.— Нечего и ходить тогда. Правда что Гусь-Хрустальный.

1966

ВОЛКИ

В воскресенье, рано утром, к Ивану Дегтяреву явился тесть, Наум Кречетов, нестарый еще, расторопный мужик, хитрый и обаятельный. Иван не любил тестя; Наум, жалеючи дочь, терпел Ивана.

— Спишь? — живо заговорил Наум.— Эхха!.. Эдак, Ванечка, можно все царство небесное проспать. Здравствуйте.

— Я туда не сильно хотел. Не устремляюсь.

— Зря. Вставай-ка... Поедем съездим за дровишками. Я у бригадира выпросил две подводы. Конечно, не за «здорово живешь», но черт с ним — дров надо.

Иван полежал, подумал.... И стал одеваться.

— Вот ведь почему молодежь в город уходит? — заговорил он.— Да потому, что там отработал норму — иди гуляй. Отдохнуть человеку дают. Здесь — как проклятый: ни дня, ни ночи. Ни воскресенья.

— Что же, без дров сидеть? — спросила Нюра, жена Ивана.— Ему же коня достали, и он еще недовольный.

— Я слыхал: в городе тоже работать надо,— заметил тесть.

— Надо. Я бы с удовольствием лучше водопровод пошел рыть, траншеи: выложился раз, зато потом без горя — вода и отопление.

— С одной стороны, конечно, хорошо — водопровод, с другой — беда: ты ба тогда совсем заспался. Ну, хватит, поехали.

— Завтракать будешь? — спросила жена.

Иван отказался — не хотелось.

— С похмелья? — полюбопытствовал Наум.

— Так точно, ваше благородье!

— Да-а... Вот так. А ты говоришь: водопровод... Ну, поехали.

День стоял солнечный, ясный. Снег ослепительно блестел. В лесу тишина и нездешний покой.

Ехать надо было далеко — верст двадцать: ближе рубить не разрешалось. Наум ехал впереди и все возмущался:

— Черт те чего!.. Из лесу в лес — за дровами.

Иван дремал в санях. Мерная езда убаюкивала.

Выехали на просеку, спустились в открытую логовину, стали подыматься в гору. Там, на горе, снова синей стеной вставал лес.

Почти выехали в гору... И тут увидели, недалеко от дороги,— пять штук. Вышли из леса, стоят ждут. Волки.

Наум остановил коня, негромко, нараспев заматерился:

— Твою в душеньку ма-ать... Голубочки сизые. Выставились.

Конь Ивана, молодой, трусливый, попятился, заступил оглоблю. Иван задергал вожжами, разворачивая его. Конь храпел, бил ногами — не мог перешагнуть оглоблину. Волки двинулись с горы.

Наум уже развернулся, крикнул:

— Ну, што ты?!

Иван выскочил из саней, насилу втолкал коня в оглобли... Упал в сани. Конь сам развернулся и с места взял в мах.

Наум был уже далеко.

— Грабю-ут! — заполошно орал он, нахлестывая коня.

Волки серыми комками податливо катились с горы, наперерез подводам.

— Грабю-ут! — орал Наум.

«Что он, с ума сходит? — невольно подумал Иван.— Кто кого грабит?» Он испугался, но как-то странно: был и страх, и жгучее любопытство, и смех брал над тестем. Скоро, однако, любопытство прошло. И смешно тоже уже не было. Волки достигли дороги метрах в ста позади саней и, вытянувшись цепочкой, стали быстро нагонять. Иван крепко вцепился в передок саней и смотрел на волков.

Впереди отмахивал крупный, грудастый, с паленой мордой... Уже только метров пятнадцать-двадцать отделяло его от саней. Ивана поразило несходство волка с овчаркой. Раньше он волков так близко не видел и считал, что это что-то вроде овчарки, только крупнее. А сейчас Иван понял, что волк — это волк, зверь. Самую лютую собаку еще может в последний миг что-то остановить: страх, ласка, неожиданный окрик человека. Этого, с паленой мордой, могла остановить только смерть. Он не рычал, не пугал... Он догонял жертву. И взгляд его круглых желтых глаз был прям и прост.

Иван оглядел сани — ничего, ни малого прутика. Оба топора в санях тестя. Только клок сена под боком да бич в руке.

— Грабю-ут! — кричал Наум.

Ивана охватил настоящий страх.

Передний, очевидно вожак, стал обходить сани, примериваясь к лошади. Он был в каких-нибудь двух метрах... Иван привстал и, держась левой рукой за отводину саней, огрел вожака бичом. Тот не ждал этого, лязгнул зубами, прыгнул в сторону. Сбился с маха... Сзади налетели другие. Вся стая крутнулась с разгона вокруг вожака. Тот присел на задние лапы, ударил клыками одного, другого... И снова, вырвавшись вперед, легко догнал сани. Иван приготовился, ждал момента... Хотел еще раз достать вожака. Но тот стал обходить сани дальше. И еще один отвалил в сторону от своры и тоже начал обходить сани — с другой стороны. Иван стиснул зубы, сморщился... «Конец. Смерть». Глянул вперед.

— Сто-ой! — заорал он.— Отец!.. Дай топор!

Наум нахлестывал коня. Оглянулся, увидел, как обходят зятя волки, и быстро отвернулся.

— Придержи малость, отец!.. Дай топор! Мы отобьемся!..

— Грабю-ут!

— Придержи, мы отобьемся!.. Придержи малость, гад такой!

— Кидай им чево-нибудь! — крикнул Наум.

Вожак поравнялся с лошадью и выбирал момент, чтоб прыгнуть на нее. Волки, бежавшие сзади, были совсем близко: малейшая задержка, и они с ходу влетят в сани — и конец. Иван кинул клочок сена; волки не обратили на это внимания.

— Отец, сука, придержи, кинь топор!

Наум обернулся.

— Ванька!.. Гляди, кину!..

— Ты придержи!

— Гляди, кидаю! — Наум бросил на обочину дороги топор.

Иван примерился... Прыгнул из саней, схватил топор... Прыгая, он пугнул трех задних волков, они отскочили в сторону, осадили бег, намереваясь броситься на человека. Но в то самое мгновение вожак, почувствовал под собой твердый наст, прыгнул. Конь шарахнулся в сторону, в сугроб... Сани перевернулись: оглобли свернули хомут, он захлестнул коню горло. Конь захрипел, забился в оглоблях. Волк, настигавший жертву с другой стороны, прыгнул под коня и ударом когтистой лапы распустил ему брюхо повдоль.

Три отставших волка бросились тоже к жертве.

В следующее мгновение все пять рвали мясо еще дрыгавшей лошади, растаскивали на ослепительно белом снегу дымящиеся клубки сизо-красных кишок, урчали, вожак дважды прямо глянул своими желтыми круглыми глазами на человека...

Все случилось так чудовищно скоро и просто, что смахивало скорей на сон. Иван стоял с топором в руках, растерянно смотрел на волков. Вожак еще раз глянул на него... И взгляд этот, торжествующий, наглый, обозлил Ивана. Он поднял топор, заорал что было силы и кинулся к волкам. Они нехотя отбежали несколько шагов и остановились, облизывая окровавленные рты. Делали они это так старательно и увлеченно, что казалось, человек с топором нимало их не занимает. Впрочем, вожак смотрел внимательно и прямо. Иван обругал его самыми страшными словами, какие знал. Взмахнул топором и шагнул к нему... Вожак не двинулся с места. Иван тоже остановился.

— Ваша взяла,— сказал он.— Жрите, сволочи.— И

пошел в деревню. На растерзанного коня старался не смотреть. Но не выдержал, глянул... И сердце сжалось от жалости, и злость великая взяла на тестя. Он скорым шагом пошел по дороге.

— Ну погоди!.. Погоди у меня, змей ползучий. Ведь отбились бы — и конь был бы целый. Шкура.

Наум ждал зятя за поворотом. Увидев его живого и невредимого, искренне обрадовался.

— Живой? Слава те господи! — На совести у него все-таки было неспокойно.

— Живой! — откликнулся Иван.— А ты тоже живой?

Наум почуял в голосе зятя недоброе. На всякий случай шагнул к саням.

— Ну, что они там?..

— Поклон тебе передают. Шкура!..

— Чего ты? Лаешься-то?..

— Я тебя бить буду, а не лаяться.

Иван подходил к саням. Наум стегнул лошадь.

— Стой! — крикнул Иван и побежал за санями.— Стой, паразит!

Наум нахлестывал коня... Началась другая гонка: человек догонял человека.

— Стой, тебе говорят!— кричал Иван.

— Заполошный! — кричал в ответ Наум.— Чего ты взъелся-то? С ума, что ли, спятил! Я-то при чем здесь?

— Ни при чем?! Мы бы отбились, а ты предал!..

— Да как отбились?! Ты что!

— Предал, змей! Я тебя проучу! Не уйдешь ты от меня, остановись лучше. Одного отметелю — не так будет позорно. А то при людях отлуплю. И расскажу все... Остановись лучше!

— Сейчас — остановился, держи карман! — Наум нахлестывал коня.— Оглоед чертов... откуда ты взялся на нашу голову!

— Послушай доброго совета: остановись! — Иван стал выдыхаться.— Тебе же лучше: отметелю и никому не скажу.

— Тебя, дьявола, голого в родню приняли, и ты же на меня с топором! Стыд-то есть или нету?

— Вот отметелю, потом про стыд поговорим. Остановись! — Иван бежал медленно, уже очень отстал. И наконец вовсе бросил догонять. Пошел шагом.

— Найду, никуда не денешься! — крикнул он напоследок тестю.

Дома у себя Иван никого не застал: на двери висел замок. Он отомкнул его, вошел в дом. Поискал в шкафу... Нашел не допитую вчера бутылку водки, налил стакан, выпил и пошел к тестю.

В ограде тестя стояла выпряженная лошадь.

— Дома,— удовлетворенно сказал Иван.

Толкнулся в дверь — не заперто. Он ждал, что будет заперто. Иван вошел в избу... Его ждали: в избе сидели тесть, жена Ивана и милиционер. Милиционер улыбался.

— Ну что, Иван?

— Та-ак... Сбегал уже? — спросил Иван, глядя на тестя.

— Сбегал, сбегал. Налил шары-то, успел?

— Малость принял для... красноречия.— Иван сел на табуретку.

— Ты чего это, Иван? С ума, что ли, сошел? — поднялась Нюра.— Ты что?

— Хотел папаню твоего поучить... Как надо человеком быть.

— Брось ты, Иван,— заговорил милиционер.— Ну, случилось несчастье, испугались оба... Кто же ждал, что так будет? Стихия.

— Мы бы легко отбились. Я потом один был с ними...

— Я ж тебе бросил топор? Ты попросил — я бросил. Чево еще-то от меня требовалось?

— Самую малость: чтоб ты человеком был. А ты шкура. Учить я тебя все равно буду.

— Учитель выискался! Сопля... Гол, как сокол, пришел в дом на все на готовенькое да еще грозится. Да еще недовольный всем: водопроводов, видите ли, нету!

— Да не в этом дело, Наум,— сказал милиционер.— При чем тут водопровод?

— В деревне плохо!.. В горсде лучше,— продолжал Наум.— А чево приперся сюда? Недовольство свое показывать? Народ возбуждать?

— От сука! — изумился Иван. И встал.

Милиционер тоже встал.

— Бросьте вы! Пошли, Иван...

— Таких возбудителев-то знаешь куда девают? — не унимался Наум.

— Знаю! — ответил Иван.— В прорубь головой...— И шагнул к тестю.

Милиционер взял Ивана под руку и повел из избы. На улице остановились, закурили.

— Ну не паразит ли? — все изумлялся Иван. — И на меня же попер.

— Да брось ты его!

— Нет, отметелить я его должен.

— Ну и заработаешь! Из-за дерьма.

— Куда ты меня?

— Пойдем, переночуешь у нас... Остынешь. А то себе хуже сделаешь. Не связывайся.

— Нет, это же... что ж это за человек?

— Нельзя, Иван, нельзя: кулаками ничего не докажешь.

Пошли по улице по направлению к сельской кутузке.

— Там-то не мог? — спросил вдруг милиционер.

— Не догнал! — с досадой сказал Иван. — Не мог догнать.

— Ну вот... Теперь все — теперь нельзя.

— Коня жалко.

— Да...

Замолчали. Долго шли молча.

— Слушай, отпусти ты меня. — Иван остановился. — Ну чего я в воскресенье там буду? Не трону я его.

— Да нет, пойдем. Пойдем. А то потом не оберешься... Тебя жалеючи говорю. Пойдем в шахматишки сыграем... Играешь в шахматы?

Иван сплюнул на снег окурок и полез в карман за другой папироской.

— Играю.

1967

ГОРЕ

Бывает летом пора: полынь пахнет так, что сдуреть можно. Особенно почему-то ночами. Луна светит, тихо... Неспокойно на душе, томительно. И думается в такие огромные, светлые, ядовитые ночи вольно, дерзко, сладко.

Это даже — не думается, что-то другое: чудится, ждется, что ли. Притаишься где-нибудь на задах огородов, в лопухах, — сердце замирает от необъяснимой, тайной радости. Жалко, мало у нас в жизни таких ночей.

Одна такая ночь запомнилась мне на всю жизнь.

Было мне лет двенадцать. Сидел я в огороде, обхватив руками колени, упорно, до слез смотрел на луну. Вдруг услышал: кто-то невдалеке тихо плачет. Я оглянулся и увидел старика Нечая, соседа нашего. Это он шел, маленький, худой, в длинной холщовой рубахе. Плакал и что-то бормотал неразборчиво.

У дедушки Нечаева три дня назад умерла жена, тихая, безответная старушка. Жили они вдвоем, дети разъехались. Старушка Нечаева, бабка Нечаиха, жила незаметно и умерла незаметно. Узнали поутру: «Нечаиха-то... гляди-ко, сердешная»,— сказали люди. Вырыли могилку, опустили бабку Нечаиху, зарыли — и все. Я забыл сейчас, как она выглядела. Ходила по ограде, созывала кур: «Цып-цып-цып». Ни с кем не ругалась, не заполошничала по деревне. Была — и нету, ушла.

...Узнал я в ту светлую, хорошую ночь, как тяжко бывает одинокому человеку. Даже когда так прекрасно вокруг, и такая теплая, родная земля, и совсем не страшно на ней.

Я притаился.

Длинная, ниже колен, рубаха старика ослепительно белела под луной. Он шел медленно, вытирал широким рукавом глаза. Мне его было хорошо видно. Он сел неподалеку.

— Ничо... счас маленько уймусь... мирно побеседуем,— тихо говорил старик и все не мог унять слезы.— Третий день маюсь — не знаю, куда себя деть. Руки опустились... хошь што делай.

Помаленьку он успокоился.

— Шибко горько, Парасковья: пошто напоследок-то ничо не сказала? Обиду, што ль, затаила какую? Сказала бы — и то легше. А то думай теперь... Охо-хо...— Помолчал.— Ну, обмыли тебя, нарядили — все как у добрых людей. Кум Сергей гроб сколотил. Поплакали. Народу, правда, не шибко много было. Кутью варили. А положили тебя с краешку, возле Дадовны. Место хорошее, сухое. Я и себе там приглядел. Не знаю вот, што теперь одному-то делать? Может, уж заколотить избенку да к Петьке уехать?.. Опасно: он сам ничо бы, да бабенка-то у его... сама знаешь: и сказать не скажет, а кусок в горле застрянет. Вот беда-то!.. Чего посоветуешь?

Молчание.

Я струсил. Я ждал, вот-вот заговорит бабка Нечаиха своим ласковым, терпеливым голосом.

— Вот гадаю,— продолжал дед Нечай,— куда приткнуться? Прям хошь петлю накидывай. А этто вчерашной ночью здремнул маленько, вижу: ты вроде идешь по ограде, яички в сите несешь. Я пригляделся, а это не яички, а цыплята живые, маленькие ишо. И ты вроде начала их по одному исть. Ешь да ишо прихваливаешь... Страсть господня! Проснулся... Хотел тебя разбудить, а забыл, что тебя нету. Парасковьюшка... язви тя в душу!..— Дед Нечай опять заплакал. Громко. Меня мороз по коже продрал — завыл как-то, как-то застонал протяжно: — Э-э-э... у-у... Ушла?.. А не подумала: куда я теперь? Хошь бы сказала: я бы доктора из города привез... вылечиваются люди. А то ни слова, ни полслова — вытянулась! Так и я сумею...— Нечай высморкался, вытер слезы, вздохнул.— Чижало там, Парасковьюшка? Охота, поди, сюда? Снишься-то. Снись хошь почаще... только нормально. А то цыпляты какие-то...— черт те чего. А тут...— Нечай заговорил шепотом, я половину не расслышал.— Грешным делом, хотел уж... А чего? Бывает, закапывают, я слыхал. Закопали бабу в Краюшкине... стонала. Выкопали... Эти две ночи ходил, слушал: вроде тихо. А то уж хотел... Сон, говорят, наваливается какой-то страшенный — и все думают, што помер человек, а он не помер, а сонный...

Тут мне совсем жутко стало. Я ползком-ползком — да из огорода. Прибежал к деду своему, рассказал все. Дед оделся, и мы пошли с ним на зады.

— Он сам с собой или вроде как с ней разговаривает? — расспрашивал дед.

— С ей. Советуется, как теперь быть...

— Тронется ишо, козел старый. Правда пойдет выкопает. Может, пьяный?

— Нет, он пьяный поет и про бога рассказывает.— Я знал это.

Нечай, заслышав наши шаги, замолчал.

— Кто тут? — строго спросил дед.

Нечай долго не отвечал.

— Кто здесь, я спрашиваю?

— А чего тебе?

— Ты, Нечай?

— Но...

Мы подошли. Дедушка Нечай сидел, по-татарски скрестив ноги, смотрел снизу на нас — был очень недоволен.

— А ишо кто тут был?

— Иде?

— Тут... Я слышал, ты с кем-то разговаривал.

— Не твое дело.

— Я вот счас возьму палку хорошую и погоню домой, чтоб бежал и не оглядывался. Старый человек, а с ума сходишь... Не стыдно?

— Я говорю с ей и никому не мешаю.

— С кем говоришь? Нету ее, не с кем говорить! Помер человек — в земле.

— Она разговаривает со мной, я слышу, — упрямился Нечай. — И нечего нам мешать. Ходют тут...

— Ну-ка, пошли. — Дед легко поднял Нечая с земли. — Пойдем ко мне, у меня бутылка самогонки есть, счас выпьем — полегчает. — Дедушка Нечай не противился.

— Чижало, кум, — силов нету. — Он шел впереди, спотыкался и все вытирал рукавом слезы. Я смотрел сзади на него, маленького, убитого горем, и тоже плакал — неслышно, чтоб дед подзатыльника не дал. Жалко было дедушку Нечая.

— А кому легко? — успокаивал дед. — Кому же легко родного человека в землю зарывать? Дак если бы все ложились с ими рядом от горя, што было бы? Мне уж теперь сколько раз надо бы ложиться? Терпи. Скрепись и терпи.

— Жалко.

— Конешно, жалко... кто говорит. Но вить ничем теперь не поможешь. Изведешься, и все. И сам ноги протянешь. Терпи.

— Вроде соображаю, а... запеклось вот здесь все — ничем не размочишь. Уж пробовал — пил: не берет.

— Возьмет. Петька-то чего не приехал? Ну, тем вроде далеко, а этот-то?..

— В командировку уехал. Ох, чижало, кум!.. Сроду не думал...

— Мы всегда так: живет человек — вроде так и надо. А помрет — жалко. Но с ума от горя сходить — это тоже... дурость.

Не было для меня в эту минуту ни ясной, тихой ночи, ни мыслей никаких, и радость непонятная, светлая умерла. Горе маленького старика заслонило прекрасный мир. Только помню: все так же резко, горько пахло полынью.

Дед оставил Нечая у нас. Они легли на полу, накрылись тулупом.

— Я тебе одну историю расскажу,— негромко стал рассказывать мой дед.— Ты вот не воевал — не знаешь, как там было... Там, брат... похуже дела были. Вот какая история: я санитаром служил, раненых в тыл отвозили. Едем раз. А «студебеккер» наш битком набить. Стонают, просют потише... А шофер, Миколай Игринев, годок мне, и так уж старается поровней ехать, медлить шибко тоже нельзя: отступаем. Ну, подъезжаем к одному развилку, впереди легковуха. Офицер машет: стой, мол. А у нас приказ строго-настрого: не останавливаться, хоть сам черт с рогами останавливай. Оно правильно: там сколько ишо их, сердешных, лежат, ждут. Да хоть бы наступали, а то отступаем. Ну, проехали. Легковуха обгоняет нас, офицер поперек дороги — с наганом. Делать нечего, остановились. Оказалось, офицер у их чижалораненый, а им надо в другую сторону. Ну, мы с тем офицером, который наганом-то махал, кое-как втиснули в кузов раненого. Миколай в кабинке сидел: с им там тоже капитан был — совсем тоже плохой, почесть лежал; Миколай-то одной рукой придерживал его, другой рулил. Ну, уместились кое-как. А тот, какого подсадили-то, часует, бедный. Голова в крове, все позасохло. Подумал ишо тогда: не довезем. А парень молодой, лейтенант, только бриться, наверно, начал. Я голову его на коленки к себе взял — хоть поддержать маленько, да кого там!.. Доехали до госпиталя, стали снимать раненых...— Дед крякнул, помолчал. Закурил.— Миколай тоже стал помогать... Подал я ему лейтенанта-то... «Все,— говорю,— кончился». А Миколай посмотрел на лейтенанта, в лицо-то... Кхэх...— Опять молчание. Долго молчали.

— Неужто сын? — тихо спросил дед Нечай.

— Сын.

— Ох ты, господи!

— Кхм...— Мой дед швыркнул носом. Затянулся вчастую раз пять подряд.

— А потом-то што?

— Схоронили... Командир Миколаю отпуск на неделю домой дал. Ездил. А жене не сказал, што сына схоронил. Документы да ордена спрятал, пожил неделю и уехал.

— Пошто не сказал-то?

— Скажи!.. Так хоть какая-то надежа есть — без

вести и без вести, а так... совсем. Не мог сказать. Сколько раз, говорит, хотел и не мог.

— Господи, господи,— опять вздохнул дед Нечай.— Сам-то хоть живой остался?

— Микола? Не знаю, нас раскидало потом по разным местам... Вот какая история. Сына! — легко сказать. Да молодого такого...

Старики замолчали.

В окна все лился и лился мертвый торжественный свет луны. Сияет!.. Радость ли, горе ли тут — сияет!

1967

ДВА ПИСЬМА

Человеку приснилась родная деревня. Идет будто он берегом реки... В том месте реки — затон. Тихо. Никого, ни одной живой души вокруг. Деревня рядом, и в деревне тоже как повымерло все. «Что же это такое — никого нет-то?»— удивился человек. Бросил камень в воду. Он беззвучно пошел ко дну. Человек еще бросил — большой. Камень без звука утонул. Человека охватил страх. «Что-то случилось»,— подумал он. И проснулся. И не мог больше заснуть. Стал вспоминать. Деревня... Серые избы, пыльная улица, крапива у плетней, куры на завалинке, покосившиеся прясла... А за деревней — степь да колки. Да полыхает заря вполнеба. Попадаются еще небольшие озерки; вечерами вода в них гладкая-гладкая, и вся заря как в зеркале. Хорошо сидеть на берегу этих маленьких озер, думать... В душу с тишиной вместе вкрадывается беспокойно-нежное чувство ко всему на свете. Грустно немного, но кто-то будто шепчет на ухо: подожди, подожди, дружок.

Далеко-далеко проскачет табун лошадей в ночное, повиснет над дорогой, в воздухе, полоска пыли и долго держится. И опять тихо. Что за тишина такая на земле!

Заря медленно гаснет. Как будто остался ты на земле совсем-совсем один. Не страшно, не одиноко... но очень неспокойно.

Человек попытался заснуть и не мог. Он потихоньку, чтоб не разбудить жену, встал, надел пижаму, пошел в другую комнату, включил свет и сел к столу. И глубоко задумался.

— Черт возьми,— прошептал он. — Что же это?.. Старею, что ли? Как будто прощаюсь со всем.

Было невыносимо грустно, чего-то жаль было до слез. Не сбылось как будто то, что мерещилось тогда, давно, на берегах крохотных тихих озер...

Человек — его звали Николай Иваныч — достал бумагу и сел писать давнишнему своему другу.

«Друже мой, Иван Семеныч! — начал он.— Здорово! Захотелось вот написать тебе. Увидел сейчас во сне деревню нашу и затосковал. Сижу вот и пишу ночью, как Бальзак. Вспомнил я, как мы с тобой институты окончили. Помнишь? Приехали с дипломами... Последний разок побывать на родине. Нарядились как эти... черт те знает кто! На мне белая какая-то заграничная рубашка, ты зачем-то матроску напялил. Шли по улице — два пижона. А пора была страдная. Я помню, встретился нам Минька Докучаев на вершнах, остановились, поздоровались. Он грязный весь — ни глаз, ни рожи, ехал в кузницу пилу от жнейки заклепывать. Закурили. А говорить не о чем. Чужие какие-то с ним стали. Помялись-помялись, он уехал, а мы пошли за деревню — прощаться с местами, где когда-то копны возили, сено гребли, телят пасли, боронили... Вспомнил вот Миньку-то, и стыдно. Для чего мы так вырядились-то тогда? У людей самая пора горячая, а мы как два оглоеда. А тогда — ничего, будто так и надо. Шли прощаться! Экие, понимаешь, запорожцы за Дунаем! У меня в кармане бутылка белого, у тебя — портвейн. Один стакан на двоих. Сели у межи, под березками, выпили... И давай хвастаться — какие мы умные: институты кончили, людьми стали! Я какие-то стихи дурацкие читал, а ты, помню, стал даже на руки и прошелся. И потом долго колотил себя в грудь кулаком и орал: «Ты подумай: отцы-то наши кто были?! Кто? А мы — инженеры!» Еще выпили. И опять хвастались. Господи, как хвастались! Очень уж нас распирало тогда, что мы первые из деревни высшее образование получили. И плясали-то мы с тобой, и пели... А рядом рожь несжатая стояла. А нам — хоть бы что. Я даже в нее бутылку порожнюю запустил и, помню, подумал: «Будут жать жаткой, она, голенькая, заблестит на стерне. И кто-нибудь, тот же Минька, подумает: «Пил кто-то». Потом спали мы с тобой. Проснулись, когда солнце садилось. Заграничная моя рубашка была измята, как... Голова болела, и совестно было. Наорали, натрепались. Ты мне в глаза не смотрел, и мне не хотелось. Все это я почему-то очень хорошо помню»...

— Коля!
— Ну.
— Чего ты?
— Так... Спи.
— Я думала, ты ушел куда.
— Спи.

...«Жена проснулась. Сытая лежит, толстая, прости меня, господи, грешного, и несет, как от парфюмерной фабрики. Вот такие-то дела, Ваня. Грустно мне что-то сделалось. Может, зря мы тогда радовались-то? Вот прошло уж... сколько теперь? Лет восемнадцать? А я их както и не заметил. Толстел год от года. Жену упрекаю, а сам — хоть поставь, хоть положь,— в дверь не пролезаю. Курорты, понимаешь, санатории... А жизни как-то не успел порадоваться. Дети растут, но радости большой не доставляют, честно говоря. Сильно уж они сейчас много знают, бойко так рассуждают про все. По-моему, мы лучше были. Может, это старческое у меня, не знаю. Ты-то как? Написал бы когда. А то так вот хватит инфаркт, и все. Съехаться бы как-нибудь, а? Хоть вспомнили бы детство, понимаешь. Ведь есть что вспомнить! А то работа, работа... Всю жизнь работаем, а оглянуться не на что. Напиши как-нибудь, выбери время. Одиноко мне стало вдруг, никто не поймет, как ты. Да и тебе, наверно, не сладко? Ну главный инженер, ну черт с рогами, а что дальше? Ты понимаешь? Ну ресторан, музыка — как гвозди в башку заколачивают,— а дальше что? Это называется: вышли в люди? Эх!.. Я вспомню, как мы картошку в ночном пекли, на душе потеплеет. Вернуться бы опять туда, в степь: костерик, рассказы про чертей... Эх, Ваня, Ваня... Что это такое? Как думаешь? Или все нормально? Может, у меня уж тихая шизофрения началась? У тебя бывает так или нет? Честно только. Куда летом ездишь? В Гагры вшивые? Я эти Гагры уже не могу видеть. Но попробуй заикнись, что хочу, мол, в деревню к себе поехать. Что ты! Истерика. Но я все-таки подниму нынче восстание — будь что будет. Поеду в деревню. Не могу больше. Поедем? Давай спишемся — и махнем. Черт с ними, пускай едут в Гагры, а нам надо в деревню съездить. А то грех какой-то лежит на душе. Не исповедь это, а просто душа просит. В общем, неважнецки я живу, Иван. Так вроде все нормально, на работе хорошо, а нет-нет засосет что-то, тоска обуяет, как сейчас вот, и все охота послать к черту. Напиши, Иван,

прошу. Адрес у меня теперь другой — улучшение! Голой рукой не возьмешь. Жду. Николай».

Николай Иваныч погасил свет, снял пижаму и подвалился к жаркой жене. И долго ещё не мог заснуть.

На службу, как всегда, Николай Иваныч пришел тютелька в тютельку: без пяти десять. Выбритый, свежий, хотя в голове немного шумело: пришлось вчера хватить снотворного. Шел по коридору, привычно здоровался, улыбался... Ему тоже улыбались. Кого-то остановил, что-то спросил, кто-то его спросил, он ответил. Ответил коротко, толково. Его уважали на работе. Миленькая секретарша привстала, ослепительно улыбнулась. Мелькнуло в голове: «Красивая женщина, черт возьми». Впрочем, эта мысль у него мелькала, кажется, каждое утро.

— Ну, что тут у нас?

— Значит, первое: звонили...

Звонили, требовали, просили, умоляли, предупреждали... Понеслась душа в рай! Одно чувство сменялось другим. То: «Послушайте! Я ведь с вами не буду в казаки-разбойники играть! Я последний раз предупреждаю!» То: «Милый, родной... что же я могу сделать? Ну, подумай: что? Если бы от меня зависело...» То: «Понимаю, все понимаю. Чтобы лишнего на себя не брать: к двадцать восьмому. А? Железно! Железно, как у меня главный говорит. Приложим все силы, не подведем». Но больше нравилось: «Послушайте! Мы ведь с вами не в драмкружке — не «Отелло» репетируем. Не клянитесь мне, я неверующий. Мне от ваших молитв ни жарко, ни холодно. Мне нужен ма-те-ри-ал! Все!» Еще нравилось: «Ну?.. Так... А что делать? Я тоже не знаю! Да что докладные? У меня столы ломятся от докладных. Я что, вместо подшипников буду ваши докладные вставлять? Попробуйте, может, у вас выйдет. Не знаю. Где хотите».

Деловой вихрь закрутил Николая Иваныча, он забыл про ночное письмо. А утром, уезжая на работу, захватил его. Но было не до письма. Пришли корреспонденты из областной газеты.

— Да ведь что, товарищи?.. Хвалиться особо пока нечем. План выполняем... да, но...— Четыре шага по мягкому ковру в одну сторону, четыре — в другую, остановка перед корреспондентами, улыбка, которая помогала

ему всю жизнь. Недоброжелатели говорили про его улыбку: «Улыбочка-выручалочка».— План планом, а силенок хватит и на большее. Если не секретничать перед вами, то в ближайшем будущем думаем слегка перевалить за сто десять, сто пятнадцать. Думаем тут «схимичить» кое-что: продлить линию, не стопоря ее. Да. Расчеты есть, люди горячие в бой рвутся — одолеем.

Поснимался немного за столом, прошли в цех — там поснимались. Только там Николай Иваныч больше с рабочими и с мастерами говорил. Потом и совсем «сбагрил» корреспондентов главному инженеру, пришел опять в кабинет.

— Звонил Дмитрий Васильевич. Я сказала: в цехах.

— Соедините.

Разговр с Дмитрием Васильевичем получился хороший. На душе совсем повеселело.

Первый поток посетителей и звонков схлынул.

— Верочка!

— Да, Николай Иваныч?

— Меня пока нет. В цехе.

— Хорошо.

Николай Иваныч достал ночное письмо, повертел в руках, подумал... и сунул обратно в карман. Стал писать другое.

«Иван Семеныч! Здорово, старик! Вспомнил вот, решил написать. Как жив-здоров? Как работенка? Редко мы что-то пишем друг другу, ленимся, черти! У меня все нормально. Кручусь, верчусь... То я голову кому-то мою, то мне — так и идет. Скучать некогда. В общем, не унываю. Куда думаешь двинуть летом? Напиши, может, скооперируемся! Была у меня мысль: поехать нам с тобой в деревню нашу, да ведь... как говорят: не привязанный, а визжишь. Жены-то бунт поднимут. А деревня частенько снится. Давай, слушай, махнем куда-нибудь вместе? Только не в Гагры, ну их к черту. На Волгу куда-нибудь? Ты прозондируй свою половину, я свою: соблазним их кострами, рыбалкой, еще чем-нибудь. Остановимся где-нибудь в деревушке на берегу, снимем хатку... А? Давай, старик? Ей-богу, не скучно будет. Подумай. Настрой у меня боевой, дела двигаются, дети растут. В общем, железно, как у меня главный говорит. Не хандри, дыши носом!

Пиши на завод — лучше.

Обнимаю. Твой Николай».

— Верочка!
— Да, Николай Иваныч!
— Я у себя.
— Хорошо.

И опять пошло: «Я не разрешаю!..», «Пожалуйста! Приветствую, только приветствую!», «А вот тут надо подумать. Тут с кондачка не решишь. Посоветуемся».

...Вечером Николай Иваныч, пока готовился ужин, перечитал в своей комнате оба письма. Перечитал и долго-долго сидел молча. Потом бросил оба письма в стол и громко сказал:

— А черт его знает — как?
— Что ты? — спросила жена.
— Да так... я с собой. Как ужин?
— Сейчас будет готов. Ты ничем не расстроен?
— Нет, все в порядке. Подай газеты, пожалуйста.

1967

«РАСКАС»

От Ивана Петина ушла жена. Да как ушла!.. Прямо как в старых добрых романах — сбежала с офицером.

Иван приехал из дальнего рейса, загнал машину в ограду, отомкнул избу... И нашел на столе записку:

«Иван, извини, но больше с таким пеньком я жить не могу. Не ищи меня. Людмила».

Огромный Иван, не оглянувшись, грузно сел на табуретку — как от удара в лоб. Он почему-то сразу понял, что никакая это не шутка, это правда.

Даже с его способностью все в жизни переносить терпеливо, показалось ему, что этого не перенести: так нехорошо, больно сделалось под сердцем. Такая тоска и грусть взяла... Чуть не заплакал. Хотел как-нибудь думать и не мог — не думалось, а только больно ныло и ныло под сердцем.

Мелькнула короткая ясная мысль: «Вот она какая, большая-то беда». И все.

Сорокалетний Иван был не по-деревенски изрядно лыс, выглядел значительно старше своих лет. Его угрюмость и молчаливость не тяготили его, досадно только, что на это всегда обращали внимание. Но никогда не мог он помыслить, что мужика надо судить по этим качествам — всегда ли он весел и умеет ли складно говорить.

«Ну а как же?!»— говорила ему та же Людмила. Он любил ее за эти слова еще больше... и молчал. «Не в этом же дело,— думал,— что я тебе, политрук!» И вот — на́ тебе, она, оказывается, правда горевала, что он такой молчаливый и неласковый.

Потом узнал Иван, как все случилось.

Приехало в село небольшое воинское подразделение с офицером — помочь смонтировать в совхозе электроподстанцию. Побыли-то всего с неделю!.. Смонтировали и уехали. А офицер еще и семью тут себе «смонтировал».

Два дня Иван не находил себе места. Пробовал напиться, но еще хуже стало — противно. Бросил. На третий день сел писать рассказ в районную газету. Он частенько читал в газетах рассказы людей, которых обидели ни за что. Ему тоже захотелось спросить всех: как же так можно?!

Раскас

Значит было так: я приезжаю — на столе записка. Я ее не буду пирисказывать: она там обзываться начала. Главно я же знаю, почему она сделала такой финт ушами. Ей все говорили, что она похожа на какую-то артистку. Я забыл на какую. Но она дурочка не понимает: ну и что? Мало ли на кого я похожий, я и давай теперь скакать как блоха на зеркале. А ей когда говорили, что она похожая она прямо щастливая становилась. Она и в культ прасветшколу из-за этого пошла, она сама говорила. А еслив сказать кому што он на Гитлера похожий, то што ему тада остается делать: хватать ружье и стрелять всех подряд? У нас на фронте был один такой — вылитый Гитлер. Его потом куда-то в тыл отправили потому што нельзя так. Нет, этой все в город надо было. Там говорит меня все узнавать будут. Ну не дура! Она вобчем то не дура, но малость чокнутая нащет своей физиаломии. Да мало ли красивых — все бы и бегали из дому! Я же знаю он ей сказал: «Как вы здорово похожи на одну артистку!» Она конешно вся засветилась... Эх, учили вас учили государство деньги на вас тратила, а вы теперь сяли на шею обчеству и радешеньки! А гусударство в убытке.

Иван остановил раскаленное перо, встал, походил по избе. Ему нравилось, как он пишет, только насчет государства, кажется, зря. Он подсел опять к столу, зачеркнул «гусударство». И продолжал:

Эх вы!.. Вы думаете еслив я шофер, дак я ничего не понимаю? Да я вас наскрозь вижу! Мы гусударству пользу приносим вот этими самыми руками, которыми я счас пишу, а при стрече могу этими же самыми руками так засветить промеж глаз, што кое кто с неделю хворать будет. Я не угрожаю и нечего мне после этого пришивать, што я кому-то угрожал но при стрече могу разок угостить. А потому што это тоже неправильно: увидал бабенку боле или мене ничего на мордочку и сразу подсыпаться к ней. Увиряю вас хоть я и лысый, но кое кого тоже мог ба поприжать, потому што в рейсах всякие стречаются. Но однако я этого не делаю. А вдруг она чья нибудь жена? А они есть такие што может и промолчать про это. Кто же я буду перед мужиком, которому я рога надстроил! Я не лиходей людям.

Теперь смотрите што получается: вот она вильнула хвостом, уехала куда глаза глидят. Так? Тут семья нарушена. А у ей есть полная уверенность, што они там наладят новую? Нету. Она всего навсего неделю человека знала, а мы с ей четыре года прожили. Не дура она после этого? А гусударство деньги на ее тратила — учила. Ну, и где ж та учеба? Ее же плохому-то не учили. И родителей я ее знаю, они в соседнем селе живут хорошие люди. У ей между прочим брат тоже офицер старший лейтенант, но об нем слышно только одно хорошее. Он отличник боевой и политической подготовки. Откуда же у ей это пустозвонство в голове? Я сам удивляюсь. Я все для ей делал. У меня сердце к ей приросло. Кажный рас еду из рейса и у меня душа радуется: скоро увижу. И пожалуста: мне надстраивают такие рога! Да черт с ей не вытерпела там такой ловкач попался, што на десять минут голову потиряла... Я бы кач нибудь пережил это. Но зачем совсем то уезжать? Этого я тоже не понимаю. Как то у меня ни укладываится в голове. В жизни всяко бываит, бываит иной рас слабость допустил человек, но так вот одним разом всю жизнь рушить — зачем же так? Порушить-то ее лехко но снова складать трудно. А уж ей самой тридцать лет. Очень мне счас обидно, поэтому я пишу свой раскас. Еслив уж на то пошло у меня у самого три ордена и четыре медали. И я давно бы уж был ударником коммунистического труда, но у меня есть одна слабость: как выпью так начинаю материть всех. Это у меня тоже ни укладываится в голове, тверезый я совсем другой человек. А за рулем

меня никто ни разу выпимши не видал и никогда не увидит. И при жене Людмиле я за все четыре года ни разу не матернулся, она это может подтвердить. Я ей грубога слова никогда не сказал. И вот пожалуста она же мне надстраивает такие прямые рога! Тут кого хошь обида возьмет. Я тоже — не каменый.

С приветом Иван Петин.
Шофер 1 класса.

Иван взял свой «раскас» и пошел в редакцию, которая была неподалеку.

Стояла весна, и от этого еще хуже было на душе: холодно и горько. Вспомнилось, как совсем недавно они с женой ходили этой самой улицей в клуб — Иван встречал ее с репетиций. А иногда провожал на репетицию.

Он люто ненавидел это слово — «репетиция», но ни разу не выказал своей ненависти: жена боготворила репетиции, он боготворил жену. Ему нравилось идти с ней по улице, он гордился красивой женой. Еще он любил весну; когда она только-только подступала, но уже вовсю чувствовалась даже утра́ми, сердце сладко поднывало — чего-то ждалось. Весны и ждалось. И вот она наступила, та самая — нагая, раздрызганная и ласковая, обещающая земле скорое тепло, солнце... Наступила... А тут — глаза бы ни на что не глядели.

Иван тщательно вытер сапоги о замусоленный половичок на крыльце редакции и вошел. В редакции он никогда не был, но редактора знал: встречались на рыбалке.

— Агеев здесь? — спросил он у женщины, которую часто видел у себя дома и которая тоже бегала в клуб на репетиции. Во всяком случае, когда ему доводилось слушать их разговор с Людмилой, это были все те же «репетиция», «декорация». Увидев ее сейчас, Иван счел нужным не поздороваться; больно дернуло за сердце.

Женщина с любопытством и почему-то весело посмотрела на него.

— Здесь. Вы к нему?

— К нему... Мне надо тут по одному делу. — Иван прямо смотрел на женщину и думал: «Тоже небось кому-нибудь рога надстроила — веселая».

Женщина вошла в кабинет редактора, вышла и сказала:

— Пройдите, пожалуйста.

Редактор — тоже веселый, низенький... Несколько больше, чем нужно бы при его росте, полненький, кругленький, тоже лысый. Встал навстречу из-за стола.

— А?! — воскликнул он и показал на окно.— На нас, на нас времечко-то работает! Не пробовали еще переметами?..

— Нет.— Иван всем видом своим хотел показать, что ему не до переметов сейчас.

— Я в субботу хочу попробовать.— Редактора все не покидало веселое настроение.— Или не советуете? Просто терпения нет...

— Я раскас принес,— сказал Иван.

— Рассказ? — удивился редактор.— Ваш рассказ? О чем?

— Я тут все описал.— Иван подал тетрадку.

Редактор полистал ее... Посмотрел на Ивана. Тот серьезно и мрачновато смотрел на него.

— Хотите, чтоб я сейчас прочитал?

— Лучше бы сейчас...

Редактор сел в кресло и стал читать. Иван остался стоять и все смотрел на веселого редактора и думал: «Наверно, у него тоже жена на репетиции ходит. А ему хоть бы что — пусть ходит! Он сам сумеет про эти всякие «декорации» поговорить. Он про все сумеет».

Редактор захохотал.

Иван стиснул зубы.

— Ах, славно! — воскликнул редактор. И опять захохотал, так что заколыхался его упругий животик.

— Чего славно? — спросил Иван.

Редактор перестал смеяться... Несколько даже смутился.

— Простите... Это вы — о себе? Это ваша история?

— Моя.

— Кхм... Извините, я не понял.

— Ничего. Читайте дальше.

Редактор опять уткнулся в тетрадку. Он больше не смеялся, но видно было, что он изумлен и ему все-таки смешно. И чтоб скрыть это, он хмурил брови и понимающе делал губы «трубочкой». Он дочитал.

— Вы хотите, чтоб мы это напечатали?

— Ну да.

— Но это нельзя печатать. Это не рассказ...

— Почему? Я читал, так пишут.

— А зачем вам нужно это печатать? — Редактор действительно смотрел на Ивана сочувственно и серьезно.— Что это даст? Облегчит ваше... горе?

Иван ответил не сразу.

— Пускай они прочитают... там.

— А где они?

— Пока не знаю.

— Так она просто не дойдет до них, газетка-то наша!

— Я найду их... И пошлю.

— Да нет, даже не в этом дело! — Редактор встал и прошелся по кабинету.— Не в этом дело. Что это даст? Что, она опомнится и вернется к вам?

— Им совестно станет.

— Да нет! — воскликнул редактор.— Господи... Не знаю, как вам... Я вам сочувствую, но ведь это глупость, что мы сделаем! Даже если я отредактирую это.

— Может, она вернется.

— Нет! — громко сказал редактор.— Ах ты, господи!..— Он явно волновался.— Лучше напишите письмо. Давайте вместе напишем?

Иван взял тетрадку и пошел из редакции.

— Подождите! — воскликнул редактор.— Ну давайте вместе — от третьего лица...

Иван прошел приемную редакции, даже не глянув на женщину, которая много знала о «декорациях» и «репетициях»...

Он направился прямиком в чайную. Там взял «полкило» водки, выпил сразу, не закусывая, и пошел домой — в мрак и пустоту. Шел, засунув руки в карманы, не глядел по сторонам. Все как-то не наступало желанное равновесие в душе его. Он шел и молча плакал. Встречные люди удивленно смотрели на него... А он шел и плакал. И ему было не стыдно. Он устал.

1967

В ПРОФИЛЬ И АНФАС

На скамейке, у ворот, сидел старик. Он такой же усталый, тусклый, как этот теплый день к вечеру. А было и у него раннее солнышко, и он шагал по земле и легко чувствовал ее под ногами. А теперь — вечер, спокойный, с дымками по селу.

На скамейку присел длиннорукий худой парень с морщинистым лицом. Такие только на вид слабые, на деле выносливые, как кони.

Парень тяжело вздохнул и стал закуривать.

— Гуляешь? — спросил старик.

— Это не гульба, дед,— не сразу сказал Иван.— Собачьи слезы. У тебя нет полтора рубля?

— Откуда?

— Башка лопается по швам.

— Как с работой-то?

— Никак. Бери, говорит, вилы да на скотный двор.

— Это кто, директор?

— Ну да. А у меня три специальности в кармане да почти девять классов образования. Ишачь сам, если такой сознательный.

— На сколь отобрали права-то?

— На год. А я выпил-то всего кружку пива! Да красенького стакан. А он придрался... С прошлого года караулил, гад. Я его тогда матом послал, он окрысился...

— Ты уж какой-то... шибко неуживчивый, парень. Надо маленько аккуратней. Чего вот теперь с ими сделаешь? Они — начальство...

— Ну и что?

— Ну и сиди теперь. Три специальности, а будешь сидеть. Где и смолчать надо.

Жгли ботву в огородах — скоро пахать. И каждый год одно и то же, а все не надоест человеку и все вдыхал бы и вдыхал этот горьковатый, прелый запах дыма и талой земли.

— Где и смолчать надо, парень,— повторил старик, глядя на огоньки в огородах.— Наше дело такое.

— Да я особо-то не лаюсь,— неохотно откликнулся Иван.— Если уж прицепится какой... Главное, я же правила-то не нарушал! — опять горько воскликнул он.— За стакан вина да за кружку пива — на год лишать человека!.. Паразит.

— Заглянь через плетень, моя старуха в огороде?

— Зачем?

— У меня под печкой бутылка самогонки есть. Я б те вынес похмелиться-то.

Иван поспешно встал, заглянул в огород.

— Там,— сказал он,— в дальнем углу. Сюда — ноль внимания.

Старик сходил в дом, принес бутылку самогона и немного ботуну. И стакан.

— Что ж ты сразу не сказал? — заторопился Иван.— Сидит помалкивает!..— Он налил стакан и одним духом оглушил.— Я вот такой больше люблю, чем первач. Этот с вонью, как бензин,— долго не будешь раздумывать. Кха!.. Пей. Сразу только.

Старик выпил не торопясь, закусил ботуном.

— Как бензин, верно?

— Самогон как самогон. Какой бензин?

— Ну вот! — Иван хлопнул себя ладонью в грудь.— Теперь можно жить. Спасибо, дед. Хошь моих? — Протянул пачку «Памира».

Старик с трудом ухватил негнущимися пальцами сигаретку, помял-помял, посмотрел на нее внимательно, прикурил.

— Петька-то пишет?

— Пишет. Помру я скоро, Иван.

Иван удивленно посмотрел на старика.

— Брось ты!..

— Хошь брось, хошь положь... на месте будет.— Старик говорил спокойно.

— Болит, што ль, чего?

— Нет. Чую. Тебе столько годов будет, тоже учуешь.

Ивану сделалось хорошо от самогона, не хотелось говорить про смерть.

— Брось! — сказал он.— Поживешь. Гармонь, што ль, принесть?

— Неси.

Иван перешел через дорогу, вошел в дом... И его долго не было. Потом вышел с гармошкой, но опять хмурый.

— Мать,— сказал он.— Жалко вообще-то...

— Все жа ехать хошь?

— Ну а что делать-то? — Иван, видно, только что так говорил с матерью.— Не могу же я на этот... Да ну — к черту совсем! Я Северным морским путем прошел... Я моторист, слесарь пятого разряда... Ну ладно, год не буду ездить, но неужели... Да ну — к черту! — Он тронул гармонь, что-то такое попробовал и бросил. Ему стало грустно.— Не везет мне тоже, дед. Крепко. Женился на Дальнем Востоке, так? Родилась дочка... А она делает фортель и уезжает к мамочке в Ленинград. Ты понял? — Он часто рассказывал, как он женился.

— Пошто в Ленинград-то?

— Она на Дальнем Востоке за техникум отрабатывала. Да мне ее-то — черт с ней, мне дочь жалко. Снится.

— К ей теперь поедешь?

— К жене?! Она второй год замужем... Молодая красивая кыса.

— А куда?

— К корешу одному... На шахты. Может, не на все время. Может, на год...

— На год у вас теперь не получается. Шибко уж легко стали из дому уходить.

— Ну а что я тут буду делать-то?! — опять взвился Иван.— На этот идти, на... Да ну, к черту! — Он развернул гармонь, заиграл и стал подпевать — как-то нарочно весело, зло:

Вот живу я с женщиной,
 Ум-па-ра-ра-ра!
А вот уходит женщина
 Д от меня.
Напугалась, лапушка?
 Кончена игра!..

Старик все так же спокойно слушал.

— Сам сочиняю,— сказал Иван.— На ходу прямо. Могу всю ночь петь.

А мы не будем кланяться —
 В профиль и анфас;
В золотой оправушке...

— Баламут ты, Ванька,— сказал старик.— Ну, пошел ба, поработал год на свинарнике... Мать не жалеешь. Она всю жись и так одна прожила.

Иван перестал играть, долго молчал.

— Не в этом дело, дед. Мне обидно. Что, думаешь, у них не нашлось бы места, где устроить меня? Что, им один лишний слесарь помешает? Я тебя умоляю!.. Директор на меня тоже зуб имеет. Я его дочку пару раз проводил из клуба, он стал опасаться. А там можно опасаться: полудурок. А я трепаться умею... Я б ему сделал подарок. Зря, между прочим, не сделал.

— Чтоб в подоле принесла? Подарок-то?

— Ага. Скромный такой. К восьмому марта.

— Это вы умеете.

— Вообще грустно, дед. Почему так? Ничего неохота... как это... как свидетель. Я один раз свидетелем был:

один другому дал по очкам, у того зрение нарушилось. И вот сижу я на суде и не могу понять: я-то зачем здесь? Самое ж дурацкое дело! Ну, видел — и все. Измучился, пока суд шел.— Иван посмотрел на огоньки в огородах, вздохнул, помолчал.— Так и здесь. Сижу и думаю: «А я при чем здесь?» Суд хоть длинный был, но кончился, и я вышел. А здесь куда выйдешь? Не выйдешь.

— Отсюда одна дорога — на тот свет.

Иван налил в стакан, выпил.

— Нет счастья в жизни,— сказал он и сплюнул.— Тебе налить?

— Будет.

— Вот тебе хорошо было жить?

Старик долго молчал.

— В твои годы я так не думал,— негромко заговорил он.— Знал работал за троих. Сколько одного хлеба вырастил!.. Собрать ба весь, наверно, с год все село кормить можно было. Некогда было так думать.

— А я не знаю, для чего я работаю. Ты понял? Вроде нанялся, работаю. Но спроси: «Для чего?»— не знаю. Неужели только нажраться? Ну, нажрался... А дальше что? — Иван серьезно спрашивал, ждал, что старик скажет.— Что дальше-то? Душа все одно вялая какая-то...

— Заелись,— пояснил старик.

— И ты не знаешь. У вас никакого размаха не было, поэтому вам хватало... Вы дремучие были. Как вы-то жили, я так сумею. Мне чего-то больше надо.

— Налей-ка,— попросил старик. Выпил, тоже сплюнул.— Сороконожки,— вдруг зло сказал он.— Суетитесь на земле — туда-сюда, туда-сюда, а толку никакого. Машин понаделали, а... тьфу! Рак-то, он от чего? От бензина вашего, от угару. Скоро детей рожать разучитесь...

— Не скажи.

— И чуют ведь, что неладно живут, а все хорохорятся. «Разма-ах»! А чего гнусишь тогда?

— Чего эт тебя заело-то? Что дремучими вас назвал? А какие же вы?

— Лодыри вы. Светлые. Вы ведь как нонче: ему, подлецу, за ездку рупь двадцать кладут — можно четыре рубля в день заробить, а он две ездки делает и коней выпрягает. А сам — хоть об лоб поросят бей — здоровый. А мне двадцать пять соток за ездку начисляли, и я по пять ездок делал, да на трех, на четырех подво-

дах. Трудодень заробишь, да год ждешь, сколь тебе на его отвалят. А отваливали — шиш с маслом. И вы же ноете: не знаю, для чего робить! Тебе полторы тыщи в месяц неохота заробить, а я за такие-то денюжки все лето горбатился.

— А мне не надо столько денег,— словно подзадоривая старика, сказал Иван.— Ты можешь это понять? Мне чего-то другого надо.

— Не надо, а полтора рубля — похмелиться — нету. Ходишь как побирушка... Не надо ему! Мать-то высохла на работе. Черти... Лодыри. Солнышко-то ишо вон где, а они уж с пашни едут. Да на машинах, с песнями!.. Эх... работники. Только по клубам засвистывать, подарки отцам мастерить...

— Нет, уж такой жизни теперь не будет, чтоб... Вообще ты формально прав, но ведь конь тоже работает...

— Позорно ему на свинарнике поработать! А мясо не позорно исть?

— Не поймешь, дед,— вздохнул Иван.

— Где нам!

— Я тебе говорю: наелся. Что дальше? Я не знаю. Но я знаю, что это меня не устраивает. Я не могу только на один желудок работать.

Эх, на один желудочек,
На-нина-ни-на...—

пропел он.

Старик усмехнулся.

— Обормот. Жена-то пошто ушла? Пил небось?

— Я не фраер, дед, я был классный флотский специалист. Ушла-то?.. Не знаю. Именно потому, что я не был фраером.

— Кем не был?

— Это так...— Иван поставил гармонь на лавку, закурил, долго молчал. И вдруг не дурашливо, а с какой-то затаенной тревогой, даже болью сказал: — А правда ведь не знаю, зачем живу.

— Жениться надо.

— Удивляюсь. Я же не дурак. Но чем успокоить душу? Чего она у меня просит? Как я этого не пойму!

— Женись, маяться перестанешь. Не до этого будет.

— Нет, тоже не то. Я должен сгорать от любви. А где тут сгоришь!.. Не понимаю: то ли я один такой дурак, то ли все так, но помалкивают... Веришь, нет:

ночью думаю-думаю — до того плохо станет, хоть кричи. Ну зачем?!

— Тьфу! — Старик покачал головой.— Совсем испортился народишко.

А день тихо умирал, истлевал в теплой сырости. Темней и темней становилось. Огоньки в огородах заблестели ярче. И все острее пахло дымом. Долго еще будут жечь ботву и переговариваться. И голоса будут звучать отчетливо, а шум и возня в деревне будут стихать. И совсем уже темно станет. Огоньки в огородах станут гаснуть. И где-нибудь, совсем близко, звучный мужской голос скажет:

— Ну, пошли, ладно.

Насколько тихо, спокойно и грустно уходит прожитый день, настолько звонко, светло и горласто приходит новый. Петушня орет по селу. Суетятся люди, торопятся. Опаздывают.

Иван поднялся рано. Посидел на кровати, посмотрел в пол. Плохо было на душе, муторно. Стал одеваться.

Мать топила печку; опять пахло дымом, но только это был иной запах — древесный, сухой, утренний. Когда мать выходила на улицу и открывала дверь, с улицы тянуло свежестью, той свежестью, какая исходит от лужиц, подернутых светлым, как стеклышко, ледком; от комков земли, окропленных мелким бисером изморози; от вчерашних кострищ в огородах, зола которых седая, и влажная, и тяжелая; от палого листа, который отсырел с весной, но все равно, когда идешь, громко шуршит под ногами.

— Может, я схожу к директору-то, попрошу?..— заговорила мать.

Иван брился.

— Еще чего! В ноги упади — он довольный будет.

— Ну а как жа теперь? — Мать старалась говорить не просительно, как можно убедительней — понимала: разговор, наверно, последний.— Ходют люди, просют. Язык-то не отсохнет...

— Я ходил. Просил.

— Да знаю я тебя, тугоносого, как ты просил! Лаяться только умеете...

— Хватит, мам.

Мать больше не выдержала, села на приступку и заплакала тихонько и запричитала:

— Куда вот собрался? К черту на кулички... То ли уж на роду мне написано весь свой век мучиться. Пошто жа, сынок, только про себя думаешь?..

Иван знал: будут слезы. И оттого было так плохо на душе, щемило даже. И оттого он хмурился раньше времени.

— Да што ты меня... на войну, што ли, провожаешь? Што я там?.. Да ну, к шутам все! И вечно — слезы!.. Мне уж от этих слез житья нету.

— Сходила ба, попросила — не каменный он, подыскал ба чего-нибудь. А то к инспектору сходи... Што уж сразу так — уезжать. Вон у Кольки Завьялова тоже права отбирали, сходил парень-то, поговорил... С людьми поговорить надо...

— Они уж в милиции, права-то. Поздно.

— Ну в милицию съездил ба...

— Хо-о! — изумился Иван.— Ну ты даешь!

— Господи, господи... Всю жись вот так. И за што мне такая доля злосчастная! Проклятая я, што ли...

Невмоготу становилось. Иван вышел во двор, умылся под рукомойником, постоял в одной майке у ворот... Посмотрел на село. Все он тут знал. И томился здесь, в этих переулках, лунными ночами... А крепости желанной в душе перед дальней дорогой не ощущал. Он не боялся ездить, но нужна крепость в душе и немножко надо веселей уезжать.

Вывернулся откуда-то пес Дик, красивый, но шалавый, кинулся с лаской.

— Ну!— Иван откинул пса, пошел в дом.

Мать накрывала на стол.

— Ну, поработал ба на свинарнике...

Они настойчивые, матери. И беспомощные.

— Ни под каким лозунгом,— твердо сказал Иван.— Вся деревня смеяться будет. Я знаю, для чего он меня хочет на свинарник загнать... Только у него ничего не выйдет.

— Господи, господи...

...Позавтракали.

Мать уложила все в чемодан и тут же села на пол у раскрытого чемодана и опять заплакала. Только не причитала теперь.

— С годок поработаю и приеду. Чего ты?..

Мать вытерла слезы.

— Может, схожу, сынок? — Посмотрела снизу на сы-

на, и из глаз прямо плеснулось горе, и мольба, и надежда, и отчаяние.— Упрошу его... Он хороший мужик.

— Мам... Мне тоже тяжело.

— А может, сунуть кому-нибудь в милиции-то? Што, думаешь, не берут? Счас, не взяли! Колька Завьялов, думаешь, не сунул? Сунул... Счас, отдали так-то.

— Тут неизвестно, кто кому сунет: я им или они мне.

Предстояло прощание с печкой. Всякий раз, когда Иван куда-нибудь уезжал далеко, мать заставляла его трижды поцеловать печь и сказать: «Матушка печь, как ты меня поила и кормила, так благослови в дорогу дальнюю». Причем всякий раз она напоминала, как надо сказать, хоть Иван давно уж запомнил слова.

Иван трижды ткнулся в теплый лоб печки и сказал:

— Матушка печь, как ты меня поила и кормила, так благослови в дорогу дальнюю.

...И пошли по улице: мать, сын и собака.

Ивану не хотелось, чтоб мать провожала его, не хотелось, чтоб люди глазели в окна и говорили: «Ванька-то... уезжает, што ль, куда?»

Попался навстречу дед, с которым они вчера беседовали на сон грядущий.

Иван остановился. Он подумал, что, постояв, мать не пойдет дальше, а повернет и уйдет с соседом.

— Поехал?

— Поехал.

Закурили.

— Рыбачил, што ль?

— Попробовал поставил перемётишки... Рано ишо.

— Рано.

Мать стояла рядом, сцепив на фартуке руки, не слушала разговор, бездумно, не то задумчиво глядела в ту сторону, куда уезжал сын.

— Не пей там,— посоветовал дед.— Город — он и есть город — чужие все. Пообвыкни сперва...

— Што я, алкаш, што ли?

Еще постояли.

— Ну, с богом! — сказал старик.

— Бывай.

Старик пошел своей дорогой. Иван посмотрел на мать... Она, все так же глядя вперед, пошла, куда им надо идти. Иван пошел рядом.

Прошли немного.

— Мам... иди домой.

Мать послушно остановилась. Иван слегка приобнял ее... Голова ее затряслась у него на груди. Вот этот-то момент и есть самый тяжелый. Надо сейчас оторвать ее от себя, отвернуться и уйти.

— Ладно, мам... Иди. Я сразу письмо напишу. Как приеду, так... Ничего со мной не случится! Не ездют, што ль, люди? Иди.

Мать перекрестила его... И осталась стоять. А Иван уходил.

Глупый пес увязался за ним. Он всегда ходил с хозяином на работу.

— Пошел! — сердито сказал Иван.

Дик повилял хвостом и продолжал бежать впереди.

— Дик! Дик! — позвал Иван.

Дик подбежал. Иван больно пнул его, пес заскулил, отбежал в сторону. И с удивлением смотрел на хозяина. Иван обернулся. Дик вильнул хвостом, тронулся было с места, но не побежал, остался стоять. И все так же удивленно смотрел на хозяина.

А подальше стояла мать...

«Нет, надо на свете одному жить. Тогда легко будет»,— думал Иван, стиснув зубы. И скоро вышагивал по улице — к автобусу.

1967

ДУМЫ

И вот так каждую ночь!

Как только маленько угомонится село, уснут люди — он начинает... Заводится, паразит, с конца села и идет. Идет и играет.

А гармонь у него какая-то особенная — орет. Не голосит — орет.

Нинке Кречетовой советовали:

— Да выходи ты скорей за него! Он же, черт, житья нам не даст.

Нинка загадочно усмехнулась:

— А вы не слухайте. Вы спите.

— Какой же сон, когда он ее под самыми окнами растягивает. Ведь не идет же, черт блажной, к реке, а здесь старается! Как нарочно.

Сам Колька Малашкин, губастый верзила, нахально смотрел маленькими глазами и заявлял:

— Имею право. За это никакой статьи нет.

Дом Матвея Рязанцева, здешнего председателя колхоза, стоял как раз на том месте, где Колька выходил из переулка и заворачивал в улицу. Получалось, что гармонь еще в переулке начинала орать, потом огибала дом, и еще долго ее было слышно.

Как только она начинала звенеть в переулке, Матвей садился в кровати, опускал ноги на пол и говорил:

— Все: завтра исключу из колхоза. Придерусь к чему-нибудь и исключу.

Он каждую ночь так говорил. И не исключал. Только, когда встречал днем Кольку, спрашивал:

— Ты долго будешь по ночам шляться? Люди после трудового дня отдыхают, а ты будишь, звонарь!

— Имею право,— опять говорил Колька.

— Я вот те покажу право! Я те найду право!

И все. И на этом разговор заканчивался.

Но каждую ночь Матвей, сидя на кровати, обещал:

— Завтра исключу.

И потом долго сидел после этого, думал... Гармонь уже уходила в улицу, и уж ее не слышно было, а он все сидел. Нашаривал рукой брюки на стуле, доставал из кармана папиросы, закуривал.

— Хватит смолить-то! — ворчала Алена, хозяйка.

— Спи,— кратко говорил Матвей.

О чем думалось? Да так как-то... ни о чем. Вспоминалась жизнь. Но ничего определенного, смутные обрывки. Впрочем, в одну такую ночь, когда было светло от луны, звенела гармонь и в открытое окно вливался с прохладой вместе горький запах полыни из огорода, отчетливо вспомнилась другая ночь. Она была черная, та ночь. Они с отцом и с младшим братом Кузьмой были на покосе километрах в пятнадцати от деревни, в кучугурах. И вот ночью Кузьма захрипел: днем в самую жару потный напился воды из ключа, а ночью у него «завалило» горло. Отец разбудил Матвея, велел поймать Игреньку (самого шустрого меринка) и гнать в деревню за молоком.

— Я тут пока огонь разведу... Привезешь, скипятим — надо отпаивать парня, а то как бы не решился он у нас,— говорил отец.

Матвей слухом угадал, где пасутся кони, взнуздал Игреньку и, нахлестывая его по бокам волосяной путой, погнал в деревню. И вот... Теперь уж Матвею скоро шестьдесят, а тогда лет двенадцать-тринадцать было — все помнится та ночь. Слились воедино конь и человек и ле-

тели в черную ночь. И ночь летела навстречу им, густо била в лицо тяжким запахом трав, отсыревших под росой. Какой-то дикий восторг обуял парнишку; кровь ударила в голову и гудела. Это было как полет — как будто оторвался он от земли и полетел. И ничего вокруг не видно: ни земли, ни неба, даже головы конской — только шум в ушах, только ночной огромный мир стронулся и понесся навстречу. О том, что там братишке плохо, совсем не думал тогда. И ни о чем не думал. Ликовала душа, каждая жилка играла в теле... Какой-то такой желанный, редкий миг непосильной радости.

...Потом было горе. Потом он привез молоко, а отец, прижав младшенького к груди, бегал вокруг костра и вроде баюкал его:

— Ну, сынок... ты что же это? Обожди маленько. Обожди маленько. Счас молочка скипятим, счас продохнешь, сынок, миленький... Вон Мотька молочка привез!..

А маленький Кузьма задыхался уже, посинел.

Когда вслед за Матвеем приехала мать, Кузьма был мертв. Отец сидел, обхватив руками голову, и покачивался, и глухо и протяжно стонал. Матвей с удивлением и с каким-то странным любопытством смотрел на брата. Вчера еще возились с ним в сене, а теперь лежал незнакомый, иссиня-белый чужой мальчик.

...Только странно: почему же проклятая гармонь оживила в памяти именно эти события? Эту ночь? Ведь потом была целая жизнь: женитьба, коллективизация, война. И мало ли еще каких ночей было-перебыло! Но все как-то стерлось, поблекло. Всю жизнь Матвей делал то, что надо было делать: сказали, надо идти в колхоз,— пошел, пришла пора жениться — женился, рожали с Аленой детей, они вырастали... Пришла война — пошел воевать. По ранению вернулся домой раньше других мужиков. Сказали: «Становись, Матвей, председателем. Больше некому». Стал. И как-то втянулся в это дело, и к нему тоже привыкли, так до сих пор и тянет эту лямку. И всю жизнь была на уме только работа, работа, работа. И на войне тоже — работа. И все заботы, и радости, и горести связаны были с работой. Когда, например, слышал вокруг себя —«любовь», он немножко не понимал этого. Он понимал, что есть на свете любовь, он сам, наверно, любил когда-то Алену (она была красивая в девках), но чтоб сказать, что он что-нибудь знает про это больше,— нет. Он и других подозревал, что притворяют-

ся: песни поют про любовь, страдают, слышал даже — стреляются... Не притворяются, а привычка, что ли, такая у людей: надо говорить про любовь — ну давай про любовь. Дело-то все в том, что жениться надо! Что он, Колька, любит, что ли? Глянется ему, конечно, Нинка — здоровая, гладкая. А время подперло жениться, ну и ходит, дурак, по ночам, «тальянит». А чего не походить? Молодой, силенка играет в душе... И всегда так было. Хорошо еще, не дерутся теперь из-за девок, раньше дрались. Сам Матвей не раз дрался. Да ведь тоже так — кулаки чесались, и силенка опять же была. Надо же ее куда-нибудь девать.

Один раз Матвей, когда раздумался так вот, сидя на кровати, не вытерпел, толкнул жену:

— Слышь-ка!.. Проснись, я у тебя спросить хочу...

— Чего ты? — удивилась Алена.

— У тебя когда-нибудь любовь была? Ко мне или к кому-нибудь? Неважно.

Алена долго лежала, изумленная.

— Ты никак выпил?

— Да нет!.. Ты любила меня или так... по привычке вышла? Я сурьезно спрашиваю.

Алена поняла, что муж не «хлебнувши», но опять долго молчала — она тоже не знала, забыла.

— Чего это тебе такие мысли в голову полезли?

— Да охота одну штуку понять, язви ее. Что-то на душе у меня... как-то... заворошилось. Вроде хвори чего-то.

— Любила, конечно! — убежденно сказала Алена.— Не любила, так не пошла бы. За мной Минька-то Королев вон как ударял. Не пошла же. А чего ты про любовь спомнил середь ночи? Заговариваться, что ли, начал?

— Пошла ты! — обиделся Матвей.— Спи.

— Коровенку выгони завтра в стадо, я забыла сказать. Мы уговорились с бабами до свету за ягодами идти.

— Куда? — насторожился Матвей.

— Да не на покосы на твои, не пужайся.

— Поймаю — штраф по десять рублей.

— Мы знаем одно местечко, где не косят, а ягоды красным-красно. Выгони коровенку-то.

— Ладно.

Так что же все-таки было в ту ночь, когда он ехал за молоком брату, что она возьми и вспомнись теперь?

«Дурею, наверно,— грустно думал Матвей.— К старости все дуреют».

А хворь в душе не унималась. Он заметил, что стал даже поджидать Кольку с его певучей «гармозой». Как его долго нет, он начинал беспокоиться. И сердился на Нинку: «Телка гладкая!.. Рази ж она скоро отпустит!»

И сидел и поджидал. Курил.

И вот далеко в переулке начинала звенеть гармонь. И поднималась в душе хворь. Но странная какая-то хворь — желанная. Без нее чего-то не хватает.

Еще вспоминались какие-то утра... Идешь по траве босиком. Она вся бусая от росы. И только след остается — ядовито-зеленый. И роса обжигает ноги. Даже теперь зябко ногам, как вспомнишь.

А то вдруг про смерть подумается: что скоро — все. Без страха, без боли, но как-то удивительно: все будет так же, это понятно, а тебя отнесут на могилку и зароют. Вот трудно-то что понять: как же тут будет все так же? Ну, допустим, понятно: солнышко будет вставать и заходить — оно всегда встает и заходит. Но люди какие-то другие в деревне будут, которых никогда не узнаешь... Этого никак не понять. Ну, лет десять-пятнадцать будут еще помнить, что был такой Матвей Рязанцев, а потом — все. А охота же узнать, как они тут будут. Ведь и не жалко ничего вроде: и на солнышко насмотрелся вдоволь, и погулял в празднички — ничего, весело бывало, и... Нет, не жалко. Повидал много. Но как подумаешь: нету тебя, все есть какие-то, а тебя больше не будет... Как-то пусто им вроде без тебя будет. Или ничего?

«Тьфу!.. Нет, старею».

Даже устал от таких дум.

— Слышь-ка!.. Проснись,— будил Матвей жену.— Ты смерти страшисся?

— Рехнулся мужик! — ворчала Алена.— Кто ее не страшится, косую?

— А я не страшусь.

— Ну дак и спи. Чего думать-то про это?

— Спи, ну тя!..

Но как вспомнится опять та черная оглушительная ночь, когда он летел на коне, так сердце и сожмет — тревожно и сладко. Нет, что-то есть в жизни, чего-то ужасно жалко. До слез жалко.

А в одну ночь он не дождался Колькиной гармошки. Сидел курил... А ее все нет и нет. Так и не дождался. Измаялся.

К свету Матвей разбудил жену.

— Чего эт звонаря-то нашего не слышно?

— Да женился уж! В воскресенье свадьбу намечают.

Тоскливо сделалось Матвею. Он лег, хотел заснуть и не мог. Так до самого рассвета лежал, хлопал глазами. Хотел еще чего-нибудь вспомнить из своей жизни, но как-то совсем ничего не приходило в голову. Опять навалились колхозные заботы... Косить скоро, а половина косилок у кузницы стоит с задранными оглоблями. А этот черт косой, Филя-кузнец, гуляет. Теперь еще на свадьбу зальется, считай, неделя улетела.

«Завтра поговорить надо с Филей».

...Встретив на другой день Кольку губастого, Матвей усмехнулся:

— Что, брат, доигрался?

Колька заулыбался... А улыбка у него — от уха до уха.

— Все, Матвей Иваныч, больше не буду будить вас по ночам. Конец. Бросил якорь.

— Ну, ну,— сказал Матвей и пошел по своим делам, а сам думал: «Чего ты радуешься, бычок? Она тебя возьмет теперь за рога, Нинка-то. Они все, Кречетовы, такие».

Прошла неделя.

Все так же лился ночами лунный свет в окна, резко пахло из огорода полынью и молодой картофельной ботвой... И было тихо.

Матвей плохо спал. Просыпался, курил... Ходил в сени пить квас. Выходил на крыльцо, садился на приступку и курил. Светло было в деревне. И ужасающе тихо.

1967

ЧУДИК

Жена называла его «Чудик». Иногда ласково.

Чудик обладал одной особенностью: с ним постоянно что-нибудь случалось. Он не хотел этого, страдал, но то и дело влипал в какие-нибудь истории — мелкие, впрочем, но досадные.

Вот эпизоды одной его поездки.

Получил отпуск, решил съездить к брату на Урал: лет двенадцать не виделись.

— А где блесна такая... на подвид битюря?! — орал Чудик из кладовой.

— Я откуда знаю.

— Да вот же ж все тут лежали! — Чудик пытался строго смотреть круглыми иссиня-белыми глазами.— Все тут, а этой, видите ли, нету.

— На битюря похожая?

— Ну. Щучья.

— Я ее, видно, зажарила по ошибке.

Чудик некоторое время молчал.

— Ну и как?

— Что?

— Вкусная? Ха-ха-ха!..— Он совсем не умел острить, но ему ужасно хотелось.— Зубки целые? Она ж дюралевая!..

...Долго собирались — до полуночи.

А рано утром Чудик шагал с чемоданом по селу.

— На Урал! На Урал! — отвечал он на вопрос: куда это он собрался? При этом круглое мясистое лицо его, круглые глаза выражали в высшей степени плевое отношение к дальним дорогам — они его не пугали.— На Урал! Надо прошвырнуться.

Но до Урала было еще далеко.

Пока что он благополучно доехал до районного города, где предстояло ему взять билет и сесть в поезд.

Времени оставалось много. Чудик решил пока накупить подарков племяшам — конфет, пряников... Зашел в продовольственный магазин, пристроился в очередь. Впереди него стоял мужчина в шляпе, а впереди шляпы — полная женщина с крашеными губами. Женщина негромко, быстро, горячо говорила шляпе:

— Представляете, насколько надо быть грубым, бестактным человеком! У него склероз, хорошо, у него уже семь лет склероз, однако никто не предлагал ему уходить на пенсию. А этот без году неделя руководит коллективом — и уже: «Может, вам, Александр Семеныч, лучше на пенсию?» Нах-хал!

Шляпа поддакивала.

— Да, да... Они такие теперь. Подумаешь — склероз. А Сумбатыч?.. Тоже последнее время текст не держал. А эта, как ее?..

Чудик уважал городских людей. Не всех, правда: хулиганов и продавцов не уважал. Побаивался.

Подошла его очередь. Он купил конфет, пряников, три плитки шоколада. И отошел в сторонку, чтобы уложить все в чемодан. Раскрыл чемодан на полу, стал укладывать... Глянул на пол, а у прилавка, где очередь, лежит в ногах у людей пятидесятирублевая бумажка. Этакая зеленая дурочка, лежит себе, никто ее не видит. Чудик даже задрожал от радости, глаза загорелись. Второпях, чтобы его не опередил кто-нибудь, стал быстро соображать, как бы повеселее, поостроумнее сказать этим, в очереди, про бумажку.

— Хорошо живете, граждане! — сказал он громко и весело.

На него оглянулись.

— У нас, например, такими бумажками не швыряются.

Тут все немного поволновались. Это ведь не тройка, не пятерка — пятьдесят рублей, полмесяца работать надо. А хозяина бумажки нет.

«Наверно, тот, в шляпе»,— догадался Чудик.

Решили положить бумажку на видное место на прилавке.

— Сейчас прибежит кто-нибудь,— сказала продавщица.

Чудик вышел из магазина в приятнейшем расположении духа. Все думал, как зто у него легко, весело получилось: «У нас, например, такими бумажками не швыряются!»

Вдруг его точно жаром обдало: он вспомнил, что точно такую бумажку и еще двадцатипятирублевую ему дали в сберкассе дома. Двадцатипятирублевую он сейчас разменял, пятидесятирублевая должна быть в кармане... Сунулся в карман — нету. Туда-сюда — нету.

— Моя была бумажка-то! — громко сказал Чудик.— Мать твою так-то!.. Моя бумажка-то.

Под сердцем даже как-то зазвенело от горя. Первый порыв был пойти и сказать: «Граждане, моя бумажка-то. Я их две получил в сберкассе: одну двадцатипятирублевую, другую полусотенную. Одну, двадцатипятирублевую, сейчас разменял, а другой — нету». Но только он представил, как он огорошит всех этим своим заявлением, как подумают многие: «Конечно, раз хозяина не нашлось, он и решил прикарманить». Нет, не пересилить

себя, не протянуть руку за этой проклятой бумажкой. Могут еще и не отдать...

— Да почему же я такой есть-то? — вслух горько рассуждал Чудик.— Что теперь делать?..

Надо было возвращаться домой.

Подошел к магазину, хотел хоть издали посмотреть на бумажку, постоял у входа... и не вошел. Совсем больно станет. Сердце может не выдержать.

Ехал в автобусе и негромко ругался — набирался духу: предстояло объяснение с женой.

Сняли с книжки еще пятьдесят рублей.

Чудик, убитый своим ничтожеством, которое ему опять разъяснила жена (она даже пару раз стукнула его шумовкой по голове), ехал в поезде. Но постепенно горечь проходила. Мелькали за окном леса, перелески, деревеньки... Входили и выходили разные люди, рассказывались разные истории... Чудик тоже одну рассказал какому-то интеллигентному товарищу, когда стояли в тамбуре, курили.

— У нас в соседней деревне один дурак тоже... Схватил головешку — и за матерью. Пьяный. Она бежит от него и кричит: «Руки,— кричит,— руки-то не обожги, сынок!» О нем же и заботится. А он прет, пьяная харя. На мать. Представляете, каким надо быть грубым, бестактным...

— Сами придумали? — строго спросил интеллигентный товарищ, глядя на Чудика поверх очков.

— Зачем? — не понял тот.— У нас за рекой деревня Раменское...

Интеллигентный товарищ отвернулся к окну и больше не говорил.

После поезда Чудику надо было еще лететь местным самолетом полтора часа. Он когда-то летал разок. Давно. Садился в самолет не без робости. «Неужели в нем за полтора часа ни один винтик не испортится!» — думал. Потом — ничего, осмелел. Попытался даже заговорить с соседом, но тот читал газету, и так ему было интересно, что там, в газете, что уж послушать живого человека ему не хотелось. А Чудик хотел выяснить вот что: он слышал, что в самолетах дают поесть. А что-то не несли. Ему очень хотелось поесть в самолете — ради любопытства.

«Зажилили»,— решил он.

Стал смотреть вниз. Горы облаков внизу. Чудик почему-то не мог определенно сказать, красиво это или нет. А кругом говорили, что «ах, какая красота!». Он только ощутил вдруг глупейшее желание: упасть в них, в облака, как в вату. Еще он подумал: «Почему же я не удивляюсь? Ведь подо мной чуть не пять километров». Мысленно отмерил эти пять километров на земле, поставил их на попа, чтоб удивиться, и не удивился.

— Вот человек!.. Придумал же,— сказал он соседу.

Тот посмотрел на него, ничего не сказал, зашуршал опять газетой.

— Пристегнитесь ремнями! — сказала миловидная молодая женщина.— Идем на посадку.

Чудик послушно застегнул ремень. А сосед — ноль внимания. Чудик осторожно тронул его:

— Велят ремень застегнуть.

— Ничего,— сказал сосед, отложил газету, откинулся на спинку сиденья и сказал, словно вспоминая что-то: — Дети — цветы жизни, их надо сажать головками вниз.

— Как это? — не понял Чудик.

Читатель громко засмеялся и больше не стал говорить.

Быстро стали снижаться. Вот уж земля — рукой подать, стремительно летит назад. А толчка все нет. Как потом объясняли знающие люди, летчик «промазал». Наконец толчок, и всех начинает так швырять, что послышался зубовный стук и скрежет. Этот читатель с газетой сорвался с места, боднул Чудика лысой головой, потом приложился к иллюминатору, потом очутился на полу. За все это время он не издал ни одного звука. И все вокруг тоже молчали,— это поразило Чудика. Он тоже молчал. Стали. Первые, кто опомнился, глянули в иллюминаторы и обнаружили, что самолет — на картофельном поле. Из пилотской кабины вышел мрачноватый летчик и пошел к выходу. Кто-то осторожно спросил его:

— Мы, кажется, в картошку сели?

— Что вы, сами не видите? — ответил летчик.

Страх схлынул, и наиболее веселые уже пробовали робко острить.

Лысый читатель искал свою искусственную челюсть. Чудик отстегнул ремень и тоже стал искать.

— Эта?! — радостно воскликнул он и подал читателю. У того даже лысина побагровела.

— Почему надо обязательно руками хватать! — закричал он шепеляво.

Чудик растерялся.

— А чем же?..

— Где я ее кипятить буду? Где?!

Этого Чудик тоже не знал.

— Поедемте со мной? — предложил он. — У меня тут брат живет, там вскипятим... Вы опасаетесь, что я туда микробов занес? У меня их нету.

Читатель удивленно посмотрел на Чудика и перестал кричать.

В аэропорту Чудик написал телеграмму жене:

«Приземлились. Ветка сирени упала на грудь, милая Груша, меня не забудь. Васятка».

Телеграфистка, строгая, сухая женщина, прочитав телеграмму, предложила:

— Составьте иначе. Вы взрослый человек, не в детсаде.

— Почему? — спросил Чудик. — Я ей всегда так пишу в письмах. Это же моя жена!.. Вы, наверно, подумали...

— В письмах можете писать что угодно, а телеграмма — это вид связи. Это открытый текст.

Чудик переписал:

«Приземлились. Все в порядке. Васятка».

Телеграфистка сама исправила два слова: «приземлились» и «Васятка». Стало: «долетели», «Василий».

— «Приземлились»... Вы что, космонавт, что ли?

— Ну ладно, — сказал Чудик. — Пусть так будет.

...Знал Чудик, есть у него брат Дмитрий, трое племянников... О том, что должна еще быть сноха, как-то не думалось. Он никогда не видел ее. А именно она-то, сноха, все испортила, весь отпуск. Она почему-то сразу невзлюбила Чудика.

Выпили вечером с братом, и Чудик запел дрожащим голосом:

Тополя-а-а...
Тополя-а-а...

Софья Ивановна, сноха, выглянула из другой комнаты, спросила зло:

— А можно не орать? Вы же не на вокзале, верно? — И хлопнула дверью.

Брату Дмитрию стало неловко.

— Это... там ребятишки спят. Вообще-то она хорошая.

Еще выпили. Стали вспоминать молодость, мать, отца...

— А помнишь?..— радостно спрашивал брат Дмитрий.— Хотя кого ты там помнишь! Грудной был. Меня оставят с тобой, а я тебя зацеловывал. Один раз ты посинел даже. Попадало мне за это. Потом уж не стали оставлять. И все равно: только отвернутся, а я около тебя — опять целую. Черт знает что за привычка была. У самого-то еще сопли по колена, а уж... это... с поцелуями...

— А помнишь?! — тоже вспоминал Чудик.— Как ты меня...

— Вы прекратите орать? — опять спросила Софья Ивановна совсем зло, нервно.— Кому нужно слушать эти ваши разные сопли да поцелуи? Туда же — разговорились.

— Пойдем на улицу,— сказал Чудик.

Вышли на улицу, сели на крылечке.

— А помнишь?..— продолжал Чудик.

Но тут с братом Дмитрием что-то случилось: он заплакал и стал колотить кулаком по колену.

— Вот она, моя жизнь! Видел? Сколько злости в человеке!.. Сколько злости!

Чудик стал успокаивать брата.

— Брось, не расстраивайся. Не надо. Никакие они не злые, они психи. У меня такая же.

— Ну чего вот невзлюбила?! За что? Ведь она невзлюбила тебя... А за что?

Тут только понял Чудик, что да, невзлюбила его сноха. А за что действительно?

— А вот за то, что ты никакой не ответственный, не руководитель. Знаю я ее, дуру. Помешалась на своих ответственных. А сама-то кто! Буфетчица в управлении, шишка на ровном месте. Насмотрится там и начинает... Она и меня-то тоже ненавидит, что я не ответственный, из деревни.

— В каком управлении-то?

— В этом... горно... Не выговорить сейчас. А зачем выходить было? Что она, не знала, что ли?

Тут и Чудика задело за живое.

— А в чем дело вообще-то? — громко спросил он не брата, кого-то еще.— Да если хотите знать, почти все

знаменитые люди вышли из деревни. Как в черной рамке, так, смотришь, выходец из деревни. Надо газеты читать!.. Что ни фигура, понимаешь, так выходец, рано пошел работать.

— А сколько я ей доказывал: в деревне-то люди лучше, незаносистые.

— А Степана-то Воробьева помнишь? Ты ж знал его...

— Знал, как же.

— Уж там куда деревня!.. А пожалуйста: Герой Советского Союза. Девять танков уничтожил. На таран шел. Матери его теперь пожизненно пенсию будут шестьдесят рублей платить. А разузнали только недавно, считали — без вести...

— А Максимов Илья!.. Мы ж вместе уходили. Пожалуйста, кавалер Славы трех степеней. Но про Степана ей не говори... Не надо.

— Ладно. А этот-то!..

Долго еще шумели возбужденные братья. Чудик даже ходил около крыльца и размахивал руками.

— Деревня, видите ли!.. Да там один воздух чего стоит! Утром окно откроешь — как, скажи, обмоет тебя всего. Хоть пей его — до того свежий да запашистый, травами разными пахнет, цветами разными...

Потом они устали.

— Крышу-то перекрыл? — спросил старший брат негромко.

— Перекрыл. — Чудик тоже тихо вздохнул. — Веранду подстроил — любо глядеть. Выйдешь вечером на веранду... начинаешь фантазировать: вот бы мать с отцом были бы живые, ты бы с ребятишками приехал — сидели бы все на веранде, чай с малиной попивали. Малины нынче уродилось пропасть. Ты, Дмитрий, не ругайся с ней, а то она хуже невзлюбит. А я как-нибудь поласковей буду, она, глядишь, отойдет.

— А ведь сама из деревни! — как-то тихо и грустно изумился Дмитрий. — А вот... Детей замучила, дура: одного на пианинах замучила, другую в фигурное катание записала. Сердце кровью обливается, а не скажи, сразу ругань.

— Ммх!.. — чего-то опять возбудился Чудик. — Никак не понимаю эти газеты: вот, мол, одна такая работает в магазине — грубая. Эх вы!.. А она домой придет — такая же. Вот где горе-то! И я понимаю! — Чудик то-

же стукнул кулаком по колену.— Не понимаю: зачем они стали злые?

Когда утром Чудик проснулся, никого в квартире не было: брат Дмитрий ушел на работу, сноха тоже, дети постарше играли во дворе, маленького отнесли в ясли.

Чудик прибрал постель, умылся и стал думать, что бы такое приятное сделать снохе. Тут на глаза ему попалась детская коляска. «Эге,— подумал Чудик,— разрисую-ка я ее». Он дома так разрисовал печь, что все дивились. Нашел ребячьи краски, кисточку и принялся за дело. Через час все было кончено, коляску не узнать. По верху колясочки Чудик пустил журавликов — стайку уголком, по низу — цветочки разные, травку-муравку, пару петушков, цыпляток... Осмотрел коляску со всех сторон — загляденье. Не колясочка, а игрушка. Представил, как будет приятно изумлена сноха, усмехнулся.

— А ты говоришь — деревня. Чудачка.— Он хотел мира со снохой.— Ребенок-то как в корзиночке будет.

Весь день Чудик ходил по городу, глазел на витрины. Купил катер племяннику, хорошенький такой катерок, белый, с лампочкой. «Я его тоже разрисую»,— думал.

Часов в шесть Чудик пришел к брату. Взошел на крыльцо и услышал, что брат Дмитрий ругается с женой. Впрочем, ругалась жена, а брат Дмитрий только повторял:

— Да ну что тут!.. Да ладно... Сонь... Ладно уж...

— Чтоб завтра же этого дурака не было здесь! — кричала Софья Ивановна.— Завтра же пусть уезжает!

— Да ладно тебе!.. Сонь...

— Не ладно! Не ладно! Пусть не дожидается — выкину его чемодан к чертовой матери, и все!

Чудик поспешил сойти с крыльца... А дальше не знал, что делать. Опять ему стало больно. Когда его ненавидели, ему было очень больно и страшно. Казалось: ну, теперь все, зачем же жить? И хотелось куда-нибудь уйти подальше от людей, которые ненавидят его или смеются.

— Да почему же я такой есть-то? — горько шептал он, сидя в сарайчике.— Надо бы догадаться: не поймет ведь она, не поймет народного творчества.

Он досидел в сарайчике дотемна. И сердце все болело. Потом пришел брат Дмитрий. Не удивился — как

будто знал, что брат Василий давно уж сидит в сарайчике.

— Вот...— сказал он.— Это... опять расшумелась. Коляску-то... не надо бы уж.

— Я думал, ей поглянется. Поеду я, братка.

Брат Дмитрий вздохнул... И ничего не сказал,

Домой Чудик приехал, когда шел рясный парной дождик. Чудик вышел из автобуса, снял новые ботинки и побежал по теплой мокрой земле — в одной руке чемодан, в другой ботинки. Подпрыгивал и пел громко:

Тополя-а-а...

С одного края небо уже очистилось, голубело, и близко где-то было солнышко. И дождик редел, шлепал крупными каплями в лужи; в них вздувались и лопались пузыри.

В одном месте Чудик поскользнулся, чуть не упал.

...Звали его Василий Егорыч Князев. Было ему тридцать девять лет от роду. Он работал киномехаником в селе. Обожал сыщиков и собак. В детстве мечтал быть шпионом.

1967

КАК ПОМИРАЛ СТАРИК

Старик с утра начал маяться. Мучительная слабость навалилась... Слаб он был давно уж, с месяц, но сегодня какая-то особенная слабость — такая тоска под сердцем, так нехорошо, хоть плачь. Не то чтоб страшно сделалось, а удивительно: такой слабости никогда не было. То казалось, что отнялись ноги... Пошевелит пальцами — нет, шевелятся. То начинала терпнуть левая рука, шевелил ею — вроде ничего. Но какая слабость, господи!..

До полудня он терпел, ждал: может, отпустит, может, оживеет маленько под сердцем — может, покурить захочется или попить. Потом понял: это смерть.

— Мать... А мать! — позвал он старуху свою.— Это... помираю вить я.

— Господь с тобой!..— воскликнула старуха.— Ково там выдумываешь-то лежишь?

— Сняла бы как-нибудь меня отсудова. Шибко тяжко.— Старик лежал на печке.— Сыми.

— Одна-то я рази сыму. Сходить нешто за Егором?

— Сходи. Он дома ли?

— Даве крутился в ограде... Схожу.

Старуха оделась и вышла, впустив в избу белое морозное облако.

«Зимнее дело — хлопотно помирать-то»,— подумал старик.

Пришел Егор, соседский мужик.

— Моро-оз, язви его! — сказал он.— Погоди, дядя Степан, маленько обогреюсь, тогда уж полезу к тебе. А то застужу. Тебе чево, хуже стало?

— Совсем плохо, Егор. Помираю.

— Ну, что ты уж сразу так!.. Не паникуй особо-то.

— Паникуй не паникуй — все. Шибко морозно-то?

— Градусов пятьдесят есть.— Егор закурил.— А снега на полях — шиш. Сгребают тракторами, но ково там!

— Может, подвалит ишо.

— Теперь уж навряд ли. Ну, давай, слезать будем...

Старуха взбила на кровати подушку, поправила перину. Егор встал на припечек, подсунул руки под старика.

— Держись мне за шею-то... Вот так! Легкий-то какой стал!..

— Выхворался...

— Прям как ребенок. У меня Колька тяжельше...

Старика положили на кровать, накрыли тулупом.

— Может, папироску свернуть? — предложил Егор.

— Нет, неохота. Ах ты, господи,— вздохнул старик,— зимнее дело — помирать-то...

— Да брось ты! — сказал Егор серьезно.— Ты гони от себя эти разные мысли.— Он пододвинул табуретку к кровати, сел.— Меня на фронте-то вон как задело! Тоже думал — каюк. А доктор говорит: захочешь жить — будешь жить, не захочешь — не будешь. А я и говорить-то не мог. Лежу и думаю: «Кто же жить не хочет, чудак человек?» Так што лежи и думай: «Буду жить!»

Старик слабо усмехнулся.

— Дай разок курну,— попросил он.

Егор дал. Старик затянулся и закашлялся. Долго кашлял...

— Прохудился весь... Дым-то, однако, в брюхо прошел.

Егор хохотнул коротко.

— А где шибко-то болит? — спросила старуха, глядя на старика жалостливо и почему-то недовольно.

— Везде... Весь. Такая слабость, вроде всю кровь выцедили.

Помолчали все трое.

— Ну пойду я, дядя Степан,— сказал Егор.— Скотинешку попоить да кóрма ей задать...

— Иди.

— Вечерком ишо зайду попроведую.

— Заходи.

Егор ушел.

— Слабость-то, она отчево? Не ешь, вот и слабость,— заметила старуха.— Может, зарубим курку — сварю бульону? Он ить скусный свеженькой-то... А?

Старик подумал.

— Не надо. И поисть не поем, а курку решим.

— Да бог бы уж с ей, с куркой? Не жалко ба...

— Не надо,— еще раз сказал старик.— Лучше дай мне полрюмки вина... Может, хоть маленько кровь-то заиграет.

— Не хуже ба...

— Ничо. Может, она хоть маленько заиграет.

Старуха достала из шкафа четвертинку, аккуратно заткнутую тряпочной пробкой. В четвертинке было чуть больше половины.

— Гляди, не хуже ба...

— Да когда с водки хуже бывает, ты чо! — Старика досада взяла.— Всю жись трясетесь над ей, а не понимаете: водка — это первое лекарство. Сундуки какие-то...

— Хоть счас-то не ерепенься! — тоже с досадой сказала старуха.—«Сундуки»... Одной уж ногой там стоит, а ишо шебаршит ково-то. Не велел доктор волноваться.

— Доктор... Они вот и помирать не велят, доктора-то, а люди помирают.

Старуха налила полрюмочки водки, дала старику. Тот хлебнул и чуть не захлебнулся. Все обратно вылилось. Он долго лежал, белый, без движения. Потом с трудом сказал:

— Нет, видно, пей, пока пьется.

Старуха смотрела на него горько и жалостливо. Смотрела, смотрела и вдруг всхлипнула:

— Старик... А, не приведи, господи, правда помрешь, чо же я одна-то делать стану?

Старик долго молчал, строго смотрел в потолок. Ему трудно было говорить. Но ему хотелось поговорить хорошо, обстоятельно.

— Перво-наперво: подай на Мишку на алименты. Скажи: «Отец помирал, велел тебе докормить мать до конца». Скажи. Если он, окаянный, не очухается, подавай на алименты. Стыд стыдом, а дожить тоже надо. Пусть лучше ему будет стыдно. Маньке напиши, чтоб парнишку учила. Парнишка смышленый, весь «Интернационал» назубок знает. Скажи: «Отец велел учить».— Старик устал и долго опять лежал и смотрел в потолок. Выражение его лица было торжественным и строгим.

— А Петьке чево сказать? — спросила старуха, вытирая слезы; она тоже настроилась говорить серьезно и без слез.

— Петьке?.. Петьку не трогай — он сам едва концы с концами сводит.

— Может, сварить бульону-то? Егор зарубит...

— Не надо.

— А чево, хуже становится?

— Так же. Дай отдохну маленько.— Старик закрыл глаза и медленно, тихо дышал. Он правда походил на мертвеца: какая-то отрешенность, нездешний какой-то покой были на лице его.

— Степан! — позвала старуха.

— Мм?

— Ты не лежи так...

— Как не лежи, дура? Один помирает, а она — не лежи так. Как мне лежать-то? На карачках?

— Я позову Михеевну — пособорует?

— Пошли вы!.. Шибко он мне много добра сделал, ваш бог. Курку своей Михеевне задарма сунешь... Лучше эту курку-то Егору отдай — он мне могилку выдолбит. А то кто долбить-то станет?

— Найдутся небось...

— «Найдутся». Будешь потом по деревне полоскать — кому охота на таком морозе долбать. Зимнее дело... Што бы летом-то!

— Да ты что уж, помираешь, что ли? Может, ишо оклемаисся.

— Счас — оклемался. Ноги вон стынут... Ох, господи, господи!..— Старик глубоко вздохнул.— Господи... может, ты есть, прости меня, грешного.

Старуха опять всхлипнула.

— Степан, ты покрепись маленько. Егор-то говорил: «Не думай всякие думы».

— Много он понимает! Он здоровый как бык. Ему скажи: не помирай — он не помрет.

— Ну тада прости меня, старик, если я в чем виноватая...

— Бог простит,— сказал старик часто слышанную фразу. Ему еще что-то хотелось сказать, что-то очень нужное, но он как-то стал странно смотреть по сторонам, как-то нехорошо забеспокоился...

— Агнюша,— с трудом сказал он,— прости меня... я маленько заполошный был... А хлеб-то — рясный-рясный!.. А погляди-ко в углу-то кто? Кто там?

— Где, Степан?

— Да вон!..— Старик приподнялся на локте, какимто жутким взглядом смотрел в угол избы — в передний.— Вон же она,— сказал он,— вон... Сидит-то?..

Егор пришел вечером...

На кровати лежал старик, заострив кверху белый нос. Старуха тихо плакала у его изголовья...

Егор снял шапку, подумал немного и перекрестился на иконку.

— Да,— сказал он,— чуял он ее.

1967

МИЛЬ ПАРДОН, МАДАМ!

Когда городские приезжают в эти края поохотиться и спрашивают в деревне, кто бы мог походить с ними, показать места, им говорят:

— А вон Бронька Пупков... он у нас мастак по этим делам. С ним не соскучитесь.— И как-то странно улыбаются.

Бронька (Бронислав) Пупков, еще крепкий, ладно скроенный мужик, голубоглазый, улыбчивый, легкий на ногу и на слово. Ему за пятьдесят, он был на фронте, но покалеченная правая рука — отстрелено два пальца — не с фронта: парнем еще был на охоте, захотел пить (зимнее время), начал долбить прикладом лед у берега. Ружье держал за ствол, два пальца закрывали дуло. Затвор берданки был на предохранителе, сорвался — и один палец отлетел напрочь, другой болтался на коже.

Бронька сам оторвал его. Оба пальца — указательный и средний — принес домой и схоронил в огороде. И даже сказал такие слова:

— Дорогие мои пальчики, спите спокойно до светлого утра.

Хотел крест поставить, отец не дал.

Бронька много скандалил на своем веку, дрался, его часто и нешуточно бивали, он отлеживался, вставал и опять носился по деревне на своем оглушительном мотопеде («педике») — зла ни на кого не таил. Легко жил.

Бронька ждал городских охотников, как праздника. И когда они приходили, он был готов — хоть на неделю, хоть на месяц. Места здешние он знал как свои восемь пальцев, охотник был умный и удачливый.

Городские не скупились на водку, иногда давали деньжат, а если не давали, то и так ничего.

— На сколь? — деловито спрашивал Бронька.

— Дня на три.

— Все будет как в аптеке. Отдохнете, успокоите нервы.

Ходили дня по три, по четыре, по неделе. Было хорошо. Городские люди — уважительные, с ними не манило подраться, даже когда выпивали. Он любил рассказывать им всякие охотничьи истории.

В самый последний день, когда справляли отвальную, Бронька приступал к главному своему рассказу.

Этого дня он тоже ждал с великим нетерпением, изо всех сил крепился... И когда он наступал, желанный, с утра сладко ныло под сердцем, и Бронька торжественно молчал.

— Что это с вами? — спрашивали.

— Так,— отвечал он.— Где будем отвальную соображать? На бережку?

— Можно на бережку.

...Ближе к вечеру выбирали уютное местечко на берегу красивой стремительной реки, раскладывали костерок. Пока варилась щерба из чебачков, пропускали по первой, беседовали.

Бронька, опрокинув два алюминиевых стаканчика, закуривал...

— На фронте приходилось бывать? — интересовался он как бы между прочим. Люди старше сорока почти все были на фронте, но он спрашивал и молодых: ему надо было начинать рассказ.

— Это с фронта у вас? — в свою очередь, спрашивали его, имея в виду раненую руку.

— Нет. Я на фронте санитаром был. Да... Дела-делишки...— Бронька долго молчал.— Насчет покушения на Гитлера не слышали?

— Слышали.

— Не про то. Это когда его свои же генералы хотели кокнуть?

— Да.

— Нет. Про другое.

— А какое еще? Разве еще было?

— Было.— Бронька подставлял свой алюминиевый стаканчик под бутылку.— Прошу плеснуть.— Выпивал.— Было, дорогие товарищи, было. Кха! Вот насколько пуля от головы прошла.— Бронька показывал кончик мизинца.

— Когда это было?

— Двадцать пятого июля тыща девятьсот сорок третьего года.— Бронька опять надолго задумывался, точно вспоминал свое собственное, далекое и дорогое.

— А кто стрелял?

Бронька не слышал вопроса, курил, смотрел на огонь.

— Где покушение-то было?

Бронька молчал.

Люди удивленно переглядывались.

— Я стрелял,— вдруг говорил он. Говорил негромко, еще некоторое время смотрел на огонь, потом поднимал глаза... И смотрел, точно хотел сказать: «Удивительно? Мне самому удивительно». И как-то грустно усмехался.

Обычно долго молчали, глядели на Броньку. Он курил, подкидывал палочкой отскочившие угольки в костер... Вот этот-то момент и есть самый жгучий. Точно стакан чистейшего спирта пошел гулять в крови.

— Вы серьезно?

— А как вы думаете? Что, я не знаю, что бывает за искажение истории? Знаю. Знаю, дорогие товарищи.

— Да ну, ерунда какая-то...

— Где стреляли-то? Как?

— Из браунинга. Вот так — нажал пальчиком — и пук! — Бронька смотрел серьезно и грустно — что люди такие недоверчивые. Он же уже не хохмил, не скоморошничал.

Недоверчивые люди терялись.

— А почему об этом никто не знает?

— Пройдет еще сто лет, и тогда много будет покрыто мраком. Поняли? А то вы не знаете... В этом-то вся трагедия, что много героев остаются под сукном.

— Это что-то смахивает на...

— Погоди. Как это было?

Бронька знал, что все равно захотят послушать. Всегда хотели.

— Разболтаете ведь?

Опять замешательство.

— Не разболтаем...

— Честное партийное?

— Да не разболтаем! Рассказывайте.

— Нет, честное партийное? А то у нас в деревне народ знаете какой... Пойдут трепать языком.

— Да все будёт в порядке! — Людям уже не терпелось послушать.— Рассказывайте.

— Прошу плеснуть.— Бронька опять подставлял стаканчик. Он выглядел совершенно трезвым.— Было это, как я уже сказал, двадцать пятого июля сорок третьего года. Кха! Мы наступали. Когда наступают, санитарам больше работы. Я в тот день приволок в лазарет человек двенадцать... Принес одного тяжелого лейтенанта, положил в палату... А в палате был какой-то генерал. Генерал-майор. Рана у него была небольшая — в ногу задело, выше колена. Ему как раз перевязку делали. Увидел меня тот генерал и говорит:

— Погоди-ка, санитар, не уходи.

Ну, думаю, куда-нибудь надо ехать, хочет, чтоб я его поддерживал. Жду. С генералами жизнь намного интересней: сразу вся обстановка как на ладони.

Люди внимательно слушают. Постреливает, попыхивает веселый огонек; сумерки крадутся из леса, наползают на воду, но середина реки, самая быстрина, еще блестит, сверкает, точно огромная длинная рыбина несется серединой реки, играя в сумраке серебристым телом своим.

— Ну, перевязали генерала... Доктор ему: «Вам надо полежать!»—«Да пошел ты!»— отвечает генерал. Это мы докторов-то тогда боялись, а генералы-то их не очень. Сели мы с генералом в машину, едем куда-то. Генерал меня расспрашивает: откуда я родом? Где работал? Сколько классов образования? Я подробно все объ-

ясняю: родом оттуда-то (я здесь родился), работал, мол, в колхозе, но больше охотничал. «Это хорошо,— говорит генерал.— Стреляешь метко?» Да, говорю, чтоб зря не трепаться: на пятьдесят шагов свечку из винта погашу. А вот насчет классов, мол, не густо: отец сызмальства начал по тайге с собой таскать. Ну ничего, говорит, там высшего образования не потребуется. А вот если, говорит, ты нам погасишь одну зловредную свечку, которая раздула мировой пожар, то Родина тебя не забудет. Тонкий намек на толстые обстоятельства. Поняли?.. Но я пока не догадываюсь.

Приезжаем в большую землянку. Генерал всех выгнал, а сам все меня расспрашивает. За границей, спрашивает, никого родных нету? Откуда, мол! Вековечные сибирские. Мы от казаков происходим, которые тут недалеко Бий-Катунск рубили, крепость. Это еще при царе Петре было. Оттуда мы и пошли, почесть вся деревня...

— Откуда у вас такое имя — Бронислав?

— Поп с похмелья придумал. Я его, мерина гривастого, разок стукнул за это, когда сопровождал в ГПУ в тридцать третьем году...

— Где это? Куда сопровождали?

— А в город. Мы его взяли, а вести некому. Давай, говорят, Бронька, у тебя на него зуб — веди.

— А почему, хорошее ведь имя?

— К такому имю надо фамилию подходящую. А я — Бронислав Пупков. Как в армии перекличка, так — смех. А вон у нас Ванька Пупков — хоть бы што.

— Да, так что же дальше?

— Дальше, значит, так. Где я остановился?

— Генерал расспрашивает...

— Да. Ну расспросил все, потом говорит: «Партия и правительство поручают вам, товарищ Пупков, очень ответственное задание. Сюда, на передовую, приехал инкогнито Гитлер. У нас есть шанс хлопнуть его. Мы, говорит, взяли одного гада, который был послан к нам со специальным заданием. Задание-то он выполнил, но сам влопался. А должен был здесь перейти линию фронта и вручить очень важные документы самому Гитлеру. Лично. А Гитлер и вся его шантрапа знают того человека в лицо».

— А при чем тут вы?

— Кто с перебивом, тому — с перевивом. Прошу

плеснуть. Кха! Поясняю: я похож на того гада как две капли воды. Ну и начинается житуха, братцы мои! — Бронька предается воспоминаниям с таким сладострастием, с таким затаенным азартом, что слушатели тоже невольно испытывают приятное, исключительное чувство. Улыбаются. Налаживается некий тихий восторг.— Поместили меня в отдельной комнате тут же, при госпитале, приставили двух ординарцев... Один — в звании старшины, а я — рядовой. Ну-ка, говорю, товарищ старшина, подай-ка мне сапоги. Подает. Приказ — ничего не сделаешь, слушается. А меня тем временем готовят. Я прохожу выучку...

— Какую?

— Спецвыучку. Об этом я пока не могу распространяться, подписку давал. По истечении пятьдесят лет — можно. Прошло только...— Бронька шевелил губами — считал.— Прошло двадцать пять. Но это само собой. Житуха продолжается! Утром поднимаюсь — завтрак: на первое, на второе, третье. Ординарец принесет какого-нибудь вшивого портвейного, я его кэк шугану!.. Он несет спирт, его в госпитале навалом. Сам беру разбавляю как хочу, а портвейный — ему. Так проходит неделя. Думаю, сколько же это будет продолжаться? Ну, вызывает наконец генерал: «Как, товарищ Пупков?» Готов, говорю, к выполнению задания! Давай, говорит. С богом, говорит. Ждем тебя оттуда Героем Советского Союза. Только не промахнись! Я говорю: если я промахнусь, я буду последний предатель и враг народа! Или, говорю, лягу рядом с Гитлером, или вы выручите Героя Советского Союза Пупкова Бронислава Ивановича. А дело в том, что намечалось наше грандиозное наступление. Вот так, с флангов, шла пехота, а спереди — мощный лобовой удар танками.

Глаза у Броньки сухо горят, как угольки, поблескивают. Он даже алюминиевый стаканчик не подставляет — забыл.

Блики огня играют на его суховатом правильном лице — он красив и нервен.

— Не буду говорить вам, дорогие товарищи, как меня перебросили через линию фронта и как я попал в бункер Гитлера. Я попал! — Бронька встает.— Я попал!.. Делаю по ступенькам последний шаг и оказываюсь в большом железобетонном зале. Горит яркий электрический свет, масса генералов... Я быстро ориентируюсь:

где Гитлер? — Бронька весь напрягся, голос его рвется, то срывается на свистящий шепот, то неприятно, мучительно взвизгивает. Он говорит неровно, часто останавливается, рвет себя на полуслове, глотает слюну...

— Сердце вот тут... горлом лезет. Где Гитлер?! Я микроскопически изучил его лисиную мордочку и заранее наметил, куда стрелять — в усики. Я делаю рукой: «Хайль Гитлер!» В руке у меня большой пакет, в пакете — браунинг, заряженный разрывными отравленными пулями. Подходит один генерал, тянется к пакету: давай, мол. Я ему вежливо ручкой — миль пардон, мадам, только фюреру. На чистом немецком языке говорю: фьюрэр! — Бронька сглотнул. И тут... вышел он. Меня как током дернуло... Я вспомнил свою далекую Родину... Мать с отцом... Жены у меня тогда еще не было...— Бронька некоторое время молчит, готов заплакать, завыть, рвануть на груди рубаху...— Знаете, бывает: вся жизнь промелькнет в памяти... С медведем нос к носу — тоже так. Кха!.. Не могу! — Бронька плачет.

— Ну? — тихо просит кто-нибудь.

— Он идет ко мне навстречу. Генералы все вытянулись по стойке «смирно»... Он улыбался. И тут я рванул пакет... Смеешься, гад! Дак получай за наши страдания!.. За наши раны! За кровь советских людей!.. За разрушенные города и села! За слезы наших жен и матерей!..— Бронька кричит, держит руку, как если бы он стрелял. Всем становится не по себе.— Ты смеялся?! А теперь умойся своей кровью, гад ты ползучий!! — Это уже душераздирающий крик. Потом гробовая тишина... И шепот, торопливый, почти невнятный: — Я стрелил...— Бронька роняет голову на грудь, долго молча плачет, оскалился, скрипит здоровыми зубами, мотает безутешно головой. Поднимает голову — лицо в слезах. И опять тихо, очень тихо, с ужасом говорит:

— Я промахнулся.

Все молчат. Состояние Броньки столь сильно действует, удивляет, что говорить что-нибудь — нехорошо.

— Прошу плеснуть,— тихо, требовательно говорит Бронька. Выпивает и уходит к воде. И долго сидит на берегу один, измученный пережитым волнением. Вздыхает, кашляет. Уху отказывается есть.

...Обычно в деревне узнают, что Бронька опять рассказывал про «покушение».

Домой Бронька приходит мрачноватый, готовый выслушивать оскорбления и сам оскорблять.

Жена его, некрасивая, толстогубая баба, сразу набрасывается:

— Чего как пес побитый плетешься? Опять!..

— Пошла ты!..— вяло огрызается Бронька.— Дай пожрать.

— Тебе не пожрать надо, не пожрать, а всю голову проломить безменом! — орет жена.— Ведь от людей уж прохода нет!..

— Значит, сиди дома, не шляйся.

— Нет, я пойду счас!.. Я счас пойду в сельсовет, пусть они тебя, дурака, опять вызовут! Ведь тебя, дурака беспалого, засудют когда-нибудь! За искажение истории...

— Не имеют права: это не печатная работа. Понятно? Дай пожрать.

— Смеются, в глаза смеются, а ему... все божья роса. Харя ты немытая, скот лесной!.. Совесть-то у тебя есть? Или ее всю уж отшибли? Тьфу! — в твои глазыньки бесстыжие! Пупок!..

Бронька наводит на жену строгий злой взгляд. Говорит негромко с силой:

— Миль пардон, мадам... Счас ведь врежу!..

Жена хлопала дверью, уходила прочь — жаловаться на своего «лесного скота».

Зря она говорила, что Броньке все равно. Нет. Он тяжело переживал, страдал, злился... И дня два пил дома. За водкой в лавочку посылал сынишку-подростка.

— Никого там не слушай,— виновато и зло говорил сыну.— Возьми бутылку и сразу домой.

Его действительно несколько раз вызывали в сельсовет, совестили, грозили принять меры... Трезвый Бронька, не глядя председателю в глаза, говорил сердито, невнятно:

— Да ладно!.. Да брось ты! Ну?.. Подумаешь!..

Потом выпивал в лавочке «банку», маленько сидел на крыльце, чтоб «взяло», вставал, засучивал рукава и объявлял громко:

— Ну, прошу!.. Кто? Если малость изувечу, прошу не обижаться. Миль пардон!..

А стрелок он был правда редкий.

1968

ЗЕМЛЯКИ

Ночью перепал дождь. Погремело вдали... А утро встряхнулось, выгнало из туманов светило; заструилось в трепетной мокрой листве текучее серебро. Туманы, накопившиеся в низинах, нехотя покидали землю, поднимались кверху.

Стариковское дело — спокойно думать о смерти. И тогда-то и открывается человеку вся сокрытая, изумительная, вечная красота Жизни. Кто-то хочет, чтобы человек напоследок с болью насытился ею. И ушел.

И уходят. И тихим медленным звоном, как звенят теплые удила усталых коней, отдают шаги уходящих. Хорошо, мучительно хорошо было жить. Не уходил бы!

Шагал по мокрой дороге седой старик. Шагал покосить травы коровенке.

Деревня осталась позади за буграми. Место, куда направлялся он, называлось кучугуры. Это такая огромная всхолмленная долина — предгорье. Выйдешь на следующий бугор — видно всю долину. А долину с трех сторон обступили молчаливые горы. Вольный зеленый край. Здесь издавна были покосы.

На «лбах» и «гривах» травы — коню по брюхо. Внизу — согры, там прохладно, в чащобе пахнет прелым. Там бьют из земли, из ржавой, жирной, светлые студеные ключи. И вкусна та вода! Тянет посидеть там; сумрачно и зябко, и грустно почему-то, и одиноко. Конечно, есть люди, которым не все равно: есть ты или нет... Но ведь... что же? Тут сам не поймешь: зачем дана была эта непосильная красота? Что с ней было делать?.. Ведь чего и жалко-то: прошел мимо — торопился, не глядел.

А выйдешь на свет — и уж жалко своей же грусти, кажется, вот только вошло в душу что-то предрассветно-тихое, нежное; но возрадуешься, понесешь, чтобы и впредь тоже радоваться, и — нет, думы всякие сбивают, забываешь радоваться.

Выше поднималось солнце. Туманы поднялись и рассеялись. Легко парила земля. Испарина не застила свет, она как будто отнимала его от земли и тоже уносила вверх.

Листья на березах в околках пообсохли, но еще берегли умытую молодую нежность — жарко блестели.

Огромную тишину утра тонко просвистывали невидимые птицы.

Все теплей становится. Тепло стекает с косогоров в волглые еще долины; земля одуряюще пахнет обилием зеленых своих сил.

Старик прибавил шагу. Но не так, чтобы уже в ходьбе устать. Сил оставалось мало, приходится жалеть.

Он ходил, ездил по этой дороге много — всю жизнь. Знал каждый поворот ее, знал, где приотпустить коня, а где придержать, чтобы и он тоже в охотку с утра не растратился, а потом работал бы вполсилы. Теперь коня не было. Он помнил всех своих коней, какие у него перебывали за жизнь, мог бы рассказать, если бы кому-нибудь захотелось слушать, про характер и привычки каждого. Тихонько болела душа, когда он вспоминал своих коней. Особенно жалко последнего: он не продал его, не обменял, не украли его цыгане — он издох под хозяином.

Было это в тридцать третьем году. Старик (тогда еще не старик, а справный мужик Анисим Квасов, Анисимка, звали его) был уже в колхозе, работал объездным на полях.

Случился тогда большой голод. Ели лебеду, варили крапиву, травились зимовалым зерном, которое подметали вениками на токах. Ждали нового урожая; надо было еще прожить лето. Вся надежда на коров: молоком отпаивали опухших детей.

И вот как-то, в покос тоже, пастух деревенский, слабый мужичонка, совсем ослаб, гоняясь за коровами, упал без сознания. Сколько он там пролежал, бог его знает, говорил потом — долго. Коровы тем временем зашли на клевер... Поздно вечером пригнал он их в деревню, раздувшихся, закричал первым встречным: «Спасайте, они клевера обожрались!» Что тут началось!.. Бабы завыли, мужики всполошились, схватили бичи и стали гонять коров по улицам. Беда пришла, стон стоял в деревне. Коровы падали, люди тоже задыхались, тоже падали. У Анисима был конь (когда Анисима определили объездным, ему дали из колхоза бывшего его собственного мерина Мишку); Анисим, видя такое дело, вскочил на Мишку и стал тоже гонять коров. Всю ночь вываживали коров. К утру Мишка захрипел под Анисимом и пал на передние ноги. Сколько ни бился Анисим, мерин не вернулся к жизни. Анисим плакал, убивался над конем... Его

обвинили во вредительстве, и он сидел месяца полтора в районной каталажке. Потом ничего, обошлось.

Вот наконец и делянка старика: пологая логовинка недалеко от дороги, внизу согра с ключом.

Солнце поднялось в ладонь уже; припоздал.

Наскоро перекусив малосольным огурцом с хлебом, старик отбил литовку, повжикал камешком по жалу.

Нет милее работы — косьбы. И еще: старик любил косить один. Чего только не передумаешь за день!

Сочно, просвистывая, сечет коса; вздрагивает, никнет трава. Впереди шагах в трех подняла голову змея... И потекла в траве, поблескивая гибким омерзительным телом своим. Опять воспоминание: раз, парнишкой еще, ехал он на коне хорошей рысью. Внезапно, почуяв или увидев змею, конь прыгнул вбок. Анисимки как век не было на коне — упал. И прямо задницей на нее, на змею. Неделю потом поносило («гвоздем летело»).

Память все выталкивает и выталкивает из глубины прожитой жизни светлые, милые сердцу далекие дни. Так в мутной, стоялой воде тихого озера бьют со дна чистые родники. Вот, змеи... Был тогда на деревне дед Куделька. Он говорил ребятишкам, что за каждую убитую змею — сорок грехов долой. А если змею бросить в огонь, то можно увидеть на брюхе ее ножки — много-много. И ребятня азартно снимала с себя грехи. И жгли змей, и правда, когда она прыгала в костре, на брюхе у нее что-то такое мелькало — белое, мелкое и много. Ребятишки орали: «Видишь! Вон они!» Все видели ножки.

До обеда, как трава совсем обсохла, старик косил. Солнце поджигало; на голову точно горячий блин положили.

— Слава богу! — сказал старик, глядя на выкошенную плешину: отхватил изрядно. На душе было радостно.

Он пошел в шалашик, который сделал себе загодя, когда приходил проведать травы. Теперь можно хорошо, не торопясь поесть.

В шалаше теплый резкий дух вялой травы. Звенит где-то крохотная пронзительная мушка; горячую тишину наполняет неутомимый, ровный, сухой стрекот кузнечиков. Да с неба еще льются и скользят серебряные жаворонки-сверлышки.

Хорошо! Господи, как хорошо!.. Редко бывает человеку хорошо, чтобы он знал: вот — хорошо. Это когда

нам плохо, мы думаем: «А где-то кому-то хорошо». А когда нам хорошо, мы не думаем: «А где-то кому-то плохо». Хорошо нам, и все.

Старик расстелил на траве стираную тряпочку, разложил огурцы, хлеб, батунок мытый... Пошел к ключу: там в воде стояла бутылка молока, накрепко закупоренная тряпочной пробкой. Склонился к ручью, оперся руками в сырой податливый бережок, долго, без жадности пил. Видел, как по ржавому дну гоняются друг за другом крохотные светлые песчинки.

«Как живые»,— подумал старик. С трудом поднялся, взял бутылку и пошел к шалашу. А там, у шалашика, сидит на пеньке старик в шляпе и с палочкой. Покуривает.

— Доброго здоровья,— приветствовал старик в шляпе.— Увидел — человек, присел отдохнуть. Возражений нет?

— Чево ж? — сказал Анисим.— Давай сюда, тут все же маленько не так жарит.

— Жарко, да.— Старик в шляпе вошел тоже в шалашик, сел на траву.— Жарковато.

«В добрых штанах-то... зеленые будут»,— подумал Анисим.

— Хошь, садись со мной? — пригласил он.

— Спасибо, я поел недавно.— Старик в шляпе внимательно смотрел на Анисима, так что тому даже не по себе стало.— Косишь?

— Надо. Нездешний, видно?

— Здешний.

Анисим глянул на гостя и ничего не сказал.

— Не похож?

— Пошто? Теперь всякие бывают.— Анисим захрумкал огурцом... И уловил взгляд гостя: тот смотрел на нехитрую крестьянскую снедь на тряпочке. «Хочет, наверно».

— Подсаживайся,— еще раз сказал он.

— Ешь, тебе еще полдня работать. Робить.

— Да хватит тут!

Городской старик снял шляпу, обнаружив блестящую лысину, придвинулся, взял огурец, отломил хлеба.

— У тебя газеты нету? — спросил Анисим.

— Зачем? — удивился гость.

— Изваленишь штаны-то. Штаны-то добрые.

— А-а... Да шут с ними. Ах, огурцы!..

— Што?

— Объеденье!

— Здешний, говоришь... Откуда?

— Тут, близко...

Не верилось Анисиму, что гость из этих мест — не похоже действительно.

— Сейчас-то я не здесь живу. Родом отсюда.

— А-а. Погостить?

— Побывать надо на родине... Помирать скоро. Ты из какой деревни-то?

— Лебяжье. Вот по этой дороге...

— Один со старухой живешь?

— Ага.

— Дети-то есть?

— Есть. Трое. Да двоих на войне убило.

— Где эти трое-то? В городе?

— Один в городе, Колька. А девахи замужем... Одна в Чебурлаке, за бригадиром колхозным, другая -- та подальше.— Не сказал, что другая замужем не за русским.— Была Нинка-то по весне... Ребятишки большие уж.

— А Колька-то в каком городе?

— Да он — и в городе, и не в городе: работа у ево какая-то непутевая, вечно ездит: железо ищут.

— А какой город-то?

— В Ленинграде. Пишет нам, деньги присылает... Так-то хорошо живет. Хочет тоже приехать, да все не выберется. Может, приедет.

Городской старик отпил немного молока, вытер платком губы.

— Спасибо. Хорошо поел.

— Не за што.

— Косить пойдешь?

— Нет, обожду маленько. Пусть свалится маленько.

— Колька-то с какого года? — спросил еще гость.

— С двадцатого.— Тут только Анисим подумал: «А чего это он выспрашивает-то все?» Посмотрел на гостя.

Тот невесело как-то, но и не так чтобы уж совсем печально усмехнулся.

— Вот так, земляк,— сказал.

«Чудной какой-то,— подумал Анисим.— Старый — чудить-то».

— Здоровьем-то как? — все пытал городской.

— Бог милует пока... Голова болит. У нас полдеревни головами маются, молодые даже.

— Из родных-то есть кто-нибудь? Братья, сестры...

— Нет, давно уж...

— Умерли?

— Сестры умерли, брат ишо с той войны не пришел.

— Погиб?

— Знамо. Пошто с войны не приходят?

Городской закурил. Синяя слоистая струйка дыма потянулась к выходу. Здесь, в шалаше, в зеленоватой тени, она была отчетливо видна, а на светлой воле сразу куда-то девалась, хоть ветерка — ни малого дуновения — не было. Звенели кузнечики; посвистывали, шныряя в кустах, птахи; роняли на теплую грудь земли свои нескончаемые трели хохлатые умельцы.

По высокой травинке у входа в шалаш взбиралась вверх божья коровка. Лезла упорно, бесстрашно... Старики загляделись на нее. Коровка долезла до самого верха, покачалась на макушке, расправила крылышки и полетела как-то боком над травами.

— Вот и прожили мы свою жизнь,— негромко сказал городской старик.

Анисим вздрогнул: до странного показалась знакомой эта фраза. Не фраза сама, а то, как она была сказана: так говорил отец, когда задумывался,— с еле уловимой усмешкой, с легким удивлением. Дальше он еще сказал бы: «Мать твою так-то». Ласково.

— Не грустно, земляк?

— Грусти не грусти — што толку?

— Што-то должно помогать человеку в такое время?

— У тебя болит, што ль, чего?

— Душа. Немного. Жалко... не нажился, не устал. Не готов, так сказать.

— Хэх!.. Да разве ж когда наживесся? Кому охота в ее, матушку, ложиться.

— Есть же самоубийцы...

— Это хворые. Бывает: надорвется человек, с виду вроде ничего ишо, а снутри не жилец. Пристал.

— И не додумал чего-то... А сам понимаю, глупо: что отпущено было, давно все додумал.— Городской помолчал.— Жалко покоя вот этого... Суетился много. Но место надо уступать. А?

— Надо. Хэх!.. Надо.

— А так бы и пристроился где-нибудь, чтоб и забыли про тебя, и так бы лет двести! А? — Старик засмеялся весело. Что-то опять до беспокойства знакомое

проскользнуло в нем — в смехе.— Чтоб так и осталось все. А?

— Надоест, поди.

— Да вот все никак не надоест!

— А ты заранье не думай про ее — не будешь страшиться. А придет — ну придет... Сколько там похвораешь! В неделю люди сворачиваются.

— Да...

— Ты вот вперед загадываешь, а я беспречь назад оглядываюсь — тоже плохо. Расстройство одно.

— Вспоминаешь?

— Но.

— Это хорошо.

— Хорошо, а все душу тревожишь. Зачем?

— Нет, это хорошо. Что же вспоминается? Детство?

— Больше — детство.

— Расскажи чего-нибудь! Хулиганили?

— Брат у меня был, Гринька,— тот прокуда был.— Анисим улыбнулся, вспомнив.— Откуда чего бралось!.. И на войне-то, наверно, вперед других выскочил...

— Что же он вытворял? — живо заинтересовался городской старик.— Расскажи-ка... Пожалуйста, пока отдыхаешь.

— Хэх!..— Анисим покачал головой, долго молчал.— Шельма был... Один раз поймал нас у себя в огороде сосед наш, Егор Чалышев, ну, выпорол. За дело, конечно: не пакости. Арбузишки-то зеленые ишо, мы их больше портили, чем ели. Ночью-то не видно: об коленку ево — куснешь, зеленый — в сторону. Да. Выпорол с сердцем. Потом ишо отец добавил. Гриньку злость взяла. И чево придумал: взял пузырь свинячий — свинью тогда как раз резали,— растер ево в золе... Знаешь, как пузыри-то делают?

— Знаю.

— Вот. Высушил, надул, нарисовал на ём морду страшенную...— Анисим засмеялся.— Где он такую харю видал?.. Ну, дождались мы ночи, подкрались тихонько к Егору на крыльцо, привязали за веревочку к верхнему косяку пузырь тот... Утром Егор открыл дверь-то — на улицу выходит,— а ему прям в лицо харя-то эта глянула... Мужик чуть в штаны не наворотил. Захлопнул дверь да в избу. Да давай в трубу орать: «Караул! У меня черт на крыльце!»

Городской старик громко захохотал. До слез досмеялся...

— Трухнул мужичок. А? Ха-ха!..

— Да, так Егора потом и звали: «Егорка, черт на крыльце».

А раз — мы уж побольше были — на покосе тоже... Миколай Рогодин — хитрый был мужик, охотник до чужого — и говорит вечером: «Гринька,— говорит,— подседлай какого-нибудь коня, хошь моёва, дуй в деревню, насшибай кур у кого-нибудь. Курятинки охота». Гринька, недолго думая, подседлал коня — и в деревню. Через недолго время привозит пяток кур с открученными головами. Мы все радешеньки. Заварили их тут же... Ну и умелй в охотку. А Миколай ел да прихваливал: молодец, мол, Гринька! А Гринька ему: «Ешь, дядя Миколай! Ешь, как своих».

Оба старика от души посмеялись. Городской закурил.

— Поматерился же он потом!.. А што сделаешь — сам послал.

— Да...— Городской старик вытер глаза. Задумался.

Долго молчали, думая каждый свое. А жизнь за шалашом все звенела, накалялась, все отрешеннее и непостижимее обнажала свою красу под солнцем.

— Ну, пойду с богом...— сказал Анисим.— Маленько вроде схлынуло.

— Жарко еще...

— Ничево.

— Корову-то обязательно надо держать?

— Как же?

Анисим взял литовку, подернул ее бруском... Поглядел на ряды кошенины — неплохо с утра помахал. А городской старик смотрел на него... Внимательно. Грустно.

— Ну, пойду,— еще раз сказал Анисим.

— Ну, давай,— сказал городской.— Ну и... прощай.— Посмотрел еще раз в самые глаза Анисиму, ничего больше не сказал, пожал крепко руку и скоро пошел в гору, к дороге. Вышел к дороге, оглянулся, постоял и пошел. И опять пропал за поворотом.

Старик косил допоздна.

Потом пошел домой.

Дома старуха с нетерпением — видно было — ждала его.

— К нам какой-то человек приезжал!..— сказала

она, едва старик показался в воротчиках.— На длинной автонобиле. Тебя спрашивал. Где, говорит, старик твой?

Анисим сел на порожек, опустил на землю узелок свой...

— В шляпе? Старый такой...

— В шляпе. В кустюме такой... Как учитель.

Старик долго молчал, глядя в землю, себе под ноги. Теперь-то вот и вспомнилась та странная схожесть, что удивила давеча днем. Теперь-то она и вспомнилась! Только... неужели же?!

— Не Гринька ли был-то? Ты ничево не заметила?

— Господь с тобой!.. С ума спятил. С тово света, што ли?

С бабой лучше не говорить про всякие догадки души — не поймет. Ей, дуре, пока она молодая, неси не стыдись самые дурацкие слова — верит; старой — скажи попробуй про самую свою нечаянную думу,— сам моментально дураком станешь.

— Уехал он?

— Уехал. Этто после обеда пошла...

«Неужто Гринька? Неужто он был?»

Всю ночь старик не сомкнул глаз. Думал. К утру решил: нет, похожий.

Мало ли похожих! Да и что бы ему не признаться? Может, душу не хотел зазря бередить? Он смолоду чудной был...

«Неужто Гринька?»

Через неделю старикам пришла телеграмма:

«Квасову Анисиму Степановичу.

Ваш брат Григорий Степанович скончался двенадцатого. Просил передать. Семья Квасова».

Брат был. Гринька.

1968

СУД

Пимокат Валиков подал в суд на новых соседей своих, Гребенщиковых. Дело было так.

Гребенщикова Алла Кузьминична, молодая, гладкая дура, погожим весенним днем заложила у баньки пимоката, стена которой выходила в огород Гребенщиковых,

парниковую грядку. Натаскала навоза, доброй землицы... А чтоб навоз хорошо прогрелся, она его, который посуше, подожгла снизу паяльной лампой, а сверху навалила что посырей и оставила ша́ять на ночь. Он ша́ял, ша́ял высох и загорелся огнем. И стена загорелась... В общем, банька к утру сгорела. Сгорели еще кое-какие постройки, сарай дровяной, кизяки, плетень... Но Ефиму Валикову особенно жалко было баню: новенькая баня, год не стояла, он в ней зимой пимы катал... Объяснение с Гребенщиковой вышло бестолковое: Гребенщикова навесила занавески на глаза и стала уверять страхового агента, что навоз загорелся сам.

— Самово́згорание! — твердила она и показывала агенту Ефиму палец.— Понимаете?

Это «самовозгорание» вконец обозлило и агента тоже.

— Подавай в суд, Ефим,— сказал он.— А то нас тут за дураков считают.

Валиков подал в суд. Но так как дело это всегда кляузное, никем в деревне не одобряется, то Ефим тоже всем показывал палец и пояснял:

— Оно бы — по-доброму, по-соседски-то — к чему мне? Но она же шибко грамотная!.. Она же слова никому не дает сказать: самозагорание, и все!

Муж Гребенщиковой, тоже агроном, был в отъезде. Когда приехал, они поговорили с Ефимом.

— Неужели без суда нельзя было договориться? Заплатили бы вам за баню...

— Это уж ты сам с ней договаривайся, может, сумеешь. Я не мог. Мне этот суд нужен... как собаке пятая нога.

— Не нарочно же она подожгла.

— А кто говорит, что нарочно? Только зачем же людей-то дурачить! Самозагорание...

— Самовозгорание. Это бывает вообще-то...

— Бывает, когда назём годами преет, да в куче — слежалый. А у ней за одну ночь самозагорелся. Не бывает так, дорогой Владимир Семеныч, не бывает.

Владимир Семеныч побаивался жены, и его очень устраивало, что дело уже передано в суд и, стало быть, чего тут еще говорить. Без него все решится.

— Разбирайтесь сами.

— Разберемся.

И вот — суд. Суд выехал из района по другому слу-

чаю, более тяжелому, а заодно решили пристегнуть и это дело, погорельское. Судили в сельсовете...

Шел Ефим на суд, как курва с котелком,— нервничал. Вспомнил чего-то, как один раз, в войну, он, демобилизованный инвалид, без ноги, пьяный, возил костылем тогдашнего предсельсовета Митьку Трифонова и предлагал ему свои ордена, а взамен себе — его ногу. Его тогда легко могли посадить, но сам Митька «спустил на тормозах», в суд не подал, хотя долго после этого пугал: «Подать, что ли, Ефим? А?»

«Ну да, а я сейчас, выходит, иду человека топить,— думал Ефим.— На кой бы она мне черт сдалась, если так-то, по-доброму-то?» И вспоминал, как гладкая Алла Кузьминична, когда толковала про самовозгорание, то на Ефима даже не глядела, а глядела на страхового агента: мол, Ефим Валиков все равно не поймет, что́ это такое — самовозгорание.

Протез Ефим не надел, шел на костылях — чтоб заметней было, что он без ноги. Ордена, правда, не надел: хватит того, что нашумел с ними тогда, после демобилизации.

«С другой стороны, если каждый будет поджигать вот так вот, я с одними костылями и останусь на белом свете. А то и самого опалят, как борова в соломе. Так что мое дело правое».

Гребенщикова была уже в сельсовете, посмотрела на Валикова гордо, ничего не сказала, не поздоровалась, отвернулась.

«Ох ты, горе мое, горюшко! — не желает мамзель с нами здороваться»,— посмеялся сам с собой Ефим. Он не то чтобы обиделся, а захотелось, чтобы этой «баронке» так бы прямо и сказали: «Чем же тут гордиться-то, милая? Подожгла человека, да еще нос воротишь!»

Судья, молодой мужчина, усталый, долго смотрел в бумаги, потом посмотрел на Аллу Кузьминичну, на Ефима...

— Рассказывайте.

Ефим подумал, что надо, наверно, ему первому начинать.

— Видите ли, в чем тут дело: вот эта вот гражданка...

— Вы уж прямо как враги — «гражданка»... Соседи ведь.

— Соседи,— поспешил Ефим.— Да мне-то весь этот суд — собаке пятая нога...

— А подаете.

— Дак она же платить нисколь не хочет! А баня была новая, у меня вся деревня свидетели.

— Как все это произошло, Алла Кузьминична?

— Я разбила парничок и немного подогрела навоз...

— Подожгли его?

— Да, но он некоторое время погорел, потом я его завалила влажным навозом. Он, очевидно, хорошо прогрелся и самовозгорелся ночью.

— Во!— изумился Ефим.— Да я, можно сказать, родился на этом навозе! Я — как себя помню, так помню, что ворочал его,— так уж за всю-то жизнь изучил я его, как вы думаете? Потом, не забывайте: мы каждый год кизяки топчем! Уж я его ворочал-переворочал, этот навоз, как не знаю...

— Товарищ Валиков отрицает, что навоз может самовозгореться. У него в практике этого не было... Ну и что?

Судья смотрел на Аллу Кузьминичну, кивал головой.

— Нельзя же на этом основании вообще отрицать этот факт. Вы же понимаете, что надо же считаться с научными данными тоже,— продолжала Алла Кузьминична.

Судья все кивал головой.

«Счас докажут, что я верблюд»,— затосковал Ефим.

— Я понимаю, что товарищу Валикову нанесен материальный ущерб, но объективно я тут ни при чем. С таким же успехом могла ударить гроза и поджечь баню. Моя вина только в том, что я этот парничок разбила у ихней баньки. Но она одной стеной выходит в наш огород, поэтому тут криминала тоже нету.— Она хорошо подготовилась, Алла Кузьминична.

«Надо было ордена надеть»,— подумал Ефим.

— Я выражаю сожаление товарищу Валикову, это все, что я могу сделать.

Судья закурил, с удовольствием затянулся и без всякого выражения, просто сказал:

— Надо платить, Алла Кузьминична.

— Почему? — Алла Кузьминична растерялась.

— Что?

— Почему платить?

— Что, неужели судиться будете? Стыдно, Алла Кузьминична...

Алла Кузьминична покраснела.

— Вы что, тоже отрицаете самовозгорание?

— Да какое, к дьяволу, самовозгорание! Обыкновенный поджог. Неумышленный, конечно, но поджог. Вам это докажут в пять минут, и будет... неловко. Договоритесь по-человечески с соседом... Сколько примерно баня стоит, Валиков?

Ефим тоже растерялся и второпях — от благодарности — крепко занизил цену.

— Да она, банешка-то хоть называется новая, а собрал-то я ее так, с бору по сосенке...

— Ну, сколько?

— Рублей двести, двести пятьдесят так... Да мне только лес привезти, я сам срублю! У их же машины в совхозе, попросить директора... Што, им откажут, што ли?

— Там ведь еще что-то сгорело?

— Кизяки, сараюха... Да сараюху-то я из отходов тоже сделаю...

— Двести пятьдесят рублей,— подытожил судья.— Мой совет, Алла Кузьминична: заплатите добром, не позорьтесь.

Алла Кузьминична молчала, не смотрела ни на судью, ни на Ефима.

— Не могу же я сразу тут вам выложить их!..

«Ах ты, гордость ты несусветная!» — пожалел ее Ефим. И кинулся с подсказками:

— Да мне их зачем, деньги-то? Вы привезите на баню две машины лесу. Ну и заплатите мне, как вроде я нанял человека рубить... Рублей шестьдесят берут, ну и кормешка — двадцать: восемьдесят рэ. А там сколько с вас за две машины возьмут, меня это не касается. Может, совсем даром, меня это не касается. А оно так и выйдет — даром: вы молодые специалисты, вам эти две машины с радостью выпишут по казенной цене. Это мне бы...

— Согласны? — спросил судья Аллу Кузьминичну.

— Я посоветуюсь с мужем, — резко сказала Алла Кузьминична.

«Ну, тот парень не ты, артачиться зря не станет».

С суда Ефим шел веселый. Ему очень хотелось кому-нибудь рассказать, как проходил суд, какой хороший попался судья, как он дельно все рассудил и какой, между прочим, сам Ефим — пальца в рот не клади. Едва дотерпел до дома.

Жена Ефима, Марья, сразу — по виду мужа — поняла, что обошлось хорошо. Ефим смело вытащил из кармана бутылку и стал рассказывать:

— Все в порядке! Ох, судья попался!.. От башка! Сразу ей хвост прищемил. Как, говорит, вам не стыдно! Какое самозагорание? Подожгла, значит, надо платить.

— Гляди-ко!

— Што ты! Он ей там такого черта выдал, она не знала, куда глаза девать. Вы же, говорит, видите: человек на одной ноге...— Ефим всегда скоро пьянел, не закусывал.— Да он, говорит, вот возьмет счас, напишет куда надо, и тебе зальют сала под кожу. У него, грит, нога-то где? Под Москвой нога, вон где, а ты с им — судиться! Да он только слово скажет, и ты станешь худая...

Марья понимала, что Ефим здорово привирает, но, в общем-то, ведь присудили платить за баню! Присудили.

— Господи, есть же на свете справедливые люди.

— Фронтовик. Его по глазам видно. Эх ты, говорит, ученая ты голова, не совестно? Проть кого пошла?!. Да он, грит...

— Хватит лакать-то, обрадовался,— сердито заметила Марья.— Ты бы вот не лакал счас, а пошел бы да отнес человеку сальца с килограмм. Приедет мужик-то, ребятишек покормит деревенским салом.

— А то не видят они этого сала...

— Да где?! Магазинное-то сравнишь с нашим! Иди выбери с мяском да отнеси. Да скажи спасибо. А то укостылял и спасибо не сказал небось. Мужик-то вон какое дело сделал!

Ефим подивился бабьему уму.

«Правда, по-свински вышло: мужик старался, а я, как этот...»

— Пить со мной он, конечно, не станет: он человек на виду, нельзя...

— Отнеси сальца-то.

— Отнесу! Я для такого человека ничего не пожалею! Может, ему денег немного дать?

— Деньги он не возьмет. За деньги ему выговор дадут, а сальца — ну, взял и взял гостинец ребятишкам.

Ефим слазил в погреб, отхватил добрый кус сала — с мяском выбрал, ядреное, запашистое. Радовался жениной догадке.

«До чего дошлые, окаянные!» — думал про баб.

Завернули сало в чистую тряпочку, и Ефим покостылял опять в сельсовет. Шел, радовался, что судья теперь тоже останется довольный.

«Ведь отчего так много дерьма в жизни: сделал один человек другому доброе дело, а тот завернул оглобли — и поминай как звали. А нет, чтобы и самому тоже за добро-то отплатить как-нибудь. А то ведь — раз доброе человек сделал, два, а ему за это — ни слова, ни полслова хорошего, у него, само собой, пропадает всякая охота удружить кому-нибудь. А потом скулим: плохо жить! А ты возьми да сам тоже сделай ему чего-нито хорошее. И ведь не жалко, например, этого дерьма — сала, а вот не догадаешься, не сообразишь вовремя». Ефиму приятно было сознавать, что он явится сейчас перед судьей такой сообразительный, вежливый. Он поостыл на холодке, протрезвился: трезвел он так же скоро, как пьянел. «Люди, люди... Умные вы, люди, а жить не умеете».

Судья еще был в сельсовете, собирался уезжать.

— На минутку, товарищ судья,— позвал Ефим.— Пройдемте-ка в кабинет... От сюда вот, тут как раз никого. Домой?

Судья устало (отчего они так устают? Неужели судить трудно?) смотрел на него.

— Ребятишки-то есть?

— Где?

— Дома-то?

— У меня, что ли?

— Но.

— Есть. А что?

— Нате-ка вот отвезите им — деревенского... С мяском выбирал, городские с мясом любят. Нашему брату — на физической работе — сала давай, посытнее, а вам — чего?..— Ефим распутывал тряпицу, никак не мог распутать, торопился, оглядывался на дверь.— Вам повкусней надо... такое дело. Это ж надо так замотать!

— А что это вы?

— Сальца ребятишкам отвезите...

Судья тоже невольно оглянулся на дверь. Потом уставился на Ефима...

— Что? — спросил тот.— Я, мол, ребятишкам...

— Не надо,— негромко сказал судья.

— Да нет, я же не насчет суда — дело-то теперь прошлое. Я думал, ребятишкам-то можно отвезти... А что? Это ж не деньги, деньги я бы...

— Да не надо! Вон отсюда! — Судья повернулся и сам вышел. И крепко хлопнул дверью.

Ефим остался стоять, наклонившись на костыли, с салом в руках. Вот теперь он понял, до боли под ложечкой понял, что не надо было с салом-то... Он не знал, что делать, стоял, смотрел на сало.

В кабинет заглянул судья.

— Сюда идут... уходи! Заверни сало, чтоб не видели. Побыстрей!

Только на улице сообразил Ефим, что́ ему теперь делать.

«Пойду Маньке шлык скатаю. Зараза».

1969

НЕПРОТИВЛЕНЕЦ МАКАР ЖЕРЕБЦОВ

Всю неделю Макар ходил по домам и обстоятельно, въедливо учил людей добру и терпению. Учил жить — по возможности весело, но благоразумно, с «пониманием многомиллионного народа».

Он разносил односельчанам письма. Работу свою ценил, не стыдился, что он, здоровый, пятидесятилетний, носит письма и газетки. Да пенсию старикам.

Шагал по улице — спокойный, сосредоточенный.

Его окликали:

— Макар, нету?

— Ты же видишь — мимо иду, значит, нету.

— Чего же нету-то? Пора уж. Черти окаянные.

Макар подходил к пряслу, вешал свою сумку на колышек, закуривал.

— Сколько у нас, в СССР, народу?

Старуха не знала.

— Дьявол их знает сколько. Много небось.

— Много. — Макар тоже точно не знал сколько. — И всем надо выдать пенсию...

— Чего же всем-то? Все зарплату получают.

— Ну, я неправильно выразился. Кто заслужил. Так?

— Ну? Чего ты опять?

— Спокойно. Тебе государство задержало пенсию на один день, и ты уже начинаешь возвышать голос. Сама злишься, и на тебя тоже глядеть тошно. А у государ-

ства таких, как ты,— миллионы. Спрашивается, совесть-то у вас есть или нету? Вы что, не можете потерпеть день-другой? Вы войдите тоже в ихнее-то положение...

Старухи обижались. Старики посылали Макара... дальше.

Макар шел дальше.

— Семен, ездил к сыну-то?

— Ездил...

— Ну как?

— Никак. Как пил, так и пьет. С работы опять прогнали, свистуна.

— Ну, ты, конечно, коршуном на него. Такой-сякой-разэдакый!..

— А как же мне с им? Петя, сынок, уймись с пьянкой?..

— Да где там! Ты и слов-то таких не знаешь. Ты привык языком-то, как оглоблей, ломить... Самого, дурака, с малых лет поленом учили, ты думаешь, и всегда так надо. Теперь совсем другая жизнь...

— Раньше так пили, как он заливается? Другая жизнь...

— А ты войди в его положение. Он — молодой, дорвался до вольной жизни, деньжаты появились... Ведь тут какую силу воли надо иметь, чтоб сдержаться! Конскую. С другой стороны, его тоска гложет — оторвался от родительского дома. Ты вон в город-то на неделю уедешь, и то тебя домой манит, а он сколько уж лет там. Он небось сходит в кино, поглядит про деревню — и пойдет выпьет. Это же все понимать надо.

— Ты, лоботряс, только рассуждать умеешь. А коснись самого, не так бы запел. Ходишь по деревне, пустозвонишь... Пустозвон.

— Я вас учу, дураков. Ты приехай к нему, к Петьке-то, да сядь выпей с ним...

— У тебя прям не голова, а сельсовет.

— Да. Выпей. А потом к нему потихоньку в душу: сократись, сынок, сократись, милый. Ведь мы все пьем по праздникам... Праздничек подошел — выпей, прошел праздничек — пора на работу, а не похмеляться. Та-ак. А как же? Поговорить надо, убедить человека. Да не матерным словом, а ласковым, ласковым, оно, глядишь, скорей дойдет.

— Его надо поленом березовым по башке, а не ласковым словом.

— Во-от. Я и говорю: бараны. Рога на лбу выросли — и довольные: бодаться можно. А ты же человек, тебе разум даден, слово терпеливое....

— Иди ты!..

— Эх, вы.

Макар шагал дальше, и сердце его сосала, сладко прикусывая, жирная, мягкая змея, какая сосет сердца всех оскорбленных проповедников.

Иногда дело доходило до оплеух.

У Ивана Соломина жена Настя родила сына. Иван заспорил с Настей — как назвать новорожденного. Иван хотел Иваном: Иван Иванович Соломин. Настя хотела, чтоб был Валерик. Супруги серьезно поссорились. И в это-то самое время Макар принес им письмо от сестры Настиной, которая жила с мужем в Магадане и писала в письмах, что живут они очень хорошо, что у них в доме только одной живой воды нет, а так все есть, «но, сами понимаете,— в концервах, так как климат здесь суровый».

Макар посмотрел красный безымянный комочек, поздравил родителей... и те, конечно, схватились перед ним — каждый свое доказывать.

— Иван!.. Ива́нов-то нынче осталось — ты да Ваня-дурачок в сказке. Умру — не дам Ванькой назвать! Сам как Ваня-дурачок...

— Сама ты дура! Счас в этом деле назад повернули, к старому. Посмотри в городах...

Макар весь подобрался, накогтился — почуял добычу.

— Спокойно, Иван,— сказал он Ивану.— Не обзывайся. Даже если она тебе законная жена, все равно ты ее не имеешь права дурачить. Она тебе — Ваня-дурачок, допустим, а ты ей — несмышленыш мой или еще какнибудь. Ласково. Ей совестно станет, она замолчит. А не замолчит — сам замолчи. Скрепись и молчи.

— Иди отсюда, миротворец!

— И меня не надо посылать. Зачем меня посылать? Ты меня послушай, постарайся сперва понять, а потом уж посылай. Ведь я к тебе не с войной пришел, не лиходей я тебе, а по новым законам твой друг и товарищ. И хочу вам подать добрый совет: назови-ка ты сынка своего Митей — в честь свояка магаданского. Ведь они вам и посылки шлют, и деньжат нет-нет подкинут... А напиши-ка ему, что вот, мол, своячок, в честь тебя сына назвал — Митрием. Он бы где — одну посылку, а тут поду-

мает-подумает да две ахнет. А как же: в честь меня сына назвали — это бо-ольшое уважение. За уважение люди тоже уважением плотют.

Иван чего-то озверел.

— Иди отсюда, гад подколодный. Чего ты лезешь не в свое дело?!

Макар посмеялся кротко, снисходительно, ласково. Он знал драчливый характер Ивана.

— Ах пошуметь бы?.. Ах бы да сейчас развоеваться бы?.. Эх ты, Ваня и есть.

Иван и в самом деле взял почтальона за шкирку, подвел к двери и дал пинка под зад.

— За совет!

Макар шагал дальше по улице. Потирал ушибленное место и шептал:

— Нога у дьявола — конская.

И начинал рассказывать встречным:

— Иван Соломин... Зашел к нему, у них пыль до потолка: не могут имя сыну придумать. Я и подскажи им: Митрий. У него свояк в Магадане Митрий...

Но Макара не хотели слушать — некогда. Да и мало на селе в летнюю пору встречных.

И вот наступало воскресенье. В воскресенье Макар не работал. Он ждал воскресенья. Он выпивал с утра рюмочку-две, не больше, завтракал, выходил на скамеечку к воротам... Была у него такая скамеечка со столиком, аккуратная такая скамеечка, он удобно устраивался — нога на ногу, закуривал и, поблескивая повлажневшими глазами, ждал кого-нибудь.

— Михеевна!.. Здравствуй, Михеевна! С праздничком!

— С каким, Макар?

— А с воскресеньем.

— Господи, праздник!..

— Сын-то не пишет? Что-то давненько я к тебе не заходил...

— Некогда, поди-ка, расписываться-то. Тоже не курорт — шахты-то эти.

— Всем им, подлецам, некогда. Им водку литрами жрать — на это у них есть время. А письмо матери написать — время нет. Пожалуйся на него директору шахты. Хошь, я сочиню? Заказным отправим...

— Ты что, сдурел, Макар? На родного сына стану директору жалиться!

— Можно хитрей сделать. Можно послать телеграмму: мол, беспокоюсь, не захворал ли? Его все равно вызовут...

— Тьфу, дьявол! Тебе что, делать, что ль, нечего — выдумываешь сидишь?

— А учить подлецов надо, учить.

Старуха, злая, обиженная за сына, шла дальше своей дорогой.

— Боров гладкий,— бормотала она,— ты их нарожай сперва своих, потом жалься. Подымется ли рука-то?

— Человека пока не стукнет, до тех пор он не поймет,— говорил сам с собой Макар.— На судьбу обижаемся, а она учит, матушка. Учит.

Проходили еще люди. Макар заговаривал со всеми, и все в таком же духе — в воскресном. Подсказывал, как можно теще насолить, как заставить уважать себя дирекцию совхоза. Надо только смелей быть. Выступать подряд на всех собраниях и каждый раз — против. Они сперва окрысятся, попробуют ущемить как-нибудь, а ты на собрании и про это. Важно — не сдаваться. Когда они поймут, что с тобой ничего нельзя сделать, тогда начнут уважать. А то еще и побаиваться станут — грешки-то есть. У кого их нету?

— Дак ведь возьмут да выгонют.

— А куда выгонять-то? Дальше-то?.. Это ж не с завода.

Где-нибудь часа так в два пополудни к Макару выходил дед Кузьма, выпивоха и правдолюб. Опохмелиться у него никогда денег не было.

— Дай на бутылку. Во вторник поплывем с зятем рыбачить, привезу рыбки.

Макар давал рубль двадцать на плодово-ягодную. Только просил:

— Приходи здесь пить. А то поговорить не с кем.

Дед приносил бутылку плодово-ягодной, выпивал стакан, и ему сразу легчало.

— Вчерась перебрали с зятем. Тоже лежит мучается.

— Отнеси стаканчик.

— Ничо, оклимается — молодой. Мне этой самому — только-только.

— Жадный.

— Нет,— просто говорил дед.

— А взять-то тоже не на что? Зятю-то?

— Да есть у Нюрки... Она рази даст. Тут хоть подохни. Как жена-то?

— Хворает.

— Ты ее, случаем, не поколачиваешь тайком? Чего она у тебя все время хворает?..

— Ни разу пальцем не тронул. Так — организм слабый.

— Чудной ты мужик, Макар. Не пойму тебя. Нашенских, кто на глазах рос, всех понимаю, а тебя никак не пойму.

— Чем же я кажусь чудной? — искренне интересовался Макар.

— Ну как же? Подошло воскресенье — ты сидишь день-деньской сложа ручки. Люди ждут не дождутся этого воскресенья, чтоб себе по хозяйству чего-нибудь сделать, а тебе вроде и делать нечего.

— А на кой оно мне... хозяйство-то?

— Вот то́ и чудно-то. Ты из каких краев-то? Или я уж спрашивал?

— Недалеко отсюда. Что мне его, хозяйство-то, в гроб с собой?

— Ну, тебе до гроба ишо... Поживешь. Рабо́та — не бей лежачего. И не совестно ведь! — искренне изумлялся дед.— Неужель не совестно?

— Ни на вот эстолько.— Макар показывал кончик мизинца.

— А почто, например, ты то одно́ людям говоришь, то другое — совсем наоборот? Чего ты их путаешь-то?

Макар глубокомысленно думал, глядя на улицу, потом говорил. Похоже, всю правду, какую знал про себя.

— Не для этой я жизни родился, дед...

— Для какой же?

— Сам не знаю. Вот говоришь — путаю людей. Я сам не знаю, как мне их: жалеть или надсмехаться над ними. Хожу, гляжу — охота помочь советом каким-нибудь... Потом раздумаешься: да пошли вы все!..

— Хм.

— Так вот ходишь неделю, тыкаешься в ихные дела... Потом придет воскресенье, и я вроде отдыхаю. Давайте, думаю, черти, гните дальше. А я еще какую-нибудь пакость подскажу.

— Во стерьва-то!

— Ей-богу! А завтра опять пойду по домам, опять полезу с советами. И знаю, что не слушают они моих советов, а удержаться не могу. Мне бы в большом масштабе советы-то давать, у меня бы вышло. Ну, подучиться, само собой... У меня какой-то зуд на советы. Охота учить, и все, хоть умри.

— Дак и учил бы одному чему, а то как...

— Да я и хочу! Но ведь я им одно, а они меня по матушке. А то и — по загривку. Ванька вон Соломин... так и пустил с крыльца.

— Эхэ!.. У того не заржавит.

— А я для его же пользы: назови, мол, сыночка-то Митей, в честь свояка, свояк-то в лепешку расшибется — будет посылки слать. Какая ему, дураку, разница — Митя у него будет расти или Ваня? А жить все же маленько полегче было бы — свояк-то там, на Севере, тыщи ворочает. А так-то я их не презираю, людей-то. Наоборот, мне их жалко бывает.

Старик допивал остатки вина, поднимался.

— И все-таки стерьва ты,— говорил беззлобно.

— Что, пошел?

— Пойду... Зять теперь очухался, погреб небось копает. Он с похмелья злой на работу. Помочь надо. Рыбки-то занесу килограмма два. Во вторник.

— Ладно, сгодится. Я до ухи любитель.

— Спасибо, што выручил.

— Не за что.

Дед уходил. А Макар оставался сидеть на скамеечке, глядел на село, курил.

Иногда из дома выходила больная жена — к теплу, к солнышку. Присаживалась рядышком.

— Вот ведь сколько домов!..— раздумчиво, не глядя на жену, говорил Макар.— И в каждом дому — свое. А это — только одна деревня. А их, таких деревень-то, по России — оё-ёй сколько!..

— Много,— соглашалась жена.

— Много,— вздыхал Макар.— Много.

1969

МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ

Витька Борзёнков поехал на базар в районный городок, продал сала на сто пятьдесят рублей (он собирался жениться, позарез нужны были деньги), пошел в

винный ларек «смазать» стакан-другой красного. Потом вышел, закурил...

Подошла молодая девушка, попросила:

— Разреши прикурить.

Витька дал ей прикурить от своей папироски, а сам с интересом разглядывал лицо девушки — молодая, припухла, пальцы трясутся.

— С похмелья? — прямо спросил Витька.

— Ну,— тоже просто и прямо ответила девушка, с наслаждением затягиваясь «беломориной».

— А похмелиться не на что,— стал дальше развивать мысль Витька, довольный, что умеет понимать людей, когда им худо.

— А у тебя есть?

(Никогда бы, ни с какой стати не подумал Витька, что девушка специально наблюдала за ним, когда он продавал сало, и что у ларька она его просто подкараулила.)

— Пойдем — поправься.— Витьке понравилась девушка — миловидная, стройненькая... А ее припухлость и особенно откровенность, с какой она призналась в своей несостоятельности, даже как-то взволновали.

Они зашли в ларек... Витька взял бутылку красного, два стакана... Сам выпил полтора стакана, остальное великодушно налил девушке. Они вышли опять на крыльцо, закурили. Витьке стало хорошо, девушке тоже. Обоим стало хорошо.

— Здесь живешь?

— Вот тут, недалеко,— кивнула девушка.— Спасибо, легче стало.

— Может, еще хочешь?

— Можно вообще-то... Только не здесь.

— Где же?

— Можно ко мне пойти, у меня дома никого нет...

В груди у Витьки нечто такое — сладостно-скользкое — вильнуло хвостом. Было еще рано, а до деревни своей Витьке ехать полтора часа автобусом — можно все успеть сделать.

— У меня там еще подружка есть,— подсказала девушка, когда Витька соображал, сколько взять. Он поэтому и взял: одну белую и две красных.

— С закусом одолеем,— решил он.— Есть чем закусить?

— Найдем.

Пошли с базара, как давние друзья.

— Чего приезжал?

— Сало продал... Деньги нужны — женюсь.

— Да?

— Женюсь. Хватит бурлачить.— Странно, Витька даже и не подумал, что поступает нехорошо в отношении невесты — куда-то идет с незнакомой девушкой, и ему хорошо с ней, лучше, чем с невестой,— интересней.

— Хорошая девушка?

— Как тебе сказать?.. Домовитая. Хозяйка будет хорошая.

— А насчет любви?

— Как тебе сказать?.. Такой, как раньше бывало,— здесь вот кипятком подмывало чего-то такое,— такой нету. Так... Надо же когда-нибудь жениться.

— Не промахнись. Будешь потом... Непривязанный, а визжать будешь.

В общем, поговорили в таком духе, пришли к дому девушки (ее звали Рита.) Витька и не заметил, как дошли и как шли — какими переулками. Домик как домик — старенький, темный, но еще будет стоять семьдесят лет, не охнет.

В комнатке (их три) чистенько, занавесочки, скатерочки на столах — уютно. Витька вовсе воспрянул духом.

«Шик-блеск-тру-ля-ля»,— всегда думал он, когда жизнь сулила скорую радость.

— А где же подружка?

— Я сейчас схожу за ней. Посидишь?

— Посижу. Только поскорей, ладно?

— Заведи вон радиолу, чтобы не скучать. Я быстро.

Ну почему так легко, хорошо Витьке с этой девушкой? Пять минут знакомы, а... Ну, жизнь! У девушки грустные, задумчивые, умные глаза. Витьке то вдруг становится жалко девушку, то охота стиснуть ее в объятиях.

Рита ушла. Витька стал ходить по комнате — радиолу не завел: без радиолы сердце билось в радостном предчувствии.

Потом помнит Витька: пришла подружка Риты — похуже, постарше, потасканная и притворная. Затараторила с ходу, стала рассказывать, что она когда-то была в цирке, «работала каучук». Потом пили... Витька прямо тут же, за столом целовал Риту, подружка смеялась

одобрительно, а Рита слабо била рукой Витьку по плечу, вроде отталкивала, а сама льнула, обнимала за шею.

«Вот она — жизнь! — ворочалось в горячей голове Витьки.— Вот она — зараза кипучая. Молодец я!»

Потом Витька ничего не помнит — как отрезало. Очнулся поздно вечером под каким-то забором... Долго мучительно соображал, где он, что произошло. Голова гудела, виски вываливались от боли. Во рту пересохло все, спеклось. Кое-как припомнил он девушку Риту... И понял: опоили чем-то, одурманили и, конечно, забрали деньги. Мысль о деньгах сильно встряхнула. Он с трудом поднялся, обшарил все карманы: да, денег не было. Витька прислонился к забору, осмотрелся... Нет, ничего похожего на дом Риты поблизости не было. Все другое, совсем другие дома.

У Витьки в укромном месте, в загашнике, был червонец — еще на базаре сунул туда на всякий случай... Пошарил — там червонец. Витька пошел наугад — до первого встречного. Спросил у какого-то старичка, как пройти к автобусной станции. Оказалось, не так далеко: прямо, потом налево переулком и вправо по улице опять прямо. «И упретесь в автобусную станцию». Витька пошел... И пока шел до автобусной станции, накопил столько злобы на городских прохиндеев, так их возненавидел, что даже боль в голове поунялась, и наступила свирепая ясность, и родилась в груди большая мстительная сила.

— Ладно, ладно,— бормотал он,— я вам устрою...

Что он собирался сделать, он не знал, знал только, что добром все это не кончится.

Около автобусной станции допоздна работал ларек, там всегда толпились люди. Витька взял бутылку красного, прямо из горлышка выпил ее всю до донышка, запустил бутылку в скверик... Были рядом с ним какие-то подпившие мужики, трое. Один сказал ему:

— Там же люди могут сидеть.

Витька расстегнул свой флотский ремень, намотал конец на руку — оставил свободной тяжелую бляху, как кистень. Эти трое подвернулись кстати.

— Ну?! — удивился Витька.— Неужели люди? Разве в этом вшивом городишке есть люди?

Трое переглянулись.

— А кто же тут, по-твоему?

— Суки! Каучук*работаете, да?

Трое пошли на него, Витька пошел на троих... Один сразу свалился от удара бляхой по голове, двое пытались достать Витьку ногой или руками, берегли головы. Потом они заорали:

— Наших бьют!

Еще налетело человек пять... Попало и Витьке: кто-то сзади тяпнул бутылкой по голове, но вскользь — Витька устоял. Оскорбленная душа его возликовала и обрела устойчивый покой. Нападавшие матерились, бестолково кучились, мешали друг другу, советовали — этим пользовался Витька и бил.

Прибежала милиция... Всем скопом загнали Витьку в угол — между ларьком и забором. Витька отмахивался. Милиционеров пропустили вперед, и Витька сдуру ударил одного по голове бляхой. Бляха Витькина страшна еще тем, что с внутренней стороны, в изогнутость ее, был налит свинец. Милиционер упал... Все ахнули и оторопели. Витька понял, что свершилось непоправимое, бросил ремень... Витьку отвезли в КПЗ.

Мать Витькина узнала о несчастье на другой день. Утром ее вызвал участковый и сообщил, что Витька натворил в городе то-то и то-то.

— Батюшки-святы! — испугалась мать.— Чего же ему теперь за это?

— Тюрьма. Тюрьма верная. У милиционера травма, лежит в больнице. За такие дела — только тюрьма. Лет пять могут дать. Что он, сдурел, что ли?

— Батюшки, ангел ты мой господний,— взмолилась мать,— помоги как-нибудь!

— Да ты что! Как я могу помочь?..

— Да выпил он, должно, он дурной выпимши...

— Да не могу я ничего сделать, пойми ты! Он в КПЗ, на него уже, наверно, завели дело...

— А кто же бы мог бы помочь-то?

— Да никто. Кто?.. Ну, съезди в милицию, узнай хоть подробности. Но там тоже... Что они там могут сделать?

Мать Витькина, сухая, двужильная, легкая на ногу, заметалась по селу. Сбегала к председателю сельсовета — тот тоже развел руками:

— Как я могу помочь? Ну, характеристику могу написать... все равно, наверно, придется писать. Ну, напишу хорошую.

— Напиши, напиши, как получше, разумная ты наша головушка. Напиши, что по пьянке он, он тверезый-то мухи не обидит...

— Там ведь не будут спрашивать, по пьянке он или не по пьянке. Ты вот что: съезди к тому милиционеру, может, не так уж он его и зашиб-то. Хотя вряд ли...

— Вот спасибо-то тебе, ангел ты наш, вот спасибочко-то...

— Да не за что...

Мать Витькина кинулась в район. Мать Витькина родила пятерых детей, рано осталась вдовой (Витька еще грудной был, когда пришла похоронка об отце в 42-м году), старший сын ее тоже погиб на войне в 45-м году, девочка умерла от истощения в 46-м году, следующие два сына выжили, мальчиками еще ушли по вербовке в ФЗУ и теперь жили в разных городах. Витьку мать выходила из последних сил, все распродала, но сына выходила — крепкий вырос, ладный собой, добрый... Все бы хорошо, но пьяный — дурак дураком становится. В отца пошел — тот, царство ему небесное, ни одной драки в деревне не пропускал.

В милицию мать пришла, когда там как раз обсуждали вчерашнее происшествие на автобусной станции. Милиционера Витька угостил здорово — тот действительно лежал в больнице. Еще двое алкашей тоже лежали в больнице — тоже от Витькиной бляхи.

Бляху с интересом разглядывали.

— Придумал, сволочь!.. Догадайся: ремень и ремень. А у него тут целая гирька. Хорошо еще — не ребром угодил...

И тут вошла мать Витьки... И, переступив порог, упала на колени, и завыла, и запричитала:

— Да ангелы вы мои милые, да разумные ваши головушки!.. Да способитесь вы как-нибудь с вашей обидушкой — простите вы его, окаянного! Пьяный он был... Он тверезый последнюю рубаху отдаст, сроду тверезый никого не обидел...

Заговорил старший, что сидел за столом и держал в руках Витькин ремень. Заговорил обстоятельно, спокойно, попроще — чтоб мать все поняла.

— Ты подожди, мать. Ты встань, встань — здесь не церква. Иди, глянь...

Мать поднялась, чуть успокоенная доброжелательным тоном начальственного голоса.

— Вот гляди: ремень твоего сына... Он во флоте, что ли, служил?

— Во флоте, во флоте — на кораблях-то на этих...

— Теперь смотри: видишь? — Начальник перевернул бляху, взвесил на руке: — Этим же убить человека — дважды два. Попади он вчера кому-нибудь этой штукой ребром — конец. Убийство. Да и плашмя троих уходил так, что теперь врачи борются за их жизни. А ты говоришь: простить. Ведь он же трех человек в больницу уложил. А одного при исполнении служебных обязанностей. Ты подумай сама: как же можно прощать за такие дела, действительно?

Материнское сердце, оно — мудрое, но там, где замаячила беда родному дитю, мать не способна воспринимать посторонний разум, и логика тут ни при чем.

— Да сыночки вы мои милые! — воскликнула мать и заплакала.— Да нешто не бывает по пьяному делу?! Да всякое бывает — подрались... Сжальтесь вы над ним!..

Тяжело было смотреть на мать. Столько тоски и горя, столько отчаяния было в ее голосе, что становилось не по себе. И хоть милиционеры — народ до жалости неохочий, даже и они — кто отвернулся, кто стал закуривать...

— Один он у меня — при мне-то: и поилец мой, и кормилец. А еще вот жениться надумал — как же тогда с девкой-то, если его посадют? Неужто ждать его станет? Не станет. А девка-то добрая, из хорошей семьи — жалко...

— Он зачем в город-то приезжал? — спросил начальник.

— Сала продать. На базар — сальца продать. Деньжонки-то нужны, раз уж свадьбу-то наметили, где их больше возьмешь?

— При нем никаких денег не было.

— Батюшки-святы! — испугалась мать.—А иде ж они?

— Это у него надо спросить.

— Да украли небось! Украли!.. Да милый ты сын, он оттого, видно, и в драку-то полез — украли их у него!.. Жулики украли...

— Жулики украли, а при чем здесь наш сотрудник — за что он его-то?

— Да попал, видно, под горячую руку.

— Ну, если каждый раз так попадать под горячую руку, у нас скоро и милиции не останется. Слишком уж они горячие, ваши сыновья! — Начальник набрался твердости.— Не будет за это прощения, получит свое по закону.

— Да ангелы вы мои, люди добрые,— опять взмолилась мать,— пожалейте вы хоть меня, старуху, я только теперь маленько и свет-то увидела... Он работящий парень-то, а женился бы, он бы совсем справный мужик был. Я бы хоть внучаток понянчила...

— Дело даже не в нас, мать, ты пойми. Есть же прокурор! Ну, выпустили мы его, а с нас спросят: на каком основании? Мы не имеем права. Права даже такого не имеем. Я же не буду вместо него садиться, действительно.

— А может, как-нибудь задобрить того милиционера? У меня холст есть, я нынче холста наткала — пропасть! Все им готовила...

— Да не будет он у тебя ничего брать, не будет! — уже кричал начальник.— Не ставь ты людей в смешное положение, действительно. Это же не кум с кумом поцапались!

— Куда же мне теперь идти-то, сыночки? Повыше-то вас есть кто или уж нету?

— Пусть к прокурору сходит,— посоветовал один из присутствующих.

— Мельников, проводи ее до прокурора,— сказал начальник. И опять повернулся к матери, и опять стал с ней говорить, как с глухой или совсем уж бестолковой: — Сходи к прокурору — он повыше нас! И дело уже у него. И пусть он тебе там объяснит: можем мы чего сделать или нет? Никто же тебя не обманывает, пойми ты!

Мать пошла с милиционером к прокурору.

Дорогой пыталась заговорить с милиционером Мельниковым.

— Сыночек, что, шибко он его зашиб-то?

Милиционер Мельников задумчиво молчал.

— Сколько же ему дадут, если судить-то станут?

Милиционер шагал широко. Молчал.

Мать семенила рядом и все хотела разговорить длинного, заглядывала ему в лицо.

— Ты уж разъясни мне, сынок, не молчи уж... Мать-то и у тебя небось есть, жалко ведь вас, так жалко, что

вот говорю — а каждое слово в сердце отдает. Много ли дадут-то?

Милиционер Мельников ответил туманно:

— Вот когда украшают могилы: оградки ставят, столбики, венки кладут... Это что — мертвым надо? Это живым надо. Мертвым уже все равно.

Мать охватил такой ужас, что она остановилась.

— Ты к чему это?

— Пошли. Я к тому, что будут, конечно, судить. Могли бы, конечно, простить — пьяный, деньги украли: обидели человека. Но судить все равно будут — чтоб другие знали. Важно на этом примере других научить...

— Да сам же говоришь — пьяный был!

— Это теперь не в счет. Его насильно никто не поил, сам напился. А другим это будет поучительно. Ему все равно теперь сидеть, а другие задумаются. Иначе вас никогда не перевоспитаешь.

Мать поняла, что этот длинный враждебно настроен к ее сыну, и замолчала.

Прокурор матери с первого взгляда понравился — внимательный. Внимательно выслушал мать, хоть она говорила длинно и путано — что сын ее, Витька, хороший добрый, что он трезвый мухи не обидит, что как же ей теперь одной-то оставаться? Что девка, невеста, не дождется Витьку, что такую девку подберут с руками-ногами — хорошая девка... Прокурор все внимательно выслушал, поиграл пальцами на столе... Заговорил издалека, тоже как-то мудрено:

— Вот ты — крестьянка, вас, наверно, много в семье росло...

— Шестнадцать, батюшка. Четырнадцать выжило, две маленькие ишо померли. Павел помер, а за ним другого мальчика тоже Павлом назвали...

— Ну вот — шестнадцать. В миниатюре — целое общество. Во главе — отец. Так?

— Так, батюшка, так. Отца слушались...

— Вот! — Прокурор поймал мать на слове.— Слушались! А почему? Нашкодил один — отец его ремнем. А брат или сестра смотрит, как отец учит шкодника, и думают: шкодить им или нет? Так в большом семействе поддерживался порядок. Только так. Прости отец одному, прости другому — что в семье? Развал. Я понимаю тебя, тебе жалко... Если хочешь, и мне жалко — там не курорт, и поедет он, судя по всему, не на один сезон.

По-человечески все понятно, но есть соображения высшего порядка, там мы бессильны... Судить будут. Сколько дадут, не знаю, это решает суд.

Мать поняла, что и этот невзлюбил ее сына. «За своего обиделись».

— Батюшка, а выше-то тебя есть кто?

— Как это? — не сразу понял прокурор.

— Ты самый главный али повыше тебя есть?

Прокурор, хоть ему потом и неловко стало, невольно рассмеялся.

— Есть, мать, есть. Много!

— Где же они?

— Ну, где?.. Есть краевые организации... Ты что, ехать туда хочешь? Не советую.

— Мне подсказали добрые люди: лучше теперь вызволять, пока не сужденый, потом тяжельше будет...

— Скажи этим добрым людям, что они... не добрые. Это они со стороны добрые... добренькие. Кто это посоветовал?

— Да посоветовали...

— Ну, поезжай. Проездишь деньги, и все. Результат будет тот же. Я тебе совершенно официально говорю: будут судить. Нельзя не судить, не имеем права. И никто этот суд не отменит.

У матери больно сжалось сердце... Но она обиделась на прокурора, а поэтому вида не показала, что едва держится, чтоб не грохнуться здесь и не завыть в голос. Ноги ее подкашивались.

— Разреши мне хоть свиданку с ним...

— Это можно,— сразу согласился прокурор.— У него что, деньги большие были, говорят?

— Были...

Прокурор написал что-то на листке бумаги, подал матери.

— Иди в милицию.

Дорогу в милицию мать нашла одна, без длинного — его уже не было. Спрашивала людей. Ей показывали. В глазах матери все туманилось и плыло... Она молча плакала, вытирала слезы концом платка, но шла привычно скоро, иногда только спотыкалась о торчащие доски тротуара... Но шла и шла, торопилась. Ей теперь, она понимала, надо поспешать, надо успеть, пока они его не засудили. А то потом вызволять будет трудно. Она верила этому. Она всю жизнь свою только и делала, что

справлялась с горем, и все вот так — на ходу, скоро, вытирая слезы концом платка. Неистребимо жила в ней вера в добрых людей, которые помогут. Эти — ладно — эти за своего обиделись, а те — подальше которые — те помогут. Неужели же не помогут? Она все им расскажет — помогут. Странно, мать ни разу не подумала о сыне, что он совершил преступление, она знала одно: с сыном случилась большая беда. И кто же будет вызволять его из беды, если не мать? Кто? Господи, да она пешком пойдет в эти краевые организации, она будет день и ночь идти и идти... Найдет она этих добрых людей.

— Ну? — спросил ее начальник милиции.

— Велел в краевые организации ехать,— слукавила мать.— А вот — на свиданку.— Она подала бумажку.

Начальник был несколько удивлен, хоть тоже старался не показать этого. Прочитал записку... Мать заметила, что он несколько удивлен. И подумала: «А-а». Ей стало маленько полегче.

— Проводи, Мельников.

Мать думала, что идти надо будет далеко, долго, что будут открываться железные двери — сына она увидит за решеткой и будет с ним разговаривать снизу, поднимаясь на цыпочки... А сын ее сидел тут же, внизу, в подвале. Там, в коридоре, стриженые мужики играли в домино... Уставились на мать и на милиционера. Витьки среди них не было.

— Что, мать,— спросил один мордастый,— тоже пятнадцать суток схлопотала?

Засмеялись.

Милиционер подвел мать к камере, которых по коридору было три или четыре, открыл дверь...

Витька был один, а камера большая, и нары широкие. Он лежал на нарах... Когда вошел милиционер, он не поднялся, но, увидев за ним мать, вскочил.

— Десять минут на разговоры,— предупредил длинный. И вышел.

Мать присела на нары, поспешно вытерла слезы платком.

— Гляди-ка — под землей, а сухо, тепло, — сказала она.

Витька молчал, сцепив на коленях руки. Смотрел на дверь. Он осунулся за ночь, оброс — сразу как-то, как нарочно. На него больно было смотреть. Его мелко

трясло, он напрягался, чтоб мать не заметила хоть этой тряски.

— Деньги-то, видно, украли? — спросила мать.

— Украли.

— Ну и бог бы уж с имя, с деньгами, зачем было драку из-за их затевать? Не они нас наживают — мы их.

Никому бы ни при каких обстоятельствах не рассказал Витька, как его обокрали — стыдно. Две шлюхи... Мучительно стыдно! И еще жалко мать. Он знал, что она придет к нему, пробьется через все законы, ждал этого и страшился.

У матери в эту минуту было на душе другое: она вдруг совсем перестала понимать, что есть на свете милиция, прокурор, суд, тюрьма... Рядом сидел ее ребенок, виноватый, беспомощный... И кто же может сейчас отнять его у нее, когда она — только она, никто больше — нужна ему?

— Не знаешь, сильно я его?..

— Да нет, плашмя попало... Но лежит, не поднимается.

— Экспертизу, конечно, сделали... Бюллетень возьмет...— Витька посмотрел на мать.— Лет семь заделают.

— Батюшки-святы!..— Сердце у матери упало.— Что же уж так много-то?

— Семь лет! — Витька вскочил с нар, заходил по камере.— Все прахом! Все, вся жизнь кувырком!

Мать мудрым сердцем своим поняла, какое отчаяние гнетет душу ее ребенка...

— Тебя как вроде уж осудили! — сказала она с укором.— Сразу уж — жизнь кувырком.

— А чего тут ждать? Все известно...

— Гляди-ка, все уж известно! Ты бы хоть сперва спросил: где я была, чего достигла?..

— Где была? — Витька остановился.

— У прокурора была...

— Ну? И он что?

— Дак вот и спроси сперва: чего он? А то сразу — кувырком! Какие-то слабые вы... Ишо ничем ничего, а уж... мысли бог знает какие.

— А чего прокурор-то?

— А то... Пусть, говорит, пока не переживает, пусть всякие мысли выкинет из головы... Мы, дескать, сами тут сделать ничего не можем, потому что не имеем права. А ты, мол, не теряй время, а садись и езжай в краевые

организации. Нам, мол, оттуда прикажут, мы волей-неволей его отпустим. Тада, говорит, нам и перед своими совестно не будет: хотели, мол, осудить, но не могли. Они уж все обдумали тут. Мне, говорит, самому его жалко... Но мы, говорит, люди маленькие. Езжай, мол, в краевые организации, там все обскажи подробно... У тебя сколь денег-то было?

— Полторы сотни.

— Батюшки-святы! Нагрели руки...

В дверь заглянул длинный милиционер.

— Кончайте.

— Счас, счас,— заторопилась мать.— Мы уж все обговорили... Счас я, значит, доеду до дому, Мишка Бычков напишет на тебя карахтеристику... Хорошую, говорит, напишу.

— Там... это... у меня в чемодане грамоты всякие лежат со службы... возьми на всякий случай...

— Какие грамоты?

— Ну, там увидишь. Может, поможет.

— Возьму. Потом схожу в контору — тоже возьму карактеристику... С голыми руками не поеду. Может, холст-то продать уж, у меня Сергеевна хотела взять?

— Зачем?

— Да взять бы деньжонок-то с собой — может, кого задобрить придется?

— Не надо, хуже только наделаешь.

— Ну, погляжу там.

В дверь опять заглянул милиционер.

— Время.

— Пошла, пошла,— опять заторопилась мать. А когда дверь закрылась, вынула из-за пазухи печенюжку и яйцо.— На-ка поешь... Да шибко-то не задумывайся — не кувырком ишо. Помогут добрые люди. Большие-то начальники — они лучше, не боятся. Эти боятся, а тем некого бояться — сами себе хозяева. А дойти до них я дойду. А ты скрепись и думай про чего-нибудь — про Верку хошь... Верка-то шибко закручинилась тоже. Даве забежала, а она уж слыхала...

— Ну?

— Горюет.

У Витьки в груди не потеплело оттого, что невеста горюет. Как-то так, не потеплело.

— А ишо вот чего...— Мать зашептала: — Возьми да в уме помолись. Ничего, ты крещеный. Со всех сторон

будем заходить. А я пораньше из дому-то выеду — до поезда — да забегу свечечку Николе-угоднику поставлю, попрошу тоже его. Ничего, смилостивются. Похоронку от отца возьму...

— Ты братьям-то... это... пока уж не сообщай.

— Не буду, не буду. Только лишний раз душу растревожут. Ты, главно, не задумывайся, что все теперь кувырком. А если уж дадут, так год какой-нибудь — для отвода глаз. Не семь же лет! А кому год дают, смотришь — они через полгода выходют. Хорошо там поработают, их раньше выпускают. А может, и года не дадут.

Милиционер вошел в камеру и больше уже не выходил.

— Время, время...

— Пошла.— Мать встала с нар, повернулась спиной к милиционеру, мелко перекрестила сына и одними губами прошептала:

— Спаси тебя Христос.

И вышла из камеры... И шла по коридору, и опять ничего не видела от слез. Жалко сына Витьку, ох, жалко. Когда они хворают, дети, тоже очень их жалко, но тут какая-то особая жалость — когда вот так, тут — просишь людей, чтоб помогли, а они отворачиваются, в глаза не смотрят. И временами жутко становится... Но мать действовала. Мыслями она была уже в деревне, прикидывала, кого ей надо успеть охватить до отъезда, какие бумаги взять. И та неистребимая вера, что добрые люди помогут ей, вела ее и вела, мать нигде не мешкала, не останавливалась, чтоб наплакаться вволю, тоже прийти в отчаяние — это гибель, она знала. Она — действовала.

Часу в третьем пополудни мать выехала опять из деревни — в краевые организации.

«Господи, помоги, батюшка,— твердила она в уме беспрерывно.— Не допусти сына до худых мыслей, образумь его. Он маленько заполошный — как бы не сделал чего над собой».

Поздно вечером она села в поезд и поехала.

«Ничего, добрые люди помогут».

Она верила, что помогут.

1969

ПЕТЯ

Двухэтажная гостиница городка Н хлопает дверьми, громко разговаривает, скрипит панцирными сетками кроватей, обильно пьет пиво...

Воскресенье. Делать нечего, я сижу спиной к дверям, к разговорам гостиничным и наблюдаю за Петей.

Он живет напротив, в длинном низком строении; окно моего номера выходит к ним во двор.

Петя — маленький, толстенький, грудь колесом, ушки топориком, нижняя челюсть вперед...

Петя — это, конечно, хозяин. Я за ним дня три уже наблюдаю.

Сегодня Петя вышел часов в десять, отоспался — свеженький, теплый. С ходу неловко присел несколько раз, помахал руками, крякнул, потом протяжно зевнул и пошел умываться к рукомойнику. Умывался долго, фыркал, крутил пальцами в ушах, хлопал ладошками себя по загривку... Возможно, Петя в глубине души считает, что когда он стоит вот так — в наклон, раскорячив ноги, и крутит пальцами в ушах,— возможно, он считает, что на спине его в это время вспухают и перекатываются под кожей бугры мышц. Бугров нету, есть добрый слой жира, и он слегка шевелится. Петя любит свое конопатое тело: в субботу и в воскресенье до обеда он ходит по двору голый по пояс. И все поглаживает себя, похлопывает — все бьет каких-то невидимых мошек, комариков и разглядывает их. А то вдруг ни с того ни с сего шлепнет ладонью по груди и потом долго потирает грудь.

— Лялька, полотенец! — кричит Петя, кончив плескаться.

Лялька — жена Пети. Она выше его, сухая... Громко, показушно уважает мужа.

— Слышь?!

— Оу?!

— Полотенец!

— Несу-у!

Петя, растопырив руки, в ожидании прохаживается вдоль высокой поленницы дров. Ходит он враскорячку. Мне кажется, это у него благоприобретенное, эта раскорячка. Подражает кому-то.

Лялька вынесла полотенце.

— Какую сорочку приготовить? Голубую или бе-

ленькую? — Лялька, фиксатая притвора, успевает зыркнуть глазами туда-сюда.— Я предлагаю голубенькую...

Петя не спеша вытирает руки, плечи... И думает.

— Голубую.

— Правильно. Она тебя молодит...— И опять глазами — зырк-зырк. О, эта Лялька видала виды.

Петя вытирает лицо; Лялька стоит рядом, ждет. А у Пети-то пузцо! Молодое, кругленькое — этакая аккуратная мозоль. Петя демонстративно свесил пузцо с ремня — пусть все видят, что человек живет в довольстве.

— Какие запоночки дать: с янтаря или серебрушки? — озабочена Лялька.

Петя опять некоторое время думает.

— С янтаря.

Лялька взяла полотенце, вытерла со спины мужа какие-то видимые только ей капельки и ушла в дом. По обрывкам разговоров я еще раньше понял, что Лялька буфетчица. Я только не понял, зачем ей надо, чтоб все видели, как она уважает мужа, ценит. Петя, как я догадываюсь, какой-то складской работник. Что тут: сокрытие какого-то ее греха? Игра в подкидного дурака?.. Не знаю, но демонстрирует она это свое уважение так, что в нос шибает.

— Петя! — кричит она, высовываясь из окна.— Галстук будешь одевать? А то я его поглажу...

Петя опять в затруднении.

— Та-а... не надо,— говорит он.

— А почему? Он же тебе очень идет.

— Гладь.

— Какой, красный?

— Красный.

Лялька уходит гладить красный галстук.

Петя, по незабытой еще крестьянской привычке, трогает штакетник, шатает. Кое-где пооослабло. Петя останавливается и думает, глядя на штакетник, поглаживая себя правой рукой — от плеча к груди.

— Петь!..— Лялька опять в окне.— Ты помнишь, как эта... вокруг тебя увивалась-то? «Петя, давайте я вам холодцу положу! Петя, вы летку-енку танцуете?» Лярва...

Петя, возможно, забыл, когда и кто вокруг него увивался, но ему приятно, что увивались.

— Она сегодня опять будет. Смотри, не сули ей ничего. Ей шиферу надо, лярве.

Петя провел толстой, короткой ладонью по волосам.

— Ты про кого?

— А эта... не знаю, как ее фамилия, знакомая Колмаковых. Все летку-енку-то танцует.

— А-а,— вспомнил Петя.— А чего она хочет?

— Шиферу.

— А в нос не хочет? — Петя смеется молча, весь: подрагивает животик, подбородок, загривок напряженно лоснится и дрожит.

Лялька смеется, как сухие бобы по полу сыплет,— мелко, часто и не смешно.

Отсмеялась и еще раз напоминает:

— Не сули, смотри, ничего. А то ты, выпимши, слабый.

— Я-то слабый? — Пете слегка не понравилось, что он бывает слабый.

— А у Маковкиных-то в прошлом году, помнишь? — Лялька опять просыпает горсть бобов — смеется.— Отливали-то...

— Та-а...

— Не сули ей никакого шиферу! А то она сама же разнесет потом: «Мне Петя шиферу посулил!»

— Да ну, что я?..

Петя сходил в сарайчик, принес гвозди, молоток. Не спеша прибил штакетины. Постоял, поиграл молотком, видно, разохотился поработать, решает, что бы еще прибить.

А Лялька то и дело высовывается из окна.

— Петь, ты помнишь, я тебе пластинку на день рождения дарила? Там еще «Очи черные» были...

— А что?

— Где она?

— Не знаю. А что?

— Хочу взять ее. Может, споем. Чтобы она заткнулась со своей леткой...

— Нет, «Очи» нам не потянуть.

— Подпоем! Я вытяну.

— Не знаю... Там где-нибудь.

Петя подошел к крыльцу, еще постучал молотком.

— Нашла! Петь!..

— А?

— Нашла! Она сегодня заткнется... Я плечами трясти умею. Ты не видал?

— Нет.

— Счас...— Лялька на минуту исчезла... И вновь появилась в цветастой шали, наброшенной на плечи.— Смотри! — И стала трясти плечами по-цыгански. Тощая грудь ее тоже затряслась — туда-сюда. Смотреть неприятно.

— Не вывихни кости-то,—сказал он. И поколебал животом — посмеялся.

— Получается? Петь...

— Получается.

Я так думаю, живет в Пете тоска по крупной, крепкой бабе. Но крепкие не так суетливы и угодливы, отсюда этот странный союз. Лялька ублажает Петю, в этом все дело. Петя, этот сгусток неизработанных мышц и сала, явно болен ленивым каким-то, анемичным честолюбием... Впрочем, я гадаю. Много я тут не понимаю.

— Петя!

— Ну?

— Тебе воды погреть бриться?

Петя потрогал подбородок...

— Погрей.

— Погорячей сделать?

— Ну, так, чтоб терпеть можно. Ты помнишь Михеева?

— Какого Михеева?

— Из потребсоюза Михеева... Я ему еще обсадных труб тридцать пять метров доставал. С шампанским както приходил, ты еще шампанским-то подавилась, мы хохотали долго...

— А-а, Михеев! Лысый такой?

— Ну. В пятницу звоню ему: мне надо было два гарнитура достать одному там, помоги, мол. Нет, говорит, у нас, говорит, ревизия недавно была... Поросенок. Ну ладно, думаю себе, я те сделаю в следующий раз, приткнешься.

Лялька прямо взвилась. Чуть из окна не вывалилась.

— Ты вот какой-то... Петя, ты пошто такой есть-то? Неужель ты людей не знаешь? Они вот пронюхали твою доброту и пользуются, и пользуются... Сволочи! Ты будь маленько... это... Ты уж какой-то очень добрый. И для всех ты готов все достать, все сделать... В лепешку готов

расшибиться! А они потом нос воротют, сволочи. Ты думаешь, ты им в добро войдешь? На-ка!..

Петя принахмурился, отвернул голову... Вроде виноват. Виноват: добр без меры, без разбора. Глупо добр, а людишки этим пользуются. Вроде он все понимает, но...

— И обо всех у тебя душа болит, обо всех! Об себе только не болит. На кой они тебе черт нужны? Гляди-ка, ночи мужик не спит — думает, думает!..— Лялька поддала в голосе — это тем, кто во дворе, кто может слышать.— Весь прямо извелся, извелся мужик, а они... Гляди-ка чё есть-то!..

Эта сельская пара давно уж не смущается здесь, в большом муравейнике, освоились. Однако прихватили они с собой не самое лучшее, нет. Обидно. Стыдно. И злость берет.

Часам к трем Лялька и Петя выплывают из квартиры — пошли в гости.

Бывает так, что человек вставлен в костюм и костюм идет по улице самостоятельно, человек только помогает ему передвигаться. С Петей не так. Петя идет сам — медленно, враскорячку — костюм удивительным образом подчеркивает то, что Петя никак не хочет скрывать: пузцо, смеющийся загривок и громадное удовлетворение. Покой.

Идут под руку. Лялька прилепилась к Пете, как чужая пожухлая ветка к дубку... Ветерок дергает ее, она не отцепляется. Трепещет, шумит листочками... Недалеко от моего окна сидит на лавочке старушка. Цельными днями сидит и наблюдает за жизнью двора.

— Кака уважительна бабочка-то,— говорит старушка сама с собой,— цельный день только и слыхать: «Петя! Петя!» Дружно живут, дай господи. Дружная парочка...

Поздно вечером Петя с Лялькой возвращаются.

Петя слегка того... отяжелел. Сел на крыльце и не хочет идти домой.

— Пойдем, Петя, Петенька! — зовет Лялька.

— Не хочу,— говорит Петя.— Не желаю.

— Петя!..— чуть не плачет Лялька.— Я уж и так смучилась, ты вон какой тяжелый... Пойдем, Петенька. А? Пожалел бы меня... Пойдем, ненаглядный мой, ляжешь в кроватку — и баеньки, и баеньки. А?

— Не хочу,— гудит свинцовый Петя.

— Пойдем, Петенька. Ну-ка, от-теньки — поднялись мы с Петей, пошли, пошли, пошли-и. Ненаглядный ты мой...— Кое-как увела Петеньку.

— Покуражился маленько и пошел,— понимающе говорит старушка.— Славная парочка, дружная. Дай бог здоровья.

А меня вдруг пронизала догадка: да, ведь любит она его, Лялька-то. Петю-то. Вот так: и виды видала, и любит. И гордится, и хвастает — все потому, что любит.

1969

МИКРОСКОП

На это надо было решиться. Он решился.

Как-то пришел домой — сам не свой — желтый; не глядя на жену, сказал:

— Это... я деньги потерял.— При этом ломаный его нос (кривой, с горбатинкой) из желтого стал красным.— Сто двадцать рублей.

У жены отвалилась челюсть, на лице появилось просительное выражение: может, это шутка? Да нет, этот кривоносик никогда не шутит, не умеет. Она глупо спросила:

— Где?

Тут он невольно хмыкнул.

— Дак если б я знал, я б пошел и...

— Ну, не-ет!! — взревела она.— Ухмыляться ты теперь до-олго не будешь! — И побежала за сковородником.— Месяцев девять, гад!

Он схватил с кровати подушку — отражать удары. (Древние только форсили своими сверкающими щитами. Подушка!) Они закружились по комнате...

— Подушку-то, подушку-то мараешь! Самой стирать!..

— Выстираю! Выстираю, кривоносик! А два ребра мои будут! Мои! Мои!..

— По рукам, слушай!..

— От-теньки-коротеньки!.. Кривенькие носики!

— По рукам, зараза! Я ж завтра на бюлитень сяду! Тебе же хуже!..

— Садись!

— Тебе же хуже...

— Пускай!

— Ой!

— От так!

— Ну, будет?

— Нет, дай я натешусь! Дай мне душеньку отвести, скважина ты кривоносая! Дятел...— Тут она изловчилась и больно достала его по голове. Немножко сама испугалась...

Он бросил подушку, схватился за голову, застонал. Она пытливо смотрела на него: притворяется или правда больно? Решила, что — правда. Поставила сковородник, села на табуретку и завыла. Да с причетом, с причетом:

— Ох, да за што же мне долюшка така-ая-а?.. Да копила-то я их, копила!.. Ох, да лишний-то раз кусочка белого не ела-а!.. Ох, да и детушкам своим пряничка сладкого не покупала!.. Все берегла-то я, берегла, скважина ты кривоносая-а!.. Ох-х!.. Каждую-то копеечку откладывала да радовалась: будут у моих детушек к зиме шубки теплые да нарядные!.. И будут-то они ходить в школу не рваные да не холодные!..

— Где это они у тебя рваные-то ходют?— не вытерпел он.

— Замолчи, скважина! Замолчи. Съел ты эти денюжки от своих же детей! Съел и не подавился... Хоть бы ты подавился имя, нам бы маленько легче было...

— Спасибо на добром слове,— ядовито прошептал он.

— М-хх, скважина!.. Где был-то? Может, вспомнишь?.. Может, на работе забыл где-нибудь? Может, под верстак положил да забыл?

— Где на работе!.. Я в сберкассу-то с работы пошел. На работе...

— Ну, может, заходил к кому, скважина?

— Ни к кому не заходил.

— Может, пиво в ларьке пил с алкоголиками?.. Вспомни. Может, выронил на пол... Беги, они пока ишо отдадут.

— Да не заходил я в ларек!

— Да где ж ты их потерять-то мог, скважина?

— Откуда я знаю?

— Ждала его!.. Счас бы пошли с ребятишками, примерили бы шубки... Я уж там подобрала — какие. А теперь их разберут. Ох, скважина ты, скважина...

— Да будет тебе! Заладила: скважина, скважина...

— Кто же ты?

— Што тепе́рь сделаешь?

— Будешь в две смены работать, скважина! Ты у нас худой будешь... Ты у нас выпьешь теперь читушечку после бани, выпьешь! Сырой водички из колодца...

— Нужна она мне, читушечка. Без нее обойдусь.

— Ты у нас пешком на работу ходить будешь! Ты у нас покатаешься на автобусе.

Тут он удивился:

— В две смены работать и — пешком? Ловко...

— Пешком! Пешком — туда и назад, скважина! А где, так ишо побежишь — штоб не опоздать. Отольются они тебе, эти денюжки, вспомнишь ты их не раз.

— В две не в две, а по полторы месячишко отломаю — ничего,— серьезно сказал он, потирая ушибленное место.— Я уж с мастером договорился...— Он не сообразил сперва, что проговорился. А когда она недоуменно глянула на него, поправился: — Я, как хватился денег-то, на работу снова поехал и договорился.

— Ну-ка дай сберегательную книжку,— потребовала она. Посмотрела, вздохнула и еще раз горько сказала:— Скважина.

С неделю Андрей Ерин, столяр маленькой мастерской при «Заготзерне», что в девяти километрах от села, чувствовал себя скверно. Жена все злилась; он то и дело получал «скважину», сам тоже злился, но обзываться вслух не смел.

Однако дни шли... Жена успокаивалась. Андрей ждал. Наконец решил, что — можно.

И вот поздно вечером (он действительно «вламывал» по полторы смены) пришел он домой, а в руках держал коробку, а в коробке, заметно, что-то тяжеленькое. Андрей тихо сиял.

Ему нередко случалось приносить какую-нибудь работу на дом, иногда это были небольшие какие-нибудь деревянные штучки, ящички, завернутые в бумагу,— никого не удивило, что он с чем-то пришел. Но Андрей тихо сиял. Стоял у порога, ждал, когда на него обратят внимание... На него обратили внимание.

— Чего эт ты, как... голый зад при луне, светисся?

— Вот... дали за ударную работу...— Андрей прошел к столу, долго распаковывал коробку... И, наконец, открыл. И выставил на стол... микроскоп.— Микроскоп.

— Для чего он тебе?

Тут Андрей Ерин засуетился. Но не виновато засуетился, как он всегда суетился, а как-то снисходительно засуетился.

— Луну будем разглядывать! — И захохотал. Сын-пятиклассник тоже засмеялся: луну в микроскоп!

— Чего вы? — обиделась мать.

Отец с сыном так и покатились.

Мать навела на Андрея строгий взгляд. Тот успокоился.

— Ты знаешь, что тебя на каждом шагу окружают микробы? Вот ты зачерпнула кружку воды... Так? — Андрей зачерпнул кружку воды.— Ты думаешь, ты воду пьешь?

— Пошел ты!!..

— Нет, ты ответь.

— Воду пью.

Андрей посмотрел на сына и опять невольно захохотал.

— Воду она пьет!.. Ну не дура?..

— Скважина! Счас сковородник возьму.

Андрей снова посерьезнел.

— Микробов ты пьешь, голубушка, микробов. С водой-то. Миллиончика два тяпнешь — и порядок. На закуску!— Отец и сын опять не могли удержаться от смеха. Зоя (жена) пошла в куть за сковородником.

— Гляди суда! — закричал Андрей. Подбежал с кружкой к микроскопу, долго настраивал прибор, капнул на зеркальный кружок капельку воды, приложился к трубе и, наверно, минуты две, еле дыша, смотрел. Сын стоял за ним — смерть как хотелось тоже глянуть.

— Пап!..

— Вот они, собаки!..— прошептал Андрей Ерин. С каким-то жутким восторгом прошептал: — Разгуливают...

— Ну, пап!

Отец дрыгнул ногой.

— Туда-суда, туда-суда!.. Ах, собаки!

— Папка!

— Дай ребенку посмотреть! — строго велела мать, тоже явно заинтересованная.

Андрей с сожалением оторвался от трубки, уступил место сыну. И жадно и ревниво уставился ему в затылок. Нетерпеливо спросил:

— Ну?

Сын молчал.

— Ну?!

— Вот они! — заорал парнишка.— Беленькие...

Отец оттащил сына от микроскопа, дал место матери.

— Гляди! Воду она пьет...

Мать долго смотрела... Одним глазом, другим...

— Да никого я тут не вижу.

Андрей прямо зашелся весь, стал удивительно смелый.

— Оглазела! Любую копейку в кармане найдет, а здесь микробов разглядеть не может. Они ж чуть не в глаз тебе прыгают, дура! Беленькие такие...

Мать, потому что не видела никаких беленьких, а отец с сыном видели, не осердилась.

— Вон, однако... Может, соврала, у нее выскакивало. Могла приврать.

Андрей решительно оттолкнул жену от микроскопа и прилип к трубке сам. И опять голос его перешел на шепот.

— Твою мать, што делают! Што делают!..

— Мутненькие такие? — расспрашивала сзади мать сына.— Вроде как жиринки в супу?.. Они, што ли?

— Ти-ха! — рявкнул Андрей, не отрываясь от микроскопа.— Жиринки... Сама ты жиринка. Ветчина целая. — Странно, Андрей Ерин становился крикливым хозяином в доме.

Старший сынишка-пятиклассник засмеялся. Мать дала ему подзатыльник. Потом подвела к микроскопу младших.

— Ну-ка ты, доктор кислых щей!.. Дай детям посмотреть. Уставился...

Отец уступил место у микроскопа и взволнованно стал ходить по комнате. Думал о чем-то.

Когда ужинали, Андрей все думал о чем-то, поглядывал на микроскоп и качал головой. Зачерпнул ложку супа, показал сыну:

— Сколько здесь?.. Приблизительно?

Сын наморщил лоб:

— С полмиллиончика есть.

Андрей Ерин прищурил глаз на ложку.

— Не меньше. А мы их — ам! — Он проглотил суп и хлопнул себя по груди.— И — нету. Сейчас их там

сам организм начнет колошматить. Он-то с имя управляется!

— Небось сам выпросил? — Жена с легким неудовольствием посмотрела на микроскоп.— Может, пылесос бы дали. А то пропылесосить — и нечем.

Нет, бог, когда создавал женщину, что-то такое намудрил. Увлекся творец, увлекся. Как всякий художник, впрочем. Да ведь и то — не Мыслителя делал.

Ночью Андрей два раза вставал, зажигал свет, смотрел в микроскоп и шептал:

— От же ж собаки!.. Што вытворяют. Што они только вытворяют! И не спится им!

— Не помешайся,— сказала жена,— тебе ведь немного и надо-то — тронешься.

— Скоро начну открывать,— сказал Андрей, залезая в тепло к жене.— Ты с ученым спала когда-нибудь?

— Еще чего!..

— Будешь.— И Андрей Ерин ласково похлопал супругу по мягкому плечу.— Будешь, дорогуша, с ученым спать...

Неделю, наверно, Андрей Ерин жил, как во сне. Приходил с работы, тщательно умывался, наскоро ужинал... Косился на микроскоп.

— Дело в том,— рассказывал он,— что человеку положено жить сто пятьдесят лет. Спрашивается, почему же он шестьдесят, от силы семьдесят — и протянул ноги? Микробы! Они, сволочи, укорачивают век человеку. Пролезают в организм, и, как только он чуток ослабнет, они берут верх.

Вдвоем с сыном часами сидели они у микроскопа, исследовали. Рассматривали каплю воды из колодца, из питьевого ведра... Когда шел дождик, рассматривали дождевую капельку. Еще отец посылал сына взять для пробы воды из лужицы... И там этих беленьких кишмя кишело.

— Твою мать-то, што делают!.. Ну вот как с имя бороться? — У Андрея опускались руки.— Наступил человек в лужу, пришел домой, наследил... Тут же прошел и ребенок босыми ногами, и, пожалуйста, подцепил. А какой там организьм у ребенка!

— Поэтому всегда надо вытирать ноги,— заметил сын.— А ты не вытираешь.

— Не в этом дело. Их надо научиться прямо в луже уничтожать. А то — я вытру, знаю теперь, а Сенька

вон Маров... докажи ему: как шлепал, дурак, так и впредь будет.

Рассматривали также капельку пота, для чего сынишка до изнеможения бегал по улице, потом отец ложечкой соскреб у него со лба влагу — получили капельку, склонились к микроскопу...

— Есть! — Андрей с досадой ударил себя кулаком по колену.— Иди проживи сто пятьдесят лет!.. В коже и то есть.

— Давай спробуем кровь? — предложил сын.

Отец уколол себе палец иголкой, выдавил ярко-красную ягодку крови, стряхнул на зеркальце... Склонился к трубке и застонал.

— Хана, сынок,— в кровь полезли! — Андрей Ерин распрямился, удивленно посмотрел вокруг.— Та-ак. А ведь знают, паразиты, лучше меня знают — и молчат!

— Кто? — не понял сын.

— Ученые. У их микроскопы-то получше нашего — все видят. И молчат. Не хотят расстраивать народ. А чего бы не сказать? Может, все вместе-то и придумали бы, как их уничтожить. Нет, сговорились и молчат. Волнение, мол, начнется.

Андрей Ерин сел на табуретку, закурил.

— От какой мелкой твари гибнут люди! — Вид у Андрея был убитый.

Сын смотрел в микроскоп.

— Друг за дружкой гоняются! Эти маленько другие... Кругленькие.

— Все они — кругленькие, длинненькие — все на одну масть. Матери не говори пока, што мы у меня их в крове видели.

— Давай у меня посмотрим?

Отец внимательно поглядел на сына... И любопытство и страх отразились в глазах у Ерина-старшего. Руки его, натруженные за много лет — большие, пропахшие смольем... чуть дрожали на коленях.

— Не надо. Может, хоть у маленьких-то... Эх, вы! — Андрей встал, пнул со зла табуретку.— Вшей, клопов, личинок всяких — это научились выводить, а тут какихто... меньше же гниды самой маленькой — и ничего сделать не можете! Где же ваша ученая степень?!

— Вшу видно, а этих... Как ты их?

Отец долго думал.

— Скипидаром?.. Не возьмет. Водка-то небось покрепче... я ж пью, а вон видел, што делается в крове-то!

— Водка в кровь, что ли, поступает?

— А куда же? С чего же дуреет человек?

Как-то Андрей принес с работы длинную тонкую иглу... Умылся, подмигнул сыну, и они ушли в горницу.

— Давай попробуем... Наточил проволочку — может, сумеем наколоть парочку.

Кончик проволочки был тонкий-тонкий — прямо волосок. Андрей долго ширял этим кончиком в капельку воды. Пыхтел... Вспотел даже.

— Разбегаются, заразы... Нет, толстая, не наколоть. Надо тоньше, а тоньше уже нельзя — не сделать. Ладно, счас поужинаем, попробуем их током... Я батарейку прихватил: два проводка подведем и законтачим. Посмотрим, как тогда будут...

И тут-то во время ужина нанесло неурочного: зашел Сергей Куликов, который работал вместе с Андреем в «Заготзерне». По случаю субботы Сергей был под хмельком, потому, наверно, и забрел к Андрею — просто так.

В последнее время Андрею было не до выпивок, и он с удивлением обнаружил, что брезгует пьяными. Очень уж они глупо ведут себя и говорят всякие несуразные слова.

— Садись с нами,— без всякого желания пригласил Андрей.

— Зачем? Мы вот тут... Нам што? Нам — в уголку!..

«Ну чего вот сдуру сиротой казанской прикинулся?»

— Как хочешь.

— Дай микробов посмотреть.

Андрей встревожился.

— Каких микробов? Иди проспись, Серега... Никаких у меня микробов нету.

— Чего ты скрываешь-то? Оружию, што ли, прячешь? Научное дело... Мне мой парнишка все уши прожужжал: дядя Андрей всех микробов хочет уничтожить. Андрей!..— Сергей стукнул себя в грудь кулаком, устремил свирепый взгляд на «ученого».— Золотой памятник отольем!.. На весь мир прославим! А я с тобой рядом работал!.. Андрюха!

Зое Ериной, хоть она тоже не выносила пьяных, тем

не менее лестно было, что по селу говорят про ее мужа — ученый. Скорей по привычке поворчать при случае, чем из истинного чувства, она заметила:

— Нé могли уж чего-нибудь другое присудить? А то — микроскоп. Свихнется теперь мужик — ночи не спит. Што бы — пылесос какой-нибудь присудить... А то пропылесосить, и нечем, не соберемся никак купить.

— Кого присудить? — не понял Сергей.

Андрей Ерин похолодел.

— Да премию-то вон выдали... Микроскоп-то этот...

Андрей хотел было как-нибудь — глазами — дать понять Сергею, что... но куда там! Тот уставился на Зою как баран.

— Какую премию?

— Ну премию-то вам давали!

— Кому?

Зоя посмотрела на мужа, на Сергея...

— Вам премию выдавали?

— Жди, выдадут они премию! Догонют да ишо раз выдадут. Премию...

— А Андрею вон микроскоп выдали... за ударную работу...— Голос супруги Ериной упал до жути — она все поняла.

— Они выдадут! — разорялся в углу пьяный Сергей.— Я в прошлом месяце на сто тридцать процентов нарядов назакрывал... так? Вон Андрей не даст соврать...

Все рухнуло в один миг и страшно устремилось вниз, в пропасть.

Андрей встал... Взял Сергея за шкирку и вывел из избы. Во дворе стукнул его разок по затылку, потом спросил:

— У тебя три рубля есть? До получки...

— Есть... Ты за што меня ударил?

— Пошли в лавку. Кикимора ты болотная!.. Какого хрена пьяный болтаешься по дворам?.. Эх-х... Чурка ты с глазами.

В эту ночь Андрей Ерин ночевал у Сергея. Напились они с ним до соплей. Пропили свои деньги, у кого-то еще занимали до получки.

Только на другой день, к обеду, заявился Андрей домой... Жены не было.

— Где она? — спросил сынишку.

— В город поехала, в эту... как ее... в комиссионку.

Андрей сел к столу, склонился на руки. Долго сидел так.

— Ругалась?

— Нет. Так, маленько. Сколько пропил?

— Двенадцать рублей. Ах, Петька... сынок...— Андрей Ерин, не поднимая головы, горько сморщился, заскрипел зубами.— Разве же в этом дело?! Не поймешь ты по малости своей... не поймешь...

— Понимаю: она продаст его.

— Продаст. Да... Шубки надо. Ну ладно — шубки, ладно. Ничего... Надо, конечно...

1969

СРЕЗАЛ

К старухе Агафье Журавлевой приехал проведать, отдохнуть сын Константин Иванович с женой и дочерью.

Деревня Новая небольшая, и, когда Константин Иванович подкатил на такси, сразу вся деревня узнала: к Агафье приехал сын с семьей, средний, Костя, ученый.

К вечеру стали известны подробности: он сам кандидат наук, жена тоже кандидат, дочь школьница, Агафье привезли электрический самовар, цветастый халат и деревянные ложки.

Вечером у Глеба Капустина на крыльце собрались мужики. Ждали хозяина.

Про Глеба Капустина надо рассказать, чтобы понять, почему у него на крыльце собрались мужики и чего они ждали.

Глеб Капустин, толстогубый, белобрысый мужик лет сорока, деревенский краснобай, начитанный и ехидный. Как-то так получилось, что из деревни Новой, хоть она небольшая, много вышло знатных людей: один полковник, два летчика, врач, корреспондент... И вот теперь Журавлев кандидат. И как-то так повелось, что когда знатные приезжали в деревню на побывку, когда к знатному земляку в избу набивался вечером народ — слушали какие-нибудь дивные истории или сами рассказывали про себя, если земляк интересовался,— тогда-то Глеб Капустин приходил и срезáл гостя. Многие этим были недовольны, но некоторые мужики ждали, когда Глеб Капустин придет и срежет знатного. Даже не то что ждали, а шли раньше к Глебу, а потом уж вместе к гостю. Пря-

мо как на спектакль ходили. В прошлом году Глеб срезал полковника. Заговорили о войне 1812 года... Выяснилось, что полковник не знает, кто велел поджечь Москву. Точнее, он сказал, что какой-то граф, но фамилии перепутал, назвал Распутин. Глеб коршуном взмыл над полковником... И срезал. Пока бегали к учительнице домой — узнавать фамилию графа,— Глеб сидел красный в ожидании решающей минуты и только повторял: «Спокойствие, спокойствие, товарищ полковник, мы же не в Филях, верно?» Глеб остался победителем; полковник очень расстроился, бил себя кулаком по голове и недоумевал.

Долго потом говорили в деревне про Глеба, вспоминали, как он повторял: «Спокойствие, спокойствие, товарищ полковник, мы же не в Филях». Старики интересовались — почему он так говорил: «Мы же не в Филях».

Глеб посмеивался и как-то мстительно щурил глаза. Все матери знатных людей в деревне не любили Глеба. Опасались. И вот теперь приехал кандидат Журавлев...

Глеб пришел с работы (он работал на пилораме), умылся, переоделся... Ужинать не стал. Вышел к мужикам на крыльцо.

Закурили... Малость поговорили о том, о сем — нарочно не о Журавлеве. Потом Глеб раза два посмотрел в сторону избы бабки Агафьи Журавлевой. Спросил:

— Гости к бабке Агафье приехали?

— Кандидаты!

— Кандидаты? — удивленно протянул Глеб.— О-о!.. Голой рукой не возьмешь.

Мужики посмеялись: мол, кто не возьмет, а кто может и взять. И посматривали с нетерпением на Глеба.

— Ну, пошли попроведаем кандидатов,— предложил Глеб.

Глеб шел несколько впереди остальных, руки в карманах, щурился на избу бабки Агафьи. Получалось, со стороны, что мужики ведут Глеба. Так ведут опытного кулачного бойца, когда становится известно, что на враждебной улице объявился силач.

— В какой области кандидаты? — дорогой спросил Глеб.

— По какой специальности? А черт его знает... Сказывают — кандидаты. И он, и жена...

— Есть кандидаты технических наук, есть общеобразовательные, эти в основном трепологией занимаются.

— Костя вообще-то в математике рубил хорошо,— вспомнил кто-то, кто учился с Костей в школе.— Пятерошник был.

Глеб был родом из соседней деревни и здешних людей знал мало.

— Посмотрим, посмотрим,— неопределенно пообещал Глеб.— Кандидатов сейчас как нерезаных собак.

— На такси приехал...

— Ну, марку-то надо поддержать! — усмехнулся Глеб.— Пишется Ливерпуль, а читается Манчестер. Мы все учились понемногу!

Константин Иванович встретил гостей радушно, захлопотал насчет стола... Гости скромно подождали, пока бабка Агафья накрыла стол, поговорили с кандидатом, повспоминали, как в детстве они вместе...

— Эх, детство, детство! — с грустинкой воскликнул кандидат.— Ну, садитесь за стол, друзья,— радушно пригласил он.

Все сели за стол. Глеб пока помалкивал, но — видно было — подбирался к прыжку. Он поддакнул тоже насчет детства, а сам оценивающе взглядывал на кандидата — примеривался.

За столом разговор пошел дружнее, стали уж вроде и забывать про Глеба... И тут он пошел в атаку на кандидата.

— В какой области выявляете себя? — спросил он.

— Где работаю, что ли?

— Да.

— На филфаке.

— Философия?

— Не совсем...

— Необходимая вещь.— Глебу нужно было, чтоб была философия. Он оживился.— Ну и как насчет первичности?

— Какой первичности? — не понял кандидат. И внимательно посмотрел на Глеба.

— Первичности духа и материи.— Глеб бросил перчатку.

Кандидат поднял перчатку.

— Как всегда,— сказал он с улыбкой.— Материя первична...

— А дух?

— А дух вторичен. А что?

— Это входит в минимум? Вы извините, мы тут... далеко от общественных центров, поговорить хочется, но не особенно-то разбежишься — не с кем. Как сейчас философия определяет понятие невесомости?

— Как всегда определяла. Почему сейчас?

— Но явление-то открыто недавно, поэтому я и спрашиваю. Натурфилософия, допустим, определит так, стратегическая философия — совершенно иначе...

— Да нет такой философии — стратегической! — усмехнулся кандидат.

— Допустим, но есть диалектика природы,— при общем внимании продолжал Глеб.— А природу определяет философия. В качестве одного из элементов природы недавно обнаружена невесомость. Поэтому я и спрашиваю: растерянности не наблюдается среди философов?

Кандидат расхохотался. Но смеялся он один... И почувствовал неловкость. Позвал жену:

— Валя, иди, у нас тут... какой-то странный разговор!

Валя подошла к столу. Константин Иванович чувствовал неловкость, потому что мужики смотрели на него и ждали, как он ответит на вопрос.

— Давайте установим,— серьезно заговорил кандидат,— о чем мы говорим? Каков предмет нашей беседы?

— Хорошо. Второй вопрос, как вы лично относитесь к проблеме шаманизма в отдельных районах Севера?

Кандидаты засмеялись. Глеб терпеливо ждал, когда кандидаты отсмеются.

— Можно, конечно, сделать вид, что такой проблемы нету. Я с удовольствием тоже посмеюсь вместе с вами...— Глеб иронично улыбнулся.— Но от этого проблема как таковая не перестанет существовать. Верно?

— Вы серьезно все это? — удивленно спросила Валя.

— С вашего позволения.— Глеб привстал и сдержанно поклонился.— Вопрос, конечно, не глобальный, но, с точки зрения нашего брата, было бы интересно узнать...

— Да какой вопрос-то?! — нетерпеливо воскликнул кандидат.

— Твое отношение к проблеме шаманизма.— Валя невольно засмеялась. Но спохватилась и сказала Глебу:— Извините, пожалуйста.

— Ничего,— сказал Глеб.— Я понимаю, что, может, не по специальности задал вопрос.

— Да нет такой проблемы! — сплеча рубанул кандидат.

Теперь засмеялся Глеб. И подытожил:

— Ну, на нет и суда нет! Баба с возу — коню легче,— добавил Глеб.— Проблемы нету, а эти...— Глеб показал руками что-то замысловатое,— танцуют, звенят бубенчиками... Да? Но при желании...— Глеб повторил: — При же-ла-нии — их как бы нету. Потому что если... Хорошо! Еще один вопрос: как вы относитесь к тому, что Луна тоже дело рук разума? Вот высказано учеными предложение, что Луна лежит на искусственной орбите, допускается, что внутри живут разумные существа...

Кандидат пристально, изучающе смотрел на Глеба.

— Где ваши расчеты естественных траекторий? Куда вообще вся космическая наука может быть приложена?

Мужики внимательно слушали Глеба.

— Допуская мысль, что человечество все чаще будет посещать нашу, так сказать, соседку по космосу, можно допустить также, что в один прекрасный момент разумные существа не выдержат и вылезут к нам навстречу. Готовы мы, чтобы понять друг друга?

— Вы кого спрашиваете?

— Вас, мыслителей...

— А вы готовы?

— Мы не мыслители, у нас зарплата не та. Но если вам это интересно, могу поделиться, в каком направлении мы, провинциалы, думаем. Допустим, на поверхность Луны вылезло разумное существо... Что прикажете делать? Лаять по-собачьи? Петухом петь?

Мужики засмеялись. Пошевелились. И опять внимательно уставились на Глеба.

— Но нам тем не менее надо понять друг друга. Верно? Как? — Глеб сделал паузу, помолчал вопросительно.— Я предлагаю: начертить на песке схему нашей солнечной системы и показать ему, что я с Земли, мол. Что, несмотря на то что я в скафандре, у меня тоже есть голова и я тоже разумное существо. В подтверждение этого можно показать ему на схеме — откуда

он: показать на Луну, потом на него. Логично? Мы, таким образом, выяснили, что мы соседи. Но не больше того! Дальше требуется объяснить, по каким законам я развивался, прежде чем стал такой, какой есть на данном этапе...

— Так, так...— Кандидат многозначительно посмотрел на жену.

И зря, потому что его взгляд был перехвачен, Глеб взмыл ввысь... Всякий раз в разговорах со знатными людьми деревни наступал вот такой момент — когда Глеб взмывал кверху. Он, наверно, всегда ждал такого момента, радовался ему.

— Приглашаете жену посмеяться? — спросил Глеб. Спросил внешне спокойно, но внутри у него все вздрагивало.— Хорошее дело... Только, может быть, мы сперва научимся хотя бы газеты читать? А? Как думаете? Говорят, кандидатам это тоже не мешает.

— Послушайте!..

— Да мы уж послушали! Имели, так сказать, удовольствие. Поэтому позвольте вам заметить, товарищ кандидат, что кандидатство — это ведь не костюм, который купил раз и навсегда. Но даже костюм и то надо иногда чистить. А кандидатство, если уж мы договорились, что это не костюм, тем более надо... поддерживать.— Глеб говорил негромко, назидательно, без передышки — его несло. На кандидата было неловко смотреть: он явно растерялся, смотрел то на жену, то на Глеба, то на мужиков... Мужики старались не смотреть на него.— Нас, конечно, можно тут удивить: подкатить к дому на такси, вытащить из багажника пять чемоданов...

Но вы забываете, что поток информации сейчас распространяется везде равномерно. Я хочу сказать, что здесь можно удивить наоборот. Так тоже бывает. Можно понадеяться, что тут кандидатов в глаза не видели, а их тут видели — и кандидатов, и профессоров, и полковников. И сохранили о них приятные воспоминания, потому что это, как правило, люди очень простые. Так что мой вам совет, товарищ кандидат: почаще спускайтесь на землю. Ей-богу, в этом есть разумное начало. Да и не так рискованно: падать будет не так больно.

— Это называется «покатил бочку»,— сказал кандидат.— Ты что, с цепи сорвался? В чем, собственно...

— Не знаю, не знаю,— торопливо перебил его Глеб,— не знаю, как это называется — я в лагере не

сидел. В свои лезете? Тут,— оглядел Глеб мужиков,— тоже никто не сидел — не поймут. А вот жена ваша сделала удивленные глаза на вас... А там дочка услышит. Услышит и «покатит бочку», в Москву на когонибудь. Так, что этот жаргон может... плохо кончиться, товарищ кандидат. Не все средства хороши, уверяю вас, не все. Вы же, когда сдавали кандидатский минимум, вы же не «катили бочку» на профессора. Верно?— Глеб встал.—«И одеяло на себя не тянули». И «по фене не ботали». Потому что профессоров надо уважать — от них судьба зависит, а от нас судьба не зависит, с нами можно «по фене ботать». Так? Напрасно. Мы тут тоже немножко... «микитим». И газеты тоже читаем, и книги, случается, почитываем... И телевизор даже смотрим. И, представьте себе, не приходим в бурный восторг ни от КВНа, ни от «Кабачка «Тринадцать стульев». Спросите: почему? Потому что там та же самонадеянность. И гонора на пятерых Чаплиных. Скромней надо.

— Типичный демагог-кляузник! — возмущенно сказал кандидат, обращаясь к жене.— Весь набор фраз, все приемы и ухватки...

— Не попали. За всю свою жизнь ни одной анонимки или кляузы ни на кого не написал.— Глеб посмотрел на мужиков: мужики знали, что это правда.— Не то, товарищ кандидат. Хотите, объясню, в чем моя особенность?

— Ну-ну...

— Люблю по носу щелкнуть — не задирайся выше ватерлинии! Скромней, скромней надо, дорогие товарищи...

— Да в чем же вы увидели нашу нескромность? — не вытерпела Валя.— В чем она выразилась-то?!

— А вот когда одни останетесь, подумайте хорошенько. Подумайте — и поймете. Можно ведь сто раз повторить слово «мед», но от этого во рту не станет сладко. Чтобы понять это, не надо кандидатский минимум сдавать. Верно? Можно сотни раз писать в разных статьях слово «народ», но знаний от этого не прибавится. И ближе к этому самому народу вы не станете. Так что когда уж выезжаете в этот самый народ, то будьте немного собранней. Подготовленней, что ли. А то легко можно в дураках очутиться. До свиданья. Приятно провести отпуск... среди народа.— Глеб победно усмехнулся и вышел из избы. Он всегда так уходил.

Он не слышал, как потом мужики, расходясь, говорили:

— Оттянул он его!.. Дошлый, собака. Откуда он про Луну-то все знает?

— Срезал.

— Срезал... Откуда что берется!

И мужики изумленно качали головами.

— Дошлый, собака. Причесал Константина Ивановича... Как миленького причесал! А эта-то, Валя-то, даже рта не открыла.

— А что тут скажешь? Тут ничего не скажешь. Он, Костя-то, мог, конечно, сказать... А тот ему на одно слово — пять.

В голосе мужиков слышалось даже как бы сочувствие. Глеб же их по-прежнему неизменно удивлял. Восхищал даже. Хоть любви, положим, тут не было. Нет, любви не было. Глеб жесток, а жестокость никто, никогда, нигде не любил еще. Завтра Глеб Капустин, придя на работу, между прочим, с ухмылкой спросит мужиков:

— Ну, как там кандидат-то?

— Срезал ты его,— скажут Глебу.

— Ничего,— великодушно заметит Глеб.— Это полезно. Пусть подумает на досуге. А то слишком много берут на себя.

1970

ЗАЛЕТНЫЙ

Кузнец Филипп Наседкин — спокойный, уважаемый в деревне человек, беспрекословный труженик — вдруг запил. Да и не запил вовсе, а так — стал прикладываться. Это жена его, Нюра-Заполошная, это она решила, что Филя запил. И она же полетела в правление колхоза и там устроила такой переполох, что все решили: Филя запил. И все решили, что надо Филю спасать.

Главное, всех насторожило, что Филя «схлестнулся» с Саней Неверовым. Саня — человек очень странный. Весь бо́льной, весь изрезанный (и плеврит, и прободная язва желудка, и печень, и колит, и, черт его не знает, чего у него только не было, и геморрой), он жил так: сегодня жив, а завтра — это надо еще подумать. Так он говорил. Он не работал, конечно, но деньги откуда-то у него были. У него собирались выпить. Он всех привечал.

Изба Сани стояла на краю деревни, над рекой, присела задом в крутизну берега, а двумя маленькими глазами-окнами смотрела далеко-далеко — через реку, в синие горы. Была маленькая оградка, какие-то старые бревна, две березки росли... Там, в той ограде, отдыхала душа.

Саня не то, что слишком уж много знал или много повидал на своем веку (впрочем, он про себя не рассказывал. Мало рассказывал)— он очень уж как-то мудрено говорил про жизнь, про смерть... И был неподдельно добрый человек. Тянуло к нему, к родному, одинокому, смертельно больному. Можно было долго сидеть на старом теплом бревне и тоже смотреть далеко — в горы. Думалось не думалось — хорошо, ясно делалось на душе, как будто вдруг — в какую-то минуту — стал ты громадный, вольный и коснулся руками начала и конца своей жизни — смерил нечто драгоценное, и все понял. Ну и что? Ну и ладно! — так думалось.

Бабы замужние возненавидели Саню с того самого дня, как он только появился в деревне. Появился он этой весной, облюбовал у цыган развалюху, сторговал, купил и стал жить. Его сразу, как принято, окрестили — Залетный. И, разумеется, Саня, потому что Александр. Его даже побаивались. И все зря, Филя, когда бывал у Сани, испытывал такое чувство, словно держал в ладонях теплого, еще слабого воробья с капельками крови на сломанных крыльях — трепетный живой комочек жизни. И у Фили все восставало в груди — все доброе и все злое, когда про Саню говорили плохо.

Филя так и сказал на правлении колхоза:

— Саня — это человек. Отвяжитесь от него. Не трожьте.

— Пьяница,— поправила бухгалтерша, пожилая уже, но еще миловидная активистка.

Филя глянул на нее, и его вдруг поразило, что она красит губы. Он как-то не замечал этого раньше.

— Дура,— сказал ей Филя.

— Филипп! — строго прикрикнул председатель колхоза.— Выбирай выражения!

— Ходил к Сане и буду ходить,— упрямо повторил Филя, ощущая в себе злую силу.

— Зачем?

— А вам какое дело?

— Ты же свихнешься там! Тому осталось... самое

большее полтора года, ему все равно, как их дожить. А ты-то?!

— Он вас всех переживет,— зачем-то сказал Филя.

— Ну хорошо. Допустим. Но зачем тебе спиваться-то?

— Иди спои меня,— усмехнулся Филя.— Через неделю на баланс сядешь. Вы меня хоть раз сильно пьяным видели?

— Так это всегда так начинается! — вместе воскликнули председатель, бухгалтерша, девушка-агроном и бригадир Наум Саранцев, сам большой любитель «пополоскать зубки».— Всегда же начинается с малого!

— Тем-то он и опасен, Филипп, этот яд,— стал развивать мысль председатель,— что он сперва не пугает, а как бы, наоборот, заманивает. Тебе после войны не приходилось на базаре в карты играть?

— Нет.

— А мне пришлось. Ехал с фронта, вез кое-какое барахлишко: часы «Павел Буре», аккордеон... В Новосибирске пересадка. От нечего делать пошел на барахолку, гляжу — играют. В три карты. Давай, говорят, фронтовичок, спробуй счастье! А я уже слышал от ребят — обманывают нашего брата. Нет, говорю, играйте без меня. Да ты, мол, спробуй! Э-э, думаю, ну проиграю тридцатку.— Председатель оживился. Его слушали, улыбались. Филя крутил фуражку меж колен.— Давай, говорю! Только без обмана, черти! А надо было, значит, отгадать одну карту... Он их сперва показывает, потом у тебя на глазах тасует и, значит, раскладывает тыльной стороной. Все три. Одну тебе надо отгадать, туза бубей, например. И ведь все на глазах делает, паразит! Вот показал он мне все три лицом — запомнил? Запомнил, говорю. Следи!.. Раз-раз-раз — перекидывает их. Я слежу, где туз бубей. Какая, спрашивает? Я зажал пальцем... Переворачивает — туз бубей. Выиграл. Они мне еще дали выиграть раза три-четыре... Ну и все: к вечеру и аккордеон мой, и часы, и деньги как корова языком слизнула. Все проиграл. Попытался было силой отбить, но их там много оказалось. Так и явился домой с пустыми руками. Вот как, Филипп, зараза-то всякая начинается незаметно. Ведь они же мне сперва дали выиграть, потом уж только чистить-то начали. Ведь мне все отыграться хотелось, все надеялся... Вот и отыгрался. Водка, она действует тем же методом: я тебя сперва ублажу, убаюкаю, а потом уж

возьмусь за тебя. Так что смотри, Филипп, не прогадай.

— Мне не восемнадцать лет.

— А она анкетные данные не спрашивает! Ей все равно... Работник ты хороший, с семьей у тебя пока все благополучно... Просто мы предупреждаем тебя. Не ходи ты к этому Сане! Он, может, хороший человек, но смотри, сколько на него баб жалуются!..

— Дуры! — опять сказал Филя.

— Ну задолбил, как дятел: дуры, дуры. Твоя Нюра — дура, что ли?

— И моя дура. Чего заполошничать?

— Да то, что ей семью разрушать не хочется!

— Никто ее не разрушает. Сама бегает разрушает.

— Ну, смотри. Мы тебя предупредили. А этого твоего Саню мы просто выселим из деревни, и все... Он дождется.

— Не имеете права — больной человек.

— Найдем право! Больной... Больной, значит, не пей. Иди работай, Филипп.

— Вызывали? — спросил вечером Саня, нервно подрагивая веком левого глаза.

— Вызывали.— Филе было стыдно за жену, за председателя, за все правление в целом.

— Не велели ходить?

— Та-а... што я, ребенок, што ли!

— Да, да,— согласился Саня.— Конечно.— И веко его все подергивалось. Он смотрел на далекие горы. С таким выражением смотрел, точно ждал, что оттуда — вспять — взойдет солнце. Оно там заходило.— Ночью, часу в двенадцатом, соловьи поют. Ах, дьяволята!.. выкамаривают. Друг перед другом, что ли.

— Самок заманивают,— пояснил Филя.

— Красиво заманивают. Красиво. Люди так не умеют. Люди — сильные.

«Это ты-то сильный?»— думал Филя.

— Уважаю сильных людей,— продолжал Саня.— В детстве меня колотил один парнишка — сильней меня был. Мне отец посоветовал: потренируйся, поподнимай что-нибудь тяжелое — через месяц поколотишь его. Я стал поднимать ось от вагонетки. Три дня поподнимал — надорвался. Пупок развязался.

— А ты бы взял — раз послабей — гирьку, привязал бы ее на ремешок да гирькой бы его по башке Я тоже смирный был, маленький-то, ну один извязался тоже,

проходу не дает. Я его гирькой от часов разок угостил — отстал.

Саня пьянел. Взор его туманился... Покидал далекие синие горы, наблюдал речку, дорогу, дикий кустик малины под плетнем. Теплел, становился радостным.

— Хорошо, Филипп. Мне пятьдесят два, двенадцать откинем — несознательные — сорок... Сорок раз видел весну, сорок раз!.. И только теперь понимаю: хорошо. Раньше все откладывал, все как-то некогда было — торопился много узнать, все хотел громко заявить о себе... Теперь — стоп-машина! Дай нагляжусь. Дай нарадуюсь. И хорошо, что у меня их немного осталось. Я сейчас очень много понимаю. Все! Больше этого понимать нельзя. Не надо.

Снизу, от реки, холодало. Но холодок тот только ощущался, наплывал... Это было только слабое гнилостное дыхание, и огромная, спокойная теплынь от земли и неба губила это дыхание.

Филя не понимал Саню и не силился понять. Он тоже чувствовал, что на земле хорошо. Вообще жить хорошо. Для приличия он поддерживал разговор.

— Ты совсем, што ли, одинокий?

— Почему? У меня есть родные, но я, видишь, болен,— Саня не жаловался. Ни самым даже скрытным образом не жаловался.— И у меня слабость эта появилась — выпить... Я им мешаю. Это естественно...

— Трудно тебе, наверно, жилось...

— По-разному. Иногда я тоже брал гирьку... Иногда мне гирькой. Теперь — конец. Впрочем, нет... вот сейчас я сознаю бесконечность. Как немного стемнеет, и тепло — я вдруг сознаю бесконечность.

Этого Филя совсем не мог уразуметь. Еще один мужик сидел, Егор Синкин, с бородой, потому что его в войну ранило в челюсть, тот тоже не мог уразуметь.

— В тюрьме небось сидел? — допытывался Егор.

— Бог с вами! Вы еще из меня каторжника сделаете. Просто я жил и не понимал, что это прекрасно — жить. Ну, что-то такое делал... Очень любил искусство. Много суетился. Теперь спокоен. Я был художник, если уж вам так интересно. Но художником не был.— Саня искренне, негромко, весело смеялся.— Вконец запутал вас... Не мучайтесь. Ну, мало ли на свете чудаков, странных людей!.. Деньги мне присылает брат. Он богатый. То есть

не то, что очень богатый, но ему хватает. И он мне дает.

Это мужики понимали — жалеет брат.

— Если бы все начать сначала!..— На худом темном лице Сани, на острых скулах вспухали маленькие бугорки желваков... Глаза горячо блестели. Он волновался.— Я объяснил бы, я теперь знаю: человек — это... нечаянная, прекрасная, мучительная попытка природы осознать самое себя. Бесплодная, уверяю вас, потому что в природе вместе со мной живет геморрой. Смерть!.. И она неизбежна, и мы ни-ког-да этого не поймем. Природа никогда себя не поймет... Она взбесилась и мстит за себя в лице человека. Как злая... мм...— Дальше Саня говорил только себе, неразборчиво. Мужикам надоело напрягаться, слушая его, они начинали толковать про свои дела.

— Любовь? Да,— бормотал Саня,— но она только запутывает и все усложняет. Она делает попытку мучительной — и только. Да здравствует смерть! Если мы не в состоянии постичь ее, то зато смерть позволяет понять нам, что жизнь — прекрасна. И это совсем не грустно, нет... Может быть, бессмысленно, да. Да, это бессмысленно...

Мужики понимали, что Саня уже хорош. И расходились по домам.

Филя брел переулками-закоулками и потихоньку растрачивал из груди горячую веру, что жизнь — прекрасна. Оставалась только щемящая жалость к человеку, который остался один сидеть на бревне... И бормочет, бормочет себе под нос нечто — так он думает, тот человек,— важное.

Через неделю Саня помер.

Помирал трезвым. Ночью. С ним был Филя.

Саня все понимал и понимал, что помирает. Иногда только забывался — точно накрепко задумывался, смотрел в стенку, не слышал Филю...

— Сань! — звал Филя.— Ты не задумывайся. А то так хуже. Может, встанешь, походишь маленько? Давай, я повожу тебя по избе... Сань?

— Мм?..

— Поломай себя... Разомнись маленько.

— Сходи, Филипп... дай веточку малины... Под плетнем растет. Только пыль не стряхни... Принеси.

Филя вышел в ночь, и она оглушила его своей необъятностью. Глухая весенняя ночь, темная, тяжкая... огромная. Филя никогда ничего в жизни не боялся, а тут вдруг чего-то оробел... Поспешно сломил молодую веточку малины, влажную от ночной сырости, и заторопился опять в избу. Подумал: «Какая на ней пыль? Не успела еще... пыль-то, дороги-то еще грязные. Откуда пыль-то?»

Саня приподнялся на локте и прямо, в упор смотрел на Филю. Ждал. Филя одни только эти глаза и увидел в избе, когда вошел. Они полыхали болью, они молили, они звали его.

— Не хочу, Филипп! — ясно сказал Саня. — Все знаю... Не хочу! Не хочу!

Филя выронил веточку.

Саня, обессиленный, упал головой на подушку и тихо, и торопливо еще сказал:

— Господи, господи... какая вечность! Еще год... полгода! Больше не надо.

У Фили больно сжалось сердце. Он понял, что Саня этой ночью помрет. Скоро помрет. Он молчал.

— Не боюсь,— тихо, из последних сил торопился Саня.— Не страшно... Но еще год — и я ее приму. Ведь это же надо принять! Ведь нельзя же, чтобы так просто... Это же не казнь! Зачем же так?..

— Выпей водки, Сань?

— Еще полгода! Лето... Ничего не надо, буду смотреть на солнце... Ни одну травинку не помню... Кому же это надо, если я не хочу? — Саня плакал.— Филипп.

— Што, Сань?

— Кому же это надо? Ну, ведь глупо же, глупо!.. Она же — дура! Колесо какое-то.

Филя тоже плакал — чувствовал, как по щекам текут слезы. Сердито вытирался рукавом.

— Сань... ты не обзывай ее, может, она... это... отступит. Не ругай ее.

— Я не ругаю. Но ведь как глупо! Так грубо... И никак не помочь! Дура.

Саня закрыл глаза и замолк. И долго-долго молчал. Филя даже подумал, что уже — все.

— Поверни меня...— попросил Саня.— Отверни.— Филя повернул друга лицом к стене.

— Дура,— еще раз совсем тихо сказал Саня. И опять замолчал.

Филя с час примерно сидел на стуле не шевелясь, ждал, когда Саня что-нибудь попросит. Или заговорит. Саня больше не заговорил. Он помер.

Филя и другие мужики схоронили Саню. Тихо схоронили, без лишних слов. Помянули.

Филя посадил у изголовья его могилы березку. Она прижилась. И когда дули южные теплые ветры, березка кланялась и шевелила, шевелила множеством мелких зеленых ладоней — точно силилась что-то сказать. И не могла.

1970

СУРАЗ*

Спирьке Расторгуеву — тридцать шестой, а на вид — двадцать пять, не больше.

Он поразительно красив; в субботу сходит в баню, пропарится, стащит с себя недельную шоферскую грязь, наденет свежую рубаху, выпьет стакан водки — молодой бог! Глаза ясные, умные... Женственные губы ало цветут на смуглом лице. Сросшиеся брови, как два вороньих крыла, размахнулись в капризном изгибе. Черт его знает!.. Природа, кажется, иногда шутит. Ну зачем ему! Он и сам говорит: «Это мне — до фени». Ему все «до фени». Тридцать шесть лет — ни семьи, ни хозяйства настоящего. Знает свое — матерщинничать да к одиноким бабам по ночам шастать. Ко всем подряд, без разбора. Ему это тоже «до фени». Как назло кому — любит постарше и пострашнее.

— Спирька, дурак ты, дурак, хоть рожу свою пожалей! К кому поперся — к Лизке корявой, к терке!.. Неужели не совестно.

— С лица воду не пить,— резонно отвечал Спирька.— Она — терка, а душевней всех вас.

Жизнь Спирьки скособочилась рано. Еще он только был в пятом классе, а уж начались с ним всякие истории. Учительница немецкого языка, тихая, обидчивая старушка из эвакуированных, удивлялась на Спирьку. Смотрела на него и говорила:

— Байрон!.. Это поразительно как похож!

Спирька возненавидел старушку.

Только подходило «Анна унд Марта баден», у него

* **С у р а з** — 1) внебрачно рожденный; 2) бедовый случай, удар и огорчение *(сиб.)*.

болела душа: опять пойдет: «Нет, это поразительно!.. Байроненок, вылитый маленький Байрон». Ему это надоело. Однажды, когда старушка завела по обыкновению:

— Невероятно, никто не поверит: маленький Бай...

— Да пошла ты к...— И Спирька загнул такой мат, какого постеснялся бы пьяный мужик.

У старушки глаза полезли на лоб. Она потом говорила:

— Я не испугалась, нет, я была санитаркой в четырнадцатом году, я много видела и слышала... Но меня поразило: откуда он-то знает такие слова?! А какое прекрасное лицо!.. Боже, какое у него лицо — маленький Байрон!

«Байрона» немилосердно выпорола мать. Он отлежался и двинул на фронт. В Новосибирске его поймали, вернули домой. Мать опять жестоко избила его... А ночью рвала на себе волосы и выла над сыном; она прижила Спирьку от «проезжего молодца» и болезненно любила и ненавидела в нем того молодца: Спирька был вылитый отец, даже характером сшибал, хоть в глаза не видал его.

В школу он больше не пошел, как мать ни билась и чем только ни лупила. Он пригрозил, что прыгнет с крыши на вилы. Мать отступилась. Спирька пошел работать в колхоз.

Рос дерзким, не слушался старших, хулиганил, дрался... Мать вконец измучилась с ним и махнула рукой.

— Давай, может, посадют.

И правда, посадили. После войны. С дружком, таким же отпетым «чухонцем», перехватили на тракте сельповскую телегу из соседнего села, отняли у возчика ящик водки... Справились с мужиком! Да еще всыпали ему. Сутки гуляли напропалую у Спирькиной «марухи»... И тут их накрыла милиция. Спирька успел схватить ружье, убежал в баню, и его почти двое суток не могли взять — отстреливался. К нему подсылали «маруху» его, Верку-тараторку,— уговорить сдаться добром. Дура Вера тайком, под подолом, отнесла ему бутылку водки и патронов. Долго была с ним... Вышла и объявила гордо:

— Не выйдет!

Спирька стрелял в окошечко и пел:

Врагу не сдается наш гордый «Варяг»,
Пощады никто не желает!

— Спирька, каждый твой выстрел — лишний год! — кричали ему.

— Считайте — сколько?! — отвечал Спирька. И из окошечка брызгал стремительный длинный огонь, гремело. Потом он протрезвился, смертельно захотел спать... Выкинул ружье и вышел.

Пять лет «парился».

Пришел — такой же размашисто-красивый, дерзкий и такой же неожиданно добрый. (Добротой своей он поражал, как и красотой. Мог снять с себя последнюю рубаху и отдать — если кому нужна. Мог в свой выходной день поехать в лес, до вечера пластаться там, а к ночи привезти машину дров каким-нибудь одиноким старикам. Привезет, сгрузит, зайдет в избу.

— Да чего бы тебе, Спиренька, андел ты наш?.. Чего бы тебе за это? — суетятся старики. Спирьке хорошо.

— Стакан водяры.— И смотрит с любопытством.— Што, ничего я мужик, мать-перемать?)

Пришел Спирька из тюрьмы... Дружков — никого, разъехались, «марухи» замуж повыходили. Думали, уедет и он. Он не уехал. Малость погулял, отдал деньги матери, пошел шоферить.

Так жил Спирька.

В село Ясное приехали по весне два новых человека, учителя: Сергей Юрьевич и Ирина Ивановна Зеленецкие — муж и жена. Сергей Юрьевич был учителем физкультуры, Ирина Ивановна учила пению.

Сергей Юрьевич невысокий, мускулистый, широченный в плечах. Ходил упружисто, легко прыгал, кувыркался: любо глядеть, как он серьезно, с увлечением проделывал всякие упражнения на турнике, на брусьях, на кольцах... У него был необычайно широкий добрый рот, толстый, с нашлепкой нос и редкие, очень белые, крупные зубы.

Ирина Ивановна — маленькая, бледненькая, по-девичьи стройная. Ничего вроде бы особенного, а скинет в учительской плащик, пройдет, привстанет на цыпочки, чтоб снять со шкафа тяжелый аккордеон,— откуда ладность явится, изящность. Невольно засматривались на нее.

Такая-то пара (было им по тридцать—тридцать два года) приехала в Ясное в хорошие теплые дни в конце апреля. Их поселили в большом доме, к старикам Прокудиным.

Первым, кто пришел навестить приезжих, был Спирька. Он и раньше всегда ходил к новым людям. Придет, посидит, выпьет с хозяевами (кстати сказать, Спирька, хоть пил, допьяна напивался редко), поговорит и уйдет.

Было под вечер. Спирька умылся, побрился, надел выходной костюм и пошел к Прокудиным.

— Пойду гляну, что за люди,— сказал матери.

Старики Прокудины вечеряли.

— Садись, Спиридон, похлебай.— Спирька иногда помогал старикам, они любили его и жалели.

— Спасибо, я из-за стола. Дома ваши квартиранты?

— Там.— Старик кивнул на дверь горницы.— Укладываются.

— Как они?

— Ничо, уважительные. Сыру с колбасой вот дали. Садись попробуй.

Спирька качнул головой, пошел в горницу. Стукнул в дверь.

— Войдите! — сказали за дверью.

Спирька вошел.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте,— сказали супруги. И невольно засмотрелись на Спирьку. Так было всегда.

Спирька пошел знакомиться.

— Спиридон Расторгуев.

— Сергей Юрьевич.

— Ирина Ивановна. Садитесь, пожалуйста.

Пожимая теплую маленькую ладошку Ирины Ивановны, Спирька открыто, с любопытством оглядел всю ее. Ирина Ивановна чуть поморщилась от рукопожатия, улыбнулась, почему-то поспешно отняла руку, поспешно повернулась, пошла за стулом... Несла стул, смотрела на Спирьку не то что удивленная — очень заинтересованная.

Спирька сел.

Сергей Юрьевич смотрел на него.

— С приездом,— сказал Спирька.

— Спасибо.

— Пришел попроведать,— пояснил гость.— А то пока наш народ раскачается, засохнуть можно.

— Необщительный народ?

— Как везде — больше по своим углам.

— Вы здешний?

— Здешний. Челдон.

— Сережа, я сготовлю чего-нибудь?

— Давай! — охотно откликнулся Сережа и опять весело посмотрел на Спирьку.— Вот со Спиридоном и отпразднуем наше новоселье.

— Стаканчик можно пропустить,— согласился Спирька.— Откуда будете?

— Не очень далеко.

Ирина Ивановна пошла в комнату стариков; Спирька проводил ее взглядом.

— Как жизнь здесь? — спросил Сергей Юрьевич.

— Жизнь...— Спирька помолчал, но не искал слова, а жалко вдруг стало, что не будет слышать, как он скажет про жизнь, эта маленькая женщина, хозяйка.— Человек, он ведь как: полосами живет. Полоса хорошая, полоса плохая...— Нет, не хотелось говорить.— А зачем она пошла-то? Сказать старикам, они сделают что надо.

— Зачем же? Она сама — хозяйка. Так какая же у вас теперь полоса?

— Так — середка на половинке. Ничего вообще-то...— Ну решительно не хотелось говорить, пока она там готовит эту дурацкую закуску.— Закурить можно?

— Курите.

— Учительствовать?

— Да.

— Она по кому учитель?

— По пению.

— Что, поет хорошо? — оживился Спирька.

— Поет...

— Может, споет нам?

— Ну... попросите, может, споет.

— Пойду скажу старикам... Зря она там!

И Спирька вышел из горницы.

Вернулись вместе — Ирина Ивановна и Спирька. Ирина Ивановна несла на тарелочке сыр, колбасу, сало...

— Я согласилась не делать горячего,— сказала она.

— Хорошо.

— Да на кой оно!..— чуть не сорвался Спирька на привычное определение.— Милое дело — огурец да кусок сала! Верно? — Спирька глянул на хозяина.

— Тебе лучше знать,— резковато сказал Сергей Юрьевич.

Спирьку обрадовало, что хозяин перешел на «ты»— так лучше. Он не заметил, как переглянулись супруги;

ему стало хорошо. Сейчас — стаканчик водки... а там видно будет.

Вместо водки на столе появился коньяк.

— Я сразу себе стакан, потом — ша: привык так. Можно?

Спирьке любезно разрешили.

Спирька выпил коньяк, взял маленький кусочек колбасы...

— Вот...— Поежился.— Достали слой вечной мерзлоты, как говорят.

Супруги выпили по рюмочке. Спирька смотрел, как вздрагивало нежное горлышко женщины. И — то ли коньяк так сразу, то ли кровь — кинулось тяжелое, горячее к сердцу. До зуда в руках захотелось потрогать это горлышко, погладить. Взгляд Спирьки посветлел, поумнел... На душе захорошело.

— Мечтяк коньячишко,— похвалил он.— Дорогой только.

Сергей Юрьевич засмеялся; Спирька не замечал его.

— Милое дело — самогон, да? — спросил Сергей Юрьевич.— Дешево и сердито.

«Что бы такое рассказать веселое?» — думал Спирька.

— Самогон теперь редко,— сказал он.— Это в войну...— И вспомнились далекие трудные годы, голод, непосильная, недетская работа на пашне... И захотелось обо всем этом рассказать весело. Он вскинул красивую голову, в упор посмотрел на женщину, улыбнулся...

— Рассказать, как жил?

Ирина Ивановна поспешно отвела от него взгляд, посмотрела на мужа.

— Расскажи, расскажи, Спиридон,— попросил Сергей Юрьевич.— Это интересно — как ты жил.

Спирька закурил.

— Я — сураз,— начал он.

— Как это?— не поняла Ирина Ивановна.

— Мать меня в подоле принесла. Был в этих местах один ухарь. Кожи по краю ездил собирал, заготовитель. Ну, заодно и меня заготовил.

— Вы знаете его?

— Ни разу не видал. Как мать забрюхатела, он к ней больше глаз не казал. А потом его за что-то арестовали — и ни слуху ни духу. Наверно, вышку навели. Ну, и стал я, значит, жить-поживать...— И так же резко, как захотелось весело рассказать про свою жизнь, так —

сразу — расхотелось.— Мало веселого... Про лагерь, что ли?— Спирька посмотрел на Ирину Ивановну, и в сердце опять толкнулось неодолимое желание: потрогать горлышко женщины.

Он поднялся.

— Мне в рейс. Спасибо за угощение.

— Ночью в рейс? — удивилась Ирина Ивановна.

— У нас бывает. До свиданья. Я к вам еще приду.

Спирька, не оглянувшись, вышел из горницы.

— Странный парень,— сказала жена после некоторого молчания.

— Красивый, ты хотела сказать?

— Красивый, да.

— Красивый... Знаешь, он влюбился в тебя.

— Да?

— И тебя, кажется, поскребло по сердцу. Поскребло?

— С чего ты взял?

— Поскребло-о.

— Тебе хочется, чтобы поскребло?

— А что?.. Только... не получится у тебя.

Женщина посмотрела на мужа.

— Испугаешься,— сказал тот.— Для этого нужно мужество.

— Перестань,— сказала жена серьезно.— Чего ты?

— Мужество и, конечно, сила,— продолжал муж.— Надо, так сказать, быть в форме. Вот он — сумеет. Между прочим, он сидел в тюрьме.

— Почему ты решил?

— Не веришь? Иди спроси у стариков.

— Если тебе нужно, иди спрашивай.

— А что?..

Муж вышел к старикам.

Через пять минут вернулся... И с дурашливой торжественностью объявил:

— Пять лет! В лагерях строгого режима. За грабеж.

Отсыревший к вечеру, прохладный воздух хорошо свежил горячее лицо. Спирька шел, курил. Захотелось вдруг, чтоб ливанул дождь — обильный, чтоб резалось небо огневыми зазубринами, гремело сверху... И тогда бы — заорать, что ли.

Спирька направился в очередное «логово» — к Нюре Завьяловой.

Стукнул в окно.

— Ну?— недовольно спросила заспанная Нюра, смутно, белым пятном маяча за окном.

Спирька молчал, думал про Нюру: один раз, в войну, когда Нюре было года двадцать три и она была вдовой с двумя маленькими ребятишками, Спирька (ему тогда шел четырнадцатый) ночью сбросил с воза в огород к ней мешок зерна (ехали обозом в город молоть). Нюре стукнул вот в это, кажется, окно и сказал торопливо:

— Найди в огороде, у бани... Спрячь подальше!

А когда через два дня, тоже ночью, пришел к Нюре, она накинулась на него:

— Ты што, Спирька, змей полосатый, в тюрьму меня захотел посадить?! Сам хочешь сытый ходить, а к другим подбрасываешь?..

Спирька опупел.

— Да не себе я, чего ты разоралась-то!

— Кому же?

— Тебе. Им же исть надо!— Про детей Нюриных.— Голодные же сидят...

Нюра заревела коровой, бросилась обнимать и целовать Спирьку. Спирька, расстроенный, матерился.

— Ну, и вот... будешь им в ступке толочь да лепешки в золе печь — вкуснятина, сил нет...

Вот что вспомнилось вдруг.

— Чего стоишь-то? — спросила Нюра.— Дверь открыта... Стариков не разбуди.

Спирька стоял. Было в его характере какое-то жестокое любопытство: что она сейчас будет делать?

— Спирька!.. Ну, чего ты?

Молчание.

— Иди, что ли?

Молчание.

— Дурак заполошный... Разбудит, а потом начинает... Ну и иди к черту!— Нюра пошла к кровати.

Спирька неслышно прокрался по прихожей избе, где храпели старики Нюрины, и очутился в горнице.

— Чего выкобениваешься-то?

Спирьке нестерпимо стало жаль Нюру... Какого черта действительно? Лучше не приходить тогда.

— Все, Нюрок, спим.

Через три дня, вечером, Спирька пошел к Прокудиным. Квартирантов не было дома. Спирька побеседовал пока со стариками.

Пришла Ирина Ивановна. Одна. Свеженькая, умненькая... Внесла в избу прохладу вечерней весенней улицы. Удивилась и, как показалось Спирьке, обрадовалась.

Спокойный, решительный, Спирька прошел в горницу...

— Букетик,— предложил он. И подал женщине пылающий букетик жарков.

— Ах!..— еще больше обрадовалась женщина.— Ах, какие они! Как они называются? Я такие никогда не видела...

— Жарки.— В груди у Спирьки хорошо, весело зазвенело — так бывало, когда предстояло драться или обнимать желанную женщину. Он не скрывал любви.— Я вам теперь часто буду такие привозить.

— Да нет, зачем же?.. Это ведь труд лишний...

— Ох,— скокетничал Спирька,— труд! Мимо езжу, их там хоть литовкой коси...— Спирька подумал, что хорошо все-таки, что он красивый. Другого давно бы уж поперли, и все. Он улыбался, ему было легко.

Женщина тоже засмеялась и смутилась. Спирька наслаждался: как в горячий-горячий день пил из ключа студеную воду, погрузив в нее все лицо. Пил и пил — и по телу огоньком разливался томительный жар хвори. Он взял женщину за руку... Как во сне! — только бы не просыпаться.

Женщина хотела отнять руку... Спирька не выпустил.

— Зачем вы?.. Не нужно.

— Почему не нужно? — Все, что умел Спирька, все, что безотказно всегда действовало на других женщин, все хотел бы он обрушить сейчас на это дорогое, слабое существо. Он молил в душе: «Господи, помоги! Пусть она не брыкается!» Он повлек к себе женщину... Он видел, как расширились ее близкие, удивленные глаза. Теперь — чтоб не дрогнула, не ослабла рука... «Господи, мне больше пока ничего не надо — поцелую, и все». И поцеловал. И погладил ее белое нежное горлышко... И еще поцеловал мягкие податливые губы. И тут вошел муж... Сергей Юрьевич. Спирька не слышал, как он вошел. Увидел, как вскинулась голова женщины и испуг плеснулся в ее глазах... Услышал за спиной голос — ужасно знакомый:

— Те же. И муж.

Спирька отпустил женщину. Не было ни стыдно, ни страшно. Жалко стало. Такая досада взяла на этого

опрятного, подтянутого, уверенного человека... Хозяин пришел! И все у них есть, у дьяволов, везде они — желанные люди. Он смотрел на мужа.

— Лихой парень! Ну как, удалось что-нибудь? — Сергей Юрьевич хотел улыбнуться, но улыбки не вышло, только нехорошо сузились глаза, и толстые губы обиженно подрожали. Он посмотрел на жену.— Што молчите? Что побледнела?! — Крик — злой, резкий — как бичом стегнул женщину.— Шлюха!.. Успела?! — Муж шагнул к ней... Спирька загородил ему дорогу. Вблизи увидел, как полыхают темные глаза учителя обидой и гневом... И еще уловил Спирька тонкий одеколонистый холодок, исходивший от гладко выбритых щек Сергея Юрьевича.

— Спокойно,— сказал Спирька.

В следующее мгновение сильная короткая рука влекла Спирьку из горницы.

— Ну-ка, красавец, пойдем!..

Спирька ничего не мог сделать с рукой — она как прикипела к загривку, и крепость руки была какая-то нечеловеческая: точно шатуном толкали сзади.

Так проволокли Спирьку через комнату стариков; старики во все глаза смотрели на квартиранта и на Спирьку.

— Кота покостливого поймал,— пояснил квартирант.

Ужас, что творилось в душе Спирьки!.. Стыд, боль, злоба — все там перемешалось, душило.

— Пидор, гад,— хрипел Спирька,— што ты делаешь?..

Вышли на крыльцо... Шатун сработал, Спирька полетел вниз с высокого крыльца и растянулся на сырой соломенной подстилке, о которую вытирают ноги.

«Убью»,— мелькнуло в Спирькиной голове.

Сергей Юрьевич спускался к нему...

— Вставай!

Спирька вскочил до того, как ему велели... И тотчас опять полетел на землю. И с ужасом и с брезгливостью понял: «Он же бьет меня!» И опять вскочил и хотел скользнуть под чудовищный шатун — к горлу физкультурника. Но второй шатун коротко двинул его в челюсть снизу... Спирьку бросило назад; он почувствовал медь во рту. Опять бросился на учителя... Он умел драться, но ярость, боль, позор, сознание своей беспомощности перед шатунами — это лишило его былой ловкости, спокойствия. Слепая ярость бросала и бросала его вперед, и

шатуны работали. Кажется, он ни разу так и не достал учителя. От последнего удара он не встал. Учитель склонился над ним.

— Я тебя работаю,— неразборчиво, слабо, серьезно сказал Спирька.

— Будем считать, что это урок вежливости. Лагерные штучки надо бросать.— Учитель говорил не зло, тоже серьезно.

— Я убью тебя,— повторил Спирька. Во рту была какая-то болезненная мешанина, точно он изгрыз флакон с одеколоном — все там изрезал и обжег.— Убью, знай.

— За что? — спокойно спросил учитель.

— Знай.

Учитель ушел в дом, захлопнул за собой дверь и задвинул железную щеколду.

Спирька попробовал встать, не мог. Голова гудела, но думалось ясно. Он знал, как с крыши прокудинского дома — через лаз — можно спуститься в кладовку. Кладовка не запиралась: шпагатная веревочка накидывалась петелькой на гвоздик, и все, чтоб дверь сама не открывалась. Дверь в избу стариков тоже никогда не запирается на ночь. В горнице запора и вовсе нет. Он потому так хорошо все знал в доме Прокудиных, что сын их, Мишка, был смолоду товарищ Спирьки, и Спирька часто бывал и даже ночевал у них. Теперь Мишки не было, но все, конечно, осталось у стариков как раньше.

С трудом, наконец, Спирька поднялся, подержался за стену дома... Пошел к реке. Силы возвращались.

Он умыл разбитое лицо, оглядел со спичками костюм, рубашку... Не надо, чтобы мать увидела кровь и заподозрила неладное, когда он станет брать ружье. Ружье можно взять под любым предлогом: скажет — идет в ночь с семенным зерном в глубинку, а утром на обратном пути посидит часок у озера.

Мать спала уже.

— Ты, Спирька? — спросила она сонным голосом с печки.

— Я. Спи. Мне ехать надо.

— Достань в печке — картошка жареная, в сенцах молоко... Поешь на дорогу-то.

— Ладно, я с собой возьму.— Спирька, не зажигая огня, тихо снял со стены ружье, повозился для блезиру в сенях... Зашел в избу (ружье в сенях оставил). Стал на припечек, нашел впотьмах голову матери, погладил по

жидким теплым волосам. Он, бывало, выпивши ласкал мать; она не встревожилась.

— Выпивши... Как поедешь-то? — Мать с годами больше и больше любила Спирьку, жалела, стыдилась, что он никак не заведет семью — все не как у добрых людей! — ждала, может, какая-нибудь самостоятельная вдова или разведенка прибьется к ихнему дому.

— Ничего, поеду.

— Ну, Христос с тобой.— Мать во тьме перекрестила его.— Потише хоть ехай-то, а то гоните, как чумные.

— Все будет хорошо.— Спирька бодрился, а хотелось скорей уйти и как-нибудь забыть про мать: вот кого больно оставлять в этой жизни — мать.

Он шел темной улицей, крепко сжимал в руке тулку. Все хотелось отвязаться от мысли о матери. Не выживет она. Как поведут его, связанного, как увидит... Спирька прибавил шагу. «Господи, дай ей силы перенести»,— молил.

Он чуть не бежал. А под конец побежал. И волновался, как вроде не убивать бежал, а в постель к Ирине Ивановне, в тепло и согласие. Она вставала в глазах, Ирина Ивановна, но как-то сразу и уходила. Губы ее, мягкие, полураскрытые, помнились, но насладиться воспоминанием мешал вкус крови во рту и... одеколонистый холодок с гладких щек Сергея Юрьевича. Холодок этот запашистый почему-то вспомнился сейчас.

Спирька бежал и подпевал негромко для бодрости:

Неужели конь вороный
Перекусит удила?
Неужели моя милая...

Дом весь темный. «Так, так, так,— мысленно, скоро говорил сам с собой Спирька.— Берем лестницу... Ставим ее, в душеньку ее... Спокойно». Он благополучно проник в кладовку, прислушался — тихо. Только сердце наколачивает в ребра. «Спокойно, Спиря!» Шпагатинка тоже почти бесшумно лопнула, только гвоздик, спружинив, тоненько тянькнул. Спирька, выставив вперед свободную руку, неслышно прошел по сеням, легкими касаниями по стене нашарил дверь. «Так, так...» Склонился, подцепил пальцами низ двери, сколько мог, приподнял ее и дернул на себя. Дверь открылась с тихим, приятным вздохом: «п-ах». И дальше отошла беззвучно. Пахнуло стариковским жильем, отсыревшим полушубком, теплой

печкой, тестом... Вот тут его давеча волокли за шкирку. Пронеси, господи, чтоб старики не проснулись. Страшно стало, что кто-нибудь сейчас помешает... «Ах, как он меня бил! Как бил!.. Умеет».

Спирька сам удивлялся своей легкости, ловкости. Сам себя не слышал. Нащупал дверь горницы, тоже приподнял ее снизу... Дверь скрипнула. Спирька быстро, бережно прикрыл ее за собой... Он был в горнице! Во тьме горницы, слабо разбавленной светом уличной лампочки, в углу скрипнула кровать. Спирька нашел на стене выключатель, щелкнул. На него, сидя в кровати, смотрел Сергей Юрьевич. Приподнялась Ирина Ивановна... Сперва уставилась на мужа, потом, от его взгляда,— на Спирьку с ружьем. Безмолвно открыла рот... Спирька понял, что Сергей Юрьевич не спал,— очень уж понимающе, неподвижно смотрел он своими темными глазами.

— Я предупреждал: я тебя работаю,— сказал Спирька. Хотел оттянуть курок двустволки, но они были уже взведены (когда взвел?).— Я тебе говорил!

Спирьку обеспокоило вдруг, что Ирина Ивановна сидит в нижней рубашке, что одна ленточка съехала с плеча и грудка, матово-белая, крепенькая, не кормившая детей, вся видна до соска. Он поспешно отвел взгляд.

Супруги молчали. Смотрели на Спирьку.

— Вылазь из кровати,— велел Спирька.— Пойдем на улицу.

— Спиридон... тебе же будет расстрел, неужели...

— Я знаю. Вылазь.

— Спиридон! Неужели... Прости, Спиридон!

— Вылазь!

Сергей Юрьевич спрыгнул с кровати — в трусах, в майке...

И тут вдруг закричала Ирина Ивановна, да так ужасно, так громко, неистово, требовательно, так не похоже на себя — такую маленькую, умненькую, с теплыми мягкими губами — как-то уж совсем нечеловечески горько, отчаянно... И свалилась из кровати, и поползла, протягивая руки...

— Не надо! О-о-о-й!! Не надо! О-о-й!..— И хотела схватиться за ружье — на коленях — хотела...

Тут Сергей Юрьевич прыгнул на Спирьку, широко расставив руки... И получил удар прикладом в грудь и свалился.

— Родной-ой!.. Не надо! — выла маленькая женщина. Похоже, что она забыла имя Спирьки.— О-о-й!..

В избе, за дверью, всполошились старики, тоже заорали.

— Не надо!! — кричала женщина.

Спирька растерялся, отпинывал ее... И как-то ясно вдруг понял: если он сейчас выстрелит, то выстрел этот потом ни замолить, ни залить вином нельзя будет. Если бы она хоть не так выла!.. Сколько, однако, силы в ней!

Спирька заругался... И вышел из горницы, и пошагал прочь от темного дома. Он как-то сразу вдруг очень устал. Вспомнилась мать, и он побежал, чтоб убежать от этой мысли — о матери, от всяких мыслей. Вспомнилась еще Ирина Ивановна, голенькая, и жалость и любовь к ней обожгли сердце. И легко на минуту стало — что не натворил беды. Господи, как ревела!.. А как бы она потом убивалась над покойным мужем! И опять — мать... Вот кто взвоет-то! Спирька побежал скорее. Прибежал на кладбище, сел на землю. Темно было. Он приладил стволы к сердцу... Дотянулся до курков. Подумал: «Ну!.. Все?» Пальцы нащупали две холодные тоненькие скобочки... И он нажал обе сразу. Хотел напоследок что-нибудь такое подумать — важное, не успел. Сильно, небольно толкнуло в грудь, Спирька упал навзничь... Показалось ему, что темное небо мягко упало на него. И все-таки в последнее мгновение успел подумать... Не подумал даже, а удивился: «А не больно!..» И все.

Здесь оборвалась недлинная, путаная дорожка Спиридона Расторгуева на земле.

1970

ОПЕРАЦИЯ ЕФИМА ПЬЯНЫХ

Ефим Пьяных понял это ночью. Толкнул жену.

— Чего? — недовольно откликнулась та.

— Это... осколок начал выходить. Вот он, колется, змей.

— Где?

— Ну, где?.. Куда ранило-то, не знаешь, что ли?

— Там?! — изумилась Соня.

— Но.

— Что же ты двадцать лет сидел на ем и не чуял? Как так?

— Так и не чуял! Как... Да большой! — Ефим горько прицокнул языком.— Замучает, паразит.

Соня засмеялась.

— Как теперь сидеть-то будешь? Боком, что ли?

— Смешно! Тебе бы счас... не веселилась бы.

Помолчали.

— Что делать теперь, ума не приложу,— грустно сказал Ефим.

Соня не выдержала и опять захохотала, уткнувшись лицом в подушку.

— Смешинка в рот попала? — спросил Ефим.— Дура...

— Не сердись, Ефим. Шибко уж на интересном месте он у тебя...— Соня повозилась, вытирая слезы уголком наволочки.— А чего уж так испугался-то? Не рожать ведь. Ну, выйдет. Они сами, что ли, выходют?

— Пока он выйдет, на самом деле родить можно. Вырезают их. Было у ребят в госпитале...

— Ну и вырежи.

Ефим промолчал на это. Он и сам подумал: «Придется вырезать». Но вспомнил, что у них в больнице нет ни одного врача мужчины. Мало того, хирург — совсем молодая женщина. Двадцать лет назад, в госпитале, он не раздумывая улегся бы спиной кверху перед кем угодно — тогда не совестно было. А сейчас при одной мысли коробит.

— Посмотрим,— сказал он.— Спи.

А сам долго еще думал, как теперь быть.

Весь следующий день он старался быть на ногах — не сиделось. Больно. В кабинете (он был председателем колхоза), принимая народ, ходил около стола, нервничал... Материл про себя «того урода», который всыпал ему под Курском горсть железных конфет ниже спины. Рана, в общем-то, некрасивая. В госпитале долго ржали. Но тогда что! А сейчас ему, председателю преуспевающего колхоза, солидному человеку, придется снимать штаны перед молодыми бабенками. А те, конечно, начнут подмигивать друг другу... Еще какая-нибудь скажет: «Вот, Ефим Степаныч, теперь снова можете в президиуме заседать».

Домой пришел рано. Мрачный. Сообщил:

— Назревает.

— Да иди ты в больницу, господи! — воскликнула Соня.— Чего ты носишься с ним, как... не знаю кто.

— В больницу!..— Ефим закурил и стал ходить по комнате.— У нас не больница, а монастырь какой-то! Откуда их понагнало, черт и знает — одно бабье.

— Чего они тебе?

— Ничего! Чего... Зарабатывал, зарабатывал авторитет, да пойду теперь растелешусь перед кем попало... Одним махом все перечеркнут. Я же знаю их, языкастых.

— Тьфу! — Соня даже рассердилась на такую глупость.— Да что же ты ей, что ль, авторитет-то зарабатывал?! Какая же она у тебя такая, что ее и показать нельзя?

— Никакая. Не вякай, раз не понимаешь. Сразу вся деревня узнает, начнут потом языки чесать, черти. Знаю я их! Им после — одно, а у их на уме — другое. Зубоскалы, черти.— Ефим злился, понимал, что это глупо, а злился.

Он действительнно не знал, что делать. В город ехать — чуть не сто верст. А приедешь, скажут, у вас своя больница есть. Не примут. Да и как ехать, стоя, что ли.

Ночью стало совсем плохо.

Ефим скрипел зубами, стонал.

— Дурак, вот дурак-то,— выговаривала Соня.— Ну чего мучается? Авторитет он боится потерять! Скажи кому, засмеются. Мало мужиков лежат?..

— Лежат! Лучше рак какой-нибудь, чем эта зараза. Был бы я какой-нибудь простой человек — одно дело: позубоскалил вместе со всеми да ушел. Взятки гладки. А тут пальцем все начнут показывать...

— Не подставлял бы ее тогда, раз такое дело.

— Я бы хотел на тебя посмотреть там... Хоть одним глазком. Что бы ты, интересно, подставила?

— Ну и не переживала бы сейчас, как дура.

— Дура и есть.

Боль сводила спину и ногу. Временами казалось, что осколок выходит. Ефим, стиснув зубы, подолгу оглаживал нарыв, но под пальцами ничего острого или твердого не чувствовал. Нарыв сделался мокрым.

— Врачи, мать их!.. Все вытаскали, а один надо обязательно оставить!..

К утру понял Ефим, что в больницу придется идти. За ночь не сомкнул глаз, измучился.

Собирался, как на му́ку — тянул время.

— Если придут из конторы, скажешь: в район уехал. Не проболтайся, смотри.

— Да иди ты, иди, ради бога.

Чем ближе подходил Ефим к больнице, тем больше беспокоился и трусил. Ясно представил себе, как сейчас войдет в больницу, подойдет к кабинету принимающего врача... Там, конечно, старушки сидят. С утра пораньше. Увидят его, закивают головками:

— Тоже, Степаныч? Чем занедужил, родной?

Ну, допустим, его пропустили без очереди.

Врач. Молодая, важная женщина.

— Что с вами?

— Осколок.

— Где?

— Там.

— Где «там»?

— Ну, там...— Может, здесь посмеяться надо для блезиру? — Хе-хе-хе... Да в самом, знаете, интересном месте, как сострила моя жена.

— Покажите.

Господи! За что мне наказание такое?! Не мог он, подлец, малость выше взять!

Во дворе больницы Ефим пошел совсем тихо.

«Мужиков в такую рань здесь никого, конечно, нет,— мучился он.— Хоть бы покурить с кем, отвести душу перед тем, как... штаны снимать в кабинете».

Мужиков действительно никого не было в коридоре. Зато полно баб. Сидят на белых скамейках, на диване — все несчастные и немножко торжественные. Тихо переговариваются между собой, вздыхают. Есть и молодые. Одна молодая рассказывает другой, постарше:

— Как вступит, вступит, ну, думаю, конец пришел. Прямо вот сюда — как вступит, вступит...

Пожилая, понимающе, чуть принахмурившись и строго глядя в окно, кивает головой.

А еще две шептались. Одна тихонько ахает, а другая трогает ее за колено и торопится досказать:

— ...Я грю, да ты что же, змей подколодный, делаешь-то? У тебя, грю, чо, кулак-то, ватный, ли что ли?

Увидев Ефима Степаныча, перестали жужжать, с любопытством уставились на него.

«Несдобровать,— с отчаянием подумал Ефим.— Ми-

гом разузнают — к обеду вся деревня хаханьки будет разводить».

Подошел к очереди, насмешливо оглядел всех страждущих.

— Многонько вас! А вот в праздники-то, когда они бывают, никого ведь тут нету. Не хвораете, что ль, по праздникам? — Спросил и сам не понял — зачем? Вылетело.

— У нас по праздникам, Ефим Степаныч, без того хлопот много,— откликнулась одна.

— Вот то-то и гляжу: очень уж много хворых. Где у них тут главный сидит?

— Главврач?

— Но.

— А вот кабинет. Во-он, клеенкой-то обшитый.

Ефим пошел в указанный кабинет, стараясь не хромать.

Главного еще не было.

В кабинете сидела красивая полная женщина с родинкой на щеке. (Ефим не знал их никого, все приезжие.)

— Главного нет. А вы что хотели? — вежливо спросила женщина.

— Я председатель здешний. Она насчет дров обращалась...

— Да, да, я в курсе дела. Дрова очень нужны — зима скоро.

«А то я сам не знаю, скоро зима или нет»,— съехидничал про себя Ефим.

— Можете брать. Но транспорта у меня нету.

— А на чем же мы?

— Это уж я не знаю. В сельсовет обратитесь. Мое дело — дрова.

Из больницы шел Ефим злой. «Шестьдесят кубометров — как псу под хвост. Черт дернул с дровами-то вылететь!.. Неужели нельзя было какое-нибудь другое заделье найти».

Дрова все равно пришлось бы доставить в больницу, но так вот: прийти и самому навялить — это анекдот, так никакой, самый захудалый председателишка не сделает.

«Совсем сдурел».

А сзади болело так, что каждый шаг отдавался в затылке.

«Пойду сам сделаю операцию»,— решил Ефим.

Соня встретила восклицанием:

— Ну, вон как скоро! А ты боялся...

— Не шуми. Сейчас будем сами резать. Вскипяти воду, положи туда ножик... В общем, я буду подсказывать.

— Да ты что, Ефим!..— заговорила было Соня, но Ефим так глянул на нее, что та осеклась на полуслове.

— Хватит! Надоело мне с ним нянчиться. Ребятишки в школе?

— В школе.

— Запирайся на крючок и... устроим полевой лазарет.

— Я не буду, Ефим. Я боюсь.

— Чего боишься?

— Резать боюсь. Ты что, сдурел?

— Да чего тут бояться-то?!

— Не буду,— уперлась Соня.— Мы же заражение сделаем.

— Прокипятим как следует — никакого заражения не будет. Как в войну резали! — прямо в окопах.

— У врача-то не был?

— Не пойду я к врачу. Давай сами. Сейчас за милую душу операцию сварганим.

— Не дури, Ефим. Хошь я сама схожу в больницу и приведу кого-нибудь — прямо здесь вырежут. И никто не узнает...

— Опять за свое?! — взорвался Ефим.— Говорят дуре такой — не могу, дак нет свое! Кипяти воду!

Соня тоже была упрямая баба.

— Не дурачься — не дурней тебя. Черт недорезанный... Заражение сделаем — куда я потом одна с ребятишками-то денусь? Только об себе думает! Вон какие люди хворают, да и то к врачам ходют, а он, видите, не может задницу свою показать. Кому она нужна к черту!.. Там глядеть-то не на что...

Ефим как-то непонятно спокойно посмотрел на жену. Сказал:

— Выйди на пять минут за дверь. Мне надо ее обследовать перед зеркалом.

Соня, в свою очередь, подозрительно глянула на мужа.

— Чего затеял?

— Выйди, я ее смотреть буду! Что, шибко охота глянуть?..

— Тьфу! — Соня вышла.

Ефим достал из сундука чистую простынь, расстелил на полу, приспустил штаны... Постоял, подумал... Отошел немножко от простыни, разбежался и сел с маху на простынь. И еще проехался маленько...

Соня в сенях услышала глухой вскрик мужа, бросилась в избу.

Ефим лежал на боку, держал в руках штаны и тихонько матерился.

— Зови кого-нибудь из больницы,— сказал он.— Не вышло. Раздавил только...

Соня побежала в больницу.

1970

ОБИДА

Сашку Ермолаева обидели.

Ну, обидели и обидели — случается. Никто не призывает бессловесно сносить обиды, но сразу из-за этого переоценивать все ценности человеческие, ставить на попа самый смысл жизни — это тоже, знаете... роскошь. Себе дороже, как говорят. Благоразумие — вещь не из рыцарского сундука, зато безопасно. Да-с. Можете не соглашаться, можете снисходительно улыбнуться, можете даже улыбнуться презрительно... Валяйте. Когда намашетесь театральными мечами, когда вас отовсюду с треском выставят, когда вас охватит отчаяние, приходите к нам, благоразумным, чай пить.

Но — к делу.

Что случилось?

В субботу утром Сашка собрал пустые бутылки изпод молока, сказал: «Маша, пойдешь со мной?» — дочери.

— Куда? Гагазинчик? — обрадовалась маленькая девочка.

— В магазинчик. Молочка купим. А то мамка ругается, что мы в магазин не ходим, пойдем сходим.

— В кое-то века! — сказала озабоченная «мамка».— Посмотрите там еще рыбу — нототению. Если есть, возьмите с полкило.

— Это дорогая-то?

— Ничего, возьми — я ребятишкам поджарю.

И Сашка с Машей пошли в «гагазинчик».

Взяли молока, взяли масла, пошли смотреть рыбу но-

тотению. Пришли в рыбный отдел, а там за прилавком — тетя.

Тетя была хмурая — не выспалась, что ли. И почему-то ей показалось, что это стоит перед ней тот самый парень, который вчера здесь, в магазине, устроил пьяный дебош. Она спросила строго, зло:

— Ну как, ничего?

— Что «ничего»? — не понял Сашка.

— Помнишь вчерашнее-то?

Сашка удивленно смотрел на тетю...

— Чего глядишь? Глядит! Ничего не было, да? Глядит, как Исусик...

Почему-то Сашка особенно оскорбился за этого «Исусика».

— Слушайте,— сказал Сашка, чувствуя, как у него сводит челюсть от обиды.— Вы, наверно, сами с похмелья?.. Что вчера было?

Теперь обиделась тетя. Она засмеялась.

— Забыл?

— Что я забыл? Я вчера на работе был!

— Да? И сколько плóтют за такую работу? На работе он был! Да еще стоит рот разевает: «С похмелья»! Сам не проспался еще.

Сашку затрясло. Может, оттого он так остро почувствовал в то утро обиду, что последнее время наладился жить хорошо, мирно, забыл даже когда и выпивал... И оттого еще, что держал в руке маленькую родную руку дочери... Это при дочери его так! Но он не знал, что делать. Тут бы пожать плечами, повернуться и уйти к черту. Тетя-то уж больно того — несгибаемая. Может, она и поняла, что обозналась, но не станет же она, в самом деле, извиняться перед кем попало. С какой стати?

— Где у вас директор? — самое сильное, что пришло Сашке на ум.

— На месте,— спокойно сказала тетя.

— Где на месте-то? Где его место?

— Где положено, там и место. Для чего тебе директор-то? «Где директор»! Только и делов директору с вами разговаривать! — Тетя повысила голос, приглашая к скандалу других продавщиц и покупателей старшего поколения.— Директора ему подайте! Директор на работу пришел, а не с вами объясняться. Нет, видите ли, дайте ему директора!

— Что там, Роза? — спросили тетю другие продавщицы.

— Да вот директора стоит требует!.. Вынь да положь директора! Фон-барон. Пьянчуга.

Сашка пошел сам искать директора.

— Какая тетя... похая,— сказала Маша.

— Она не плохая, она...— Сашка не стал при ребенке говорить, какая тетя. Лицо его горело, точно ему ни за что ни про что публично надавали пощечин.

В служебном проходе ему загородил было дорогу парень мясник.

— Чего ты волну-то поднял?

Но ему-то Сашка нашел, что сказать. И, видно, в глазах у Сашки стояло серьезное чувство — парень отшагнул в сторону.

— Я не директор,— сказала другая тетя, в кабинетике.— Я завотделом. А в чем дело?

— Понимаете,— начал Сашка,— стоит... и начинает ни с того ни с сего... За что?

— Вы спокойнее, спокойнее,— посоветовала завотделом.

— Я вчера весь день был на работе... Я даже в магазине-то не был! А она начинает: я, мол, чего-то такое натворил у вас в магазине. Я и в магазине-то не был!

— Кто говорит?

— В рыбном отделе стоит.

— Ну и что она?

— Ну, говорит, что я что-то такое вчера натворил в магазине. Я вчера и в магазине-то не был.

— Так что же вы волнуетесь-то, если не вы натворили? Не вы и не вы — и все.

— Она же хамить начала! Она же обзывается!.,

— Как обзывается?

— Исусик, говорит.

Завотделом засмеялась. У Сашки опять свело челюсть. У него затряслись губы.

— Ну, пойдемте, пойдемте... что там такое, выясним,— сказала завотделом.

И завотделом, а за ней Сашка появились в рыбном отделе.

— Роза, что тут такое? — негромко спросила завотделом.

Роза тоже негромко — так говорят врачи между со-

бой при больном о больном же, еще на суде так говорят и в милиции — вроде между собой, но нисколько не смущаются, если тот, о ком говорят, слышит,— Роза негромко пояснила:

— Напился вчера, наскандалил, а сегодня я напомнила — сделал вид, что забыл. Да еще возмущенный вид сделал!..

Сашку опять затрясло. А затрясло его опять потому, что завотделом слушала Розу и слегка — понимающе — кивала головой. Они вдвоем понимали, хоть они не смотрели на Сашку, что Сашке, как всякому на его месте, ничего другого и не остается, кроме как «делать возмущенный вид».

Сашку затрясло, но он собрал все силы и хотел быть спокойным.

— А при чем здесь этот ваш говорок-то? — спросил он.

Завотделом и Роза не посмотрели на него. Разговаривали.

— А что сделал-то?

— Ну, выпил — не хватило. Пришел опять. А время вышло. Он — требовать...

— Звонили?

— Любка пошла звонить, а он, хоть и пьяный, а сообразил — ушел. Обзывал нас тут всяко...

— Слушайте! — вмешался опять в их разговор Сашка.— Да не был я вчера в магазине! Не был! Вы понимаете?

Роза и завотделом посмотрели на него.

— Не был я вчера в магазине, вы можете это понять?! Я же вам русским языком говорю: я вчера в магазине не был!

Роза с завотделом смотрели на него и молчали.

А между тем сзади образовалась уже очередь. И стали раздаваться голоса:

— Да хватит вам: был, не был!

— Отпускайте!

— Но как же так?— повернулся Сашка к очереди.— Я вчера и в магазине-то не был, а они мне какой-то скандал приписывают! Вы-то что?!

Тут выступил один пожилой, в плаще.

— Хватит — не был он в магазине! Вас тут каждый вечер — не пробьешься. Соображают стоят. Раз говорят, значит, был.

— Что вы, они вечерами никуда не ходят! — заговорили в очереди.

— Они газеты читают.

— Стоит возмущается! Это на вас надо возмущаться. На вас надо возмущаться-то.

— Да вы что? — попытался было еще сказать Сашка, но понял, что бесполезно. Глупо. Эту стенку из людей ему не пройти.

— Работайте,— сказали Розе.— Работайте спокойно. Не отвлекайтесь.

Сашка пошел к выходу. Покупатель в плаще послал ему в спину последнее:

— Водка начинает продаваться в десять часов! Рано пришел!

Сашка вышел на улицу, остановился, закурил.

— Какие дяди похие,— сказала Маша.

— Да, дяди... тети...— пробормотал Сашка.— Мгм...— Он думал, что бы ему сделать? Его опять трясло. Прямо трясун какой-то!

Он решил дождаться этого, в плаще. Поговорить. Как же так? Спросить: до каких пор мы сами будем помогать хамству? И с какой стати выскочил он таким подхалимом? Что за манера? Что за проклятое желание угодить хамоватому продавцу, чиновнику, просто хаму — угодить во что бы то ни стало! Ведь мы сами расплодили хамов, сами! Никто нам их не завез, не забросил на парашютах...

Так примерно думал Сашка. И тут вышел этот, в плаще.

— Слушайте,— двинулся к нему Сашка,— хочу поговорить с вами...

Плащ остановился, недобро уставился на Сашку.

— О чем нам говорить?

— Почему вы выскочили заступаться за продавцов? Я, правда, не был вчера в магазине...

— Иди, проспись сперва! Понял? Он будет еще останавливать... «Поговорить». Я те поговорю! Поговоришь у меня в другом месте!

— Ты что, взбесился?

— Это ты у меня взбесишься! Счас ты у меня взбесишься, счас... Я те поговорю, подворотня чертова!

Плащ прошуршал опять в магазин — к телефону, как понял Сашка.

Заговор какой-то! Сашка даже слегка успокоился.

И решил не ждать милиции. Ну ее... Был бы один, может, и дождался бы — интересно даже: чем бы все это кончилось?

Они пошли с Машей домой. Дорогой Сашка все изумлялся про себя, все не мог никак понять: что такое творится с людьми?

Девочка опять залопотала на своем маленьком, смешном языке. Сашку вдруг изумило и то, что она, крохотуля, почему-то смолкала, когда он объяснялся с дядями и тетями, а начинала говорить только после того и говорила, что дяди и тети «похие», потому что нехорошо говорят с папой.

Сашка взял девочку на руки. Чего-то вдруг аж слеза навернулась.

— Кроха ты моя... Неужели ты все понимаешь?

Дома Сашка хотел было рассказать жене Вере, как его в магазине... Но начал, и тут же расхотелось...

— А что, что случилось-то?

— Да ладно, ну их. Нахамили, и все. Что редкость диковинная?

Но зато он задумался о том человеке в плаще. Ведь мужик, долго жил... И что осталось от мужика: трусливый подхалим, сразу бежать к телефону — милицию звать. Как же он жил? Что делал в жизни? Может, он даже и не догадывается, что угодничать — никогда, нигде, никак — нехорошо, скверно... Но как же уж так надо прожить, чтобы не знать этого? А правда, как он жил? Что делал? Сашка раньше видел этого человека, он из девятиэтажной башни напротив... Сходить? Спросить у кого-нибудь, из какой он квартиры, его, наверное, знают...

«Схожу! — решил Сашка.— Поговорю с человеком. Объясню, что, правда же, эта дура обозналась — не был он вчера в магазине, что зря он так — не разобравшись, полез вступаться... Вообще поговорю. Может, он одинокий какой».

— Пойду сигарет возьму,— сказал жене Сашка.

— Ты только из магазина!

— Забыл.

...Один парнишка узнал по описанию Чукалова.

— Он в тридцать шестой.

— Он один живет?

— Почему? Там бабка тоже живет. А что?

— Ничего. Мне надо к нему.

Дверь открыл сам хозяин — тот самый человек, кого и надо было Сашке. Чукалов его фамилия.

— Не пугайтесь, пожалуйста,— сразу заговорил Сашка,— я хочу объяснить вам...

— Игорь! — громко позвал Чукалов.

Он не испугался, нет, он с каким-то непонятным удовлетворением смотрел на гостя — уперся темными, слегка выпуклыми глазами и был явно доволен. Ждал.

— Я хочу объяснить...

— Счас объяснишь. Игорек!

— Что там? — спросили из глубины квартиры. Мужчина спросил.

Сашка невольно глянул на вешалку и при этом пошевелился... Чукалов — то ли решил, что Сашка хочет уйти — вдруг цепко, неожиданно сильной рукой схватил его за рукав. И темные глаза его близко полыхнули злостью и радостно-скорой расправой. От него пахнуло водкой. Сашка настолько удивился всему, что не стал вырываться, только пошевелил рукой, чтоб высвободить кожу, которую Чукалов больно защемил с рукавом рубашки.

— Игорь!

— Что? — Вышел Игорь, наверно, сын, тоже с темными, чуть влажными глазами, здоровый, разгоряченный завтраком и водкой...

— Вот этот человек нахамил мне в магазине... Хотел избить.— Чукалов все держал Сашку за рукав.

Игорь уставился на Сашку.

— Да вы пустите меня, я ж не убегу,— попросил Сашка. И улыбнулся.— Я ж сам пришел.

— Пусти его,— велел Игорь. И вопросительно, пытливо, оценивающе, надо думать, смотрел на Сашку.

Чукалов отпустил Сашкин рукав.

— Понимаете, в чем дело,— как можно спокойнее, интеллигентнее заговорил Сашка, потирая руку.— Нахамили-то мне, а ваш отец...

— А мой отец подвернулся под горячую руку. Так?

— Да почему?

— Специально дождался меня у магазина...

— Мне было интересно узнать, почему вы... подхалимничаете?

Дальше Сашка двигался рывками, быстро... Игорь сгреб его за грудки — этого Сашка никак не ждал от него,— раза два пристукнул головой об дверь, потом от-

крыл ее, протащил по площадке и сильно пустил вниз по лестнице. Сашка чудом удержался на ногах — схватился за перила. Наверху громко хлопнула дверь.

Сашка как будто выпал из вихря, который приподнял его, крутанул и шлепнул на землю. Все случилось очень скоро. И так же скоро, ясно заработала голова. Какое-то очень короткое время стоял он на лестнице... И быстро пошел вниз, почти побежал. В прихожей у него лежит хороший молоток. Надо опять позвонить — если откроет пожилой, успеть оттолкнуть его и пройти... Если откроет Игорек, еще лучше — проще. Вот довозмущался! Теперь унимай душу. Раньше бы ушел из магазина — ничего бы не было. Если откроет сам Игорь, надо левым коленом сразу шире распахнуть дверь и подставить ногу на упор: иначе он успеет толкнуть дверь оттуда и удара не выйдет. Не удар будет, а мазня.

Едва только Сашка выбежал из подъезда, увидел: по двору, из магазина, летит его Вера, жена простоволосая, насмерть чем-то перепуганная. У Сашки подкосились ноги: он решил, что что-то случилось с детьми — с Машей или с другой маленькой, которая только-только еще начала ходить. Сашка даже не смог от испуга крикнуть... Остановился, Вера сама увидела его, подбежала.

— Ты что? — спросила она заполошно.

— Ты-то чего?

— Какие дяди? С кем опять драку затеваешь? Мне Маша сказала, какие-то дяди. Какие дяди? Чего ты такой весь?

— Какой?

— Не притворяйся, Сашка, не притворяйся — я тебя знаю. Опять на тебе лица нету. Что случилось-то? С кем поругался?

— Да ни с кем я не ругался!..

— Не ври! Ты сказал, в магазин пойдешь... Где ты был?

Сашка молчал. Теперь, пожалуй, ничего не выйдет. Он долго стоял, смотрел вниз — ждал: пройдет само собой то, что вскипело в груди, или надо через все проломиться с молотком к Игорю?..

— Сашка, милый, пойдем домой, пойдем домой, ради бога,— взмолилась Вера, видно, чутьем угадавшая, что творится в душе мужа.— Пойдем домой, там малышки ждут... Я их одних бросила. Плюнь, не заводись, не надо. Сашенька, родной мой, ты о нас-то подумай.—

Вера взяла мужа за руку: — Неужели тебе нас не жалко?

У Сашки навернулись на глаза слезы... Он нахмурился. Сердито кашлянул. Сунул руки в карман, достал пачку сигарет, вытащил дрожащими пальцами одну, закурил.

— Вон руки-то ходуном ходют. Пойдем.

Сашка легким движением высвободил руку... И пошел домой. И покорно пошел домой.

1971

ДЯДЯ ЕРМОЛАЙ

Вспоминаю из детства один случай.

Была страда. Отмолотились в тот день рано, потому что заходил дождь. Небо — синим-сине, и уж дергал ветер. Мы, ребятишки, рады были дождю, рады были отдохнуть, а дядя Ермолай, бригадир, недовольно поглядывал на тучу и не спешил.

— Не будет никакого дождя. Пронесет все с бурей.— Ему охота было домолотить скирду. Но... все уж собирались, и он скрепя сердце тоже стал собираться.

До бригадного дома километра полтора. Пока добрались, пустили коней и поужинали, синева наползла, но дождя, правда, не было. Налетел сильный ветер, поднялась пыль... Во тьме трепетно вспыхивали молнии и гремел гром. Ветер рвал, носил, а дождя не было.

— Самая воровская ночь,— сказал дядя Ермолай.— Ну-ка, Гришка...— дядя Ермолай поискал глазами, я попался ему.— Гришка с Васькой, идите на точок — там переночуете. А то как бы в такую-то ночку не подъехал кто да не нагреб зерна. Ночь-то... самая такая.

Мы с Гришкой пошли на ток.

Полтора километра, которые мы давеча проскакали мигом, теперь показались нам долгими и опасными. Гроза разыгралась вовсю: вспыхивало и гремело со всех сторон! Прилетали редкие капли, больно били по лицу. Пахло пылью и чем-то вроде жженым — резко, горько. Так пахнет, когда кресалом бьют по кремнию, добывая огонь.

Когда вверху вспыхивало, все на земле — скирды, деревья, снопы в суслонах, неподвижные кони,— все как будто на миг повисало в воздухе, потом тьма проглатывала все; сверху гремело гулко, уступами, как

будто огромные капли срывались с горы в пропасть, сшибались.

Мы наконец заблудились. Сбились с дороги и потеряли ту скирду, у какой молотили. Их было много. Останавливались, ждали, когда осветит: опять все вроде подскакивало, короткий миг висело в воздухе, в синем резком свете, и все опять исчезало, и в кромешной тьме грохотали вниз огромные камни.

— Давай залезем в первую попавшую скирду и заночуем,— предложил Гришка.

— Давай, конечно.

— А утром скажем, что ночевали на точке, кто узнает?!

Залезли в обмолоченную скирду, в теплую пахучую солому. Поговорили малость, наказали себе проснуться пораньше... И не заметили, как и заснули, не слышали, как ночью шел дождь.

Утро раскинулось ясное, умытое, тихое. Мы, конечно, проспали. Но так как ночью хорошо промочило, наши молотить рано не поедут, мы знали. Мы пошли в дом.

— Ну, караульщики,— спросил дядя Ермолай, увидев нас, мне показалось, что он смотрит пытливо.— Как ночевали?

— Хорошо.

— Все там в порядке? На точке́-то?

— Все в порядке. А что?

— Ничего. Спрашиваю... Я посылал, я и спрашиваю «А что?..»— А сам все смотрит. Мне стало не по себе.— Зерно-то целое?

— Целое.— У Гришки круглые, ясные глаза; он смотрит не мигая.— А что?

— Да вы были там?! На точке́-то?

У меня заныл кончик позвоночника, копчик. Гришка тоже растерялся... Хлоп-хлоп глазами.

— Как это «были»?..

— Ну да, были вы там?

— Были. А где же мы были?

Эх, тут дядя Ермолай взвился.

— Да не были вы там, сукины вы сыны! Вы где-то под суслоном ночевали, а говорите — на точке! Сгребу вот счас обоих да носом в точо́к-то, носом, как котов пакостливых. Где ночевали?

— От... Ты чо?

— Где ночевали?!

— На точке́.— Гришка, видно, решил стоять насмерть. Мне стало легче.

— Васька, где ночевали?

— На точке́.

— Да растудыт вашу туда-сюда, и в ребра!..— Дядя Ермолай аж за голову взялся и болезненно сморщился.— Ты гляди, что они вытворяют-то! Да не было вас на току, не было-о! Я ж был там! Ну?! Обормоты вы такие, обормоты! Я ж следом за вами пошел туда — думаю, дошли ли они хоть? Не было вас там!

Это нас не смутило, что он, оказывается, был на току.

— Ну и что?

— Что?

— Ну и... мы тоже были. Мы, значит, маленько попозже... Мы блудили.

— Где попозже?! — взвизгнул дядя Ермолай.— Где попозже-то?! Я там весь дождь пережадл! Я только к свету оттуда уехал. Не было вас там!

— Были...

Дядя Ермолай ошалел... Может быть, мы — в глазах его — тоже на миг подпрыгнули и повисли в воздухе, как вчерашние скирды и кони, отчего-то у него глаза сделались большие и удивленные.

— Были...

— Были.

Он схватил узду... Мы — в разные стороны. Дядя Ермолай постоял с уздой, бросил, сморщился болезненно и пошел прочь, вытирая ладошкой глаза. Он был не очень здоровый.

— Обормоты,— говорил он на ходу.— Не были же, не были — и в глаза врут стоят. Штыбы бы вам околеть, не доживая веку! Штыбы бы вам... Жоны злые попались!.. Обормоты. В глаза врут стоят — и хоть бы что! О!..— Дядя Ермолай повернулся к нам.— Да ты скажи честно: испужались, можеть, не нашли — нет, в глаза смотрют и врут. Обормоты... По пять трудодней снимаю, раз вы такие.

Днем, когда молотили, дядя Ермолай еще раз подошел к нам.

— Гришка, Васьк... сознайтесь: не были на точке́? По пять трудодней не сниму. Не были же?

— Были.

Дядя Ермолай некоторое время смотрел на нас... Потом позвал с собой.

— Идите суда... Идите, идите. Вот тут вот я от дождя прятался.— Показал. И посмотрел на нас с мольбой.— А вы где же прятались?

— А мы — с той стороны.

— С какой?

— Ну, с той.

— Да где же с той-то?! Где с той-то? — Он опять стал терять терпение.— Я же шумел вас, звал!.. Я ее кругом всю обошел, скирду-то. А молонья такая резала, что тут не то что людей, иголку на земле найдешь. Где были-то?

— Тут.

Дядя Ермолай из последних сил крепился, чтоб опять не взвиться.

Опять сморщился...

— Ну ладно, ладно... Вы, можеть, боитесь, что я ругаться буду? Не буду. Только честно скажите: где ночевали? Не скину по пять трудодней... Где ночевали?

— На току.

— Да где на току-то?! — сорвался дядя Ермолай.— Где на току-то?! Где, когда я... У-у, обормоты! — Он заискал глазами — чем бы огреть нас.

Мы убежали.

Дядя Ермолай ушел за скирду... Опять, наверно, всплакнул.

Теперь, много-много лет спустя, когда я бываю дома и прихожу на кладбище помянуть покойных родных, я вижу на одном кресте: «Емельянов Ермолай.. вич».

Ермолай Григорьевич, дядя Ермолай. И его тоже поминаю — стою над могилой, думаю. И дума моя о нем простая: вечный был труженик, добрый, честный человек. Как, впрочем, все тут, как дед мой, бабка. Простая дума. Только додумать я ее не умею, со всеми своими институтами и книжками. Например: что́ был в этом, в их жизни, какой-то большой смысл? В том именно, как они ее прожили. Или не было никакого смысла, а была одна работа, работа... Работали да детей рожали. Видел же я потом других людей... Вовсе не лодырей, нет, но... свою жизнь они понимают иначе. Да сам я ее понимаю теперь иначе! Но только, когда смотрю на эти холмики, я не знаю: кто из нас прав, кто умнее?

1971

ХОЗЯИН БАНИ И ОГОРОДА

В субботу, под вечерок, на скамейке перед домом сидели два мужика, два соседа, ждали баню. Один к другому пришел помыться, потому что свою баню ремонтировал.

Курили. Было тепло, тихо. По деревне топились бани: пахло горьковатым банным дымком.

— Кизяки нынче не думаешь топтать? — спросил тот, который пришел помыться, помоложе, сухой, скуластый, смуглый.

— На кой они мне...— лениво, не сразу ответил тот, который постарше. Он смотрел в улицу, но ничего там не высматривал, а как будто о чем-то думал, может, вспоминал.

— А я не знаю, что делать. Топтать, что ли...

— Наплавь из острова да топи.

— Не знаю, что делать... Может, правда, наплавить.

— Конечно.

— Ты будешь плавить?

— Я, может, угля куплю. Посмотрю.

— Наверно, наплавлю. Неохота этими кизяками заниматься.

Тот, что постарше, спокойный, грузный, бросил под ногу окурок, затоптал. Посмотрел задумчиво в землю и поднял голову...

— Хошь расскажу, как меня хоронить будут? — Чуть сощурил глаза в усмешке.

— О! — удивился сухой, смуглый.— Ты что?

— Хошь?

— А чего ты... помирать-то собрался?

— Да не собрался. Я туда не тороплюсь. Но я в точности знаю, как меня хоронить будут. Рассказать?

— Во, елки зеленые! Мысли у тебя. Чего ты? — еще спросил тот, помоложе.

— Значит, будет так: помер. Ну, обмыли — то се, лежу в горнице, руки вот так...— Рассказчик показал, как будут руки. Он говорил спокойно, в маленьких умных глазах его мерцала веселинка.— Жена плачет, детишки тоже... Люди стоят. Ты, например, стоишь и думаешь: «Интересно, позовут на поминки или нет?»

— Ну, слушай! — обиделся смуглый.— Чего уж так?

— Я в шутку,— сказал рассказчик. И продолжал

опять серьезно: — Ты будешь стоять и думать: «Чего это Колька загнулся? Когда-нибудь и я тоже так...»

— Так все думают.

— Жена будет причитать: «Да родимый ты наш, да на кого же ты нас оставил?! Да ненаглядный ты наш, да сокол ты наш ясный». Сроду таких слов не говорят, а как помрет человек, так начинают: «сокол», «голубь»... Почему так?

— Ну, напоследок-то не жалко. А еще приговаривают: «ноженьки», «рученьки», «головушка». «Ох, да отходил ты своими ноженьками по этой горенке». А у кого есть сорок пятый размер — тоже ноженьки!

— Это потому, что в этот момент жалко. Кого жалеют, тот кажется маленьким.

— Ну, а дальше?

— Дальше понесли хоронить. Оркестр в городе наняли за шестьдесят рублей. Тут, значит, скинутся: тридцать рублей сама заплатит, тридцать — с моих выжмет. А на кой он мне черт нужен, оркестр? Я же его все равно не слышу.

— Друг перед другом выхваляются. Одни схоронили с оркестром, другие, глядя на них, тоже. Лучше бы эти деньги на поминки пустить...

— Во, я и говорю: кто про что, а ты про поминки.— Рассказчик засмеялся негромко.

Молодой не засмеялся.

— Но когда сядут и хорошо помянут — поговорят про покойного, повспоминают — это же дороже, чем один раз пройдут поиграют. Ну и что поиграли? Ты же сам говоришь: «На кой он мне?»

— Тут дело не в покойнике, а в живых. Им же тоже надо показать, что они... уважали покойного, ценили. Значит, им никаких денег не жалко...

— Не жалко! Что, у твоей жены шестидесяти рублей не найдется?

— Найдется. Ну и что?

— Чего же она будет с твоей родни тридцать рублей выжимать на оркестр? Заплати сама, и все, раз уважаешь. Чего тут скидываться-то?

— Я же не скажу ей из гроба: «Заплати сама!»

— Из гроба... Они при живых-то что хотят, то и делают. Власть дали! Моей девчонке надо глаза закапывать, глаза что-то разболелись... Ну, та плачет, конечно, когда ей капают,— больно. А моя дура орет на нее. Я

осадил разок, она на меня. А у меня вся душа переворачивается, когда девчонка плачет, я не могу.

— Но капать-то надо.

— Да капать-то капай, зачем ругаться-то на нее? Ей и так больно, а эта орет стоит «не плачь!». Как же не плакать?

— Да...— Николаю, рассказчику, охота дальше рассказывать, как его будут хоронить.— Ну, слушай. Принесли на могилки, ямка уже готова...

— Ямку-то я копать буду. Я всем копаю.

— Наверно...

— Я Стародубову Ефиму копал... Да не просто одну могилку, а сбоку еще для старухи его подкапывал. А они меня даже на поминки не позвали. Главное, я же сам напросился копать-то: я любил старика. И не позвали. Понял?

— Ну, они издалека приехали, сын-то с дочерью, чего они тут знают: кто копал, кто не копал...

— Те не знали, а что, некому подсказать было? Старуха знала... Нет, это уж такие люди. Два рубля суют мне... Хотел матом послать, но, думаю, горе у людей...

— А кто совал-то?

— Племянница какая-то Ефимова. Тоже где-то в городе живет. Ну, распоряжалась тут похоронами. Подавись ты, думаю, своими двумя рублями, я лучше сам возьму пойду красненькой бутылку да помяну один. Я уважал старика...

— Так, а чего ты? Взял эти два рубля да пошел купил себе...

— Да я же не за деньги копал! Я говорю: уважал старика, мы вместе один раз тонули. Я пас колхозных коров, а он своих двух телков пригнал. И надумали мы их в Сухой остров перегнать — там трава большая в кустах и не жарко. Погнали, а его телка-то сшибло водой. Он за телком, да сам хлебнул. Я кой старика-то вытаскивал, телка нашего на дресву оттащило. Из старика вода полилась, очухался он и маячит мне: телка, мол, спасай, я ничего...

— Спасли? Телка-то.

— Спасли. Хороший был старик. Добрый. Мне жалко его.

— Я его мало знал. Знал, но так... Он долго хворал?

— Нет. У него сперва отнялись ноги... Его в больницу. А он застеснялся, что там надо нянечку каждый раз

просить... Заталдычил: «Везите домой, дома помру». Интеллигент нашелся — няньку стыдно просить. Она за это деньги получает, оклад.

— Ну, каждый раз убирать за имя — это тоже...

— А как же теперь? Он и так уж старался поменьше исть, молоком больше... Но ведь все же живой пока человек. Как же теперь?

— Оно, конечно.

— Может, полежал бы в больнице, пожил бы еще...

— Его без оркестра хоронили?

— Какой оркестр! Жадные все, как... Сын-то инженером работает, мог бы... Ну, копейка на учете.

— Да старику-то, если разобраться, на кой он, оркестр-то? — сказал рассказчик, хозяин бани.

— А тебе?

— Чего?

— Тебе нужен?

— И мне не нужен.

— Никому не нужен, но все же хоронют с оркестром. Не покойник же его заказывает, живые, сам говоришь. Любили бы отца, заказали бы. Жадные.

— Бережливые,— поправил хозяин бани.

Смуглый посмотрел на рассказчика... Понимающе кивнул головой.

— Вот и про себя скажи: я не жадный, а бережливый. А то — «не надо оркестра, я его все равно не слышу». Скажи уж: денег жалко. Чего рассусоливать-то? Я же вас знаю, что ты, что Кланька твоя — два сапога пара. Снегу зимой не выпросишь.

Рассказчик помолчал на это... Игранул скулами. Заговорил негромко, с напором:

— Легко тебе живется, Иван. Развалилась баня, ты, недолго думая, пошел к соседу мыться. Я бы сроду ни к кому не пошел, пока свою бы не починил... И ты же ходишь прославляешь людей по деревне: этот жадный, тот жадный. Какой же я жадный: ты пришел ко мне в баню, я тебе ни слова не говорю: иди мойся. И я же жадный! Привыкли люди на чужбинку жить...

Иван достал пачку «Памира», закурил. Усмехнулся своим мыслям, покачал головой.

— Вот видишь, из тебя и полезло. Баню пожалел...

— Не баню пожалел, а... свою надо починить. Что же вы, так и будете по чужим баням ходить?

— Ты же знаешь, мне не на чё пока тёсу купить.

— Да у тебя сроду не на чё! У тебя сроду денег нет. Как же у других-то есть? Потому что берегут ее, копейку-то. А у тебя чуть завелось лишка, ты их скорей торописся загнать куда-нибудь. Баян сыну купил!.. Хэх!

— А что тут плохого? Пускай играет.

— Видишь, ты хочешь перед людями выщелкнуться, а я, жадный, должен для тебя баню топить. На баян он нашел денег, а на тёс — нету.

— Мда-а... Тьфу! Не нужна мне твоя баня, гори она синим огнем! — Иван поднялся.— Я только хочу тебе сказать, куркуль: вырастут твои дети, они тебе спасибо не скажут. Я проживу в бедности, но своих детей выучу, выведу в люди... Понял?

«Куркуль» не пошевелился, только кивнул головой, как бы давая понять, что он понял, принял, так сказать, к сведению.

— Петька твой начал уж потихоньку выходить в люди. Сперва пока в огороды.

— Как это?

— Морковка у меня в огороде хорошая — ему глянется...

— Врешь ведь? — не поверил Иван.

— А спроси у него. Еще спроси: как ему та хворостина? Глянется, нет? И скажи: в другой раз не хворостину, а бич конский возьму...— Сидящий снизу нехорошо, зло глянул на стоящего.— А то вы, я смотрю, добрые-то за чужой счет в основном. А чужая кобыла, знаешь, лягается. Так и передай своему баянисту.

Иван, изумленный силой взгляда, каким одарил его хозяин бани и огорода, некоторое время молчал.

— Да-а,— сказал он,— такой, правда, за две морковки изувечит.

— Свою надо иметь. Мои на баяне не умеют, зато в чужой огород не полезут.

— А ты сам в детстве не лазил?

— Нет. Меня отец тоже на баяне не учил, а за воровство руки выламывал.

— Ну и зверье же!

— Зверье не зверье, а парнишке скажи: бич возьму. Так уделаю, что лежать будет. Жалуйтесь потом...

— Тьфу!— Иван повернулся и пошел домой. Изрядно отшагал уже, обернулся и сказал громко:— Вот тебе-то я ее не буду копать! И помянуть не приду...

Хозяин бани и огорода смотрел на соседа спокойными, презрительными глазами. Видно, думал, как покрепче сказать. Сказал:

— Придешь. Там же выпить дадут... как же ты не придешь. Только позвали бы — придешь.

— Нет, не приду! — серьезно, с угрозой сказал Иван.

— А чего ты решил, что я помираю? Я еще тебя переживу. Переживу, Ваня, не горюй.

— Куркуль.

— Иди музыку слушай. Вальс «Почему деньги не ведутся».— Хозяин бани и огорода засмеялся. Бросил окурок, поднялся и пошел к себе в ограду.

1971

НОЛЬ-НОЛЬ ЦЕЛЫХ

Колька Скалкин пришел в совхозную контору брать расчет. Директор вчера ругал Кольку за то, что он «в такое горячее время...».— «У вас вечно горячее время! Все у вас горячее, только зарплата холодная». Директор написал на его заявлении: «Уволить по собств. желанию». Осталось взять трудовую книжку.

За трудовой книжкой Колька и пришел.

Книжку должен был выдать некто Синельников Вячеслав Михайлович, средней жирности человек, с кротким лоснящимся лицом, белобровый, в белом костюме. Синельников был приезжий, Колька слышал про него, что он зануда.

— Почему увольняешься? — Синельников устало смотрел на Кольку.

— Мало платят.

— Сколько?

— Чего «сколько»?

— Сколько, ты считаешь, мало?

— Шестьдесят-семьдесят... А то и меньше.

— Ну. А тебе сколько надо?

Кольку слегка заело.

— Мне-то? Три раза по столько.

Синельников не улыбнулся, не удивился такому нахальству.

— Не хватало, значит?

— Не то что не хватало, а даже совестно: руки-ноги здоровые, работать сроду не ленился, а... Тьфу! —

Колька много матерился по поводу своей зарплаты, возмущался, нехорошо поминал совхозное начальство, поэтому больше толочь воду в ступе не хотел.— Все.

— И куда?

— Счас-то? Ямы под опоры пойду рыть. На тридцать седьмой километр.

— Специальность в кармане, а ты ямы рыть. Ты же водитель второго класса...

— А что делать?

— Водку поменьше пить.— Синельников все так же безразлично, вяло, без всякого интереса смотрел на Кольку. Непонятно было, зачем он вообще разговаривает, спрашивает.

Колька уставился в кроткие, неопределенного цвета глаза Синельникова. Пошевелил ноздрями и сказал (как он потом уверял всех) вежливо:

— Прошу на стол мою трудовую книжку. Без бюрократства. Без этих, знаете, штучек.

— Каких это штучек?

— Я же не на лекцию пришел, верно? Я за трудовой книжкой пришел.

— И лекцию не вредно послушать. Не на лекцию он пришел... Водку жрать у них денег хватает, а тут, видите ли, мало платят.— Странно, Синельников и теперь никак не возбудился, не заговорил как-нибудь... быстрее, что ли, злее, не нахмурился даже.— Глоты. И сосут, и сосут, и сосу-ут эту водку... Как не надоест-то? Очуметь же можно. Глоты несчастные.

Такого Колька не заслужил. Он выпивал, конечно, но так, чтобы «глот», да еще «несчастный»... Нет, это зря. Но странно тоже, что не слова взбесили Кольку, а этот ровный, унылый, коровий тон, каким они говорились: как будто такой уж Колька безнадежно плохой, отпетый человек, что с ним устали и не хотят даже нервничать, и уж так — выговаривают что положено, но без всякой надежды.

— Да что за мать-перемать-то! — возмутился Колька.— Ты что... чернил, что ли, выпил? Чего ты пилить-то принялся? Гляди-ка, сел верхом, и давай плешь грызть. Да ты что? Тебе что, делать, что ли, нечего, бюрократ?

Синельников выслушал все это спокойно, как на собрании; он даже голову рукой подпер, как делают, сидя

в президиуме и слушая привычную, необидную критику.

— Продолжай.

— Я пришел за трудовой книжкой, мне нечего продолжать. Заявление подписано? Подписано. Давай трудовую книжку.

— А хочешь, я тебе туда статью вляпаю?

— За что? — растерялся Колька.

— За буйство. За недисциплинированность... Маааленькую такую пометочку сделаю, и ты у меня здесь станцуешь... краковяк. — Синельников наслаждался Колькиной растерянностью, но он даже и наслаждался-то как-то уныло, невыразительно. Колька, однако, взял себя в руки.

— За что же ты мне пометочку сделаешь?

— Сделаю пометочку, ты придешь ямы копать под опоры, а тебе скажут: «Э-э, голубчик, а у тебя тут... Нет,— скажут,— нам таких не надо». И все. И отполучал ты по двести рублей на своих ямах. Так что нос-то особо не задирай. Он, видите ли, лаяться будет тут... Дерьмо.— Синельников все не повышал голоса, он даже и руку не отнял от головы — все сидел как в президиуме.

— Кто?— спросил Колька.— Как ты сказал?

— Чего «кто»?

— Я-то? Как ты сказал?

— Дерьмо, сказал.

Колька взял пузырек с чернилами и вылил чернила на белый костюм Синельникова. Как-то так получилось... Колька даже не успел подумать, что он хочет сделать, когда взял пузырек... Плеснул — так вышло. Синельников отнял руку от головы. Чуть подумал, быстро снял пиджак, встал и подержал пиджак на вытянутых руках, пока чернила стекали на пол. Чернила стекли... Синельников осторожно встряхнул пиджак, еще подождал и повесил пиджак на спинку стула. После этого оглядел рубашку и брюки: пиджак не успел промокнуть, на брюки не попало.

— Так... — сказал Синельников. — Выбирай: двадцать рублей за химчистку и окраску всего костюма или подаю в суд за оскорбление действием.

— Ты же первый начал оскорблять...

— Я — словами, никто не слышал, чернила — вот они, налицо. Причем химические. — И опять Синельников говорил ровно, бесцветно. Поразительный чело-

век! — Твое счастье, что я его все равно хотел красить. Еще не знаю, берут ли в чистку с химическими чернилами... Двадцать пять рублей.— Синельников взялся за телефон.— Решай. А то звоню в милицию.

Колька уже понял, что лучше заплатить. Но его возмутило опять, что этот законник на глазах стал нагло завышать цену.

— Почему двадцать пять-то? То двадцать, а то сразу двадцать пять. Еще посидим, ты до полста догонишь?..

— Пять рублей — это дорога в район: туда и обратно. Я сразу не сообразил.

— Что, по два с полтиной в один конец, что ли? Тебя за полтинник на попутной любой довезет.

— На попутной я не хочу. Туда на попутной, а оттуда такси возьму.

— Фон-барон нашелся!.. «На такси-и»!

— Да, на такси. Что — дико?

— Не дико, а... на дармовщинку-то выдрючиваться неужели не совестно?

— Ты меня чернилами окатил — тебе не совестно? Что же я — за свой собственный костюм на попутных буду маяться? Двадцать пять. Пиши.

— Чего?

— Расписку.

Синельников пододвинул Кольке лист бумаги.

Колька брезгливо взял лист...

— Как писать-то?

— Я, такой-то, — полностью имя, отчество,— обязуюсь выплатить товарищу Синельникову Вячеславу Михайловичу двадцать пять — прописью — рублей, ноль-ноль копеек...

Колька зло усмехнулся, покачал головой.

— «Ноль-ноль копеек»!.. Командующий, мля!..

— Ноль-ноль копеек за умышленную порчу белого костюма товарища Синельникова В. М.

Колька остановился писать.

— Для чего же писать «умышленную»? Раз я добровольно соглашаюсь платить, зачем же так писать? Там где-нибудь прочитают и начнут... начнут придираться.

Синельников подумал.

— Ладно, пиши: за порчу костюма товарища... белого костюма товарища Синельникова В. М.

Колька пропустил слово «товарища», написал: «белого костюма Синельникова».

— Химическими чернилами...

Колька взял пузырек, посмотрел:

— Разве для авторучек бывают химические?

— А какие же? Отчетные ведомости мы только химическими пишем.

— Писатели, мля...— проворчал Колька.

— Подпись. Число.

Колька расписался. Поставил число. Синельников взял расписку.

— Сколько тебе под расчет причитается?

— А я откуда знаю? Ты лучше тут знаешь.

— После обеда зайдешь за расчетом. И за книжкой.

Колька встал.

— Ты это... не говори никому, что... слупил с меня четвертной. А то дойдет до моей... хаю не оберешься. Напиши чего-нибудь.

— Ладно.

Колька пошел к двери. На пороге остановился, посмотрел на плотного человека с белыми бровями. Синельников тоже посмотрел на него.

— Что?

— Хо-о,— сказал Колька. Качнул головой и вышел из кабинета. В коридоре разок про себя матюкнулся.

«Четвертной как псу под хвост сунул. Свернул трубочкой и сунул». Но вспомнил, что на ямах теперь будет зарабатывать по двести—двести пятьдесят рублей... И успокоился. «Да гори они синим огнем!— подумал.— Жалеть еще...»

1971

ПИСЬМО

Старухе Кандауровой приснился сон: молится будто бы она богу, усердно молится, а пустому углу: иконы-то в углу нету. И вот молится она, а сама думает: «Да где же у меня бог-то?»

Проснулась в страхе, до утра больше не заснула, обдумывала сон. Страшный сон. К чему?.. Не с дочерью ли чего? Дочь старухина, младшая, жила в городе, работала в хорошем месте продавцом. Она славная, дочь, всей родне слала посылки: кофточки импортные, шали, даже машины стиральные. Не за так, конечно, деньги

ей, конечно, высылали, но... Иди нынче допросись и за деньги-то купить: все некогда им, вечно они там заняты. А эта находила время... Нет, она хорошая, Катерина, только с мужем неважно живут. Черт его знает, что за мужик попался: приедет — молчит целыми днями... Костлявый какой-то. Все думает чего-то, газетами без конца шуршит, зевает. Ни поговорить, ни пошутить... Как лесина сухая. Дочь жаловалась на него матери.

Утром старуха собралась и пошла к Ильичихе. Ильичиха разгадывала сны.

— И-и, матушка,— запела богомольная Ильичиха,— дак а у тя иконка-то есть ли?

— Есть. Она, правда, в шифонере...

— Вы-ынь, вынь, матушка, грех. Чего же ее впотьмах держать? Вынь да повесь, куда положено. Как же ты так?..

— Да жду своих, Катьку-то, сулились... А зять-то партейный, ну-ко да коситься начнет.

— Плюнь! Кому како дело! Нонче нет такого закону...

— Да закону-то нет, а... И так-то живут неважно, а тут я ишо...

— Не гневи бога, Кузьмовна, не гневи. Кому како дело? У меня их вон сколь висят, кому како дело?!. А ты ее в шифоньер запятила! Бесстыдница.

— Да не ездит никто, оно и дела никому нет,— с сердцем сказала Кузьмовна.— Не все так-то живут. Ко мне люди ездиют, я не одинокая.

— Знамо, татаркой-то не живу, — обиделась Ильичиха.— К ей люди ездиют!.. Гляди-ка, наездили: раз в год приедут, так она из-за этого икону в шкап запятила! Ни стыда, ни совести у людей.

— Ты не кричи, чего ты рот-то разинула? Чего ты всех созываешь-то?.. Припадошная. Кто тебе виноватый, что не рожала? А теперь зло берет. Надо было рожать.

— Да вы вон нарожали их, а толку-то?

— Как это «толку»? Вот те раз! Да у меня же смысл был, я их ростила да учила старалась... А ты-то зачем жила? Прокуковала весь свой век, а теперь злится. Нечего и злиться теперь...

— Это вы наплодили их, да поете ходите: «Ванька не пишет, Колька денег не шлет, окаянный...» Зачем тада и рожать? Лучше не рожать — не гневить бога

после. Не было у меня условиев, я и не рожала. Не все подкулачники-то были... Куркули.

— Знамо, лодыри, они куркулями никогда не живут. Где эт ты куркулей-то увидела?

— Да все же на волосок только не раскулачили в двадцать девятом году! Ты забыла? Какая у тебя память-то дырявая. Мой же брат Аркашка заступился за вас. Забыла? А кому потом ваш отец три овечки-то ночью пригнал?.. Забыла? Короткая же у тебя память...

— А ты чо гордисся, что в бедности жила. Ведь нам в двадцать втором годе землю-то всем одинаково дали. А к двадцать девятому они уж опять бедняки. Лодыри! Ведь вы уж бедняки-то советские сделались, к коллективизации-то нам землю-то поровну всем давали на едока.

— А вы!..

— А вы!..

Поругались старушки. И вот ведь дурная деревенская привычка: двое поругаются, а всю родню с обеих сторон сюда же пришьют. Никак не могут без этого! Всех помянут и всех враз сделают плохими — и живых, и покойных, всех.

Домой старуха Кандаурова шла расстроенная. Болела душа за Катьку. Неладно у нее, неладно — сердце чует.

Вечером старуха села писать письмо дочери. Решила написать большое письмо, поучительное.

«Добрый день, дочь Катя, а также зять Николай Васильич, и ваши детки Коля и Светычка, внучатычки мои ненаглядныи. Ну, када же вы приедете, я уж все глазыньки проглядела — все гляжу на дорогу: вот, может, покажутся, вот покажутся. Но нет, не видать. Катя, доченька, видела я этой ночий худой сон. Я не стану его описывать, там и описывать-то нечего, но сон шибко плохой. Вот задумылась: может, у вас чего-нибудь? Ты, Катерина, маленько не умеешь жить. А станешь учить вас, вы обижаитись. А чего же обижатца? Надо, наоборот, мол, спасибо, мама, что дала добрый совет. Мы тоже када-то росли у отца с матерей, тоже, бывало, не слушались ихного совета, а потом жалели, но было поздно.

Ты подскажи свому мужу, чтоб он был маленько поразговорчивей, поласковей. А то они... Ты скажи так: «Коля, что ж ты, идрена мать, букой-то живешь? Ты

сядь, мол, поговори со мной, расскажи чего-нибудь. А то, скажи, спать поврозь буду!»

Старуха задумалась, глядя в окно. Вечерело. Где-то играли на гармошке. Старуха вспомнила себя, молодую, своего нелюдимого мужа... Муж ее, Кандауров Иван, был мужик работящий, честный, но бука несусветная. За всю женатую жизнь он всего два или три раза приласкал жену. Не обижал, нет, но и не замечал. Старухе жалко стало себя, свою жизнь...

«Если б я послушалась тада свою мать, я б сроду не пошла за твого отца. Я тоже за свою жизнь ласки не знала. Но тада такая жизнь была: вроде не до ласки, одна работа на уме. А если так-то разобраться-то — пошто? Ну, работа работой, а человек же не каменный. Да еслив его приласкать, он в три раза больше сделает. Любая животная любит ласку, а человек тем боле. Ты, скажи, сам угрюмый ходишь, и, на тебя глядя, сын тоже станет задумыватца. Они, маленькие-то, все на отца глядят: как отец, так и они — походить стараютца. Да я и бу́ду, скажи, с вами, с такими-то... Мне, мол, что, самой с собой тада остаетца разговаривать? Да что уж это за мысли такие! — день-деньской думать и думать... Ты скажи, ослобони маленько голову-то для семьи. Чего думать-то, об чем? Ладно бы — думал, думал — додумался: большим начальником сделался, а то так — сбоку-припека. Чего уж тада и утруждать ее, головушку-то, еслив она не приспособлена для этого дела. Нечего ее и утруждать. Ты, скажи, будешь думать, а я буду возле тебя сидеть — в глаза тебе заглядывать? Да пошел ты от меня подальше, сыч! Я, скажи, не кривая, не горбатая — сидеть-то возле тебя. Я, мол, вон счас приоденусь да на танцы завьюсь, будешь знать. Да сударчика себе найду. Скажи, скажи ему так, скажи. А полезет с кулаками, ты — в милицию: ему сразу прижмут хвост. Это ничего, что он сам в милиции, ему тоже прижмут. С имя нынче не чикаютца, это не старое время. Это раньше, бывало... Тьфу! И писать-то про то неохота! Нет, скажи, ты у меня живо повеселеешь, столб грустный. Ты меня за две улицы стречать будешь с работы. А то моду взяли! Нет, ты у нас будешь разговорчивый! А не изменишь свой гыранитный характер, вон тебе дверь, выметайся! Иди на все четыре стороны, читай газеты. И молчи сколько влезет. Попинывали мы таких журавлей задумчивых. Дай ему месяц сроку:

еслив не исправитца, гони в три шеи! Пусть летит без оглядки, ступеньки щитает!»

Старуха вдруг представила, что письмо это читает ее задумчивый зять... Усмехнулась и стала смотреть в окно. Гармонь все играла, хорошо играла. И ей подпевал негромко незнакомый женский голос. Господи, думала старуха, хорошо, хорошо на земле, хорошо. А ты все газетами своими шуршишь, все думаешь... Чего ты выдумаешь? Ничего ты не выдумаешь, лучше бы на гармошке научился играть.

«Читай, зятек, почитай — я и тебе скажу: проугрюмисся всю жизнь, глядь, помирать надо. Послушай меня, я век прожила с таким, как ты: нехорошо так, чижало. Я тут про тебя всякие слова написала, прости, еслив нечаянно задела, но все-таки образумься. Чижало так жить! Она мне дочь родная, у меня душа болит, мне тоже охота, чтоб она порадовалась на этом свете. И чего ты, журавь, все думаешь-то? Получаешь неплохо, квартирка у вас хорошая, деточки здоровенькие... Чего ты думаешь-то? Ты живи да радуйся, да других радуй. Я не про службу твою говорю, там не обрадоваешь, а про самых тебе дорогих людей. Я вот жду вас, жду не дождусь, а еслив ты опять приедешь такой задумчивый, огрею шумовкой по голове, у тебя мысли-то перестроютца. Это я пошутила, конечно, но, правда, возьми себя в руки. Приезжайте скорей, у нас тут хорошо, лучше всяких курортов. Не сердись на меня, я же тоже все думаю, не стой тебя. Но мне-то хоть есть об чем думать, а ты-то чего? Господи, жить да радоваться, а они... Ну, приезжайте. Катя, поедете, купи мне ситцу на занавески, у нас его нету. Купи голубенького. Я повешу, утром проснетесь, а в горнице такой свет хороший. Петя пишет, что не сможет этим летом приехать. А Егор, может, приедет. Здоровье у него неважное. Коля, внучек мой милый, скажи папке и мамке, чтоб ехали. Тут ве́лики хорошие продают. Будешь на велике ездить. И рыбачить будешь ходить. Давеча шла, видела: ребятишки по целой сниске чебаков несли. Приезжайте, дорогие мои. Жду вас, как Христова дня. Жить мне осталось мало, я хоть порадываюсь на вас. Одной-то шибко плохо, время долго идет. Приезжайте.

Целую вас всех. Баба Оля».

Старуха отодвинула письмо в сторонку и опять стала

смотреть в окно. А за окном уже ничего почти не видать. Только огоньки в окнах... Теплый, сытый дух исходил от огородов, и пылью пахло теплой, остывающей.

Вот тут, на этих улицах, прошла жизнь. А давно ли?.. О господи! Ничего не понять. Давно ли еще была молодой. Вон там, недалеко, и теперь закоулочек сохранился: там Ванька Кандауров сказал ей, чтоб выходила за него... Еще бы раз все бы повторилось! Черт с ним, что угрюмый, он не виноват, такая жизнь была: работал мужик, не пил зряшно, не дрался — хороший. Квасов, тот побойчей был, зато попивал. Да нет, чего там?.. Ничего бы другого не надо бы. Еще бы разок все с самого начала...

Старуха и не заметила, что плачет. Поняла это, когда слезинка защекотала щеку. Вытерла глаза концом косынки, встала и пошла разбирать постель — поспать, а там еще день будет. Может, правда, приедут — все скорей.

— Старая!— сказала она себе.— Гляди-ка, ишо раз жить собралась!.. Видали ее!

1971

ЖЕНА МУЖА В ПАРИЖ ПРОВОЖАЛА

Каждую неделю, в субботу вечером, Колька Паратов дает во дворе концерт. Выносит трехрядку с малиновым мехом, разворачивает ее, и:

> А жена мужа в Париж провожала,
> Насушила ему сухарей...

Проигрыш. Колька, смешно отклячив зад, пританцовывает.

> Тара-рам тара-рам, тара та-та-ра... рам,
> Тари-рам, тари-рам, та-та-та...

Старушки, что во множестве выползают вечером во двор, смеются. Ребятишки, которых еще не загнали по домам, тоже смеются.

> А сама потихоньку шептала:
> «Унеси тебя черт поскорей!»
> Тара-рам, тара-рам, та-та-ра-ра...

Колька — обаятельный парень, сероглазый, чуть скуластый, с льняным чубариком-чубчиком. Хоть невы-

сок ростом, но какой-то очень надежный, крепкий сибирячок, каких запомнила Москва 1941 года, когда такие вот, ясноглазые, в белых полушубках день и ночь шли и шли по улицам, одним своим видом успокаивая большой город.

— Коль, «цыганочку»!

Колька в хорошем субботнем подпитии, улыбчив.

— Валю-ша, — зовет он, подняв голову. — Брось-ка мне штиблеты — «цыганочку» товарищи просят.

Валюша не думает откликаться, она зла на Кольку, ненавидит его за эти концерты, стыдится. Колька знает, что Валюша едва ли выглянет, но нарочно зовет, ломая голос — «по-тирольски», чем потешает публику.

— Валю-ша! Отреагируй, лапочка!.. Хоть одним глазком, хоть левой ноженькой!.. Ау-у!..

Смеются, поглядывают тоже вверх... Валюша не выдерживает: с треском распахивается окно на третьем этаже, и Валюша, навалившись могучей грудью на подоконник, свирепо говорит:

— Я те счас отреагирую — кастрюлей по башке, кретин!

Внизу взрыв хохота; Колька тоже смеется, хотя... Странно это: глаза Кольки не смеются, и смотрит он на Валюшу трезво и, кажется, доволен, что заставил-таки сорваться жену, довел, что она выказала себя злой и неумной, просто дурой. Колька как будто за что-то жестоко мстит жене, и это очень на него непохоже, и никто так не думает — просто дурачится парень, думают. К этому времени вокруг Кольки собирается изрядно людей, есть и мужики, и парни.

— Какой размер, Коля?

— Фиер цванцихь — сорок два.

Кольке дают туфли (он в тапочках), и Колька пляшет... Пляшет он красиво, с остервенением. Враз становится серьезным, несколько даже торжественным... Трехрядка прикипает к рукам, в меру помогает «цыганочке», где надо молчит, работают ноги. Работают четко, точно, сухо пощелкивают об асфальт носочки — каблучки, каблучки — носочки... Опять взвякивает гармонь, и треплется по вспотевшему лбу Кольки льняной мягкий чубарик. Молчат вокруг, будто догадываются: парень выплясывает какую-то свою затаенную горькую боль. В окне на третьем этаже отодвигается край дорогой шторы — Валя смотрит на своего «шута». Она тоже

серьезна. Она тоже в плену исступленной, злой «цыганочки». Три года назад этой самой «цыганочкой» Колька «обаял» гордую Валю, больше гордую, чем... Словом, в такие минуты она любит мужа.

Познакомился сибиряк-Колька с Валюшей самым идиотским способом — заочно. Служил вместе с ее братом в армии, тот показал фотографию сестры... Сразу несколько солдатских сердец взволновалось — Валя была красивая. Запросили адрес, но брат Валин дал адрес только лучшему своему корешу — Кольке. Колька отправил в Москву свою фотографию и с фотографией — много «разных слов». Валя ответила... Завязалась переписка. Коля был старше Валиного брата на год, демобилизовался раньше, поехал в Москву один. Собралась вся Валина родня — смотреть Кольку. И всем Колька понравился, и Вале тоже. Смущало, что у солдатика пока что одна душа да чубчик, больше ничего нет, а главное, никакой специальности. Но решили, что это дело наживное. Так Коля стал москвичом, даже домой не доехал, к матери.

Стали они с Валюшей жить-поживать, и потихоньку до них стало доходить, что они напрочь чужие друг другу люди. Но было поздно: через год у них народилась дочка Нина, хорошенькая, круглолицая, беленькая... Колька понял, что он тут сел намертво. Им сообща — родней — купили двухкомнатную кооперативную квартиру (родные Вали все потомственные портные, и Валя тоже классная портниха). Колька много раз менял место работы, но везде — сто, от силы сто двадцать рублей. А Валя имела до трехсот «чистыми». Она работала телеграфисткой: сутки работает, двое дома — шьет.

Горе началось с того, что Колька скоро обнаружил у жены огромную, удивительную жадность к деньгам. Он попытался было воздействовать на нее, что нельзя же так-то уж, но получил железный отпор.

— У нас в деревне и то бабы не такие жадные...

— Заткнись со своей деревней,— посоветовала Валя.— Ехай туда, кому ты здесь нужен!

«Ну и влип... — терзался изумленный Колька. — Как влип!»

Он был парень не промах, хоть и «дерёвня», сроду не чаял и не гадал, что судьба изобразит ему такую колоссальную фигу. В армии он много думал о том, как

он будет жить после демобилизации: во-первых, закончит десятилетку в вечерней школе (у него было девять классов), во-вторых... И в-третьих, и в-четвертых — все накрылось. Первый год он мыкался в поисках подходящей работы — сам того не сознавая, он, оказывается, искал работу, которая бы подходила не ему самому, а жене Вале,— таковой не подыскал, махнул рукой, остался грузчиком в торговой сети. Потом родилась дочка, и все свободное время он должен был отдавать ей, так как скупая Валя не наняла старушку, которая бы хоть гуляла с девочкой. Сама же шила, шила, шила. Десятилетка Колькина лопнула. Колька вечером сажал дочку на скамеечку во дворе и играл ей на гармошке, и пел кривляясь:

Моя мечта не струйка дыма,
Что тает вдруг в сиянье дня;
Но вы прошли с улыбкой мимо
И не заметили меня.

Дочка смеялась, а Кольке впору было заплакать злыми, бессильными слезами. Он бы и уехал в деревню, но как подумает, что тогда он лишится дочери, так... Нет, это было выше сил, будь они хоть трижды сибирские — крепкие, способные вынести много. Все что угодно, только не это.

Полгода назад приезжала к ним мать Колькина. Валя приняла ее вежливо, но мать все равно боялась ее, лишний шаг боялась ступить по квартире, боялась внучку на руки взять... Колька исказнился, глядя на мать. Когда они остались одни, он упрекнул ее:

— Мам, ты чё это?

— Чё?

— Да какая-то... внучку на руки даже не взяла.

— Да боюсь я, сынок, чё-нибудь не так сделаю.

— Ну, ты уж какая-то...

— Да ничё, чё ты? Посмотрела вот — и слава богу. Хорошо живешь-то, сынок, хорошо. Куда с добром!.. Слава те, господи! И живи. Она бабочка-то ничё, с карахтером, правда, но такая-то лучше, чем размазня кака-нибудь. Хозяйка. Живите с богом.

Так и уехала мать с мыслью, что сын живет хорошо.

Когда супруги после ее отъезда поругались из-за чего-то, Валя куснула мужа в больное:

— Что же мамочка-то твоя?.. Приехала и сиди-ит, как... эта... Ни обед ни разу не сготовила, ни с внучкой не погуляла... Барыня кособокая.

Колька впервые тогда шваркнул жену по загривку. Она, ни слова не говоря, умотала к своим. Колька взял Нину, пошел в магазин, выпил, пришел домой и стал ждать. И когда явились тесть с тещей, вроде не так тяжко было толковать с ними.

— Ты смотри, смотри-и, парень! — говорили в два голоса тесть и теща и стучали пальцами по столу.— Ты смотри-и!.. Ты — за рукоприкладство-то — в один миг вылетишь из Москвы. Нашелся!.. Для тебя мы ее ро́стили, чтоб ты руки тут распускал?! Не дорос! С ней вон какие ребята дружили, инженеры, не тебе чета...

— Что же вы сплоховали? Надо было хватать первого попавшего и в загс — инженера-то. Или они хитрей вас оказались? Удовольствие получили — и в кусты? Как же вы так лопухнулись?

Тут они поперли на него в три голоса.

— Кретин! Сволочь!

— А вот мы счас милицию! А вот мы счас милицию вызовем!..

— Живет на все готовенькое, да еще!.. Сволочь!

— Голодранец поганый!

— Кретин!

Дочка Нина заплакала. Колька побелел, схватил топорик, каким мясо рубят, пошел на тестя, на жену и на тещу. Негромко, но убедительно сказал:

— Если не прекратите орать, я вас всех, падлы... Всех уложу здесь!

С того раза поняли супруги Паратовы, что их жизнь безнадежно дала трещину. Они даже сделали вид, что им как-то легче обоим стало, вольнее. Валя стала куда-то уходить вечерами.

— Куда это? — спрашивал Колька, прищемив боль зубами.

— К заказчикам.

Спали, впрочем, вместе.

— Ну как заказчики? — интересовался ночью Колька, и похлопывал жену по мягкому телу, и смеялся — не притворялся, действительно смех брал, правда, нервный какой-то смех.

— Дурачок,— спокойно говорила Валя.— Не думай — не из таких.

— Вы не из таких, — соглашался Колька, — вы из таковских.

Бывало, что по воскресеньям они втроем — с дочкой — ездили куда-нибудь.

Раза три ездили на ВДНХ. Заходили в шашлычную, Колька брал шашлыки, бутылку хорошего вина, конфет дочери... Вкусно обедали, попивали вино. Колька украдкой взглядывал на жену, думал: «Что мы делаем? Что делаем, два дурака?! Можно же хорошо жить. Ведь умеют же другие!»

Смотрели на выставке всякую всячину. Колька любил смотреть сельхозмашины, подолгу простаивал перед тракторами, сеялками, косилками... Мысли от машин перескакивали на родную деревню, и начинала болеть душа. Понимал, прекрасно понимал: то, как он живет — это не жизнь, это что-то очень нелепое, постыдное, мерзкое... Руки отвыкают от работы, душа высыхает — бесплодно тратится на мелкие, мстительные, едкие чувства. Пить научился с торгашами. Поработать не поработают, а бутылки три-четыре «раздавят» в подвале (к грузчикам еще пристегнулись продавцы — мясники, здоровые лбы, беззаботные, как колуны). Что же дальше?

Дальше — плохо. И чтобы не вглядываться в это отвратительное «дальше», он начинал думать о своей деревне, о матери, о реке... Думал на работе, думал дома, думал днем, думал ночами. И ничего не мог придумать, только травил душу, и хотелось выпить.

«Да что же?!. Оставляют же детей! Виноват я, что так получилось?»

Люди давно разошлись по домам... А Колька сидит, тихонько играет — подбирает что-то на слух, что-то грустное. И думает, думает, думает. Мысленно он исходил свою деревню, заглянул в каждый закоулок, посидел на берегу стремительной чистой реки... Он знал, если он приедет один, мать станет плакать: это большой грех — оставить дитё родное, станет просить вернуться, станет говорить... О господи! Что делать?

Окно на третьем этаже открывается.

— Ты долго там будешь пилить? Насмешил людей, а теперь спать им не даешь. Кретин. Тебя же счас во всех квартирах обсуждают!

Колька хочет промолчать.

— Слышишь, что ли? Нинка не спит!.. Клоун чертов.

— Закрой поддувало. И окно закрой — она будет спать.

— Кретин.

— Падла.

Окно закрывается. Но через минуту снова распахивается.

— Я вот расскажу кому-нибудь, как ты мечтал на выставке: «Мне бы вот такой маленький трактор, маленький комбайник и десять гектаров земли». Кулачье недобитое. Почему домой-то не поехал? В колхоз неохота идти? Об единоличной жизни мечтаете с мамашей своей... Не нравится вам в колхозе-то? Заразы. Мещаны.

Самое чудовищное, что жена Валя знала: отец Кольки, и дед, и вся родня — бедняки в прошлом и первыми вошли в колхоз, Колька ей рассказывал.

Колька ставит гармонь на скамейку... Хватит! Надо вершить стог. Эта добровольная каторга сделает его идиотом и пьяницей. Какой-то конец должен быть.

Скоро преодолел он три этажа... Влетел в квартиру. Жена Валя, зачуяв недоброе, схватила дочь на руки.

— Только тронь! Только тронь посмей!..

Кольку било крупной дрожью.

— П-положь ребенка,— сказал он, заикаясь.

— Только тронь!..

— Все равно я тебя убью сегодня. — Колька сам подивился — будто не он сказал эти страшные слова, а кто-то другой, сказал обдуманно. — Дождалась ты своей участи... Не хотела жить на белом свете? Подыхай. Я тебя этой ночью казнить буду.

Колька пошел на кухню, достал из ящика стола топорик... Делал все спокойно, тряска унялась. Напился воды... Закрыл кран. Подумал, снова зачем-то открыл кран.

— Пусть течет пока,— сказал вслух.

Вошел в комнату — Вали не было. Зашел в другую комнату — и там нет.

— Убежала. — Вышел на лестничную площадку, постоял... Вернулся в квартиру.— Все правильно...

Положил топорик на место... Походил по кухне. Достал из потайного места початую бутылку водки, налил стакан, бутылку опять поставил на место. Постоял со стаканом... Вылил водку в раковину.

— Не обрадуетесь, гады.

Сел... Но тотчас встал — показалось, что на кухне очень мусорно. Он взял веник, подмел.

— Так? — спросил себя Колька. — Значит, жена мужа в Париж провожала? — Закрыл окно, закрыл форточку. Закрыл дверь. Закурил, курнул раза три подряд поглубже, загасил папиросу. Взял карандаш и крупно написал на белом краешке газеты: «Доченька, папа уехал в командировку».

Положил газетку на видное место... И включил газ, обе горелки...

Когда рано утром пришли Валя, тёсть и теща, Колька лежал на кухне, на полу, уткнувшись лицом в ладони. Газом воняло даже на лестнице.

— Скотина! И газ не...— Но тут поняла Валя. И заорала.

Теща схватилась за сердце.

Тесть подошел к Кольке, перевернул его на спину. У Кольки не успели еще высохнуть слезы... И чубарик его русый был смят и свалился на бочок. Тесть потряс Кольку, приоткрыл пальцами его веки... И положил тело опять в прежнее положение.

— Надо... это... милицию.

1971

ХМЫРЬ

Ехали в курортном автобусе по живописным местам. Все смотрели в окна, любовались пейзажем... А двое, на заднем сиденье, совершенно не интересовались пейзажем, а интересовались друг другом.

Начал проявлять интерес мужчина, бесцветный, курносый, стареющий хмырь... Такие, курносые, с круглыми глазами, попадая на курорт, чудом каким-то превозмогают врожденную робость, начинают сыпать шутками-прибаутками, начинают приставать к молодым женщинам, и все громко, самозабвенно, радостно. Они считают, что на курорте так надо. Можно представить, как смутился бы этот, на заднем сиденье, если бы ему сейчас сказали: «Слушайте, это же глупо, скучно, пошло». Но... робким везет: не попал же он на такую! Хмырь, будем его так называть для ясности, хотя вообще-то он не хмырь, так вот Хмырь был, наверно, убежден, что все у него выходит остроумно, весело, непринужденно. Эта, на заднем сиденье, понимала все именно так. Эта...

назовем ее молодая Здоровячка, эта от души кокетничала, хихикала, может, даже волновалась. Такие обычно стоят на обочине трактов, на станциях, здоровые, не то что глупые, но... не интеллектуалки, смотрят на проезжающие машины, поезда и чего-то терпеливо ждут. Даже не тоска у них на лице, а спокойное ожидание. Может, и ждут-то вот такого вот, когда с ней громко, прилично станут шутить, когда она сможет, наконец, показать, что она тоже умеет шутить и тоже может нравиться.

Хмырь начал с того, что пересел к ней с переднего сиденья. Прошел он по проходу автобуса прямо к ней, не скрывая того, а, напротив, как бы говоря своим вёселым видом: «Пошел охмурять. Следите». Сел.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте,— сказала Здоровячка, немного удивившись.

— Почему в одиночестве?

— Почему?.. Я смотрю.

— Так это без толку — так смотреть. Красивые места надо, знаете, смотреть вместе с кем-нибудь...— Хмырь поначалу еще пулял туда-сюда взгляды — все приглашал посмотреть, как он охмуряет. Но Здоровячка так легко, охотно пошла навстречу соблазну, что Хмырь, удивленный и обрадованный, перестал обращать внимание на других. Скоро им обоим стало хорошо.

— Нет, вы говорите неправду.

— В чем же это я говорю неправду? Докажите.

— Спорим.

— Хи-хи-хи... Спорим. На что?

Хмырь секунду, две, три думал... И завернул:

— На американку.

— Как это?

— Кто проиграет, тот... В общем, если я выспорю, я что хочу, то и делаю, если вы, то вы.— Тут Хмырь, несколько ошалелый от собственной дерзости, посмотрел на всех, но как-то смутно, неопределенно.— Ну?

— Ох вы какой!

— А что? Ну что? Что? Боитесь?

— Ничего я не боюсь!

— Боитесь, боитесь. Эх вы!..

— А чем вы докажете?

— Чего «докажете»?

— Что одиноким хуже.

— Нет, давайте на американку, тогда докажу.

— Ох вы какой!..

— Ну какой? Какой? Я обыкновенный, но одиноким хуже, я вам докажу. Давайте?

— Нет, вы так докажите.

— Нет, так неинтересно. Так... чего так? А вот давайте на американку.

— А что вы сделаете?

Этот паша на заднем сиденье опять некоторое время думал. Он даже завозился на месте.

— Что я сделаю? Что я сделаю?

— Ну?

— Не скажу.

— Нет, скажите. А то так...

— А что «так»?

— Так опасно.

— Да ничего не опасно!

— Нет, докажите просто так, без американки.

— Только на американку.

Хмыря уже ненавидели в автобусе. Один какой-то старенький интеллигентный ревматик сказал себе и соседу рядом, огромному мужчине с юбилейной медалью:

— Прямо максималист какой-то: все или ничего.

— А?

— Да вон... максималист сидит.

— Он не максималист, какой максималист. Он прохвост.— Огромный мужчина не оглянулся на заднее сиденье.— Таких учить надо.

— Бесполезно,— сказал старичок.

— И эта... дура...— Громадина с медалью качнул укоризненно головой.

А те двое, забыв все на свете, не чувствуя ненависти к себе, трещали и трещали. Хихикали. Играли.

— В кино идете сегодня? — шел дальше Хмырь.— Мм?

— Иду.

— Идемте вместе?

— А что вы, один дорогу не знаете?

— Нет.

— Знаете... Притворяетесь только.

— Да не знаю, я серьезно говорю!

— Ой?..

— Неужели вам трудно дорогу показать?

— Хорошо, дорогу я покажу. А билеты будем отдельно брать. Да?

— Хорошо. Вы на какой ряд будете брать?

— Ишь вы какой!.. Хи-хи-хи!

Хмырь тоже счастливо рассмеялся:

— Какой?

— Хитрый.

— Не хитрый, а одинокий. Вот я вам и доказал, что одиночество — это плохо. Видите, я все средства пускаю, чтобы не быть одинокому.

— Я этому одинокому сегодня по шее дам,— тихо сказал огромный человек старичку.

— Не надо, что вы! — запротестовал старичок.

— Не здесь, не в автобусе, а когда приедем. Никто не увидит.

— Не надо. Зачем?

— Не могу слышать... Прямо тошнит.

Старичок потянулся к уху соседа и сказал, изумленный:

— Ей же нравится!

Огромный человек промолчал. Он не знал, что сказать на это.

— И потом, как вы ему по шее дадите? За что?

— За наглость. Что жену обманывает на курорте...

— Ну... это, знаете... Нет, нельзя. Что вы?!

— Он же прохвост!

— Нет, давайте так: я беру два билета, на себя и на одного моего знакомого товарища, и жду вас возле кинотеатра. Вы приходите... И мы проходим в зал и садимся вместе.

— Почему вместе?

— Да потому что нет у меня никакого товарища!

— Ишь вы какой!

Опять смех.

— О-о! — застонал громадный мужчина.— Уши вянут.

Старичок, его сосед, тихонько засмеялся.

Мужчина повернулся к нему, удивленный. Старичок уткнулся в ладони и хохотал. Отсмеялся и снова потянулся к уху удивленного соседа. Зашептал:

— Вы слушайте, слушайте — это же ужасно смешно.

— Что тут смешного? — тоже шепотом, серьезно спросил огромный человек.

— Да смешно! Что вы? Очень смешно, слушайте.

— Интересно, как это вас жена отпускает одного на курорт? — поинтересовалась Здоровячка.

— А что? Вы не отпустили бы? Между прочим!..— воскликнул Хмырь.— А как это вас муж одну отпускает?

— У меня нет мужа, поэтому меня никто и не задерживает. А вот как вас отпускают?

— По той же самой причине.

— По какой?

— Да по той же самой.

— Нет, по какой, по какой?

— Да по той причине, что у меня нет жены...

— Слушай, хмырюга!..— повернулся назад огромный мужчина.— С кем это мы вместе на почте были, и кто давал жене телеграмму, чтобы денег выслала?

Хмырь даже как-то испугался... Растерялся и испугался. Взгляды всех присутствующих пригвоздили его к сиденью.

— Какую телеграмму? — спросил он.

— Да насчет денег,— жестоко выдавал большой мужчина.— Я еще сказал: «Уже?»— мол, запросил денег? Кто мне сказал: «Мы с ней договорились: я возьму только на дорогу, а потом она мне пришлет по почте»? Это не ты был?

Хмырь посмотрел на всех... И что-то такое увидел сильное, страшное, что молча, не взглянув на соседку, поднялся и пошел вперед, на свое место. Сел... Посидел, глядя прямо перед собой... Покашлял интеллигентно в ладонь, повернулся к окну и стал тоже, как все, внимательно смотреть на пейзаж. Шляпа его была ему несколько великовата и от тряски съезжала низко на лоб, некоторое время Хмырь смотрел в окно, приподняв кверху маленький, с нашлепочкой нос, он смешно торчал из-под шляпы... Потом Хмырь догадывался сдвинуть пальцем шляпу назад, пока она снова не наезжала на глаза.

— Черт возьми!..— с досадой, тихонько сказал старичок-ревматик огромному соседу. — А теперь его жалко.

— Кого? — не понял сосед.

— Да вон его... в шляпе.

Сосед посмотрел вперед... Хмыкнул. Сказал тоже шепотом, весело:

— Я ему еще по шее разок дам. Когда приедем. Чтоб он не врал тут.

Назад, на заднее сиденье, никто не оглядывался — стыдно, что ли, или жалко тоже. А старичок оглянулся... И тотчас отвернулся, поерзал немного и пристукнул кулачком по колену.

— Не надо, не надо было!.. Зачем? Пусть бы уж...

— Чего ты нервничаешь-то? — спросил большой мужчина.

— Не надо было! Зачем... помешали?

Большой мужчина, не скрывая удивления, смотрел на старичка.

— Ты что?

— Да ну вас! Теперь вот больно. Пусть бы уж... веселились, как умеют.

Большой мужчина ничего не сказал. Посмотрел на курносого Хмыря, потом — осторожно — назад... Пожал плечами. Он ничего не понял. И стал опять смотреть в окно — на пейзаж.

1971

МАСТЕР

Жил-был в селе Чебровка некто Семка Рысь, забулдыга, непревзойденный столяр. Длинный, худой, носатый — совсем не богатырь на вид. Но вот Семка снимает рубаху, остается в одной майке, выгоревшей на солнце... И тогда-то, когда он, поигрывая топориком, весело лается с бригадиром, тогда-то видна вся устрашающая сила и мощь Семки. Она в руках. Руки у Семки не комкастые, не бугристые, они ровные от плеча до лапы, толстые, словно литые. Красивые руки. Топорик в них — игрушечный. Кажется, не знать таким рукам усталости, и Семка так, для куража, орет:

— Што мы тебе — машины? Тогда иди заведи меня — я заглох. Но сзади подходи осторожней — лягаюсь!

Семка незлой человек. Но ему, как он говорит, «остолбенело все на свете», и он транжирит свои «лошадиные силы» на что угодно — поорать, позубоскалить, нашкодить где-нибудь — милое дело.

— У тебя же золотые руки!— скажут ему.— Ты бы мог знаешь как жить!.. Ты бы как сыр в масле катался...

— А я не хочу как сыр в масле. Склизко.

Он всю зарплату отдавал семье. Выпивал только на то, что зарабатывал слева. Он мог такой шкаф изладить, что у людей глаза разбегались. Приезжали издалека, просили сделать, платили большие деньги. Его даже писатель один, который отдыхал летом в Чебровке, возил с собой в областной центр, и он ему там оборудовал кабинет... Кабинет они оба додумались подогнать под деревенскую избу (писатель был из деревни, тосковал по родному).

— Во, дурные деньги-то! — изумлялись односельчане, когда Семка рассказывал, какую они избу уделали в современном городском доме — 16-й век!

— На паркет настелили плах, обстругали их — и все, даже не покрасили. Стол тоже из досок сколотили, вдоль стен — лавки, в углу — лежак. На лежаке никаких матрасов, никаких одеял... Лежат кошма и тулуп — и все. Потолок паяльной лампой закоптили — вроде по-черному топится. Стены горбылем обшили...

Сельские люди только головами качали.

— Делать нечего дуракам.

— Шестнадцатый век,— задумчиво говорил Семка. — Он мне рисунки показывал, я все по рисункам делал.

Между прочим, когда Семка жил у писателя в городе, он не пил, читал разные книги про старину, рассматривал старые иконы, прялки... Этого добра у писателя было навалом.

В то же лето, как побывал Семка в городе, он стал приглядываться к церковке, которая стояла в деревне Талице, что в трех верстах от Чебровки. В Талице от двадцати дворов осталось восемь. Церковка была закрыта давно. Каменная, небольшая, она открывалась взору вдруг, сразу за откосом, который огибала дорога в Талицу... По каким-то соображениям те давние люди не поставили ее на возвышение, как принято, а поставили внизу, под откосом. Еще с детства помнил Семка, что если идешь в Талицу и задумаешься, то на повороте, у косогора, вздрогнешь — внезапно увидишь церковь, белую, легкую среди тяжкой зелени тополей.

В Чебровке тоже была церковь, но явно позднего времени, большая, с высокой колокольней. Она тоже давно была закрыта и дала в стене трещину. Казалось бы — две церкви, одна большая, на возвышении, другая спряталась где-то под косогором — какая должна выиг-

рать, если сравнить? Выигрывала маленькая, под косогором. Она всем брала: и что легкая, и что открывалась глазам внезапно... Чебровскую видно было за пять километров — на то и рассчитывали строители. Талицкую как будто нарочно спрятали от праздного взора, и только тому, кто шел к ней, она являлась вся, сразу...

Как-то в выходной день Семка пошел опять к талицкой церкви. Сел на косогор, стал внимательно смотреть на нее. Тишина и покой кругом. Тихо в деревне. И стоит в зелени белая красавица — столько лет стоит! — молчит.

Много-много раз видела она, как восходит и заходит солнце, полоскали ее дожди, заносили снега... Но вот стоит. Кому на радость? Давно уж истлели в земле строители ее, давно распалась в прах та умная голова, что задумала ее такой, и сердце, которое волновалось и радовалось, давно есть земля, горсть земли. О чем же думал тот неведомый мастер, оставляя после себя эту светлую каменную сказку? Бога ли он величил или себя хотел показать? Но кто хочет себя показать, тот не забирается далеко, тот норовит поближе к большим дорогам или вовсе на людную городскую площадь — там заметят. Этого заботило что-то другое — красота, что ли? Как песню спел человек, и спел хорошо. И ушел. Зачем надо было? Он сам не знал. Так просила душа. Милый, дорогой человек!.. Не знаешь, что и сказать тебе — туда, в твою черную жуткую тьму небытия — не услышишь. Да и что тут скажешь? Ну, хорошо, красиво, волнует, радует... Разве в этом дело? Он и сам радовался, и волновался, и понимал, что красиво. Что же?.. Ничего. Умеешь радоваться — радуйся, умеешь радовать — радуй... Не умеешь — воюй, командуй или что-нибудь такое делай — можно разрушить вот эту сказку: подложить пару килограммов динамита — дроболызнет, и все дела. Каждому свое.

Посмотрел Семка и заметил: четыре камня вверху, под карнизом, не такие, как все,— блестят. Подошел поближе, всмотрелся — да, тот мастер хотел, видно, отшлифовать всю стену. А стена восточная, и если бы он довел работу до конца, то при восходе солнца (оно встает из-за косогора) церковка в ясные дни загоралась бы с верхней маковки, и постепенно занималась светлым огнем вся, во всю стену — от креста до фундамента. И он начал эту работу, но почему-то бросил — может,

тот, кто заказывал и давал деньги, сказал: «Ладно, и так сойдет».

Семка больше того заволновался — захотел понять, как шлифовались камни? Наверно, так: сперва грубым песком, потом песочком помельче, потом сукном или кожей. Большая работа.

В церковь можно было проникнуть через подвал — это Семка знал с детства, не раз лазал туда с ребятней. Ход в подвал, некогда закрываемый створчатой дверью (дверь давно унесли), полуобвалился, зарос бурьяном... Семка с трудом протиснулся в щель между плитой и подножными камнями и, где на четвереньках, где согнувшись в три погибели, вошел в притвор. Просторно, гулко в церкви... Легкий ветерок чуть шевелил отставший, вислый лист железа на маковке, и шорох тот, едва слышный на улице, здесь звучал громко, тревожно. Лучи света из окон рассекали затененную пустоту церкви золотыми широкими мечами.

Только теперь, обеспокоенный красотой и тайной, оглядевшись, обнаружил Семка, что между стенами и полом не прямой угол, а строгое, правильное закругление желобом внутрь. Попросту внизу вдоль стен идет каменный прикладок примерно в метре от стены у основания и в рост человеческий высотой. Наверху он аккуратно сводится на нет со стеной. Для чего он, Семка сперва не сообразил. Отметил только, что камни прикладка, хорошо отесанные и пригнанные друг к другу, внизу темные, потом — выше — светлеют и вовсе сливаются с белой стеной. В самом верху купол выложен из какого-то особенного камня, и он еще, наверно, шлифован — так светло, празднично там, под куполом. А всего-то четыре узких оконца...

Семка сел на приступку алтаря, стал думать: зачем этот каменный прикладок? И объяснил себе так: мастер убрал прямые углы — разрушил квадрат. Так как церковка маленькая, то надо было создать ощущение свободы внутри, а ничто так не угнетает, не теснит душу, как клетка-квадрат. Он поэтому снизу положил камни потемней, а по мере того, как поднимал прикладок, выравнивал его со стеной — стены, таким образом, как бы отодвинулись.

Семка сидел в церкви, пока пятно света на каменном полу не подкралось к его ногам. Он вылез из церкви и пошел домой.

На другой день Семка, сказавшись больным, не пошел на работу, а поехал в райгородок, где была действующая церковь. Батюшку он нашел дома, неподалеку от церкви. Батюшка отослал сына и сказал просто:

— Слушаю.

Темные, живые, даже с каким-то озорным блеском глаза нестарого еще попа смотрели на Семку прямо, твердо — он ждал.

— Ты знаешь талицкую церкву? — Семка почему-то решил, что с писателями и попами надо говорить на «ты».— Талица Чебровского района.

— Талицкую?.. Чебровский район... Маленькая такая?

— Ну.

— Знаю.

— Какого она века?

Поп задумался.

— Какого? Боюсь, не соврать бы... Думаю, при Алексее Михайловиче еще... Сынок-то его не очень баловал народ храмами. Семнадцатый век, вторая половина. А что?

— Красота-то какая!..—воскликнул Семка.—Как же вы так?

Поп усмехнулся.

— Славу богу, хоть стоит пока. Красивая, да. Давно не видел ее, но помню. Внизу, кажется?..

— А кто делал, неизвестно?

— Это надо у митрополита узнать. Этого я не могу сказать.

— Но ведь у вас же есть деньги! Есть ведь?

— Ну, допустим.

— Да не допустим, а есть. Вы же от государства отдельно теперь...

— Ты это к чему?

— Отремонтируйте ее — это же чудо! Я возьмусь отремонтировать. За лето сделаю. Двух-трех помощников мне — до холодов сделаем. Платите нам рублей по...

— Я, дорогой мой, такие вопросы не решаю. У меня тоже есть начальство... Сходи к митрополиту! — Поп сам тоже заволновался.— Сходи, а чего! Ты веруешь ли?

— Да не в этом дело. Я, как все, а то и похуже — пью. Мне жалко — такая красота пропадает. Ведь сейчас же восстанавливают...

— Восстанавливает государство.

— Но у вас же тоже есть деньги!

— Государство восстанавливает. В своих целях. Ты сходи, сходи к митрополиту-то.

— А он где? Здесь разве?

— Нет, ехать надо.

— В область?

— В область.

— У меня с собой денег нет. Я только до тебя ехал...

— А я дам. Ты откуда будешь-то?

— Из Чебровки, столяр, Семен Рысь...

— Вот, Семен, съезди-ка! Он у нас человек... умница... Расскажи ему все. Ты от себя только?

— Как «от себя»? — не понял Семка.

— Сам ко мне-то или выбрали да послали?

— Сам.

— Ну все равно съезди! А пока ты будешь ехать, я ему позвоню — он уже будет знать, что к чему, примет тебя.

Семен подумал немного.

— Давай! Я потом тебе вышлю.

— Потом договоримся. От митрополита заезжай снова ко мне, расскажешь.

Митрополит, крупный, седой, вечно трезвый старик, с неожиданно тоненьким голоском, принял Семку радушно.

— Звонил мне отец Герасим... Ну расскажи, расскажи, как тебя надоумило храм ремонтировать?

Семка отхлебнул из красивой чашки горячего чая.

— Да как?.. Никак. Смотрю — красота какая! И никому не нужна!..

Митрополит усмехнулся.

— Красивая церковь, я ее знаю. При Алексее Михайловиче, да. Кто архитектор, пока не знаю... Можно узнать. А земли были бояр Борятинских... Тебе зачем мастера-то знать?

— Да так, интересно. С большой выдумкой человек!

— Мастер большой, потом выясним кто. Ясно, что он знал владимирские храмы, московские...

— Ведь до чего додумался!..— И Семка стал рассказывать, как ему удалось разгадать тайну старинного мастера.

Митрополит слушал, кивал головой, иногда говорил: «Ишь ты!» А попутно Семка выкладывал и свои соображения: стену ту, восточную, отшлифовать, как и хотел мастер, маковки обшить и позолотить и в верхние окна

вставить цветные стекла — тогда под куполом будет такое сияние, такое сияние!.. Мастер туда подобрал какой-то особенный камень, наверно с примесью слюды... И если еще оранжевые стекла всадить...

— Все хорошо, все хорошо, сын мой,— перебил митрополит.— Вот скажи мне сейчас: разрешаем вам ремонтировать талицкую церковь. Назовите, кому вы поручаете это сделать? Я не моргнув глазом называю: Семен Рысь, столяр из Чебровки. Только... не разрешат мне ее ремонтировать, вот какое дело, сын мой. Грустное дело.

— Почему?

— Я тоже спрошу: «Почему?» А они меня спросят: «А зачем?» Сколько дворов в Талице? Это уже я спрашиваю...

— Да в Талице-то мало...

— Дело даже не в этом. Какая же это будет борьба с религией, если они начнут новые приходы открывать? Ты подумай-ка.

— Да не надо в ней молиться! Есть же всякие музеи...

— Вот музеи-то — как раз дело государственное, не наше.

— И как же теперь?

— Я подскажу как. Напишите миром бумагу: так, мол, и так — есть в Талице церковь в запустении. Нам она представляется ценной не с точки зрения религии...

— Не написать нам сроду такой бумаги. Ты сам напиши.

— Я не могу. Найдите, кто сумеет написать. А то и сами, своими словами... даже лучше...

— Я знаю! У меня есть такой человек! — Семка вспомнил про писателя.

— И с той бумагой к властям. В облисполком. А уж они решат. Откажут, пишите в Москву... Но раньше в Москву не пишите, дождитесь, пока здесь откажут. Оттуда могут прислать комиссию...

— Она бы людей радовала — стояла!..

— Таков мой совет. А что говорил с нами, про это не пишите. И не говори нигде. Это только испортит дело. Прощай, сын мой. Дай бог удачи.

Семка, когда уходил от митрополита, отметил, что живет митрополит — дай бог! Домина — комнат, навер-

но, из восьми... Во дворе «Волга» стоит. Это неприятно удивило Семку. И он решил, что действительно лучше всего иметь дело с родной Советской властью. Эти попы темнят чего-то... И хочется им, и колется, и мамка не велит.

Но сперва Семка решил сходить к писателю. Нашел его дом... Писателя дома не было.

— Нет его,— резковато сказала Семке молодая полная женщина и захлопнула дверь. Когда он отделывал здесь «избу 16-го века», он что-то не видел этой женщины. Ему страсть как захотелось посмотреть «избу». Он позвонил еще раз.

— Я сама! — услышал он за дверью голос женщины. И дверь опять открылась...

— Ну? Что еще?

— Знаете, я тут отделывал кабинет Николая Ефимыча... охота глянуть...

— Боже мой! — негромко воскликнула женщина. И закрыла дверь.

«По-моему, он дома,— догадался Семка.— И, по-моему, у них идет крупный разговор».

Он немного подождал в надежде, что женщина проговорится в сердцах: «Какой-то идиот, который отделывал твой кабинет», и писатель, может быть, выйдет сам. Писатель не вышел. Наверно, его, правда, не было.

Семка пошел в облисполком.

К председателю облисполкома он попал сразу и довольно странно. Вошел в приемную, секретарша накинулась на него:

— Почему же опаздываете?! То обижаются — не принимают, а то самих не дождешься. Где остальные?

— Там,— сказал Семка.— Идут.

— Идут.— Секретарша вошла в кабинет, побыла там короткое время, вышла и сказала сердито: — Проходите.

Семка прошел в кабинет... Председатель пошел ему навстречу — здороваться.

— А шуму-то наделали, шуму-то! — сказал он хоть с улыбкой, но и с укоризной тоже.— Шумим, братцы, шумим? Здравствуйте!

— Я насчет церкви,— сказал Семка, пожимая руку председателя.— Она меня перепутала, ваша помощница. Я один... насчет церкви...

— Какой церкви?

— У нас, не у нас, в Талице, есть церква семнадцатого века. Красавица необыкновенная! Если бы ее отремонтировать, она бы... Не молиться, нет! Она ценная не с религиозной точки. Если бы мне дали трех мужиков, я бы ее до холодов сделал.— Семка торопился, потому что не выносил, когда на него смотрят с недоумением. Он всегда нервничал при этом.— Я говорю, есть в деревне Талица церква,— стал он говорить медленно, но уже раздражаясь.— Ее необходимо отремонтировать, она в запустении. Это гордость русского народа, а на нее все махнули рукой. А отремонтировать, она будет стоять еще триста лет и радовать глаз и душу.

— Мгм,— сказал председатель.— Сейчас разберемся.— Он нажал кнопку на столе. В дверь заглянула секретарша.— Попросите сюда Завадского. Значит, есть у вас в деревне старая церковь, она показалась вам интересной как архитектурный памятник семнадцатого века. Так?

— Совершенно точно! Главное, не так уж много там и делов-то: перебрать маковки, кое-где поддержать камни, может, растягу вмонтировать — повыше, крестом...

— Сейчас, сейчас... у нас есть товарищ, который как раз этим делом занимается. Вот он.

В кабинет вошел молодой еще мужчина, красивый, с волнистой черной шевелюрой на голове и с ямочкой на подбородке.

— Игорь Александрович, займитесь, пожалуйста, с товарищем — по вашей части.

— Пойдемте,— предложил Игорь Александрович.

Они пошли по длинному коридору, Игорь Александрович впереди, Семка сзади на полшага.

— Я сам не из Талицы, из Чебровки, Талица от нас...

— Сейчас, сейчас,— покивал головой Игорь Александрович, не оборачиваясь.— Сейчас во всем разберемся.

«Здесь вообще-то время зря не теряют»,— подумал Семка. Вошли в кабинет... Кабинет победней, чем у председателя,— просто комната, стол, стул, чертежи на стенах, полка с книгами.

— Ну? — сказал Игорь Александрович. И улыбнулся.— Садитесь и спокойно все расскажите.

Семка начал все подробно рассказывать. Пока он рассказывал, Игорь Александрович, слушая его, нашел на книжной полке какую-то папку, полистал, отыскал нуж-

ное и, придерживая ладонью, чтобы папка не закрылась, стал заметно проявлять нетерпение. Семка заметил это.

— Все? — спросил Игорь Александрович.

— Пока все.

— Ну, слушайте. «Талицкая церковь Н-ской области Чебровского района,— стал читать Игорь Александрович.— Так называемая — на крови. Предположительно семидесятые-девяностые годы 17-го века. Кто-то из князей Борятинских погиб в Талице от руки недруга...»— Игорь Александрович поднял глаза от бумаги, высказал предположение: — Возможно, передрались пьяные братья или кумовья. Итак, значит... «погиб от руки недруга, и на том месте поставлена церковь. Архитектор неизвестен. Как памятник архитектуры ценности не представляет, так как ничего нового для своего времени, каких-то неожиданных решений или поиска таковых автор здесь не выказал. Более или менее точная копия владимирских храмов. Останавливают внимание размеры церкви, но и они продиктованы соображениями не архитектурными, а, очевидно, материальными возможностями заказчика. Перестала действовать в 1925 году».

— Вы ее видели? — спросил Семка.

— Видел. Это,— Игорь Александрович показал страничку казенного письма в папке,— ответ на мой запрос. Я тоже, как вы, обманулся...

— А внутри были?

— Был, как же. Даже специалистов наших областных возил...

— Спокойно! — зловеще сказал Семка.— Што сказали специалисты? Про прикладок...

— Вдоль стен? Там, видите, какое дело: Борятинские увлекались захоронениями в своем храме и основательно раздолбали фундамент. Церковь, если вы заметили, слегка покосилась на один бок. Какой-то из поздних потомков их рода прекратил это. Сделали вот такой прикладок... Там, если обратили внимание,— надписи на прикладке — в тех местах, где внизу захоронения.

Семка чувствовал себя обескураженным.

— Но красота-то какая! — попытался он упорствовать.

— Красивая, да.— Игорь Александрович легко поднялся, взял с полки книгу, показал фотографию храма.— Похоже?

— Похоже...

— Это владимирский храм Покрова. Двенадцатый век. Не бывали во Владимире?

— Я што-то не верю...— Семка кивнул на казенную бумагу.— По-моему, они вам втерли очки, эти ваши специалисты. Я буду писать в Москву.

— Так это и есть ответ из Москвы. Я почему обманулся: думал, что она тоже двенадцатого века... Я думал, кто-то самостоятельно — сам по себе, может быть, понаслышке — повторил владимирцев. Но чудес не бывает. Вас что, сельсовет послал?

— Да нет, я сам...

Домой Семен выехал в тот же день.

В райгородок прибыл еще засветло и пошел к отцу Герасиму.

Отец Герасим был в церкви на службе. Семка отдал его домашним деньги, какие еще оставались, оставил себе на билет и на бутылку красного, сказал, что долг вышлет по почте... И поехал домой.

С тех пор он про талицкую церковь не заикался, никогда не ходил к ней, а если случалось ехать талицкой дорогой, он у косогора поворачивался спиной к церкви, смотрел на речку, на луга за речкой, курил и молчал. Люди заметили это, и никто не решался заговорить с ним в это время. И зачем он ездил в область, и куда там ходил, тоже не спрашивали. Раз молчит, значит, не хочет говорить об этом, значит, зачем спрашивать?

1971

ТРИ ГРАЦИИ

(Шутка)

Воскресенье. Сегодня в течение дня буду ненавидеть. Месяца два, как я переехал на новую квартиру, и каждое воскресенье весь день напролет ненавижу.

Это происходит так.

С утра, часов в девять, на скамейку под моим балконом садятся три грации и беседуют. Обо всем: о чужих мужьях, о политике, о прохожих... Я выставляю на балкон кресло, курю, слушаю этих трех — и ненавижу. Все человечество. Даже устаю к вечеру.

Как-то будет сегодня? Погодка славная (раза два в воскресенье шел дождь, их не было, я не знал, куда де-

ваться от тоски); сегодня они должны хорошо поговорить.

Итак, заготовил пачку сигарет, бутылку хорошего вина (буду пропускать по рюмочке, когда какой-нибудь из этих трех удастся особенно больно уесть прохожего, или если выяснится, что у товароведа из 27-й квартиры крупная недостача или что он рогоносец).

Сперва коротко опишу их.

Номер один. Тихая с виду, в очках, коротконогая. Лет тридцать с гаком. Говорит негромко, мне приходится наклоняться, чтобы хорошенько расслышать ее. Одинокая, но заявляет, что «они от меня никуда не уйдут». Будем называть ее Тихушница.

Номер два. За сорок. Крупная, с вишневой бородавкой на шее. Говорит громко, уверенно. Часто сморкается, после чего негромко несколько раз делает так: «кхм, кхм, кхм». Эта раза три обронила: «Все они сейчас никуда не годятся». Будем называть ее Деятель.

Номер три. Рыжеволосая. Тоже за сорок. Необычайно подвижная, легкая на ногу. Стремительная в мыслях, мастер замочных скважин. Тоже, как я, ждет не дождется воскресенья — приходит на скамеечку раньше подружек, трещит без умолку, но авторитетом в коллективе не пользуется: суждения ее неглубоки. Будем называть ее Летящая по волнам. Можно просто Рыжая.

Десять часов. Что-то запаздывают. Четверть одиннадцатого... Начинаю нервничать. Что с ними? Уж не поехали ли за город? Нет!.. Вон идет Рыжая. Лапочка моя! Ой-ой — в новом свитере!.. А походка!.. Вся движение, порыв. Наполеон на Аркольском мосту. Глаза горят. Наверно, какой-нибудь из ее начальников полетел за аморалку. Или кто-нибудь где-нибудь отступил. Она утопичка: ей кажется, что никто никогда не должен уступать. Ммх, лапочка!..

А вот и Тихушница. Идет, переваливается уточкой. Тоже вообще-то лапочка. Она, конечно, не Наполеон на мосту, но я глубоко убежден, что «они от нее никуда не уйдут». Как-то раз она сказала: «Я знаю, что им всем надо». Сейчас, когда так ослепительно блестят ее очки, я верю — знает.

Две есть. Третья?

А-а!.. Деятель. Идет. Я всегда думаю, глядя на нее, что сильный характер — это от бога, как бородавка.

Ну — собрались. Закурим! Наверно, начнут с политики — прохожих еще мало.

— Сегодня так плохо спала ночь, так плохо спала! — Это Рыжая.— У этих собака внизу... Гадина!.. Всю ночь... «гав-гав-гав!».

— А меня этот паровоз всю ночь донимал,— сказала Деятель.— Всю ночь —«ту-у! ту-у! ту-у!». Какого черта гудеть? Ночью же на путях детей нету.

— Маневровый,— пояснила Тихушница.

— А?

— Маневровый. Он своим сотрудникам гудит, чтобы его перевели на другие рельсы. А у меня голова что-то всю ночь болела...

Все три плохо выспались. Будет дело!

— Почем же огурцы теперь стали? — спросила Деятель.

— Я в прошлую субботу была на базаре — два рубля.

— Два рубля?! Да я вчера в «Овощи — фрукты» по рупь тридцать брала. И народу мало.

— А я вчера...— заговорила было Рыжая, но тут нанесло неурочного: какой-то парень, явно с похмелья, шел по двору, направляясь, видно, в магазин за пивом.

Все три смотрели на него. Попался, голубчик! Выпил в субботу? Сейчас закусишь.

— Иде-ет,— сказала Деятель. Таким тоном, будто по двору шел ночной грабитель, которого за углом ждет не пиво, а наряд конной милиции.

— Краса-авец... Ручки в брючки.

— Што, милок, с похмелья?

Парень посмотрел на них.

— А вам што?

— Ничего, ничего — пей. Больше пей — к сорока годам будешь чурка с глазами.— Это Деятель.

Парень изумленный остановился.

— Ты што?

— Я, мол, пей. Больше пей!

Тихушница и Рыжая промолчали.

Парень пожал плечами, пошел дальше. Но только он отошел, мои грации осмелели.

— Он и сейчас-то уж никуда не годится. Для мебели только.

— Алкоголик, глот. Тоже ведь —«ты што?».

— А у меня сестрин муж,— стала рассказывать Рыжая.— Я ему: «Што ж ты,— говорю,— пьешь-то, рожа твоя кывадратная? Ведь ты вот с получки-то сколь? — двенадцать рубликов усадил! А на двенадцать рублей можно полторы недели питаться, если ты — опять же — не нальешь глаза-то да мяса себе не будешь требовать». Так он мне: «Все пьют. Не пьют только собака да кошка — они лакают». Такой паразит!..

— Што ты! Они ответют.

— «Я,— говорит,— работаю. Што же мне — и выпить нельзя?»

— Они работают! Со мной на площадке один тоже работает. Я на днях стала диван выколачивать, так он: «Што же это вы на площадке-то? Люди работают и должны вашу пыль глотать!» Я говорю: «Где ж эт ты, милок, работаешь-то? Ты ж целыми днями дома сидишь. Вот так работка!» — говорю. Он мне: «Я диссертацию пишу».—«Эх ты,— думаю,— лысая ты коленка, диссертацию ты пишешь!.. А чего же полысел-то раньше времени?»

— Истаскался.

— Знамо дело!

— Пьет?

— Што ты! Он скорей задавится, чем бутылку себе возьмет.

— Они такие, лысые — истаскаются, потом начинают: тут болит, там болит... А деньги на книжечку.

За этого лысого, который диссертацию пишет, я выпил рюмочку — очень уж славно они его уделали. Голеньким выставили — со всех сторон. Будь здоров, очкарик!

Деятель высморкалась, сделала «кхм, кхм» и продолжала:

— Они лысеют, а людей на земле уменьшается. Я бы расстреливала таких.

— Собрать их всех в одно место и посадить на карточную систему! — неожиданно громко и зло сказала Тихушница.— Узнают тогда.

Какова Тихушница-то!.. Голосок прорезается. С карточной системой она неплохо придумала.

— А один лысый, я слышала,— заторопилась Рыжая,— сделал себе капроновые волосы, заплатил валютой, напился пьяный, а его постригли в милиции. Ха-ха-ха!.. Они же не знали! Ха-ха-ха!..

Ну эта все по анекдотам дает, верхушки сшибает. Нет, голубушка, если за душой ничего нет, не помогут и капроновые волосы. Что это?.. Нет, Рыжая явно не тянет.

Тут выпорхнуло из подъезда этакое воздушное создание и заспешило, заспешило, отстукивая каблучками по асфальту. Коротенькая юбочка — туда-сюда, туда-сюда...

— Вот она! — в один голос сказали Деятель и Тихушница.

— Ну к чему такие короткие юбки? — вякнула Рыжая.

— Да заткнись ты!

— А легше, легше, без всяких там...— сказала Деятель.

— Больше-то нет ничего, вот они и выставляют коленки,— заметила Тихушница.

То есть как это «ничего нет»? Не понял. Что-то ты, матушка, не того... не объективно.

— К любовнику пошла — торопится. Сейчас придет, а там другая.

— У них график. Как у паровозов.

— Идет, виляет... А чего вилять, чего вилять? Там вилять-то нечем.

— Шкелеты.

В это время вышел на солнышко глубокий старик.

— Идите к нам! — сказала Деятель.

Старик присел на лавочку.

— К сыну приехал?

Старик был с глухотцой.

— А?

— К сыну погостить приехал?

— Ага.

— Сноха-то ничего, не гложет?

— Нет, ничего. Она хорошая.

— Они все хорошие... пока спят. Как там в деревне-то?!

— Хорошо. Косить начали...

— Оптимистический старичок! — сказала Рыжая.— Везде у него хорошо! Видел, такой фильм «Оптимистическая трагедия»?

Деятель снисходительно похлопала старичка по спине.

— Волос-то тоже на одну драку осталось!

Старичок усмехнулся.

— Мне уж семисит пять скоро...

— О! А все жалуетесь: плохо в деревне, трудно.

— Я не жалуюсь.

— Они теперь все хорошие, трудящиеся...

— А кто огурцы по два рубля продает?! Кто с мешками на метро ездит?.. Мешает!..— Это Рыжая «покатила бочку».— Кто поступает в дворники, а потом получает секции? Кто в колхозы не хотел идти? Кто упирался?!.

Деятель стиснула зубы и оглянулась во гневе.

— Кто из-за угла стрелял? — спросила она тихо.— Кто без конца вредил?

Я налил рюмочку. Старичочек, конечно, не ждал такого. Тихо было кругом, тепло, солнышко светило.

— Кто с необъятных полей колоски воровал?! — както даже взвизгнула Тихушница.— Кто самогон ва...

Тут старичок встал, весь подобрался и неожиданно громко — на весь двор — скомандовал:

— Стать!

Грации опупели. Молчали.

— Стать!!! — заорал старичок. И замахнулся палкой. Рыжая и Тихушница встали. А Деятель, наклонив вперед голову, смотрела на старичка.

— Я егорьевский кавалер! — кричал старичок.— У меня медаль за трудовую доблесь! У меня сын токарь семого разряда! Я вас за такие слова! — И пошел домой.

Рыжая и Тихушница сели. Им стыдно стало, что они испугались. Они стали оправдываться.

— Он же ненормальный, я давно замечала.

— Я тоже замечала.

— Когда «давно»? — спросила Деятель.

— Ну, давно.

— Он только вчера приехал. Это сын у него ненормальный.

— Это который на мотоцикле-то? Да тот уж лежал в психиатрическим раз пять. Тот просто задавит кого-нибудь, и все. «Токарь семого разряда». Знаем мы этих токарей... Только премиальные хапать.

Деятель понюхала табачку.

— А потом пропивают их с мастерами. Да на мотоциклах гоняют.

— Думают, у них мотоцикл, так за ними любая по-

бежит! Тьфу!..— Тихушница в самом деле плюнула.— Да по мне хоть будь с трактором, мне и то на дух не надо. Мне лишь бы человек был.

Я налил рюмочку — за мотоциклистов. Вообще за наш славный спорт. Хороши они сегодня, мои грации!.. Мои лапочки. Ворочают пласты — от коллективизации до мотопробега. Сердце радуется! Маленько старичок их смутил... Но это... так, ерунда. Они ему тоже бубну выбили: будет знать, как стрелять из-за угла и воровать колоски. Кулацкая морда. Да еще Георгиевским крестом хвалился! Ясно: какого-нибудь пролетария свалил. Пень дремучий. Дупло. Я выпил еще рюмочку. Потом я выпил еще: товаровед из 27-й квартиры не только растратчик, он еще и без одного легкого. Куркуль недорезанный. Тубик. И тут меня стукнула идея. Как только я выпиваю лишнего, меня начинают стукать разные идеи Иной раз с похмелья все тело болит. Идея такова: в нашем дворе есть еще одна скамейка с высокой спинкой. Если эту спинку аккуратненько подпилить да потом снова приставить на место... Представляете? Человек садится на скамеечку и приваливается к спинке... Тот же старичок. Или этот, с одним легким... Представляете? А наблюдать все это можно с моего балкона хотя бы. Я вынесу еще три кресла — балкон у меня большой.

Я выпил рюмочку и спустился к грациям.

— Здравствуйте! — сказал я.— Представляете?.. Человек присел отдохнуть, так? И — раз! — кверху ногами. Мы хохочем негромко. Вы спросите: как это делается? Вон скамейка— видите? Подпиливается спинка... Мм? Я это берусь сделать в ночь с субботы на воскресенье. И мы весь день хохочем. Старичок грохнулся, я выхожу и опять подстраиваю спинку... А этому, с одним легким-то, много ему надо! А? Я даже диван на балкон вынесу... Мы славно попируем!

Тут Тихушница встала и куда-то пошла.

Я продолжал развивать мысль. Я доказывал, что всякая идея должна воплотиться в образ, должно быть зрелище, спектакль. Только тогда идея будет выражена до конца.

Сосед из 27-й квартиры рассказывал мне через три дня:

— Вы кричали на них: «Почему вы не понимаете этой идеи со спинкой скамьи?.. Вы пустобрехи! Кустари!» Чего вы хотели от них? Они же глупы, как...

Я смотрел на него, на этого недорезанного, и думал: «Не будь они глупы, ты бы сейчас кровью харкал». Но это было потом.

А тогда, в воскресенье, я вдруг обнаружил, что передо мной стоит милиционер. Как из-под земли вырос. Они меня предали. Они ничего не поняли...

Тот же сосед рассказывал:

— Когда вас вел милиционер, вы плакали. Вы оборачивались к ним и говорили: «Эх вы! За чечевичную похлебку!.. А я любил вас! Ну и сидите зубоскальте! Мещанки... А годы проходят! Жизнь проходит!» Чего вы все-таки от них хотели?

— Совершенства. Цельности. Красоты.

Сосед громко захохотал. (При одном легком!)

— Нашли красавиц!.. Что вы, помоложе не можете подыскать?

Нет, зря я тогда выпил лишнего. Не выпей я лишнего, я бы смог спокойно и обстоятельно разъяснить им, зачем надо было подпилить скамеечку. Загубил прекрасную идею!

1971

ПОСТСКРИПТУМ

Это письмо я нашел в номере гостиницы, в ящике длинного узкого стола, к которому можно подсесть боком. Можно сесть и прямо, но тогда надо ноги, положив их одну на другую, просунуть между тем самым ящиком, где лежало письмо, и доской, которая прикрывает батарею парового отопления.

Я решил, что письмо это можно опубликовать, если изменить имена. Оно показалось мне интересным.

Вот оно:

«Здравствуй, Катя! Здравствуйте, детки: Коля и Любочка! Вот мы и приехали, так сказать, к месту следования. Город просто поразительный по красоте, хотя, как нам тут объяснили, почти целиком на сваях. Да, Петр Первый знал, конечно, свое дело туго. Мы его, между прочим, видели — по известной тебе открытке: на коне, задавивши змею.

Сначала нас хотели поместить в одну гостиницу, но туда как раз приехали иностранцы, и нас повезли в другую. Гостиница просто шикарная! Я живу в люксе на одного под номером 4009 (4 — это значит четвертый

этаж, 9 — это порядковый номер, а два нуля — я так и не выяснил). Меня поразило здесь окно. Прямо как входишь — окно во всю стену. Слева свисает железный стерженек, к стерженьку прикреплен тросик, тросик этот уходит куда-то в глубину... И вот ты подходишь, поворачиваешь за шишечку влево, и в комнате такой полумрак. Поворачиваешь вправо — опять светло. А все дело в жалюзях, которые в окне. Есть, правда, и занавеси, но они висят сбоку без толку. Если бы такие продавали, я бы сделал у себя дома. Я похожу поспрашиваю по магазинам, может, где-нибудь продают. А если нет, то я попробую сделать из длинных лучинок. Принцип работы этого окна я вроде понял, веревочки найдем — они на трех веревочках. Есть еще одна особенность у этого окна: оно открывается снизу, а посредине поворачивается на стержнях. Дежурная по коридору долго тут пыталась мне объяснить, как открывать и закрывать окно. Кровать я такую обязательно сделаю, как здесь. Поразительная кровать. Мы с Иваном Девятовым набросали с нее чертеж. Ее пара пустяков сделать.

На шестом этаже находится буфет, но все дорого, поэтому мы с Иваном перешли, как говорится, на подножный корм: берем в магазине колбасы и завтракаем и ужинаем у меня в люксе. Дежурная по коридору говорит, что это не запрещается, но только чтоб за собой ничего не оставляли. А сперва было заартачилась: надо, дескать, в буфет ходить. Мы с Иваном объяснили ей, что за эти деньги, которые мы проедим в буфете, мы лучше подарки домой привезем. Она говорит, я все понимаю, поэтому кожуру от колбасы свертывайте в газетку и бросайте в проволочную корзиночку, которая стоит в туалете. Опишу также туалет. Туалет просто поразительный. Иван говорит: содрали у иностранцев. Да, действительно, у иностранцев содрали много кое-чего. Например, жалюзи. У нас тут одна из Краматорского района сперва жалела лить много воды, когда мылась в ванной, но ей потом объяснили, что это входит в стоимость номера, так же, как легкий обед в самолете. Я лично моюсь теперь каждый день. Меня вообще-то ванной не удивишь, но поразительно другое: блеск и чистота. Вымоешься, спустишь жалюзи, ляжешь на кровать и думаешь: вот так бы все время жить, можно бы сто лет прожить, и ни одна хворь тебя бы не коснулась, потому что

все продумано. Вот сейчас, когда я пишу это письмо, за окном прошли морячки строем. Вообще движение колоссальное.

Но что здесь поражает, так это вестибюль. У меня тут был один неприятный случай. Подошел я к сувенирам — лежит громадная зажигалка. Цена — 14 рублей. Ну, думаю, разорюсь — куплю. Как память о нашем пребывании. Дайте, говорю, посмотреть. А стоит девчушка молодая... И вот она увивается перед иностранцами — и так и этак. Уж она и улыбается-то, и она и показывает-то им все, и в глаза-то им заглядывает. Просто глядеть стыдно. Я говорю: дайте зажигалку посмотреть. Она на меня: вы же видите, я занята! Да с такой злостью, куда и улыбка девалась. Ну, я стою. А она опять к иностранцам, и опять на глазах меняется человек. Я и говорю ей: что ж ты уж так угодничаешь-то? Прямо на колени готова стать. Ну, меня отвели в сторонку, посмотрели документы... Нельзя, мол, так говорить. Мы, мол, все понимаем, но тем не менее должны проявлять вежливость. Да уж какая тут, говорю, вежливость: готова на четвереньки стать перед ними. Я их тоже уважаю, но у меня есть своя гордость, и мне за нее неловко. Ограничились одним разговором, никаких оргвыводов не стали делать. Я здесь не выпиваю, иногда только пива с Иваном выпьем, и все. Мы же понимаем, что на нас тоже смотрят. Дураков же не повезут за пять тысяч километров знакомить с памятниками архитектуры и вообще отдохнуть.

Смотрели мы тут одну крепость. Там раньше сидели зеки. Нас всех очень удивило, как у них там чистенько было, опрятно. А сроки были большие. Мы обратились к экскурсоводу: как же так, мол? Он объяснил, что, во-первых, это сейчас так чистенько, потому что стал музей, во-вторых, гораздо больше издевательства, когда чистенько и опрятно: сидели здесь в основном по политическим статьям, поэтому чистота как раз угнетала, а не радовала. Чистота и тишина. Между прочим, знаешь, как раньше пытали? Привяжут человека к столбу, выбреют макушку и капают на эту плешину по капле холодной воды — никто почесть не выдерживал. Вот додумались! Мы тоже удивлялись, а некоторые совсем не верили. Иван Девятов наотрез отказался верить. Мне, говорит, хоть ее ведрами лей... Экскурсовод только посмеялся. Вообще время проводим очень хорошо. Пого-

да, правда, неважная, но тепло. Обращают на себя внимание многочисленные столовые и кафе, я уж не заикаюсь про рестораны. Этот вопрос здесь продуман. Были также с Иваном на базаре — ничего особенного: картошка, капуста и вся прочая дребедень. Но в магазинах чего только нет! Жалюзей, правда, нет. Но вообще город куда ближе к коммунизму, чем деревня-матушка. Были бы только деньги. В следующем письме опишу наше посещение драмтеатра. Колоссально! Показывали москвичи одну пьесу... Ох одна артистка выдавала! Голосок у ней все как вроде ломается, вроде она плачет, а — смех. Со мной сидел один какой-то шкелет — морщился: пошлятина, говорит, и манерность. А мы с Иваном до слез хохотали, хотя история сама по себе грустная. Я потом расскажу при встрече. Ты не подумай там чего-нибудь такого — это же искусство. Но мне лично эта пошлятина, как выразился шкелет, очень понравилась. Я к тому, что не обязательно — женщина. Мне также очень понравился один артист, который, говорят, живет в этом городе. Ты его, может, тоже видала в кино: говорит быстро-быстро, легко, как семечки лускает. Маленько смахивает на бабу — голоском и манерами. Наверно, пляшет здорово, собака! Ну, до свиданья! Остаюсь жив-здоров.

Михаил Демин.

Постскриптум: вышли немного денег, рублей сорок — мы с Иваном малость проелись. Иван тоже попросил у своей шестьдесят рублей. Потом наверстаем. Все».

Вот такое письмо. Повторяю, имена я переменил.

А шишечка эта на окне — правда занятная: повернешь влево — этакий зеленоватый полумрак в комнате, повернешь вправо — светло. Я бы сам дома сделал такую штуку. Надо тоже походить по магазинам поспрашивать: нет ли в продаже.

1972

ГЕНЕРАЛ МАЛАФЕЙКИН

Мишка Толстых, плотник СМУ-7, маленький, скуластый человек с длинными руками, забайкальский москвич, возвращался из гостей восвояси. От братца-ленинградца. Брат принял его плохо, сразу кинулся учить жизни... Мишка обиделся, напился, нахамил жене брата и поехал домой, в Москву.

К поезду пришел раньше других. Вошел в купе, забросил чемодан наверх, попросил у проводницы простыни и одеяло. Ему сказали: «Поедем, тогда получите простыни». Мишка снял ботинки и прилег пока на матрац на верхней полке. И заснул.

Проснулся ночью. Под ним во тьме негромко разговаривали двое. Один голос показался Мишке знакомым. И говорил больше как раз этот, знакомый, голос. Мишка прислушался.

— Не скажите, не скажите,— негромко говорил голос,— не могу с вами согласиться. У меня же бывает то и дело: вызываешь его, подлеца, в кабинет: «Ну, что будем делать?» Молчит. «Что будем делать-то?!» Молчит, жмет плечами. «Будем продолжать в том же духе?» Гробовое молчание.

— Это они мастера — отмолчаться,— поддержал другой голос, усталый, немолодой.— Это они умеют.

— Что вы! Молчит, как в рот воды набравши. «Ну, долго,— спрашиваю,— будем в молчанку играть?»

Мишка вспомнил, чей голос напоминает этот голос внизу: Семена Иваныча Малафейкина, московского соседа из 37-го дома, нелюдимого маляра-шабашника, инвалидного пенсионера. С этим Семеном Иванычем Мишка один раз вместе халтурил: отделывали квартиру какому-то большому начальнику. Недели полторы работали, и за все это время Малафейкин сказал, может быть, десять слов. Он даже не здоровался, когда приходил на работу. На вопрос, почему он молчит, Малафейкин сказал: «У меня грудь болит с вами трепаться». Но этот, внизу, это, конечно, не Малафейкин... Но до чего похож голос. Поразительно.

— «Ведь я же тебя, подлеца, из Москвы выселю! — говоришь ему.— Выведешь ведь из терпения — выселю!»—«Не надо»,— просит. «А-а, открыл рот!.. Заговорил?»

— Случается, выселяете?

— Мало. Их же и жалко, подлецов. Что они там будут делать?

— Господи!.. Да нам полно людей требуется!

— А вы что там с ними будете делать? Самогон варить? — Двое внизу начальственно — негромко, озабоченно — посмеялись.

— Да-а... У нас тоже хватает этого добра. А как вы боретесь с такими?

— Да как... Профилактика плюс милиция. Мучаемся, а не боремся. Устаем. Приедешь на дачу, затопишь камин, смотришь на огонь — обожаю, между прочим, на огонь смотреть,— а из огня на тебя... какое-нибудь мурло смотрит. «Господи,— думаешь,— да отстанете вы от меня когда-нибудь!»

— Как это — смотрит? —не понял другой, усталый собеседник.— Мысленно, что ли?

— Ну, насмотришься на них за день-то... Они и кажутся где попало. У вас дача каменная?

— У меня нету. Я, как маленько посвободнее, еду в деревню к себе. У меня деревня рядом. А у вас каменная?

— Каменная, двухэтажная. Напрасно отказываетесь от дачи — удобно. Знаете, как ни устанешь за день, а приедешь, затопишь камин — душа отходит.

— Своя?

— Дача-то?

— Да.

— Нет, конечно! Что вы! У меня два сменных водителя, так один уже знает: без четверти пять звонит: «Домой, Семен Иваныч?»—«Домой, Петя, домой». Мы с ним дачу называем домом.

Мишка наверху даже заворочался — рассказчика-то тоже Семеном Иванычем зовут! Как Малафейкина. Что это? А Семен Иваныч внизу продолжал рассказывать:

— «Домой,— говорю,— Петька, домой. Ну ее к черту, эту Москву, эту шумиху!» Приезжаем, накладываем дровец в камин...

— А что, никого больше нет?

— Прислуги-то? Полно! Я люблю сам! Сам накладываю дровец, поджигаю... Славно! Знаете, иногда думаешь: «Да на кой черт мне все эти почести, ордена, персоналки?.. Жил бы вот так вот в деревне, топил бы печку».

Усталый собеседник тихо, недоверчиво посмеялся.

— Что, не верите? — негромко воскликнул Семен Иваныч, тоже, наверно, улыбаясь.— Я вам точно говорю: бросил бы, все бросил бы!

— Что же не бросаете?

— Ну... Все это не так просто, как кажется. А кто позволит?

— То-то и оно,— вздохнул собеседник.— Я тоже, знаете...

— Наоборот, предлагают повышение. Ну, думаю, нет: у меня от этих дел голова кругом. Спасибо.

— Сейчас, наверно, на этом совещании были, в связи с... Я что-то такое краем уха...

— Нет, я по другим делам. Там у нас хватает... А как же, и отдыхаете у себя в деревне? И летом?

— Почти всегда. Уезжаю к отцу — рыбачим...

— Нет, я в санаториях.

— Где? В Кисловодске?

— И в Кисловодске.

— В основном корпусе?

— Нет, у нас там свой корпус есть.

— Где?

— Не доезжая Кисловодска...

— Где же? Я там все окрестности излазил.

Семен Иваныч посмеялся.

— Нет, тот корпус вы не знаете. Его с дороги не видно.

Помолчали.

— За забором,— пояснил Семен Иваныч.

— А-а...— неопределенно как-то сказал усталый собеседник.

И опять замолчал.

Семена Иваныча это молчание как будто обеспокоило.

— Скучновато только, честно говоря,— продолжал он.— Ну буфет: шампанское, фрукты, пятое-десятое... Не в этом же дело! Надоедает же.

— Конечно,— опять очень неопределенно сказал усталый.— Я ничего не имею... Фильмы демонстрируют?

— Ну!.. Но мы знаете, что делаем? Мы эти обычные манкируем, а собираемся одни мужчины, заказываем какой-нибудь такой... с голяшками... Не уважаете? — Семен Иваныч неуверенно посмеялся.— Интересно вообще-то!

Собеседник никак не откликнулся на это. Молчал.

— А? — спросил Семен Иваныч встревоженно.

— Что? — сказал собеседник.

— Не уважаете с голяшками?

— Да я их... это... я их мало видел.

— Ну что вы! Это, знаете, зрелище! Выйдет такая... черт ее... вот уж она виляет, вот виляет своим этим... Любопытно. Нет, это зрелище, зрелище, чего ни говорите.

— Совсем голые?

— Совсем!

— А как же... разве у нас снимают такие фильмы?

Семен Иваныч без опаски, с удовольствием засмеялся.

— Это ж не наши. Это оттуда.

— А-а,— сказал собеседник.— Там — да... Конечно.

— Нет, умеют, умеют, черти. Ничего не скажешь. Но, знаете, что я вам про все это скажу: красиво!

— Я ничего! — испуганно сказал собеседник.

— Но в душе, наверно, осудили меня.

— Я? Да почему!..

— Осудили, осудили. Не осуждайте. Не торопитесь. Не завидуйте Семену Иванычу... Вы же не видите, как Семен Иваныч потом за столом буквально засыпает. Сидишь, изучаешь дело... С вами можно откровенно?

— Да зачем? — торопливо, без всякой усталости сказал собеседник.— Я прекрасно понимаю. Мне самому приходится...

— О, разумеется! Разумеется, вам тоже приходится недосыпать, недоедать... Ах мы, бедненькие! А потом отвернемся и пальцем покажем: генерал, пузо отвесил. Вы видели у меня пузо?

— Да нет, почему?! — собеседник явно растерялся.— Я как раз ничего не имел... Дело же не в этом...

— А в чем? — жестко спросил Семен Иваныч.

— Ну как?..

— Как?

— Не в том дело, кто генерал, кто не генерал. Все мы, в конце концов, одно дело делаем.

— Да что вы говорите! Смотрите-ка, я и не знал. Неужели все?

Собеседник молчал.

— А? — переспросил Семен Иваныч. Непонятно, почему он рассердился.

Собеседник молчал.

— Что, молчим? Тоже молчим?

— Слушайте!..— Собеседник, чувствовалось, привстал.— В чем, собственно, дело? Что вы против меня имеете?

— Да упаси боже! — моментально искренне откликнулся Семен Иваныч.— Ничегошеньки я не имею. Просто спросил. Я думал, что вы что-то против меня имеете. Ничего?

— Ничего, конечно. Вообще-то, пора спать. Сколько сейчас? Приблизительно?

— Приблизительно-то?.. Эх, оставил свои со светящимся циферблатом... Приблизительно часа два.

— Да, пожалуй. Надо, пожалуй, соснуть. Да?

— Да, конечно. Я еще выпил сегодня малость... Прощались с товарищами. Да, спим.

И сразу замолчали. И больше не говорили.

Мишка не знал, как подумать: кто внизу? Голос поразительно похож на малафейкинский. И зовут Семеном Иванычем... Но как же тогда? Что это? Мишка знал про Малафейкина почти все, что можно знать про соседа, даже не интересуясь им специально. Когда-то Малафейкин упал с лесов, сильно разбился... Был он тогда одинокий, и так одиноким остался. Тихий, молчаливый. К нему в воскресные дни приезжала какая-то женщина старше его. С девочкой. Кто они Малафейкину — Мишка не знал. Видел во дворе, Малафейкин гулял с девочкой: девочка возилась в песке, а Малафейкин читал газету. Может, это была его сестра с дочкой, потому что как-то непохоже, чтобы тут было что-то иное. Вот, в сущности, и весь Малафейкин. А генерал внизу... Нет, это совпадение. Бывает же так!

Мишка осторожненько слез с полки, сходил в туалет, взобрался опять наверх и закрыл глаза. В купе было тихо. Мишка заснул.

Утром Мишка проснулся позже других, перед самой Москвой. Открыл глаза, глянул вниз, а внизу, у окошка, сидит... Семен Иваныч Малафейкин. И еще какой-то человек тоже сидит у окна напротив, лет пятидесяти, румяный. Сидят, смотрят в окно. Еще девушка какая-то в брюках — книгу читает в сторонке. Молчат.

Мишка заспал ночной разговор, хотел уж сказать сверху: «Здравствуй, сосед!» И вспомнил... И даже отпрянул вглубь. Оторопел. Полежал, повспоминал: может, приснился ему этот ночной разговор?

Пока он мучительно вспоминал, румяный человек слышно, потянулся и сказал, как говорят долго молчавшие люди:

— Кажется, подъезжаем.— Пошуршал какой-то бумагой на столе — газету, что ли, свернул, встал и вышел из купе.

Мишка свесил вниз голову... Девушка глянула на него, потом в окно и опять уткнулась в книгу. Малафейкин,

9 Заказ № 1448

курносый, с маленькими глазками без ресниц, в галстуке, причесанный на пробор, чуть пристукивал пальцами правой руки по столику — смотрел в окно.

— Привет генералу!— негромко сказал над ним Мишка.

Малафейкин резко вскинул голову... Встретились глазами.

Маленькие глазки Малафейкина округлились от удивления и даже, как показалось Мишке, испугались.

— О! — сказал Малафейкин неодобрительно.— Явились не запылились... Откуда это?

Мишка молчал, смотрел на соседа — старался насмешливо.

— Чего это... разъезжаем-то? — даже как-то зло спросил Малафейкин. И быстро глянул на дверь.

Точно, это он ночью городил про каменные дачи, и как он устал от наград и почестей.

— Чего эт ты ночью плел...— начал было Мишка, но вошел румяный человек, и Малафейкин быстро, испуганно повернулся к нему... И встал. И заговорил:

— Ну что, подъезжаем?— Суетливо сунулся к окну, пригладил пробор на голове.— Да, уже. Уже Яуза. Так, так...— Потоптался чего-то, направился было из купе, но вернулся, склонился к чемодану.

«Во фраер-то!»— изумился Мишка. Ему сверху было видно, как покраснели уши Малафейкина. Он не стал больше приставать к маляру-шабашнику. Только с большим любопытством наблюдал за ним сверху.

— Вы не в сторону центра едете? — спросил румяный пассажир. И почтительно посмотрел на Малафейкина.

— А? — встрепенулся Малафейкин. — Я? Нет, нет... Меня... Нет, в другую сторону.

— А то хотел присоединиться к вам.

— Нет, нет... Мне в другую.

— Нам в сторону Свиблово,— громко сказал Мишка, потянулся и сел на полке. Его разбирал смех.

— О, попутчик наш проснулся? — сказал румяный человек.— Доброе утро, молодой человек! Завидный у вас сон. А я в дороге плохо сплю. Ругаю себя: да отсыпайся ты, есть же возможность — нет, никак.

Мишка, улыбаясь, смотрел на Малафейкина.

— Нет, мне бы еще столько, ничего бы...

— Дело молодое.

Малафейкин застегнул свой скрипучий желтый чемодан, затянул ремни, подхватил его, выставил в коридор... Из коридора же, не входя в купе, снял с вешалки кожаное пальто, снял с полки шляпу и ушел одеваться в коридор, подальше.

«Трусит — разоблачу, — понял Мишка. — На кой ты мне черт нужен!»

Больше Малафейкин в купе не входил. Оделся, взял чемодан и ушел в тамбур.

Однако на перроне Мишка скараулил его. Догнал, пошел рядом.

— Что, хватил вчера лишнего, что ли? — спросил миролюбиво.— Чего турусил-то ночью? Зачем?

— Отвяжись! — рявкнул вдруг Малафейкин. И покраснел как свекла.— Чего ты пристал?! Не похмелился? Иди похмелись! Чего ты пристал?! Чего пристал к человеку?!

На них оглянулись... Некоторые даже придержали шаг, ожидая скандала.

Мишка, опасаясь всяких этих штучек, связанных с объяснением, приотстал. Но Малафейкина из вида не выпускал. Он обозлился на него.

Вместе сели в метро... Мишка все следил за Малафейкиным, не знал только, как вывести на чистую воду этого прохвоста. Чуть чего, тот милицию станет звать.

В вагоне Малафейкин осторожно огляделся... И напоролся на прямой, уничтожающий Мишкин взгляд. Мишка подмигнул ему. Уши Малафейкина опять зацвели маковым цветом. Жесткий воротник кожаного пальто подпирал сзади его шляпу... Малафейкин больше не оглядывался.

На выходе из метро, на эскалаторе, Мишка опять приблизился к Малафейкину... Заговорил на ухо ему:

— Ты не ори только, не ори... Я один вопрос поставлю и больше не буду. У меня брательник в Питере такой же... придурок: тоже строит из себя. Чего вы из себя корежите-то? Чего вы добиваетесь этим? А? Я серьезно спрашиваю.

Малафейкин молчал. Смотрел вверх, вперед.

— Вам что, легче, что ли, становится после этого?

Малафейкин молчал.

— Зачем врал-то ночью мужику? А?

Как эскалатор изготовился столкнуть их — вышел на прямую — Малафейкин стал искать глазами милицione-

ра... Мишка обогнал его и, оглядываясь, пришел раньше к автобусной остановке.

«Я тебя дома, во дворе, допеку»,— решил.

Около дома, когда сошли с автобуса, Мишка опять пошел было к Малафейкину, но тот вдруг болезненно сморщился, затряс головой так, что шляпа чуть не съехала с головы, затопал ногой и закричал:

— Не подходи! Не подходи ко мне! Не подходи!— Прокричал так, повернулся и скоро пошагал к дому. Почти побежал. Большой желтый чемодан с ремнями колотил его по ноге. Кожаное пальто надламывалось и приятно шумело. Шляпу Малафейкин поправил на ходу левой рукой... Не оглянулся ни разу.

Мишке чего-то вдруг стало жалко его.

— Звонарь, — сказал он негромко, сам себе.— Дача у него, видите ли. С камином, видите ли... Во звонарь-то! Они, видите ли, жить умеют... Звонари.

И тоже пошел. В магазин. Сигарет купить. У него сигареты кончились.

1972

ТАНЦУЮЩИЙ ШИВА

В чайной произошла драка.

Дело было так: плотники, семь человек, получили аванс (рубили сельмаг) и после работы пошли в чайную, как они говорят,— посидеть. Взяли семь бутылок портвейна (водки в чайной не было), семь котлет, сдвинули два столика, сели и стали помаленьку пропускать и кушать котлеты. Пропустили рюмочки по три, заговорили о том, что все-таки их хотят надуть с этим прилавком. Дело в том, что когда они рядились в цене, то упустили из виду прилавок: надо его делать плотникам или это уже столярная работа? Упустили-то сельповские, заказчики, а плотники тогда промолчали (бригадир у них в этом деле дока). Теперь выяснилось, что сельповские хотят, чтобы плотники сделали и прилавок тоже, они, оказывается, имели это в виду, что это само собой разумеется и так далее, и тому подобное. Но в договоре этот пункт не помечен, и плотники встали «на дыбошки»: прилавок — не наше дело! То есть они могут, конечно, его сделать, но за это отдельная плата.

— Я им справочник покажу,— с явной угрозой говорил бригадир, сухой мужик, весь черный от солнца.—

Я их носом ткну, где написано черным по белому: какие работы плотницкие, а какие столярные. Они же ни бум-бум в этом.

Все были согласны с бригадиром. Более того, все были возмущены, а иные, вроде Кольки Забалуева, даже оскорблялись и грустно, горько вздыхали. Они забыли один свой веселый разговор, когда они, семеро, сидя тут же, в чайной, толковали...

Но это потом. Сейчас они говорили:

— А если бы, значит, так: им бы зачесалось теперь сделать какой-нибудь фигурный прилавок?

— Да любой прилавок! Это же особая работа...

— До чего ушлый народ пошел! Эдак они нас заставят и рамы вязать!

— Наше дело теперь: настелить пол, окосячить, навесить двери и все, точка.

— Я те так скажу... Ты слушай сюда! Слушай сюда!

— Еще, что ли, по одной?

— Давайте.

Скинулись, взяли еще семь бутылок.

— Я те так скажу... Ты слушай сюда! Слушай сюда!

— Ну? Ну? Ну?

— Да не «ну» — слушай! Я рубил баню Дарье Кузовниковой...

— При чем тут Дарья? То частное лицо, а то организация: сравнил...

— Я те к примеру! Ты слушай сюда!..

— Долбо...

— Мужики, перестаньте лаяться! — крикнула буфетчица.— А то выставлю счас всех!.. Распустили языки-то.

— Ты слушай сюда!

— Ну!

— Гну! Если бы не женщина тут, я б те сказал...

В общем, беседа приняла оживленный характер: сельповским здорово перепадало — за наглость и вероломство.

Тут в чайную пришел Аркашка Кебин, по прозвищу Танцующий Шива.

Давно его так прозвали, в школе еще. Он тоже взял себе «портвяшку», котлету (поругался с женой и в знак протеста не стал дома ужинать), сел за столик по соседству с плотниками, прислушался к их разговору... И сказал громко:

— Хмыри!

Плотники замолчали. Посмотрели на Аркашку.

— Трепачи, — еще сказал Аркашка. Он потому и Шива, что везде сует свой нос.— Проходимцы.

Плотники сперва не поняли, что это к ним относится. Невероятно! Даже с Аркашкиным языком и то — на семерых подвыпивших так говорить... Что он, сдурел, что ли?

— Это я вам, вам, — сказал Аркашка.— Бедненькие — обманули их. Вас обманешь! Тот еще не родился, кто вас обманет. Прохиндеи.

У одного здоровенного плотника, Ваньки Селезнева, даже рот приоткрылся.

— Недоумеваете, почему прохиндеями назвал? Поясняю: полтора месяца назад вы, семеро хмырей, сидели тут же и радовались, что объегорили сельповских с договором: не вставили туда пункт о прилавке. Теперь вы сидите и проливаете крокодиловы слезы — вроде вас обманули. Нет, это вы обманули!

— Да? — спросил бригадир. И это «да» было растерянность, никак не угроза. Беспомощность.

— Да, да,— Аркашка отдавил бочком вилки кусочек котлетки, подцепил его, обмакнул в соус и отправил в рот — очень все аккуратно, культурно, даже мизинчик оттопырил. Потом (так любят делать артисты, изображающие в кино господ и надменных чиновников) — не прожевав, продолжал говорить: — Я слышал это собственными ушами, поэтому не показывайте мне детское удивление на лице, а имейте мужество выслушать горькую правду. Мне, допустим, это все равно, но где же правда, товарищи?!— Аркашка упивался, наслаждался, точно в июльскую жару погрузился по горло в прохладную воду и млел, и чуть шевелил пальцами ног. Великая сила — правда: зная ее, можно быть спокойным. Аркашка был спокоен. Он судил прохиндеев.— Стыдно, товарищи. И, главное, сами сидят возмущаются! Видели таких проходимцев? Ну ладно, задумали обмануть сельповских, но зачем вот так вот сидеть и разводить нюни, что вас хотят обмануть? — Аркашка искренне заинтересовался, хотел понять.— Ведь вы на этом же самом месте похохатывали...— Но тут Аркашка увидел, что Ванька Селезнев показывает вовсе не детское удивление на лице, а берется за бутылку. Аркашка вскочил с места, потому что хорошо знал этого губошлепа — ломанет.— Ванька!.. Поставь

бутылку на место, поставь, Ванюша. Я же вас на понт беру! Велите ему поставить бутылку!

Плотники обрели дар речи.

— А ты чего это заволновался-то, Шива? Ванька, поставь бутылку.

— Иди к нам, Аркашка.

— Правда, чего ты там один сидишь? Иди к нам.

— Пусть он поставит бутылку.

— Он поставил. Поставь, Иван. Иди, Аркаша.

Аркашка, прихватил свою недопитую бутылку, пересел к плотникам и только было хотел набулькать себе полстакашка и уже оттопырил мизинчик, как Ванька протянул через стол свою мощную грабастую лапу и поймал Аркашку за грудки.

— А-а, Шива!.. На понт берешь, да? Счас ты у меня станцуешь. Танцуй!

Аркашка поборолся немного с рукой, но рука... это не рука, а березовый сук с пальцами.

— Брось...— с трудом проговорил Аркашка.

— Танцуй!

— Отпусти, дурной!..

— Будешь танцевать?

Тут плотники принялись рассказывать нездешнему бригадиру, как здорово Аркашка танцует. Ногами что выделывает!.. Руками! А то сам стоит, а голова танцует...

— Голова?

— Голова! Сам неподвижный, а голова ходуном ходит.

А Ванька все держал Аркашку за грудки, довольный, что надоумил товарищей с танцем.

— Будешь танцевать?

Чудовищные пальцы сжались туже.

— Буду... Отпусти!

Ванька отпустил.

— Гад такой. Обрадовался—здоровый?—Аркашка потер шею.— Распустил грабли-то... Попроси по-человечески — станцую, обязательно надо руки свои поганые таращить!

— Не обижайся, Аркашка. Станцуй вот для человека — он никогда не видел. Ванька больше не будет.

— Станцуй, будь другом!

Аркашке набухали стакан из своих бутылок.

— Ванька больше не будет. Не будешь, Иван?

— Пусть танцует.

Аркашка оглушил стакан.

— Зараза,— сказал он с дрожью в голосе. — Еще руки распускает... Для всех станцую, а ты отвернись!

Ванька опять было потянулся к Аркашке, но ему не дали.

— Станцуй, Аркашка. Ванька, отвернись.— Ваньке подмигнули.— Отвернись, кому сказано! Чего ты, в самом деле, руки-то распускаешь?

— Нашелся мне, понимаешь...— Аркашка открыто и зло посмотрел на Ваньку.— Губошлеп. Три извилины в мозгу и все параллельные.

— Ладно, Аркашка, станцуй.

— Отвернись!— прикрикнул Аркашка на Ваньку.

Ванька сделал вид, что отвернулся.

Аркашка внимательно, чуть ли не торжественно оглядел всех, встал...

Как он танцует, Шива,— это надо смотреть.

Это не танец, где живет одна только плотская радость, унаследованная от прыжков и сексуального хвастовства тупых и беззаботных древних, у Аркашки это свободная форма свободного существования в нашем деловом веке. Только так, больше слабый Аркашка не мог никак.

— Как Ванька Селезнев дергает задом гвозди!— объявил Аркашка.

Это название танца; Аркашка разрешил:

— Ванька, гляди! Можно глядеть!— И начал.

Дал знак воображаемым музыкантам, легкой касательной походкой сделал ритуальный скок... И опробовал половину покрепче — надежно. Выдал красивое, загогулистое колено, еще, еще — это он показал, что как все-то пляшут — он так умеет.

Он умел еще иначе. Он посмотрел на Ваньку.. Сделал ему гримасу, показал его, заинтересованного губошлепа... Потом потянулся, сонно зачмокал губами — Ванька проснулся утром.

Плотники засмеялись.

Аркашка проковылял к стене, похрюкал, похрюкал, пригладил ладонями патлы — Ванька умылся. Потом Ванька стал жрать — жадно, много, безобразно... Отвалился от стола, стал икать...

Плотники опять засмеялись.

— Сука,— прошептал серьезный Ванька.

Потом Аркашка дал козла и опять выработал сложное колено — конец утра. И вот Ванька на работе. Раз ударит по гвоздю, минуту смотрит на небо, чешется... Нашел даже вшу под рубахой, убил.

— Падла, — сказал Ванька.— У меня сроду вшей не было. Даже в войну...

— Тихо,— попросили его.

— А чего он выдумывает!

— Тихо!

Потом Ванька загнал гвоздь криво, долго искал гвоздодер, гвоздодера у такого работника, конечно, нет. Тогда Ванька сел на гвоздь, напрягся так, что лицо перекосилось...

Плотники хохотали.

Ванька хотел было встать, ему не дали.

Аркашка мучился на полу...

Вот Ванька раскачал гвоздь, рывком встал... Взял гвоздь и забил правильно.

Плотники лежали на столах, мычали, вытирали слезы. И все, кто был в чайной, хохотали, даже строгая продавщица. Не смеялись только двое — Аркашка и Ванька. Ванька свирепо смотрел на артиста, знал: теперь полгода будут помнить, как «Ванька дергал гвозди». Знал также, что отлупить Аркашку сейчас не дадут.

В завершение Аркашка опять сделал красивый круг, пощелкал чечеткой и сел к плотникам. Его хлопали по спине, налили стакан вина... Аркашка был доволен, посмотрел на Ваньку. Подмигнул ему. И почему-то именно это — что Аркашка подмигнул — доконало Ваньку. Он опять сгреб за грудки левой рукой, а правой хотел звездануть, размахнулся, но руку остановили. Ванька поднялся на всех.

— Он, сука, видел, как я работаю?! Он критикует!.. Он видел?

— Што ты, што ты — шуток не понимаешь. Уймись!

— Вам шутки, а мне глаза будут тыкать. Пусти!..

Ванька закусил удила. Швырнул одного, другого... Все повскакали.

Аркашка на всякий случай отбежал к двери.

— Хаханьки строить? — орал Ванька и еще одному завесил такую, что плотник отлетел к стене.

Аркашка сверкающими глазами смотрел на все.

— Так их, Ванька! Так их!..— вскрикивал он. Его не слышали.

Ванька рычал и ворочался, его не моглй одолеть. Падали стулья, столы, тарелки, бутылки...

— Зовите милицию!— заблажила буфетчица. — Они же побьют здесь все!..

— Не надо!— крикнул Аркашка.— Не надо милицию!

— Ша!— сказал вдруг нездешний бригадир.— Ша, пацаны... я валю этого бычка.

Бригадира услышали.

— Кто, ты? — удивился Ванька.— Ты?

— Отошли, пацаны, отошли... Я его делаю.— Бригадир стал подходить к Ваньке. Ванька изготовился.

— Иди, падла... Иди.

— Иду, Ваня, иду.

— Иди, иди.

— Иду.— Бригадир шел на Ваньку медленно, спокойно. Никто не понимал, что такое сейчас произойдет.

— Боксер, да? Иди, я те по-русски закатаю...

— Та какой я боксер!— Бригадир остановился перед Ванькой.— Що ты!..

— Ну?— спросил Ванька.

— Он так — раз!— Бригадир вдруг резко ткнул Ваньку кулаком в живот.

Ванька ойкнул и схватился за живот, склонился. А когда он склонился, бригадир быстро, сильно дал ему согнутым коленом снизу в челюсть.

— Два.

Ванька зажмурился от боли... Упал, скрючился. Изо рта по нижней губе пробился тоненький следок крови... Капало с подбородка на застиранную Ванькину рубаху. Мерзкое искусство бригадира ошеломило всех: так в деревне не дрались. Дрались хуже — страшней, но так подло — нет.

Аркашка взял венский стул, подошел к бригадиру и заорал:

— Счас как дам по башке! Гад такой!

— Выходите к чертовой матери! Все! Вон!— Буфетчица, воспользовавшись затишьем, выбежала из-за прилавка и выталкивала плотников на улицу.— Выходите к чертовой матери! Вон на улицу — там и деритесь!

Один из плотников взял из-под Аркашки стул, поставил на место, а бригадиру сказал:

— Пошли, а то тут шум.

Аркашка склонился к Ивану, вытер кровь с его подбородка.

— Мм,— простонал Ванька.

— Ничего, Иван... ему счас дадут. Больно?

Ванька потрогал пальцем челюсть, покачал ее, сплюнул клейкую сукровицу. Сел.

— Бубы...

— А?

— Бубы...

— Зубы разбил? От гад-то! Счас ему там дадут. Мужики пошли с им... Встать можешь?

Ванька с трудом поднялся, сел на стул.

— Вина взять?

— Мм,— кивнул Ванька,— взять.

Аркашка подошел к прилавку.

— Здорово он его? — спросила буфетчица, наливая вино.

— Ничего, ему счас тоже дадут.

— А все ты разжег!.. Шива чертов. Вечно из-за тебя одни скандалы.

— Помолчи, — посоветовал Аркашка.— Возьми вон конфетку шоколадную и соси.

— Шива и есть. Выметайтесь отсюда! Чтоб духу вашего тут не было!..

Аркашка взял вино и пошел к Ивану.

— На выпей.

— Чего она?— спросил Иван.

— Ругается. Не обращай внимания. Пей — легче будет.

1972

СТРАДАНИЯ МОЛОДОГО ВАГАНОВА

Молодой выпускник юридического факультета, молодой работник районной прокуратуры, молодой Георгий Константинович Ваганов был с утра в прекрасном настроении. Вчера он получил письмо... Он, трижды молодой, ждал от жизни всего, но этого письма никак не ждал. Была на их курсе Майя Якутина, гордая девушка с точеным лицом. Ваганова ни тогда, на курсе, ни после, ни теперь, когда хотелось мысленно увидеть Майю, не оставляло навязчивое какое-то, досадное сравнение: Майя похожа на деревянную куклу, сделанную большим мастером. Но именно это, что она похожа на куколку, на

изящную куколку, необъяснимым образом влекло и подсказывало, что она же женщина, способная сварить борщ и способная подарить радость, которую никто больше не в состоянии подарить, то есть она женщина, как все женщины, но к тому же изящная, как куколка. Георгий Ваганов хотел во всем разобраться, а разбираться тут было нечего: любил он эту Майю Якутину. С их курса ее любили четыре парня; все остались с носом. На последнем курсе Майя вышла замуж за какого-то, как прошла весть, талантливого физика. Все решили: ну да, хорошенькая, да еще и с расчетом. Они все так, хорошенькие-то. Но винить или обижаться на Майю Ваганов не мог: во-первых, никакого права не имел на это, во-вторых... за что же винить? Ваганов всегда знал: Майя не ему чета. Жалко, конечно, но... А может, и не жалко, может, это и к лучшему: получи он Майю, как дар судьбы, он скоро пошел бы с этим даром на дно. Он бы моментально стал приспособленцем: любой ценой захотел бы остаться в городе, согласился бы на роль какого-нибудь мелкого чиновника... Не привязанный, а повизгивал бы около этой Майи. Нет, что ни делается — все к лучшему, это верно сказано. Так Ваганов успокоил себя когда понял окончательно, что не видать ему Майи как своих ушей. Тем он и успокоился. То есть ему казалось, что успокоился. Оказывается, в таких делах не успокаиваются. Вчера, когда он получил письмо и понял, что оно от Майи, он сперва глазам своим не поверил. Но письмо было от Майи... У него так заколотилось сердце, что он всерьез подумал: «Вот так, наверно, падают в обморок». И ничуть этого не испугался, только ушел с хозяйской половины дома к себе в горницу. Он читал его, обжигаясь сладостным предчувствием, он его гладил, смотрел на свет, только что не целовал — целовать совестно было, хотя сгоряча такое движение — исцеловать письмо — было. Ваганов вырос в деревне, с суровым отцом и вечно занятой, вечно работающей матерью, ласки почти не знал, стыдился ласки, особенно почему-то поцелуев.

Майя писала, что ее семейная жизнь «дала трещину», что она теперь свободна и хотела бы использовать свой отпуск на то, чтобы хоть немного повидать страну — поездить. В связи с этим спрашивала: «Милый Жора, вспомни нашу старую дружбу, встреть меня на станции и позволь пожить у тебя с неделю — я давно мечтала побывать в тех краях. Можно?» Дальше она еще писала,

что у нее была возможность здорово переосмыслить свою жизнь и жизнь вокруг, что она теперь хорошо понимает, например, его, Жоркино, упорство в учебе и то, с какой легкостью он, Жорка, согласился ехать в такую глухомань... «Ну-ну-ну, легче, матушка, легче,— с удовлетворением думал молодой Ваганов.— Подожди пока цыпляток считать».

Вот с этим-то письмом в портфеле и шел сейчас к себе на работу молодой Ваганов. Предстояло или на работе, если удастся, или дома вечером дать ответ Майе. И он искал слова и обороты, какие должны быть в его письме, в письме простом, великодушном, умном. Искал он такие слова, находил, отвергал, снова искал... А сердце нет-нет да подмоет: «Неужели же она моей будет? Ведь не страну же она, в самом деле, едет повидать, нет же. Нужна ей эта страна, как...»

Целиком занятый решением этой волнующей загадки в своей судьбе, Ваганов прошел в кабинет, сразу достал несколько листов бумаги, приготовился писать письмо. Но тут дверь кабинета медленно, противно заныла... В проем осторожно просунулась стриженая голова мужчины, которого он мельком видел сейчас в коридоре на диване.

— Можно к вам?

Ваганов мгновение помедлил и сказал, не очень стараясь скрыть досаду:

— Входите.

— Здравствуйте.— Мужчине этак под пятьдесят, поджарый, высокий, с длинными рабочими руками, которые он не знал куда девать.

— Садитесь,— велел Ваганов. И отодвинул листы в сторону.

— Я тут... это... характеристику принес, — сказал мужчина. И, обрадовавшись, что нашел дело рукам, озабоченно стал доставать из внутреннего кармана пиджака нечто, что он называл характеристикой.

— Какую характеристику?

— На жену. Они тут на меня дело заводют... А я хочу объяснить...

— Вы Попов?

— Ага.

— А что вы объяснять-то хотите? Вы объясните, почему вы драку затеяли? Почему избили жену и соседа? При чем тут характеристика-то?

Попов уже достал характеристику и стоял с ней посреди кабинета. Когда-то он, наверно, был очень красив. Он и теперь еще красив: чуть скуласт, нос хищно выгнут, лоб высокий, чистый, взгляд прямой, честный... Но, конечно, помят, несвеж, вчера выпил изрядно, с утра кое-как побрился, наспех ополоснулся... Эхма!

— Ну-ка дайте характеристику.

Попов подал два исписанных тетрадных листка, отшагнул от стола опять на середину кабинета и стал ждать. Ваганов побежал глазами по неровным строчкам... Он уже оставил это занятие — веселиться, читая всякого рода объяснения и жалобы простых людей. Как думают, так и пишут, ничуть это не глупее какой-нибудь фальшивой гладкописи, честнее, по крайней мере.

Ваганов дочитал.

— Попов... это ведь не меняет дела.

— Как не меняет?

— Не меняет. Вот вы тут пишете, что она такая-то и такая-то — плохая. Допустим, я вам поверил. Ну и что?

— Как же?— удивился Попов. — Она же меня нарочно посадила! На пятнадцать суток-то. Посадила, а сама тут с этим... Я же знаю. Мне же Колька Королев все рассказал. Да я и без Кольки знаю... Она мне сама говорила.

— Как говорила?

— Говорила!— воскликнул доверчиво Попов.— Тебя, говорит, посажу, а сама тут поживу с Мишкой.

— Да ну... Что, так прямо и говорила?

— Да в том-то и дело!— опять воскликнул Попов. И даже сел, раз уж разговор пошел не официальный, а нормальный, мужской.— Тебя, говорит, посажу, а сама — назло тебе — поживу с Мишкой.

— Она именно «назло» и говорила?

— Да нет! Я же знаю ее!.. И Мишаню этого знаю — сроду от чужого не откажется. Все, что я там написал, я за все головой ручаюсь. Жили, собаки! На другой же день стали жить. Их Колька Королев один раз прихватил...

— Ну, не знаю...— Молодой Ваганов в самом деле не знал, как тут быть: похоже, мужик говорит всю горькую правду.— Тогда уж разводиться, что ли, надо?

— А куда я пойду — разведусь-то? Она же дом отсудит? Отсудит. Да и это... ребятишки еще не оперились, жалко мне их...

— Сколько у вас?

— Трое. Меньшому только семь, я люблю его до смерти... Мне на стороне не сдюжить — вовсе сопьюсь.

— Ну слушайте!..— с раздражением сказал Ваганов.— Вы уж прямо как... паралитик какой: «не сдюжу», «сопьюсь». Ну а как быть-то? Ну представьте себе, что вы вот не с жалобой пришли, не к начальству, а... к товарищу. Вот я вам товарищ, и я не знаю, что посоветовать. Сможешь с ней жить после этого — живи, не сможешь...

— Смогу,— твердо сказал Попов.— Черт с ней, что она хвостом раз-другой вильнула. Только пусть это больше не повторяется. Я сам виноватый: шумлю много, не шибко ласковый... Если б был маленько поласковей, она, можеть, не додумалась бы до этого.

— Так живи!

— Живи... Они же посадить хотят. И посадют, у их свидетелей полно, медицинские кспертизы обои прошли... Года три впаяют.

— Что же ты хочешь-то, я не пойму?

— Чтоб они закрыли дело.

— А характеристика-то зачем?

— А чтоб навстречу тоже бумаги двинуть. Может, посмотрют, какие они сами-то хорошие, и закроют дело. Они же сами кругом виноватые! Ты гляди-ка, посадить человека, а самой тут... Ну, не зараза она после этого!

— Здорово избил-то?

— Да где здорово! Шуму больше, крику...

— А без битья уж не мог?

Попов виновато опустил голову, погладил широкой коричневой ладонью свое колено.

— Не сдюжил...

— Опять не сдюжил! Ах ты, господи, какие ведь мы несдюжливые!— Ваганов встал из-за стола, прошелся по кабинету. Зло брало на мужика, и жалко его было. Причем тот нисколько не бил на жалость, это Ваганов даже при своем небольшом еще опыте научился различать: когда нарочно стараются разжалобить, и делают это иногда довольно искусно.— Ведь если б ты сдюжил и спокойно подал на развод, то еще посмотрели бы, как вас рассудить: возможно, что и... Впрочем, что же теперь об этом?

— Да; чего уж,— согласился Попов.

Некоторое время они молчали.

«Ну, что вот делать?— думал Ваганов.— Посадят ведь дурака. Как ни веди дело, а... Эхма!»

— Как вы поженились-то?

— Как?.. Обыкновенно. Я с войны пришел, она тут продавцом в сельпе работала... Ну сошлись. Я ее и раньше знал.

— Вы здешний?

— Здешний. Только у меня родных тут никого не осталось: мать с отцом ишо до войны померли — угорели, старших братьев обоих на войне убило, две тетки были, тоже померли. Племянники, какие были, в городах где-то, я даже не знаю где.

— А жена где сейчас?

Попов вопросительно посмотрел на следователя.

— Где работает, что ли? Там же, в сельпе.

— На работе сейчас?

— На работе.

— Тебя кто научил с характеристикой-то?

— Никто, сам. Нет, говорили мужики: надо, мол, навстречу бумаги какие-нибудь двинуть... Я подумал... чего двинуть? Написал вот...

— Хорошо, оставь ее мне. Иди. Я попробую с женой поговорить.

Попов поднялся... Хотел что-то еще сказать или спросить, но только посмотрел на Ваганова, кивнул послушно головой и осторожно вышел.

Ваганов, оставшись один, долго стоял, смотрел на дверь. Потом сел, посмотрел на белые листы бумаги, которые он заготовил для письма. Спросил:

— Ну что, Майя? Что будем делать?— Подождал, что под сердцем шевельнется нежность и окатит горячим, но горячим почему-то не окатило.— Фу ты, черт! — с досадой сказал Ваганов. И дальше додумал:— «Вечером напишу».

Уборщица прокуратуры сходила за Поповой в сельпо — это было рядом.

Ваганов просмотрел пока «бумаги», обвиняющие Попова. Да, люди вели дело к тому, чтоб мужика непременно посадить. И как бойко, как грамотно все расписано! Нашелся и писарь. Ваганов пододвинул к себе «характеристику» Попова, еще раз прочитал. Смешной и грустный человеческий документ... Это, собственно, не характеристика, а правдивое изложение случившегося. «Пришел я, бритый, она лежит, как удав на перине. Ну,

говорю, рассказывай, как ты тут без меня опять скурвилась? Она видит, дело плохо, давай базланить. Я ее жогнул разок: ты можешь потише, мол? Она вырвалась и — не куда-нибудь побежала, не к родным — к Мишке опять же дунула. Тут у меня вовсе сердце зашлось, я не сдюжил...»

Попова, миловидная еще женщина лет сорока, не робкая, с замашками продавцовской фамильярности, сразу показала, что она закон знает: закон охраняет ее.

— Вы представляете, товарищ Ваганов, житья нет: как выпьет, так начинает хулиганить. К какому-то Мишке меня приревновал!.. Дурак необтесанный.

— Да, да...— Ваганов подхватил фамильярный тон бойкой женщины и поманил ее дальше.— Безобразник. Что, он не знает, что сейчас за это строго! Забыл.

— Он все на свете забыл! Ничего — спомнит. Дадут года три — спомнит, будет время.

— Дети вот только... без отца-то — ничего?

— А что? Они уж теперь большие. Да потом такого отца иметь — лучше не иметь.

— Он всегда такой был?

— Какой?

— Ну, хулиганил, дрался?..

— Нет, раньше выпивал, но потише был. Это тут — к Михайле-то приревновал... С прошлого года начал. Да еще грозит! Грозит, Георгий Константиныч: прирежу, говорит, обоих.

— Так, так. А кто такой этот Михайло-то?

— Да сосед наш, господи! В прошлом годе приехали... Шофером в сельпо работат.

— Он что, одинокий?

— Да они так: переехать-то сюда переехали, а там дом тоже не продали. Жене его тут не глянется, а Михайле глянется. Он рыбак заядлый, а тут у нас рыбачить-то хорошо. Вот они на два дома и живут. И там огород посажен, и здесь... Вот она и успеват-ездит, жена-то его: там огород содярживат и здесь, жадничат в основном.

— Так, так...— Ваганов вовсе убедился, что прав Попов: изменяет ему жена. Да еще и нагло, с потерей совести.— Вот он тут пишет, что, дескать, вы ему прямо сказали: «Тебя посажу, а сама тут с Мишкой поживу».— В «характеристике» не было этого, но Ваганов

вспомнил слова Попова и сделал вид, что прочитал.— Было такое?

— Это он так написал?!— громко возмутилась Попова.— Нахалюга! Надо же!..— Женщина даже посмеялась.— Ну надо же!

— Врет?

— Врет!

«Да, уверенная бабочка,— со злостью уже думал Ваганов.— Ну нет, так просто я вам мужика не отдам».

— Значит, сажать?

— Надо сажать, Георгий Константиныч, ничего не сделаешь. Пусть посидит.

— А не жалко?— невольно вырвалось у Ваганова.

Попова насторожилась... Вопросительно посмотрела на молодого следователя, улыбнулась заискивающе.

— В каком смысле?— спросила она.

— Да я так,— уклонился Ваганов.— Идите.— Он пристально посмотрел на женщину.

Женщина сказала «ага», поднялась, прошла к двери, обернулась озабоченная... Ваганов все смотрел на нее.

— Я забыл спросить: почему у вас так поздно дети появились?

Женщина вовсе растерялась. Не от вопроса этого, а от того, как на ее глазах изменился следователь: тон его, взгляд его... От растерянности она пошла опять к столу и села на стул, где только что сидела.

— А не беременела,— сказала она.— Что-то не беременела, и все. А потом забеременела. А что?

— Ничего, идите,— еще раз сказал Ваганов. И положил руку на «бумаги».— Во всем...— он подчеркнул это «во всем»,— во всем тщательно разберемся. Суд, возможно, будет показательный, строгий: кто виноват, тот и ответит. До свидания.

Женщина направилась к выходу... Уходила она не так уверенно, как вошла.

— Да,— вспомнил еще следователь,— а кто такой...— он сделал вид, что поискал в «бумаге» Попова забытое имя свидетеля, хоть там этого имени тоже не было,— кто такой Николай Королев?

— Господи!— воскликнула женщина у двери.— Королев-то? Да собутыльник первый моего-то, кто ему поверит-то!— Женщина была сбита с толку. Она даже в голосе поддала.

— Он что, зарегистрирован как алкоголик? Королев-то?

Женщина хотела опять вернуться к столу и рассказать подробно про Королева: видно, и она понимала, что это наиболее уязвимое место в ее наступательной позиции.

— Да кто у нас их тут регистрирует-то, товарищ Ваганов! Они просто дружки с моим-то, вместе на войне были...

— Ну хорошо, идите. Во всем разберемся.

Он наткнулся взглядом на белые листы бумаги, которые ждали его... Задумался, глядя на эти листы. Майя... Далекое имя, весеннее имя, прекрасное имя... Можно и начать наконец писать слова красивые, сердечные — одно за одним, одно за одним — много! Все утро сегодня сладостно зудилось: вот сядет он писать... И будет он эти красивые, оперенные слова пускать, точно легкие стрелы с тетивы — и втыкать, и втыкать их в точеную фигурку далекой Майи. Он их навтыкает столько, что Майя вскрикнет от неминуемой любви... Пробьет он ее деревянное сердечко, думал Ваганов, достанет где живое, способное любить просто так, без расчета. Но вот теперь вдруг ясно и просто подумалось: «А может, она так? Способна она так любить?» Ведь если спокойно и трезво подумать, надо спокойно и трезво же ответить себе: вряд ли. Не так росла, не так воспитана, не к такой жизни привыкла... Вообще не сможет, и все. Вся эта история с талантливым физиком... Черт ее знает, конечно! С другой стороны, объективности ради, надо бы больше знать про все это — и про физика, и как у них все началось, и как кончилось. «Э-х,— с досадой подумал про себя Ваганов,— повело тебя, милый: заегозил. Что случилось-то? Прошла перед глазами еще одна бестолковая история неумелой жизни... Ну? Мало ли их прошло уже и сколько еще пройдет! Что же, каждую примерять к себе, что ли? Да и почему — что за чушь!— почему какой-то мужик, чувствующий только свою беззащитность, и его жена, обнаглевшая, бессовестная, чувствующая, в отличие от мужа, полную свою защищенность, почему именно они, со своей житейской неумностью, должны подсказать, как ему решить теперь такое — т а к о е!— в своей не простой, не маленькой, как хотелось и думалось, жизни?» Но вышло, что именно после истории Поповых у Ваганова пропало желание «обстреливать» далекую Майю. Утрен-

няя ясность и взволнованность потускнели. Точно камнем в окно бросили — все внутри встревожилось, сжалось... «Вечером напишу,— решил Ваганов.— Дурацкое дело — наверно по молодости — работу мешать с личным настроением. Надо отмежевываться. Надо проще».

Вечером Ваганов закрылся в горнице, выключил радио и сел за стол писать. Но неотвязно опять стояли перед глазами виноватый Попов и его бойкая жена. Как проклятие, как начало помешательства... Ваганов уж и ругал себя обидными словами, и рассуждал спокойно, логично... Нет! Стоят, и все, в глазах эти люди. Даже не они сами, хоть именно их Ваганов все время помнил, но не они сами, а то, что они выложили перед ним,— вот что спутало мысли и чувства. «Ну хорошо,— вконец обозлился на себя Ваганов,— если уж ты трус, то так и скажи себе трезво. Ведь вот же что произошло: эта Попова непостижимым каким-то образом укрепила тебя в потаенной мысли, что и Майя такая же, в сущности, профессиональная потребительница, эгоистка, только одна действует тупо, просто, а другая умеет и имеет к тому неизмеримо больше. Но это-то и хуже — мучительнее убьет. Ведь вот же что ты здесь почуял, какую опасность. Тогда уж так прямо и скажи: «Все они одинаковы!»— и ставь точку, не начав письма. И трусь, и рассуждай дальше — так безопаснее. Крючок конторский».

Ваганов долго сидел неподвижно за столом... Он не шутя страдал. Он опять придвинул к себе лист бумаги, посидел еще... Нет, не поднимается рука писать, нету в душе желанной свободы. Нет уверенности, что это не глупость, а есть там, тоже, наверно, врожденная, трусость: как бы чего не вышло! Вот же куда все уперлось, если уж честно-то, если уж трезво-то. «Плебей, сын плебея! Ну ошибись, наломай дров... Если уж пробивать эту толщу жизни, то не на карачках же! Не отнимай у себя трезвого понимания всего, не строй иллюзий, но уже и так-то во всем копаться... это же тоже пакость, мелкость. Куда же шагать с такой нищей сумой! Давай будем писать. Будем писать не поэму, не стрелы будем пускать в далекую Майю, а скажем ей так: что привезешь, голубушка, то и получишь. Давай так».

...Часам к четырем утра Ваганов закончил большое письмо. На улице было уже светло. В открытое окно тянуло холодком раннего июньского утра. Ваганов присло-

нился плечом к оконному косяку, закурил. Он устал от письма. Он начинал его раз двенадцать, рвал листы, изнервничался, испсиховался и очень устал. Так устал, что теперь неохота было перечитывать письмо. Не столько неохота, сколько, пожалуй, боязно: никакой там ясности, кажется, нету, ума особого тоже. Ваганов все время чувствовал это, пока писал, все время чувствовал, что больше кокетничает, чем... Он вчистую докурил сигарету, сел к столу и стал читать письмо.

«Майя! Твое письмо так встревожило меня, что вот уже второй день я хожу сам не свой: весь в мыслях. Я спрашиваю себя: что это? И не могу ответить. Теперь я спрашиваю тебя: что это, Майя? Пожить у меня неделю — ради бога! Но это же и есть то, о чем я спрашиваю: что это? Ты же знаешь мое к тебе отношение... Оно, как подсказывает мне дурное мое сердце, осталось попрежнему таким, каким было тогда: я люблю тебя. И именно это обстоятельство дает мне право спрашивать и говорить то, что я думаю о тебе. И о себе тоже. Майя, это что, бегство от себя? Ну что же... приезжай, поживи. Но тогда куда мне бежать от себя? Мне некуда. А убежать захочется, я это знаю. Поэтому я еще раз спрашиваю (как на допросе!): что это, Майя? Умоляю тебя, напиши мне еще одно письмо, коротенькое, ответь на вопрос: что это, Майя?» Так начал Ваганов свое длинное письмо... Он отодвинул его, склонился на руки. Почувствовал, что у него даже заболело сердце от собственной глупости и беспомощности. «Попугай! Что это, Майя? Что это, Майя? Тьфу!.. Слизняк». Это, правда, было как горе — эта неопределенность. Это впервые в жизни Ваганов так раскорячился... «Господи, да что же делать-то? Что делать?» Повспоминал Ваганов, кто бы мог посоветовать ему что-нибудь — он готов был и на это пойти,— никого не вспомнил, никого не было здесь, кому бы он не постыдился рассказать о своих муках и кому поверил бы. А вспомнил он только... Попова, его честный, прямой взгляд, его умный лоб... А что? «А что, Майя?— съязвил он еще раз со злостью.— Это ничего, Майя. Просто я слизняк, Майя».

Он скомкал письмо в тугой комок и выбросил его через окно в огород. И лег на кровать, и крепко зажмурил глаза, как в детстве, когда хотелось, чтобы какаянибудь неприятность скорей бы забылась и прошла.

Утром, шагая на работу, Ваганов чувствовал большую

усталость. В пустой голове проворачивался и проворачивался невесть откуда влетевший мотивчик: «А я играю на гармошке у прохожих на виду-у...» С письмом Ваганов решил подождать. Пусть придет определенность, пусть сперва станет самому ясно: способен он сам-то на что-нибудь или он выдумал себя такого — умного, деятельного, а другие, как дурачка, подогрели его в этом. Вот пусть это станет ясно до конца — пусть больше не будет никаких иллюзий, никакого обмана на свой счет. Пока ясно одно: он любит Майю и боится сближения с ней. Боится ответственности, несвободы, боится, что не будет с ней сильным и деятельным и его будущее накроется. «Вот теперь поглядим, как ты вывернешься, деятельный,— думал он про себя с искренней злостью.— Подождем и посмотрим».

Работу он начал с того, что послал за Поповым.

Попов пришел скоро, опять осторожно заглянул в дверь.

— Входи!— Ваганов вышел из-за стола, пожал руку Попову, усадил его на стул. Сам сел рядом.

— Как твое имя?

— Павел.

— Ну, как там?.. Дома-то?

Попов помолчал... Посмотрел серыми своими глазами на следователя. Какие все же удивительные у него глаза: не то доверчивые сверх меры, не то мудрые. Как у ребенка ясные, но ведь видели же эти глаза и смерть, и горе человеческое, и сам он страдал много... Не это ли и есть сила-то человеческая — вот такая терпеливая и безответная? И не есть ли все остальное — хамство, рвачество и жестокость?

— Ничего вроде... А что? — спросил Попов.

— Не говорил с женой?

— Мы с ей неделю уж не разговариваем.

— Не заметил в ней никаких перемен?

— Заметил.— Попов усмехнулся. — Вчера вечером долго на меня смотрела, потом говорит: «Был у следователя?»— «Был,— говорю.— А что, тебе одной только бегать туда?»

— А она что?

— Ничего больше. Молчит. И я молчу.

— Возьмут они свои заявления назад,— сказал Ваганов.— Еще разок вызову, может, не раз даже... Думаю, что возьмут.

— Хорошо бы,— просто сказал Попов.— Неохота сидеть, ну ее к черту. Немолодой уже...

— Павел,— в раздумье начал Ваганов про то главное, что томило,— хочу с тобой посоветоваться...— Ваганов прислушался к себе: не совестно ли, как мальчишке, просить совета у дяди? Не смешон ли он? Нет, не совестно и вроде не смешон. Что уж тут смешного!— Есть у меня женщина, Павел... Нет, не так. Есть на свете одна женщина, я ее люблю. Она была замужем, сейчас разошлась с мужем и дает мне понять...— Вот теперь только почувствовал Ваганов легкое смущение — оттого, что бестолково начал.— Словом, так: люблю эту женщину, а связываться с ней боюсь.

— Чего так? — спросил Попов.

— Да боюсь, что она такая же... вроде твоей жены. Пропаду, боюсь, с ней. Это ж на нее только и надо будет работать: чтоб ей интересно жить было, весело, разнообразно... Ну, в общем, все мои замыслы побоку, а только ублажай ее.

— Ну-у, как же это так? — засомневался Попов.— Надо, чтоб жизнь была дружная, чтоб все вместе: горе — горе, радость тоже...

— Да постой, это я знаю — как нужно-то! Это все знаю.

— А что же?

У Ваганова пропала охота разговаривать дальше. И досадно стало на кого-то.

— Я знаю, как надо. Как должны жить люди, это все знают. А вот как быть, если я знаю, что люблю ее, и знаю, что она... никогда мне другом настоящим не будет? Твоя жена тебе друг?

— Да моя-то!..

— А что «моя-то»? Люди все одинаковы, все хотят жить хорошо... Разве тебе не нужен был друг в жизни?

— Я так скажу, товарищ Ваганов,— понял наконец Попов.— С той стороны, с женской, оттуда ждать нечего. Это обман сплошной. Я тоже думал об этом же... Почему же, мол, люди жить-то не умеют? Ведь ты погляди: что ни семья, то разлад. Что ни семья, то какой-нибудь да раскосяк. Почему же так? А потому, что нечего ждать от бабы... Баба, она и есть баба.

— На кой же черт мы тогда женимся?— спросил Ваганов, удивленный такой закоренелой философией.

— Это другой вопрос.— Попов говорил свободно, убежденно — правда, наверное, думал об этом.— Семья человеку нужна; это уж как ни крутись. Без семьи ты пустой нуль. Чего же тогда мы детей так любим? А потому и любим, что была сила — терпеть все женские выходки...

— Но есть же... нормальные семьи!

— Да где?! Притворяются. Сор из избы не выносют. А сами втихаря... бушуют.

— Ну, елки зеленые!— все больше изумлялся Ваганов.— Это уж совсем... мрак какой-то. Как же жить-то?

— Так и жить: укрепиться и жить. И не заниматься самообманом. Какой же она друг, вы что? Спасибо, хоть детей рожают... И обижаться на их за это не надо — раз они так сделаны. Чего обижаться? — В правде своей Попов был тверд, спокоен. Когда понял, что Ваганов такой именно правды и хочет — всей, полной,— он ее и выложил. И смотрел на молодого человека мирно, даже весело, не волновался.

— Так, так,— проговорил Ваганов.— Ну нет, Попов, это в тебе горе твое говорит, неудача твоя. Это все же не так все...

Попов пожал плечами.

— Вы меня спросили — я сказал, как думаю.

— Это верно, верно. Я не спорю. Спорить тут надо целой жизнью, а так... это...

— Конечно. Каждый так и живет — с самого начала. Скажи мне тогда: «Не женись, мол, Пашка, ошибесся». Что я на это? Послал бы подальше этого советчика и делал свое дело. Так оно и бывает.

— Да, да,— согласился Ваганов.— Это верно. Ну хорошо.— Он встал. Попов тоже встал.— До свидания, Павел. Думаю, что они возьмут свои заявления. Только ты уж...

— Да нет, что вы, товарищ Ваганов! — заверил Попов.— Больше этого не повторится, даю слово. Глупость это... Чего из их выколачивать-то? Пусть им самим совестно станет. А то мне же и совестно — нашумел... Хожу, кляузами занимаюсь, рази ж не совестно?

— Ну до свидания.

— До свидания.

Только за Поповым закрылась дверь, Ваганов сел к столу — писать. Он еще во время разговора с Поповым решил дать Майе такую телеграмму:

«Приезжай. Палат нету — все мое ношу собой. Встречу. Георгий».

Он записал так... Прочитал. Посвистел над этими умными словами все тот же мотив: «Я играю на гармошке...» Аккуратно разорвал лист, собрал клочочки в ладонь и пошел и бросил их в корзину. Постоял над корзиной... Совершенный тупой покой наступил в душе. Ни злости уже не было, ни досады. Но и работать он бы не смог в этот день. Он подошел к столу и размашисто, во весь лист, написал:

«Нездоровится. Пошел домой».

Видеть кого-то из сослуживцев и говорить о чем-то — это тоже сегодня не по силам.

Он пошел домой. Дорогой негромко пел:

А я играю на гармошке
У прохожих на виду-у.
К сожаленью, день рожденья —
Только ра-аз в го-оду-у.

День стоял славнецкий — не жаркий, а душистый, теплый. Еще не пахло пылью, еще лето только вступало в зрелую пору свою. Еще молодые зеленые силы гнали и гнали из земли ядреный сок жизни: все цвело вокруг, или начинало цвести, или только что отцветало, и там, где завяли цветки, завязались пухлые живые комочки — будущие плоды. Благодатная, милая пора! Еще даже не грустно, что день стал убывать, еще этот день впереди.

Ваганов свернул к почте. Зашел. Взял в окошечке бланк телеграммы, присел к обшарпанному, заляпанному чернилами столику, с краешку, написал адрес Майи... Несколько повисел перышком над линией, где следовало писать текст... И написал: «Приезжай».

И уставился в это айкающее слово... Долго и внимательно смотрел. Потом смял бланк и бросил в корзину.

— Что, раздумали?— спросила женщина в окошечке.

— Адрес забыл,— соврал Ваганов. И вышел на улицу. Пошел теперь твердо домой.

«И врать ведь как научился!— подумал о себе, как о ком-то, отчужденно.— Глазом не моргнул».

И сеном еще с полей не пахло, еще не начинали косить.

1972

БЕСЕДЫ ПРИ ЯСНОЙ ЛУНЕ

Марья Селезнева работала в детсадике, но у нее нашли какие-то палочки и сказали, чтоб она переквалифицировалась.— Куда я переквалифицируюсь-то? — горько спросила Марья. Ей до пенсии оставалось полтора года.— Легко сказать — переквалифицируйся... Что я, боров, что ли, с боку на бок переваливаться? — Она поняла это «переквалифицируйся» как шутку, как «перевались на другой бок».

Ну, посмеялись над Марьей... И предложили ей сторожить сельмаг. Марья подумала и согласилась.

И стала она сторожить сельмаг.

И повадился к ней ночами ходить старик Баев. Баев всю свою жизнь проторчал в конторе — то в сельсовете, то в заготпушнине, то в колхозном правлении,— все кидал и кидал эти кругляшки на счетах, за целую жизнь, наверно, накидал их с большой дом. Незаметный был человечек, никогда не высовывался вперед, ни одной громкой глупости не выкинул, но и никакого умного колена тоже не загнул за целую жизнь. Так средним шажком отшагал шестьдесят три годочка, и был таков Двух дочерей вырастил, сына, домок оборудовал крестовый... К концу-то огляделись — да он умница, этот Баев! Смотри-ка, прожил себе и не охнул, и все успел, и все ладно и хорошо. Баев и сам поверил, что он, пожалуй, и впрямь мужик с головой, и стал намекать в разговорах, что он умница. Этих умниц, умников он всю жизнь не любил, никогда с ними не спорил, спокойно признавал их всяческое превосходство, но вот теперь и у него взыграло ретивое — теперь как-то это стало не опасно, и он запоздало, но упорно повел дело к тому, что он редкого ума человек.

Последнее время Баева мучила бессонница, и он повадился ходить к сторожихе Марье — разговаривать.

Марья сидела ночью в парикмахерской, то есть днем это была парихмахерская, а ночью там сидела Марья: из окон весь сельмаг виден.

В избушке, где была парикмахерская, едко, застояло пахло одеколоном, было тепло и как-то очень уютно. И не страшно. Вся площадь между сельмагом и избушкой залита светом; а ночи стояли лунные. Ночи стояли дивные: луну точно на веревке спускали сверху — такая она была близкая, большая. Днем снежок уже подтаивал,

а к ночи все стекленело и нестерпимо, поддельно как-то блестело в голубом распахнутом свете.

В избушке лампочку не включали, только по стенам и потолку играли пятна света — топился камелек. И быстротечные эти светлые лики сплетались, расплетались, качались и трепетали. И так хорошо было сидеть и беседовать в этом узорчатом качающемся мирке, так славно чувствовать, что жизнь за окнами — большая и ты тоже есть в ней. И придет завтра день, а ты и в нем тоже есть, и что-нибудь, может, хорошее возьмет да случится. Если умно жить, можно и на хорошее надеяться.

— Люди, они ведь как — сегодняшним днем живут,— рассуждал Баев.— А жизнь надо всю на прострел брать. Смета!..— Баев делал выразительное лицо, при этом верхняя губа его уползала куда-то к носу, а глаза узились щелками — так и казалось, что он сейчас скажет: «сево?» — Смета! Какой же умный хозяин примется рубить дом, если заранее не прикинет, сколько у него есть чего. В учетном деле и называется — смета. А то ведь как: вот размахнулся на крестовый дом — широко жить собрался, а умишка, глядишь, на пятистенок едва-едва. Просадит силенки до тридцати годов, нашумит, наорется, а дальше — пшик.

Марья согласно кивала головой. И правда, казалось, умница Баев, сидючи в конторах, не тратил силы, а копил их всю жизнь — такой он был теперь сытенький, кругленький, нацеленный еще на двадцать лет осмеченной жизни.

— Больно шустрые! Я как-то лежал в горбольнице... меня тогда Неверов отвез, председателем исполкома был в войну у нас, не помнишь?

— Нет. Их тут перебывало...

— Неверов, Василий Ильич. И тогда что. С молокопоставками не управились — ему хоть это... хоть живым в могилу зарывайся. Я один раз пришел к нему в кабинет, говорю: «Василий Ильич, хотите, научу, как с молокопоставками-то?»—«Ну-ка»,— говорит. «У нас, мол, колхозники-то все вытаскали?»—«Вроде все,— говорит. — А что?» Я говорю: «Вы проверьте, проверьте — все вытаскали?»

— Ох, тада и таска-али! — вспомнила Марья.— Бывало, подоишь — и все отнесешь. Ребятишкам по кружке нальешь, остальное на молоканку. Да ведь планы-то какие были... безобразные!

— Ты вот слушай!— оживился Баев при воспоминании о давнем своем изобретательном поступке.

«Все, мол, вытаскали-то? Или нет?»— Он вызвал девку. «Принеси,— говорит,— сводки». Посмотрели: почти все, ерунда осталась. «Ну вот,— говорит,— почти все».— «Теперь так,— это я-то ему,— давайте рассуждать: госпоставки недостает столько-то, не помню счас сколько. Так? Колхозники свое почти все вытаскали... Где молоко брать?» Он мне: «Ты,— говорит,— мне мозги не... того, говори дело!» Матершинник был несусветный. Я беру счеты в руки: давайте, мол, считать. Допустим, ты должна сдать на молоканку пятьсот литров.— Баев откинул воображаемых пять кругляшек на воображаемых счетах, посмотрел терпеливо и снисходительно на Марью.— Так? Это из расчета, что процент жирности молока у твоей коровы такой-то.— Баев еще несколько кругляшек воображаемых сбросил, чуть выше прежних. — Но вот выясняется, что у твоей коровы жирность не такая, какая тянула на пятьсот литров, а ниже. Понимаешь? Тогда тебе уже не пятьсот литров надо отнести, а пятьсот семьдесят пять, допустим. Сообразила?

Марья не сообразила пока.

— Вот и он тогда так же: хлопает на меня глазами — не пойму, мол. Снимайте, говорю, один процент жирности у всех — будет дополнительное молоко. А вы это молоко, с колхозников-то, как госпоставки пустите. Было бы молоко, в бумагах его как хошь можно провести. Ох и обрадовался же он тогда. Проси, говорит, что хочешь! Я говорю: отвези меня в городскую больницу — полежать. Отвез.

Марья все никак не могла уразуметь, как это они тогда вышли из положения с госпоставками-то.

— Да господи! — воскликнул Баев.— Вот ты оттаскала свои пятьсот литров, потом тебе говорят: за тобой, гражданка Селезнева, еще семьдесят пять литров. Ты, конечно, как это так? А какой-нибудь такой же, вроде меня, со счетиками: давайте считать вместе... Вышла, мол, ошибка с жирностью. Работник, мол, недоглядел... А я в горбольнице. С сельской местности-то туда и счас не очень берут. А я вон когда попал!

— А чего?.. Заболел, што ли?

— Как тебе сказать... Нет. Недостаток-то у меня был: глаза-то и тогда уж... Почти слепой был. Из-за того и на войну не взяли. Но лег я не потому, а... как это вы-

разиться... Охота было в горбольнице полежать. Помню, ишо молодой был, а все думал: как же бы мне устроиться в горбольнице полежать? А тут случай-то и подвернулся. Да. Приехал я, мне, значит, коечку, чистенько все, простынки, тумбочка возле койки... В палате ишо пять гавриков лежат, у кого что: один с рукой, один с башкой забинтованной, один тракторист лежал — полспины выгорело, бензин где-то загорелся, он угодил туда. Та-ак. Ну ладно, думаю, желание мое исполняется.

— Дак чего, просто вот полежать, и все?— никак не могла взять в толк Марья.

— Все. Ну-ка, как это тут, думаю, будут ухаживать за мной? Слыхал, что уход там какой-то особенный. Ну, никакого такого ухода я там не обнаружил — больше интересуются: «Что болит? Где болит?» Сердце, говорю, болит — иди, доберись до него. Всем обстукали, обслушали, а толку никакого. Но я к чему про горбольницу-то: про людей-то мы заговорили... Пришел, значит, я в палату, лежат эти козлы... Я им по-хорошему: «Здравствуйте, мол, ребята!» И прилег с дороги-то соснуть малость: дорога-то дальняя, в телеге-то натрясло. Сосну, думаю, малось. Поспал, значит, мне эти козлы говорят: «Надо анализы собирать».— «Какие анализы?»— «Калу,— говорят,— девятьсот грамм и поту пузырек». Я удивился, конечно, но...

Тут Марью пробрал такой смех, что она досмеялась до слез. Баев тоже сперва хмыкнул, но потом строго ждал, когда она отсмеется.

— Ну и как?— спросила Марья, вытирая глаза концом полушалка.— Собрал?

— Стали сперва собирать пот,— продолжал Баев, недовольный, что из рассказа вышла одна комедия: он вознамерился извлечь из него поучительный вывод.— Укрыли меня одеялами, два матраса навалили сверху, а пузырек велели под мышку зажать — туда, мол, пот будет капать. Ить вот рассудок-то у людей: хворают, называется! Ить подумали бы: идет такая страшенная война, их как механизаторов на броне пока держут: тут надо прижухнуться и помалкивать, вроде тебя и на свете-то нету. Нет, они начинают выдумывать черт те чего. Думает он, лежит, что у него жизнь предстоит, что надо ее как-то распланировать, подсчитать все наличные ресурсы, как говорится?.. Что ты! Он зубы свои оскалит и будет лучше ржать лежать, чем задумается.

Марья вспомнила про девятьсот граммов кала и опять захохотала. И понимала, что после таких серьезных слов Баева не надо бы смеяться, но не могла сдержаться.

— Дак, а как... с этим-то?.. Собрал, что ли?— Вытерла опять глаза.— Не могу ничего с собой сделать, ты уж прости меня, Николай Ферапонтыч, шибко смешно. Собрал девятьсот грамм-то?

— Вот то-то и оно — ничего сделать с собой не можем,— обиделся Баев. — Живем безалаберно — ничего с собой сделать не можем; пьем-гуляем — ничего с собой сделать не можем; блуд совершаем — опять ничего с собой сделать не можем. У меня зять вон до развода дело довел, гад зубастый: тоже ничего с собой сделать не может. Кобели. Поганки.— Баев по-живому обозлился.— Взял бы кол хороший, пошел бы в клуб ихный — да колом бы, колом бы всех бы подряд. Ржать научились? Ногами дрыгать научились?.. Теперь подставляй башку, я тебя жизни обучать буду! Козлы.

Посидели молча. Марья даже вздохнула: у самой тоже была дочь, и у той тоже семейная жизнь не ладилась.

— А как вот им поможешь?— сказала она.— И рад бы душой помочь, а как?

— Никак,— резко сказал Баев.— Пускай сами разбираются.

Опять замолчали.

Баев достал флакон с нюхательным табаком, пошумел ноздрями — одной, другой,— поморгал подслеповатыми маленькими глазами и сладостно чихнул в платок.

— Помогает глазам-то?— спросила Марья, кивнув на пузырек с табаком.

— Не он бы, так давно бы уже ослеп. Им только и держусь.

— Где ж ты так глаза-то испортил? У вас, однако, в роду все зрячие были.

— Зрячие...— вздохнул Баев.— Все зрячие, да не все умные.— Баев спрятал пузырек в карман, помолчал задумчиво.— Что он, покойный родитель мой, делал со мной — это же ни пером описать, ни... как там говорится?.. Уму непостижимо, что он вытворял, чтобы я только в школу не ходил. А мне страсть как учиться хотелось. Тада же ишо приходская школа-то была... Батюшка-то к родителю ходил: способный, мол, парнишка, пускай ходит. Ну! Родителю моему только... Грех поминать нехорошо, но и... тоже... Как я только ни просил: в ногах у

него валялся, ревмя ревел — отпустите в школу! Закинет пимы на полати, и все. Сиди за печью, гложи ногу овечью — вот весь сказ родительский. Эх-х!..— Баев еще помолчал горестно.— Дак я, когда все госнут, лучинку зажгу, бывало, в уголок на печке забьюсь да по складам читаю. Да по всей ноченьке так-то — вот они, глаза-то, и сели

— Дак а чего уж он так?

— А спроси его! Не мужицкое дело, мол... Темен был, упрям. Всю жизнь я на него сердце держал. Помирал, помню: «Прости, Колька, учиться тебе препятствовал...» И вот знаю как полагается говорить в таких случаях, а язык не поворачивается. «Ладно,— говорю,— чего теперь?» Вот как душа затвердела! А потому, что обидно. Я же какой башковитый-то был! Бывало, стишок два раза прочитаю и тут же его отбарабаню без запинки.

— А понимал же потом-то — вишь, «прости» говорил.

— Да потом-то... Ко мне, бывало, придут: «Напиши, ради Христа, прошение», или еще чего, ну, курочку несут или яиц десяток, а то шерсти... фунта два... Я сяду — мне плевое дело прошение-то составить: где завострил, где подсусолил, где на жалость упор сделаешь, а где намекнешь про другие инстанции... Тут целая наука тоже. Вот составишь. «На, хлопочи, ехай». Человек и радешенек. И того не заметил, что я за какой-нибудь час курицу заработал. А родитель-то видит, конечно, сопит — чует вину свою. Эх ты, думаю, а дал бы мне учиться-то, да я бы... Ладно. Рази бы тут курочками пахло! Ведь это я самоучкой уж достиг — счетоводом-то, потом бухгалтером. А поучи-ка меня годов десять, как этих лоботрясов нынче, да я бы... не знаю... Эх-х! Ладно.— Баеву, правда, было горько, у него даже глаза слезились, он утирал их согнутым указательным пальцем.— Чего теперь. Обидно, конечно... Ведь вот счас уж дело прошлое — ты подумай только, какие я дела пропускал через свои руки! Ведь меня ревизором в другие районы посылали! Еду, бывало, и думаю: знали бы они, что у меня всего-то полтора класса ЦПШ, как у нас шутил один: церксвноприходской школы. Полторы зимы побегал всего-то, а вы меня на других ревизором! Молчал уж...

— А ведь вот дал же бог такое стремление учиться! — неподдельно уважительно заметила Марья.— Откуда бы такое стремление?

— Наблюдательность,— пояснил Баев.— Я вот, как себя помню, всегда был очень наблюдательный. Ишо карапуз был, а бывало, зайду по колена в воду — озерко за деревней было, помнишь? Раменское называлось — залезу и стою. По полдня торчал неподвижно — наблюдал, чего в воде происходит. Это уж от бога. Это уж не от людей. От родителя моего я мог только пинка получить заместо совета разумного.

— Надо же,— с уважением опять сказала Марья.— А мне вот хоть бы что! Больше играть любила на улице. По целым дням, бывало, не загонялась!

— Я уж, грешным делом, думаю...— Баев даже оглянулся и заговорил тише.— Я уж думаю: не приспала ли меня мать-покойница с кем другим?

— Господь с тобой! — воскликнула Марья, но тоже негромко воскликнула и тоже чуть было не оглянулась.— Тетка Анисья-то! Да ты что, Ферапонтыч... Господи! Да ты и похожий-то на отца. Только ты посытей да без бороды, а так-то... Да что ты, бог с тобой! Да с кем же она могла?

— Ну!..— Баев полез опять за пузырьком.— А в кого я такой башковитый? Я вот думаю: мериканцы-то у нас тут тада рылись — искали чего-то в горах... Шут его знает! Они же... это... народишко верткий.

— Дак, а похож-то?

— Ну!.. Похож! Потрись с малых лет возле человека — будешь похож. Собака вон на хозяина и то становится похожая, а человек-то... Шут его знает! Может, и грех на душу беру. Но шибко уж у нас с им... противоположные взгляды. Вот чую сердцем: не крестьянского я замеса. Сроду меня не тянуло пахать или там сеять...— ни к какой крестьянской работе. И к вину никогда не манило.— Баев не то что оголтело утверждал, что он не крестьянского рода, а скорей размышлял и сомневался.— Ведь если так-то подумать: куда же это все во мне подевалось? Должен же я стремиться землю иметь или там буянить на праздники. Нет! В огороде своем копаться не люблю! Вот в конторе посиживать, это по мне...

— Дак оно бы и все-то так посиживали — в тепле да на почете,— вставила Марья.

— Садись! — воскликнул с сердцем Баев.— Чего ж ты тут заместо мужика торчишь ночами? Садись в контору и посиживай.

— Посиживай...

— Во-от! Голову надо иметь? Вот я про голову и говорю. Откуда она у меня, у крестьянского выходца?

— Ну что же, уж из мужиков и людей больших не было? Вон в войну...

— В войну! — перебил Баев.— С наганами-то бегать да горло драть — это ишо не самая великая мудрость. Мало у нас их было, горлопанов! Одного Ваню Кысу возьми... С малолетства на ножах ходил. Из тюрьмы не вылазил, сердешный. А тоже храбрец из храбрецов считался...

— Ну сравнил!

— Ну а как же? Уж куда храбрей Кысы-то?.. Был ли кто?

— Кыса — разбойник. Разбойник, он разбойник и есть. Я про хороших мужиков говорю. Вон Иван Козлов... Был простой солдат, а стал командиром. Орденов сколько, фотокарточку тада присылал, мы всей деревней смотреть бегали.

— Это... все так,— вздохнул Баев. Он не скрывал, что не ровня ему полуграмотная Марья спорить, неглубоко берет баба своим рассудком.— Конечно, командир, ордена... трень-брень, сапоги со скрипом... Это все воздействует. Но все же голову никакими орденами не заменишь. Или уж она есть, или... так — куда шапку надевают.

Так беседовали Баев с Марьей. Часов до трех, до четырех засиживались. Кое в чем не соглашались, случалось, горячились, но расставались мирно. Баев уходил через площадь — наискосок — домой, а Марья устраивалась на диван и спала до рассвета спокойно. А потом день шумливый, суетной, бестолковый... И опять опускалась на землю ясная ночь, и охота было опять поговорить, подумать, повспоминать — испытать некую тихую, едва уловимую радость бытия.

...Как-то досиделись они, Баев с Марьей, часов до трех тоже, Баев собрался уже уходить, закладывал в нос последнюю порцию душистого — с валерьяновыми каплями — табаку, и тут увидела Марья, как на крыльцо сельмага всходит какой-то человек... Взошел, потрогал замок и огляделся. Марья так и приросла к стулу.

— Ферапонтыч,— выдохнула она с ужасом,— глядика!

Баев всмотрелся, и у него тоже от страха лицо вытянулось. Человек на крыльце потоптался, опять потрогал замок... Слышно звякнуло железо.

— Стреляй! — тихо крикнул Баев Марье.— Стреляй!.. Через окно прямо!

Марья не шевельнулась. Смотрела в окно.

— Стреляй! — опять велел Баев.

— Да как я?! В живого человека... «Стреляй!» Как?! Ты што?

Человек на крыльце поглядел на окна избушки, сошел с крыльца и направился прямиком к ним.

— Царица небесная, матушка,— зашептала Марья,— конец наступает. Прими, господи, душеньку мою грешную...

А Баев даже и шептать не мог, а только показывал пальцем на ружье и на окно — стреляй, дескать.

Шаги громко захрустели под окнами... Человек остановился, заглянул в окно. И тут Марья узнала его. Вскричала радостно:

— Да ведь Петька это! Петька Сибирцев!

— А чего это никого нет-то? — спросил Петька Сибирцев.

— Заходи, заходи! — помахала рукой Марья.— Вот гад-то подколодный! Я думала, у меня счас разрыв сердца будет. Вот черт-то полуношный! Он, наверно, с похмелья день с ночью перепутал.

Вошел Петька.

— Счас что, ночь, что ли? — спросил он.

— Вот идиот-то! — опять ругнулась Марья.— А ты что, за четвертинкой в сельмаг?

Петька с удивлением постигал, что теперь ночь.

— Заспал...

Баев пришел, наконец, в движение, нюхнул раз-другой, не чихнул, а высморкался громко в платок.

— Да-а,— сказал он.— Пить так уж пить — чтоб уж и время потерять: где день, где ночь.

Петька Сибирцев сел на скамеечку, потрогал голову.

— Ну надо же! — все изумлялась Марья.— А если б я стрельнула?

Петька поднял голову, посмотрел на Марью — то ли не понял, что она сказала, то ли не придал значения ее словам.

— У него голова болит,— с сердцем посочувствовал Баев.— Эх-х... Жители! — Баев стряхнул платком табачную пыль с губ, вытер глаза.— Мне счас внучка книжку читает: Александра Невский землю русскую защи-

щал... Написано хорошо, но только я ни одному слову не верю там.

Марья и Петька посмотрели на старика.

— Не верю! — еще раз с силой сказал Баев.— Выдумал... и получил хорошие деньги.

— Как это? — не поняла Марья.

— Наврал, как! Не врут, что ли?

— Это же исторический факт,— сказал Петька.— Как это он мог наврать? Конечно, он, наверно, приукрасил, но это же было.

— Не было.

— Вот как! — Петька качнул больной головой.— Хм...

— С кем это он защищал-то ее? Вот с такими вот воинами вроде тебя?

Петька опять посмотрел на старика... Но смолчал.

— Если уж счас с вами ничего сделать не могут — со всех концов вас воспитывают да развивают... борются всячески, то где же тогда было набраться сознания?

Петька похлопал по карманам — поискал курево, но не обнаружил ни папирос, ни спичек.

— Пиши в газету,— посоветовал он.— Опровергай.

И встал и пошел вон из избушки.

Марья и Баев смотрели в окно, как шел Петька. Под ногами парня звонко хрустело льдистое стекло ночной замерзи, и некоторое время шаги его еще сухо шуршали, когда уж он свернул за угол, за сельмаг.

— У их, наверно, свадьба,— сказала Марья.— Сестра-то Петькина за этого вышла... за этого... Как его? Брат-то к агрономше приехал... Как его?

— Черт их теперь знает. И знать не хочу... Сброд всякый.— Баев почувствовал, что он весь вдруг ослаб, ноги особенно — как ватные сделались. Все же испугался он сильно.— Надо же так пить, чтобы день с ночью перепутать!

— Они, ночи-то, вон какие светлые. Наверно, соскочил со сна-то — видит, светло, и дунул в сельмаг.

— Это ж... он и солнце с луной спутал?

Марья засмеялась.

— Видно, гуляют крепко.

В животе у Баева затревожилось, он скоренько завинтил флакончик с табаком, спрятал его в карман, поднялся.

— Пойду. Спокойно тебе додежурить.

— Будь здоров, Ферапонтыч. Приходи завтра, я завтра картошки принесу — напекем.

— Напекем, напекем,— сказал Баев. И поскорей вышел.

Марья видела, как и он тоже пересек площадь и удалился в улицу.

Шел он, поторапливался, смотрел себе под ноги. И под его ногами тоже похрустывал ледок, но мягко — Баев был в валенках.

А такая была ясность кругом, такая была тишина и ясность, что как-то даже не по себе маленько, если всмотреться и вслушаться. Неспокойно как-то. В груди что-то такое... Как будто подкатит что-то горячее к сердцу снизу и в виски мягко стукнет. И в ушах толчками пошумит кровь. И все, и больше ничего на земле не слышно. И висит на веревке луна.

1972

МНЕНИЕ

Некто Кондрашин, Геннадий Сергеевич, в меру полненький гражданин, голубоглазый, слегка лысеющий, с надменным, несколько даже брезгливым выражением на лице, в десять часов без пяти минут вошел в подъезд большого глазастого здания, взял в окошечке ключ под номером 208, взбежал, поигрывая обтянутым задком, на второй этаж, прошел по длинному коридору, отомкнул комнату номер 208, взял местную газету, которая была вложена в дверную ручку, вошел в комнату, повесил пиджак на вешалку и, чуть поддернув у колен белые отглаженные брюки, сел к столу. И стал просматривать газету. И сразу наткнулся на статью своего шефа, «шефуни», как его называли молодые сотрудники. И стал читать. И по мере того, как он читал, брезгливое выражение на его лице усугублялось еще насмешливостью.

— Боженька мой! — сказал он вслух. Взялся за телефон, набрал внутренний трехзначный номер.

Телефон сразу откликнулся:

— Да. Яковлев.

— Здравствуй! Кондрашин. Читал?

Телефон чуть помедлил и ответил со значительностью, в которой тоже звучала насмешка, но скрытая:

— Читаю.

— Заходи, общнемся.

Кондрашин отодвинул телефон, вытянул тонкие губы трубочкой, еще пошуршал газетой, бросил ее на стол — небрежно и подальше, чтоб видно было, что она брошена и брошена небрежно... Поднялся, походил по кабинету. Он, пожалуй, слегка изображал из себя кинематографического американца: все он делал чуть размашисто, чуть небрежно... Небрежно взял в рот сигарету, небрежно щелкнул дорогой зажигалкой, издалека небрежно бросил пачку сигарет на стол. И предметы слушались его: ложились, как ему хотелось,— небрежно, он делал вид, что не отмечает этого, но он отмечал и был доволен.

Вошел Яковлев.

Они молча — небрежно — пожали друг другу руки. Яковлев сел в кресло, закинул ногу на ногу, при этом обнаружились его красивые носки.

— А? — спросил Кондрашин, кивнув на газету.— Каков? Ни одной свежей мысли, болтовня с апломбом.— Он, может быть, и походил бы на американца, этот Кондрашин, если б нос его, вполне приличный нос, не заканчивался бы вдруг этаким тамбовским лапоточком, а этот лапоточек еще и — совсем уж некстати — слегка розовел, хотя лицо Кондрашина было сытым и свежим.

— Не говори,— сказал Яковлев, джентльмен попроще. И качнул ногой.

— Черт знает!..— воскликнул Кондрашин, продолжая ходить по кабинету и попыхивая сигаретой.— Если нечего сказать, зачем тогда писать?

— Откликнулся. Поставил вопросы...

— Да вопросов-то нет! Где вопросы-то?

— Ну как же? Там даже есть фразы: «Мы должны напрячь все силы...», «Мы обязаны в срок...»

— О да! Лучше бы уж он напрягался в ресторане — конкретнее хоть. А то именно — фразы.

— В ресторане — это само собой, это потом.

— И ведь не стыдно! — изумлялся Кондрашин.— Все на полном серьезе... Хоть бы уж попросил кого-нибудь, что ли. Одна трескотня, одна трескотня, ведь так даже для районной газеты уже не пишут. Нет, садится писать! Вот же Долдон Иваныч-то.

— Черт с ним, чего ты волнуешься-то? — искренне спросил Яковлев.— Дежурная статья...

— Да противно все это.

— Что ты, первый год замужем, что ли?

— Все равно противно. Бестолково, плохо, а вид-то, посмотри, какой, походка одна чего стоит. Тьфу!..— И Кондрашин вполне по-русски помянул «мать».— Ну почему?! За что? Кому польза от этого надутого дурака. Бык с куриной головой...

— Что ты сегодня? — изумился теперь Яковлев.— Какая тебя муха укусила? Неприятности какие-нибудь?

— Не знаю...— Кондрашин сел к столу, закурил новую сигарету.— Нет, все в порядке. Черт ее знает, просто взбесила эта статья. Мы как раз отчет готовим, не знаешь, как концы с концами свести, а этот,— Кондрашин кивнул на газету,— дует свое... Прямо по морде бы этой статьей, по морде бы!..

— Да,— только и сказал Яковлев.

Оба помолчали.

— У Семена не был вчера? — спросил Яковлев.

— Нет. Мне опять гостей бог послал...

— Из деревни?

— Да-а... Моя фыркает ходит, а что я сделаю? Не выгонишь же.

— А ты не так. Ты же Ожогина знаешь?

— Из горкомхоза?

— Да.

— Знаю.

— Позвони ему, он гостиницу всегда устроит. Я, как ко мне приезжают, сразу звоню Ожогину — и никс проблем.

— Да неудобно... Как-то, знаешь, понятия-то какие! Скажут: своя квартира есть, а устраивает в гостиницу. И тем не объяснишь, и эта... вся испсиховалась. Вся зеленая ходит. Вежливая и зеленая.

Яковлев засмеялся, а за ним, чуть помедлив, и Кондрашин усмехнулся.

С тем они и расстались. Яковлев пошел к себе, а Кондрашин сел за отчет.

Через час примерно Кондрашину позвонили. От «шефуни».

— Дмитрий Иванович просит вас зайти,— сказал в трубку безучастный девичий голосок.

— У него есть кто-нибудь? — спросил Кондрашин.

— Начальник отдела кадров, но они уже заканчивают. После него просил зайти вас.

— Хорошо,— сказал Кондрашин. Положил трубку, подумал: не взять ли с собой чего, чтобы потом не бе-

гать. Поперебирал бумаги, не придумал что брать... Надел пиджак, поправил галстук, сложил губы трубочкой — привычка такая, эти губы трубочкой: вид сразу становился деловой, озабоченный и, что очень нравилось Кондрашину в других,— вид человека, настолько погруженного в свои мысли, что уж и не замечались за собой некоторые мелкие странности вроде этой милой ребячьей привычки, какую он себе подобрал,— губы трубочкой, и, выйдя из кабинета, широко и свободно пошагал по коридору... Взбежал опять по лестнице на третий этаж, бесшумно, вольно, с удовольствием прошел по мягкой ковровой дорожке, смело распахнул дверь приемной, кивнул хорошенькой секретарше и вопросительно показал пальцем на массивную дверь «шефуни».

— Там еще,— сказала секретарша.— Но они уже заканчивают.

Кондрашин свободно опустился на стул, приобнял рукой спинку соседнего стула и легонько стал выстукивать пальцами по гладкому дереву некую мягкую дробь. При этом сосредоточенно смотрел перед собой — губы трубочкой, брови чуть сдвинуты к переносью — и думал о секретарше и о том помпезном уюте, каким издавна окружают себя все «шефы», «шефуни», «надшефы» и даже «подшефы». Вообще ему нравилась эта представительность, широта и некоторая чрезмерность обиталища «шефов», но, например, Долдон Иваныч напрочь не умеет всем этим пользоваться: вместо того, чтобы в этой казенной роскоши держаться просто, доступно и со вкусом, он надувается как индюк, важничает. О секретарше он подумал так: никогда, ни с какой секретаршей он бы ни в жизнь не завел ни самого что ни на есть пустого романа. Это тоже... долдонство: непременно валандаться с секретаршами. Убогость это, неуклюжесть. Примитивность. И всегда можно погореть...

Дверь кабинета неслышно открылась... Вышел начальник отдела кадров. Они кивнули друг другу, и Кондрашин ушел в дерматиновую стену.

Дмитрий Иванович, «шефуня», был мрачноват с виду, горбился за столом, поэтому получалось, что он смотрит исподлобья. Взгляд этот пугал многих.

— Садитесь,— сказал Дмитрий Иванович.— Читали? — И пододвинул Кондрашину сегодняшнюю областную газету.

Кондрашин никак не ждал, что «шефуня» прямо с этого и начнет — с газеты. Он растерялся... Мысли в голове разлетелись, точно воробьи, вспугнутые камнем. Хотел уж соврать, что не читал еще, но вовремя сообразил, что это хуже... Нет, это хуже.

— Читал,— сказал Кондрашин. И на короткое время сделал губы трубочкой.

— Хотел обсудить ее до того, как послать в редакцию, но оттуда позвонили — срочно надо. Так вышло, что не обсудил. Просил их подождать немного, говорю: «Мои демократы мне за это шею намылят». Ни в какую. Давайте, говорите теперь — постфактум. Мне нужно знать мнение работников.

— Ну, это понятно, почему они торопились,— начал Кондрашин, глядя на газету. Он на секунду-две опять сделал губы трубочкой... И посмотрел прямо в суровые глаза «шефуни».— Статья-то именно сегодняшняя. Она сегодня и нужна.

— То есть? — не понял Дмитрий Иванович.

— По духу своему, по той... как это поточнее — по той деловитости, конкретности, по той простоте, что ли, хотя там все не просто, именно по духу своему она своевременна. И современна.— Кондрашин так смотрел на грозного «шефуню»— простодушно, даже как-то наивно, точно в следующий момент хотел спросить: «А что, кому-нибудь неясно?»

— Но ведь теперь же все с предложениями высовываются, с примерами...

— Так она вся — предложение! — перебил начальника Кондрашин.— Она вся, в целом, предлагает... зовет, что ли, не люблю этого слова, работать не так, как мы вчера работали, потому что на дворе у нас — одна тысяча девятьсот семьдесят второй. Что касается примеров... Пример — это могу я двинуть, со своего, так сказать, места, но где же тогда обобщающая мысль? Ведь это же не реплика на совещании, это статья.— И Кондрашин приподнял газету над столом и опустил.

— Вот именно,— сказал «шефуня».— Примеров у меня — вон, полный стол.— И он тоже приподнял какие-то бумаги и бросил их.

— Пусть приходят к нам в отделы — мы их завалим примерами,— еще сказал Кондрашин.

— Как с отчетом-то? — спросил Дмитрий Иванович.

— Да ничего... Все будет в порядке.

— Вы там смотрите, чтоб липы не было,— предупредил Дмитрий Иванович.— Консультируйтесь со мной. А то наворочаете...

— Да ну, что мы... первый год замужем, что ли? — Кондрашин улыбнулся простецкой улыбкой.

— Ну, ну,— сказал Дмитрий Иванович.— Хорошо.— И кивнул головой. И потянулся к бумагам на столе.

Кондрашин вышел из кабинета.

Секретарша вопросительно и, как показалось Кондрашину, с ехидцей глянула на него. Спросила:

— Все хорошо?

— Да,— ответил Кондрашин. И подумал, что, пожалуй, с этой дурочкой можно бы потихоньку флиртануть — так, недельку потратить на нее, потом сделать вид, что ничего не было. У него это славно получалось. Он даже придержал шаг, но тут же подумал: «Но это ж деньги, деньги!..» И сказал: — Вы сегодня выглядите на сто рублей, Наденька.

— Да уж... прямо,— застеснялась Наденька.

«Совсем дура,— решил Кондрашин.— Зеленая».

И вышел из приемной. И пошел по ковровой дорожке... По лестнице на второй этаж не сбежал, а сошел медленно. Шел и крепко прихлопывал по гладкой толстой перилине ладошкой. И вдруг негромко, зло, даже остервенело, о ком-то сказал:

— Кр-ретины.

1972

БЕСПАЛЫЙ

Все кругом говорили, что у Сереги Безменова злая жена. Злая, капризная и дура. Все это видели и понимали. Не видел и не понимал этого только Серега. Он злился на всех и втайне удивлялся: как они не видят и не понимают, какая она самостоятельная, начитанная, какая она... Черт их знает, людей: как возьмутся языками чесать, так не остановишь. Они же не знали, какая она остроумная, озорная. Как она ходит! Это же поступь, черт возьми, это движение вперед, в ней же тогда каждая жилочка живет и играет, когда она идет. Серега особенно любил походку жены: смотрел, и у него зубы немели от любви. Он дома с изумлением оглядывал ее всю, играл желваками и потел от волнения.

— Что? — спрашивала Клара.— Мм?..— И, играя, по-

казывала Сереге язык. И шла в горницу, будто нарочно, чтоб еще раз показать ему, как она ходит. Серега устремлялся за ней.

...И они же еще вякали про то, что она... О деревня! Серега молил бога, чтоб ему как-нибудь не выронить из рук этот драгоценный подарок судьбы. Порой он даже страшился: по праву ли свалилось на его голову такое счастье, достоин ли он его, и нет ли тут какого недоразумения — вдруг что-нибудь такое выяснится, и ему скажут: «Э-э, друг ситный, да ты что?! Ишь захапал!»

Серега увидел Клару первый раз в больнице (она только что приехала работать медсестрой), увидел и сразу забеспокоился. Сперва он увидел только очки и носик-сапожок. И сразу забеспокоился. Это потом уж ему предстояла радость открывать в ней все новые и новые прелести. Сперва же только блестели очки и торчал вперед носик, все остальное была рыжая прическа. Белый халатик на ней разлетался в сторочы; она стремительно прошла по коридору, бросив на ходу понурой очереди: «Кто на перевязку — заходите». И скрылась в кабинетике. Серега так забеспокоился, что у него заболело сердце. Потом она касалась его ласковыми теплыми пальцами, спрашивала: «Не больно?» У Сереги кружилась голова от ее духов, он на вопросы только мотал головой — что не больно. И страх сковал его такой, что он боялся пошевелиться.

— Что вы? — спросила Клара.

Серега от растерянности опять качнул головой — что не больно. Клара засмеялась над самым его ухом... У Сереги где-то внутри, выше пупка, зажгло... Он сморщился и... заплакал. Натурально заплакал! Он не мог понять себя и ничего не мог с собой сделать. Он сморщился, склонил голову и заскрипел зубами. И слезы закапали ему на больную руку и на ее белые пальчики. Клара испугалась: «Больно?!»

— Да иди ты!..— с трудом выговорил Серега.— Делай свое дело.— Он приник бы мокрым лицом к этим милым пальчикам, и никто бы его не смог оттащить от них. Но страх, страх парализовал его, а теперь еще и стыд, что заплакал.

— Больно вам, что ли? — опять спросила Клара.

— Только... это... не надо изображать, что мы все тут от фонаря работаем,— сказал Серега сердито.— Все мы, в конце концов, живем в одном государстве.

— Что, что?

Ну и так далее.

Через восемнадцать дней они поженились.

Клара стала называть его Серый. Ласково. Она, оказывается, была уже замужем, но муж попался «вареный какой-то», они скоро разошлись. Серега от одного того, что первый муж был «вареный», ходил, выпятив грудь, чувствовал в себе силу необыкновенную. Клара хвалила его.

И в это-то время, когда он не знал, что бы такое своротить от счастья, они говорили, что жена его капризная и злая. Серега презирал их всех. Они же не знали, как она... О люди! Все иззавидовались, черти. Что такое, не могут люди спокойно выносить, когда кому-нибудь повезет.

— Вы берите пример с животного мира,— посоветовал Серега одному такому умнику.— Они же спокойно относятся, когда, например, одну какую-нибудь собачку берут в цирк выступать. Они же не злятся. Чего вы-то психуете?

— Да жалко тебя...

— Жалко у пчелки... знаешь где? Вот так.

Серега злился, понимал, что это ни к чему, глупо и еще больше злился.

— Не обращай внимания на пустолаек,— говорила жена Клара.— Нам же хорошо, и все. Я их всех в упор не вижу.

Серега поругался с родней, что они не пришли в восторг от Клары, с дружками... Бросил совсем выпивать, купил стиральную машину и по субботам крутил бельишко в предбаннике, чтоб никто из зубоскалов не видел. Мать Сереги не могла понять: хорошо это или плохо. С одной стороны, вроде как-то не пристало мужику бабскую работу делать, с другой стороны... Шут ее знает!

— Но он же не пьет! — сказала Клара свекрови.— Чего вам еще? Он занят делом.

— Дак а ты возьми да пожалей его: возьми да сама постирай, он неделю-то наломался, ему отдохнуть надо.

— А я что, не работаю?

— Да твоя-то работа... твою-то работу рази можно сравнить с мужниной, матушка! Покрути-ка его деньденьской (Серега работал трактористом)— руки-то какие надо! Он же не двужильный.

— Я сама знаю, как мне жить с мужем,— сказала на это Клара.— Вам надо, чтобы он пил?

— Зачем же?

— Ну и все. Им же делаешь хорошо, и они же еще недовольны.

— Да ведь мне жалко его, он же мне сын...

— Вам не жалко, когда они под заборами пьяные валяются? Жалко? Ну и все. И не надо больше говорить на эту тему. Ясно?

— Господи, батюшка!..— опешила мать.— И слова не скажи. Замордовала мужика, а ей и слова не скажи.

— Хорошо, я скажу, чтобы он пошел в чайную и напился с дружками. Вас это устраивает?

— Да чо ты извязалась с пьянкой-то! — рассердилась мать.— Он и до тебя не шибко пил, чо ты с пьянкой-то? Заладила: «пьянка, пьянка».

— Хорошо, я скажу ему, что вы не велите стирать,— объявила Клара. И даже поднялась и книжку медицинскую отложила в сторону.

Мать испугалась.

— Ладно! Сразу —«скажу». Только бы бегать жалиться.

— Хорошо, что вы предлагаете? — Клара через сильные очки прямо смотрела на свекровь.— Конкретно.

— Ничего. Только вижу я, милая, не век ты собралась с мужем жить, вот что. Если б жить думала, ты бы его берегла. А ты, как... не знаю, как эксплотаторша какая: заездила мужика. Неужели же тебе тяжало хоть воды-то натаскать! Он и так целый день там руки-то выворачивает, а придет домой — снова запрягайся. Да когда же ему отдохнуть-то, бедному?

— Повторяю: я о нем думаю. И когда мне его пожалеть, я сама знаю. Это вы тут... распустили мужчин, потом не знаете, что с ними делать.

— Господи, господи,— только и сказала мать.— Вот какие нынче пошли жены-то! Ай-яй!

Знал бы Серега про эти разговоры! У Клары хватало ума не передавать их мужу.

А Сереге это одно удовольствие — воды натаскать, бельишко простирнуть... Забежит в дом, поцелует жену в носик, подивится про себя мощному и плавному загибу ее бедер. А то попросит ее надеть белый халат.

— Ну заче-ем! — мило капризничала Клара.— Что за странности какие-то?

— Я прошу,— настаивал Серега.— Я же тогда тебя в халатике увидел, первый раз-то. Надень, погляжу: у меня вот здесь опять ворохнется.— Он показывал под сердце.— Я прошу, Кларнетик.— Он ее называл — Кларнетик. Или Кларнет, когда надо громко позвать.

Клара надевала халат, и они баловались.

— Где болит? — спрашивала Клара.

— Вот здесь,— показывал Серега на сердце.

— Давно?

— Уже... семьдесят пять дней.

— Разрешите.— Клара прижималась ухом к Серегиной груди. Серега вдыхал запах ее крашеных волос... И снова, и снова у него чуть кружилась голова от волнения и радости. Он стискивал «врача» в объятиях, искал губами ее милый носик — любил почему-то целовать в носик.

— Ну-у,— противилась Клара,— врача-то!..— Ей, наверно, слегка уже надоели одинаковые ласки мужа.

«Господи, за что мне такое счастье! — думал Серега, выходя опять во двор к стиральному аппарату.— Я же могу не вынести так. Тронусь, чего доброго. Или ослабну вовсе».

Он не тронулся. Случилось другое, непредвиденное.

Приехал на каникулы двоюродный брат Серегин, Славка. Славка учился в большом городе в техническом вузе, родня им хвасталась, и, когда он приезжал на каникулы, дядя Николай, отец Славки, собирал вечер. Так было уже два раза, теперь Славка перешел на третий курс. Ну, собрались опять. Позвали Серегу с Кларой.

Шло сперва все хорошо. Клара была в сиреневом платье с пышными рукавами, на груди медальон — часы на золотой цепочке, волосы отливают дорогой медью, очки блестят... Как любил ее Серега за эти очки! Осмотрится по народу, глянет на жену, и опять сердце радостью дрогнет: из всех-то она выделялась за столом, гордая сидела, умная, воспитанная — очень и очень не простая. Сереге понравилось, что и Славка тоже выделил ее из всех, переговаривался с ней через стол. Сперва так о чем попало, а тут так вдруг интересно заговорили, что все за столом смолкли и слушали их.

— Хорошо, хорошо,— говорил Славка, улавливая ухом, что все его слушают,— мы — технократия, народ... сухой, как о нас говорят и пишут... Я бы тут только уточ-

нил: конкретный, а не сухой, ибо во главе угла для нас — господин Факт.

— Да, но за фактом подчас стоят не менее конкретные живые люди,— возразила на это Клара, тоже улавливая ухом, что все их слушают.

— Кто же спорит! — сдержанно, через улыбочку, пульнул технократ Славка.— Но если все время думать о том, что за фактом стоят живые люди, и делать на это бесконечные сноски, то наука и техника будут топтаться на месте. Мы же не сдвинемся с мертвой точки!

Клара, сверкая стеклом, медью и золотом, сказала на это так:

— Значит, медицина должна в основном подбирать за вами трупы? — Это она сильно выразилась; за столом стало совсем тихо.

Славка на какой-то миг растерялся, но взял себя в руки и брякнул:

— Если хотите — да! — сказал он.— Только такой ценой человечество овладеет всеми богатствами природы.

— Но это же ш а р л а т а н с т в о,— при общей тишине негромко, с какой-то особой значительностью молвила Клара.

Славка было засмеялся, но вышло это фальшиво, он сам почувствовал. Он занервничал.

— Почему же шарлатанство? Насколько я понимаю, шарлатанство свойствено медицине. И только медицине.

— Вы имеете в виду самовольные аборты?

— Не только...

— Знахарство? Так вот, запомните раз и навсегда,— напористо, и сердито, и назидательно заговорила Клара,— что всякий, кто берется лечить даже насморк человека, но не имеет на это соответствующего права, есть потенциальный преступник.— Особенно четко и страшно выговорилось у нее это «преступник». И это при бабках, которые вовсю орудовали в деревне всякими травками, настоями, отварами, это при них она так... Все смотрели на Клару. И тут понял Серега, что отныне жену его будут уважать и бояться. Он ликовал. Он молился на свою очкастую богиню, хотелось заорать всем: «Что, съели?! А вякали!..» Но Серега не заорал, а опять заплакал. Черт знает что за нервы у него! То и дело плакал. Он незаметно вытер слезы и закурил.

Славка что-то такое еще говорил, но уже и за столом заговорили тоже: Славка проиграл. К Кларе потяну-

лись — кто с рюмкой, кто с вопросом... Один очень рослый родственник Серегин, дядя Егор, наклонился к Сереге, к уху, спросил:

— Как ее величать?

— Никаноровна. Клавдия Никаноровна.

— Клавдия Никаноровна! — забасил дядя Егор, расталкивая своим голосом другие голоса.— А, Клавдия Никаноровна!..

Клара повернулась к этому холму за столом.

— Да, я вас слушаю.— Четко, точно, воспитанно.

— А вот вы замужем за нашим... ну, родственником, а свадьбу мы так и не справили. А почему вообще-то? Не по обычаю...

Клара не задумывалась над ответами. Вообще казалось, вот это и есть ее стихия — когда она в центре внимания и раздает направо и налево слова, улыбки... Когда все удивляются на нее, любуются ею, кто и завидует исподтишка, а она все шлет и шлет и катит от себя волны духов, обаяния и культуры. На вопросы этого дяди Егора Клара чуть прогнула в улыбке малиновые губы... Скользнула взглядом по технократу Славке и сказала, не дав даже договорить дяде Егору:

— Свадьба — это еще не знак качества. Это,— Клара подняла над столом руку, показала всем золотое кольцо на пальце,— всего лишь символ, но не гарантия. Прочность семейной жизни не исчисляется количеством выпитых бутылок.

Ну она разворачивалась сегодня! Даже Серега не видел еще такой свою жену. Нет, она была явно в ударе. На дядю Егора, как на посрамленного бестактного человека, посыпалось со всех сторон:

— Получил? Вот так.

— Что, Егорша: спроть шерсти? Хх-э!..

— С обычаем полез! Тут без обычая отбреют так, что... На, закуси лучше.

Серега — в безудержной радости и гордости за жену — выпил, наверно, лишнего. У него выросли плечи так, что он мог касаться ими противоположных стен дома: радость его была велика, хотелось обнимать всех подряд и целовать. Он плакал, хотел петь, смеялся... Потом вышел на улицу, подставил голову под рукомойник, облился и ушел за угол, под навес, покурить и обсохнуть. Темнеть уже стало, ветерок дергал. Серега скоро отошел на воздухе и сидел думал. Не думал, а как-то отды-

хал весь — душой и телом. Редкостный, чудный покой слетел на него: он как будто куда-то плыл, повинуясь спокойному, мощному току времени. И думалось просто и ясно: «Вот живу. Хорошо».

Вдруг он услышал два торопливых голоса на крыльце дома; у него больно екнуло сердце: он узнал голос жены. Он замер. Да, это был голос Клары. А второй — Славкин. Над навесом была дощатая перегородка, Славка и Клара подошли к ней и стали. Получилось так: Серега сидел по одну сторону перегородки, спиной к ней, а они стояли по другую сторону... То есть это так близко, что можно было услышать стук сердца чужого, не то что голоса или шепот, или возню какую. Вот эта-то близость — точно он под кроватью лежал — так поначалу ошарашила, оглушила, что Серега не мог пошевельнуть ни рукой, ни ногой.

— Чиженька мой,— ласково, тихо — так знакомо! — говорила Клара,— да что же ты так торопишься-то? Дай я тебя...— Чмок-чмок. Так знакомо! Так одинаково! Так близко...— Славненький мой. Чудненький мой...— Чмок-чмок.— Сладенький...

Они там слегка возились и толкали Серегу. Славка что-то торопливо бормотал, что-то спрашивал — Серега пропускал его слова,— Клара тихо смеялась и говорила:

— Сладенький мой... Куда, куда? Ах ты шалунишка! Поцелуй меня в носик.

«Так вот это как бывает,— с ужасом, с омерзением, с болью постигал Серега.— Вот как!» И все живое, имеющее смысл, имя,— все ухнуло в пропасть, и стала одна черная яма. И ни имени нет, ни смысла — одна черная яма. «Ну, теперь все равно»,— подумал Серега. И шагнул в эту яму.

— Кларнети-ик, это я, Серый,— вдруг пропел Серега, как будто он рассказывал сказку и подступил к моменту, когда лисичка-сестричка подошла к домику петушка, и так вот пропела: — Ау-у! — еще спел Серега.— А я вас счас буду убива-ать.

Дальше все пошло мелькать, как во сне: то то видел Серега, то это... То он куда-то бежал, то кричали люди. Ни тяжести своей, ни плоти Серега не помнил. И как у него в руке очутился топор, тоже не помнил. Но вот что он запомнил хорошо: как Клара прыгала через прясло. Прическа у Клары сбилась, волосы растрепались; когда она маханула через прясло, ее рыжая грива взды-

билась над головой... Этакий огонь метнулся. И этот-то летящий момент намертво схватила память. И когда потом Серега вспоминал бывшую свою жену, то всякий раз в глазах вставала эта картина — полет, и было смешно и больно.

В тот вечер все вдруг отшумело, отмелькало... Куда-то все подевались. Серега остался один с топором... Он стал все сознавать, стало нестерпимо больно. Было так больно, даже дышать было трудно от боли. «Да что же это такое-то! Что же делается?» — подумал Серега... Положил на жердину левую руку и тяпнул топором по пальцам. Два пальца — указательный и средний — отпали. Серега бросил топор и пошел в больницу. Теперь хоть куда-то надо идти. Руку замотал рубахой, подолом.

С тех пор его и прозвали на селе — Беспалый.

Клара уехала в ту же ночь; потом ей куда-то высылали документы: трудовую книжку, паспорт... Славка тоже уехал и больше на каникулы не приезжал. Серега попрежнему работает на тракторе, орудует этой своей культей не хуже прежнего. О Кларе никогда ни с кем не говорит. Только один раз поругался с мужиками.

— Говорили тебе, Серьга: злая она...

— Какая она злая-то?! — вдруг вскипел Серега. — При чем тут злая-то?

— А какая она? Добрая, что ли?

— Да при чем тут добрая, злая? В злости, что ли, дело?

— А в чем же?

— Ни в чем! Не знаю, в чем... Но не в злости же дело. Есть же другие какие-то слова... Нет, заталдычили одно: злая, злая. Может, наоборот, добрая: брату хотела помочь.

— Серьга, — поинтересовались, — а вот ты же это... любил ее... А если б счас приехала, простил бы?

Серега промолчал на это. Ничего не сказал.

Тогда мужики сами принялись рассуждать.

— Что она, дура, что ли, приедет.

— А что? Подумает — любил...

— Ну, любил, любил. Он любил, а она не любила. Она уже испорченный человек — на одном все равно не остановится. Если смолоду человек испортился, это уже гиблое дело. Хоть мужика возьми, хоть бабу — все равно. Она иной раз и сама не хочет, а делает.

— Да, это уж только с середки загнить, а там любой ветерок пошатнет.

— Воли им дали много! — с сердцем сказал Костя Бибиков, невзрачный мужичок, но очень дерзкий на слово.— Дед Иван говорит: счас хорошо живется бабе да корове, а коню и мужику плохо. И верно. Воли много, они и распустились. У Игнахи вон Журавлева тоже: напилась дура, опозорила мужика — вел ее через всю деревню. А потом на его же: «А зачем пить много разрёшал!» Вот как!..

— А молодые-то!.. Юбки эти возьми — посмотришь, иде-ет... Тьфу!

Серега сидел в сторонке, больше не принимал участия в разговоре. Покусывал травинку, смотрел вдаль куда-то. Он думал: что ж, видно, и это надо было испытать в жизни. Но если бы еще раз налетела такая буря, он бы опять растопырил ей руки — пошел бы навстречу. Все же, как ни больно было, это был праздник. Конечно, где праздник, там и похмелье, это так... Но праздник-то был? Был. Ну и все.

1972

АЛЕША БЕСКОНВОЙНЫЙ

Его и звали-то не Алеша, он был Костя Валиков, но все в деревне звали его Алешей Бесконвойным. А звали его так вот за что: за редкую в наши дни безответственность, неуправляемость. Впрочем, безответственность его не простиралась беспредельно: пять дней в неделе он был безотказный работник, больше того — старательный работник, умелый (летом он пас колхозных коров, зимой был скотником — кочегарил на ферме, случалось — ночное дело —принимал телят), но наступала суббота, и тут все: Алеша выпрягался. Два дня он не работал в колхозе: субботу и воскресенье. И даже уж и забыли, когда это он завел себе такой порядок, все знали, что этот преподобный Алеша «сроду такой»— в субботу и воскресенье не работает. Пробовали, конечно, повлиять на него, и не раз, но все без толку. Жалели вообще-то: у него пятеро ребятишек, из них только старший добрался до десятого класса, остальной чеснок сидел где-то еще во втором, в третьем, в пятом... Так и махнули на него рукой. А что сделаешь? Убеждай его, не убеждай — как об стенку горох. Хлопает глазами...

«Ну, понял, Алеша?» — спросят. «Чего?» — «Да нельзя же позволять себе такие вещи, какие ты себе позволяешь! Ты же не на фабрике работаешь, ты же в сельском хозяйстве! Как же так-то? А?» — «Чего?» — «Брось дурачка из себя строить! Тебя русским языком спрашивают: будешь в субботу работать?» — «Нет. Между прочим, насчет дурачка — я ведь могу тоже... дам в лоб разок, и ты мне никакой статьи за это не найдешь. Мы тоже законы знаем. Ты мне оскорбление словом, я тебе — в лоб: считается — взаимность». Вот и поговори с ним. Он даже на собрания не ходил в субботу.

Что же он делал в субботу?

В субботу он топил баню. Все. Больше ничего. Накалял баню, мылся и начинал париться. Парился, как ненормальный, как паровоз, по пять часов парился! С отдыхом, конечно, с перекуром... Но все равно это же какой надо иметь организм! Конский?

В субботу он просыпался и сразу вспоминал, что сегодня суббота. И сразу у него распускалась в душе тихая радость. Он даже лицом светлел. Он даже не умывался, а шел сразу во двор — колоть дрова.

У него была своя наука — как топить баню. Например, дрова в баню шли только березовые: они дают после себя стойкий жар. Он колол их аккуратно, с наслаждением...

Вот, допустим, одна такая суббота.

Погода стояла как раз скучная — зябко было, сыро, ветрено — конец октября. Алеша такую погоду любил. Он еще ночью слышал, как пробрызнул дождик — постукало мягко, дробно в стекла окон, и перестало. Потом в верхнем правом углу дома, где всегда гудело, загудело — ветер наладился. И ставни пошли дергаться. Потом ветер поутих, но все равно утром еще потягивал — снеговой, холодный.

Алеша вышел с топором во двор и стал выбирать березовые кругляши на расколку. Холод полез под фуфайку... Но Алеша пошел махать топориком и согрелся.

Он выбирал из поленницы чурки потолще... Выберет, возьмет ее, как поросенка, на руки и несет к дровосеке.

— Ишь ты... какой, — говорил он ласково чурбаку. — Атаман какой... — Ставил этого «атамана» на широкий пень и тюкал по голове.

Скоро он так натюкал большой ворох... Долго стоял и смотрел на этот ворох. Белизна и сочность, и чистота сокровенная поленьев, и дух от них — свежий, нутряной, чуть стылый, лесовой...

Алеша стаскал их в баню, аккуратно склал возле каменки. Еще потом будет момент — разжигать, тоже милое дело. Алеша даже волновался, когда разжигал в каменке. Он вообще очень любил огонь.

Но надо еще наносить воды. Дело не столько милое, но и противного в том ничего нет. Алеша старался только поскорей натаскать. Так семенил ногами, когда нес на коромысле полные ведра, так выгибался длинной своей фигурой, чтобы не плескать из ведер, смех смотреть. Бабы у колодца всегда смотрели. И переговаривались.

— Ты глянь, глянь, как пружинит! Чисто акробат!..

— И не плескает ведь!

— Да куда так несется-то?

— Ну, баню опять топит...

— Да рано же еще!

— Вот весь день будет баней заниматься. Бесконвойный он и есть... Алеша.

Алеша наливал до краев котёл, что в каменке, две большие кадки и еще в оцинкованную ванну, которую он купил лет пятнадцать назад, в которой по очереди перекупались все его младенцы. Теперь он её приспособил в баню. И хорошо! Она стояла на полкé, с краю, места много не занимала — не мешала париться,— а вода всегда под рукой. Когда Алеша особенно заходился на полкé, когда на голове волосы трещали от жары, он курял голову прямо в эту ванну.

Алеша натаскал воды и сел на порожек покурить. Это тоже дорогая минута — посидеть покурить. Тут же Алеша любил оглядеться по своему хозяйству в предбаннике и в сарайчике, который пристроен к бане,— продолжал предбанник. Чего только у него там не было! Старые литовки без черенков, старые грабли, вилы... Но был и верстачок, и был исправный инструмент: рубанок, ножовка, долота, стамески... Это все на воскресенье, это завтра он тут будет упражняться.

В бане сумрачно и неуютно пока, но банный терпкий, холодный запах разбавился уже запахом березовых поленьев — тонким, еле уловимым — это предвестье скорого праздника. Сердце Алеши нет-нет да и подмоет радость — подумает: «Сча-ас». Надо еще вымыть в бане: -

даже и этого не позволял делать Алеша жене — мыть. У него был заготовлен голичок, песочек в баночке... Алеша снял фуфайку, засучил рукава рубахи и пошел пластать, пошел драить. Все перемыл, все продрал голиком, окатил чистой водой и протер тряпкой. Тряпку ополоснул и повесил на сучок клена, клен рос рядом с баней. Ну, теперь можно и затопить. Алеша еще разок закурил... Посмотрел на хмурое небо, на унылый далекий горизонт, на деревню... Ни у кого еще баня не топилась. Потом будут, к вечеру, на скорую руку, кое-как, пых-пых... Будут глотать горький чад и париться. Напарится не напарится — угорит, придет, хлястнется на кровать, еле живой — и думает, это баня. Хэх!.. Алеша бросил окурок, вдавил его сапогом в мокрую землю и пошел топить.

Поленья в каменке он клал, как и все кладут: два — так, одно — так, поперек, а потом сверху. Но там — в той амбразуре-то, которая образуется-то,— там кладут обычно лучины, бумагу, керосином еще навадились теперь обливать,— там Алеша ничего не клал: то полено, которое клал поперек, он еще посередке ершил топором, и все, и потом эти заструги поджигал — загоралось. И вот это тоже очень волнующий момент — когда разгорается. Ах, славный момент! Алеша присел на корточки перед каменкой и неотрывно смотрел, как огонь, сперва маленький, робкий, трепетный, все становится больше, все надежней. Алеша всегда много думал, глядя на огонь. Например: «Вот вы там хотите, чтобы все люди жили одинаково... Да два полена и то сгорают неодинаково, а вы хотите, чтоб люди прожили одинаково!» Или еще он сделал открытие: человек, помирая — в конце в самом,— так вдруг захочет жить, так обнадеется, так возрадуется какому-нибудь лекарству!.. Это знают. Но точно так и палка любая: догорая, так вдруг вспыхнет, так озарится вся, такую выкинет шапку огня что диву даешься: откуда такая последняя сила?

Дрова хорошо разгорелись, теперь можно пойти чайку попить.

Алеша умылся из рукомойника, вытерся и с легкой душой пошел в дом.

Пока он занимался баней, ребятишки, один за одним, ушлепали в школу. Дверь — Алеша слышал — то и дело хлопала, и скрипели воротца. Алеша любил детей, но никто бы никогда так не подумал, что он любит детей: он

не показывал. Иногда он подолгу внимательно смотрел на какого-нибудь, и у него в груди ныло от любви и восторга. Он все изумлялся природе: из чего получился человек?! Ведь не из чего, из малой какой-то малости. Особенно он их любил, когда они были еще совсем маленькие, беспомощные. Вот уж, правда что, стебелек малый: давай цепляйся теперь изо всех силенок, карабкайся. Впереди много всякого будет — никаким умом вперед не скинешь. И они растут, карабкаются. Будь на то Алешина воля, он бы еще пятерых смастерил, но жена устала.

Когда пили чай, поговорили с женой.

— Холодно как уж стало. Снег, гляди, выпадет,— сказала жена.

— И выпадет. Оно бы и ничего, выпал-то, на сырую землю.

— Затопил?

— Затопил.

— Кузьмовна заходила... Денег занять.

— Ну? Дала?

— Дала. До среды, говорит, а там, мол, за картошку получит...

— Ну и ладно.— Алеше нравилось, что у них можно, например, занять денег — все как-то повеселей в глаза людям смотришь. А то наладились: «Бесконвойный, Бесконвойный». Глупые.— Сколько попросила-то?

— Пятнадцать рублей. В среду, говорит, за картошку получим...

— Ну и ладно. Пойду продолжать.

Жена ничего не сказала на это, не сказала, что иди, мол, или еще чего в таком духе, но и другого чего тоже не сказала. А раньше, бывало, говорила, до ругани дело доходило: надо то сделать, надо это сделать — не день же целый баню топить! Алеша и тут не уступил ни на волос: в субботу только баня. Все. Гори все синим огнем! Пропади все пропадом! «Что мне, душу свою на куски порезать?!»— кричал тогда Алеша не своим голосом. И это испугало Таисью, жену. Дело в том, что старший брат Алеши, Иван, вот так-то застрелился. А довела тоже жена родная: тоже чего-то ругались, ругались, до того доругались, что брат Иван стал биться головой об стенку и приговаривать: «Да до каких же я пор буду мучиться-то?! До каких?! До каких?!» Дура-жена вместо того, чтобы успокоить его, взяла да еще подъелдыкну-

ла: «Давай, давай... Сильней! Ну-ка, лоб крепче или стенка?» Иван сгреб ружье... Жена брякнулась в обморок, а Иван полыхнул себе в грудь. Двое детей осталось. Тогда-то Таисью и предупредили: «Смотри... а то не в роду ли это у их». И Таисья отступилась.

Напившись чаю, Алеша покурил в тепле, возле печки, и пошел опять в баню.

А баня вовсю топилась.

Из двери ровно и сильно, похоже, как река заворачивает, валил, плавно загибаясь кверху, дым. Это первая пора, потом, когда в каменке накопится больше жару, дыму станет меньше. Важно вовремя еще подкинуть: чтоб и не на угли уже, но и не набить тесно — огню нужен простор. Надо, чтоб горело вольно, обильно, во всех углах сразу. Алеша подлез под поток дыма к каменке, сел на пол и несколько времени сидел, глядя в горячий огонь. Пол уже маленько нагрелся, парит; лицо и коленки достает жаром, надо прикрываться. Да и сидеть тут сейчас нежелательно: можно словить незаметно угару. Алеша умело пошевелил головешки и вылез из бани. Дел еще много: надо заготовить веник, надо керосину налить в фонарь, надо веток сосновых наготовить... Напевая негромко нечто неопределенное — без слов, голосом, Алеша слазал на потолок бани, выбрал там с жердочки веник поплотнее, потом насек на дровосеке сосновых лап — поровней, без сучков, сложил кучкой в предбаннике. Так, это есть. Что еще? Фонарь!.. Алеша нырнул опять под дым, вынес фонарь, поболтал — надо долить. Есть, но... чтоб уж потом ни о чем не думать, Алеша все напевал... Какой желанный покой на душе, господи! Ребятишки не болеют, ни с кем не ругался, даже денег взаймы взяли... Жизнь: когда же самое главное время ее? Может, когда воюют? Алеша воевал, был ранен, поправился, довоевал и всю жизнь потом с омерзением вспоминал войну. Ни одного потом кинофильма про войну не смотрел — тошно. И удивительно на людей — сидят смотрят! Никто бы не поверил, что Алеша серьезно вдумывался в жизнь: что в ней за тайна, надо ее жалеть, например, или можно помирать спокойно — ничего тут такого особенного не осталось? Он даже напрягал свой ум так: вроде он залетел — высоко-высоко — и оттуда глядит на землю... Но понятней не становилось: представлял своих коров на поскотине — маленькие, как букашки... А про людей, про их жизнь озаре-

ния не было. Не озаряло. Как все же: надо жалеть свою жизнь или нет? А вдруг да потом, в последний момент, как заорешь, что вовсе не так жил, не то делал? Или так не бывает? Помирают же другие — ничего: тихо, мирно. Ну, жалко, конечно, грустно: не так уж тут плохо. И вспоминал Алеша, когда вот так вот подступала мысль, что здесь не так уж плохо,— вспоминал он один момент в своей жизни. Вот какой. Ехал он с войны... Дорога дальняя — через всю почти страну. Но ехали звонко — так-то ездил бы. На одной какой-то маленькой станции, еще за Уралом, к Алеше подошла на перроне молодая женщина и сказала:

— Слушай, солдат, возьми меня — вроде я твоя сестра... Вроде мы случайно здесь встретились. Мне срочно ехать надо, а никак не могу уехать.

Женщина тыловая, довольно гладкая, с родинкой на шее, с крашеными губами... Одета хорошо. Ротик маленький, пушок на верхней губе. Смотрит — вроде пальцами трогает Алешу, гладит. Маленько вроде смущается, но все же очень бессовестно смотрит, ласково. Алеша за всю войну не коснулся ни одной бабы... Да и до войны-то тоже горе: на вечеринках только целовался с девками. И все. А эта стоит смотрит странно... У Алеши так заломило сердце, так он взволновался, что и оглох, и рот свело.

Но, однако, поехали.

Солдаты в вагоне тоже было взволновались, но эта, ласковая-то, так прилипла к Алеше, что и подступаться как-то неловко. А ей ехать близко, оказывается: через два перегона уж и приехала. А дело к вечеру. Она грустно так говорит:

— Мне от станции маленько идти надо, а я боюсь. Прямо не знаю, что делать...

— А кто дома-то? — разлепил рот Алеша.

— Да никого, одна я.

— Ну, так я провожу,— сказал Алеша.

— А как же ты? — удивилась и обрадовалась женщина.

— Завтра другим эшелоном поеду... Мало их!

— Да, их тут каждый день едет...— согласилась она.

И они пошли к ней домой. Алеша захватил, что вез с собой: две пары сапог офицерских, офицерскую же гимнастерку, ковер немецкий, и они пошли. И этот-то путь до ее дома, и ночь ту грешную и вспоминал Алеша.

Страшная сила — радость не радость — жар и немота, и ужас сковали Алешу, пока шли они с этой ласковой... Так было томительно и тяжко, будто прогретое за день июньское небо опустилось, и Алеша еле передвигал пудовые ноги, и дышалось с трудом, и в голове все сплюснулось. Но и теперь все до мелочи помнил Алеша. Аля, так ее звали, взяла его под руку... Алеша помнил, какая у нее была рука — мяконькая, теплая под шершавеньким крепдешином. Какого цвета платье было на ней, он, правда, не помнил, но колючечки остренькие этого крепдешина, некую его теплую шершавость он всегда помнил и теперь помнит. Он какой-то и колючий и скользкий, этот крепдешин. И часики у нее на руке помнил Алеша — маленькие (трофейные), узенький ремешок врезался в мякоть руки. Вот то-то и оглушило тогда, что женщина сама — просто, доверчиво — взяла его под руку и пошла потом прикасаться боком своим мяконьким к нему... И тепло это — под рукой ее — помнил же. Да... Ну, была ночь.

Утром Алеша не обнаружил ни Али, ни своих шмоток. Потом уж, когда Алеша ехал в вагоне (документы она не взяла), он сообразил, что она тем и промышляла, что встречала эшелоны и выбирала солдатиков поглупей. Но вот штука-то — спроси она тогда утром: отдай, мол, Алеша, ковер немецкий, отдай гимнастерку, отдай сапоги — все отдал бы. Может, пару сапог оставил бы себе.

Вот ту Алю крепдешиновую и вспоминал Алеша, когда оставался сам с собой, и усмехался. Никому никогда не рассказывал Алеша про тот случай, а он ее любил, Алю-то. Вот как.

Дровишки прогорели... Гора, золотая, горячая, так и дышала, так и валил жар. Огненный зев нет-нет да схватывал синий огонек... Вот он — угар. Ну, давай теперь накаляйся все тут — стены, поло́к, лавки... Потом не притронешься.

Алеша накидал на пол сосновых лап — такой будет потом Ташкент в лесу, такой аромат от этих веток, такой вольный дух, черт бы его побрал,— славно! Алеша всегда хотел не суетиться в последний момент, но не справлялся. Походил по ограде, прибрал топор... Сунулся опять в баню — нет, угарно.

Алеша пошел в дом.

— Давай бельишко,— сказал жене, стараясь скрыть

свою радость — она почему-то всех раздражала, эта его радость субботняя. Черт их тоже поймет, людей: сами ворочают глупость за глупостью, не вылезают из глупостей, а тут, видите ли, удивляются, фыркают, не понимают.

Жена Таисья молчком открыла ящик, усунулась под крышку... Это вторая жена Алёши. Первая, Соня Полосухина, умерла. От нее детей не было. Алеша меньше всего про них думал: и про Соню, и про Таисью. Он разболокся до нижнего белья, посидел на табуретке, подобрав поближе к себе босые ноги, испытывая в этом положении некую приятность. Еще бы закурить... Но курить дома он отвык давно уж — как пошли детишки.

— Зачем Кузьмовне деньги-то понадобились? — спросил Алеша.

— Не знаю. Да кончились — от и понадобились. Хлеба небось не на что купить.

— Много они картошки-то сдали?

— Воза два отвезли... Кулей двадцать.

— Огребут деньжат!

— Огребут. Все копют... Думаешь, у них на книжке нету?

— Как так нету! У Соловьевых да нету!

— Кальсоны-то потеплей дать? Или бумажные пока?..

— Давай бумажные, пока еще не так нижет.

— На.

Алеша принял свежее белье, положил на колени, посидел еще несколько, думая, как там сейчас, в бане.

— Так... Ну ладно.

— У Кольки ангина опять.

— Зачем же в школу отпустила?

— Ну...— Таисья сама не знала, зачем отпустила.— Чего будет пропускать. И так-то учится через пень колоду.

— Да...— Странно, Алеша никогда всерьез не переживал болезнь своих детей, даже когда они тяжело болели,— не думал о плохом. Просто как-то не приходила эта мысль. И ни один, слава богу, не помер. Но зато как хотел Алеша, чтоб дети его выучились, уехали бы в большой город и возвысились там до почета и уважения. А уж летом приезжали бы сюда, в деревню, Алеша суетился бы возле них — возле их жен, мужей, детишек ихних... Ведь никто же не знает, какой Алеша добрый человек, заботливый, а вот те, городские-то, сразу бы

это заметили. Внучатки бы тут бегали по ограде... Нет, жить, конечно, имеет смысл. Другое дело, что мы не всегда умеем. И особенно это касается деревенских долбаков — вот уж упрямый народишко! И возьми даже своих ученых людей — агрономов, учителей: нет зазнавитее человека, чем свой, деревенский же, но который выучился в городе и опять приехал сюда. Ведь она же идет, она же никого не видит! Какого бы она малого росточка ни была, а все норовит выше людей глядеть. Городские, те как-то умеют, собаки, и культуру свою показать, и никого не унизить. Он с тобой, наоборот, первый поздоровается.

— Так... Ну ладно,— сказал Алеша.— Пойду.

И Алеша пошел в баню.

Очень любил он пройти из дома в баню как раз при такой погоде, когда холодно и сыро. Ходил всегда в одном белье, нарочно шел медленно, чтоб озябнуть. Еще находил какое-нибудь заделье по пути: собачью цепь распутает, пойдет воротца хорошенько прикроет. Это чтоб покрепче озябнуть.

В предбаннике Алеша разделся донага, мельком оглядел себя — ничего, крепкий еще мужик. А уж сердце заныло — в баню хочет. Алеша усмехнулся на свое нетерпение. Еще побыл маленько в предбаннике... Кожа покрылась пупырышками, как тот самый крепдешин, хэ-х... Язви тебя в душу, чего только в жизни не бывает! Вот за что и любил Алеша субботу: в субботу он так много размышлял, вспоминал, думал, как ни в какой другой день. Так за какие же такие великие ценности отдавать вам эту субботу? А?

Догоню, догоню, догоню,
Хабчбу догоню!..—

пропел Алеша негромко, открыл дверь и ступил в баню.

Эх, жизнь!.. Была в селе общая баня, и Алеша сходил туда разок — для ощущения. Смех и грех! Там как раз цыгане мылись. Они не мылись, а в основном пиво пили. Мужики ворчат на них, а они тоже ругаются: «Вы не понимаете, что такое баня!» Они понимают! Хоть, впрочем, в такой-то бане, как общая-то, только пиво и пить сидеть. Не баня, а недоразумение какое-то. Хорошо еще не в субботу ходил; в субботу истопил свою и смыл к чертовой матери все воспоминания об общественной бане.

...И пошла тут жизнь — вполне конкретная, но и вполне тоже необъяснимая — до краев дорогая и родная. Пошел Алеша двигать тазы, ведра...— стал налаживать маленький Ташкент. Всякое вредное напряжение совсем отпустило Алешу, мелкие мысли покинули голову, вселилась в душу некая цельность, крупность, ясность — жизнь стала понятной. То есть она была рядом, за окошечком бани, но Алеша стал недосягаем для нее, для ее суетни и злости, он стал большой и снисходительный. И любил Алеша — от полноты и покоя — попеть пока, пока еще не наладился париться. Наливал в тазик воду, слушал небесно-чистый звук струи и незаметно для себя пел негромко. Песен он не знал: помнил только кое-какие деревенские частушки да обрывки песен, которые пели дети дома. В бане он любил помурлыкать частушки.

Погляжу я по народу —
Нет моего милого,—

спел Алеша, зачерпнул еще воды.

Кучерявый чуб большой,
Как у Ворошилова.

И еще зачерпнул, еще спел:

Истопила мама баню,
Посылает париться.
Мне, мамаша, не до бани —
Миленький венчается.

Навел Алеша воды в тазике... А в другой таз, с кипятком, положил пока веник — распаривать. Стал мыться... Мылся долго, с остановками. Сидел на теплом полу, на ветках, плескался и мурлыкал себе:

Я сама иду дорогой,
Моя дума — стороной.
Рано, милый, похвалился,
Что я буду за тобой.

И точно плывет он по речке — плавной и теплой, а плывет как-то странно и хорошо — сидя. И струи теплые прямо где-то у сердца.

Потом Алеша полежал на полке — просто так. И вдруг подумал: а что, вытянусь вот так вот когда-нибудь... Алеша даже и руки сложил на груди и полежал

так малое время. Напрягся было, чтоб увидеть себя, подобного, в гробу. И уже что-то такое начало мерещиться — подушка вдавленная, новый пиджак... Но душа воспротивилась дальше, Алеша встал и, испытывая некое брезгливое чувство, окатил себя водой. И для бодрости еще спел:

Эх, догоню, догоню, догоню,
Хабибу до-го-ню!

Ну ее к черту! Придет — придет, чего раньше времени тренироваться! Странно, однако же: на войне Алеша совсем не думал про смерть — не боялся. Нет, конечно, укрывался от нее, как мог, но в такие вот подробности не входил. Ну ее к лешему! Придет — придет, никуда не денешься. Дело не в этом. Дело в том, что этот праздник на земле — это вообще не праздник. не надо его и понимать, как праздник, не надо его и ждать, а надо спокойно все принимать и «не суетиться перед клиентом». Алеша недавно услышал анекдот о том, как опытная сводня учила в бардаке своих девок: «Главное, не суетиться перед клиентом». Долго Алеша смеялся и думал: «Верно, суетимся много перед клиентом». Хорошо на земле, правда, но и прыгать козлом — чего же? Между прочим, куда радостнее бывает, когда радость эту не ждешь, не готовишься к ней. Суббота — это другое дело, субботу он как раз ждет всю неделю. Но вот бывает: плохо с утра, вот что-то противно, а выйдешь с коровами за село, выглянет солнышко, загорится какой-нибудь куст тихим огнем сверху... И так вдруг обогреет тебя нежданная радость, так хорошо сделается, что станешь и стоишь, и не заметишь, что стоишь и улыбаешься. Последнее время Алеша стал замечать, что он вполне осознанно любит. Любит степь за селом, зарю, летний день... То есть он вполне понимал, что он — любит. Стал стучаться покой в душе — стал любить. Людей труднее любить, но вот детей и степь, например, он любил все больше и больше.

Так думал Алеша, а пока он так думал, руки делали. Он вынул распаренный душистый веник из таза, сполоснул тот таз, навел в нем воды попрохладней... Дальше зачерпнул ковш горячей воды из котла и кинул на каменку — первый, пробный. Каменка ахнула и пошла шипеть и клубиться. Жар вцепился в уши, полез в горло... Алеша присел, переждал первый натиск и потом только взобрался на полóк. Чтобы доски полкà не поджигали

бока и спину, окатил их водой из тазика. И зашуршал веничком по телу. Вся-то ошибка людей, что они сразу начинают что есть силы охаживать себя веником. Надо сперва почесать себя — походить веником вдоль спины, по бокам, по рукам, по ногам... Чтобы он шепотком, шепотком, шепотком пока. Алеша искусно это делал: он мелко тряс веник возле тела, и листочки его, точно маленькие горячие ладошки, касались кожи, раззадоривали, вызывали неистовое желание сразу исхлестаться. Но Алеша не допускал этого, нет. Он ополоснулся, полежал... Кинул на каменку еще полковша, подержал веник под каменкой, над паром, и поприкладывал его к бокам, под коленки, к пояснице... Спустился с полка́, приоткрыл дверь и присел на скамеечку покурить. Сейчас даже малые остатки угарного газа, если они есть, уйдут с первым сырым паром. Каменка обсохнет, камни снова накалятся, и тогда можно будет париться без опаски и вволю.

Так-то, милые люди.

...Пришел Алеша из бани, когда уже темнеть стало. Был он весь новый, весь парил. Скинул калоши у порога и по свежим половичкам прошел в горницу. И прилег на кровать. Он не слышал своего тела, мир вокруг покачивался согласно сердцу.

В горнице сидел старший сын Борис, читал книгу.

— С легким паром! — сказал Борис.

— Ничего,— ответил Алеша, глядя перед собой.— Иди в баню-то.

— Сейчас пойду.

Борис, сын, с некоторых пор стал не то что стыдиться, а как-то неловко ему было, что ли,— стал как-то переживать, что отец его скотник и пастух. Алеша заметил это и молчал. По первости его глубоко обидело такое, но потом он раздумался и не показал даже вида, что заметил перемену в сыне. От молодости это, от больших устремлений. Пусть. Зато парень вымахал рослый, красивый, может, бог даст, и умишком возьмет. Хорошо бы. Вишь, стыдится, что отец пастух... Эх, милый! Ну, давай, давай целься повыше, глядишь, куда-нибудь и попадешь. Учится хорошо. Мать говорила, что уж и девчонку какую-то провожает... Все нормально. Удивительно вообще-то, но все нормально.

— Иди в баню-то,— сказал Алеша.

— Жарко там?

— Да теперь уж какой жар!.. Хорошо. Ну, жарко покажется, открой отдушину.

Так и не приучил Алеша сыновей париться: не хотят. В материну породу, в Коростылевых.

Он пошел собира́ться в баню, а Алеша продолжал лежать.

Вошла жена, склонилась опять над ящиком — достать белье сыну.

— Помнишь, — сказал Алеша. — Маня у нас, когда маленькая была, стишок сочинила:

> Белая березка
> Сто́ит под дождем,
> Зеленый лопух ее накроет,
> Будет там березке тепло и хорошо.

Жена откачнулась от ящика, посмотрела на Алешу... Какое-то малое время вдумывалась в его слова, ничего не поняла, ничего не сказала, усунулась опять в сундук, откуда тянуло нафталином. Достала белье, пошла в прихожую комнату. На пороге остановилась, повернулась к мужу.

— Ну и что? — спросила она.

— Что?

— Стишок-то сочинила... К чему ты?

— Да смешной, мол, стишок-то.

Жена хотела было уйти, потому что не считала нужным тратить теперь время на пустые слова, но вспомнила что-то и опять оглянулась.

— Боровишку-то загнать надо да дать ему — я намешала там. Я пойду ребятишек в баню собирать. Отдохни да сходи приберись.

— Ладно.

Баня кончилась. Суббота еще не кончилась, но баня уже кончилась.

1972

УПОРНЫЙ

Все началось с того, что Моня Квасов прочитал в какой-то книжке, что вечный двигатель невозможен. По тем-то и тем-то причинам — потому хотя бы, что существует трение. Моня... Тут, между прочим, надо объяснить, почему Моня. Его звали Митька, Дмитрий, но бабка звала его Митрий, а ласково — Мотька, Мотя. А

уж дружки переделали в Моню — так проще, кроме того, непоседливому Митьке имя это, Моня, как-то больше шло, выделяло его среди других, подчеркивало как раз его непоседливость и строптивый характер.

Прочитал Моня, что «вечный двигатель» невозможен... Прочитал, что многие и многие пытались все же изобрести такой двигатель... Посмотрел внимательно рисунки тех «вечных двигателей», какие — в разные времена — предлагались. И задумался. Что трение там, законы механики — он все это пропустил, а сразу с головой ушел в изобретение такого «вечного двигателя», какого еще не было. Он почему-то не поверил, что такой двигатель невозможен. Как-то так бывало с ним, что на всякие трезвые мысли... от всяких трезвых мыслей он с пренебрежением отмахивался и думал свое: «Да лидно, будут тут мне...» И теперь он тоже подумал: «Да ну!.. Что значит невозможен?»

Моне шел двадцать шестой год. Он жил с бабкой, хотя где-то были и родители, мать с отцом, но бабка еще маленького взяла его к себе от родителей (те вечно то расходились, то опять сходились) и вырастила. Моня окончил семилетку в деревне, поучился в сельскохозяйственном техникуме полтора года, не понравилось, бросил, до армии работал в колхозе, отслужил в армии, приобрел там специальность шофера и теперь работал в совхозе шофером. Моня был белобрыс, скуласт, с глубокими маленькими глазами. Большая нижняя челюсть его сильно выдавалась вперед, отчего даже и вид у Мони был крайне заносчивый и упрямый. Вот уж что у него было, так это было: если ему влетела в лоб какая-то идея,— то ли научиться играть на аккордеоне, то ли, как в прошлом году, отстоять в своем огороде семнадцать соток, не пятнадцать, как положено по закону, а семнадцать, сколько у них с бабкой, почему им и было предложено перенести плетень ближе к дому,— то идея эта, какая в него вошла, подчиняла себе всего Моню: больше он ни о чем не мог думать, как о том, чтобы научиться на аккордеоне или не отдать сельсоветским эти несчастные две сотки земли. И своего добивался. Так и тут, с этим двигателем: Моня перестал видеть и понимать все вокруг, весь отдался великой изобретательской задаче. Что бы он ни делал — ехал на машине, ужинал, смотрел телевизор — все мысли о двигателе. Он набросал уже около десятков вариантов дви-

гателя, но сам же и браковал их один за одним. Мысль работала судорожно, Моня вскакивал ночами, чертил какое-нибудь очередное колесо... В своих догадках он все время топтался вокруг колеса, сразу с колеса начал и продолжал искать новые и новые способы — как заставить колесо постоянно вертеться.

И наконец способ был найден. Вот он. Берется колесо, например велосипедное, закрепляется на вертикальной оси. К ободу колеса жестко крепится в наклонном положении (под углом в 45 градусов к плоскости колеса) желоб — так, чтоб по желобу свободно мог скользить какой-нибудь груз, допустим, килограммовая гирька. Теперь, если к оси, на которой закреплено колесо, жестко же прикрепить (приварить) железный стерженек так, чтобы свободный конец этого стерженька проходил над желобом, где скользит груз... То есть, если груз, стремясь вниз по желобу, упрется в этот стерженек, то он же будет его толкать, ну, не толкать — давить на него будет, на стерженек-то! А стерженек соединен с осью, ось закрутится, закрутится и колесо. Таким образом, колесо само себя будет крутить.

Моня придумал это ночью... Вскочил, начертил колесо, желоб, стерженек, грузик... И даже не испытал особой радости, только удивился: чего же они столько времени головы-то ломали! Он походил по горнице в трусах, глубоко гордый и спокойный, сел на подоконник, закурил. В окно дул с улицы жаркий ветер, качались и шумели молодые березки возле штакетчика; пахло пылью. Моня мысленно вообразил вдруг огромнейший простор своей родины, России,— как бесконечную равнину, и увидел себя на той равнине — идет спокойно по дороге, руки в карманах, поглядывает вокруг... И в этой ходьбе — ничего больше, идет и все — почудилось Моне некое сóбственное величие. Вот так вот пройдет человек по земле — без крика, без возгласов — поглядит на все тут — и уйдет. А потом хватятся: кто был-то! Кто был... Кто был... Моня еще походил по горнице... Если бы он был не в трусах, а в брюках, то уже теперь сунул бы руки в карманы и так походил бы — хотелось. Но лень было надевать брюки, не лень, а совестно суетиться. Покой, могучий покой объял душу Мони. Он лег на кровать, но до утра не заснул. Двигатель свой он больше не трогал — там все ясно, а лежал поверх одеяла, смотрел через окно на звезды. Ветер горячий к утру поослаб,

было тепло, но не душно. Густое небо стало бледнеть, стало как ситчик голубенький, застиранный... И та особенная тишина, рассветная, пугливая, невечная, прилегла под окно. И скоро ее вспугнули, эту тишину,— скрипнули недалеко воротца, потом звякнула цепь у колодца, потом с визгом раскрутился колодезный вал... Люди начали вставать. Моня все лежал на кровати и смотрел в окно. Ничего вроде не изменилось, но какая желанная, дорогая сделалась жизнь. Ах, черт возьми, как, оказывается, не замечаешь, что все тут прекрасно, просто, бесконечно дорого. Еще полежал Моня с полчаса и тоже поднялся: хоть и рано, но все равно уже теперь не заснуть.

Подсел к столу, просмотрел свой чертежик... Странно, что он не волновался и не радовался. Покой все пребывал в душе. Моня закурил, откинулся на спинку стула и стал ковырять спичкой в зубах — просто так, нарочно, чтобы ничтожным этим действием подчеркнуть огромность того, что случилось ночью и что лежало теперь на столе в виде маленьких рисунков. И Моня испытал удовольствие: на столе лежит чертеж вечного двигателя, а он ковыряется в зубах. Вот так вот, дорогие товарищи!.. Вольно вам в жарких перинах трудиться на заре с женами, вольно сопеть и блаженствовать — кургузые. Еще и с довольным видом будут ходить потом днем, будут делать какие-нибудь маленькие дела и при этом морщить лоб — как если бы они думали. Ой-ля-ля! Даже и думать умеете?! Гляди-ка. Впрочем, что же: выдумали же, например, рукомойник. Ведь это же какую голову надо иметь, чтобы... Ах, люди, люди. Моня усмехнулся и пошел к человеческому изобретению — к рукомойнику, умываться.

И все утро потом Моня пробыл в этом насмешливом настроении. Бабка заметила, что он какой-то блаженный с утра... Она была веселая крепкая старуха, Мотьку своего любила, но никак любви этой не показывала. Она сама тоже думала о людях несложно: живут, добывают кусок хлеба, приходит время — умирают. Важно не оплошать в трудную пору, как-нибудь выкрутиться. В войну, например, она приспособилась так: заметила в одном колхозном амбаре щель в полу, а через ту щель потихоньку сыплется зерно. А амбар задней стеной выходил на дорогу, но с дороги его заслоняли заросли крапивы и бурьяна. Ночью Квасиха пробралась с мешочком через

эти заросли, изжалилась вся, но к зерну попала. Амбар был высокий, пол над землей высоко — хватит пролезть человеку. Квасиха подчистила зерно, проковыряла ножом щель пошире... И с неделю ходила ночами под тот амбар с мешочком. И наносила зерна изрядно. И в самый голод великий толкла ночами зерно это в ступке, подмешивала в муку сосновой коры и пекла хлебушек. Так обошла свою гибель. Мотька был ей как сын, даже, наверно, дороже, потому что больше теперь никого не было. Была дочь (сыновей, двух, убило на войне), мать Мотькина, но она вконец запуталась со своим муженьком, закружилась в городе, вообще как-то не вышло толку из бабы, она сюда и носа не казала, так что есть она, и вроде ее нет.

— Чего эт ты седня такой? — спросила бабка, когда сидели завтракали.

— Какой? — спокойно и снисходительно поинтересовался Моня.

— Довольный-то. Жмурисся, как кот на солнышке... Приснилось, что ль, чего?

Моня несколько подумал... И сказал заковыристо:

— Мне приснилось, что я нашел десять тысяч рублей в портфеле.

— Подь ты к лешему! — старуха усмехнулась, помолчала и спросила: — Ну, и что бы ты с имя стал делать?

— Что?.. А ты что?

— Я тебя спрашиваю.

— Хм... Нет, а вот ты чего бы стала делать? Чего тебе, например, надо?

— Мне ничего не надо. Может, дом бы перебрать...

— Лучше уж новый срубить. Чего тут перебирать — гнилье трясти.

Бабка вздохнула. Долго молчала.

— Гнилье-то гнилье... А уж я доживу тут. Немного уж осталось. Я уж все продумала, как меня отсюда выносить будут.

— Начинается! — недовольно сказал Моня. Он тоже любил бабку, хоть, может, не очень это сознавал, но одно в ней раздражало Моню: разговоры о предстоящей смерти. Да добро бы немощью, хилостью они порождались, обреченностью — нет же, бабка очень хотела жить, смерть ненавидела, но притворно строила перед ней, перед смертью, покорную фигуру.— Чего ты опять?

Умная старуха поддельно-скорбно усмехнулась.

— А чего же? Что я, два века жить буду? Приде-ет матушка...

— Ну и... придет — значит, придет: чего об этом говорить раньше время?

Но говорить старухе об этом хотелось, жаль только, что Мотька не терпит таких разговоров. Она любила с ним говорить. Она считала, что он умный парень, удивительно только, что в селе так не думают.

— Дак чего приснилось-то?

— Да ничего... Так я: утро вон хорошее, я и... радый.

— Ну, ну... И радуйся, пока молодой. Старость придет — не возрадуесся.

— Ничего! — беспечно и громко сказал Моня, закончив трапезу.— Мы еще... сообразим тут! Скажем еще свое «фэ»!

И Моня пошел в гараж. Но по дороге решил зайти к инженеру РТС Андрею Николаевичу Голубеву, молодому специалисту. Он был человек приезжий, толковый, несколько мрачноватый, правда, но зато не трепач. Раза два Моня с ним общался, инженер ему нравился.

Инженер был в ограде, возился с мотоциклом.

— Здравствуй,— сказал Моня.

— Здравствуй! — не сразу откликнулся инженер. И глянул на Моню неодобрительно: наверно, не понравилось, что с ним на «ты».

«Переживешь,—подумал Моня.— Молодой еще».

— Зашел сказать свое «фэ»,— продолжал Моня, входя в ограду.

Инженер опять посмотрел на него.

— Что еще за «фэ»?

— Как ученые думают насчет вечного двигателя? — сразу начал Моня. Сел на бревно, достал папиросы... И смотрел на инженера снизу.— А?

— Что за вечный двигатель?

— Ну, этот — перпетуум-мобиле. Нормальный вечный двигатель, который никак не могли придумать...

— Ну? И что?

— Как сейчас насчет этого думают?

— Да кто думает-то? — стал раздражаться инженер.

— Ученый мир... Вообще. Что, сняли, что ли, эту проблему?

— Никак не думают. Делать, что ли, нечего больше, как об этом думать.

— Значит, сняли проблему?

Инженер снова склонился к мотоциклу.

— Сняли.

— Не рано? — не давал ему уйти от разговора Моня.

— Что «не рано»? — оглянулся опять инженер.

— Сняли-то. Проблему-то.

Инженер внимательно посмотрел на Моню.

— Что, изобрел вечный двигатель, что ли?

И Моня тоже внимательно посмотрел на инженера. И всадил в его дипломированную головушку... Как палку в муравейник воткнул:

— Изобрел.

Инженер, не вставая с корточек, попристальнее вгляделся в Моню... Откровенно улыбнулся и возвратил Моне палку — тоже отчетливо, не без ехидства сказал:

— Поздравляю.

Моня обеспокоился. Не то что он усомнился вдруг в своем двигателе, а то обеспокоило, до каких же, оказывается, глубин вошло в сознание людей, что вечный двигатель невозможен. Этак и выдумаешь его, а они будут твердить: невозможен. Спорить с людьми — это тяжко, грустно. Вся-то строптивость Мони, все упрямство его — чтоб люди не успели сделать больно, пока будешь корячиться перед ними со своей доверчивостью и согласием.

— А что дальше? — спросил Моня.

— В каком смысле?

— Ну, ты поздравил... А дальше?

— Дальше — пускай его по инстанциям, добивайся... Ты его сделал уже? Или только придумал?

— Придумал.

— Ну вот...— Инженер усмехнулся, качнул головой.— Вот и двигай теперь... Пиши, что ли, я не знаю.

Моня помолчал, задетый за больное усмешкой инженера.

— Ну а что ж ты даже не поинтересуешься: что за двигатель? Узнал бы хоть принцип работы... Ты же инженер. Неужели тебе неинтересно?

— Нет,— жестко сказал инженер.— Неинтересно.

— Почему?

Инженер оставил мотоцикл, вытер руки тряпкой, бросил тряпку на бревна, полез в карман за сигаретами. Посмотрел на Моню сверху.

— Парень... ты же говорил, что в техникуме сколько-то учился...

— Полтора года.

— Вот видишь... Чего же ты такую бредятину несешь сидишь? Сам шофер, с техникой знаком... Что, неужели веришь в этот свой двигатель?

— Ты же даже не узнал принцип его работы, а сразу — бредятина! — изумился Моня, чувствуя, что все: с этой минуты он уперся. Узнал знакомое подрагивание в груди, противный холодок и подрагивание.

— И узнавать не хочу.

— Почему?

— Потому что это глупость. И ты должен сам понимать, что глупость.

— Ну а вдруг не глупость?

— Проверь. Проверь, а потом уж приходи... с принципом работы. Но если хочешь мой совет: не трать время и на проверку.

— Спасибо за совет.— Моня встал.— Вообще за добрые слова...

— Ну вот...— сказал инженер вроде с сожалением, но непреклонно.— И не тронь вас. Скажи еще, что меня в институте учили...

— Да ну, при чем тут институт! Я же к тебе не за справкой пришел...

— Ну, а чего же уж такая... самодеятельность-то тоже! — воскликнул инженер.— Почти девять лет учился — и на тебе: вечный двигатель. Что же уж?.. Надо же понимать хоть такие-то вещи. Как ты думаешь: если бы вечный двигатель был возможен, неужели бы его до сих пор не изобрели?

— Да вот так вот все рассуждают: невозможен, и все. И все махнули рукой...

— Да не махнули рукой, а доказали давно: невозможен! Ладно, было бы у человека четыре класса, а то... Ты же восемь с половиной лет учился! Ну... Как же так? — Инженер по-живому рассердился, именно рассердился. И не скрывал, что сердится: смотрел на Моню зло и строго. И отчитывал.— Что же ты восемь с половиной лет делал?

— Смолил и к стенке становил,— тоже зло сказал Моня. И тоже поглядел в глаза инженеру.— Что ты как на собрании выступаешь? Чего красуешься-то? Я тебя никуда выдвигать не собираюсь.

— Вот видишь...— чуть растерялся инженер от встречной напористой злости, но и своей злости тоже не убавил.— Умеешь же говорить... Значит, не такой уж темный. Не хрена тогда и с вечным двигателем носиться... Людей смешить.— Инженер бросил сигарету, наступил на нее, крутнулся, вдавив ее в землю, и пошел заводить мотоцикл.

Моня двинулся из ограды.

Оглушил его этот инженер. И стыдно было, что отчитали, и злость поднялась на инженера нешуточная... Но ужасно, что явилось сомнение в вечном двигателе. Он пошел прямиком домой — к чертежу. Шагал скоро, глядел вниз. Никогда так стыдно не было. Стыдно было еще своей утренней беспечности, безмятежности, довольства. Надо было все же хорошенько все проверить. Черт, и в такой безмятежности поперся к инженеру! Надо было проверить, конечно.

Бабки дома не было. И хорошо: сейчас полезла бы с тревогой, с вопросами... Моня сел к столу, придвинул чертеж. Ну и что? Груз — вот он — давит на стержень... Давит же он на него? Давит. Как же он не давит-то? А что же он делает? Моня вспомнил, как инженер спросил: «Что же ты восемь с половиной лет делал?» Нервно ерзнул на стуле, вернул себя опять к двигателю. Ну?.. Груз давит на стержень, стержень от этого давления двинется... Двинется. А другим концом он приварен к оси... Да что за мать-перемать-то! Ну и почему это невозможно?!

Вот теперь Моня волновался. Определенно волновался, прямо нетерпение охватило. Правильно, восемь с половиной лет учился, совершенно верно. Но вот же, вот! Моня вскочил со стула, походил по горнице... Он не понимал: что они? Ну, пусть докажут, что груз не будет давить на стержень, а стержень не подвинется от этого. А почему он не подвинется-то? Вы согласны — подвинется? Тогда и ось... Тьфу! Моня не знал, что делать. Делать что-то надо было — иначе сердце лопнет от всего этого. Кожа треснет от напряжения. Моня взял чертеж и пошел из дома, сам пока не зная куда. Пошел бы и к инженеру, если бы тот не уехал. А может, и не уехал? И Моня пошел опять к инженеру. И опять шел скоро. Стыдно уже не было, но такое нетерпение охватило, в пору бегом бежать. Малость Моня и подбежал — в переулке, где людей не было.

Мотоцикла в ограде не было. Моне стало досадно. И он, больше машинально, чем с какой-то целью, зашел в дом инженера.

Дома была одна молодая хозяйка, она недавно встала, ходила в халатике еще, припухшая со сна, непричесанная.

— Здравствуйте,— сказал Моня.— А муж уехал?

— Уехал.

Моня хотел уйти, но остановился.

— А вы же ведь учительница? — спросил он.

Хозяйка удивилась.

— Да. А что?

— По какому?

— По математике.

Моня, не обращая внимания на беспорядок, которого хозяйки стыдятся, не обращая внимания и на хозяйку — что она еще не привела себя в порядок,— прошел к столу.

— Ну-ка гляньте одну штуку... Я тут поспорил с вашим мужем... Идите-ка сюда.

Молодая женщина какое-то время нерешительно постояла, глядя на Моню. Она была очень хорошенькая, пухленькая.

— Что? — спросил Моня.

— А в чем дело-то? — тоже спросила учительница, подходя к столу.

— Смотрите,— стал объяснять Моня по чертежу,— вот это такой желобок из сталистой какой-нибудь жести... Так? Он — вот так вот — наклонно прикреплен к ободу этого колеса. Если мы сюда положим груз, вот здесь, сверху... А вот это будет стержень, он прикреплен к оси. Груз поехал, двинул стерженек... Он же двинет его?

— Надавит...

— Надавит! Он будет устремляться от этого груза, так же? Стерженек-то. А ось что будет делать? Закрутится? А колесо? Колесо-то на оси жестко сидит...

— Это что же, вечный двигатель, что ли? — удивилась учительница.

Моня сел на стул. Смотрел на учительницу. Молчал.

— Что это? — спросила она.

— Да вы же сами сказали!

— Вечный двигатель?

— Ну.

Учительница удивленно скривила свежие свои губки, долго смотрела на чертеж... Тоже пододвинула себе стул и села.

— А? — спросил Моня, закуривая. У него опять вздрагивало в груди, но теперь от радости и нетерпения.

— Не будет колесо вращаться,— сказала учительница.

— Почему?

— Не знаю пока... Это надо рассчитать. Оно не должно вращаться.

Моня крепко стукнул себя кулаком по колену... Встал и начал ходить по комнате.

— Ну, ребята!..— заговорил он.— Я не понимаю: или вы заучились, или... Почему не будет-то? — Моня остановился, глядя в упор на женщину.— Почему?

Женщина тоже смотрела на него, несколько встревоженная. Она, как видно, немножко даже испугалась.

— А вам нужно, чтобы он вращался? — спросила она.

Моня пропустил, что она это весьма глупо спросила, сам спросил — все свое:

— Почему оно не будет вращаться?

— А как вам муж объяснил?

— Муж... никак. Муж взялся стыдить меня.— И опять Моня кинулся к чертежу: — Вы скажите, почему колесо... Груз давит?

— Давит.

— Давит. Стержень от этого давления...

— Знаете что,— прервала Моню учительница,— чего мы гадаем тут: это нам легко объяснит учитель физики, Александр Иванович такой... Не знаете его?

— Знаю.

— Он же недалеко здесь живет.

Моня взял чертеж. Он знал, где живет учитель физики.

— Только подождите меня, ладно? — попросила учительница.— Я с вами пойду. Мне тоже интересно стало.

Моня сел на стул.

Учительница замешкалась...

— Мне одеться нужно...

— А-а,— догадался Моня.— Ну конечно. Я на крыльце подожду.— Моня пошел к выходу, но с порога еще оглянулся, сказал с улыбкой: — Вот дела-то! Да?

— Я сейчас,— сказала женщина.

Учитель физики, очень добрый человек, из поволжских немцев, по фамилии Гекман, с улыбкой слушал возбужденного Моню... Смотрел в чертеж. Выслушал.

— Вот!..— сказал он молодой учительнице с неподдельным восторгом.— Видите, как все продумано! А вы говорите...— И повернулся к Моне. И потихоньку тоже возбуждаясь, стал объяснять: — Смотрите сюда: я почти ничего не меняю в вашей конструкции, но только внесу маленькие изменения. Я уберу (он выговаривал «уперу») ваш желоб и ваш груз... А к ободу колеса вместо желоба прикреплю тоже стержень — вертикально. Вот...— Гекман нарисовал свое колесо и к ободу его «прикрепил» стержень.— Вот сюда мы его присобачим... Так? — Гекман был очень доволен.— Теперь я к этому вертикальному стержню прикрепляю пружину... Во-от.— Учитель и пружину изобразил.— А другим концом...

— Я уже такой двигатель видел в книге,— остановил Моня учителя.— Так не будет крутиться.

— Ага! — воскликнул счастливый учитель.— А почему?

— Пружина одинаково давит в обои концы...

— Это ясно?! Взяли ваш вариант: груз. Груз лежит на желобе и давит на стержень. Но ведь груз — это та же пружина, с которой вам все ясно: груз так же одинаково давит и на стержень, и на желоб. Ни на что — чуть-чуть меньше, ни на что — чуть-чуть больше. Колесо стоит.

Это показалось Моне чудовищным.

— Да как же?! — вскинулся он.— Вы что? По желобу он только скользит — желоб можно еще круче поставить,— а на стержень падает. И это одинаково?! — Моня свирепо смотрел на учителя. Но того все не оставляла странная радость.

— Да! — тоже воскликнул он, улыбаясь. Наверно, его так радовала незыблемость законов механики.— Одинаково! Эта неравномерность — это кажущаяся неравномерность, здесь абсолютное равенство...

— Да горите вы синим огнем с вашим равенством! — горько сказал Моня. Сгреб чертеж и пошел вон.

Вышел на улицу и быстро опять пошагал домой. Это походило на какой-то заговор. Это черт знает что!.. Как сговорились. Ведь ясно же, ребенку ясно: колесо не может не вертеться! Нет, оно, видите ли, НЕ ДОЛЖНО вертеться. Ну что это?!

Моня приколбасил опять домой, написал записку, что он себя неважно чувствует, нашел бабку на огороде, велел ей отнести записку в совхозную контору, не стал больше ничего говорить бабке, а ушел в сарай и начал делать вечный двигатель.

...И он его сделал. Весь день пластался, дотемна. Доделывал уже с фонарем. Разорил велосипед (колесо взял), желоб сделал из старого оцинкованного ведра, стержень не приварил, а скрепил с осью болтами... Все было сделано, как и задумалось.

Моня подвесил фонарь повыше, сел на чурбак рядом с колесом, закурил... И без волнения толкнул колесо ногой. Почему-то охота было начать вечное движение непременно ногой. И привалился спиной к стене. И стал снисходительно смотреть, как крутится колесо. Колесо покрутилось-покрутилось и стало. Моня потом его раскручивал уже руками... Подолгу — с изумлением, враждебно — смотрел на сверкающий спицами светлый круг колеса. Оно останавливалось. Моня сообразил, что не хватает противовеса. Надо же уравновесить желоб и груз! Уравновесил. Опять что есть силы раскручивал колесо, опять сидел над ним и ждал. Колесо останавливалось. Моня хотел изломать его, но раздумал... Посидел еще немного, встал и с пустой душой медленно пошел куда-нибудь.

...Пришел на реку, сел к воде, выбирал на ощупь возле себя камешки и стрелял ими с ладони в темную воду. От реки не исходил покой, она чуть шумела, плескалась в камнях, вздыхала в темноте у того берега... Всю ночь чего-то все беспокоилась, бормотала сама с собой — и текла, текла. На середине, на быстрине, поблескивала ее текучая спина, а здесь, у берега, она все шевелила какие-то камешки, шарилась в кустах, иногда сердито шипела, а иногда вроде смеялась тихо — шепотом.

Моня не страдал. Ему даже понравилось, что вот один он здесь, все над ним надсмеялись и дальше будут смеяться: хоть и бывают редкие глупости, но вечный двигатель никто в селе еще не изобретал. Этого хватит месяца на два — говорить. Пусть. Надо и посмеяться людям. Они много работают, развлечений тут особых нет — пусть посмеются, ничего. Он в эту ночь даже любил их за что-то, Моня, людей. Он думал о них спокойно, с сожалением, даже подумал, что зря он так много

спорит с ними. Что спорить? Надо жить, нести свой крест молча... И себя тоже стало немного жаль.

Дождался Моня, что и заря занялась. Он вовсе отрешился от своей неудачи. Умылся в реке, поднялся на взвоз и пошел береговой улицей. Просто так опять, без цели. Спать не хотелось. Надо жениться на какой-нибудь, думал Моня, нарожать детей — трех, примерно, и смотреть, как они развиваются. И обрести покой, ходить вот так вот — медленно, тяжело и смотреть на все спокойно, снисходительно, чуть насмешливо. Моня очень любил спокойных мужиков.

Уже совсем развиднело. Моня не заметил, как пришел к дому инженера. Не нарочно, конечно, пришел, а шел мимо и увидел в ограде инженера. Тот опять возился со своим мотоциклом.

— Доброе утро! — сказал Моня, остановившись у изгороди. И смотрел на инженера мирно и весело.

— Здорово! — откликнулся инженер.

— А ведь крутится! — сказал Моня.— Колесо-то.

Инженер отлип от своего мотоцикла... Некоторое время смотрел на Моню — не то что не верил, скорее так: не верил и не понимал.

— Двигатель, что ли?

— Двигатель. Колесо-то... Крутится. Всю ночь крутилось... И сейчас крутится. Мне надоело смотреть, я пошел малость пройтись.

Инженер теперь ничего не понимал Вид у Мони усталый и честный. И нисколько не пристыженный, а даже какой-то просветленный.

— Правда, что ли?

— Пойдем — поглядишь сам.

Инженер пошел из ограды к Моне.

— Ну, это... фокус какой-нибудь,— все же не верил он.— Подстроил там чего-нибудь?

— Какой фокус! В сарае... на полу крутится и крутится.

— От чего колесо-то?

— От велика.

Инженер приостановился.

— Ну, правильно: там хороший подшипник — оно и крутится.

— Да,— сказал Моня,— но не всю же ночь!

Они опять двинулись.

Инженер больше не спрашивал. Моня тоже молчал.

Благостное настроение все не оставляло его. Хорошее какое-то настроение, даже самому интересно.

— И всю ночь крутится? — не удержался и еще раз спросил инженер перед самым домом Мони. И посмотрел пристально на Моню. Моня преспокойно выдержал его взгляд и, вроде сам тоже изумляясь, сказал:

— Всю ночь! Часов с десяти вечера толкнул его и вот... сколько уж сейчас?

Инженер не посмотрел на часы, шел с Моней, крайне озадаченный, хоть старался не показать этого, щадя свое инженерное звание. Моне даже смешно стало, глядя на него, но он тоже не показал, что смешно.

— Приготовились! — сказал он, остановившись перед дверью сарая. Посмотрел на инженера и пнул дверь... И посторонился, чтобы тот прошел внутрь и увидел колесо. И сам тоже вошел в сарай — крайне интересно стало: как инженер обнаружит, что колесо не крутится.

— Ну-у,— сказал инженер.— Я думал, ты хоть фокус какой-нибудь тут придумал. Не смешно, парень.

— Ну, извини,— сказал Моня, довольный.— Пойдем — у меня дома коньячишко есть... сохранился: выпьем по рюмахе?

Инженер с интересом посмотрел на Моню. Усмехнулся.

— Пойдем.

Пошли в дом. Осторожно, стараясь не шуметь, прошли через прихожую комнату... Прошли уже было, но бабка услышала.

— Мотька, где был-то всю ночь?— спросила она.

— Спи, спи,— сказал Моня.— Все в порядке.

Они вошли в горницу.

— Садись,— пригласил Моня.— Я сейчас организую...

— Да ты... ничего не надо организовывать! — сказал инженер шепотом.— Брось. Чего с утра организовывать?

— Ну, ладно,— согласился Моня.— Я хотел хоть пирожок какой-нибудь... Ну, ладно.

Когда выпили по рюмахе и закурили, инженер опять с интересом поглядел на Моню, сощурил в усмешке умные глаза.

— Все же не поверил на слово? Сделал... Всю ночь, наверно, трудился?

А Моня сидел теперь задумчивый и спокойный — как если бы у него уже было трое детей и он смотрел, как они развиваются.

— Весь день вчера угробил... Дело не в этом,— заговорил Моня, и заговорил без мелкого сожаления и горя, а с глубоким, искренним любопытством,— дело в том, что я все же не понимаю: почему оно не крутится? Оно же должно крутиться.

— Не должно,— сказал инженер.— В этом все дело.

Они посмотрели друг на друга... Инженер улыбнулся, и ясно стало, что вовсе он не злой человек — улыбка у него простецкая, доверчивая. Просто, наверно, на него, по его молодости и совестливости, навалили столько дел в совхозе, что он позабыл и улыбаться, и говорить приветливо — не до этого стало.

— Учиться надо, дружок,— посоветовал инженер.— Тогда все будет понятно.

— Да при чем тут учиться, учиться,— недовольно сказал Моня.— Вот нашли одну тему: учиться, учиться... А ученых дураков не бывает?

Инженер засмеялся... и встал.

— Бывают! Но все же неученых их больше. Я не к этому случаю говорю... вообще. Будь здоров!

— Давай еще по рюмахе?

— Нет. И тебе не советую.

Инженер вышел из горницы и постарался опять пройти по прихожей неслышно, но бабка уже не спала, смотрела на него с печки.

— Шагай вольнее,— сказала она,— все равно не сплю.

— Здравствуй, бабушка! — поприветствовал ее инженер.

— Здорово, милок. Чего вы-то не спите? Гляди-ка, молодые, а как старики... Вам спать да спать надо.

— А в старости-то что будем делать? — сказал инженер весело.

— В старости тоже не поспишь.

— Ну, значит, потом когда-нибудь... Где-нибудь.

— Рази что там...

Моня сидел в горнице, смотрел в окно. Верхняя часть окна уже занялась красным — всходило солнце. Село пробудилось: хлопали ворота, мычали коровы, собираясь в табун. Переговаривались люди, уже где-то и покрикивали друг на друга... Все как положено. Слава богу, хоть ту-то все ясно, думал Моня. Солнце всходит и заходит, всходит и заходит — недосягаемое, неистощимое, вечное.

А тут себе шуруют: кричат, спешат, трудятся, поливают капусту... Радости подсчитывают, удачи. Хэх!.. Люди, милые люди... Здравствуйте!

1973

ВЕРСИЯ

Санька Журавлев рассказал диковинную историю. Был он в городе (мотоцикл ездил покупать), зашел там в ресторан покушать. Зашел, снял плащ в гардеробе, направился в зал... А не заметил, что зал отделяет стеклянная стена — пошел на эту стенку. И высадил ее. Она прямо так стоймя и упала перед Санькой и со звоном разлетелась в куски. Ну, сбежались. Санька был совершенно трезв, поэтому милицию вызывать не стали, а повели его к директору ресторана на второй этаж. Человек, который вел его по мягкой лестнице, подсчитал:

— Зарплаты две выложишь. А то и три.

— Я же не нарочно.

— Мало ли что!

Зашли в кабинет директора... И тут-то и начинается диковина, тут сельские люди слушали и переглядывались — не верили. Санька рассказывал так:

— Заходим — сидит молодая женщина. Пышная, глаза маленько навыкате, губки бантиком, при золотых часиках. «Что случилось?» Товарищ этот начинает ей докладывать, что вот, мол, стенку решили... А эта на меня смотрит.— Тут Санька всякий раз хотел показать, как она на него смотрела: делал губы куриной гузкой и выпучивал глаза. И смотрел на всех. Люди смеялись и продолжали не верить.

— Ну, ну?

— Она этому товарищу говорит: «Ну хорошо,— говорит,— идите. Мы разберемся». А кабинет!.. Ну, ё-мое, наверное, у министров такие: кругом мягкие кресла, диваны, на стенах картины... «Вы откуда?» — спрашивает. Я объяснил. «Так, так,— говорит.— Как же это вы так?» А сама на меня смо-отрит, смо-отрит... До-олго смотрела.

Еще потому не верили земляки Саньке, что смотреть-то на него, да еще, как он уверяет, долго, да еще городской женщине, зачем, господи?! Что там высматривать-то? Длинный, носатый, весь в морщинах раньше времени... Догадывались, что Саня потому и выдумал

эту историю, чтобы хоть так отыграться за то, что деревенские девки его не любили.

— Ну, ну, Саня? Дальше?

Дальше Санька бил в самое дыхало; история начинала звенеть и искриться, как та стенка в ресторане...

— Дальше мы едем с ней в ее трехкомнатную квартиру и гужуемся. Три дня! Я просыпаюсь, от так от шарю возле кровати, нахожу бутылку шампанского — буль-буль-буль!.. Она мне: «Ты бы хоть из фужера, Санёк, вон же фужеров полно!» Я говорю: «Имел я в виду эти фужеры!» Гужуемся три дня и три ночи! Как во сне жил. Она на работу вечером сходит, я пока один в квартире. Ванну принимаю, в туалете сижу... Ванна отделана голубым кафелем, туалет — желтым. Все блестит, мебель вся лакирована. Я сперва с осторожностью относился, она заметила, подняла на смех: «Брось ты,— говорит,— Санёк! Надо, чтоб вещи тебе служили, а не ты вещам. Что же,— говорит,— я все это с собой, что ли, возьму?» Шторы такие зеленые, с листочками... Задернешь— полумрак такой в комнатах. Кто-нибудь спал из вас в спальне из карельской березы? Мы же фраера! Мы думаем, что спать на панцирной сетке — это мечта жизни. Счас я себе делаю кровать из простой березы... город давно уже перешел на деревянные кровати. Если ты каждый день получаешь гигантский стресс, то выспаться-то ты должен!

— Ну, ну, Сань?

— Так проходят эти три дня. Вечером она привозит на такси курочек, разные заливные... Они мне сигналют, я спускаюсь, беру переносной такой холодильничек, несу... И мы опять гужуемся. Включаем радиолу на малую громкость, попиваем шампанское... Чего только моя левая нога захочет, я то немедленно получаю. Один раз я говорю: «А вот я видел в кино: наливает человек немного виски в стакан, потом туда из сифончика... Ты можешь так?»—«Это,— говорит,— называется виски с содовой. Сифон у меня есть, виски счас привезут». Точно, минут через пятнадцать привезли виски. Они мне, кстати, не поглянулись. Я пил водку с содовой. От так от нажимаешь курочек на сифончике, оттуда как даст в стакан... Прелесть.

— А как со стеклом-то?

— С каким стеклом?

— Ну, разбил-то...

— А-а. А никак. Она меня потом разглядывала всего и удивлялась. «Как ты,— говорит,— не порезался-то?» А мотоцикл — я ей деньги отдал, мне его прямо к подъезду подкатили...

Вот такая история случилась будто бы с Санькой Журавлевым. Из всего этого несомненной правдой было: Санька в самом деле ездил в город: не было его три дня; мотоцикл привез именно такой, какой хотел и на какой брал деньги; лишних денег у него с собой не было. Это все правда. В остальное односельчане никак не могли поверить. Санька нервничал, злился... Говорил мужикам про такие пóганые подробности, каких со зла не выдумаешь. Но считали, что всего этого Санька где-то наслышался.

— Ну, ё-моё! — психовал Санька.— Да где же я эти три дня был-то?! Где?!

— Может, в вытрезвителе.

— Да как я в вытрезвитель-то попаду?! Как? У меня лишнего рубля не было!

— Ну, это... Свинья грязи найдет.

— Иди найди! Иди хоть пятак найди за так-то. На что же бы я жил-то три дня?

Этого не могли объяснить. Но и в пышного директора ресторана и в ее трехкомнатную квартиру тоже не могли поверить. Это уж черт знает что такое — таких дур и на свете-то не бывает.

— Дистрофики! — обзывал всêх Санька.— Жуки навозные. Что вы понимаете-то? Ну, что вы можете понимать в современной жизни?

Слушал как-то эту историю Егорка Юрлов, мрачноватый, бесстрашный парень, шофер совхозный. Дослушал до конца, усмехнулся ядовито. К нему все повернулись, потому что его мнение — как-то так повелось — уважали. И, надо сказать, он и вправду был парень неглупый.

— Что скажешь, Егорка?

— Версия,— кратко сказал Егорка.

— Какая версия? — не понял Санька.

— Что ты дурачка-то из себя строишь? — прямо спросил Егорка.— Чего ты людей в заблуждение вводишь?

Санька аж побелел... Думали, что они подерутся. Но Санька прищемил обиду зубами. И тоже прямо спросил:

— У тебя машина на ходу?

— Зачем?

— Я спрашиваю: у тебя машина на ходу? — Санька угрожающе придвинулся к Егорке.— Ну?

Егорка подождал, не кинется ли на него Санька; подождал и ответил:

— На ходу.

— Поедем,— приказным голосом сказал Санька.— Надоела мне эта комедия: им рассказываешь, как добрым, они, стерва, хаханьки строют. Поедем к ней, я покажу тебе, как живут люди в двадцатом веке. Предупреждаю: без моего разрешения никого не лапать и не пить дорогое вино стаканами. Возможно, там соберется общество — может, подруги ее придут. Кто еще хочет ехать, фраера? — Саньку повело на спектакль — он любил иногда «выступить», но при всем том... При всем том он предлагал проверить, правду ли он говорит, или врет. Это серьезно.

Егорка, недолго думая, сказал:

— Поехали.

— Кто еще хочет? — еще раз спросил Санька.

Никто больше не пожелал ехать. История сама по себе довольно темная, да еще два таких едут... Недолго и того... угореть. А Санька с Егоркой поехали.

Дорогой еще раз ругнулись. Санька опять начал учить Егорку, чтоб он никого не лапал в городе и не пил дорогое вино стаканами.

— А то я ж вас знаю...

— Да пошел ты к такой-то матери! — обозлился Егорка.— Строит из себя, сидит... «Я ва-ас...» Кого это «вас»-то? А ты-то кто такой?

— Я тебя учу, как лучше ориентироваться в новой обстановке, понял?

— Научи лучше себя — как не трепаться. Не врать. А то звону наделал... Счас, если приедем и там никакой трехкомнатной квартиры не окажется,— Егорка постучал пальцем по рулю,— обратно пойдешь пешком.

— Ладно. Но если все будет, как я говорил, я те... Ты принародно, в клубе, скажешь со сцены: «Товарищи, зря мы не верили Саньке Журавлеву — он не врал». Идет?

— Едет,— буркнул мрачный Егорка.

— Черти! — в сердцах сказал Санька.— Сами живут... как при царе Горохе и других не пускают.

Приехали в город засветло.

«Направо». «Налево». «Прямо!» — командовал Санька. Он весь подсобрался, в глазах появилась решимость: он слегка трусил. Егорка искоса взглядывал на него, послушно поворачивал «влево», «вправо»... Он видел, что Санька вибрирует, но помалкивал. У него у самого сердце раза два сжалось в недобром предчувствии.

— Узнаю ресторан «Колос», — торжественно сказал Санька. — Тут, по-моему, опять налево. Да, иди налево.

— Адрес-то не знаешь, что ли?

— Адресов я никогда не помнил — на глаз лучше всего.

Еще покрутились меж высоких спичечных коробков, поставленных стоймя... И подъехали к одному, и остановились.

— Вот он, подъездик, — негромко сказал Санька. — Голубенький, с козырьком.

Посидели немного в кабине.

— Ну? — спросил Егорка.

— Счас... Она, наверно, на работе, — неуверенно сказал Санька. — Сколько счас?

— Без двадцати девять.

— У нее самый разгар работы...

— Ну-у... начинается. Уже очко работает?

— Пошли! — скомандовал Санька. — Пошли, теленочек, пошли. Если дома нет, поедем в ресторан.

Поднялись на четвертый этаж пешком.

— Так, — сказал Санька. Он волновался. — Следи за мной: как я, так и ты, но малость скромнее. Как будто ты мой бедный родственник... Фу! Волнуюсь, стерва. А чего волнуюсь? Упэред! — И он нажал беленький пупочек звонка.

За дверью из тишины послышались остренькие шажочки.

— Паркет, знаешь, какой!.. — успел шепнуть Санька.

В двери очень долго поворачивался и поворачивался ключ — может, не один?

Санька нервно подмигнул Егорке.

Наконец дверь приоткрылась... Санька растянул большой рот в улыбке, хотел двинуть дверь, чтоб она распахнулась приветливее, но она оказалась на цепочке.

— Кто это? — тревожно и недовольно спросили из-за двери. Женщина спросила.

— Ира... это я! — сказал Санька ненатуральным голосом. И улыбку растянул еще шире. Можно сказать,

что на лице его в эту минуту были нос и улыбка, остальное — морщины.

— Боже мой! — зло и насмешливо сказал голос за дверью (Егорка не видел из-за Саньки лицо женщины), и дверь захлопнулась и резко, сухо щелкнула.

Санька ошалел... Посмотрел растерянно на Егорку.

— Ё-моё! — сказал он.— Она что, озверела?

— Может, не узнала? — без всякого ехидства подсказал Егорка.

Санька еще раз нажал на белый пупочек. За дверью молчали. Санька давил и давил на кнопочку. Наконец послышались шаги — тяжелые, мужские. Дверь опять открылась, но опять мешал цепок. Выглянуло розовое мужское лицо. Мужчина боднул строгим взглядом Саньку... Потом глаза его обнаружили мрачноватого Егорку и — быстро-быстро — поискали, нет ли еще кого? И, стараясь, чтоб вышло зло и страшно, спросил:

— В чем дело?

— Позови Ирину,— сказал Санька.

Мужчина мгновение решал, как поступить... Из глубины квартиры ему что-то сказали. Мужчина резко захлопнул дверь. Санька тут же нажал на кнопку звонка и не отпускал. Дверь опять раскрылась.

— Что, выйти накостылять, что ли?! — уже всерьез злобно сказал мужчина.

Санька подставил ногу под дверь, чтобы мужчина не сумел ее закрыть.

— Выйди на минутку,— сказал он.— Я спрошу кое-что.

Мужчина чуть отступил и всем телом ринулся на дверь... Санька взвыл. Егорка с этой стороны — точно так, как тот за дверью,— откачнулся и саданул дверь плечом. Санька выдернул ногу и тоже навалился плечом на дверь.

— Семен! — заполошно крикнул мужчина.

Пока Семен бежал в тапочках на зов товарища, молодые деревенские бычки поднатужились тут... Цепочка лопнула.

— Руки вверх! — заорал Санька, ввалившись в коридор.

Мужчина с розовым лицом попятился от них... Мужчина в тапочках тоже резко осадил бег. Но тут вперед с визгом вылетела коротконогая женщина с могучим торсом,

— Во-он! — Странно, до чего она была легкая при своей тучности и до чего же пронзительно она визжала.— Вон отсюда, сволочи!! Звоните в милицию! Я звоню в милицию! — Женщина так же легко ускакала звонить.

— Пошли, Санька,— сказал Егорка.

Санька не знал, как подумать про все это.

— Пошли,— еще сказал Егор.

— Нет, не пошли-и,— свирепо сказал розоволицый. И стал надвигаться на Саньку.— Нет, не пошли-и... Так просто, да? Семен, заходи-ка с той стороны. Окружай хулиганов!

Человек в тапочках пошел было окружать. Но тут вернулся от двери Егор...

...Из «окружения» наши орлы вышли, но получили по пятнадцать суток. А у Егорки еще и права на полгода отняли — за своевольную поездку в город. Странно, однако, что деревенские после всего этого в Санькину историю полностью поверили. И часто просили рассказать, как он гужевался в городе три дня и три ночи. И смеялись.

Не смеялся только Егорка: без машины стал меньше зарабатывать.

— Дурак, поперся,— ворчал он.— На кой черт?

— Егор, а как баба-то? Правда, что ли, шибко красивая?

— Да я и разглядеть-то не успел как следует: прыгал какой-то буфет по квартире...

— А квартирка-то, правда, что ли, такая шикарная?

— Квартира шикарная. Квартиру успел разглядеть. Квартира шикарная.

Санька долго еще ходил по деревне героем.

1973

ОСЕНЬЮ

Паромщик Филипп Тюрин дослушал последние известия по радио, поторчал еще за столом, помолчал строго...

— Никак не могут уняться! — сказал он сердито.

— Кого ты опять? — спросила жена Филиппа, высокая старуха с мужскими руками и с мужским басовитым голосом.

— Бомбят! — Филипп кивнул на репродуктор.

— Кого бомбят?

— Вьетнамцев-то.

Старуха не одобряла в муже его увлечение политикой, больше того, это дурацкое увлечение раздражало ее. Бывало, что они всерьез ругались из-за политики, но сейчас старухе не хотелось ругаться — некогда, она собиралась на базар.

Филипп, строгий, сосредоточенный, оделся потеплее и пошел к парому.

Паромщиком он давно, с войны. Его ранило в голову, в наклон работать — плотничать — он больше не мог, он пошел паромщиком.

Был конец сентября, дуло после дождей, наносило мразь и холод. Под ногами чавкало. Из репродуктора у сельмага звучала физзарядка, ветер трепал обрывки музыки и бодрого московского голоса. Свинячий визг по селу и крик петухов был устойчивей, пронзительней.

Встречные односельчане здоровались с Филиппом кивком головы и поспешали дальше — к сельмагу за хлебом или к автобусу, тоже на базар торопились.

Филипп привык утрами проделывать этот путь — от дома до парома, совершал его бездумно. То есть он думал о чем-нибудь, но никак не о пароме или о том, например, кого он будет переправлять целый день. Тут все понятно. Он сейчас думал, как унять этих американцев с войной. Он удивлялся, но никого не спрашивал: почему их не двинут нашими ракетами? Можно же за пару дней все решить. Филипп смолоду был очень активен. Активно включился в новую жизнь, активничал с колхозами... Не раскулачивал, правда, но спорил и кричал много — убеждал недоверчивых, волновался. Партийцем он тоже не был, как-то об этом ни разу не зашел разговор с ответственными товарищами, но зато ответственные никогда без Филиппа не обходились: он им от души помогал. Он втайне гордился, что без него никак не могут обойтись. Нравилось накануне выборов, например, обсуждать в сельсовете с приезжими товарищами, как лучше провести выборы: кому доставить урну домой, а кто сам придет, только надо сбегать утром напомнить... А были и такие, что начинали артачиться: «Они мне коня много давали — я просил за дровами?..» Филипп прямо в изумление приходил от таких слов. «Да ты что, Егор,— говорил он мужику,— да рази можно сравнивать?! Вот дак раз! Тут политическое дело,

а ты с каким-то конем: спутал телятину с...» И носился по селу, доказывал. И ему тоже доказывали, с ним охотно спорили, не обижались на него, а говорили: «Ты им скажи там...» Филипп чувствовал важность момента, волновался, переживал. «Ну народ! — думал он, весь объятый заботами большого дела.— Обормоты дремучие». С годами активность Филиппа слабела, а тут его в голову-то шваркнуло — не по силам стало активничать и волноваться. Но он по-прежнему все общественные вопросы принимал близко к сердцу, беспокоился.

На реке ветер похаживал добрый. Стегал и толкался... Канаты гудели. Но хоть выглянуло солнышко, и то хорошо.

Филипп сплавал туда-сюда, перевез самых нетерпеливых, дальше пошло легче, без нервов. И Филипп наладился было опять думать про американцев, но тут подъехала свадьба... Такая — нынешняя: на легковых, с лентами, с шарами. В деревне теперь тоже завели такую моду. Подъехали три машины... Свадьба выгрузилась на берегу, шумная, чуть хмельная... весьма и весьма показушная, хвастливая. Хоть и мода — на машинах-то, с лентами-то,— но еще редко, еще не все могли достать машины.

Филипп с интересом смотрел на свадьбу. Людей этих он не знал — нездешние, в гости куда-то едут. Очень выламывался один дядя в шляпе... Похоже, что это он добыл машины. Ему все хотелось, чтоб получился размах, удаль. Заставил баяниста играть на пароме, первый пустился в пляс — покрикивал, дробил ногами, смотрел орлом. Только на него-то и смотреть было неловко, стыдно. Стыдно было жениху с невестой — они трезвее других, совестливее. Уж он кобенился-кобенился, этот дядя в шляпе, никого не заразил своим деланным весельем, устал... Паром переплыл, машины съехали, и свадьба укатила дальше.

А Филипп стал думать про свою жизнь. Вот как у него случилось в молодости с женитьбой. Была в их селе девка Марья Ермилова, красавица. Круглоликая, румяная, приветливая... Загляденье. О такой невесте можно только мечтать на полатях. Филипп очень любил ее, и Марья тоже его любила — дело шло к свадьбе. Но связался Филипп с комсомольцами... И опять же: сам комсомольцем не был, но кричал и ниспровергал все наравне с ними. Нравилось Филиппу, что комсомольцы

восстали против стариков сельских, против их засилья. Было такое дело: поднялся весь молодой сознательный народ против церковных браков. Неслыханное творилось... Старики ничего сделать не могут, злятся, хватаются за бичи — хоть бичами, да исправить молокососов, но только хуже толкают их к упорству. Веселое было время. Филипп, конечно, тут как тут: тоже против венчанья. А Марья — нет, не против: у Марьи мать с отцом крепкие, да и сама она окончательно выпряглась из передовых рядов: хочет венчаться. Филипп очутился в тяжелом положении. Он уговаривал Марью всячески (он говорить был мастер, за это, наверно, и любила его Марья — искусство редкое на селе), убеждал, сокрушал темноту деревенскую, читал ей статьи разные, фельетоны, зубоскалил с болью в сердце... Марья ни в какую: венчаться, и все. Теперь, оглядываясь на свою жизнь, Филипп знал, что тогда он непоправимо сглупил. Расстались они с Марьей. Филипп не изменился потом, никогда не жалел и теперь не жалеет, что посильно, как мог участвовал в переустройстве жизни, а Марью жалел. Всю жизнь сердце кровью плакало и болело. Не было дня, чтобы он не вспомнил Марью. Попервости было так тяжко, что хотел руки на себя наложить. И с годами боль не ушла. Уже была семья — по правилам гражданского брака — детишки были... А болело и болело по Марье сердце. Жена его, Фекла Кузовникова, когда обнаружила у Филиппа эту его постоянную печаль, возненавидела Филиппа. И эта глубокая тихая ненависть тоже стала жить в ней постоянно. Филипп не ненавидел Феклу, нет... Но вот на войне, например, когда говорили: «Вы защищаете ваших матерей, жен...», Филипп вместо Феклы видел мысленно Марью. И если бы случилось погибнуть, то и погиб бы он с мыслью о Марье. Боль не ушла с годами, но, конечно, не жгла так, как жгла первые женатые годы. Между прочим, он тогда и говорить стал меньше. Активничал по-прежнему, говорил, потому что надо было убеждать людей, но все как будто вылезал из своей большой горькой думы. Задумается-задумается, потом спохватится — и опять вразумлять людей, опять раскрывать им глаза на новое, небывалое. А Марья тогда... Марью тогда увезли из села. Зазнал ее какой-то (не какой-то, Филипп потом с ним много раз встречался) богатый парень из Краюшкина, приехали, сосватали и увезли. Конечно, венчались.

Филипп спустя год спросил у Павла, мужа Марьи: «Не совестно было? В церкву-то поперся...» На что Павел сделал вид, что удивился, потом сказал: «А чего мне совестно-то должно быть?»—«Старикам-то поддался».— «Я не поддался,— сказал Павел,— я сам хотел венчаться».—«Вот я и спрашиваю,— растерялся Филипп,— не совестно? Старикам уж простительно, а вы-то?.. Мы же так никогда из темноты не вылезем». На это Павел заматерился. Сказал: «Пошли вы!..» И не стал больше разговаривать. Но что заметил Филипп: при встречах с ним Павел смотрел на него с какой-то затаенной злостью, с болью даже, как если бы хотел что-то понять и никак понять не мог. Дошел слух, что живут они с Марьей неважно, что Марья тоскует. Филиппу этого только не хватало: запил даже от нахлынувшей новой боли, но потом пить бросил и жил так — носил постоянно в себе эту боль-змею, и кусала она его и кусала, но притерпелся.

Такие-то невеселые мысли вызвала к жизни эта свадьба на машинах. С этими мыслями Филипп еще поплавал туда-сюда, подумал, что надо, пожалуй, выпить в обед стакан водки — ветер пронизывал до костей, и душа чего-то заскулила. Заныла, прямо затревожилась.

«Раза два еще сплаваю и пойду на обед»,— решил Филипп.

Подплывая к чужому берегу (у Филиппа был свой берег, где его родное село, и чужой), он увидел крытую машину и кучку людей около машины. Опытный глаз Филиппа сразу угадал, что это за машина и кого она везет в кузове: покойника. Люди возят покойников одинаково: у парома всегда вылезут из кузова, от гроба, и так как-то стоят и смотрят на реку, и молчат, что сразу все ясно.

«Кого же это? — думал Филипп, вглядываясь в людей.— Из какой-нибудь деревни, что вверх по реке, потому что не слышно было, чтобы кто-то поблизости помер. Только почему же — откуда-то везут? Не дома, что ли, помер, а домой хоронить везут?»

Когда паром подплыл ближе к берегу, Филипп узнал в одном из стоявших у машины Павла, Марьиного мужа. И вдруг Филипп понял, кого везут... Марью везут. Вспомнил, что в начале лета Марья ехала к дочери в город. Они поговорили с Филиппом, пока плыли. Марья сказала, что у дочери в городе родился ребенок, надо по-

мочь пока. Поговорили тогда хорошо. Марья рассказала, что живут они ничего, хорошо, дети (трое) все пристроились, сама она получает пенсию. Павел тоже получает пенсию, но еще работает, столярничает помаленьку на дому. Скота много не держат, но так-то все есть... Индюшек наладилась держать. Дом вот перебрали в прошлом году: сыновья приезжали, помогли. Филипп тоже рассказал, что тоже все хорошо пока, пенсию тоже получает, здоровьишком пока не жалуется, хотя к погоде голова побаливает. А Марья сказала, что у нее сердце чего-то... Мается сердцем. То ничего-ничего, а то как сожмет, сдавит... Ночью бывает: как заломит-заломит, хоть плачь. И вот, видно, конец Марье... Филипп как узнал Павла, так ахнул про себя. В жар кинуло.

Паром стукнулся о шаткий припоромок (причал). Вдели цепи с парома в кольца припоромка, заклячили ломиками... Крытая машина пробовала уже передними колесами бревна припоромка, бревна хлябали, трещали, скрипели...

Филипп как завороженный стоял у своего весла, смотрел на машину. Господи, господи, Марью везут, Марью... Филиппу полагалось показать шоферу, как ставить на пароме машину, потому что сзади еще заруливали две, но он как прирос к месту, все смотрел на машину, на кузов.

— Где ставить-то?! — крикнул шофер.

— А?

— Где, мол, ставить-то?

— Да ставь...— Филипп неопределенно махнул рукой. Все же никак он не мог целиком осознать, что везут мертвую Марью... Мысли вихлялись в голове, не собирались воедино, в скорбный круг. То он вспоминал Марью, как она рассказывала ему вот тут, на пароме, что живут они хорошо... То молодой ее видел, как она... Господи, господи... Марья... Да ты ли это?

Филипп отодрал наконец ноги с места, подошел к Павлу.

Павла жизнь скособочила. Лицо еще свежее, глаза умные, ясные, а осанки никакой. И в глазах умных большая спокойная грусть.

— Что, Павел?..— спросил Филипп.

Павел мельком глянул на него, не понял вроде, о чем его спросили, опять стал смотреть вниз, в доски парома.

Филиппу неловко было еще спрашивать... Он вернулся опять к веслу. А когда шел, то обошел крытую машину с задка кузова, заглянул туда — гроб. И открыто заболело сердце, и мысли собрались воедино: да, Марья.

Поплыли. Филипп машинально водил рулевым веслом и все думал: «Марьюшка, Марья...» Самый дорогой человек плывет с ним последний раз... Все эти тридцать лет, как он паромщиком, он наперечет знал, сколько раз Марья переплывала на пароме. В основном все к детям ездила в город: то они учились там, то устраивались, то когда у них детишки пошли... И вот — нету Марьи.

Паром подвалил к этому берегу. Опять зазвякали цепи, взвыли моторы... Филипп опять стоял у весла и смотрел на крытую машину. Непостижимо... Никогда в своей жизни он не подумал: что, если Марья умрет? Ни разу так не подумал. Вот уж к чему не готов был, к ее смерти. Когда крытая машина стала съезжать с парома, Филипп ощутил нестерпимую боль в груди. Охватило беспокойство: что-то он должен сделать? Ведь увезут сейчас. Совсем. Ведь нельзя же так: проводил глазами, и все. Как же быть? И беспокойство все больше овладевало им, а он не трогался с места, и от этого становилось вовсе не по себе.

«Да проститься же надо было!..— понял он, когда крытая машина взбиралась уже на взвоз.— Хоть проститься-то!.. Хоть посмотреть-то последний раз. Гроб-то еще не заколочен, посмотреть-то можно же!» И почудилось Филиппу, что эти люди, которые провезли мимо него Марью, что они не должны так сделать — провезти, и все. Ведь если чье это горе, так больше всего — его горе. В гробу-то Марья. Куда же они ее?.. И опрокинулось на Филиппа все не изжитое жизнью, не истребленное временем, незабытое, дорогое до боли... Вся жизнь долгая стояла перед лицом — самое главное, самое нужное, чем он жив был... Он не замечал, что плачет. Смотрел вслед чудовищной машине, где гроб... Машина поднялась на взвоз и уехала в улицу, скрылась. Вот теперь жизнь пойдет как-то иначе: он привык, что на земле есть Марья. Трудно бывало, тяжко — он вспоминал Марью и не знал сиротства. Как же теперь-то будет? Господи, пустота какая, боль какая!

Филипп быстро сошел с парома: последняя машина, только что съехавшая, замешкалась чего-то... Филипп подошел к шоферу.

— Догони-ка крытую... с гробом,— попросил он, залезая в кабину.

— А чего?.. Зачем?

— Надо.

Шофер посмотрел на Филиппа, ничего больше не спросил, поехали.

Пока ехали по селу, шофер несколько раз присматривался сбоку к Филиппу.

— Это краюшкинские, что ли? — спросил он, кивнув на крытую машину впереди.

Филипп молча кивнул.

— Родня, что ли? — еще спросил шофер.

Филипп ничего на это не сказал. Он опять смотрел во все глаза на крытый кузов. Отсюда виден был гроб посередке кузова... Люди, которые сидели по бокам кузова, вдруг опять показались Филиппу чуждыми — и ему, и этому гробу. С какой стати они-то там? Ведь в гробу Марья.

— Обогнать, что ли? — спросил шофер.

— Обгони... И ссади меня.

Обогнали фургон... Филипп вылез из кабины и поднял руку. И сердце запрыгало, как будто тут сейчас должно что-то случиться такое, что всем, и Филиппу тоже, станет ясно: кто такая ему была Марья. Не знал он, что случится, не знал, какие слова скажет, когда машина с гробом остановится... Так хотелось посмотреть Марью, так это нужно было, важно. Нельзя же, чтобы она так и уехала, ведь и у него тоже жизнь прошла, и тоже никого не будет теперь.

Машина остановилась.

Филипп зашел сзади... Взялся за борт руками и полез по железной этой короткой лесенке, которая внизу кузова.

— Павел...— сказал он просительно и сам не узнал своего голоса: так просительно он не собирался говорить.— Дай я попрощаюсь с ней... Открой, хоть гляну.

Павел вдруг резко встал и шагнул к нему... Филипп успел близко увидеть его лицо... Изменившееся лицо, глаза, в которых давеча стояла грусть, теперь они вдруг сделались злые...

— Иди отсюда! — негромко, жестоко сказал Павел. И толкнул Филиппа в грудь. Филипп не ждал этого, чуть не упал, удержался, вцепившись в кузов.— Иди!..— закричал Павел. И еще толкнул, и еще — да сильно тол-

кал. Филипп изо всех сил держался за кузов, смотрел на Павла, не узнавал его. И ничего не понимал.

— Э, э, чего вы?— всполошились в кузове. Молодой мужчина, сын, наверно, взял Павла за плечи и повлек в кузов.— Что ты? Что с тобой?

— Пусть уходит! — совсем зло говорил Павел.— Пусть он уходит отсюда!.. Я те посмотрю. Приполз... гадина какая. Уходи! Уходи!..— Павел затопал ногой. Он как будто взбесился с горя.

Филипп слез с кузова. Теперь-то он понимал, что с Павлом. Он тоже зло смотрел снизу на него. И говорил, сам не сознавая, что говорит, но, оказывается, слова эти жили в нем готовые:

— Что, горько?.. Захапал чужое-то, а горько. Радовался тогда?..

— Ты зато много порадовался! — сказал из кузова Павел.— А то я не знаю, как ты радовался!..

— Вот как на чужом-то несчастье свою жизнь строить,— продолжал Филипп, не слушая, что ему говорят из кузова. Важно было успеть сказать свое, очень важно.— Думал, будешь жить припеваючи? Не-ет, так не бывает. Вот я теперь вижу, как тебе все это досталось...

— Много ли ты-то припевал? Ты-то... Сам-то... Самого-то чего в такую дугу согнуло? Если хорошо-то жил — чего же согнулся? От хорошей жизни?

— Радовался тогда? Вот — нарадовался... Побирушка. Ты же побирушка!

— Да что вы?! — рассердился молодой мужчина.— С ума, что ли, сошли!.. Нашли время.

Машина поехала. Павел еще успел крикнуть из кузова:

— Я побирушка!.. А ты скулил всю жизнь, как пес, за воротами! Не я побирушка-то, а ты!

Филипп медленно пошел назад.

«Марья,— думал он,— эх, Марья, Марья... Вот как ты жизнь-то всем перекосила. Полаялись вот — два дурака... Обои мы с тобой побирушки, Павел, не трепыхайся. Если ты не побирушка, то чего же злишься? Чего бы злиться-то? Отломил смолоду кусок счастья — живи да радуйся. А ты радости-то тоже не знал. Не любила она тебя, вот у тебя горе-то и полезло горлом теперь. Нечего было и хватать тогда. А то приехал — раз, два — увезли!.. Обрадовались».

Горько было Филиппу... Но теперь к горькой горечи этой примешалась еще досада на Марью.

«Тоже хороша: нет подождать — заусилась в Краюшкино! Прямо уж нетерпеж какой-то. Тоже толку-то было... И чего вот теперь?..»

— Теперь уж чего...— сказал себе Филипп окончательно.— Теперь ничего. Надо как-нибудь дожить... Да тоже собираться следом. Ничего теперь не воротишь.

Ветер заметно пооослаб, небо очистилось, солнце осветило, а холодно было. Голо как-то кругом и холодно. Да и то — осень, с чего теплу-то быть?

1973

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Некоторые конкретные мысли Н. Н. Князева, человека и гражданина

1. «О государстве»

В райгородок Н. приехали эти, которые по вертикальной стене на мотоциклах ездят. На бывшей базарной площади соорудили большой балаган из щитов и брезента, и пошла там трескотня с паузами; над площадью целыми днями висела синяя дымка, и остро пахло бензином. Трескотня начиналась в 11 часов и заканчивалась в 19. По стене гоняли супруги Кайгородовы — так гласила афиша.

Кайгородовы остановились в здешней гостинице.

Как-то вечером к ним в дверь постучали.

Кайгородов, лежа на кровати, читал газету, жена его, рослая, круглолицая спортсменка, гладила платье.

— Да,— сказал Кайгородов. Отложил газету, сел, подобрал дальше под кровать босые ноги.— Войдите!

Вошел невысокий человек лет сорока пяти, голубоглазый, в галстуке, усмешливый, чуть нахальный.

— Здравствуйте! — сказал человек весело.— Разрешите познакомиться: Князев. Николай Николаич. Вас я знаю: наблюдал вашу работу.

Кайгородов, крепкий красивый мужик, пожал руку гостя. Тот слегка тоже пожал руку хозяина и поклонился Кайгородовой.

— Садитесь,— пригласил Кайгородов.

— Спасибо.— Князев сел и оглядел жилище спортсменов.— А номерок-то... не очень. А?

Кайгородов пожал плечами:

— Ничего. Временно же...

— Я, собственно, вот чего: хотел пригласить вас к себе домой,— сказал Князев. И вопросительно посмотрел сперва на Кайгородову, потом на Кайгородова.

— Зачем? — спросил прямодушный Кайгородов.

— Да так — в гости. Попьем чайку...— Князев смотрел на хозяев весело и бесцеремонно.— Я здесь близко живу... Иконами интересуетесь?

— Иконами?.. Нет. А что?

— У моей тетки есть редкие иконы. Она, конечно, трясется над ними, но когда приезжают знающие люди, показывает. Кроме того, если ей поднести стаканчик водки — тоже покажет.

— Нет, не интересуемся.

— Ну, просто так пойдемте.

— Да зачем? — все не понимал хозяин.

— В гости, боже мой! — воскликнул Князев.— Что тут такого?

Жена Кайгородова посмотрела на мужа... Тот тоже глянул на нее. Они ничего не понимали.

— Ну? — продолжал Князев.— Чего переглядываться-то? Я же не приглашаю вас на троих сообразить...

— Слушайте,— перебил Кайгородов, человек прямой и несдержанный,— я не понимаю: чего вам надо?

— Тю-тю-тю,— с улыбкой, мирно сказал Князев.— Сразу — обида... Зачем же обижаться-то? Я просто приглашаю вас в гости. Что тут обидного?

— Да я не обижаюсь...— Спортсмен несколько смутился.— Но с другой стороны... я не пойму...

— А я объясняю: пойдемте ко мне в гости,— опять мирно, терпеливо пояснил Князев.— И будет как раз с той стороны, с какой...

— Не пойду,— отчетливо, тоже изо всех сил спокойно сказал Кайгородов. Он опять обозлился. Обозлило вконец это нахальное спокойствие гостя, его какая-то противная веселость.— Вам ясно? Не пойду. Не хочу пить чай.

Князев от души засмеялся:

— Да почему?!

Кайгородов почувствовал себя в дураках. Ноздри его крупного красивого носа запрыгали...

— Гриша,— сказала жена предостерегающе.

Кайгородов встал... Пристально глядя на гостя, нашел под кроватью — ногой — тапочки, надел их и пошел к выходу.

— Пойдемте,— велел он Князеву тихо.

— Гриша,— опять сказала жена.

— Все в порядке,— обернулся с порога Кайгородов.— Чего? — И требовательно посмотрел на сидящего Князева. И еще раз сказал: — Пойдемте.

— Куда? — спросил Князев.

— В коридор. Там объясните мне: чего вам надо.

— Да я здесь объясню, зачем в коридор-то? — Похоже, гость струсил, потому что оставил веселость. И говорил теперь, обращаясь больше к хозяйке: — Вы не подумайте, ради бога, что я чего-нибудь тут... преследую, просто захотелось поговорить с приезжими людьми... К нам ведь не часто жалуют... Почему вы обиделись-то? — И Князев просто, кротко посмотрел на хозяина.— Я вовсе не хотел вас обидеть. Извините, если уж вам так не по нутру мое приглашение...— Князев встал со стула.— Как умел, так и пригласил...

Кайгородову опять неловко стало за свою несдержанность. Он вернулся от двери, сел на кровать. Хмурился и не глядел на гостя.

— Гриша,— заговорила жена,— ты ведь свободен... Я-то не могу,— сказала она гостю,— мы завтра уезжаем, надо приготовиться...

— Я знаю, что вы завтра уезжаете, поэтому и пришел,— сказал Князев.— Вы уж извините, что так нескладно вышло... Хотел, как лучше. Вас, наверно, покоробило, что я хихикать стал? — повернулся он к Кайгородову.— Это я от смущения. Все же вы люди... заметные...

— Да ну, чего тут!..— сказал Кайгородов. И посмотрел на жену.— Можно сходить, вообще-то...

— Сходи. А я буду собираться пока.

— Пойдемте! — подхватил Князев.— Посмотрите, как живут провинциалы... Все равно ведь так лежите.

Кайгородов, совсем уже было собравшийся с духом, опять заколебался. Вопросительно посмотрел на Князева. Князев поглядел на него опять весело и с каким-то необъяснимым нахальством. Это изумляло Кайгородова.

— Пойдемте,— решительно сказал он. И встал.

— Ну вот,— с облегчением, как бы сам себе молвил Князев.— А то — в коридор....

Кайгородову теперь уже даже хотелось поскорей выйти отсюда с Князевым — понять, наконец, что это за человек и чего он хочет. Что тут что-то неспроста, он не сомневался, но ему стало любопытно, и он был достаточно сильный и смелый человек, чтобы надеяться на себя. Зато теперь жена явно обеспокоилась.

— А может быть, лучше...— начала было она, но муж не дал ей договорить:

— Я скоро, Галя.

— Мы быстро,— сказал и Князев.

Всякое смущение у Кайгородова прошло. Он скоренько оделся, и они вышли с Князевым из номера. На прощание Князев слегка опять поклонился Кайгородовой и сказал:

— Спокойной ночи.

На дворе уже стемнело. На улицах городка совсем почти не было освещения, только возле гостиницы, у подъезда, лежал на земле светлый круг, а дальше было темно и тревожно.

— Вон там вон мой дом,— сказал Князев.— Метров триста.

Когда вышли из светлого круга и ступили в темень, Кайгородов остановился прикурить.

— Ну, так в чем дело? — спросил он, когда прикурил. Он не видел лица Князева, но чувствовал его веселый, нахальный взгляд, поэтому говорил прямо и жестко.

— Вас как по батюшке-то? — спросил Князев.

— Что надо, я спрашиваю!

Они стояли друг против друга.

— Господи! — насмешливо сказал Князев.— Да вы что, испугались, что ли?

— Что надо?! — в третий раз спросил Кайгородов строго.— Я, знаешь, всяких этих штук не люблю...

— Тьфу! — горько и по правде изумился Князев.— Да вы что? Ну, спортсмены... На чай приглашаю, в гости! Вот мой дом — рукой подать. У меня жена дома, дети, двое... Тетка в боковой комнате... Ну, дают спортсмены! Вы что?

— А что это за манера такая... странная? — сказал Кайгородов.— Хаханьки какие-то...

— Манера-то? — Князев хмыкнул.— Заметил!..— И он двинулся в темноту. Кайгородов пошел следом.— Манера, которая вырабатывается от постоянного общения с

человеческой глупостью и тупостью. Вот побьешься-побьешься об нее лбом — и начнешь хихикать.— Князев говорил серьезно, негромко, с грустью.— Сперва, знаете, кричать хочется, ругаться, а потом уж смешно.

Кайгородов не знал, что говорить. Да и говорить сейчас было бы крайне неудобно: он продвигался наугад, несколько раз натыкался на Князева. Тот протягивал назад руку и говорил:

— Осторожно.

— Темно, как...

— Про Спинозу что-нибудь слышали? — спросил Князев.

— Слышал... мыслитель такой был.

— Мыслитель, совершенно верно. Философ. Приехал он однажды в один городок, остановился у каких-то людей... Целыми днями сидит, что-то пишет. А ведь простые люди, они как? — сразу на смех, глядите, мол, ничего человек не делает, только пишет. Что остается делать Спинозе?

— Вы спрашиваете, что ли?

— Спрашиваю. Что делать мыслителю?

— Что делать?.. Что он и делал — писать.

Князев помолчал... Потом сказал грустно:

— Это легко сказать... спустя триста лет. А он был живой человек, его всякие эти... шутки, как вы говорите, тоже из себя выводили. Вот и мой дом,— сказал Князев.— Я хочу только предупредить...— Князев остановился перед воротцами: — Жена у меня, как бы это поточнее — не сильно приветливая. Вы все поймете. Главное, не обращайте внимания, если она будет чего-нибудь... недовольство проявлять, например.

Кайгородов очень жалел, что пошел черт знает куда и с кем.

— Может, не ходить, если она недовольство проявляет?

Князев — слышно было — тихо заругался.

— А что делал Спиноза? Вы же сами сказали! Смелей, спортсмен! Пусть нас осудят потом, если исторически окажутся умней нас.— Князев — чувствовалось — намеренно вызывал в себе некую непреклонность, которую он ослабил на время общения с незнакомыми людьми.— Не бойтесь.

— Да ничего я не боюсь! — раздраженно сказал Кайгородов.— Но поперся с вами зря, это уж точно.

— Как сказать, как сказать,— молвил Князев, открывая сеничную дверь.— Тут осторожней — головой можно удариться.

В большой светлой комнате, куда вошли, бросалось в глаза много телевизоров. Они стояли везде: на столе, на стульях... Потом Кайгородов увидел сухощавую женщину в кути у печки, она чистила картошку. Кайгородова поразили ее глаза: враждебно вопросительные, очень умные, но сердитые.

— Здравствуйте,— сказал Кайгородов, наткнувшись на сердитый взгляд женщины.

— Это товарищ из госцирка,— пояснил Князев.— Приготовь нам чайку. А мы пока побеседуем... Проходите сюда, товарищ Кайгородов.

Они прошли в горницу — тоже большая комната, очень много книг, большой письменный стол и тоже полно телевизоров.

— Почему столько телевизоров-то? — спросил Кайгородов.

— Ремонтирую,— сказал Князев, сразу подсаживаясь к столу и извлекая из ящика какие-то бумаги.— Спиноза стекла шлифовал, а я вот... паяю, тем самым зарабатываю на хлеб насущный. А мастерская у нас маленькая, поэтому приходится домой брать.— Он достал бумаги — несколько общих тетрадей,— посмотрел на них. Он не улыбался, он был озабочен, как-то привычно озабочен, покорно.— Садитесь, пожалуйста. Чаю, возможно, не будет... Может, и будет, если совесть проснется. Но дело не в этом. Садитесь, я не люблю, когда стоят.— Князев говорил так, как если бы говорил и делал это же самое много раз уже — торопился, не интересовался, как воспримут его слова. Весь он был поглощен тетрадями, которые держал в руках.— Здесь,— продолжал он и качнул тетради,— труд многих лет. Я вас очень прошу...— Князев посмотрел на Кайгородова, и глаза его... в глазах его стояла серьезная мольба и тревога.— Это размышления о государстве.

— О государстве? — невольно переспросил Кайгородов. Князев пропустил мимо эго удивление.

— Мне нужно полтора часа вашего времени...— Тут Князев уловил чутким ухом нечто такое, что встревожило и рассердило его. Он вскочил с места и скорым шагом, почти бегом, устремился к двери. Открыл ее одной рукой и сказал громко:

— Я прошу! Я очень пр-рошу!.. Не надо нам твоего чая, только не грохай, пожалуйста, и не психуй!

Из той комнаты ему что-то негромко ответили, на что Князев еще раз четко, раздельно, с некоторым отчаянием, но и зло сказал:

— Я очень тебя прошу! О-очень! — И захлопнул дверь. Вернулся к столу, взял опять тетради в обе руки и, недовольный, сказал: — Психуем.

Кайгородов во все глаза смотрел на странного человека.

Князев положил тетради на стол, а одну взял, раскрыл на коленях... Погладил рукой исписанные страницы. Рука его чуть дрожала.

— Государство,— начал он, но еще не читать стал, а так пока говорил, готовясь читать,— это очень сложный организм, чтобы извлечь из него пользу, надо... он требует осмысления в целом. Не в такой, конечно, обстановке...— Он показал глазами на дверь.— Но... тут уж ничего не сделаешь. Тут моя ошибка: не надо было жениться. Пожалел дуру... А себя не пожалел. Но это все так, прелюдия. Вот тут и есть, собственно, осмысление государства.— Князев погладил опять страницы, кашлянул и стал читать: —«Глава первая: схема построения целесообразного государства. Государство — это многоэтажное здание, все этажи которого прозваниваются и сообщаются лестницей. Причем этажи постепенно сужаются, пока не останется наверху одна комната, где и помещается пульт управления. Смысл такого государства состоит в следующем...» Мобилизуйте вашу фантазию, и пойдем нанизывать явления, которые нельзя пощупать руками.— Князев поднял глаза от тетради, посмотрел на Кайгородова, счел нужным добавить еще: — Русский человек любит все потрогать руками — тогда он поймет, что к чему. Мыслить категориями он еще не привык. Вам смысл ясен, о чем я читаю?

Кайгородов засмотрелся в глаза Князева, не сразу ответил.

— Вам ясно?

— Ясно,— сказал Кайгородов.

— «Представим себе,— продолжал читать Князев,— это огромное здание в разрезе. А население этажей в виде фигур, поддерживающих этажи. Таким образом, все здание держится на фигурах. Для нарушения общей картины представим себе, что некоторые фигуры на ка-

ком-то этаже — «х» — уклонились от своих обязанностей, перестали поддерживать перекрытие: перекрытие прогнулось. Или же остальные фигуры, которые честно держат свой этаж, получат дополнительную нагрузку: закон справедливости нарушен. Нарушен также закон равновесия — на пульт управления летит сигнал тревоги. С пульта управления запрос: где провисло? Немедленно прозваниваются все этажи... Люди доброй воли плюс современная техника — установлено: провисло на этаже «у». С пульта управления...»

— Вы это серьезно все? — спросил Кайгородов.

— То есть? — не понял Князев.

— Вы серьезно этим занимаетесь?

Князев захлопнул тетрадь, положил ее на стопку других... Чуть подумал и спрятал все тетради в ящик стола. Встал и бесцветным, тусклым голосом сказал:

— До свидания.

Кайгородову стало вдруг жалко Князева.

— Слушай,— сказал он добро и участливо,— ну что ты дурака-то валяешь? Неужели тебе никто не говорил...

— Я понимаю, понимаю,— негромко перебил его Князев,— двигатель мотоцикла — это конкретно, предметно... Я понимаю. Центробежную силу тоже, в конце концов, можно... представить. Так ведь. Здесь другое.— Князев, не оборачиваясь, тронул ящик стола. Смотрел на Кайгородова грустно и насмешливо.— До свидания.

Кайгородов качнул головой, встал.

— Ну и ну,— сказал он. И пошел к выходу.

— Там не ударьтесь в сенях,— напомнил Князев. И голос его был такой обиженный, такая в нем чувствовалась боль и грусть, что Кайгородов невольно остановился.

— Пойдем ко мне? — предложил он.— У нас там буфет до двенадцати работает... Выпьем по маленькой.

Князев удивился, но грусть его не покинула, и из нее-то, из грусти, он еще хотел улыбнуться.

— Спасибо.

— А что? Пойде-ем! Что одному-то сидеть? Развеемся маленько.— Кайгородов сам не знал, что способен на такую жалость, он прямо растрогался. Шагнул к Князеву.— Брось ты обижаться — пойдем! А?

Князев внимательно посмотрел на него. Видно, он не часто встречал такое к себе участие. У него даже недо-

верие мелькнуло в глазах. И Кайгородов уловил это недоверие.

— Как тебя зовут-то? Ты не сказал...

— Николай Николаевич.

— Николай... Меня Григорий. Микола, пойдем ко мне. Брось ты это дело! Без нас разберутся...

— Вот так мы и рассуждаем все. Но вы же даже не дослушали, в чем там дело у меня. Как же так можно? — У Князева родилась слабая надежда, что его дослушают до конца, поймут.— Вы послушайте... хотя бы главы две. А?

Кайгородов помолчал, глядя на Князева... почувствовал, что жалость его к этому человеку стала слабеть.

— Да нет, чего же?.. Зря ты все это, честное слово. Послушай доброго совета: не смеши людей. У тебя образование-то какое?

— Какое есть, все мое.

— Ну, до свидания.

— До свидания.

«Подосвиданькались» довольно жестко. Кайгородов ушел. А Князев сел к столу и задумался, глядя в стену. Долго сидел так, барабанил пальцами по столу... Развернулся на стуле к столу, достал из ящика тетради, раскрыл одну, недописанную, склонился и стал писать.

В дверь заглянула жена. Увидела, что муж опять пишет, сказала с тихой застарелой злостью:

— Ужинать.

— Я работаю,— тоже со злостью, привычной, постоянной, негромкой, ответил Николай Николаевич, не отрываясь от писания.— Закрой дверь.

2. «О смысле жизни»

Летом, в июле, Князев получил отпуск и поехал с семьей отдыхать в деревню. В деревне жили его тесть и теща, молчаливые, жадные люди; Князев не любил их, но больше деваться некуда, поэтому он ездил к ним. Но всякий раз предупреждал жену, что в деревне он тоже будет работать — будет писать. Жене его, Алевтине, очень хотелось летом в деревню, она не ругалась и не ехидничала.

— Пиши... Хоть запишись вовсе.

— Вот так. Чтобы потом не было: «Опять за свое!» Чтобы этого не было.

— Пиши, пиши,— говорила Алевтина грустно. Она больно переживала эту неистребимую, несгораемую страсть мужа — писать, писать и писать; ненавидела его за это, стыдилась, умоляла — брось! Ничто не помогало. Николай Николаевич сох над тетрадями, всюду с ними совался, ему говорили, что это глупость, бред, пытались отговорить... Много раз хотели отговорить, но все без толку.

У Князева в деревне были знакомые люди, и он, как приехал, пошел их навестить. И в первом же семействе встретил человека, какого и хотела постоянно встретить его неуемная душа. Приехал в то семейство — тоже отдохнуть — некто Сильченко, тоже зять, тоже горожанин и тоже несколько ушибленный общими вопросами. И они сразу сцепились.

Это произошло так.

Князев в хорошем, мирном расположении духа прошелся по деревне, понаблюдал, как возвращаются с работы домой «колхозники-совхозники» (он так называл сельских людей), поздоровался с двумя-тремя... Все спешили, поэтому никто с ним не остановился, только один попросил прийти глянуть телевизор.

— Включишь — снег какой-то идет...

— Ладно, потом как-нибудь,— пообещал Князев.

И вот пришел он в то семейство... Он там знал старика, с которым они говорили. То есть говорил обычно Князев, а старик слушал, он умел слушать, даже любил слушать. Слушал, кивал головой, иногда только удивлялся:

— Ишь ты!..— негромко говорил он.— Это сурьезно.

Старик как раз был в ограде, и тот самый человек, Сильченко, тоже был в ограде, налаживали удочки.

— А-а! — весело сказал старик.— Поудить нету желания? А то мы вот налаживаемся с Юрьем Викторовичем.

— Не люблю,— сказал Князев.— Но посижу с вами на бережку.

— Рыбалку не любите? — спросил Сильченко, худощавый мужчина таких же примерно лет, что и Князев,— около сорока.— Чего так?

— Трата времени.

Сильченко посмотрел на Князева, отметил его нездешний облик — галстук, запонки с желтыми кружочками... Сказал снисходительно.

— Отдых есть отдых, не все ли равно, как тратить время.

— Существует активный отдых,— отбил Князев эту нелепую попытку учить его,— и пассивный. Активный предполагает вместе с отдыхом какое-нибудь целесообразное мероприятие.

— От этих мероприятий и так голова кругом идет,— посмеялся Сильченко.

— Я говорю не об «этих» мероприятиях, а о целесообразных,— подчеркнул Князев. И посмотрел на Сильченко твердо и спокойно.— Улавливаете разницу?

Сильченко тоже не понравилось, что с ним поучительно разговаривают... Он тоже был человек с мыслями:

— Нет, не улавливаю, объясните, пожалуйста.

— Вы кто по профессии?

— Какое это имеет значение?

— Ну, все же...

— Художник-гример.

Тут Князев вовсе осмелел; синие глаза его загорелись веселым насмешливым огоньком; он стал нахально-снисходителен.

— Вы в курсе дела, как насыпаются могильные курганы? — спросил он. Чувствовалось удовольствие, с каким он подступает к изложению своих мыслей.

Сильченко никак не ждал этих курганов, он недоумевал:

— При чем здесь курганы?

— Вы видели когда-нибудь, как их насыпают?

— А вы видели?

— Ну в кино-то видели же?

— Ну... допустим.

— Представление имеете. Я хочу, чтобы вы вызвали умственным взглядом эту картину: как насыпают курганы. Идут люди, один за одним, каждый берет горсть земли и бросает. Сперва засыпается яма, потом начинает расти холм... Представили?

— Допустим.

Князев все больше воодушевлялся — это были дорогие минуты в его жизни: есть перед глазами слушатель, который хоть ерепенится, но внимает.

— Обратите тогда внимание вот на что: на несоответствие величины холма и горстки земли. Что же случи-

лось? Ведь вот горсть земли,— Князев показал ладонь, сложенную горстью,— а с другой стороны — холм. Что же случилось? Чудо? Никаких чудес: накопление количества. Так создавались государства— от Урарту и так далее. Понятно? Что может сделать слабая человеческая рука?..— Князев огляделся, ему на глаза попалась удочка старика, он взял ее из рук старика и показал обоим.— Удочка. Вот тоже произведение рук человеческих — удочка. Верно? — Он вернул удочку старику.— Это когда один человек. Но когда они беспрерывно идут друг за другом и бросают по горстке земли — образуется холм. Удочка — и холм.— Князев победно смотрел на Сильченко и на старика тоже, но больше на Сильченко.— Улавливаете?

— Не улавливаю,— сказал Сильченко вызывающе. Его эта победность Князева раздражала.— При чем здесь одно и при чем другое? Мы заговорили, как провести свободное время... Я высказал мысль, что чем бы ты ни занимался, но если тебе это нравится, значит, ты отдохнул хорошо.

— Бред, галиматья,— сурово и весело сказал Князев.— Рассуждение на уровне каменного века. Как только вы начнете так рассуждать, вы тем самым автоматически выходите из той беспрерывной цепи человечества, которая идет и накапливает количество. Я же вам дал очень наглядный пример: как насыпается холм! — Князев хоть был возбужден, но был и терпелив.— Вот представьте себе: все прошли и бросили по горстке земли... А вы не бросили! Тогда я вас спрашиваю: в чем смысл вашей жизни?

— Чепуха какая-то. Вот уж действительно галиматья-то... Какой холм? Я вам говорю: вот я приехал отдохнуть... На природу. Мне нравится рыбачить... вот я и буду рыбачить. В чем дело?

— И я тоже приехал отдохнуть.

— Ну?..

— Что?

— Ну и что, холм, что ли, будете насыпать здесь?

Князев посмеялся снисходительно, но уже и не очень терпеливо, зло.

— То нам непонятно, когда мыслят категориями, то не устраивает... такой уж наглядный пример! — Самому Князеву этот пример с холмом, как видно, очень нравился, он наскочил на него случайно и радовался ему,

его простоте и разительной наглядности.— В чем смысл нашей жизни вообще? — спросил он прямо.

— Это кому как,— уклонился Сильченко.

— Нет, нет, вы ответьте, в чем всеобщий смысл жизни? — Князев подождал ответа, но нетерпение уже целиком овладело им.— Во всеобщей же государственности. Процветает государство — процветаем и мы. Так? Так или не так?

Сильченко пожал плечами... Но согласился — пока, в ожидании, куда затем стрельнет мысль Князева.

— Ну, так...

— Так. Образно говоря опять же, мы все несем на своих плечах известный груз... Вот представьте себе,— еще больше заволновался Князев от нового наглядного примера,— мы втроем — я, вы, дедушка — несем бревно. Несем — нам его нужно пронести сто метров. Мы пронесли пятьдесят метров, вдруг вы бросаете нести и отходите в сторону. И говорите: «У меня отпуск, я отдыхаю».

— Так что же, отпусков не нужно, что ли? — заволновался и Сильченко.— Это же тоже бред сивой кобылы.

— В данном, конкретном случае отпуск возможен, когда мы это бревешко пронесем положенных сто метров и сбросим — тогда отдыхайте.

— Не понимаю, чего вы хотите сказать,— сердито заговорил Сильченко.— То холм, то бревно какое-то... Вы приехали отдыхать?

— Приехал отдыхать.

— Что же, значит, бросил бревно по дороге? Или как... по-вашему-то?

Князев некоторое время смотрел на Сильченко проникновенно и строго.

— Вы что, нарочно, что ли, не понимаете?

— Да я серьезно не понимаю! Глупость какая-то, бред!.. Бестолочь какая-то! — Сильченко чего-то нервничал и потому говорил много лишнего.— Ну полная же бестолочь!.. Ну, честное слово, ничего же понять нельзя. Ты понимаешь что-нибудь, дед?

Старик с интересом слушал эту умную перепалку. С вопросом его застали врасплох.

— А? — встрепенулся он.

— Ты понимаешь хоть что-нибудь, что этот... товарищ молотит здесь?

— Я слушаю,— сказал дед неопределенно.

— А я ничего не понимаю. Ни-чего не понимаю!

— Да вы спокойней, спокойней,— снисходительно и недобро посоветовал Князев.— Успокойтесь. Зачем же нервничать-то?

— А зачем тут чепуху-то пороть?!

— Да ведь вы даже не вошли в суть дела, а уже — чепуха. Да почему же... Когда же мы научимся рассуждать-то логически!

— Да вы сами-то...

— Раз не понял, значит, чепуха, бред! Ве-ли-колепная логика!

— Хорошо,— взял себя в руки Сильченко. И даже присел на дедов верстак.— Ну-ка ясно, просто, точно — что вы хотите сказать? Нормальным русским языком. Так?

— Вы где живете? — спросил Князев.

— В Томске.

— Нет, шире... В целом.— Князев широко показал руками.

— Не понимаю. Ну, не понимаю! — стал опять нервничать Сильченко.— В каком «в целом»? В чем это? Где?

— В государстве живете,— продолжал Князев.— В чем лежат ваши главные интересы? С чем они совпадают?

— Не знаю.

— С государственными интересами. Ваши интересы совпадают с государственными интересами. Сейчас я понятно говорю?

— Ну, ну, ну?

— В чем же тогда ваш смысл жизни?

— Ну, ну, ну?

— Да не «ну», а уже нужна черта: в чем смысл жизни каждого гражданина?

— Ну в чем?.. Чтобы работать, быть честным,— стал перечислять Сильченко.— Защищать Родину, когда потребуется...

Князев согласно кивал головой. Но ждал чего-то еще, а чего — Сильченко никак не мог опять уловить.

— Это все правильно,— сказал Князев.— Но это все ответвления. В чем главный смысл? Где главный, так сказать, ствол?

— В чем?

— Я вас спрашиваю.

— А я не знаю. Ну, не знаю, что хошь делай! Ты просто дурак! Долбо...— И Сильченко матерно выругался. И вскочил с верстака.— Чего тебэ от меня надо?! — закричал он.— Чего?! Ты можешь прямо сказать? Или я тебя попру отсюда поленом!.. Дурак ты!.. Дубина!..

Князеву уже приходилось попадать на таких вот нервных. Он не испугался самого этого психопата, но испугался, что сейчас сбегутся люди, будут таращить глаза, будут... Тьфу!

— Тихо, тихо, тихо,— сказал он, отступая назад. И грустно и безнадежно смотрел на неврастеника-гримера.— Зачем же так? Зачем кричать-то?

— Чего вам от меня надо?! — все кричал Сильченко.— Чего?

Из дома на крыльцо вышли люди...

Князев повернулся и пошел вон из ограды.

Сильченко еще что-то кричал вслед ему.

Князев не оглядывался, шел скорым шагом, и в глазах его были грусть и боль.

— Хамло,— сказал он негромко.— Ну и хамло же... Разинул пасть.— Помолчал и еще проговорил горько: — Мы не поймем — нам не треба. Мы лучше орать будем. Вот же хамло!

На другой день поутру к Нехорошевым (это тесть Князева) пришел здешний председатель сельсовета. Старики Нехорошевы и Князев с женой завтракали.

— Приятного аппетита,— сказал председатель. И посмотрел внимательно на Князева.— С приездом вас.

— Спасибо,— ответил Князев. У него сжалось сердце от дурного предчувствия.— С нами... не желаете?

— Нет, я позавтракал.— Председатель присел на лавку. И опять посмотрел на Князева.

Князев окончательно понял: это по его душу. Вылез из-за стола и пошел на улицу. Через минуту-две за ним вышел и председатель.

— Слушаю,— сказал Князев. И усмехнулся тоскливо.

— Что там у вас случилось-то? — спросил председатель. Один раз (в прошлом году, летом тоже) председатель уже разбирал нечто подобное. Тогда на Князева тоже пожаловались, что он «пропагандирует».— Опять мне чего-то там рассказывают...

— А что рассказывать-то?! — воскликнул Князев.— Боже мой! Что там рассказывать-то! Хотел внушить товарищу... более ясное представление...

— Товарищ Князев,— сухо, казенным голосом заговорил председатель,— мне это неловко делать, но я должен...

— Да что должен-то? Что я?.. Не понимаю, ей-богу, что я сделал? Хотел просто объяснить ему... а он заорал, как дурной. Я не знаю... Он нормальный, этот Сильченко?

— Товарищ Князев...

— Ну, хорошо, хорошо. Хорошо! — Князев нервно сплюнул.— Больше не буду. Черт с ними, как хотят, так и пусть живут. Но боже ж мой!..— опять изумился он.— Что я такого ему сказал?! Наводил на мысль, чтобы он отчетливее понимал свои задачи в жизни!.. Что тут такого?

— Человек отдыхать приехал... Зачем его тревожить. Не надо. Не надо, товарищ Князев, прошу вас.

— Хорошо, хорошо. Пусть как хотят... Ведь он же гример!

— Ну.

— Я хотел его подвести к мысли, чтобы он выступил в клубе, рассказал про свою работу...

— Зачем?

— Да интересно же! Я бы сам с удовольствием послушал. Он же, наверное, артистов гримирует... Про артистов бы рассказал.

— А при чем тут... жизненные задачи?

— Он бы сделал полезное дело! Я с того и начал вчера: идет вереница людей, каждый берет горсть земли и бросает — образуется холм. Холм тире целесообразное государство. Если допустить, что смысл жизни каждого гражданина в том, чтобы, образно говоря...

— Товарищ Князев,— перебил председатель,— мне сейчас некогда: у меня в девять совещание... Я как-нибудь вас с удовольствием послушаю. Но еще раз хочу попросить...

— Хорошо, хорошо,— торопливо, грустно сказал Князев.— Идите на совещание. До свидания. Я не нуждаюсь в вашем слушанье.

Председатель удивился, но ничего не сказал, пошел на совещание.

Князев глядел вслед ему... И проговорил негромко, как он имел привычку говорить, про себя:

— Он с удовольствием послушает! Обрадовал... Иди заседай! Одолжение он сделает — послушает...

3. «О проблеме свободного времени»

Как-то Николай Николаевич Князев был в областном центре по делам своей телевизионной мастерской. И случился у него там свободный день — с утра и до позднего вечера, до поезда. Князев подумал-подумал — куда бы пойти? — пошел в зоопарк. Ему давно хотелось посмотреть живого удава.

Удава в зоопарке не было. Князев походил по звериному городку, постоял около льва... Потом услышал звонкие детские голоса и пошел в ту сторону. На большой площадке, огороженной проволочной сеткой, катались на пони. А около сетки толпилось много людей. Катались в основном детишки. Визг, восторги!.. Князев тоже остановился и стал смотреть. Ничего особенного, а смотреть, правда, интересно. Перед Князевым стояла какая-то шляпа и тоже выказывала большой интерес к езде на пони.

— Во, во, что делают!..— говорил негромко мужчина в шляпе.— Радости-то, радости-то!

Князева подмывало сказать, что это-то и хорошо, и славно: и радость людям и государству польза: взрослый билет — 20 копеек, детский — 10 копеек. Это как раз пример того, как можно разумно организовать отдых. Кому, скажите, жалко истратить 30 копеек на себя и на ребенка! А радости действительно сколько! Князеву даже жалко стало, что с ним нет его ребятишек.

— Да ведь... это прощаются!— все говорил мужчина в шляпе. Он ни к кому не обращался, себе говорил.— Как, скажи, в кругосветное путешествие уезжают!

— Психологически — это для них кругосветное путешествие,— сказал Князев.

Мужчина в шляпе оглянулся... И Князева обдало сивушным духом. Мужчина молодой и очень приветливый.

— Да? Радости-то сколько!

— Да, да,— неохотно сказал Князев. И отошел от шляпы. Он физически не переносил пьяных, его тошнило.

Он еще немного посмотрел, как бегают запряженные пони, как радуются дети... Потом посмотрел птиц, потом обезьянок... Один дурак-обезьян (мужского пола) начал ни с того ни с сего делать нечто непотребное. Женщины застыдились и не знали, куда смотреть, а мужчины смеялись и смотрели на обезьяна. Князев похихикал тоже, украдкой поглядел на женщин и пошел из зоопарка — надоело.

Возле зоопарка, на углу, было кафе, и Князев зашел перекусить.

Он взял кофе с молоком, булочку и ел, стоя возле высокого мраморного столика. Думал о людях и обезьянах: в том смысле, что неужели люди произошли от обезьян?

— Тут свободно? — спросили Князева.

Князев поднял голову — стоит с подносом тот самый молодой человек, который давеча так живо интересовался детской ездой на пони.

— Свободно,— сказал Князев.

Ничего больше не оставалось — столик и правда свободный.

Молодой человек расставил на столике стаканы с кофе, тарелочки с блинчиками, тарелочку с хлебом, тарелочку с холодцом... Отнес поднос, вернулся и стал значительно и приветливо смотреть на Князева.

— Примешь?..— спросил он.— Полстакашка.

Князев энергично закрутил головой:

— Нет, нет.

— Чего?— удивился молодой человек, доставая из внутреннего кармана нового пиджака бутылку, при этом облокотился на столик, набулькал в стакан, заткнул бутылку и опустил ее опять в карман.— Не пьешь?

— Не пью,— недружелюбно ответил Князев.

Молодой человек осадил стакан, шумно выдохнул и принялся закусывать.

— Вот и решена проблема свободного времени,— не без иронии сказал Князев, имея в виду бутылку.

— М-м?— не понял молодой человек.

— Все, оказывается, просто!

— Чего просто?

— Ну, с проблемой свободного времени-то.

Молодой человек жевал, но внимательно слушал Князева.

— Какого свободного времени?

— Ну, шумят, спорят... А тут,— Князев показал глазами на оттопыренную полу пиджака,— полная ясность.

Молодой человек был приветлив и на редкость терпелив. Он не понимал, о чем говорит Князев, но нетерпения или раздражения какого-нибудь не выказал. Он с удовольствием ел и смотрел на Князева. Больше того, ему было приятно, что с ним говорят, и он напрягался, чтобы понять, о чем говорят,— хотелось тоже поддержать разговор.

— Кто спорит? — терпеливо и вежливо спросил он. Князев жалел уже, что заговорил.

— Ну, спорят: как проводить свободное время. А вам вот... все совершенно ясно.

Молодой человек и теперь не понял, но согласно кивнул головой. И сказал:

— Да, да.

— Зверей смотрели?— спросил Князев.

— А шел мимо — зайти, что ли, думаю? Пацаном был, помню... А ведь... это дорого их держать-то? Это ж сколько он сожрет за сутки!

— Кто?

— Слон хотя бы.

Князев пожал плечами.

— Черт его знает.

— Но, если б не было выгоды, их не держали бы,— тут же и заметил молодой человек.— Выгода, конечно, есть. Верно же?

Князев обиделся за государство: намекнули, что государство только и делает, что преследует голую выгоду.

— Верно... Но вы пропустили познавательный процесс. Не все же идут от нечего делать; идут — познать что-либо для себя.

— Ну-у уж!..— неопределенно сказал молодой человек. Прожевал, проглотил и докончил:— Чего тут познавать-то? Слона, что ли? Дерьма-то.— Он огляделся, опять облокотился на стол и занялся бутылкой.

Князева обозлила спокойная уверенность, налаженность, с какой этот молодой дурак проделывал свою подлую операцию: булькал из бутылки в стакан.

— Сейчас пойду и заявлю,— сказал Князев сердито.

Молодой человек так изумился, что даже рот приоткрыл. Он изумился, но и готов был улыбнуться — так это не походило на правду, это заявление Князева.

— Что?— спросил Князев.— Удивительно? А надо бы.

Молодой человек уловил серьезную злость в голосе Князева и поверил, что, наверно, правда: человек готов на него донести. Он сам тоже обозлился... Но не знал пока, как поступить. Он долго и внимательно смотрел на Князева.

— Что? — Опять спросил Князев.

— Ничего,— значительно сказал молодой человек. Красивое смуглое лицо его уже не было ни приветливым, ни добродушным.

Князев поскорей доел булочку, пошел из кафе. Молодой человек проводил его взглядом до самого выхода.

— Скоты,— вслух сказал Князев, выйдя из кафе.— В зоопарк, видите ли, поперся! Сиди уж у бочки где-нибудь... нагружайся.

Князев хотел перейти улицу, но машинам загорелся зеленый свет; Князев стоял на краю тротуара и тихо негодовал на пьяницу. Потом машинам дали передохнуть, Князев вместе со всеми перешел улицу и пошел себе не спеша по той стороне улицы — просто так, от нечего делать; до поезда было еще долго. Он постепенно забыл про пьянчуг, наладился было думать про город в целом, как его кто-то тронул сзади за плечо... Князев остановился и оглянулся: стоит перед ним опять этот, в шляпе... Смотрит.

— Что такое?!— резко сказал Князев. Он испугался.

— Хотел спросить...— мирно заговорил молодой человек.— Я давеча не понял: ты правда, что ли?..

— Что «правда»?

— Заложить-то хотел.

Князев несколько помолчал...

— Ничего я не хотел... Но внушить кое-что надо бы!— вдруг осмелел он. И посмотрел прямо в глаза выпиваке. Тот, кстати, не так уж и пьян-то был, только глаза блестели и разило.

— Ну-ка?— согласился молодой человек.

Князев оглянулся... Стояли они недалеко от скверика, где были скамейки. Он направился туда, молодой человек — за ним.

Сели на скамейку.

— Видите ли, в чем дело,— заговорил Князев серьезно,— я ничего в принципе не имею против того, что лю-

ди выпивают. Но существует разумная организация людей, в целом эта организация называется государство. И вот представьте себе, что все в государстве начнут выпивать?..

— Я же не на работе,— возразил молодой человек тоже серьезно.— Я в свой выходной.

— Во-от!— поймал его Князев на слове. Он все больше увлекался.— Вот об этом и стоит поговорить. Выходной день... Что это такое? Допустим, мы возводим с вами некоторую... Допустим, что монтируем какую-то стальную конструкцию...

— Я электрик.

— Прекрасно! Представьте, мы ведем где-то очень сложную сеть. Выходной день — мы напились. Протрезвились, отработали неделю — опять напились...

— Что я, алкаш, что ли?

— Я хочу сказать: нам государство предоставляет выходной день... даже два теперь — для чего?

Молодой человек молчал.

Смотрел на Князева.

— Для того,— продолжал Князев,— чтобы мы, во-первых, отдохнули, во-вторых, не отстали в своем развитии. Вот вы: получили выходной день и не знаете, что с ним делать. Шел мимо зоопарка: «Зайти, что ли?» Ну а если бы мимо... не знаю, мимо аптеки шел: «Зайти, что ли, касторки взять?» Так, что ли?

Молодой человек стиснул зубы и продолжал смотреть на Князева, Князев не заметил, что он стиснул зубы. Ему смешно стало от этой «касторки». Он посмеялся и уже добродушнее продолжал:

— Нельзя же... таким деревом-то плыть по реке, куда прибьет, туда и ладно. Человек получает свободное время, чтобы познать что-нибудь полезное для себя. Нужное. И чем выше его умственный уровень, тем он умнее как работник. Ну, что же: так мы и будем веками дуть эту сивуху?— Князев посмотрел на молодого человека, но опять не обратил внимания, как тот изменился.— Хватит уж, хватит, мил человек, хватит ее дуть-то, пора и честь знать. Государство ускоряет ритм, это давно уже не телега, это уже лайнер! А мы — за этим лайнером-то — все пешком, пешком... Все наклоняемся да в стакан булькаем. Тьфу! О каком же движении тут можно говорить! Куда же мы на этот лайнер — с красными-то глазами? Блевать там?..

— Сука,— с дрожью в голосе негромко сказал молодой человек,— карьеру на мне хочешь состроить.— И он наклонился к Князеву, как давеча наклонялся к столику...

Князев сперва не понял, что он хочет делать. И когда уже получил первый толчок в бок, то и тогда не понял, что его бьют. Понял это, когда получил еще несколько тычков в бок и в живот, и довольно больных. Но пугали его не эти тычки, а близкие, злые, какие-то даже безумные глаза молодого человека.

— Ты!..— взволновался Князев и хотел вскочить. Но этот, в шляпе, держал его за полу, а другой рукой насаживал в бок, насаживал. И как-то у него это получалось не широко, не шумно, со стороны едва ли заметно.

— А-а!..— закричал Князев. Вырвался, вскочил и тяжелым своим портфелем, где лежали некоторые детали телевизора, навернул сверху по шляпе.— Сюда, люди! Ко мне!..— кричал он. И второй раз навернул по шляпе.

Молодой человек вскочил тоже и откровенно загвоздил Князеву в челюсть. Князев полетел с ног. Но когда летел, слышал, что уже к ним бегут.

...Потом в милиции выясняли их личности. Князев все порывался рассказать, как было дело, но дежурный офицер останавливал: он пока записывал.

— Где работаете?— спрашивал он молодого человека.

— В рембытконторе,— отвечал он и успевал тоже сказать:— Он на меня начал говорить, что я блюю где попало...

— Подождите вы!— строго говорил дежурный.— Кем?

— Я про тебя, что ли, говорил?! — накинулся Князев на своего врага.

— Про кого же? Про Пушкина?

— Дурак! Я развивал общую мысль о проблеме...

— Да тихо! — приказал дежурный.— Можете вы помолчать?! Кем работаешь?

— Электриком.

— Дубина,— сказал Князев, потирая челюсть.— Тебе не электриком, а золотарем надо... В две смены. Гад подколодный! Руки еще распускает...

— А вы?— перешел к нему дежурный.

...Князева отпустили, но он заплатил штраф пятнадцать рублей.

Он не стал возмущаться, потому что этого, в шляпе, при нем прямо повели куда-то по коридору — сажать, как понял Князев. Он даже сказал дежурному до свиданья.

И пошел на вокзал.

И тихо прождал на вокзале все долгое время до поезда. Ни с кем не заговаривал, а только сидел на скамейке в зале ожидания и смотрел, и смотрел на людей, как они слоняются туда-сюда по залу. Челюсть болела. Князев время от времени трогал ее и качал головой. И шептал:

— Сволота... Руки, видите ли, начал распускать!.. Гад какой!

4. Конец мыслям

Ну, может, не конец еще, но какой-то срыв целеустремленной души тут налицо.

Вот что случилось.

Князев закончил свой труд: мысли о государстве. Он давно понял, что здесь, в райгородке своем, он не найдет никого, кто оценил бы его большую сложную работу. Опять будут недоумевать, говорить, что «Вы знаете, товарищ Князев...» О недоумки! Что тут сделаешь?!

Князев собрал тетради (восемь общих тетрадей) и пошел на почту — отсылать в центр. Получалось что-то вроде посылочки, что ли: Князев не знал, как это делается, склонился к окошечку узнать, что надо сделать — посылочку, что ли?

За окошечком сидела знакомая женщина, подруга его жены. Князев часто видел ее у себя дома, он поэтому вежливо поздоровался и стал объяснять, что вот восемь общих тетрадей, их надо послать... Пока он так объяснял, он невольно обратил внимание: женщина смотрит на него, но соображает что-то свое, далекое от тетрадей,— как их послать. Больше того, он уловил в ее глазах то противное жалостливое участие, вполне искреннее, но какое особенно бесило Князева — опять он на него наткнулся. И именно теперь, когда труд закончен, когда позади бессонные ночи, волнения... Даже и теперь эта курица сидит и смотрит жалостливо. Но и еще стерпел бы Князев, еще раз проглотил бы обиду,

не заговори она, эта... Нет, она открыла рот и заговорила!

— Николай Николаевич, дорогой... давайте подождем с посылкой? Конечно, не мое это дело, но тем не менее послушайте доброго совета: подождите, ведь всегда успеете, а может быть, раздумаете... А?

Князев помнил потом, что было такое ощущение, точно его стали вдруг поднимать куда-то вверх. Но не просто поднимают, а хотят вроде перевернуть зниз головой и подержать за ноги. Все взорвалось в Князеве злым протестом, все вскипело волной гнева. Он закричал неприлично:

— Дура! Дура ты пучеглазая!.. Что ты сидишь квакаешь?! Что?! Ты хоть слово «государство» напишешь правильно? Ведь ты же напишешь «гасударство»!

— Не смейте так орать! — тоже закричала женщина.— Сергей Николаич! А, Сергей Николаич!..

— Сергей Николаич! — подхватил и Князев ее зов.— Идите-ка сюда, вместе глаза выпучим: тут чявой-то про гасударство! Идите, Сергей Николаич!..

Сергей Николаевич и вправду появился из двери в глубине... И стремительно пошел к Князеву.

— Что? Что это тут?!

— Тут чявой-то про гасударство,— с мстительным злорадным чувством говорил Князев.— Разберись, Сергей Николаич: может, в твоей тыкве хоть полторы извилины есть...

Все, кто был на почте, с удивлением смотрели на Князева. А Сергей Николаевич вышел из-за перегородки и приближался к Князеву. Вид у Сергея Николаевича — впору вязать кого-нибудь.

— В чем дело?

— В шляпе.— Князев хотел собрать свои тетради, но Сергей Николаевич крепко положил на них ладонь.

— Прочь! — крикнул Князев. И хотел отбросить прочь наглую руку. Но не смог отбросить.— Прр-очь! — закричал тогда Князев громче прежнего и толкнул Сергея Николаевича в грудь.— Прр-очь, хамло!..

Сергей Николаевич сгреб его спереди за руки и сильно сдавил.

— Ну-ка, кто-нибудь помогите! — позвал он.— Он же пьян!

Охотники тут же нашлись. Подбежали, завели Князеву руки за спину и держали. И странно, в этом именно

положении Князев заговорил более осмысленно, более подробно.

— Ура!..— воскликнул он.— Наша взяла! Ну, вяжите. Вяжите... Эх, лягушатинка! Нет, я не пьян, этот номер у вас не пройдет... Я позволил себе послать свой труд по почте!.. Это чья почта?! — зло спросил он Сергея Николаевича.— Это твоя почта? Это моя почта, кретин!..

— Поговори, поговори,— спокойно молвил Сергей Николаевич, связывая ремнем руки Князева.— Покричи. Вконец свихнулся?

— Кретины,— говорил Князев.— И ведь нравится! Хоть ты лоб тут разбей — нравится им быть кретинами, и все.

Князева подтолкнули вперед... Вывели на улицу и пошли с ним в отделение милиции. Сзади несли его тетради. Прохожие останавливались и глазели. А Князев... Князев вышагнул из круга — орал громко и вольно. И испытывал некое сладостное чувство, что кричит людям всю горькую правду про них. Редкое чувство, сладкое чувство, дорогое чувство.

— Спинозу ведут!— кричал он.— Не видели Спинозу? Вот он — я!— Князев смеялся.— А сзади несут чявой-то про гасударство. Удивительно, да? Какой еще! Ишь чяво захотел!.. Мы-то не пишем же! Да?! Мы те попишем!

Хорошо еще, что отделение милиции было рядом, а то бы Князев накричал много всякого.

В отделении он как-то стих, устал, что ли, на вопросы отвечал односложно, нисколько не пугался, а только морщился и хотел скорей уйти домой.

— Ну, шумел, шумел... Я же не пьяный. Я непьющий. Оскорбил я кого-нибудь?

Когда ему стали перечислять, как он оскорбил всех, он опять сморщился и сказал тихо:

— У меня голова болит. Ну, отвезите в больницу, отвезите. Что кретинами-то назвал? А кто же они?

С Князевым не знали, что делать. Посадили пока в камеру и вызвали из больницы врача.

Врач пришел, побыл с Князевым минут десять, вышел и сказал:

— Совершенно нормальный человек. А что?

— Да кинулся оскорблять всех,— стали объяснять врачу.— Всех подряд обзывать начал...

— Ну, это уж... что-то другое. Он в здравом уме, вполне нормальный.

Начальник лично знал Князева. Вызвал его опять в кабинет, закрыл дверь.

— Что случилось-то, Князев?

— Да ну их к черту!— устало сказал Князев.— Взорвался просто... Глупость человеческую не мог больше вынести. Я ей одно, она мне: «Давайте пока не посылать — давайте подумаем». Она подумает! Курица.

— Ну а оскорблять-то зачем было?

— Да она меня хуже оскорбила! Она же меня за идиота считает! Ведь она же ни строчки тут не прочитала,— тетради лежали у начальника на столе,— а судит! И я знаю откуда: жена ей наговорила... Она к жене моей ходит, та ей и... охарактеризовала всю работу — что глупость, мол, бред, пустая трата... и прочее.

— А что тут вообще-то?

— Мысли о государстве. Семь лет писал.

Начальник поглядел на стопку тетрадей... Потом на Князева. И опять это проклятое удивление, изумление...

Князев поморщился:

— Только ничего не надо сейчас... Не надо.

— Оставьте мне, я посмотрю.

— Посмотрите. — Князев встал. — Можно идти, что ли?

— Можно-то можно... Надо потом извиниться перед почтовиками. Надо, Князев.— Начальник строго глядел на Князева.— Надо, как думаете?

— Ладно,— сказал Князев.— Извинюсь.— Ему очень хотелось домой. Пустота была в голове оглушительная. Пусто и плохо было. Хотелось покоя.— Я извинюсь...

— Хорошо. Идите. Это я потом вам отдам.

Князев пошел к двери, но на пороге остановился, оглянулся и сказал:

— Там восемь тетрадей.

Начальник пробежал глазами стопку:

— Так... И что?

— Чтобы не получилось чего. Там восемь?

— Восемь.

— Чтобы не затерялись где-нибудь.

— Все будет в сохранности.

— Ведь тут...— Князев отшагнул от двери и показал пальцем на стопку тетрадей,— тут, может быть...— Но

опять сморщился в каком-то бессильном отчаянии, махнул рукой и вышел.

Начальник взял одну тетрадь, раскрыл...

Раскрыл как раз первую тетрадь. Она так и поименована: «Тетрадь № 1». Дальше было вступление, которое имело заглавие: «Коротко об авторе». И следовала краткая «Опись жизни» Н. Н. Князева, сделанная им самим.

«Я родился в бедной крестьянской семье девятым по счету. Само собой, ни о каком образовании не могло быть речи. Воспитания тоже никакого. Нас воспитывал труд, а также улица и природа. И если я все-таки пробил эти пласты жизни над моей головой, то я это сделал сам. Проблески философского сознания наблюдались у меня с самого детства. Бывало, если бригадир наорет на меня, то я спустя некоторое время вдруг задумаюсь: «А почему он на меня орет?» Мой разум еще не мог ответить на подобные вопросы, но он упорно толкался в закрытые двери. Когда я научился читать, я много читал, хотя наживал через это массу неприятностей себе. Отец, не одобряя мою страсть, заставлял больше работать. Но я все же урывал время и читал. Я читал все подряд, и чем больше читал, тем больше открывались двери, сильнее меня охватывало беспокойство. Я оглядывался вокруг себя и думал: «Сколько всего наворочено». Так постепенно я весь проникся мыслями о государстве. Я с грустью и удивлением стал спрашивать себя: «А что было бы, если бы мы, как муравьи, несли максимум государству!» Вы только вдумайтесь: никто не ворует, не пьет, не лодырничает — каждый на своем месте кладет свой кирпичик в это грандиозное здание... Когда я вдумался во все это, окинул мысленно наши просторы, у меня захватило дух. «Боже мой,— подумал я,— что же мы делаем! Ведь мы могли бы, например, асфальтировать весь земной шар! Прорыть метро до Владивостока! Построить лестницу до луны!» Я здесь утрирую, но я это делаю нарочно, чтобы подчеркнуть масштабность своей мысли. Я понял, что одна глобальная мысль о государстве должна подчинять себе все конкретные мысли, касающиеся нашего быта и поведения.

И я, разумеется, стал писать. Я не мог иначе. Иначе у меня лопнет голова от напряжения, если я не дам выход мыслям».

Начальник прочитал вступление и задумался. Потом отложил все тетради в сторону — решил взять их домой и почитать.

1973

НА КЛАДБИЩЕ

Ах, славная, славная пора!.. Теплынь. Ясно. Июль месяц... Макушка лета. Где-то робко ударили в колокол... И звук его — медленный, чистый — поплыл в ясной глубине и высоко умер. Но не грустно, нет.

...Есть за людьми, я заметил, одна странность: любят в такую вот милую сердцу пору зайти на кладбище и посидеть час-другой. Не в дождь, не в хмарь, а когда на земле вот так — тепло и покойно. Как-то, наверно, объясняется эта странность. Да и странность ли это? Лично меня влечет на кладбище вполне определенное желание: я люблю там думать. Вольно и как-то неожиданно думается среди этих холмиков. И еще: как бы там ни думал, а все — как по краю обрыва идешь: под ноги жутко глянуть. Мысль шарахается то вбок, то вверх, то вниз, на два метра. Но кресты, как руки деревянные, растопырились и стерегут свою тайну. Странно как раз другое: странно, что сюда доносятся гудки автомобилей, голоса людей... Странно, что в каких-нибудь двухстах метрах улица, и там продают газеты, вино, какой-нибудь амидопирин... Я один раз слышал, как по улице проскакал конный наряд милиции — вот уж странно-то!

...Сидел я вот так на кладбище в большом городе, задумался. Задумался и не услышал, как сзади подошли. Услышал голос:

— Ты чего тут, сынок? Это моя могилка-то.

Оглянулся, стоит старушка, смотрит мирно.

— Моя могилка-то,— сказала она еще.

Я вскочил со скамеечки... Смутился чего-то.

— Извините...

— Да что же?.. Садись.— Она села на скамеечку и показала рядом с собой.— Садись, садись. Я думаю, может, ты перепутал могилки.

Я сел.

— Сынок у меня тут,— сказала она, глядя на ухоженную могилку.— Сынок... Спит.— Она молча поплакала, молча же вытерла концом платка слезы, вздох-

нула. Все это она проделала привычно, деловито... Видно, горе ее — давнее, стало постоянным, и она привыкла с ним жить.

— А ты чего?— спросила старушка, повернувшись ко мне.— Тоже есть тут кто-нибудь?

— Нет... я так. Зашел просто... Зашел отдохнуть.

Старушка с любопытством и более внимательно посмотрела на меня.

— Тут рази отдыхают...

— А что?— Я все боялся как-нибудь не так сказать, как-нибудь неосторожно сказать.— Тут-то и отдохнуть. Подумать.

— Оно так,— согласилась старушка.— Только дума-то тут... вишь, какая? Мне надо там лежать-то, мне, а не ему.— Она повернулась опять к могилке.— Мне надо лежать там, а он бы приходил да сидел тут — мне бы и спокойней было. Куда лучше! Только... не нам это решать дадено, вот беда.

— Давно схоронили?

— Давно. Семь лет уж.

— Болел?

Старушка не ответила на это. Долго молчала, слегка покачивала головой — вверх-вниз. Когда я пригляделся потом, понял, что у нее это почти все время — покачивает головой.

— Двадцать четыре годочка всего и пожил,— сказала старушка покорно. Еще помолчала.— Только жить начинать, а он вот... завалился туда... А тут, как хошь, так и живи.— Она опять поплакала, опять вытерла слезы и вздохнула. И повернулась ко мне,— Неладно живете, молодые, ох неладно,— сказала она вдруг, глядя на меня ясными умытыми глазами.— Вот расскажу тебе одну историю, а ты уж как знаешь: хошь верь, хошь не верь. А все — послушай да подумай, раз уж ты думать любишь. Никуда не торописся?

— Нет.

— Вот тут у нас, на Мочишшах... Ты здешний ли?

— Нет.

— А-а. У нас тут, на окраинке, место зовут — Мочишши, там военный городок, военные стоят. А там тоже есть кладбище, но оно старое, там таперь не хоронют. Раньше хоронили. И вот стоял один солдат на посту... А дело ночное, темное. Ну, стоит и стоит, его дело такое. Только вдруг слышит, кто-то на кладбище

плачет. По голосу — женщина плачет. Да так горько плачет, так жалко. Ну, он мог там, видно, позвонить куда-то, однако звонить он не стал, а подождал другого, кто его сменяет-то, другого солдата. Ну-ка, говорит, послушай: может, мне кажется? Тот послушал — плачет. Ну, тогда пошел тот, который сменился-то, разбудил командира. Так и так, мол, плачет какая-то женщина на кладбище. Командир сам пришел на пост, сам послушал: плачет. То затихнет, а то опять примется плакать. Тогда командир пошел в казарму, разбудил солдат и говорит: так, мол, и так, на кладбище плачет какая-то женщина, надо узнать, в чем дело — чего она там плачет. На кладбище давно никого не хоронют, подозрительно, мол... Кто хочет? Один выискался: пойду, говорит. Дали ему оружие на случай чего, и он пошел. Приходит он на кладбище, плач затих... А темень, глаз коли. Он спрашивает: есть тут кто-нибудь живой? Ему откликнулись из темноты: есть, мол. Подходит женщина... Он ее, солдат-то, фонариком было осветил — хотел разглядеть получше. А она говорит: убери фонарик-то, убери. И оружию, говорит, зря с собой взял. Солдатик оробел... «Ты плакала-то?»—«Я плакала».—«А чего ты плачешь?»—«А об вас,— говорит,— плачу, об молодом поколении. Я есть земная божья мать и плачу об вашей непутевой жизни. Мне жалко вас. Вот иди и скажи так, как я тебе сказала».—«Да я же комсомолец!— Это солдатик-то ей.— Кто же мне поверит, что я тебя видел? Да и я-то,— говорит,— не верю тебе». А она вот так вот прикоснулась к нему,— и старушка легонько коснулась ладошкой моей спины,— и говорит: «Поверите». И — пропала, нету ее. Солдатик вернулся к своим и рассказывает, как было дело — кого он видал. Там его, знамо дело, обсмеяли. Как же!..— Старушка сказала последние слова с горечью. И помолчала обиженно. И еще сказала тихо и горестно:— Как же не обсмеют! Обсмею-ут. Вот. А когда солдатик зашел в казарму-то — на свет-то — на гимнастерке-то образ божьей матери. Вот такой вот.— Старушка показала свою ладонь, ладошку.— Да такой ясный, такой ясный!..

Так это было неожиданно — с образом-то — и так она сильно, зримо завершала свою историю, что встань она сейчас и уйди, я бы снял пиджак и посмотрел — нет ли и там чего. Но старушка сидела рядом и тихонько кивала головой. Я ничего не спросил, никак не показал,

поверил я в ее историю, не поверил, охота была, чтоб она еще что-нибудь рассказала. И она точно угадала это мое желание: повернулась ко мне и заговорила. И тон ее был уже другой — наш, сегодняшний.

— А другой у меня сын, Минька, тот с женами закружился, кобель такой: меняет их без конца. Я говорю: да чего ты их меняешь-то, Минька? Чего ты все выгадываешь-то? Все они нонче одинаковые, меняй ты их не меняй. Шило на мыло менять? Сошелся тут с одной, рабеночка нажили... Ну, думаю, будут жить. Нет, опять не пожилось. Опять, говорит, не в те ворота заехал. Ах, ты, господи-то! Беда прямо. Ну, пожил один сколько-то, подвернулась образованная, лаборанка, увезла его к черту на рога, в Фергану какую-то. Пишут мне оттудова: «Приезжай, дорогая мамочка, погостить к нам». Старушка так умело и смешно передразнивала этих молодых в Фергане, что я невольно засмеялся, и, спохватившись, что мы на кладбище, прихлопнул смех ладошкой. Но старушку, кажется, даже воодушевил мой смех. Она с большей охотой продолжала рассказывать.— Ну, я и разлысила лоб-то — поехала. Приехала, погостила... Дура старая, так мне и надо — поперлась!

— Плохо приняли, что ли?

— Да сперва вроде ничего... Ведь я же не так поехала-то, я же деньжонок с собой повезла. Вот дура-то старая, ну не дура ли?! Ну и пока деньжонки-то были, она ласковая была, потом деньжонки-то кончились, она: «Мамаша, кто же так оладьи пекет!»— «Как кто?— говорю.— Все так пекут. А чего не так-то?» Дак она набралась совести и давай меня учить, как оладушки пекчи. Ты, говорит, масла побольше в сковородку-то, масла. Да сколько же тебе, матушка, тада масла-то надо? Полкило на день? И потом, они же черные будут, когда масла-то много, не пышные, какие же это оладьи. Ну, и взялись друг дружку учить. Я ей слово, она мне — пять. Иди их переговори, молодых-то: черта с рогами замучают своими убеждениями, прости, господи, не к месту помянула рогатого. Где же мне набраться таких убеждениев? А мужа не кормит! Придет, бедный, нахватается чего попади, и все. А то и вовсе: я, говорит, в столовку забежал. Ах ты, думаю, образованная! Вертихвостки вы, а не образованные.— Старушка помолчала и еще добавила с сердцем:— Прокломации! Только подолом трясти умеют. Как же это так-то?— повернулась она

ко мне.— Вот и знают много, и вроде и понимают все на свете, а жить не умеют. А?

— Да где они там знают много!— сказал я тоже со злостью.— Там насчет знаний-то... конь не валялся.

— Да вон по сколь годов учатся!

— Ну и что? Как учатся, так и знают. Для знаний, что ли, учатся-то?

— Ну, да, в колхозе-то неохота работать,— согласилась старушка.— Господи, господи... Вот жизнь пошла! Лишь бы день урвать, а там хоть трава не расти.

Мы долго молчали. Старушка ушла в свои думы, они пригнули ее ниже к земле, спина сделалась совсем покатой; она не шевелилась, только голова все покачивалась и покачивалась.

Опять где-то звякнул колокол. Старушка подняла голову, посмотрела в дальний конец кладбища, где стояла в деревьях маленькая заброшенная церковка, сказала негромко:

— Сорванцы.

— Ребятишки, что ли?

— Да ну, лазиют там... Пойду палкой попру.— Старушка поднялась, посмотрела на меня.— Ты один-то не сиди тут больше, а то мне как-то... все думать буду: сидит кто-то возле моей могилки. Не надо.

— Нет, я тоже пойду. Хватит.

— Ага. А то все как-то думается...— вроде извиняясь, еще сказала старушка. И пошла по дорожке, совсем маленькая, опираясь на свою палочку. А шла все же податливо, скоро. Я посмотрел ей вслед и пошел своей дорогой.

1973

ПСИХОПАТ

Живет на свете человек, его зовут Психопат. У него есть, конечно, имя — Сергей Иванович Кудряшов, но в большом селе Крутилино, бывшем райцентре, его зовут Психопат — короче и точнее. Он и правда какой-то ненормальный. Не то что вовсе с вывихом, а так — сдвинутый.

Один случай, например.

Заболел Психопат, простудился (он работает библиотекарем, работает хорошо, не было, чтоб у него в рабочее время на двери висел замок, но, помимо рабо-

ты, он еще ходит по деревням — покупает по дешевке старинные книги, журналы, переписывается с какими-то учреждениями в городе, время от времени к нему из города приезжают...) В один из таких походов по деревням он в дороге попал под дождь, промок и простудился. Ему назначили ходить на уколы в больницу, три раза в день.

Уколы делала сестричка, молодая, рослая, стеснительная, очень приятная на лицо, то и дело что-то все краснела. Стала она искать иголкой вену у Психопата, тыкала, тыкала в руку, покраснела... Психопат стиснул зубы и молчал, ему хотелось как-нибудь приободрить сестричку, потому что он видел, что она сама мучается.

— Да вы не волнуйтесь,— сказал он.— Вы спокойней — как вас учили-то...

— Она ускользает,— пояснила сестричка.

Психопат пошевелил свободным плечом, вторую руку, левую, он напряг и изо всех сил работал кулаком, как велела сестричка. Кое-как всадили укол.

— Неужели все так будут?— спросил Психопат. Он даже вспотел.

Сестричка ничего на это не сказала, только опять смутилась, пинцетиком свихнула иголку со шприца и положила ее в металлическую блестящую вазочку, в которой кипела вода. Психопат подумал: «Как суп варится из железок, надо же».

Пришел он в другой раз делать укол. Заранее стал волноваться. Дождался своей очереди, вошел в кабинетик, оголил правую руку до локтя и стал работать кулаком. Защемили резиновой кишкой руку выше локтя, и он продолжал пока работать кулаком, а сестричка налаживала шприц. Психопат между делом отметил, какая она статная, пора вообще-то замуж — хорошая, наверно, мать будет.

Стали опять искать вену. Рука у Психопата онемела.

— Отпускайте,— велела сестричка.

Психопат стал постепенно отпускать резиновую удавку, а сестричка все искала и все попадала мимо.

— Ускользает...— сказала она.

— Да, куда она, к черту, ускользает!— вышел из терпения Психопат. Руку прямо ломило от боли.— Что вам тут, игра в прятушки, что ли?— ускользает... Уметь же, наверно, надо!

Потом, идя из больницы, Психопат сожалел, что накричал, но не мог без раздражения думать про сестричку.

Он думал: «Только детей и рожать — здоровые хоть будут. Мужа хоть аккуратно кормить будет... Нет, поперлась в медсестры — в люди вышла, называется».

Пошел он в третий раз делать укол. Шел и с ужасом думал, что надо ходить так целую неделю. «Как же она училась?— думал он с удивлением.— Ведь учил же ее кто-то — отметки ставили. Решил кто-то, что все, готовая медсестра». Что у него ускользает вена, он как-то не мог этого понять. Куда ускользает? Как это?.. Бред же. Не умеет человек, и все.

Оголил он в кабинетике левую руку, стянул ее резинкой, положил на красную холодную подушечку и пошел умело работать кулаком. На медсестру не смотрел — как она готовила шприц. У него болела душа — больно же, нестерпимо больно, еще от старого укола боль не утихла, а теперь она снова начнет вену искать. Он работал кулаком и думал: «Ну на кой черт надо было в медучилище-то? Ну, бухгалтер там, счетовод, секретарь в сельсовете, если дояркой не хочется,— нет, непременно надо в медсестры!»

Сестричка подошла к нему, вытолкнула из шприца вверх тонюсенькую струйку лекарства, свободной ладошкой с силой несколько раз погладила руку Психопата от локтя книзу. На Психопата не смотрела — сама, как видно, всерьез страдала, что у нее плохо получается.

«Буду терпеть,— решил Психопат.— Неделю как-нибудь вытерплю».

Вена опять ускользала. И сестричка, и Психопат вспотели. Боль из руки стреляла куда-то под сердце. Психопат подумал, что так, наверно, можно потерять сознание.

— Да неужели вы всем так?— спросил он сквозь зубы.— Что же это такое-то?.. Мучительно же!

— Но если она у вас ускользает!— тоже осердилась сестричка.

«Она же еще и сердится!»

— Прекратите!— Психопат отвел свободной рукой руку сестры по шприцем.— Это пытка какая-то, а не лечение.

Сестричка растерялась... Покраснела.

— Ну а как же?— спросила.

— Да как, как!..— Психопату тут же и жаль ее стало.— Не знаю как, но так же тоже нельзя, милая. Ведь я же не железный, ну!

— Я понимаю...— Сестричка стояла перед ним и при своей мощной молодой стати выглядела жалкой.

— Вы повнимательней как-нибудь, вспомните, как вас учили...

— Я все правильно делаю.— Сестричка смотрела на него сверху просто, с искренним недоумением.— Всем так делаю — ничего...

— Ну, всем, всем...— сказал Психопат. И опять невольно с раздражением подумал: «В люди вышла».— Ну, давайте, что теперь...

Сестричка нацелилась опять в вену, вроде нащупала, вонзила иглу и успела надавить поршенек шприца... Психопат вскрикнул от боли; боль полоснула по руке, даже в затылке стало тяжело и больно.

— Идиотство,— сказал он, чуть не плача.— Ну идиотство же полное!.. Позовите врача.

— Зачем? — спросила сестричка.

— Позовите врача!— требовал Психопат. И встал, и начал нервно ходить по кабинетику, согнув левую руку и прижав ее к боку, и раздражаясь все больше и больше.— Это идиотизм! Будем мы когда-нибудь что-нибудь уметь делать или нет?! — Он кричал на сестру; и она поэтому и пошла к врачу, что он кричал: жаловаться пошла, потому что он выражается «идиотизм».

Пришел врач: молодой, с бородкой, тоскует в деревне, невнимательный, остроумный сверх всякой меры, заметил Психопат и еще в тот раз, когда врач принимал его.

— Что тут у вас? — Да с этакой снисходительной усмешечкой в глазах — прямо Миклухо-Маклай, а не лекарь заштатный. Эта-то усмешечка и взбесила вконец Психопата.

— Да у вас тут, знаете, коней куют, а я укол пришел делать...

— Ну-ну,— прервал его врач и видом своим показал, что ему некогда,— поближе к делу, пожалуйста.

— Да дела-то нету!— закричал ему в бородку Психопат.— Будем мы когда-нибудь хоть уколы-то делать или шпаги будем глотать?! — Психопат, когда выходил из себя, говорил непонятно, нелепо, отчего сам потом

страдал и казнился.— Ну что же, милые вы мои,— как же так работать-то? Укол вот — час бьемся — сделать не можем. А мы бородки отпускаем, пенсне еще только осталось... Работать не умеем! Бородку-то легче всего отпустить, а она вон у вас уколы не умеет делать!— Психопат показал на сестричку.— Дядя доктор с бородкой... научили бы! Или сами тоже не умеем?

«Дядя доктор» сперва слушал с удивлением, потом рассердился.

— Ну-ка, прекратите кричать здесь!— сказал он строго.— Что вам здесь, базар, что ли?

— Да хуже!— не унимался Психопат.— Хуже! Базар по своим законам живет — там умеют, а у вас тут... черт знает что, конюшня.

Сестричка на это молча очень изумилась и возмутилась.

— Здание им построили!..— все кричал Психопат.— А что толку? Все равно самодеятельность. Да что за проклятие такое, что же, вечно так и будем?! Ну, уколы-то, уколы-то — ведь уж... ну чего же проще-то! Нет, и тут через пень колоду! Да чтобы вас черт побрал с вашими бородками, с вашими гитарами!..

— Что, милицию, что ли, вызвать?— спросил доктор спокойно и презрительно.

— Давай! Давай, братец, дело простое. Проще, чем укол сделать. Эхх...— Психопат надел пиджак и направился к выходу. Но не утерпел и еще сказал с порога:— Ду ю спик инглишь, сэр? А как насчет картошки дров поджарить? Лескова надо читать, Лескова! Еще Лескова не прочитали, а уж... слюни насчет неореализма пустили. Лескова, Чехова, Короленку... Потом Толстого, Льва Николаевича. А то — гитара-то гитара, а квакаем пока. А уж думаем — соловьи.— Помолчал, воспользовался, что доктор тоже молчит, еще сказал, миролюбиво, поучительно:— Работать надо учиться, сынок, работать. Потом уж снисходительность, гитара — черт с ней, если так охота, но сперва-то работать же надо.

И Психопат ушел. Сестричка посмотрела на доктора — так посмотрела, словно хотела проверить и убедиться, что она не зря побеспокоила доктора, вызвав его.

— Работайте,— недовольно сказал доктор. И вышел из кабинетика.

Его в коридоре поджидал Психопат. Он все еще

держал руку согнутой и морщился. Врач, натолкнувшись на него, даже как будто растерялся — он думал, что нервный пациент ушел уже, а он тут.

— Простите,— сказал Психопат искренне,— я накричал там... Но я не виноват — больно же.

— Пойдемте, я вам в таблетках выпишу,— сказал молодой доктор на ходу.— Температура какая сейчас?

— Я не мерил,— ответил Психопат, входя следом за доктором в его кабинет.

— Ну вот...— Доктор с бородкой не горестно, а с досадой, привычно усмехнулся и присел к столу писать рецепт.— А возмущаемся... Толстой. При чем здесь Толстой-то?— спросил он и посмотрел на Психопата насмешливо. Насмешка эта задела Психопата, но он решил быть спокойным.

— При том, что он умные слова писал: не мешало бы их помнить.

— А почему вы решили, что я... что их не помнят?

— Это вы-то помните?— удивился Психопат.

— Ну а почему бы нет?— Доктор не только насмешливо, а и с презрением опять, и снисходительно, как показалось Психопату, смотрел от стола — молодой, довольный, уверенный. Психопат в свои 54 года полагал, что это он должен снисходительно смотреть на такого, как этот доктор, а не наоборот.

— Да неужели?

Доктор счел, наверно, что в его положении — врача — несерьезно, даже глупо спорить с больным, да еще так... странно: читал ли он Толстого, Льва Николаевича? Кстати, он его не читал, кроме как в обязательном порядке: в школе и в институте. Но при чем здесь Толстой, господи! И он склонился и стал писать рецепт.

— Может быть, вы тогда скажете: почему мы ничего делать не умеем?— спросил Психопат, продолжая стоять у двери.

— Что мы не умеем делать?— Доктор не поднял головы, продолжал писать.

— Уколы, например.

— Она не читала Льва Толстого, поэтому не умеет.

— Хорошо, вы читали, тогда скажите: почему вы ничего не умеете делать?

— О, дядя!..— Доктор перестал писать и с удивлением смотрел на Психопата.— Это уже интересно. Ничего не умею?

— Нет.— Психопат пооглядывался, не нашел близко табуретки, присел на жесткий диван, застеленный белой простынкой, на краешек.— Не умеете, молодой человек.

— В чем же это выражается?— спросил ироничный доктор.

— Да во всем.— Психопат прямо и просто смотрел на доктора.— Вы врач,— продолжал он рассуждать спокойно,— ваша медсестра не умеет делать уколы, а вы... вас это ни капли не встревожило. Вы, как крючок конторский, сели выписывать мне таблетки... Да ведь мне уколы нужны-то!— Психопат протянул руку к доктору и членораздельно еще раз сказал:— У-ко-лы! Ведь вы же сами назначили уколы.

— Видите ли,— тоже терпеливо заговорил доктор,— есть такие особенные вены, которые...

— Бараны есть особенные, это я понимаю: разной породы, а вены у всех людей одинаковые. Ты не доктор.— Психопат встал.— Из тебя такой же доктор, как из меня — акушерка. Но меня удивляет вот это вот...— Психопат показал на доктора, как если бы он кому-то показывал на выставке заковыристую претенциозную картину — всей рукой, растопырив пальцы ладошкой вверх и еще тряхнул рукой,— это вот... тупое самодовольство. Сидит душа мертвая, ни заботы, ни горюшка — пишет рецепт. Умеет писать рецепты — тоже в люди вышел.

Доктор, изумленный до чрезвычайности, смотрел на больного.

Молчал.

— Как же вы так живете-то? А? Как же так можно?.. Вы простите, я на «ты» перешел — это не надо. Я не ругаюсь с вами, я, правда, хочу понять: неужели так можно жить? Ведь не знает человек ни дела своего, ни... Даже знать-то не хочет, не любит, а сидит — хмурится важно.... Та хоть краснеет, а этот... важный. Господи, боже мой-то, да неужели только за кусок хлеба? Да что вы, люди! Когда же мы так пришлепаем-то! Ну? Голубчик ты мой, бородка, ведь я так-то... не знаю — архиереем сяду вон и буду сидеть: мне что черт, что дьявол, что Никола Угодник — неинтересно. Что же уж так... обнаглели, что ли? Институт кончил... Да в двадцать-то пять лет я бы по домам ходил — старух с печек стаскивал: лечись, карга, а не жди конца, как... А тут все есть, а

живой труп: сидит таблетки выписывает. Тогда уж касторку лучше, что же.

— Все?— спросил доктор жестко. И встал.— Выйдите отсюда.— Он еле сдерживал себя.— Выйдите, я прошу. Я требую!

— «Я требую!..»— передразнил его Психопат.— Эхх... А жить еще небось лет пятьдесят, а уж сосулька сосулькой. Он требует. Ты потребуй, чтоб тебе прожить человеком. Ничего не хотят люди! Бородки хотят носить... Да ведь когда и поработать-то смолоду, ведь чего уж лучше — людей лечить — нет, к тридцати годам душа уж дохлая. Только на гитаре и остается играть.

И Психопат вышел из кабинета. А доктор сел и некоторое время ошалело смотрел на дверь. Потом посмотрел в окно...

По больничному двору шел Психопат — высокий, прямой, с лицом сильного, целеустремленного человека.

Шел широким ровным шагом, видно, привык ходить много и далеко; на нем какой-то длинный нелепый плащ и кожаная шляпа.

Вечером доктор нарочно пошел к своему товарищу, школьному учителю, который жил в этом селе года два уже. Спросил про Кудряшова Сергея Ивановича — знает ли он его.

— Знаю,— сказал учитель, улыбаясь.— А что?

— А кто он такой?

— Библиотекарь.

— Но он что... Он здешний?

— Здешний. Это человек любопытный, такой, знаешь... с неистребимой энергией: кроме работы, ходит еще по деревням, книги старые скупает, к нему из областной библиотеки приезжают, с архивами переписывается...

— А какое у него образование?

— Да никакого. Я не знаю точно, может, классов восемь... Сам ходит, по собственной инициативе. А что он? Наскандалил? Он скандалист большой...

— Да нет, просто интересно.

— Его в селе Психопатом зовут.

— Но ты его хорошо знаешь-то? Что он, читает много?

— Не думаю. Иногда такой дребедени нанесет... А

иногда попадет на дельное: тут раскольников было много, книги на чердаках есть. Иногда интересные приносит. Вообще любопытный мужик. Кляузник только: завалил все редакции предложениями и советами. Мешанины в человеке много. Но вот... никто же не просит ходить по деревням — ходит, свои деньги тратит...

— Но у него же покупают... Библиотеки-то.

— Не все же покупают-то, купят одну-две, а он по полмешка привозит. Такой вот... подвижник. Раздает много книг... В школу нам дарит. С ним одна история была. Набрал как-то мешок книг и стоит голосует на дороге... А платить шоферу нечем: весь истратился. Один подвез и требует плату. Этот ему книгу какую-то: на, мол, дороже всяких денег. Тот, видно, послал его... а книжку — в грязь. Этот, Психопат-то, запомнил номер машины, нашел того шофера, в соседней деревне где-то живет, поехал к нему с братом, у него брат здесь, охотник, и побили шофера.

— Ничего себе! Ну и как? Судили?

— Шофер не подал — охотник откупился. У этого-то нет ничего, а охотник наскреб деньжат: откупились.

— А семья-то есть у него?

— У Кудряшова? Есть, двое детишек... Один в десятом классе — нормальные дети. А что он? Написал небось что-нибудь на больницу?

— Нет, так — был у меня сегодня, поговорили...

— Он поговорить любит! Пофилософствовать. Я, правда, писанину его не читал, но говорить часто приходится — любопытно.

— А печатают его? В газетах-то.

— Да ну, кто его будет печатать. Так — душу отводит. Его не трогают, привыкли... А он убежден, что делает великое дело — книги собирает. У него целая теория на этот счет.

Доктор помолчал... И спросил...

— Слушай, а как думаешь: Льва Толстого он читал?

— Ну, вряд ли, — удивился учитель. — Не думаю. Может быть, «Жилина и Костылина», и то вряд ли. Да нет, такой просто энтузиаст, как говорят. Убежден, что надо доставать книги с чердаков, — достает. Убеждение там колоссальное... Может, потому и кричит на всех. Но он безвредный. Не пьет, кстати. А может, и читал, надо спросить. Но думаю, что нет.

— А как же он библиотекарем без образования-то?

— Он тут с незапамятных времен библиотекарь, тогда не до этого было. Между прочим, хорошо работает. Не пьет, кстати... А, говорил уже.— Учитель засмеялся, поискал в карманах сигареты, нашел, закурил... И опять с интересом посмотрел на товарища. И спросил:— Ведь наверняка же что-то выкинул этот Кудряшов, а? Чего ты с таким пристрастием расспрашиваешь-то?

— Де нет, говорю же тебе... Побеседовали просто в больнице.— Врач тоже закурил, посмотрел, как горит спичка, послюнявил пальцы, перехватил спичку за обгоревший конец и сжег всю спичку до края. И внимательно смотрел на огонек.

1973

РЫЖИЙ

Давно-давно это было! Так давно, что и вспоминать неохота, когда это было. Это было давно и прекрасно. Весна была — вот что стоит в памяти, как будто это было вчера.

Ехал я по Чуйскому тракту из Онгудая домой, в Сростки. В Онгудае я жил с месяц у дяди Павла, крестного моего, бухгалтера... Была такая у нас с мамой весьма нелепая попытка: не выучиться ли мне на бухгалтера? Стало быть, мне лет 12—13, потому что когда мне стало 14, нас обуяла другая мысль: выучиться мне на автомеханика. Нас с мамой постоянно тревожила мысль: на кого бы мне выучиться?

Насчет бухгалтера ничего не вышло: крестный отказался учить. Я этому очень обрадовался, потому что хотел сам сбежать домой... Почему-то я очень любил свою деревню. Пожил с месяц на стороне и прямо измучился: деревня снится, дом родной, мать... Тревожно на душе, нехорошо.

И вот ехал домой. Сердце петухом поет — славно! Я знал: ругать меня не за что (бухгалтерия совершенно искренне не полезла в голову, о чем крестный и писал маме, и я это письмо вез), а скоро будет — из-за горы откроется — моя деревня.

Из Онгудая к Сросткам — это ехать с гор, вниз в предгорье, километров триста. Крестный в Онгудае посадил меня на ЗИС-5 к рыжему шоферу, заранее отдал

деньги — и я ехал себе. Путь-то вон какой!.. От одной езды сердце замирало от радости. А тут мы еще где-то останавливались на ночевку, в какой-то избе, я спал на просторных полатях, где пахло овчиной, мукой и луком, слушал всякие разговоры внизу... Люблю слушать чужие разговоры, всегда любил. Слушал-слушал и уснул. А утром, чуть свет, меня разбудил мой рыжий шофер, и мы поехали по свежачку. Я зевал, рыжий тоже позевывал... Было ему лет тридцать, крепкий, весь рыжий-рыжий, а глаза голубые. В дороге он все время молчал. Только зевнет, смешно заматерится — протяжно как-то, нараспев — и опять молчит. А я себе смотрел во все глаза, как яснеет, летит навстречу нам огромный, распахнутый, горный день... Ах, и прекрасно же ехать! И прекрасна моя родина — Алтай: как бываю там, так вроде поднимаюсь несколько к небесам. Горы, горы, а простор такой, что душу ломит. Какая-то редкая, первозданная красота. Описывать ее бесполезно, ею и надышаться-то нельзя: все мало, все смотрел бы и дышал бы этим простором. И не пугали меня никогда эти горы, хоть наверху на них — голо, снег... Мне милее пашня, но не ровная долина, а с увалами, с гривами, с откосами. Но и горы и снег этот на вершинах, когда внизу зелено, — никогда чуждыми не были, а только еще милей и теплей здесь, внизу.

Едем...

Навстречу нам такой же грузовичок ЗИС-5 (их потом, когда они уже уходили из жизни, ласково звали «Захар» или «Захарыч», они славно поработали). Рыжий чуть отклонился на тракте правее, а тот, встречный, дует посередке почти... Рыжий несколько встревожился, еще поджался правее, к самой бровке, а встречный — нахально посередке. Рыжий удивленно уставился вперед... Я от его взгляда и встревожился-то: я сперва не понял, что нам грозит опасность. А опасность летела навстречу нам... Рыжий сбавил скорость и неотступным, немигающим, оцепенелым каким-то взглядом следил, как приближается этот встречный дурак. Тот — перед самым носом у нас — свильнул, но все равно нас крепко толкнуло, и раздался омерзительный, жуткий треск...

Я больше испугался этого треска, чем толчка, до сих пор помню этот треск: резкий, сухой, мгновенный... Как-то от него, от этого треска, толкнулось в сознании, что беда, может, смерть... Но тут же все пронеслось —

ни смерти, ни беды большой. Рыжий остановился, вылез из кабины... И я тоже вылез. У нас — со стороны руля — отворотило угол кузова, причем угол, который у кабины. Тот, видно, задком шваркнул нас, и ему меньше досталось, потому что для него это получилось — на прощание, с потягом, а для нас удар — встречный: угла как не бывало, верхнего. Тот, видно, крюками саданул, какими борт захлестывается. Мы посмотрели вслед этому полудурку — тот себе катит как ни в чем не бывало. Рыжий быстро вскочил в кабину... Крикнул мне: «Садись!» Я мигом очутился в кабине... Рыжий развернулся и помчался вдогон тому, который ни с того, ни с сего так угостил нас. Вот мы летели-то!.. Рыжий опять неотступно, не мигая — вообще-то страшновато — смотрел вперед, чуть склонился к рулю. И страшновато, и красиво — я смотрел то на рыжего, то на машину впереди. Расстояние между машинами сокращалось. Рыжий не сказал ни слова... Он только раз или два пошевелился от нетерпения. Я, понял, что он хочет сделать, тоже припечатать этому, кузовом же, я слышал, так делают шоферы: за нахальство и наглость. Но когда мы догоняли, я вдруг вспомнил, что там же их в кабине двое сидело, два мужика. Я сказал рыжему:

— Их двое там...

Рыжий чуть шевельнул головой на мой голос, но как смотрел вперед, так и смотрел, скорости не сбавил... Он, конечно, услышал мои слова, но я не увидел, чтобы он о чем-нибудь таком подумал, кроме как: во что бы то ни стало догнать. Это и было в его взгляде, во всей его склоненной фигуре — догнать. Его нетерпение и мне передалось, я тоже вцепился в ручку дверцы и тоже весь напружился — тоже вдруг всего целиком охватило одно единое желание: скорей догнать и шваркнуть. Тот по-прежнему чухал серединой тракта... Мы повисли у него на задке, рыжий стал гудеть, прося дороги. Он еще раз пошевелился, последний раз, глотнул... И гудел, и гудел беспрерывно. Синие глаза его прямо полыхали нетерпением, кричали прямо... Горели ясным синим огнем. Он слился с рулем, правым локтем придавил этот большой черный пупок сигнала — и гудел, и гудел.

Долго тот не давал нам дороги... Наконец, видим, пошел уклоняться вправо. Рыжий прямо лег на руль... И мы стали медленно их обходить. Рядом со мной —

близко, рукой можно достать — прыгал враждебный нам кузов... И он, качаясь и подпрыгивая, тихонько отставал и отставал... Я уже стал видеть лицо того нахала: молодой тоже, моложе рыжего, скуластый, в серой фуражке... Покосился на нас, несколько назад... Потом мы с ним сравнялись, я-то вовсе рядом оказался. Сердце мое как будто кто в кулаке сжал... Тот, в фуражке, посмотрел на нас, скорей так: через меня на рыжего... И я понял, что он не узнал, что именно нам он сделал такую бяку. Я поразительно близко видел его лицо: широкое, в скулах, никакое не злое, несколько даже курносое.... Он, по-моему, досадовал и несколько был удивлен, что его обгоняют — и только. Никак уж, наверно, не ждал он, что его догнала расплата за его хулиганство.

Мы стали уже обходить ЗИС, этот, в кепке уже остался чуть сзади. Их, правда, двое было в кабине, но второго я совершенно не помню — я его, наверно, не видел: до того интересно было смотреть на скуластого.

Мы почти обогнали, ехали серединой... И тут рыжий сделал так: дал вправо, потом резко влево и тормознул. Нас кинуло вперед... Опять этот ужасный треск... Опять мимо пронеслось нечто темное, жуткое, обдав грохотом беды и смерти... И мы стали вовсе: рыжий подрулил вправо к обочине, как и положено, взял длинную заводную ручку и вылез из кабины. Но тот, с висячим уже бортом, не остановился. Рыжий подождал-подождал, залез опять в кабину, развернулся, и мы поехали своей дорогой. Рыжий был спокоен, ничего не сказал по поводу того, что... Он ехал и ехал. Пару раз выглядывал из кабины и смотрел коротко на искореженный угол борта.

Я же почему-то принялся думать так: нет, жить надо серьезно, надо глубоко и по-настоящему жить — серьезно. Я очень уважал рыжего.

С тех пор я нет-нет ловлю себя на том, что присматриваюсь к рыжим: какой-то это особенный народ, со своей какой-то затаенной, серьезной глубинкой в душе... Очень они мне нравятся. Не все, конечно, но вот такие вот — молчаливые, спокойные, настырные... Такого не враз сшибешь. И зубы ему не заговоришь — он свое сделает.

1974

МУЖИК ДЕРЯБИН

Мужику Дерябину Афанасию — за шестьдесят, но он еще сам покрыл оцинкованной жестью дом, и дом его теперь блестел под солнцем, как белый самовар на шестке. Ловкий, жилистый мужичок, проворный и себе на уме. Раньше других в селе смекнул, что детей надо учить, всех (у него их трое — два сына и дочь) довел до десятилетки, все потом окончили институты и теперь на хороших местах в городе. Сам он больше по хозяйству у себя орудует, иногда, в страдную пору, поможет, правда, по ремонту в РТС.

Раз как-то сидели они со стариком Ваниным в ограде у Дерябина и разговорились: почему их переулок называется Николашкин. А переулок тот небольшой, от оврага, где село кончается, боком выходит на главную улицу, на Колхозную. И крайний дом у оврага как раз дерябинский. И вот разговорились... Да особо много-то и не говорили.

— А ты рази не знаешь?— удивился старик Ванин.— Да поп-то жил, отец Николай-то. Ведь его дом-то вон он стоял, за твоим огородом. Его... когда отца Николаято сослали, дом-то разобрали да в МТС перевезли. Контора-то в МТС — это ж...

— А-а, ну, ну... верно же!— вспомнил и Дерябин.— Дом-то, правда, без меня ломали — я на курсах был...

— Ну, вот и — Николашкин.

— А я думаю, пошто Николашкин?

— Николашка... Его так-то — отец Николай, а народишко, он ить какой — все пересобачит: Николашка и Николашка. Так и переулок пошел Николашкин.

Дерябин задумался. Подумал и сказал непонятно и значительно:

— Люди из городов на конвертах пишут: «Переулок Николашкин», а Николашка — всего-навсего поп.— И посмотрел на старика Ванина.

— Какая разница,— сказал тот.

— Большая разница.— Дерябин опять задумался и прищурил глаза. Все он знал — и почему переулок Николашкин, и что Николашка — поп, знал. Только хитрил: он что-то задумал.

Задумал же он вот что.

Вечером, поздно, сел в горнице к столу, надел очки, взял ручку и стал писать:

«Красно-Холмскому райисполкому.

Довожу до вашего сведения факт, который мы все проморгали. Был у нас поп Николай (по старому отец Николай), в народе его звали Николашка, как никакого авторитета не имел, но дом его стоял в этом переулке. Когда попа изъяли как элемента, переулок забыли переименовать, и наш переулок в настоящее время называется в честь попа. Я имею в виду — Николашкин, как раньше. Наш сельсовет на это дело смотрит сквозь пальцы, но жителям нам — стыдно, а особенно у кого дети с высшим образованием и вынуждены писать на конвертах «переулок Николашкин». Этот Николашка давно уж, наверно, сгнил где-нибудь, а переулок, видите ли,— Николашкин. С какой стати! Нас в этом переулке 8 дворов, и всем нам очень стыдно. Диву даешься, что мы 50 лет восхваляем попа. Неужели же у нас нет заслуженных людей, в честь которых можно назвать переулок? Да из тех же восьми дворов, я уверен, найдутся такие, в честь которых не стыдно будет назвать переулок. Он, переулок-то, маленький! А есть ветераны труда, которые вносили пожизненно вклад в колхозное дело, начиная с коллективизации.

Активист».

Дерябин переписал написанное, остался доволен, даже подивился, как у него все складно и убедительно вышло. Он отложил это. И принялся писать другое:

«В Красно-Холмский райисполком.

Мы, пионеры, которые проживаем в переулке Николашкином, с возмущением узнали, что Николашкин был поп. Вот тебе раз!— сказали мы между собой. Мы, с одной стороны, изучаем, что попы приносили вред трудящимся, а с другой стороны — мы вынуждены жить в переулке Николашкином. Нам всем очень стыдно — мы же носим красные галстуки! Неужели в этом же переулке нет никаких заслуженных людей? Взять того же дядю Афанасия Дерябина: он ветеран труда, занимался коллективизацией и много лет был бригадиром тракторной бригады. Его дом крайний, с него начинается весь переулок. Мы, пионеры, предлагаем переиначить наш переулок, назвать — Дерябинский. Мы хотим брать пример с дяди Дерябина, как он трудился, нам полезно жить в Дерябинском переулке, так как это нас настраивает на будущее, а не назад. Прислушайтесь к нашему мнению, дяди!»

Дерябин перечитал и этот документ — все правильно. Он представил себе, как дети его узнают однажды, что отцу теперь надо писать на конверте не «переулок Николашкин», а так: «переулок Дерябинский, Дерябину Афанасию Ильичу». Это им будет приятно.

На другой день Дерябин зазвал к себе трех соседских парнишек, рассказал, кто такой был Николашка.

— Выходит, что вы живете в поповском переулке,— сказал он напоследок.— Я вам советую вот чего... Кто по чистописанию хорошо идет?

Один выискался.

— Перепиши вот это своей рукой, а в конце все распишитесь. А я вам за это три скворешни сострою с крылечками.

Ребятишки так и сделали: один переписал своей рукой документ, все трое подписались под ним.

Дерябин заклеил письма в два конверта, один подписал сам, другой — конопатый мастер чистописания. Оба письма Дерябин отнес на почту и опустил в ящик.

Прошло с неделю, наверно...

В полдень как-то к дому Дерябина подъехал на мотоцикле председатель сельсовета Семенов Григорий, молодой парень.

— Хотел всех созвать, да никого дома нету. Нам тут из района предлагают переименовать ваш переулок... Он, оказывается, в честь попа. Хотел вот с вами посоветоваться: как нам его назвать-то?

— А чего они там советуют? — спросил Дерябин в плохом предчувствии.— Как предлагают?

— Да никак — подумайте, мол, сами. Как нам его лучше?.. Может, Овражный?

— Еще чего!— возмутился Дерябин. Он погрустнел и обозлился:— Лучше уж Кривой...

— Кривой? А что?.. Он, правда что, кривой. Так и назовем.

Дерябин не успел еще сказать, что он пошутил с «Кривым»-то, что надо — в честь кого-нибудь... А председатель, который, разговаривая, так и не слез с мотоцикла, толкнул ногой вниз, мотоцикл затрещал... И председатель уехал.

— Сменили... шило на мыло,— зло и насмешливо сказал Дерябин. Плюнул и пошел в сарай работать.— Вот дураки-то!.. Назло буду писать —«Николашкин».

И так и не написал детям, что его переулок теперь — Кривой, и они по-прежнему шлют письма: «переулок Николашкин, дом 1, Дерябину Афанасию Ильичу».

1974

ПРИВЕТ СИВОМУ!

Эта история о том, как Михаил Александрович Егоров, кандидат наук, длинный, сосредоточенный очкарик, чуть не женился.

Была девушка... женщина, которая медленно, ласково называла его Мишель. Очкарика слегка коробило, что он Мишель, он был русский умный человек, поэтому вся эта... весь этот звякающий чужой набор — «Мишель», «Базиль», «Андж» — все это его смущало, стыдно было, но он решил, что он потом, позже, подправит свою подругу, она станет проще. Пока он терпел и «Мишеля», и многое другое. Ему было хорошо с подругой, легко. Ее звали Катя, но тоже, черт возьми, Кэт. Мишель познакомился с Кэт у одних малознакомых людей. Что-то такое там отмечалось, день рождения, что ли, была Кэт. Мишель чуть хватил лишнего, осмелел, как-то само собой получилось, что он проводил Кэт домой, вошел с ней вместе, и они весело хихикали и болтали до утра в ее маленькой милой квартирке. Мишеля приятно удивило, что она умная женщина, остроумная, смелая... Хотя опять же — эта нарочно замедленная речь, вялость, чрезмерная томность... Не то что это очень уж глупо, но зачем? Кандидат, грешным делом, подумал, что Кэт хочет ему понравиться, и даже в душе погордился собой. Хочет казаться очень современной, интересной... Дурочка, думал Мишель, шагая утром домой, в этом ли современность! Кандидат нес в груди крепкое чувство уверенности и свободы, редкое и дорогое чувство. Жизнь его обрела вдруг важный новый смысл. «Я постепенно открою ей простую и вечную истину: интересно то, что естественно. Чего бы это ни стоило — открою!» — думал кандидат.

Дальше — больше: Мишель все ходил и ходил к Кэт, изредка начинал говорить, что не вся же литература — «Аэропорт»! Кэт тихо, медленно смеялась, они ласкались... Мишель погружался в некий зыбкий, медленный, беззаботный мир, и его уже меньше тревожи-

ло, что все время — музыка и музыка, беспрерывно, одинаково; что свет — где-то под ногами, что по-прежнему вялые жесты Кэт, медленные слова... Он их не слушал. Он решил, что, пожалуй, стоит маленько расслабиться. Все потом войдет в свои берега. Есть в природе весна, есть разливы... Мы потом славно все наладим: она неглупа, она поймет, что не вся литература — «Аэропорт», да даже дело не в том, пусть «Аэропорт», но пусть рядом будут реальные измерения вещей: например, прожит день, оглянулся — что-то сделано, такой сокровенный праздник души, не знать хоть иногда такого праздника — величайшая бедность. Конечно, конечно, думал Мишель, переливая в руках мягкие струи душистых волос Кэт, конечно, она знает в совершенстве искусство нежности, ласки, но мы прибавим к этому нечто трезвое, деловое. Мы обретем!

— Катя,— говорит Мишель,— что, если мы... у меня скоро отпуск, махнем-ка мы в Сибирь. На Алтай. Возьмем рюкзаки — и пешком. Там очень развита народная медицина, я бы хотел подсобрать материал...

— Найн,— нарочно сердила его Кэт чужими словами и смеялась.— Но-о, Мишель.

А смеялась она обворожительно, медленно, тихо, обещающе, зазывно... ну, черт знает как двусмысленно. Мишель бросался ее целовать, а Кэт слабо отбивалась и говорила:

— Ну, хватит, Мишель, хватит...

«А здоровый я мужчина!»— думал про себя Мишель. Ему было хорошо... Так продолжалось с месяц.

И как-то Мишель пришел опять к ней вечером. Пришел... и оторопел: на диване, где он вчера еще вольно полулежал, весьма тоже вольно полулежал здоровый бугай в немыслимой рубашке, сытый, даже какой-то светлый от сытости.

— Здравствуйте,— сказал Мишель. Он постарался сказать спокойно, но сердце у него заболело. А дальше он и вовсе ошалел: Кэт была в халатике, он сразу этого не заметил. Но ведь это при нем она ходила в халатике, почему же еще при ком-то? Что это?

Бугай в цветастой рубашке сел на диване и несколько насмешливо, несколько снисходительно смотрел на длинного опрятного кандидата.

— Знакомьтесь,— спокойно, медленно сказала Кэт.— Серж, я тебе говорила...

Серж кивнул.

Мишель продолжал нелепо стоять: он не знал, как ему быть. Потом он сел.

В комнате было накурено, но не душно, а как-то сладко-приторно: звучала тихая музыка. Кандидат чувствовал себя очень скверно... Он встал и подошел к Сержу.

— Михаил Александрович,— представился он. И протянул руку. «Может, это ее родственник?»— подумал он.

Серж снисходительно подал свою руку. И кивнул снисходительно... Кандидату вовсе стало нехорошо: какой родственник! Родственники не смотрят так насмешливо, так снисходительно, это сидел наглый соперник. Кандидат опять сел.

— Кофе? — как ни в чем не бывало спросила Кэт; она была мила и спокойна.— Коньяк?

— Что вы предпочитаете? — тоже спокойно, медленно спросил бугай в тропической рубашке; как-то умели они так говорить — вяло, медленно у них получалось.

«Как в лучших домах Лондона»,— пришло на ум кандидату, он то и дело где-нибудь слышал эту до омерзения глупую фразу, а теперь сам почему-то вспомнил. Он обозлился на себя за это. И за то еще обозлился, что растерялся. И за то еще, что не может никак обрести верный тон в этой ситуации. В таком идиотском положении он еще не бывал.

— Коньяк, пожалуй,— неожиданно тоже медленно сказал кандидат, но в его медленности явно зазвучала ирония; кандидат воспрянул духом: кажется, найден верный тон, единственно возможный.— А вы?

— Да, пожалуй,— медленно сказал бугай, не услыша чужой иронии. Кэт услышала иронию и внимательно посмотрела на Мишеля... непонятно усмехнулась.

— Серж, в холодильнике,— сказала она.

Серж встал и медленно пошел на кухню.

— В чем дело? — спросил кандидат, когда Серж вышел.

Сердце его так забилось, так горько и обидно стало, что голос его дрогнул, ирония исчезла.

— Что?— Кэт стряхнула пепел с сигареты «Кент» в пепельницу.— О чем ты?

— Кто это?

— Знакомый...

— Как знакомый?

— Близко.

— Но... Не понимаю!— загорячился кандидат.— Что значит «близко»?

Кэт медленно засмеялась... В эту минуту кандидату захотелось подойти и влепить ей пощечину. Вошел Серж с коньяком и еще с какой-то бутылкой.

— Я нашел там виски,— сказал он.— Я, пожалуй, займусь виски. У тебя есть содовая?

— Там же, внизу.

Серж поставил бутылки и опять медленно отбыл на кухню.

— В чем дело?— совсем зло спросил кандидат.— Кто это?

— Мой старый знакомый, я же сказала. Друг, если угодно. А что?

— Не понимаю...— Кандидат опять потерялся, и было очень больно.— У нас, кажется, были не те отношения...

— Тебе было плохо со мной?

— Но я считал, что... Не понимаю! Ничего не понимаю!

— Ты считал, что ты единственный и неповторимый?

— Значит, между нами все?— очень глупо спросил кандидат. И сам опять обозлился на свою глупость.

— Почему?— спросила Кэт.— Ты можешь приходить...

— По графику, что ли?

— Не надо хамить,— устало и медленно сказала Кэт.

«Не уйду!— решил кандидат.— Что будет, то и будь. Я вам покажу... Сан-Франциско!»

Вошел Серж с содовой. У него были покатые мощные плечи и обширная грудь.

— Вам коньяк или виски?— спросил он вежливо и снисходительно; он чувствовал себя в этой квартирке вполне хозяином.

«Чего же он-то не обижается, что еще вчера хозяином тут был я?— изумлялся кандидат.— Это ж надо так войти в роль... сверхсовременных людей. Или это уж скотство какое-то.»

— Мне бы водки,— сказал кандидат; он с отчаяния пошел на рискованный шаг: решил выпить хорошенько и, может быть, сказать этим «джентльменам» всю прав-

ду о них. Но он мало пил, совсем почти не пил, и скоро пьянел. Однако нарочно потребовал водки — в этом был некий вызов, и это его устраивало.— Есть в этом доме водка?

— Есть?— спросил Серж хозяйку. При этом не скрыл снисходительной усмешки.

— Нет,— кратко сказала Кэт.

— Ну, тогда виски,— сказал кандидат.— С содовой.— Он тоже пристроился играть «джентльмена», и Кэт, он видел, поняла это, а Серж не понимал пока, думал, что кандидат пыжится за ними и делает это плохо, поэтому он становился все более вежливым с Мишелем, все более ироничным и снисходительным.

— Как съездили? — спросила Кэт Сержа. Развернула цветную бумажку, взяла что-то в рот и стала жевать. И дальше она все время жевала, даже когда говорила. Жевала тоже медленно.— Интересно было?

— Было недурно.

— Кто был?

— Были Алка с Владиком, Радик... Еще двое, ты их не знаешь.

— Радик один был?

— Один. Было недурно. Погода несколько портила пейзаж...

— Почему Радик был один?

— Ты же знаешь Радика! Настроение — побыть одному. Вообще недурно было.— Говоря это, Серж налил в три хрустальные рюмки; себе и Кэт умело брызнул из сифона содовой, кандидату пододвинул сифон, чтобы тот сам разбавил себе, как найдет нужным. Кандидат принципиально не стал разбавлять.

Кэт чуть отпила и опять закурила. Серж выпил половину, закурил тоже и откинулся на спинку стула, и даже стул наклонил назад. Кандидат шарахнул всю рюмку и крякнул.

Кэт и Серж продолжали беседовать.

— Что делали?— спросила Кэт.

— Ну, сама знаешь... В пасмурную погоду дулись в преферанс. Кстати,— оживился Серж,— потом, знаешь, кто приехал? Сивый!

— Да?

— Подкатывает мотор, смотрим — вылезает Сивый. В пылище!.. Выволакивает из багажника ящик шампанского... «Закуска — ваша!»— орет.

— Сивый один был? — спросил кандидат.

На него удивленно посмотрели.

— Сивый был один,— сказал Серж, несколько озадаченный.

— Что это он?— удивился кандидат Мишель.— Сдурел, что ли, один ездит.

— Вы знаете Сивого?— заинтересовался Серж.

— Ну, мерин такой... сероватый, срыжа.

— Не надо хамить, Мишель,— медленно, без всякой, впрочем, тревоги сказала Кэт.

Серж пристально посмотрел на Мишеля.

— Еще, что ли, врежем?— спросил Мишель. И взял бутылку с виски, взял другую рюмку, побольше, набухал полную.— Ну, со знакомством?— подержал рюмку, ожидая, не присоединятся ли к нему... К нему не присоединились, Мишель выпил один.— Кхух!.. выдохнул он.— Обожаю виски. У вас «Кент»? Позвольте?..

Серж пододвинул ему пачку.

— Не фонтан сигареты, да?— сказал Мишель, неумело закуривая,— он не курил.

— У вас есть что-нибудь лучше?— спросил Серж.

— «Марлборо», дома оставил,— изо всех сил медленно и лениво сказал кандидат. Он тоже откинулся назад со стулом и стал рискованно покачиваться.— На электрооргане. Вышел уже и хватился: где же у меня «Марлборо»-то? Потом вспомнил: играл на электрооргане и та́м, наверно, оставил. Ну, думаю, у Кэт кто-нибудь будет, я стрельну. У вас есть электроорган?— спросил он Сержа.

— Нет, у меня есть балалайка.

— Фи-и... и вы на ней играете?

— Да, я на ней играю.

— И как на это смотрит Сивый?

— Сивый... Слушает и плачет.

— И Радик плачет? Что же вы такое играете, что они плачут?

— «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан».

— Прекрасная мелодия... Чего же тут плакать? Хотя... понятно: кадры. Вообще, как сейчас обстоят дела с кадрами? По-моему, неплохо? Как Сивый на этот счет думает? — Кэт перестала жевать и с интересом смотрела на Мишеля.

Серж в упор рассматривал сухопарого кандидата... Не знал, как все это понимать.

Кандидат катастрофически пьянел. Злое мстительное чувство ослабло, ему стало очень весело, просто смешно.

— Ну-с, как Сивый думает о проблеме кадров?— опять спросил он Сержа.

— Сивый?— переспросил Серж. И в голосе его зазвучала угрожающая нотка.— Сивый думает, что за...

— Серж!— сказала Кэт.

— А призы Сивый берет? — продолжал расспрашивать кандидат.

— Берет. Хотите, я вам покажу парочку его призов?

— А когда же он думает?— не унимался кандидат.— Во время рысистых испытаний?

Серж требовательно посмотрел на Кэт: он больше не мог терпеть.

— Мишель, не надо хамить,— нормально, не лениво, сказала Кэт.

— А кто хамит?— удивился Мишель.— Мы просто беседуем. Скажите, пожалуйста, много было народу?

Серж молчал.

— Вы не заметили, Вороной был там или нет? Кстати, как Сивый чувствует себя в самолете? Не ржет от удовольствия? А то я с Вороным летал однажды, он как заржет!..

— Ну, хватит,— решительно сказал Серж. И встал.— Сейчас ты у меня заржешь...— И схватил кандидата короткой сильной рукой, и поволок к выходу.

— Серж, не очень там,— сказала Кэт.

Очки у кандидата слетели, хрустнули под ногами... Он хотел оглянуться на Кэт, но не успел — вылетел в коридор. За ним вышел Серж и ударил его в челюсть. Кандидат стукнулся головой об стенку, но — странно — не ощутил боли. Серж еще раз ударил его, на этот раз по зубам... И теперь больно не стало, только стало солоно во рту и тесно.

«Как же ты жесток!..— с омерзением подумал беспомощный человек, смутно видя перед собой того, кто бил.— Как ты гадок».

— Еще?— спросил Серж.

— Давай,— сказал кандидат.

Еще некоторое время смутно маячила перед ним квадратная туша Сержа; потом она исчезла... Послышались удаляющиеся шаги.

— Привет Сивому!— сказал кандидат.

Шаги остановились... С полминуты, наверное, лестница молчала в пустоте, потом открылась дверь и закрылась; щелкнул замок.

Кандидат достал платок, вытер окровавленный рот и стал ощупью спускаться вниз по лестнице. Странное у него было чувство: и горько было, и гадко, и в то же время он с облегчением думал, что теперь не надо сюда приходить. То, что оставалось там, за спиной,— ласки Кэт, сегодняшнее унижение — это как больница, было опасно, был бред, а теперь — скорей отсюда и не оглядываться.

«О-о!— подумал о себе кандидат Михаил Александрович.— Ну как, Мишель?»

1974

ЛЮБАВИНЫ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Любавиных в деревне не любили. За гордость. Жили Любавины как в крепости: огромный крестовый дом под железной крышей, вокруг дома — заплот из вершковых плах. В ограде днем и ночью гремят проволокой два волкодава с красными, злыми глазами.

Мужиков Любавиных пятеро: отец и четыре сына. Спокойные, угрюмые, с насмешливыми умными глазами вприщур.

Старик Емельян Спиридоныч — огромный и угловатый, как коряга. Весь зарос волосами. Волосы растут у него даже в ушах. Скуластое, грубой ковки лицо не выражает ничего, кроме презрения. Уважал Емельян в человеке только силу. Хозяйство за жизнь сколотил крепкое, гордился этим и учил сынов жить так же. Сумеют — можно лучше. Сыны не то что уважали его, скорей побаивались, поэтому слушались.

Старший — Кондрат. Медлительный лобастый, с длинными руками. Больше смотрел вниз. А если взглядывал на кого, то исподлобья, недоверчиво. Людям становилось не по себе от такого взгляда. Вообще редко кто испытывал желание «покалякать» с ним о жизни у ворот перед сном грядущим. Кондрат не страдал от этого. Верил только отцу, отцовскую житейскую мудрость принимал безоговорочно. Знал в жизни одно — работать. И работал от зари до зари — молча, терпеливо, упорно. На все остальное смотрел, как и отец, презрительно. Не выносил, когда при нем много разговаривали.

Второй сын — Ефим.

Этот помягче был. Умел разговаривать с людьми,

иногда улыбался. Но улыбался так — для солидности. Был он мужик хитрый. Сам про себя знал: не оплошает в трудную минуту, найдет выход.

Жил он отдельно, своим хозяйством. Как-то незаметно вывернулся из-под влияния отца... Но своей самостоятельностью не раздражал его. Зря не спорил. Приходил советоваться к родным. Охотно поддакивал отцу, а за душой таил другое, свое. Братья понимали, что Ефим себе на уме. Было ему за тридцать.

Третий — Макар. Самый «суетливый» из всех Любавиных. Ходил в чистой рубахе, волосы аккуратно причесывал. Лицо красивое и злое. В глазах его постоянно таился ядовитый смешок. Любил подраться. Обиды никому не прощал, не спал ночами, стонал, ворочался — выдумывал один за другим коварные мстительные планы. В драке мог в любую минуту выхватить из-за голенища нож и в свалке под шумок запустить кому-нибудь под ребро.

Парни боялись его. Он знал это.

Самый младший из братьев — Егор. Задумчивый парнина, круглолицый и стройный, как девка. Будь он немного разговорчивее и веселее, любая закрыв глаза пошла бы за ним. Было в его лице что-то до боли привлекательное: что-то сильное, зверское, и мягкое, поразительно нежное — вместе. Но он почти ни с кем не разговаривал и улыбался редко, неохотно. На девок, однако, смотрел и снился им ночами.

Эти двое не были еще женаты.

2

Ранняя весна 1922 года.

Темными мокрыми ночами с шумом, томительно и тяжко оседал подтаявший снег, и в лесу что-то звонко лопалось с протяжным ликующим звуком: пи-у...

За деревней, на сухих прогалинах, до самой зари хороводилась молодежь. Балалаечники, настроившись по двое, высекали из своих тонкошеих инструментов неукротимый серебряный зуд.

Парни топтали тяжелыми сапогами матушку-землю — плясали, пели частушки с матерщиной, часто дрались... Просилась наружу горячая молодая сила.

А над рекой, пронизывая сырую, вязкую тишину медным витым перебором, голосила великая сводница —

тальянка. Девки рассыпали по доскам шатких мостков сухую крепкую дробь, пели зазывные припевки.

Жизнь шла своим чередом.

Первым, как всегда, проснулся Емельян Спиридоныч. Он спал на кровати. Укрывался зимой и летом тулупом.

Скинул на пол босые ноги, достал пятерней промеж «крыльцев», зевнул и пошел в сени умываться.

На печке неслышно, как тень, завозилась хозяйка — Михайловна. Привычно перекрестилась и прошептала:

— Господи, господи, прости нас, грешных...

В горнице жалобно скрипнуло старое кроватное железо — проснулся Кондрат. Несколько раз глухо и густо кашлянул; понесло махрой. Он тоже один спал — жена лежала в больнице, в уезде.

На палатях досыпали свои законные — по молодости — минуты Макар с Егором. Егор спал с краю, вытянувшись во всю длину полатей. Рядом, скрючившись, закинув ноги на брата, похрапывал Макар. Эти проклятые ноги Егор каждую ночь то и дело скидывал с себя, матерился негромко... Но все равно к утру ноги обязательно лежали на нем.

Емельян вернулся из сеней, приглаживая на ходу кудлатую голову. Сказал, ни к кому не обращаясь:

— Сёдня пригрет здорово.

— Всё уж... паска на носу,— откликнулась Михайловна. Она затапливала печку.

Емельян Спиридоныч обулся, встал на припечье, тряхнул Егора:

— Подымайтесь.

Егор легко отнял от подушки голову, вытер ладонью губы, полез с полатей. Макар, не открывая глаз, перевернулся на другой бок и снова захрапел. Он вставал последним. Приходил с улицы обычно к свету, спал самую малость, а утром его вместе со всеми поднимал отец. Макар боролся, как мог, за лишнюю минуту сна. После каждого оклика он уползал все дальше в глубь полатей и под конец оказывался у самой стенки. Там отец доставал его ухватом. Толкал в бок железными рогами и говорил беззлобно:

— Ты гляди, что выделывает, боров... спрятаться хочет. Эй!

Макар поднимался злой и помятый. Ворчал:

— Пихает, как колоду... Они же вострые!

Младшие братья наскоро ополоснули лица, пошли во двор убираться — задавать корм скоту, поить лошадей...

Занимался рассвет.

По всей деревне скрипели ворота, колодезные валы, гремели ведра. Переговаривались, покашливали люди. Из края в край, то стихая, то с новой силой, весело горланили петухи. Где-то отчаянно ломилась из закутка свинья.

Небо было ясное. Воздух стоял чистый, по-утреннему свежий, с тонким запахом дыма и парного молока.

Макара слегка пошатывало — не выспался.

В конюшне, взнуздывая жеребца, он тоскливо попросил брата:

— Сделай один, а? Я где-нибудь придавлю с часок. Прямо с ног ведет — до того спать охота.

— Лезь, спи,— согласился Егор.— Только подальше куда-нибудь.

Макар забрался на сеновал, зарылся в сухое пыльное сено, с величайшим удовольствием зажмурился... Засыпая, забормотал:

— Жили же цари, мать их в душу! Спали сколько влезет...

Егор погнал на реку лошадей.

По Баклани густо шел лед. Над всей рекой стоял ровный сплошной шорох. В одном месте, на изгибе, вода прибивала к берегу. Льдины покрупнее устремлялись туда, наползали на берег, разгребая гальку... Показывали скользкие, изъеденные вешней водой морды, нехотя разворачивались и плыли дальше. Умирать.

Сразу за рекой начиналась тайга — молчаливая, грязно-серая, хранившая какую-то вечную свою тайну... А дальше к югу, верст за сорок, зазубренной голубой стеной вздыбились горы. Оттуда, с гор, брала начало бешеная Баклань, оттуда пошла теперь ворочать и крошить синий лед.

Безлюдье кругом великое. И кажется, что там, за горами, совсем кончается мир. У бакланских бытовало понятие «горы», «с гор», «в горы», но никто никогда не сказал бы «за горами». Никто не знал, что там. Может, Монголия, может, Китай, что-то чужое. Свое было к северу. Туда и тайга пореже и роднее, и пашни случались, и деревни — редко, правда, там, где милостью божьей тайга уступала людям землю. Уступила она землицы и бакланским — пашня начиналась за деревней большой

черной плешиной в таежном море. Туда же, к северу, вела единственная дорога из Баклани (к районному селу и уездному городку). А на юг петляли тропки к пасекам, охотничьим избушкам и на покос.

Молчание тайги и гор задавило бы людей, если бы не река — она одна шумела на всю округу.

Быстро светлело, От воды поднимался туман. Егор зябко ежился, посвистывал лошадям, чтобы они дружнее пили. Лошади одна за другой отходили от воды, вздрагивали — вода была студеная.

Напилась последняя — маленькая жеманная кобылка по кличке Монголка, любимица Емельяна Спиридоныча.

Приехав домой, Егор засыпал коням овса, убрался со скотиной, наколол дров для бани — суббота была,— пошел будить Макара.

— Айда завтракать.

— А?

— Пошли. Всё.

— Пошли. — Повеселевший Макар — маленько урвал,— разминая затекшие ноги, пошагал в дом.

Завтракали все вместе.

Во главе стола — Емельян Спиридоныч. По бокам — сыны.

Ели молча, аккуратно и долго. Сперва была лапша с гусятиной, потом жареная картошка со свининой.

Емельян Спиридоныч рукой брал со сковороды куски мяса и прятал в лохматый рот. С удовольствием, громко жевал. Поесть в этом доме любили.

Наконец старик отвалился, размахнул на половинки большую, как веник, бороду... Сказал, покосившись на икону:

— Слава богу.

Стали подыматься. Зашарили по карманам кисеты.

Емельян Спиридоныч, сыто икая, заговорил о делах:

— Мы с Кондратом сёдня поедем в Березовку. Я сон хороший видал,— может, к добру.

В Березовке один лукавый татарин продавал редкого, знаменитых кровей, жеребца. Этот жеребец не давал старику Любавину покоя ни днем ни ночью. Но татарин ломил страшную цену. Три раза скупой Емельян Спиридоныч ездил торговаться и три раза приезжал ни с чем. Последний раз сгоряча заявил татарину:

— Сукин ты сын, идол! Полмешка мильенов — тебе мало?! Не продашь — я его так уведу, харя!

Татарин засмеялся ему в лицо, дыша губительным запахом неслыханной крепости табака и лука.

— У тебя коней больше... смотри!

Сегодня Емельян Спиридоныч решил съездить еще раз. Сон видел такой:

— Вижу, быдто за поскотиной, насприть Логушиной избенки, сидит волк. Во-от такой волчина — лоб как у коня. Мне так сердце резануло. Думаю: бежать?— догонит, хуже будет. Я взял да лег...

— В штанах ничего не оказалось?— поинтересовался Макар.

Емельян Спиридоныч нехорошо поглядел на сына.

— Я вот ломану чем-нибудь вдоль хребта — у тебя враз окажется, сопляк.

— Они шибко умные стали,— хмуро заметил Кондрат, увидев, что Егор отвернулся и трясется от смеха.

— Ты вот что, — повысил голос отец, презрительно и властно глядя на Макара,— перекуешь сёдня всех коней и договорись насчет борон.

Макар сразу поскучнел — он решил было денек погулять, раз отец уезжает. Скосоротился, пошел в горницу.

— Платить надо кузнецу-то. А то уж неловко даже!— громко заявил он оттуда.

— Скажи — нечем пока платить. После.

— Не будет ковать.

— А ты раньше время не распускай слюни. Не будет — тогда заплати. Ты, Егорка, поплывешь в остров за чашшой.

Егор надегтяривал у порога сапоги.

— Шуга-то не прошла еще,— буркнул он.

Емельян Спиридоныч выкатил из печки уголек, долго сопел, прикуривал. Потом вытолкнул из густых зарослей бороды и усов белое облачко, спокойно сказал:

— Ни хрена с тобой не случится. Барышня кака! Иди, Кондрат, закладывай. Надо успеть, пока дорога не раскисла.

Кондрат молчком оделся и вышел.

Емельян Спиридоныч долго надевал тулуп, минут пять искал папаху... Подпоясался цветной опояской, взял под мышку рукавицы-лохмашки, остановился у порога.

— Ну?— У него привычка такая была: перед уходом из дому останавливался у порога, оглядывал избу и спрашивал: «Ну?»

— Ты... это...— Михайловна пошла его проводить.— Много шибко запросит, так уж не берите. Что их, косяк целый держать? А ребятам строиться скоро — деньги надо...

— Там поглядим,— уклончиво сказал Емельян Спиридоныч. Он никогда серьезно не советовался с женой.

Когда отец вышел, Егор распрямился и сказал брату с горечью:

— Договорился на свою голову?

Тот откликнулся из горницы:

— Ты думаешь, он без этого не нашел бы нам работы? У него жила не выдержит.

Егор ногой задвинул банку с дегтем под печь, пошел в горницу.

На скрип двери Макар метнулся к кровати, быстренько сунул что-то под одеяло.

— Не прячь, я уж видал его.

— Кого?

— Обрез твой.

— Ну и что?

— Ничего. Доиграться можешь. Давеча поил коней — приметил: двое каких-то приехали опять. С Колокольниковым из сельсовета шли.

— Из уезда нагрянули?

— Наверно, откуда же...

Макар картинно подбоченился, прищурился на брата.

— Им, Егорушка, надо ноги на шее завязывать, этим властям всяким. А вы с девками пузыри пускаете. Конечно, они скоро на голову сядут.

Егор ничего не ответил. Это был сложный вопрос — как относиться к властям. Они не трогали его. У Макара с ними особый счет, он уже отсидел месяца три в районной каталажке — за хулиганство.

3

В тот день в Баклань действительно приехали незнакомые люди.

Ранним утром по широкой деревенской улице шли трое. Впереди в высоких негнущихся пимах, в новеньком, белой овчины полушубке шагал предсельсовета —

Елизар Евстигнеич Колокольников. За ним, в двух шагах — приезжие. Один — старый, с бородкой, второй — совсем еще молодой парень, высокий, с тонкими длинными ногами. На лбу у парня — косо, через бровь шрам.

Приезжие были в сапогах. Под ногами у них по-зимнему громко взыкал снег.

Направлялись к высокому дому с веселым писаным крыльцом.

Поднялись. Елизар, не вынимая из карманов рук, ногой толкнул дверь сеней (положение председателя не позволило ему иначе открывать двери).

Вошли в избу.

Завидев чужих, из избы в горницу козой шарахнула молодая девка в спальной рубахе.

— Кобыла старозаводская,— строго заметил Елизар.

— Откуда ж она знала!— вступилась за дочь хозяйка, пухлая, с заспанным лицом баба.

— Если не знала, так надо весь день нагишом ходить?

— Так уж нагишом!— откликнулась из горницы девка.

— Вот тут остановитесь, товарищ,— обратился Елизар к приезжим.— Это мой брат здесь живет.

— У тебя другого места нет, кроме брата!— обернулась баба.— К себе-то почему не ведешь?

Елизар скрипнул новыми настывшими пимами, смерил угрожающим взглядом хозяйку и выразительно постучал себя по лбу:

— Граммофон!

Та сердито махнула рукой и принялась за тесто.

— Вот здесь, значит, остановитесь,— снова обратился Елизар к старику и парню.

Они терпеливо стояли у порога, старик протирал концом потертого шарфа очки, а парень незаметно поводил плечами под легким кожаном и переступал с ноги на ногу,— видно, промерз.

— Немедленно истопишь баню!— приказал председатель, снова решительно повернувшись к хозяйке.

— Приедет хозяин, затоплю,— все так же непримиримо ответила та, не оборачиваясь.— Не шуми тут много.

Елизар вконец обозлился, но строжиться перестал —

опасался, что эта дура выкинет что-нибудь похлестче. Спросил:

— А он иде?

— Сено увезли продавать.

— А-а... Ну, значит...— Елизар повернулся к товарищам, которым хотел угодить.— Значит, к вечеру вам тут баньку истопют. Это с дороги полезно.— Он изобразил улыбку, с которой деревенские люди разъясняют городским общеизвестные истины.

Старик, устраивая на нос очки, согласно кивнул головой — полезно.

— А я, значит... это... побежал.— Елизар пытливо заглянул старику в глаза и ушел: так, кажется, и не понял — угодил или нет?

Старик спокойно разделся, прошел к лавке, сел. Парень тоже заскрипел тужуркой, с удовольствием стаскивая ее.

— Тебя как называть можно?— спросил старик, глядя на хозяйку поверх очков.

— Агафьей.

— А меня — Василий Платоныч. А его вот — Кузьма. Фамилия у нас одинаковая — Родионовы.

— Сын, что ли?

— Племянник. Ты не сердись на нас. Мы ненадолго.

— Чего там,— примирительно сказала Агафья. Ей, видно, понравился старик.

Из горницы вышла девка в пестром ситцевом платье — крепкая, легкая на ходу, с маленькой, гордо посаженной головой.

— Здрасте.— Смело посмотрела на парня, непонятно дрогнула уголком припухлого рта, прошла к матери.

У Кузьмы слегка побагровел шрам.

— Дай закурить, дядь Вась,— тихонько попросил он.

— Из уезда, что ли?— поинтересовалась Агафья.

— Из уезда,— ответил Платоныч.— А чаек нельзя придумать, Агафья?

— Сейчас будем завтракать. Клавдя, убирай со стола. Дочь моя,— сочла нужным пояснить Агафья.— Сами, конечно, городские?

— Ага.

— Замерз парень-то. Иди вон к печке, погрейся. Шибко уж легкая у тебя эта штука-то.

— Зато кожаная,— не то серьезно, не то издеваясь, вставила Клавдя.

Кузьма кашлянул в ладонь и сказал:

— Ничего, так отогреемся.

4

Дорога за ночь хорошо подмерзла. Лошадь шла ходко; коробок дробно тарахтел. Где-то в передке, нагоняя сонное раздумье, дребезжала железка.

Емельян Спиридоныч, зарывшись в пахучий воротник тулупа, чутко дремал.

Кондрат время от времени трогал вожжами и равнодушно говорил:

— Но-о, шевелись.— Опускал голову и снова принимался постегивать концом вожжей по своему сапогу.

Кругом ни души. Просторно. Еще на всем сонная сладкая одурь после тяжкой весенней ночи.

Проехали пашню, начался редкий чахлый осинник. Запахло гнильем.

Впереди на дороге далеко и чисто зазвенел колокольчик: навстречу неслась тройка.

Емельян Спиридоныч выпростал из воротника голову, всмотрелся. Кондрат тоже глядел вперед.

Тройка быстро приближалась. Лошади шли вмах; коренной смотрел зверем; пристяжные почти не касались земли, далеко выкидывая длинные красивые ноги. Колокольчик чему-то радовался — без устали, звонко хохотал.

Тройка пронеслась мимо, обдав Любавиных ветром, звоном и теплом. Емельян Спиридоныч долго глядел вслед ей.

— Соловьи!— вздохнул он. И снова полез в воротник.

Опять было настроились на мерный, баюкающий шумок долгой путины. Но вдруг Емельян Спиридоныч высунулся из воротника, встревоженный какой-то мыслью.

— Слышь!— окликнул он сына.

— Ну?

Емельян Спиридоныч заворочался на месте, откинул воротник совсем.

— Знаешь, кто это проехал?

— Почта.

— Правильно.— Отец в упор, вопросительно смотрел на сына.

— Ты чего? — не выдержал тот.

— Денюжки поехали, а не почта,— тихо сказал он.— Они их в железном ящике возют. Ночью покормются — назад поедут.

Кондрат прищурил глаза. Отец искоса смотрел на него. Ждал.

— Кусаются такие денюжки,— сказал Кондрат, не глядя на отца.

Емельян Спиридоныч задумался. Смотрел вперед хмуро.

— Тц... У людей как-то получается, язви тя.

Кондрат молчал.

— Тут бы те сразу: и жеребец, и по избе нашим оболтусам.

Кондрат понукнул Воронка. Емельян Спиридоныч снова полез в воротник. Вздохнул.

— Это Иван Ермолаич, покойник,— тот сумел бы.

— Кто это?

— Дядя мой по матери. Тот сумел бы. У его золотишко не переводилось. Лихой был, царство небесное. Сгинул где-то в тайге.

Больше не разговаривали.

5

В баню пошли втроем: Николай Колокольников — хозяин, у которого остановились приезжие, и Платоныч с Кузьмой.

Николай, широкоплечий, кряжистый мужчина с красным обветренным лицом, недавно вернулся из уездного города. Навеселе. Где-то хватил дорогой с мужиками.

Он сразу разговорился с Платонычем, заспорил: стал доказывать, что школа в деревне не нужна и даже вредна.

— Да почему?!

— А вот... так. Я по себе знаю. Как задумаешься иной раз: почему, к примеру, от солнца тепло, а от месяца — нет? Или: где бог сидит?..

Клавдя фыркнула (из-за нее, собственно, и начался спор. Платоныч спросил, умеет она читать или нет) и, мельком глянув на Кузьму, кокетливо ввернула:

— На небесах.

Отец накинулся на нее:

— Да небеса-то... эт что, по-твоему? Это же нормальный воздух! Попробуй усиди на ём. А если б небеса, скажем, твердые были, то как тогда через их звезды видать? Ты через стенку много видишь? Что?

Считая, что против таких доводов не попрешь, Николай повернулся к квартирантам:

— Об чем я говорил?.. А-а... про месяц.

— А у попа спрашивал, где бог сидит?

— Спрашивал. «В твоей,— говорит,— глупой башке он тоже сидит». У нас поп сурьезный был.

Поспорили еще о том, нужно земле удобрение или нет. Николай твердо заявил, что нет. Навоз — туда-сюда, а что соль какую-то привозят некоторые, это от глупости. И от учения, кстати.

Пошли в баню. Разделись при крохотном огоньке самодельной лампочки. Николай окупнулся и полез на полок.

— Ну-ка бросьте один ковшичек для пробы.

Платоныч плесканул на каменку. Низенькую баню с треском и шипением наполнил горячий пар. Длинный Кузьма задохнулся и присел на лавку...

На полке заработал веником Николай. В полутьме мелькало его медно-красное тело; он кряхтел, стонал, тихонько матерился от удовольствия... Полок ходуном ходил, доски гнулись под его шестипудовой тяжестью. Веник разгулялся вовсю. С полки валил каленый березовый дух.

Кузьма лег плашмя на пол, но и там его доставало,— казалось, на голове трещат волосы. Худой, белый, со слабой грудью Платоныч отполз к двери, открыл ее и дышал через щель.

— М-м... О-о!— мучился Николай.— Люблю, грешник!

Наконец он свалился с полка и пополз на карачках на улицу.

— Ну и здоров ты!— с восхищением заметил Платоныч.

Николай, отдуваясь, ответил:

— У нас отец парился... водой отливали. Кха!.. Насмерть заходился.

— Зачем так?— не понял Кузьма.

Николай не сумел ответить — зачем.

— Поживешь, брат,— узнаешь.

Уходили из бани по одному. Первым — Кузьма.

Вошел в избу и лицом к лицу столкнулся с Клавдей. Она была одна.

— Скидай гимнастерку, ложись вон на кровать, отдохни,— сказала без дальних разговоров.

Кузьма растерялся: под гимнастеркой у него была рубаха, а рубаха это... того... не первой свежести.

— Ладно, я так посижу. Сейчас отец твой придет, ему обязательно надо отдохнуть. Он там чуть не помер.

Клавдя подошла совсем близко, заглянула в его серьезные, строгие от смущения глаза.

— Ты чего такой? Как теленочек. Ты ведь — парень. Да еще городской.— Она засмеялась.

Тонкие ноздри маленького ее носа вздрагивали. Смотрела серыми дерзкими глазами ласково, точно гладила по лицу ладошкой. Рубец у Кузьмы маково заалел. Парень начал соваться по карманам — искать табак. Смотрел мимо девушки в окно, глупо и напряженно. Он понимал, что нужно, наверно, что-нибудь сказать, и не находил, мучительно не находил ни одного слова.

В сенях звякнула щеколда. Клавдя упружисто повернулась и пошла в горницу.

Кузьма сел на скамейку, прикурил, несколько раз подряд глубоко затянулся.

Вошла Агафья. За ней шумно ввалился Николай.

— Квасу скорей!— Он был в одних кальсонах. Литое раскаленное тело его парило. Приложился к крынке с квасом и осушил до дна.

— Фу-у... Во, парень, какие дела!— сказал он Кузьме, вытирая тыльной стороной ладони мокрые губы.— Хорошо у нас в деревне! Сходил в баню....— Он завалился на кровать, свободно, с подчеркнутым наслаждением раскинул руки.— Пришел домой — и сам ты себе голова. Никто над тобой не стоит. Так?

— А в городе кто стоит?

— Ну в городе... Вы сами откуда?

— Из-под Москвы.

— Из рабочих?

— Да.

— Хорошо получали?

— Ничего.

— Так. А зачем к нам?

Кузьма ответил не сразу. Была у него одна слабость: не умел легко врать. Обязательно краснел.

— Нужно,— сказал он.

Николай улыбнулся.

— Ты не из трепачей... А скажи... этот Платоныч, он партейный?

— Да.

— Толковый старик, видно. Глянется вам Сибирь-то наша?

Кузьма погасил о подошву окурок, отнес его в шайку, неохотно и кратко пояснил:

— Мы знаем ее.

— Как?

— Я в Бомске родился, а дядя ссылку отбывал там же... недалеко..

Николай даже приподнялся на локте, с интересом посмотрел на парня.

— Во-он он, значит, из каких! И много отбарабанил?

— Девять лет.

— То-то он такой худенький старичок,— вмешалась в разговор Агафья.— А у тебя мать-то с отцом живые?

— Нет. Померли. Здесь же.

— Они что, тоже сосланные были?— опять приподнялся Николай.

— Тоже.

— Сколько ж тебе было, когда без них остался?

— Года два, что ли.

— Дядя тебя и подобрал?

— Ага.

Замолчали. Агафья жалостливо смотрела на Кузьму. Николай глядел в потолок, нахмурившись. Кузьма листал искуренный наполовину численник.

Пришел Платоныч. Распаренный, повеселевший... Близоруко сощурившись (без очков он был трогательно беспомощный и смешной), нашел глазами хозяйку.

— Хоть за баню и не говорят спасибо, но баня, надо сказать, мировая.

Николай встал с кровати.

— Ляг, отдохни, Платоныч.

— Лежи,— махнул тот рукой,— я не имею привычки отдыхать.

Николай снял с гвоздя брюки, долго шарился в карманах.

— Братца моего раскусили или еще нет?— спросил он.

— Как раскусили?

— Что он за человек?

— Нет. А что?

— Ну, узнаете еще...— Николай беззлобно, даже с некоторым восхищением, усмехнулся, тряхнул головой.— Попер в председатели! Работать не хочет, орясина. Он смолоду такой был — все норовил на чужом хребту прокатиться.

Николай вытащил наконец несколько бумажек, протянул жене.

— Сбегай, возьми. Мы откупорим... со знакомством.

Платоныч кашлянул, сказал просто:

— Дело такое, Николай: мы не пьем. Мне нельзя, а он... ему рано.

Агафья благодарно посмотрела на старика, быстренько спрятала деньги в шкаф.

— Ну, после бани, я думаю, можно... По маленькой?— просительно сказал Николай.

— Нет, спасибо.

Николай крякнул, посмотрел на жену: деньги в надежных руках. Она их уже не выпустит — не тот случай. Он только теперь сообразил, какого свалял дурака. Стоял посреди избы со штанами в руках —-огромный, расстроенный. Тяжело глядел на свою ловкую половину. Та как ни в чем не бывало собирала на стол ужинать. Платоныч и Кузьма невольно рассмеялись.

— Не тоскуй, Микола,— сказал Платоныч.

Николай крепко, с шумом потер ладонью небритую щеку. Признался:

— У меня теперь голова три дня не будет работать. Какую я ошибку допустил, мать честная!— Он запрыгал на одной ноге, попадая другой в штанину.— Главное — сам же... свернул трубочкой и сунул под хвост. Затемнение какое-то нашло.

— Все тебе мало, душа сердешная. Трубочкой он свернул!— обиделась Агафья.

Николай повернулся к ней, строго сказал:

— Пока не разговаривай со мной. Не волнуй зазря.

Поужинали. Клавди не было. Кузьма вылез из-за стола, поблагодарил хозяев, пошел на улицу покурить.

В сенях, в темноте, его вдруг коснулось что-то мягкое, и в ухо горячо дохнули:

— Выходи на улицу.

Кузьма даже сморщился — так больно и сладко сделалось в груди.

Во тьме тихонько засмеялись, прошумели легкие шаги, открылась дверь в избу... В светлом квадрате мелькнула маленькая аккуратная голова, и дверь закрылась.

Кузьма вышел на крыльцо, сел на ступеньку... Сдавил голову руками и сказал вслух с тихим ужасом, счастливо:

— Елки зеленые!

Встал, пошел в избу.

Платоныч разговаривал с Николаем. Агафья убирала со стола.

Кузьма на мгновение задержался у порога, потом быстро снял с вешалки свой кожан, шапку и, не глядя ни на кого, вышел. Платоныч сделал вид, что не заметил этого. Хозяева действительно не заметили.

А Клавдя смотрела через узкую щель в горничной двери и улыбалась.

Через некоторое время вышла и она. Платоныч как бы между прочим проводил ее глазами и продолжал беседовать.

Было тепло. Буйный апрель, навоевавшись за день, устало прилег, шелестя прошлогодней, жухлой листвой. Густым током наплывал тяжкий запах талой земли.

Молчали. Опять Кузьма думал, что нужно же, черт возьми, что-нибудь говорить, и не мог выдавить из себя ни слова.

Шалый низовый ветерок, играя, налетал то сбоку, то мягко и осторожно подталкивал сзади, раздувал цигарку, подхватывал искорки, и они впивались в темноту и гасли шагах в трех впереди.

Рядом, совсем близко, шла Клавдя. Она раза два поймалась за его рукав, негромко сообщая:

— Ой, я осклизнулась...

Кузьма неловко поддерживал ее.

— Мы куда идем?— спросил он.

— На вечерку. А что? Тебе не полагается?

— Да ну!..

— А вы надолго приехали?

— Неизвестно.

— А зачем?

— Это... я потом расскажу. Вообще — вам помочь жизнь наладить. По-новому.

Клавдя неподдельно изумилась:

— Господи, да какие же вы помощники?!

Кузьма как-то сразу осмелел. Ее изумление задело его за живое.

— Это ты рано так о нас... Зря, пожалуй. Ты ведь не знаешь ничего.

— Чего я не знаю?

— Понимаешь, какая штука!..— громко начал Кузьма.— Живут на земле люди. Всякие, конечно, люди....— Он кинул на дорогу окурок и полез снова за махоркой. И. замолчал. Хотел рассказать ей про счастье, что это такое, но почему-то осекся, застыдился. С горечью отметил: «Заорал чего-то, как дурак». Вспомнил про «теленочка».

— Ты чего замолчал?

Кузьма кхакнул, глубже надвинул на лоб шапку. Неожиданно для себя, довольно резко, непонятно для чего и с какой стати, заявил:

— Живешь ты, Клавдя, и, видать, никакого тебе дела до других. Нельзя же так, елки зеленые!— Замолчал и подумал: «Сейчас повернется и уйдет».

Но Клавдя не думала уходить. Тогда он еще сказал — негромко, упрямо:

— Так, конечно, легче. Но так же нельзя...

— Ты чего это?— спросила Клавдя серьезно.

— Что?

— Ты почто так со мной разговариваешь?

Кузьма промолчал. Он сам не понимал, что с ним происходит. Клавдя тоже замолчала. Потом вдруг сказала:

— Влюбчивый ты, наверно? А?

— Как это?

— В меня- то небось влюбился?

Кузьма ахнул про себя и сбился с ноги — он все время следил, чтоб идти в ногу с девушкой.

— Знаешь что...— Клавдя остановилась. Подумала немного и сказала твердо.— Не пойдем на вечерку. Ничего там хорошего нет. Айда на бережок, посидим. А?— Она осторожно и властно повлекла его за собой. Голос ее зазвучал доверчиво и обещающе — из самой груди.— Пойдем, там хорошо так...

— Пойдем.

Шли. Разговаривали несвязно. Говорила больше Клавдя.

— Небось плохой меня считаешь?

— Ну... Зачем ты?

— А я, Кузенька, думаю тоже. Ночи не сплю, думаю. Любить мне охота... А некого. Наши... здоровенные все, как жеребцы, и шибко уж неинтересно с ими. Ты другой вроде. Поглянулась бы я тебе... У нас тут девки разные... Есть лучше меня.

— Ну... зря ты. Что там...— бормотал Кузьма.

— Тебе хорошо будет со мной. Ты вон какой стеснительный... Дай-ка я тебя поцелую, терпения больше нет.— Она едва дотянулась до его лица (он не догадался наклониться) и вдавила свои горячие губы в его, по-взрослому затвердевшие, пропахшие табаком...

6

Емельян Спиридоныч с Кондратом вернулись к вечеру. Дома был один Егор. Он сидел на полу, поджав по-киргизски ноги,— мастерил скворечню. Любимое его занятие — выстругивать что-нибудь.

— Ты чего дома?— нахмурился отец.

— Лодку смолить надо. Спустил ее на воду, а в нее как в сито....

Егор отложил в сторону плашки, поднялся.

— Макар в кузне?

— Там.

— А ты себе другого дела не нашел?!— Емельян Спиридоныч пнул недостроенный скворечник.— Лоботрясы!

Егор молчком, стараясь не шуметь, собрал плашки, вынес в сени.

— Пойду к Беспаловым,— заявил Емельян Спиридоныч. (Было два семейства в Баклани, куда ходил Емельян Спиридоныч,— Беспаловы и Холманские, богачи под стать Любавиным и такие же нелюдимые и спесивые.)— Мать придет — скажи, чтоб в баню ишо подкинула, я, может, засижусь.

Кондрат кивнул.

— Егорка! — позвал он.

— Чего он такой?— спросил Егор, войдя в избу.— Из-за жеребца, что ли?

— Сходи за Макаркой.

— Зачем?

— Надо. Чтоб сразу шел.

— Жеребца-то не купили?

— Не твое дело.

Кондрат сел к столу, грузно навалился на локоть, подпер большую голову. Был он какой-то задумчивый и сосредоточенный.

Макар пришел потный, в копоти — помахал кувалдой в охотку вместо молотобойца.

— Чего?

— Пошли со мной,— велел Кондрат, направляясь в горницу.

Макар покосился на Егора, пошел за старшим братом.

Кондрат пропустил его вперед, с порога горницы сказал Егору:

— Иди засыпь овса Монголке. Поболе.— И захлопнул за собой дверь.

Егор сунулся было за ними.

— Тебе куда сказали идти?— рявкнул Кондрат.

— Ключи от амбара там... Чего ты орешь-то?

Из горницы, звякнув, вылетела связка ключей.

Макар стоял посреди горницы, вопросительно смотрел на Кондрата. Он тоже обратил внимание, что тот сегодня какой-то не такой.

— Где у тебя обрез?— сразу начал Кондрат.

— Какой обрез?— Макар сделал изумленное лицо.

— Не корчи из себя дурачка. Где он?

— А зачем тебе?

— Надо.

— Не скажешь — не дам.

Кондрат посмотрел на младшего брата. Тот понял, что спорить лучше не надо. Достал из-под кровати обрез, вскинул на руке.

Кондрат бережно принял его — тяжеленький, аккуратный,— погладил широкой черной ладонью иссиня-сизый куцый ствол.

— Где ж ты его, поганец, держишь?! Сунься кто-нибудь — и враз увидют.

— Я только почистить принес. А зачем он тебе?— Глаза у Макара горячо сверкнули азартным блеском.

— Не твое дело. Иди в кузню.

Макар толкнул ногой дверь горницы и вышел — обиделся.

Когда огней в деревне уже не было и в тишину пустых улиц простуженно бухали цепкие кобели, с люба-

винского двора выехал Кондрат, возвышаясь темной немой глыбой на маленькой шустрой кобылке.

В переулке, где кончается любавинская ограда, от плетня вдруг отделилась человеческая фигура и пошла наперерез всаднику. Монголка настороженно вскинула маленькую голову, навострила уши, но ходу не сбавила. Кондрат придержал ее.

— Я это,— стоял Макар.— Возьми, братка... Шибко охота. Я лучше эти дела знаю, чем ты.

Голос Макара звучал тихо, с надеждой. Он держался за сапог брата. Тот неразборчиво, сквозь зубы, матернулся, толкнул Монголку вперед и исчез в темноте.

Макар пошел домой с тяжелой обидой в сердце. Влез на полати и затих.

Домой Кондрат явился перед рассветом. Бледный, без шапки... Держался рукой за левый висок.

Молчком прошел в горницу, попросил самогону.

Емельян Спиридоныч в одном исподнем забегал из избы в горницу — боялся спрашивать. Он догадался, где был сын.

— Коня потерял,— прохрипел Кондрат.

Отец на мгновение остолбенел, потом снова бестолково засуетился.

— Надо умётывать... По коню могут узнать,— вслух соображал он.— Рубаху скинь: на ей кровь.

Помог снять рубаху. Нечаянно коснулся раны на голове сына. Тот замычал от боли.

— Ничо, ничо!— торопил отец.— Кистенем, видно, угодили?

Скомкал рубаху, выбежал с ней в избу, кинул жене. Михайловна развернула ее и... выронила.

— Господи батюшка, отец небесный.. Омеля, тут кровь.

— Сожги.

Михайловна стояла над рубахой и смотрела на мужа.

— Ну что?— Емельян стиснул огромные кулаки, глухо, негромко, чтобы не побудить ребят на полатях, выругался:— Твою в креста мать. Не видела никогда?— Поднял рубаху, облил керосином и запалил в печке.— Мы с Кондратом уедем дён на пять, скажешь — к Игнату в гости. Вчера, мол, вечером еще... нет, днем уехали. Слышишь?

— Слышу.

— Ребятам так же скажи, И если, случай, чего, при-

дут, станут спрашивать...— Емельян притянул к себе жену и, дрожа челюстью, зашипел:— ...ты ничего такого не видела. Завтра с утра растрезвонь, что Монголку у нас украли. Поняла?

Он направился в горницу, но вдруг резко обернулся и сказал сипло и страшно:

— Да сама-то веселее гляди! Чего ты, как с того света явилась!

Кондрат, обхватив голову большими руками, бережно качал ею из стороны в сторону. Останавливался и, склонившись к левому плечу, замирал, точно прислушивался. Видно, мерещился ему до сих пор легкий присвист страшного железа на плетеном ремешке. На массивном лбу его мелким бисером выступил пот.

— Болит?

— Спасу нет.

— Ничо, живой остался. Счас поедем. Отвезу тебя к Игнату — там отходим.

Емельян Спиридоныч присел на минуту на кровать, замотал длинным веником бороды и с дрожью в голосе проговорил:

— Кобылу... кобылу-то! Золотая была животинка:— Смахнул твердой, потрескавшейся ладонью слезу, уронил на колени тяжелые руки, докончил шепотом:— Ах ты господи... Нет уж, видно, не умеешь — не берись.— Был он сейчас огромный, взъерошенный и жалкий. Спросил:— Как получилось-то?

— Потом,— выдохнул Кондрат, с трудом разнимая побелевшие от боли губы.— Трое их было. Обрез вышибли — и... чем-то по голове.

Емельян Спиридоныч встал:

— Поедем.

Они вышли из дома. Но Емельян Спиридоныч тут же вернулся, влез на полати, растолкал Макара (Егора не было дома).

— Езжай прямо сейчас... Знаешь, где Бомская дорога в Быстрянский лес заворачивает?

— Ну.

— Шапку там потерял Кондрат. И обрез поишши.

Макар все понял:

— Эх... Так и знал.

— Скорей, едрена мать!.. Разговаривать он будет! До света чтоб успел!— И опять выбежал, не оглянувшись на жену: она все стояла посреди избы.

7

Еще с зимы приметил Егор одну девку — Марью.

Была Марья из многодетной семьи вечного бедняка Сергея Федорыча Попова.

Давно-давно пришел в Баклань веселый и нищий парень Сергунька. Откуда — никто не знал. Был он балалаечник и плясун. Девкам пришелся по душе. Плясал он, плясал и выплясал самую красивую девку в деревне — Малюгину Степаниду. Пошел свататься. Отец Степаниды, один из тогдашних богатеев деревенских, напоил его и ухлестал вусмерть. А когда Сергунька отлежался, Степанида убежала к нему без родительского благословения. Отец проклял ее и послал жену — снять все, что на ней имеется. Мать пришла, потихоньку благословила молодых и сняла с дочери последнее платьишко — без этого муж не пустил бы ее на порог.

Стали Поповы жить. Поставили небольшую избенку, наплодили детей кучу... И так и остались в постоянной бедности. Сергей Федорыч начал закладывать. А к старости еще сделался какой-то беспокойный. Шумел, ругался со всеми — каждой бочке затычка.

Был он невысокого роста, растрепанный, с маленькими сердитыми глазками,— смахивал на воробья. Из тех, которые среди других воробьев выделяются тем, что всегда почему-то нахохлены и все прыгают-прыгают грудкой вперед — очень решительно.

Он плотничал. Не было случая, чтобы он, нанявшись к кому-нибудь перекрыть крышу или связать рамы, не поругался с хозяином. Спуску не было никому. Не боялся ни бога, ни черта.

Рассказывали — был в старое время в деревне колдун. Кого невзлюбит этот колдун, тому не даст житья. Сейчас выйдет утром за поскотину, поколдует на зарю — и человек начинает хворать ни с того ни с сего. Все боялись того колдуна хуже огня. А он ходил надутый и важный,— нравилось, что его боятся.

Один раз Сергей Федорыч плотничал у него по найму, и они, конечно, поругались. Колдун говорит:

— Хочешь, я на тебя порчу напущу?

— Напустишь?— спрашивает Сергей Федорыч.

— Напущу, так и знай.

— Неужели правда напустишь?

— Напущу.

Тогда Сергей Федорыч среди бела дня скинул штаны, похлопал себя по заду и говорит:

— Напускай скорей... вот сюда.

После этого два дня гулял по деревне и всем говорил:

— У него язык не повернулся колдовать — до того она у меня красивая.

Степанида в старости сделалась сухой, жилистой и тоже шумливой. Только глаза сохранила прежние — веселые, живые и умные.

Ругались они с мужем почти каждый день. Начинал обычно Сергей Федорыч.

— Всю свою дорогую молодость я с тобой загубил! — горько заявлял он.

Степанида, подбоченившись, отвечала:

— Никогда-то я тебя не любила, петух красный. Ни вот столечко не любила,— она показывала ему кончик мизинца.

Сергей Федорыч растерянно моргал глазами:

— Врешь, куделька, любила. Шибко даже любила.

Степанида, запрокинув назад сухую сорочью голову, смеялась — искренне и непонятно.

— Любила, да не тебя, а другого. Эх ты... обманутый ты на всю жизнь человек!

Сергея Федорыча как ветром сдувало с места. Он прыгал по избе, кричал, срываясь на визг:

— Да любила же, кукла ты морская! Я же все помню! Помню же...

— Что ты помнишь?

— Все. Ночи всякие помню.

— А я другие ноченьки помню,— вздыхала Степанида.— Какие ноченьки, ночушки милые!.. Заря как кровь молодая... А за рекой соловей насвистывает, так насвистывает — аж сердце заходится. И вся земля потихоньку стонет от радости. Не с тобой это было, Сереженька, не серчай.

Сергей Федорыч лохматил маленькой крепкой рукой не по возрасту буйный красный хохол на голове — смотрел на жену тревожно. Не верил.

А Степанида продолжала вспоминать дорогое сердцу времечко:

— А как к свету ближе, станет кругом тихо-тихо: лист упадет на воду — слышно. Похолодает...

Сергей Федорыч начинал нервно гладить ладонью се-

бя по колену. Пробовал снисходительно улыбнуться — получалось жалко. В глазах накипали едкие слезы. Он весь съеживался и, болезненно сморщившись, говорил быстро, негромко:

— Дура, дура... Кха! Вот дура-то! Выдумывает сидит что ни попадя. Ну зачем ты так?— Он сморкался в платок, возился на стуле, доставал кисет.— Она думает: мне это горе...

Степанида подходила к мужу, небольно шлепала его по круглому упрямому затылку.

— Притих?

У них было одиннадцать детей.

Два старших сына погибли в империалистической, в шестнадцатом году, одного зашибло лесиной, когда готовили плоты по весне. Один служил в городе милиционером. До последнего времени он часто приезжал к родителям в гости. Когда появлялся в деревне — крупный, красивый, спокойный,— у стариков наступал светлый праздник.

Они гордились сыном.

С утра до ночи хлопотали, счастливые,— старались, чтоб все было как у добрых людей. Собирали «вечер».

Выпив, пели старинные песни.

Зачем я стретился с тобою,
Зачем я палюбил тебя?
Ведь мне назначено судьбою
Идти в дале-кие края...

Хорошо пели.

Сергей Федорыч, облокотившись на стол, сжимал в руках маленькую рыжую голову и неожиданно красиво запевал любимую:

Эх ты, воля моя, воля,
Воля вольная моя!..

Степанида украдкой вытирала слезы и говорила сыну:

— Это он, когда еще парнем был, шибко любил эту песню.

Была одна противная слабость у Сергея Федорыча: хватив лишнего, любил покуражиться.

— Кто я?!— кричал он, размахивая руками, стараясь зацепить посуду на столе.— Нет, вы мне скажите: кто я такой?!

Степанида смотрела на него молча, с укоризной — умно и горько. Сергей Федорыч от ее такого взгляда расходился еще больше.

— А я вам всем докажу! Я...

Сын легко поднимал его на руки и относил в кровать.

— Зачем ты так, тятя?.. Ну вот, родимчик, все испортил.

— Федя! Сынок... Скажи своей матери... всем скажи: я — человек! Они у меня в ногах будут валяться! Я им!..

— Ладно, тятя, усни.

Сергей Федорыч покорно умолкал.

Степанида подсаживалась к нему — без этого он не засыпал.

— Ты здесь? — спрашивал он, нащупывая ее руку.

— Здесь, здесь, — откликалась она. — Спи.

— Ага.

Он засыпал.

А потом Федор перестал приезжать к ним. Прислали из города бумагу: «Погиб при исполнении служебных обязанностей».

И вот раз (зимой дело было) поехали они за сеном.

Погода стояла теплая. Падал снежок. Было тихо.

Навьючили хороший воз, выбрались на дорогу и поехали шажком. Ехать далеко.

Буран застиг их в нескольких километрах от деревни. Он начался сразу: из-за гор налетел сухой резкий ветер; снег, наваливший с утра, не успел слежаться — сразу весь поднялся в воздух. Сделалось темно. Ветер дико и страшно ревел. Лошадь стала.

Свалили сено, оставили немного в санях, чтобы укрыться от ветра. Попробовали ехать порожнем. Сперва казалось — едут правильно, потом лошадь начала проваливаться по брюхо в снег. Опять остановились.

Сергей Федорыч выпрыгнул было из саней — поискать дорогу, но тут же провалился и едва влез обратно. Ветер валил с ног.

Лошадь легла. Они тоже легли.

Лежали тесно — лицом к лицу.

Всех их быстро заметало сугробом.

На Сергее Федорыче были старенькие сапоги. Ноги стали мерзнуть.

— Стеша... тут нам, однако, и конец пришел,— сказал он.

— А ты не пужайся. Зато вместе.

— Неохота же умирать-то!.. «Не пужайся»! Храбрая выискалась!

Помолчал и добавил:

— Обидно почему-то!

— Мне тоже обидно. Только ты не жалуйся — это нехорошо.

— Почему нехорошо?

— Не знаю.

— Дурацкие рассуждения! Ты бы хоть сейчас не учила.

— Я тебя никогда не учила, глупый.

Замолчали.

— Ребятишек только жалко,— прошептала Степанида.

Сергей Федорыч засопел.

— Ноги заходятся,— сердито сообщил он.

Степанида с трудом сползла вниз.

— Разувайся... Давай их сюда.

Кое-как стащили сапоги, и она устроила закоченевшие ноги мужа у себя на груди, у тела. Когда они стали отходить в тепле, поднялась такая боль, что Сергей Федорыч заскулил по-собачьи. А Степанида уговаривала:

— Ничего, теперь лучше будет. Теперь они не замерзнут.

Так их и нашли.

Утром, чуть свет, выехали на нескольких подводах и сразу же за деревней наткнулись.

Привезли в больницу.

Степаниде сельсовет выдал отрез на юбку — подарок.

Лежала Степанида на больничной койке — вся какая-то ясная, чистая, светлая... Смотрела на людей ласково и благодарно — никогда в жизни ей ничего не дарили.

Сергей Федорыч был несколько смущен таким вниманием к его старухе. Когда они оставались одни, он подсаживался к ней и строжился:

— Ты что же это, мать, не ешь ничего? А? Ну-ка немедленно съешь вот этот суп! Ты посмотри только, суп-то какой!..

— Я уж наелась, старик,— отвечала она.— Люди-то какие хорошие!

Сергей Федорыч отворачивался, мял в руках клинышек бородки, покашливал...

А через два дня Степанида умерла. Тихо. Ночью.

Сергей Федорыч схоронил ее и притих. Не шумел больше по деревне, ни с кем не ругался. Ковырялся у себя в завозне, строгал, пилил... и помалкивал.

Стал как будто меньше ростом. Полинял. Желтизной начал отдавать. Последнее время чудить стал.

Приволок как-то большой камень, вытесал из него квадратную толстую плиту (месяц работал), высек посередине крест и навалил эту плиту на могилку жены.

А на масленице явилась она к нему во сне и сказала:

— Тяжело мне, старик. Сними ты его...

Утром, еще не рассвело хорошо, он помчался с ломиком на кладбище и свалил камень с могилы.

Осталось на руках у Сергея Федорыча семеро детей...

Старшей, Марье,— девятнадцать лет.

Марья лицом походила на мать — чернобровая, с ясными, умными глазами. А характером удалась в брата Федора — спокойная, рассудительная, с открытой, доброй душой. Очень терпеливая.

Она редко улыбалась, но в родниковой глубине своих чистых глаз таила постоянную светлую усмешку. Люди, когда на них смотрят такие глаза, становятся доверчивыми.

Трудной жизнью жила Марья, но никогда не жаловалась. Не умела. От товарок своих не отставала: пела задушевные девичьи песни, умела сплясать... Причем, глядя на нее, трудно было подумать, что вот она — несуетливая, тихая, с внутренним сдержанным величием — может выйти на круг и сплясать. А когда плясала, никто этому не удивлялся. Делала она это легко и свободно, без тайного желания понравиться кому-нибудь. Просто — душа хотела.

Ухажеров у Марьи не было. Как-то так — не было. Ее это не тревожило. Правда. Хитрить она не умела.

Когда расходились с вечерки, Егор догнал девчат и пошел сзади, шагах в десяти. Девушки пели хором «подгорную». Десять-двенадцать сильных молодых голосов, как большие невидимые крылья, поднимали вверх, к небу:

Ох, разрешите познакомиться вот с этим паренько-ом!..

Тальянка захлебывалась в переборах, торопилась, выговаривала...

А голоса дружно подхватывали и поднимали выше:

Эх, довести его до дела,—
Чтоб качало ветерком...

Егор любил безобидные девичьи песни под гармошку. Глухими весенними ночами, когда слышно, как на земле вовсю работает весна, мог подолгу неподвижно сидеть в своей ограде на ослизлом бревне — слушать. Немела спина, кончики пальцев в сапогах прихватывал цепкий ночной морозец, а он все сидел, не шевелился. Далекая, беззаботная, милая гармошка будила какое-то непонятное сильное чувство. Накипала в груди странная горячая радость.

... Шел Егор, слушал песни и думал, что сегодня он опять не подойдет к Марье. Он последнее время часто думал о ней. Несколько раз хотел подойти и не мог — боялся. И гордость мешала. Хотел уж просить Макара, чтобы он как-нибудь свел,— у того это лихо получалось. Удерживало опасение, что когда-нибудь ядовитый братец некстати припомнит ему эту слабость.

Понемногу расходились. Гармонист свернул в переулок — унес с собой свою голосистую легкую грусть. Уходили парами в ночь.

Остались три-четыре — не занятые. Шли впереди, разговаривали, смеялись. Среди них и Марья.

Вдруг Егор понял, что сегодня подойдет к ней.

Он отошел в сторонку, выждал, когда девки свернут за угол, маханул через плетень и огородами, по вязкой земле, напрямик чесанул к Марьиной избе. Бежал, как будто за ним гнались, легко и податливо. Бежал, стиснув зубы... Про себя упрямо и весело повторял: «Так! Так! Так!» Раза два нарвался на кобелей. Один перепугал насмерть: видно было — прыгнул через прясло, здоровенный, как телок, и молчком, сливаясь с черной землей, скользящим наметом пошел наперерез. Егор с ходу пружинисто дал козла — к плетню... Успел вывернуть березовый колышек... Волчком закрутился на месте, описывая концом колышка низкие круги. Натянутой тетивой — мягко, глуховато — гудела на колу отставшая

берестинка. Раза три пробовал мрачный кобелина нырнуть под гудящий круг, но отскакивал. Потом так же молча убежал.

...Через последний плетень Егора перенесло с такой легкостью, что он сам изумился. Подумал: «Чего я так?»

Потом стоял около ветхих ворот Марьиного двора, до боли сжимал в руках суковатый стежок — пробовал унять волнение. Но не было никаких сил справиться с этим. Он обозлился. Прошелся по переулку. Закурил. Сворачивая папиросу, заметил, что руки трясутся. «Что со мной делается?» Так и встретил Марью — со стежком в руках, злой и встревоженный неодолимым волнением.

Марья слабо вскрикнула, схватилась за грудь.

— Не пужайся.— Егор смотрел почему-то на небо.— Я это.

— Господи, напугал-то как!— Марья перевела дыхание.— Ты чего?

— Ничего.— Егор старательно затоптал окурок, незаметно откинул в сторону кол. Невольно спросил:

— Спать, что ли, хочешь?

— Нет.

Егор достал железную коробочку с леденцами — носил в кармане на всякий случай,— нашел Марьину руку, сунул не глядя.

— На.— И сморщился: стало до тошноты стыдно. Эта сволочная коробочка извела его за весь вечер — звякала в кармане, напоминая о необходимости делать все, как положено, как делают другие. Макар на досуге учил его этой науке.

— Зачем, Егор?— Марья вертела в руках коробочку; в темноте, совсем близко, весело блестели ее добрые глаза. Это было еще хуже. Хоть бы уж взяла и молчала.

— Да бери!— сорвался на крик Егор.— Откуда я знаю — зачем?!

— Ты чего такой?..

— Какой?— Егор остервенело крутнул головой, в упор уставился на нее.

— Тебе чего надо-то от меня?

— Ничего не надо!

— Ну пропусти тогда.— Она положила на столбик коробочку, обогнула неподвижно стоявшего Егора, скрипнула воротами...

Егора точно кто вдавил в землю — хотел уйти и не мог сдвинуться с места.

— Егор! — тихонько позвала Марья.

— Ну.

— Ты зачем приходил-то?

Егору послышалась в ее голосе насмешка. Он как стоял, так пошел прямо, не оборачиваясь, готовый расшибить голову о первую попавшуюся стенку. Мучительно хотелось оскорбить Марью — тяжело, грубо, чтобы чистые глаза ее помутились от ужаса.

Он отошел уже далеко и вдруг вспомнил, что на столбике так и лежит злополучная коробочка с леденцами. Его даже кольнуло в сердце. Бегом вернулся назад, схватил ее и запустил в огород.

Пошел на Баклань-реку. Сел на берегу, стал слушать, как шуршит лед. Потом вскочил, пошел домой. Взнуздал на конюшне Воронка, вывел за ворота... Вскакивая, шатнул его своей тяжестью. Сильный мерин с места взял вмах. Под копытами гулко застонала земля. Навстречу со свистом понеслась ночь...

Конь сам выбирал себе дорогу. Егор, стиснув зубы, в такт лошадиному скоку упрямо твердил: «Так! Так! Так!»

Вылетели за деревню.

Егор осадил разгоряченного коня, спрыгнул... Сел на сырую землю, склонил голову к поджатым коленям.

...Уже на востоке тихо стал заниматься рассвет, прокричали третьи петухи, а он все сидел так, ни разу не поднял головы. Воронок несколько раз осторожно тянул у него из рук повод, ржал негромко.

Егор вскинул наконец голову, поднялся, погладил мерина по шее. Поехал домой. Грустно было, и зло брало на Марью и на себя.

8

Утром Платоныч едва добудился Кузьму.

Тот натянул до ушей тонкое лоскутное одеяло (один большой нос торчал наружу) и выдавал такой свист с переливом, что Платоныч с минуту стоял над ним — с удовольствием слушал. Потом крепко тряхнул гуляку.

— Кузьма! А Кузьма!

Свист на секунду прекратился. Кузьма пошевелился, сладко чмокнул губами и снова выдал веселую руладу.

— Вставай, Кузьма!

Кузьма открыл глаза, огляделся. Они спали на полу, на старых, вытертых полушубках.

— Подъем!

Кузьма деловито вскочил и тут же сел, поспешно спрятал длинные худые ноги в коротких кальсонах под одеяло: увидел дверь горницы и все вспомнил.

В избе никого не было: хозяин ушел на работу, Агафья убиралась в ограде. Клавдина шубейка висела на стенке рядом с тужуркой Кузьмы.

— Ты где был вчера? — негромко спросил Платоныч.

Кузьма натягивал под одеялом галифе. Вместо ответа зырко глянул на горничную дверь, покраснел.

— Что ты спросил?

— Где был вчера?

— Да так... прошелся по деревне.

— А-а... Ну, умывайся, пойдем. Я тут кое-что придумал, хочу рассказать тебе...

— Что придумал?

— Потом.

Наскоро перекусили.

Выходя, встретились с Агафьей.

— Вы позавтракали? Я там на столе оставляла.— Она пытливо заглянула в глаза Кузьме.

— Мы — уже. Спасибо,— ответил Платоныч.

Кузьма выдержал взгляд Агафьи, прошел мимо.

— По-моему, тут кто-то из города шурует,— заговорил Платоныч, когда вышли за ворота.— Или же человек специальный — в город ездит. Но связь с городом есть, это точно...

Кузьма плохо его слышал. Шаг за шагом вспоминал и снова переживал он вчерашнюю ночь. Голос Платоныча звучал далеко и безразлично: он рассказывал о том, что нужно, по его мнению, сделать в ближайшие дни.

Дело, ради которого они сюда приехали, было такое.

Месяца два назад к югу от Баклани начала действовать шайка отчаянных людей. Сначала их приняли за обычных грабителей, но потом поняли (после налета на деревни): наводит головорезов опытная и мстительная рука. В деревнях громили сельсоветы, избы-читальни, в одном селе сбили замок с каталажки и распустили арестованных.

Как только банду начинали преследовать, она уходила в глухомань, и там ее достать было трудно. Чоновцам нужна была помощь местного населения и верных людей.

Губернское ГПУ выслало в эти места несколько человек — выследить банду и подготовить ее разгром. В числе таких были и Родионовы. Они не были чекистами, приехали в Сибирь, чтоб помочь возродить жизнь на тех небольших заводишках в уездных городах, которые стояли немые и холодные — с гражданской.

Когда же узнали, что места эти им знакомы, попросили пока повременить с заводами. Платоныч согласился. Кузьму уговаривать не пришлось.

По документам они числились представителями губернского ОДН — общества «Долой неграмотность». А Платоныч загорелся мыслью построить в Баклани школу — руками самих крестьян. Благо это заодно поможет лучше скрыть истинную цель их приезда.

—...Походим по дворам, посмотрим,— говорил Платоныч.— Может, двух зайцев сразу поймаем. Только осторожно, конечно. Тебе хорошо бы с парнями сойтись...

Кузьма согласно кивал головой:

— Сойдусь.

— Девка-то нравится?— неожиданно спросил Платоныч. Как обухом огрел.

Кузьма насупился.

— Какая девка?

— Хозяйская.— Платоныч поверх очков посмотрел на него и засмеялся. Смеялся он тихо, хитро и весело. По всему лицу разбегались мелкие морщинки.— Эх, ты... чекист, голова садовая!— Потом посерьезнел, сказал:— Взрослеть надо, Кузьма. Сколько уж тебе, я все забываю?..

— Двадцать.

— Ну вот. Ты, я вижу, в мать свою. Та до тридцати лет все краснела, как девушка.

В сельсовете взяли список наиболее зажиточных семейств.

— Не получится это у вас,— любезно сказал Колокольников.— Не будут строить.

— Посмотрим.

— Весна как раз пришла. У каждого своей работы...

— По пять дней отработают — ничего не случится.

— Спробуйте, конечно...

В первом же доме, у Беспаловых, хозяин, добродушный зажиревший мужик с узкими внимательными глазками, выслушал их, прямо и просто сказал:

— Нет.

— Почему?

— Это же дело добровольное?

— Конечно.

— Ну вот. Мне это не подходит. Некогда.

— Один день...

— Ни одного. Даже посмотреть на нее не пойду.

В другом не менее категорично, но более ядовито объяснили:

— Наши голодранцы церкву без нас ломали? Ну и школу пусть без нас строют. А то — умные какие... Разлысили лоб. Вот к им и идите. К голож...

— Без выражений можно?! — обозлился Платоныч.— Вам же школа-то нужна.

— Кому нужна, тот пускай строит. Нам без нее хорошо.

На улице Платоныч задумался.

— Крепкий народ. Неужели все такие?

— Мы неправильно сделали, что к богатым пошли,— сообразил Кузьма.

— Пожалуй,— согласился Платоныч.— Пойдем подряд, без разбора.

9

Игнатий Любавин жил на заимке один.

До девятнадцатого года торговал Игнатий в городе, имел лавочку, дом большой. А в девятнадцатом все отобрали. Но он кое-что успел припрятать. Даже золотишко, наверно, имел. Долго не раздумывая, отгрохал за деревней дом, купил штук двадцать ульев и зажил припеваючи. Не жаловался. Вслух, во всяком случае.

Это был сухой, благообразный старик метра в два ростом. Тихий... Все покашливал в платочек — привычка такая была — и посматривал вокруг ласково, терпеливо, с легким намеком на скрытое страдание.

Они с Емельяном были сводные братья — от разных матерей. Роднились плохо. Редко бывали друг у друга — только по надобности какой.

Емельян Спиридоныч не выносил старшего брата. За скрытность. «Никогда не поймешь, что у него на уме. Темно, как в колодце»,— говорил Емельян.

Игнатий отвечал тем же. И в минуты нехорошей откровенности, посмеиваясь, высказывал, что думал о Емельяне Спиридоныче: «Крепкий ты, Емеля, как дуб, и думаешь, что никакая сила тебя не возьмет. А дуб срубить легко».

Приехали к Игнатию уже при солнце.

Дорогой Кондрат несколько раз просил остановиться — голову раскалывала страшная боль. Один раз даже вырвало.

—Света белого не вижу,— шептал он бескровными губами.— Устосовали они меня...

Стояли несколько минут, потом тихонько трогались дальше.

Игнатий встретил их в ограде.

— Вижу из окна: вроде конь ваш... Что это с Кондратом?

— Упал,— кратко пояснил Емельян Спиридоныч.

Игнатий белыми длинными пальцами осторожно разнял спутанные волосы на голове Кондрата, долго рассматривал рану.

— Откуда упал?

— С крыльца.

Игнатий насмешливо посмотрел на брата.

— Соврать даже не умеешь, Емеля-пустомеля!

— А ты, если уж ты такой умный, не спрашивай, а веди в дом.

Игнатий секунду помедлил.

— Там у меня...— хотел он что-то объяснить, но махнул рукой и первый направился в дом.— Пошли.

В избе у стола сидел незнакомый молодой человек с длинным желтым лицом. С виду городской. Глаза большие, синие. На высокий костлявый лоб небрежно упал клочок русых волос. Узкая, нерабочая ладонь нервно шевелится на остром колене. Смотрит пристально.

— Это брат мой. А это племяш,— представил Игнатий.

Молодой человек легко поднялся, протянул руку:

— Закревский.

Емельян Спиридоныч небрежно тиснул его влажную

ладонь. Про себя ответил: «Выгинается, как вша на гребешке».

— Ушиблись?— с участием спросил Закревский у Кондрата и улыбнулся.

Кондрат глянул на него, промолчал. Игнатий увел племянника в горницу, уложил в кровать.

— Сейчас... обмоем ее, травки положим. А потом уснуть надо. Крепко угостили. Дома-то нельзя было оставаться?

— Мм...

— Правильно. Только с вашими головами дела делать. Они крепкие у вас. Могут искать?

— Не знаю. Могут.

— Ая-я-я!.. Как они ее разделали!.. Головушка бедная!

Емельян Спиридоныч сидел напротив желтолицего, курил. Швыркал носом. Какую-то глухую, тяжкую злобу вызывал в нем этот человек. Хотелось раздавить его сапогом. Непонятно почему. Наверно, на ком-нибудь надо было зло сорвать.

Синеглазый смотрел на него. Емельян почти физически ощущал на себе этот взгляд, внимательный и наглый.

— Где это сына?..— спросил желтолицый, вовсю шаря глазами по лицу Емельяна Спиридоныча.

Тот поднял голову, негромко, чтобы не слышал Игнатий, сказал:

— А тебе какое дело, слюнтяй?

Незнакомец растерянно моргнул, некоторое время сидел не двигаясь, смотрел на Емельяна Спиридоныча. Потом улыбнулся. Тоже негромко сказал:

— Невежливый старичок. Хочешь, я тебе глотку заткну, бурелом ты?.. Ты что это озверел вдруг? А?

Емельян пристально смотрел на него.

— Один разок дам по мусалам — мокрое место останется,— прикинул он и гневно нахмурился.— Не гляди на меня, недоносок! Змееныш такой!

Закревский дернул рукой в карман.

— Хватит! Сволочь ты!..— голос его нешуточно зазвенел.

Емельян смотрел ему в лицо и не заметил, что́ он достал из кармана. А когда опустил глаза, увидел: снизу, из белой руки, на него смотрит черный пустой глазок дула.

— Вы что, сдурели?— раздался над ними голос Игнатия.

Закревский спрятал наган, неохотно объяснил:

— Спроси у него... Начал лаяться ни с того ни с сего.

— Ты что тут?!— грозной тучей навис Игнатий над братом.

— Не ори,— отмахнулся тот.— Пусть он его еще раз вытащит... я ему переставлю глаза на затылок.

— Ты белены, что ли, объелся?— не унимался Игнатий.— Чего ты взъелся-то?

— Прекрати, ну его к черту,— поморщился Закревский.— Он не с той ноги встал. Достань выпить.

Игнатий послушно замолчал, откинул западню, легко спрыгнул под пол, выставил грязную четверть, так же легко выпрыгнул. Закревский и Емельян Спиридоныч хмуро наблюдали за ним.

Игнатий налил три стакана, подвинул один на край стола — Емельяну Спиридонычу. Тот дотянулся, осторожно взял огромной рукой стакан. Глянул на Закревского. Закревский вильнул от него глазами — наблюдал с еле заметной улыбкой на тонких, в ниточку, губах. Емельян Спиридоныч нахмурился еще больше, залпом шарахнул стакан, крякнул и захрустел огурцом.

Игнатий и Закревский переглянулись.

— Хорош самогон у тебя,— похвалил Емельян Спиридоныч.

— Первачишко. Еще налить?

— Давай. Мутно что-то на душе.

— Зря с человеком-то поругался,— Игнатий кивнул в сторону Закревского.— Он как раз доктор по такой хвори.

— А он мне нравится!— воскликнул Закревский.— Давай выпьем... старик?

Странно — Емельяну Спиридонычу человек этот не казался уже таким безнадежным гадом. Он глянул на него, придвинул стул, звякнул своим стаканом о стакан Закревского, протянутый к нему.

Выпили. Некоторое время молча ели.

— Отчего же на душе мутно?— поинтересовался Закревский.

— Если б я знал. Жизнь какая-то... хрен ее разберет.

— Я думал, таких ничего не берет,— с удовольстви-

ем сказал Закревский и озарил свое желтое лицо приветливой улыбкой. Потрогал тонкими пальцами худую шею. Придвинулся ближе.

10

Первым, кто согласился пойти отработать день на строительстве школы, был кузнец Федор Байкалов.

Федор жил в маленькой избенке с двумя окнами на дорогу. Он влезал в нее согнувшись, очень осторожно, точно боялся поднять невзначай потолок с крышей вместе.

В трезвом виде это был удивительно застенчивый человек. И великий труженик.

Работал играючи, красиво; около кузницы зимой всегда толпился народ — смотрели от нечего делать. Любо глядеть, как он — большой, серьезный — точными, сильными ударами молота мнет красное железо, выделывая из него разные штуки.

В полумраке кузницы с тихим шорохом брызгают снопы искр, озаряя великолепное лицо Феди (так его ласково называли в деревне, его любили). Крепко, легко играет молот мастера: тут! тут! тут! Вслед за молотом бухает верзила подмастерье — кувалда молотобойца: ух! ах! ух! ах!

Федя обладал редкой силой. Но говорить об этом не любил — стеснялся. Его спрашивали:

— Федя, а ты бы мог, например, быка поднять?

Федя смущенно моргал маленькими добрыми глазами и говорил недовольно:

— Брось. Чо ты, дурак, что ли?

Он носил длинную холщовую рубаху и такие же штаны. Когда шел, просторная одежда струилась на его могучем теле,— он был прекрасен.

По праздникам Федя аккуратно напивался. Пил один. Летом — в огороде, в подсолнухах.

Сперва из подсолнухов, играя на солнышке, взлетала в синее небо пустая бутылка, потом слышался могучий вздох... и появлялся Федя, большой и страшный.

Выходил на дорогу и, нагнув по-бычьи голову, громко пел:

В голове моей мозг высыхает;
Хорошо на родимых полях.
Будет солнце сиять надо мною,
Вся могилка потонет в цветах...

Он знал только один этот куплет. Кончив петь, засучивал рукава и спрашивал:

— Кто первый? Подходи!

А утром на другой день грозный Федя ходил с виноватым видом по ограде и беседовал с супругой.

— Литовку-то куда девала? — спрашивал Федя. Из избы через открытую дверь вызывающе отвечали:

— У меня под юбкой спрятана. Хозяин!

Федя, нагнув голову, с минуту мучительно соображал. Потом говорил участливо:

— Смотри не обрежься. А то пойдет желтая кровь, кхххх-х-х...

В избе выразительно гремел ухват, Федя торопливой рысцой отбегал к воротам. На крыльце с клюкой или ухватом в руках появлялась Хавронья, бойкая крупная баба. Федя не шутя предупреждал ее:

— Ты брось эту моду — сразу за клюку хвататься. А то я когда-нибудь отобью руки-то.

— Бык окаянный! Пень грустный! Мучитель мой! — неслось в чистом утреннем воздухе.

Федя внимательно слушал. Потом, улучив момент, когда жена переводила дух, предлагал:

— Спой чего-нибудь. У тебя здóрово выйдет.

Хавронья тигрицей кидалась к нему. Федя не спеша перебегал через улицу, усаживался напротив, у прясла своего закадычного дружка Яши Горячего. За ворота Хавронья обычно не выбегала, Федя знал это.

Яша выходил к нему, подсаживался рядышком. Закуривали знаменитый Яшин самосад с донником и слушали «камедь».

— Бурые медведи! Чалдоны проклятые! — кричала Хавронья через улицу. — Я из вас шкелетов наделаю!..

Дружки негромко переговаривались.

— Сёдня что-то мягко.

— Заряд неважный, — пояснял Федя.

Иногда, чтобы подзадорить Хавронью, Яша кидал через улицу:

— Ксплотатор! (Он страшно любил такие слова.)

— Ты еще там!.. — задыхалась от гнева Хавронья. — Иди поцелуй Анютку кривую! Она тебя давно дожидается...

Яша умолкал. Анютка эта — деревенская дурочка, которую Яша один раз по пьяной лавочке защучил в уг-

лу и... говорил ей ласковые слова. Она дура-дура, а тут вырвалась, исцарапала Яше лицо и убежала. Но мало того — еще раззвонила по деревне, что Яша Горячий приходил ее сватать, но она, Анютка, не пошла за такого. «Шибко уж пьет он,— говорила она серьезно.— Если бы пил поменьше...»—«Да ты подумай, Анютка,— советовали ей мужики.— Не швыряйся шибко-то... У вас же старая любовь».—«Нет, нет, нет,— даже и не уговаривайте! Слушать даже не хочу». Мужики гоготали, а Яша выходил из себя: грозился, что убьет когда-нибудь Анютку.

Федя был дома, когда пришли к нему.

Хавронье нездоровилось — лежала на печке с видом покорной готовности выносить всякие несправедливости судьбы. Федя разбирал на лавке большой амбарный замок.

— Здравствуйте, хозяева!— громко сказал Платоныч. (Он сначала было озлился, помрачнел, а под конец своих неудачных хождений странным образом повеселел. «Ничего, Кузьма, вот увидишь — школа будет. Не на тех они нарвались»,— заявил он.)

На «здравствуйте» Федя поднял от замка голову, некоторое время молча разглядывая старика и парня.

— Здорово живете.

— Вот какое дело, хозяин,— заговорил Платоныч, без приглашения направляясь в передний угол,— надо вам в деревне школу иметь... Надо ведь?

Федя, наморщив вопросительно лоб, смотрел на него.

— Надо, конечно,— сам себе ответил Платоныч.— Ребятишки учиться будут. Да. А школы нет. Как быть?

Федя хмыкнул — ему понравилось начало.

— Как же быть?

— Не знаю,— сознался Федя.

— Строить! — воскликнул Платоныч, будто сам удивляясь и радуясь столь простому решению.

— Во-он ты куда!— догадался Федя. Отложил в сторону замок.— А как... кто строить-то будет?

— А все вместе. Каждый по пять-шесть дней отработает — и школа готова. Леса вам не занимать.

Федя выслушал и, не раздумывая, просто сказал:

— Можно.

Платоныч даже растерялся от такой легкой победы. Встал, потрогал застегнутые пуговицы пальто.

— Вот и хорошо. Хорошо, брат!.. Пошли, Кузьма. До свиданья.

— Будь здоров.

На улице Платоныч молодо сверкнул глазами:

— Чего я тебе говорил!

— Один только...

— Все будут! — Платоныч смешно вскинул голову, легко и уверенно пошагал к следующему двору. Он был упрямый старик.

Зашли к Поповым.

Они как раз обедали. На столе дымился чугунок с картошкой. На лавках вокруг стола сидела детвора — один другого меньше. Каждый доставал себе из чугунка горячую картошину, чистил, катая с руки на руку, макал в соль и, обжигаясь, ел с хлебом. Запивали молоком из общей кружки, в которую Марья часто подливала свежего. Молока было немного, ребятишки следили друг за другом, чтобы тот, к кому переходила кружка, не очень старался, глотая. Молчали.

— Здравствуйте, хозяева!

Все обернулись; шесть маленьких рожиц с одинаково ясными «поповскими» глазами с любопытством рассматривали Платоныча и Кузьму.

— Проходите, — пригласил Сергей Федорыч, вытирая полотенцем руки.

Платоныч незаметно огляделся, выискивая, куда присесть.

— Вон на кровать можно, — показал хозяин, не смущаясь угнетающей теснотой в своей избе. Он привык к ней за всю жизнь.

Присели на край высокой деревянной кровати, покрытой полосатой дерюгой.

Сергей Федорыч отъехал с табуреткой от стола ближе к кровати. Достал кисет.

— Курите?

Платоныч отказался, а Кузьма закурил.

Еще ни в одной избе не испытывал Кузьма такого острого, саднящего душу чувства жалости к людям, как здесь. «Вот кому новая жизнь-то нужна», — думал он, разглядывая ребятишек. Встретился взглядом с Марьей и... вздрогнул. Она вдруг напомнила ему мать. Он не знал мать, но по рассказам Платоныча и других людей восстановил для себя дорогой образ, свыкся с ним, бе-

режно хранил... Ему казалось, что он ее помнит; он даже встречал женщин, похожих на мать. Но эта... елки зеленые!— до того похожа. Невероятно, странно, что она сидит здесь, живая. Можно подойти и потрогать ее рукой.

Кузьма не отрываясь смотрел на Марью. Не слышал, о чем говорит Платоныч с хозяином. Ничего не слышал и не видел вокруг. Не помнил даже, как вышли на улицу... В глазах стояла Марья.

— Что такое, дядь Вась?.. А? Ты видел, какая она?

Платоныч строго посмотрел на племянника. Негромко и серьезно сказал:

— Не нравятся мне такие штуки, Кузьма. Ты что это?

Кузьма промолчал. Понял, что не сумеет сейчас ничего объяснить.

Молчали до следующего двора. Перед тем как войти в дом, Платоныч остановился, спросил встревоженно:

— Что с тобой делается? Ты можешь объяснить?

— Потом объясню. Вечером.

11

Братья приехали почти одновременно. Не успел Макар расседлать коня (за шапкой ездил и за обрезом), ворота раскрылись — въехал Егор.

— Ты где был?— спросил Макар.

— Недалеко.

Утро было хмурое. Небо заволокло тучами; они низко плыли над землей, роняли в грязь редкие холодные капли.

— Кондрата нашего, однако, убили,— сказал Макар.

Егор застыл около коня.

— Где?

— Не совсем... Вон видишь, что делается!— Макар показал братнину шапку, всю в крови.

— Скажет тоже — убили!

— Может помереть.

— Дрались, что ли?

— Ага.

— С кем?

— Не знаю.

— У тебя курево есть?— Егор присел на ясли.— Я прокурился.

Макар сел рядом, достал из кармана кисет, подал брату. Нахмурился, разглядывая окровавленную шапку.

— С кем он?— опять спросил Егор.

— Не знаю. Не могу никак понять: чем так звезданули? От гирьки не бывает рвано. А тут вишь...— он сунул под нос Егору шапку.

— Брось ты ее!— откачнулся Егор.

По крыше конюшни забарабанил редкий, но крупный дождь,— ранний собрался. Первый в этом году.

— Пахать скоро,— вздохнул Макар.

Егор подобрал с земли соломинку, закусил в зубах.

— Втюрился я, Макар...

Макар живо повернулся:

— Ну-у! В кого?

— В Марью Попову.

Макар заулыбался: такая любовь сулила много хлопот Егору.

— Как же теперь?

— Не знаю. Хоть «Матушку репку» пой.

— М-дэ-э...— сочувственно протянул Макар.— Плохо твое дело, Егор, шибко плохо. Даю голову на отсечение — он даже разговаривать об этом не станет.

Егор сам знал, что говорить с отцом о Марье — все равно что шилом пахать. Глупо. Емельян Спиридоныч понимал одно: невеста должна быть с приданым. Он за Кондрата высватал некрасивую, хворую девку, зато из богатого дома. «С лица воду не пить»,— заявил он.

— Пощупал уж ее?— спросил Макар.

Егор дрогнул ноздрями, сплюнул.

— Оглоед!.. Только одно знаешь. Все, что ли, такие?

— Что ж ты с ней... оленей ловил?

— Перестань, а то в зубы заеду!

— Я заеду!— В глазах у Макара загорелся веселый злой огонек.— Попал — так не чирикай.

Егор бросил соломинку, подобрал другую.

— В общем, не видать тебе Марьи как своих ушей,— сказал Макар, поднимаясь.

Егор задавил сапогом окурок, каким-то не своим голосом, тихо сказал:

— Поглядим.

Домой Емельян Спиридоныч приехал на другой день. Кряхтя, боком влез в дверь, скинул с плеча мешок.

— Здорово ночевали.— Весь опухший, темный, с мутными глазами.

— С приездом!— весело откликнулся Макар. Он был один дома. Куда-то собирался: стоял перед самоваром в синей сатиновой рубахе, смотрелся в него.

Отец выжидающе уставился на сына.

— Никто не был?

— Никого. Монголка-то прибежала.

Емельян слезливо заморгал.

— Сама?

— Сама. Ночью. Как заржет под окном... Я думал, мне сон снится.

Емельян Спиридоныч снял рукавицу, высморкался в угол.

— Поеду в город — рублевую свечку Миколе-угоднику поставлю,— поклялся он, устало присаживаясь на припечье.— Иди коня выпряги.

— А где Кондрат?

— Там.

Макар вышел, но тотчас вернулся обратно с широко открытыми глазами.

— Эти... приезжие зачем-то идут.

Емельян Спиридоныч выронил кисет. Встал, хотел идти в горницу, но в сенях уже скрипели шаги. Оба — отец и сын — замерли посреди избы, глядя на дверь.

— Здравствуйте, хозяева!— Вошли Платоныч и Кузьма.

— Доброго здоровья!— приветливо откликнулся Макар.— Проходите.

Он несколько суетливо подставил один стул и... сам сел на него. Но тут же вскочил, поправил рубаху.

Кузьма с недоумением глядел на Макара. Тот почувствовал этот взгляд. Тоже уставился на Кузьму — тревожно.

Молчание получилось долгим, тяжким для Любавиных. Емельян Спиридоныч мучительно решал: сесть ему или продолжать стоять? Или вообще уйти в горницу?

— Мы вот по какому делу: решили в вашей деревне школу строить. Поможете?

Емельян Спиридоныч сдвинулся наконец с места, пошел к порогу раздеваться. Макар сел, закинув ногу на ногу. Приготовился с удовольствием разговаривать.

— Школу, значит, строить?— Макар бесцеремонно рассматривал Платоныча.— Большую?

— Хорошую нужно.

— Так. А сортир там будет?

Емельян Спиридоныч гневно обернулся на сына. У Кузьмы багрово потемнел шрам. Один Платоныч сохранял спокойствие.

— Ты что, мастер по сортирам?

— Ага. Я очки вырубаю. И какие очки, ты бы знал!.. Макар говорил серьезно, даже несколько торжественно.— Не очки, а загляденье! Люди сутками сидят на них, и вставать неохота. Сидят и смеются... от радости.

Кузьма с тоской и яростью посмотрел на Платоныча. У того чуть заметно дергалось левое веко.

— Знаешь... Это интересно. Фамилию твою можно узнать?

Платоныч полез в карман за карандашом.

Макар настороженно сузил глаза:

— Зачем?

— А нам такие мастера нужны. Как фамилия?

— Ну, это ты зря, дядя... Я ж пошутил,— Макар невесело улыбнулся.

— Как фамилия?!— строго прикрикнул Платоныч.

Макар сутуло повел плечами.

— Любавин. Только не ори на меня.

— Ты чего это, борода, разоряешься?— спросил Емельян Спиридоныч.— Гляди, это тебе не старинка.— Под лохматыми бровями его тускло мерцали, играя, злые глаза.

Платоныч, не оборачиваясь, резко сказал:

— В помощи вашей мы больше не нуждаемся. А за издевательство над общим делом можно спросить!— Он круто повернулся и пошел к выходу.

Емельян Спиридоныч посторонился.

Кузьма, глядя на него, замедлил шаг.

— Вот именно — не старинка! Это ты правильно сказал.

— Будь здоров, сопля,— миролюбиво ответил Емельян Спиридоныч.

Кузьма, ощерив стиснутые зубы, пошел грудью на старика — длинный, тонкий, прямой и безрассудный. Боль и гнев стояли в его глазах. Но был он слаб, до смешного слаб против квадратного Емельяна Спиридо-

ныча. Тот в молодости ломал через колено дышло от брички.

— Кузьма!— остановил его Платоныч.— Пойдем.

Когда за ними закрылась дверь, Емельян Спиридоныч подошел к Макару, наотмашь, хлестко стеганул его по лицу портянкой.

— Балабонишь много!

Макар крутнул головой, хищно оскалился... Отошел к окну. Проводил глазами отступающего от кобеля Кузьму, плюнул на крашеный пол.

— С одного раза до смерти зашиб бы... такого. А приходится молчать. Как их Колчак не угробил?!

— Меньше вякай про это!— рыкнул отец. Стащил сапог с ноги и мрачно задумался.— Они нам еще завьют горе веревочкой.

— Просидели тут в семнадцатом годе,— не то упрекнул отца Макар, не то сказал с сожалением.— Про... Сибирь.

Емельян Спиридоныч посмотрел на сына, ничего не сказал. Подумал, спросил с издевкой:

— Что же ты не шел спасать ее в переворот-то? Вон они, не так уже далеко были, партизаны-то.— Забыл сгоряча Емельян Спиридоныч, что было Макару в ту пору пятнадцать-шестнадцать лет — вояка еще зеленый.

Сам же сообразил, что сказал глупость, добавил уклончиво:

— Ничо, не пропадем пока.

— Это — как сказать. Я вон стретил вчера Елизара Колокольникова, он говорит: «Передай,— говорит,— отцу, чтоб нынче в пахоту не нанимал никого». Гумага какая-то ему пришла от начальства. «Сами,— говорит,— управляйтесь».

Емельян Спиридоныч опять невесело задумался. Потом озверел вдруг:

— Ты скажи ему, чтоб он не совал нос куда не надо! А то я его вместе с гумагой энтой в Белань спущу. Председатель...

Матюкнулся и полез на печку отсыпать пропитую ночь. Не стерпел и еще подал оттуда:

— Хлебушка им дай, а людей не нанимай!

— Прям стишок получился,— сострил Макар.

— А ты чего лоботрясничаешь?!— вконец обозлился Емельян Спиридоныч.— Куда выпялился?!

Макар струсил.

— В карты пойду поиграю. А чего делать-то? Коней перековал...

— Бороны надо чинить!

— Там очередь... Не дошло. А Федя еще косится на нас...

Емельян Спиридоныч отвернулся к стенке, сказал с сердцем сам себе:

— Я им покошусь! Обормоты...

Макар поскорее вышмыгнул из избы; плохо дело, когда отец не знает, на ком сорвать злобушку; он всегда тяжко хворал с похмелья и ненавидел весь свет.

Когда вышли за ворота, Платоныч остановился, поджидая Кузьму.

— Неправильно делаешь, дядя Вася,— с ходу заявил Кузьма, останавливаясь.

Платоныч двинулся в переулок, к следующему дому.

— Пошли. Что неправильно?

— Форменные богачи, а ты на них с карандашиком... Напугал кого! Вообще надоело мне возиться с этой школой. Нас для чего послали?

— Иди ближе и не кричи так. Слушай меня. Неправильно делаешь ты, а не я. Помню, для чего послали. Но только напрасно ты думаешь, что к дуракам послали.— Обогнули с разных сторон большую лужу, сошлись снова.— Вся деревня у нас вот где должна быть,— Платоныч протянул руку ладонью кверху. Она была маленькая, ладонь, сморщенная.— Всех надо вот так видеть. И знать. И блох не ловить — главное. А от школы я не отступлюсь. Не они, так дети ихние спасибо скажут. Так, Кузьма. Будь умнее. Не торопись.

Вечером того же дня у Егора с отцом произошел короткий разговор.

Емельян Спиридоныч только что проснулся, сидел на лавке, разогретый сном, пил с передышками квас. Блаженно кряхтел.

Егор вошел с улицы — полушубок нараспашку. Не снимая шапки, сразу начал:

— Тять, хочу жениться.

— Хм. Кого хочешь брать?

— Марью... Попову.

Емельян Спиридоныч отставил ковш. Даже не захотел повысить голос.

— Ты што, смеешься надо мной?

— Не смеюсь. Люблю девку.

— Иди кобылу мою полюби. Здоровый балда, а умишка ни на грош. Больше не подходи ко мне с таким разговором.

— Тогда сам пойду сватать,— решил Егор.— Со мной не будет, как с Кондратом.— Он, не поворачиваясь, стал отходить к двери. И хоть он и ждал этого, едва успел увернуться: ковш, брызгая во все стороны квасом, пролетел около его головы, ударился о косяк и, звякая, покатился по полу.

— Собака! Научились с отцом разговаривать!!— послал Емельян Спиридоныч громовым голосом вслед сыну.

Егор вылетел из сеней, вытирая рукавом лицо — квасом попало. Навстречу на крыльцо поднимался Макар.

— Ломачул чем-нибудь?— спросил он, улыбаясь.

Егор загородил ему дорогу:

— Пошли со мной.

— Куда?

— К Поповым. Сватать.

Сросшиеся смоляные брови Макара поползли вверх.

— Он што... согласный?

— Согласный. Пойдем самогону достанем...

Егор развернул брата и, не давая ему опомниться, потащил за собой. Тот шел и не шел: не верилось.

— А чего ты такой выскочил?

— Эта... Я потом расскажу. Пойдем.

— Врешь,— понял Макар и остановился.— Ты чего надумал?

— Выручи, Макар, пошли. Высватаем, приведу в дом — не выгонит. Побоится позора. А выгонит — хрен с ним. Но все равно будет по-моему.

Макар думал. Такое сватовство лично ему могло выйти боком. Но очень хотелось досадить отцу. В душе он был согласен с Егором. Вскинул голову, озорно сверкнул глазом.

— Пошли.

Купили в одном известном им доме три бутылки самогону и направились к Поповым. Первым — Макар.

Азартная, ярая душа его разыгралась не на шутку. Его уже нельзя было остановить. Вздумай сейчас Егор

удариться на попятную — он пошел бы сватать один. За себя.

— Замесили дельце! — потирал он, довольный, руки.

Огня у Поповых еще не было. Макар впотьмах налетел на табуретку.

— Дядя Сергей!

— Оу!

— Где ты тут? Запаляй огонь — гости пришли! — распоряжался Макар.

Марья зажгла лампу и, когда увидела у порога серьезного, собранного Егора и сияющего Макара посреди избы, вспыхнула горячим, предательским румянцем. Сергей Федорыч понял позже.

— Вам чего, ребяты?..

— Нам-то?..— Макар, к немалому удивлению хозяина, быстро разделся, прошел к столу. За ним так же быстро и решительно смахнул с плеч полушубок Егор.— Нам для начала капустки. Есть? А потом потолкуем.— Макар значительно посмотрел на Марью. Она не знала, куда девать свои ясные, посчастливевшие глаза.

Сергей Федорыч понял наконец. Приосанился. Первый раз, за первую дочь пришли свататься. Теперь — не ударить лицом в грязь.

— Вон вы какие гости-то! — сказал он, как бы решая для себя: не выставить ли сразу таких гостей?

Но долго не смог притворяться.

— Марья, неси капусту.— Сел к столу. Потрогал маленькой высохшей рукой бутылку.— Запотела, сволочь.

Макар достал из кармана большой шмат сала (заходил по дороге к брату Ефиму), сдул с шершавой корочки табак, шлепнул на стол.

Ребятишки внимательно смотрели на них с печки.

Сергей Федорыч отхватил ножом хороший кусок, бросил им.

— Только с хлебом ешьте.

Марья принесла в чашке капусту. Поставила на стол и отошла в сторонку.

— Та-ак. А сам Емельян Спиридоныч к бедным не ходит сватать? — спросил Сергей Федорыч.

— Ему некогда,— ответил Макар.

Хитрый Ефим зачуял недоброе.

Отрезая Макару сало, невзначай спросил:

— Зачем тебе сало-то?

— Выпьем тут с дружками.

Ефим понял, что замышляет Макар какое-то темное дело. То ли драку или чего похуже.

Проводил Макара, собрался — и ходом к отцу.

С порога спросил:

— Где ребята?

— Не знаю. А што?

— Приходил сейчас Макар ко мне, попросил сала. А у самого карманы оттопырены,— по-видимому, бутылки с самогоном. Не затеяли они чего?

Емельян Спиридоныч, набрякая темной кровью, спросил:

— Егорка был с ним?

— Был. Только тот не заходил, а на улице дожидался. Но пошли вместе.

Емельян Спиридоныч вскочил с места, тяжело забегал по избе.

— Ах, подлецы! Сукины дети!.. Ведь они сватать Маньку пошли! Ну-ка... где мои сапоги?!— наливаясь гневом, заорал он. Сам увидел их у порога... С трудом натаскивая прямо на голую ногу, тихо и страшно гудел:— Головы поокручиваю паразитам... Месиво пойду сделаю!

— Чью Маньку-то?

— Попову.

Ефим даже ахнул: голь перекатная!

— Макар, што ли?

— Егорка... Гад сумеречный! Пошли.

Сергей Федорыч быстро захмелел. Обхватил маленькую косматую головенку, тихо, с тоской запел:

Эх ты, воля, моя воля!..

Оборвал песню. Из-под пальцев на стол быстро-быстро закапали слезы.

— Старуха моя... Степанидушка... Не дожила ты до этого дня. А хотела она...

Егор стиснул зубы и пошевелился, чтобы унять дрожь.

— Тять, зачем ты об этом? Не надо,— попросила Марья.

Макар сохранял деловое настроение.

— Так что, Федорыч?.. Отдаешь за нас Марью?

Сергей Федорыч помолчал и вдруг громко сказал:

— Нехорошие вы люди, Макар! И Егор... тоже ж — Любавин. Корни-то одни. Не хотел бы я с вами родниться, но... пускай. Видно, чему быть, того не миновать.

Макар слегка опешил от такого ответа. Завозился на месте, Егор хмуро и трезво смотрел на пьяненького Сергея Федорыча. А тот помолчал и опять повторил упрямо:

— Плохие вы люди, Егор. Потёмые.

— Тятя!..— встряла было Марья.

— Ты молчи!— приказал отец.— Ты ничего еще не понимаешь...

Ефим осторожно подкрался к маленькому, низкому окну. Заглянул с краешка.

— Здесь. За столом сидят.

Слабенькая, легкая дверь с треском расхлобыстнулась от пинка... Как чудовище, страшное и невозможное, вырос Емельян Спиридоныч в тесной избушке. Как гром с ясного неба грянул.

— Марш отсюда!

Первым опомнился Макар. Встал. Не знал, что делать: вылетать сразу или немного поартачиться?

Егор сделался белым; сидел, стиснув в руке граненый стакан с самогоном. Не шевелился.

— Я кому сказал!— рявкнул Емельян Спиридоныч. В тишине, мучительной и напряженной, тоненько звякнул лопнувший стакан в руке Егора.

Макар двинулся к выходу.

Егор сунул окровавленную руку в карман... Тоже поднялся.

Медленно одевались. Слышно было, как со стола мягко и дробно каплет разлитый самогон.

Сергей Федорыч забыл закрыть рот — смотрел на Любавиных.

Последним на улицу вышел Емельян Спиридоныч. Догнал в ограде Егора, коротким сильным ударом в голову сшиб его с ног. Тот вскочил было сгоряча, но Емельян Спиридоныч еще раз достал его. Егор упал навзничь. Отец прыгнул на него, начал топтать ногами.

Оба молчали.

Ефим кинулся сзади к отцу, поймал за руки, оттаскивая.

— Убьешь ведь. Убьешь, што ты делаешь?— дышал он в затылок отцу.

Тот легко отбросил его, рванулся опять к Егору. Егор хотел встать, скользил на кровяном снегу, не мог подняться. Емельян Спиридоныч опять кинулся на него, но в это мгновение страшная, резкая боль в голове заслонила от него свет,— никто не заметил, когда Макар выдернул из плетня кол и тенью скользнул к отцу... Емельяна Спиридоныча шатнуло, он пошел было задом на посадку, но устоял, закрутил очугуневшей головой, заревел, как недорезанный бык, и двинулся на сыновей.

— Поднимайся, Егор, скорей!— сдавленным голосом торопил Макар, заслоняя его от отца.

Емельян Спиридоныч шел напролом, ничего не желая видеть — никакой опасности. Колышек тихо прошумел... Хрястнул, сломившись. Емельяна Спиридоныча опять качнуло...

Егор поднялся, побежал к плетню, Макар — за ним, думая, что он убегает совсем. Егор ухватился за кол, легко, как спичку, сломил его.

— Не бежи, Макар!

Макар вернулся. Только вывернул себе другой кол — побольше.

Ефим тоже не дремал: ему подвернулось под руку коромысло... Он переломил его, сунул половинку отцу.

Дышали тяжело, с хрипом. Удары звучали мягко и глухо. Молодые действовали дружно, напористо; под их натиском Емельян Спиридоныч с Ефимом отступали все дальше в глубь ограды.

Макар вьюном крутился меж кольев, часто доставал своим то отца, то брата Ефима.

Егору попадало чаще, но зато его удары были крепче; он все подбирался к отцу... И один раз, изловчившись, угодил ему в лоб. Емельян Спиридоныч глубоко вздохнул, выронил кол и, зажав лицо руками, пошел прочь. Макар последним ударом сзади свалил его с ног. Кинулся к Ефиму... Тот отпрыгнул в сторону и, бестолково размахивая половинкой коромысла, заорал:

— Караул!

Из сеней выскочил Сергей Федорыч. Грянул ружейный выстрел.

— Разойди-ись! Постреляю всех!— завизжал он, клацая затвором берданки.

— Егор... уходим.— Макар побежал из ограды. Егор, прихрамывая,— за ним.

За воротами Макар развернулся и запустил свой кол в Сергея Федорыча.

— Постреляешь у меня!.. Хрен моржовый! Дай-ка твой — я им разок по окнам заеду. Все равно теперь родней не быть.

В этот момент гулко треснул и широко в ночь раскатился еще один выстрел берданки; где-то вверху просвистела летящая горстка дроби.

— Пошли, ну их...

— А куда?— Макар высморкался сукровицей в рваный подол рубахи.

— К дяде Игнату пока... А там поглядим.

— Зайдем тогда коней прихватим? Неизвестно, сколько придется бегать.

Егор согласился.

— Не торопись только. Плохо мне.

12

У Игната шел пир горой. Дым, гвалт, обрывки песен, крученый мат... Где-то в углу, невидимая, из последних сил, отчаянно хлопая мехами, взвизгивала гармонь.

Какой-то детина с покатыми плечами в косую сажень во что бы то ни стало хотел пройтись вприсядку. Но его каждый раз вело с ног; он падал, с трудом молча поднимался и, распрямившись во весь свой огромный рост, жеманно подбоченивался, точно по-бабьи вскрикивал: «Ух ты-и!..»— приседал с маху и... заваливался на спину.

За столом, в центре, сидел Закревский. Улыбался, трепал кого-то по плечу, кому-то наливал водку, пил сам... Он первый увидел незнакомых. Остановил на них мутный, подозрительный взор:

— Кто такие?

Макар, не отвечая, презрительно сощурился. Егор искал глазами Игната. Его почему-то не было среди этих людей.

Закревский легко поднялся с места, пошел к Макару. На ходу резко и трезво бросил кому-то:

— Вася, выйди на улицу, посмотри.

Макар сунул руку за пазуху.

— Кто такие?— еще раз спросил Закревский, заглядывая Макару в самую душу.

— Я не могу с тобой разговаривать: у тебя чижелый дух изо рта идет. Отойди маленько.— Макар легонько уперся стволом обреза в грудь ошеломленного Закревского, отодвинул его назад. Тот метнул испуганный взгляд на Егора, опять на Макара, на дверь...

— Где дядя Игнат?— спросил Егор.

Закревский обмяк, улыбнулся, отвел от груди обрез

— Черти драные... перепугали насмерть! Проходи!— Он потянул Макара к столу.— Вы Любавины? Отец послал? Золотой старик... Садись. Садись, другом будешь!

Макар спрятал обрез, оберегая избитые бока, втиснулся между пьяными. Никто больше не обращал на них внимания. Егор с трудом пробрался в горницу.

Кондрат лежал на кровати с перевязанной головой.

— Ты зачем здесь?

— Так... В гости.

Кондрат приподнялся на локте:

— Дома что-нибудь?..

— Ничего дома... Лежи. Што это за народ здесь?

— Знакомые Игната. Извели меня вконец, паразиты... Вторые сутки пьют.

— А где дядя Игнат?

— В город уехал.

В горницу с бутылкой и стаканом в руках вошел Закревский.

— Вот они, голуби! Так...— Он, ласково глядя на Егора, зазвякал горлышком бутылки об стакан, наполнил его с краями вровень, сунул под нос Егору.— Пей! За свободную жизнь... Мне нравится ваша порода.

Егор отвел в сторону стакан:

— Не хочу. Нездоровится.

— Не-ет, выпьешь...— Закревский силой стал совать в лицо Егору стакан. Водка плескалась на руки и на грудь им обоим.

Егор наотмашь вышиб из рук Закревского стакан.

— Пристал как банный лист...

— Вот вы какие!— с восхищением воскликнул Закревский.— Эх!— Он трахнул бутылку об пол, качнулся поворачиваясь.— Но вы не можете быть сильнее меня. Понимаешь?! Вася!— Он пинком распахнул дверь горницы, из прихожей тугой волной ударил гул затяжной попойки.— Вася!

В дверях вырос Вася, невысокий человек с окладистой русой бородой. Молодо и трезво поблескивал собачьими глазами на хозяина.

— Пригласи человека к столу,— Закревский показал на Егора.

— А он рази не хочет?— искренне изумился Вася.

— Он ждет особого приглашения.

Вася медленно подошел к Егору. Не успел тот сообразить, в чем дело, Вася сгреб его в охапку и так сдавил, что у Егора от боли глаза полезли на лоб. Вася отнес его к столу, бросил на лавку.

— Сядь тут.

Макар, увидев брата, потянулся к нему:

— Егор! Брательник мой хороший...

Но его кто-то перехватил, увлек в сторону. А Егору услужливо подставляли стакан водки. Он выпил. Кто-то подставил еще стакан. Он выпил еще. Поднял глаза — подставлял стаканы Вася.

Закревский со стороны наблюдал за ними. После второго стакана он подсел к Егору, обнял тонкой рукой за шею.

— Правильно сделали, что пришли. Хочешь денег? Баб?.. А?— Глаза Закревского блестели неподдельной радостью.— Чего хочешь — говори...

— Я?

— Ты.

— А ты?

— Я хочу дать свободу русскому характеру... Натворить побольше! Мы раскиснем к черту с такими властями. Согласен?

— Не знаю.— Егор снял жиденькую горячую руку со своей шеи.— Не лапай, я не баба.

— Пей еще!— потребовал Закревский.

— Давай.

Рядом громко орал Макар:

— Согласный! Всё!..— Он заехал ковшом в гущу бутылок и стаканов.— Я такой жизни давно искал, гады милые!.. Душить будем!

Егор выпил третий стакан, кинул его куда-то в людей, нашел грудь Закревского, забрал в кулак тонкую белую рубашку, подтащил к себе:

— А я несогласный. Больше не говори мне разные слова... а то ударю.

Хлопала, хрипела и взвизгивала гармонь. Грохотали

по полу сапоги, качались стены. Качались и плавали в глазах чужие люди...

На третьи сутки, в глухую полночь, Макар явился домой. Один. На тройке. И вел сзади еще пару своих лошадей, тех, которых они захватили с Егором, когда уходили из дома.

Бросил лошадей посреди ограды, вошел в избу — в новеньком полушубке, в папахе, красивый и смелый. Слегка покачивался.

— Здрасте!

В избе слабо мерцала керосиновая лампа. Не спали. Емельян Спиридоныч лежал на печке, весь обмотанный тряпками, злой и слабый (в той драке ему попало больше всех). Увидев сына, он поманил рукой жену.

— Сходи за Ефимом. Скорей,— шепнул Емельян Спиридоныч.

Макар услышал эти слова, прошел к столу, выложил на белую скатерть два нагана.

— Бесполезно, папаша: пришью на месте.— Сел, закинул ногу на ногу.— Я подобру зашел. Сказать, что коней, которых взяли, отдаем обратно. Нас с Егором больше не ждите. На этом до свиданья.— Он собрал наганы, встал. Емельян с яростью, беспомощно глядел на него с печки.

— Нашли себе дружков?

— Ага. Верные люди.

— Поддорожники, ворюги... Проклинаю вас обоих!

— Это неважно. Поправляйся, папашенька. Не сердись на нас. А здорово мы вас ухайдакали!..

Мать не выдержала, топнула ногой:

— Варнак ты окаянный! Отец он тебе или кто? Уходи с глаз моих долой!

Макар оглянулся на нее, ничего не сказал. Вышел.

13

Не мог ничего Кузьма объяснить дяде Васе ни вечером, ни после. Он сам ничего не понимал. Он все время чувствовал, что чем-то обязан Клавке, хотя, сколько ни искал в себе, не мог найти и понять, за какую радость он благодарен ей. Стыдно было смотреть на Клавдю, и он изо всех сил старался, чтобы она этого не заметила.

И вместе с этой неловкостью и тяжелой обязанностью, долгом — не обидеть человека, который непонятно зачем влез в его жизнь, вместе с тихой тоской и болью за какую-то непоправимую ошибку, вместе со всем этим в душе его упорно — днем и ночью — распускалась цветастая радость. Марья... Марья была недалеко. И он знал, что когда-нибудь он возьмет ее за руку и близко посмотрит в ее глаза. Знал, ему не будет неловко и стыдно при ней, а будет очень, очень легко. Он ждал этого часа. И дождался...

Однажды утром, светлым весенним утром, Агафья, собирая на стол завтракать, между прочим рассказала, как вчера братья Любавины приходили сватать Марью Попову.

После первых ее слов у Кузьмы вспотели ладони. Он оглох... Не слышал всего, только в конце стал гонимать, что она рассказывает.

— ...те собрались — да за ними. Там драку учинили! Ухлестали друг друга до смерти.

— Как «до смерти»?— не понял Платоныч. Он внимательно слушал.

— Ну, как... Самого-то чуть живого домой привели. Помрет, говорят.

— Что делают!— воскликнул Платоныч.— А сыновья где?

— Убежали. У них не первый раз такое.

— Вот так сватовство! Ну и чем это кончится?

— Да ничем. Побегают-побегают и придут.

— Куда ж они могут убежать?

— В тайгу. Куда больше.

— Любавины их фамилия?

— Любавины. Макарка у них заводила-то. С малолетства с гирями ходит. Егор — тот вроде спокойнее...

— Все они там — один другого лучше. Дикари,— вставил Николай.

— Ну а Ма... девушка что?— спросил Кузьма.

— Дак што... Ничего. Обрадовалась было девка, да и осталась ни с чем. Ишо опозорили на всю деревню таким сватовством.

Кузьма вышел на улицу, зашел в сарай, сел на дровосеку — хотелось побыть одному.

Клавдя нашла его там.

— Все уж... испекся,— сказала она, остановившись над ним.

Кузьма не поднял головы,— как сидел, склонившись к коленям, так продолжал сидеть. Клавдя опустилась рядом, обняла.

— Горе ты мое, горюшко...

Уткнулась ему в грудь, затряслась в рыдании. И продолжала говорить:

— За что я несчастная такая, господи!.. Как сердце чуяло! Я приведу ее тебе... Может, ты выдумал все, а? Милый ты мой, длинненький! Я приведу, а сама погляжу: может, и нету у вас никакой любови? А правда — так черт с вами... Оставайтесь тогда. Неужели она лучше?

Кузьма подавленно молчал.

Клавдя сдержала слово, вечером пришла с Марьей.

Марья держалась просто, спокойно взглянула на Кузьму, поздоровалась.

Тому показалось, что табурет поехал из-под него... Он кивнул головой.

Девушки прошли в горницу. Дома никого больше не было (Платоныч ушел в гости к Феде Байкалову, они подружились за это время).

Кузьма поднялся, хотел уйти. Колени мелко и противно тряслись. Он стал надевать кожан, но дверь горницы открылась... Именно этого мучительно ждал и боялся Кузьма — когда откроется дверь.

— Ты куда?— спросила Клавдя.

Кузьма промолчал.

— Зайди к нам.

Он пошел прямо в кожане, Клавдя подтолкнула его в спину.

Марья сидела у стола в синеньком ситцевом платье, под которым как-то не угадывалось тело ее. Кузьма стал перед ней; она снизу с детской, ясной улыбкой вопросительно глядела на него.

Клавдя остановилась позади Кузьмы; от ее взгляда — он чувствовал этот взгляд — он не мог ничего сказать.

Так стояли долго. Слышно было, как на завалинке шебаршат куры, разгребая сухую землю.

— Он любит тебя, Манька. Влюбился,— громко сказала Клавдя.

Марья вспыхнула вся, резко поднялась. Полные красивые губы ее задрожали — не то от обиды, не то от растерянности. Кузьме стало жалко ее.

— Правда,— сказал он.— Она правду говорит.

У Марьи сверкнули на глазах слезы. Она зажмурилась, качнула головой, стряхивая их.

— Вы что... зачем так?

— Ты у него спроси. Вчера меня целовал, а сегодня...

Кузьма твердо, спокойно, даже с каким-то удовольствием сказал:

— Врет она, Маша. Я не целовал ее. Она врет.

Клавдя прошла вперед, опустилась на колени перед божницей, размашисто перекрестилась.

— Истинный мой Христос. Гляди — крещусь.

— Честное слово, не было. Крестись. Не было — и все,— стоял на своем Кузьма.

Клавдя, не поднимаясь с колен, дотянулась до Марьи, обхватила ее ноги, прижалась лицом. Заплакала.

— Было, Манюшка, милая... Не отнимай его у меня, милая... Присохло к нему мое сердце... Изведусь я вся, господи! Руки на себя наложу!..— Она плакала страшно — навзрыд, как по покойнику. У Кузьмы по спине пошел мороз. Марья насилу подняла ее, посадила на кровать и разревелась сама.

— Да я-то... я-то знать ничего не знаю. Зачем вы меня-то, господи?.. Отпустите вы меня отсюда...

Кузьма ничего не соображал, понимал только, что все это, наверно, скоро кончится. Он не слышал, как ушла Марья... Смотрел в окно. Очнулся, когда Клавдя тронула его. Она не плакала, смотрела серьезно и строго. Кузьма хотел выйти из горницы. Она загородила ему дорогу.

— Манька далеко уже. Не ходи.

— Я не за ней. Пусти.

Клавдя решительно тряхнула головой, вытерла рукавом заплаканные глаза.

— Пойдем вместе.

На улице она цепко ухватилась за его руку, повела за собой к хозяйским постройкам.

— Куда ты?

— Не разговаривай.

Подошли к сеновалу. Клавдя втолкнула его в темную дверь. Шепотом приказала:

— Лезь.

Кузьма зашуршал сеном — полез наверх. Сзади карабкалась Клавдя.

Долезли до самого верха. Клавдя опрокинулась на спину. Нашла руку Кузьмы, потянула к себе.

Жаркий туман кинулся Кузьме в голову. Чтобы унять дрожь, которая начала трясти его, он заглотнул воздух и перестал дышать... Потом громко, со стоном выдохнул.

— Ну, что ты!.. А?— почти крикнула Клавдя.

Прижала его к себе, торопливо зашептала:

— Милый... Ну? Что ты?..

Потом закусила губу и замолчала.

. . . .

— Вот... Теперь ты мой. Мне надо было давно догадаться, глупой,— устало и спокойно сказала Клавдя.

Кузьма молчал. Смотрел через пролом в крыше на небо.

Красная опояска зари тускнела. Горячие краски ее поблекли, подернулись с краев пепельно-тусклой пеленой. Ночь опускалась над степью и над селом. Большая тихая ночь.

14

Гринька Малюгин влопался — поймали в чужой конюшне.

Этот Гринька был отпетая голова.

Еще молодым парнем поспорил с дружками, что сшибет кулаком жеребца с ног. Поспорили на четверть водки.

Гринька вывел из своей конюшни жеребца-производителя, привел на росстань, где уже собрался народ (на пасху дело было), поплевал на руки, развернулся и хряпнул жеребца меж глаз. Рослый жеребец как стоял, так пал на передние ноги.

Вечером об этом узнал отец Гриньки. Принес ременные вожжи, свил вчетверо, запер дверь и исполосовал Гриньку чуть не до смерти.

Когда Гринька отлежался и стал ходить (но еще не сидеть), он раздобыл ведерко керосину, облил ночью родительский дом, вокруг, по окладу, и подпалил. А сам ушел в тайгу.

С тех пор где-то пропал.

Потом объявился: разъезжал на паре, грабил в дальних деревнях. Но в своей никого не трогал, хоть, случалось, наезжал ночами.

Один раз мужики накрыли его: пасечник Быстров донес.

Засадили Гриньку в тюрьму.

Вскоре, воспользовавшись заварухой семнадцатого года, когда не до него было, он сбежал и ночью с двумя товарищами нагрянул к старику Быстрову.

Про эту историю рассказывали в деревне так.

...Быстров круглый год жил на пасеке со своей старухой. А в эту ночь, как на грех, осталась у них ночевать дочь Вера. Засиделась допоздна и не захотела идти домой.

Пасека была недалеко от деревни — на виду. А в деревне, с краю, жил сын Быстрова — Кирька.

И вот спит ночью Кирька, и снится ему такой сон: подошел к нему какой-то человек, взял за нос и говорит: «Спишь? Отца-то с матерью убивают». Вскочил Кирька сам не свой — на улицу. Смотрит, а в отцовском доме такой свет в окнах пáсдерат, какого по праздникам не бывало. И пес — цепной кобель у них был, Борзéй звали — аж хрипом заxóдится, лает. Кирька схватил лом — и туда, как был — в подштанниках.

Прибежал, подкрался к окну, заглянул. Видит: сидят за столом трое — Гринька и его дружки. Гринька — посередке. Пьют. На столе всевозможная закуска, оружие ихнее лежит. Рядом ни живая ни мертвая стоит сестра Вера — прислуживает им. Отца с матерью не видно.

В тот момент, когда заглянул Кирька, у них как раз кончилась медовуха. Гринька послал одного в погреб — нацедить из логуна свежей. Тот пошел... Кирька с ломом — к крыльцу. Встретил — и ломом его по голове. Тот вытянулся. Кирька опять к окну. Ждали-ждали те двое своего товарища, не выдержали — поднялся еще один. Кирька опять к крыльцу. И второго уходил так же. И тут уж не выдержал сам — ворвался в дом, размахнулся ломом... А он возьми да зацепись за матку в потолке, лом-то,— криво пошел. Только по плечу вскользь задел Гриньку. Гринька — за наган, но не успел. Кинулся на него Кирька... Покатились вместе на пол. Гринька был здоровее — подмял Кирьку под себя и подтаскивает к столу — к нагану. Сестра догадалась, смахнула со стола наганы, а дальше не знает, что делать. Стоит как вкопанная. А Гринька душит ее брата — тот посинел уж... Едва прохрипел сестре:

— Борзю...

Сестра кинулась во двор, отцепила кобеля. Пес в три прыжка замахнул в избу и с ходу выдернул Гриньке два ребра. Гринька взвыл дурным голосом, бросился в окно... Вынес на себе раму и ушел.

— Где отец?— спрашивает Кирька.

Сестра показала на кровать, а сама грохнулась на пол — ноги подкосились.

Кирька отдернул одеяло... Под ним лежат отец с матерью рядышком. Мертвые.

С тех пор долго Гринька не появлялся. Ездил Кирька и с ним человек пять мужиков, искали его по тайге. Но разве найдешь! Отлеживался Гринька, как медведь, в глухом месте.

Потом Кирька переехал с семейством жить в другую деревню, и это дело забылось.

И снова Гринька объявился; стали опять ходить слухи: ездит по деревням с товарищами, колупает мужичков побогаче.

Поймать не могли.

И наконец Гринька попался... В своей же деревне, до обидного просто.

Лунной, хорошей ночью подломил конюшню Ефима Беспалова, выбрал пару жеребцов, взнуздал... И тут на пороге появился сам Ефим:

— Здорово, Гринька!

Гринька вскинул голову — на него в упор смотрят два ствола тульской переломки, с картечным зарядом... А чуть выше — внимательные глаза хозяина.

Гринька улыбнулся:

— Здорово, Ефим.

— Пойдем?— предложил Ефим.

Гринька постоял в раздумье.

— Не отпустишь?

— Нет.

— Заплачу́ хорошо...

— Нет, Гринька, не могу.

Гриньку посадили на ночь в пустую избу; шесть человек несли охрану. А утром стали судить своим способом. Дали в зубы большой замок, надели на шею хомут, связали за спиной руки и повели по деревне. Рядом несли смоленый конский бич; кто хотел, подходил и бил Гриньку.

Завелись с конца деревни... Шли медленно. Охотников ударить было много.

Гринька смотрел вниз... Поднимал голову, когда кто-нибудь подходил с бичом. Прищурив глаза, затравленно и зло глядел он на того человека. Долго глядел, точно хотел покрепче запомнить. И распалял этим своим взглядом людей еще больше. Били что есть силы, старались угодить по лицу, чтоб не глядел так, сволочь такая!.. А он глядел. Когда было особенно больно, он на мгновение прикрывал глаза, потом снова вспыхивал его звериный, бессмысленный взгляд, не умоляющий о пощаде, а запоминающий.

К середине деревни Гринька стал спотыкаться. Рубаха на нем была изодрана бичом в клочья. На лицо страшно смотреть — все в толстых красных рубцах. Кровь тоненькими ручьми стекала на шею, под хомут.

Таким застали его Платоныч и Кузьма.

Платоныч задыхался, не мог бежать... Слабая грудь не выдерживала.

— Беги один, останови!— махнул он Кузьме.

Кузьма, отмеряя длинными ногами сажени, скоро догнал шествие.

— Прекратите!— звонким, срывающимся голосом крикнул он.

Кто-то засмеялся в ответ. Никто не остановился. Даже Гринька не обрадовался, не замедлил шаг. Какой-то невысокий растрепанный мужичок взял Кузьму за руку и охотно пояснил:

— Это у нас закон испокон веков — за конокрадство вот так судют.

Кузьма забежал спереди, вынул наган. Уже спокойнее сказал:

— Прекратите немедленно! Вы не по закону делаете. На это у нас есть суд.

Шествие сбилось с налаженного шага, спуталось, но еще медленно двигалось на Кузьму. Он стоял посреди дороги — длинный, взволнованный и неуклонный. И не очень смешной — с наганом.

— Первого, кто его сейчас ударит, я арестую!

Гринька остановился.

Мужики тоже остановились. Окружили Кузьму, доказывая свою правоту.

Подошел Платоныч. Коротко, как-то очень авторитетно распорядился:

— Сними с него хомут и веди в сельсовет. А я объясню людям, что такое советский закон.

В сельсовете Кузьма вылил на голову Гриньке ведро воды, усадил на лавку. Руки развязывать не стал — до Платоныча. Гринька, навалившись грудью на стол, сонно моргал маленькими усталыми глазами.

— Дай покурить... товарищ,— осипшим голосом, тихо попросил он.

Кузьма, стараясь не глядеть на него, свернул папироску, прикурил, вставил в опухшие, синие губы Гриньки. Тот прикусил ее зубами, несколько раз глубоко затянулся и впервые глухо застонал.

— Мм... Только б живому остаться,— ремни буду вырезать из спин.

— За такие слова едва ли останешься,— сказал Кузьма.

— Гринька глянул на него, сказал, как другу, доверительно:

— Всех до одного запомнил.

Пришли Платоныч с председателем. Платоныч на ходу отчитывал Елизара.

— Не видишь, что под носом делается, власть! А может, специально скрылся, чтобы не мешать?..

Колокольников молчал. Вошел в сельсовет, остановился на пороге.

— Вот он, красавец! Разрисовали они тебя! Не будешь чужое имущество трогать.

Гринька не удостоил председателя взглядом.

— Что с ним будем делать?— спросил Колокольников. (Он в эти дни с удовольствием сложил с себя всякие полномочия. Люди из края. Присланные. С бумагами.)

— Помещение есть, где можно пока оставить?

— Есть кладовая...

— Посади туда. Поставь человека. Без нашего разрешения не трогать. Пошли, Кузьма.

Спускаясь с высокого сельсоветского крыльца, Платоныч в сердцах воскликнул:

— А ты говоришь, зачем школа! Да тут на сто лет работы!— Помолчал и тихонько добавил:— Это тебе Сибирь-матушка, не что-нибудь.

— Дядя Вась,— позвал Кузьма.

— Ну.

— Слушай, ведь Гринька наверняка знает про банду?

— Ну, допустим.

— Сделать допрос — скажет.

Платоныч невесело усмехнулся.

— Быстрый ты... Но попробовать можно. Это ты дельно предложил. Не очень только верится, чтобы сказал. Знать-то, может быть, знает, но вряд ли скажет. Это ж такой народ...

Ночью Кузьма не мог заснуть. Думал. Не расскажет, конечно, Гринька. Припугнуть расстрелом? Дядя Вася вот только... Кузьма прислушался к его дыханию. Подумал о нем: «Все-таки он немного неправильно делает. Школа школой, но у нас же задание». И вдруг пришла простая мысль. Кузьма даже пошевелился, воскликнул про себя: «Елки зеленые!» Не вытерпел, толкнул Платоныча в бок.

— Мм?— Платоныч поднял голову.— Что ты?

— Дядя Вась, выйдем на улицу.

— Зачем?

— Надо.

Старик поднялся. Накинули на плечи полушубки, осторожно вышли.

Ночь была темная, теплая. С крыши капало. В переулке два подвыпивших мужика негромко тянули:

Оте-ец мой был природный пахарь,
И я рабо-отал вместе с ним...

— Ну, что такое?

— Давай сделаем так: дадим убежать Гриньке, а сами выследим. Он обязательно к ним пойдет. А?

Платоныч долго молчал.

— Хм. А если совсем убежит?

— Не убежит. Двое же нас.

— Ну, я бегун знаешь какой... Может, Федю пригласить?

— Конечно!

— Подумать надо, племяш. Это риск: убежит — мы в ответе. Потом допросить тоже не мешает. Завтра допросим, а после решим, что делать. А пока пойдем поспим.

— Иди, я посижу немного.

Платоныч ушел в избу.

Кузьма сел на ступеньку. С новой силой накинулась вдруг тоска по Марье. Марья становилась все недоступ-

нее. Уходила все дальше и дальше — как во сне. И звала за собой. Невозможно было привыкнуть к мысли, что никогда он уже не возьмет ее за руку, не посмотрит в глаза... Почему так бывает в жизни?

Гринька отошел за ночь. Рубцы на лице закоростились, подсохли. Смотрел веселее.

— Где твои товарищи?— сразу начал Платоныч.

Гринька насмешливо посмотрел на него.

— Я один работаю, дед.

— Зачем нужны были кони?

— Кони всегда нужны.

— Где ты до этого был?

— Далеко.

Из допроса, ясно, ничего не получалось.

Платоныч замолчал, стал закуривать. Кузьма строго смотрел на разбойника.

— Покурить можно?— спросил Гринька и пошевелил связанными руками.

— Дай ему, Кузьма.

— Я бы дал ему сейчас!— озлился Кузьма.— Нашелся тоже!.. Если по-человечески спрашивают, так надо отвечать!

Платоныч с удивлением посмотрел на племянника. А Гринька улыбнулся, показывая желтые редкие зубы.

— Ты сосунок еще. Не вам меня, конечно, допрашивать.

— Уведи его,— сказал Платоныч.

Гринька поднялся, пошел к двери.

— Что выручили вчера — спасибо.

— Иди,— Кузьма подтолкнул его в спину.

Когда дверь кладовой закрылась за Гринькой, он сказал оттуда:

— А что покурить не дали — нет вам от меня хорошего слова.

— Без курева посидишь,— отрезал Кузьма.

Вечереет. Краем леса, по грязной дороге идут Гринька и Кузьма. Гринька — впереди, Кузьма — сзади, в нескольких шагах.

В лесу пахнет смольем. А с другой стороны, с пашни, несет болотной сыростью талой земли. Где-то далеко-далеко над степью, в пылающей заревой дали, слабо звучит песня. И шумит-шумит за лесом река.

Гринька не торопится. Шагает вразвалку, поглядывает по сторонам. Руки его крепко связаны сзади ремнем.

— Как думаешь, сколько отвалют?— спрашивает он.

— Не знаю,— отвечает Кузьма.— Я не судья.

— Ты большевик?— опять спрашивает Гринька, немного помолчав.

— Не твое дело.

— Я большевиков уважаю,— серьезно говорит Гринька.— Здорово они Миколку-царя пужанули. А правду говорят, он еще в тюрьме сидит?— Гринька чуть замедлил шаг, оглянулся.— Вроде Ленин ваш не велит его трогать. Пять лет уж сидит.

— Кого не трогать?

— Миколку-царя.

— На том свете твой Миколка...

Некоторое время идут молча. Неожиданно Гринька загорланил:

Эх, ето было давно-о,
Лет пятнадцать наза-ад,
Везя девушку трактом почтовы-ым...

— Замолчи!— приказал Кузьма. Он опасался, что разбойник накличет песней своих дружков.

Гринька тряхнул головой и запел громче:

Эх, круглолица, бела,
Д'ровно тополь стройна-а
И покрыта...

Кузьма подставил ему сзади ногу. Гринька упал лицом в грязь.

— Я кому сказал, замолчать?

Гринька перевернулся на спину, выплюнул изо рта грязь и, глядя снизу на Кузьму, жалостливо сморщился.

— Попался бы ты мне, дитятко, в темном месте, уж я б тебя приласкал...

— Вставай!

— Не хочу.— Гринька широко раскинул ноги и смотрел на Кузьму вызывающе.— Хочу отдохнуть малость.

Некоторое время Кузьма не знал, что делать. Потом склонился над Гринькой, серьзно сказал:

— Довести я тебя все равно доведу. Но уж там расскажу, так и знай, как ты дорогой выламывался. За это могут накинуть лишнего...

Это было похоже на правду. Гринька задумался.

— А песню дашь допеть?

— Только негромко.

Гринька поднялся, встряхнулся и пошел. Петь ему расхотелось.

Шли молча. Быстро темнело.

Кузьма напряженно всматривался вперед.

Прошли по гнилому мостику через широкий ручей, поднялись на взгорок — здесь дорога круто заворачивала в лес.

— Подожди,— сказал Кузьма, отошел к ближней сосне, сел.— Я переобуюсь.

Гринька остался стоять на дороге.

Когда Кузьма склонился к сапогу и начал его стаскивать, Гринька незаметно оглянулся, глотнул слюну. Кузьма закусил губу, сморщился — сапог никак не снимался. Гринька в два прыжка домахнул до деревьев и с треском стал удаляться в лес. Кузьма выхватил наган, выстрелил вверх. Тотчас, словно из-под земли выросли, появились Платоныч и Федя. Федя на секунду прислушался и побежал за Гринькой. Кузьма прыгал на одной ноге, натаскивая на ходу сапог,— за ним. Платоныч некоторое время бежал рядом, потом схватился за сердце и остановился.

— Всё, ребята. Смотрите там...

Бежали осторожно, часто останавливались и слушали. Гринька, одуревший от удачи, ломил напролом, без передышки. Так продолжалось долго. Кузьма начал задыхаться, в голове сделалось горячо, в глазах появились светлые круги. Федя тоже часто дышал, но бежал легко и почти бесшумно.

Наконец Гринька замучился, пошел шагом. Он был недалеко — слышно было, как он трещал сучьями и отхаркивался.

Стали подходить к нему еще ближе.

Федя шел настолько неслышно, что Кузьма раза два терял его, прибавлял шагу и натыкался на его спину.

Гринька все шел и шел. Иногда останавливался послушать... Тогда останавливались и замирали Федя и Кузьма. Гринька шел снова. И снова шаг в шаг, затаив дыхание, шли Федя и Кузьма.

Опять Гринька остановился. Долго стоял, прислушиваясь, потом двинулся... почему-то назад. Федя лег на землю, тронул Кузьму — сделать так же. Кузьма лег.

Гринька остановился шагах в четырех, выбрал на ощупь сосенку потоньше, стал перетирать об нее ремень.

Под Кузьмой, когда он лег, что-то зашевелилось колючее. Он инстинктивно дернулся вверх, но под ногой громко треснул сучок. Кузьма упал опять и, превозмогая боль, придавил что было силы это колючее животом.

Гринька замер. Стало тихо.

Колючее упрямо шевелилось под сердцем Кузьмы. «Сейчас цапнет,— ждал он, покрываясь с головы до ног потом.— Сейчас...»

Гринька долго слушал, потом вздохнул и снова принялся за ремень. Зашелестела, посыпалась на землю сосновая кора, зашумели веточки.

Кузьма медленно, очень тихо приподнялся на руках. Что-то покатилось, зашуршало из-под него. Так же тихо, очень тихо Кузьма опустился и уткнулся лицом в молодую пахучую травку. «Ежик,— понял он наконец.— Дьяволенок такой!»

Гринька кончил свою работу. Негромко засмеялся. Слышно было, как звякнул пряжкой откинутый ремень.

— Эх вы... москалики!— сказал он и опять засмеялся — коротко, удовлетворенно. И пошел.

Федя поднялся. Кузьма тоже встал. Пошли за Гринькой. Тот шагал теперь неторопко. Шорох веточек и потрескивание сучьев под ногами обозначали его путь. Вдруг его не стало слышно. Федя прошел несколько шагов, постоял и сел, привалившись спиной к широкой сосне. Усадил рядом Кузьму.

— Отдыхает,— шепнул он ему на ухо.

Кузьма долго, до боли в глазах, вглядывался в сумрак, но увидеть ничего не мог. Тогда он стал смотреть в темное небо. Потом кто-то осторожно взял его за плечи и привалил к теплой сосне. В последний момент успел подумать: «Не заснуть бы, елки зеленые...»

И заснул. А когда проснулся, уже брезжил рассвет. Над ним стоял Федя с хмурым, серьезным лицом:

— Ушел Гринька-то. Ночью. Я думал, он отдыхать лег... Ушел.

Кузьма тряхнул головой, хотел принять это за сон и понял, что правда: Гринька ушел.

— Я найду его,— сказал Федя, не глядя на Кузьму.— Думаю, что он не с той бандой все-таки...

15

Пили до одури, до зеленых чертей. Пили, не удивляясь и не думая о том, сколько может выдержать человеческое сердце.

В короткие минуты прояснения Егор видел все ту же желтую морду Закревского и чугунную челюсть Васи. «Что делается?»— пытался понять он, но потом все вокруг сворачивалось в свистящий круг, и Егору тоже хотелось кружиться и топтать кого-нибудь ногами. Боль в теле унялась.

Во время одного такого просветления Егор увидел на столе голую девку. Рядом стоял Закревский и орал:

— Танцуй! Танцуй, корова!

Он был серый и злой. И кричал зло и тонко.

Девка прикрывала руками стыд и плакала в голос. На нее со всех сторон напряженно и бессмысленно смотрели пьяные глаза. Никто не понимал, почему она здесь оказалась и чего от нее хотят. Один Закревский знал, как все это должно быть, и его бесило, что девка не танцует, на удивление его дружкам.

— Танцуй!— визжал Закревский.

Девка не танцевала. Плакала.

Закревский плюнул и похабно выругался.

— Азия!— горько воскликнул он, пряча наган в карман.— Научишься ты когда-нибудь жить по-человечески!.. Убрать эту выдру!

Вася взял девку в охапку и под шумок хотел отнести в горницу (этот человек был пьян меньше других, хоть пил, кажется, больше). Но Закревский строго прикрикнул:

— Вася! — Вася пустил девку, подталкивая в горницу, хлопнул ее ниже спины.

— Изюм!

Снова загалдели, заорали, засвистели... Все опять с грохотом провалилось в тартарары.

Игнатий вернулся домой рано утром. Перешагнув порог, зажал пальцами нос и отступил назад — стоял такой густой запах перегорелой водки и блевотины, что у него закружилась голова.

На полу, на печке, под столом спали люди. Лежали в самых неповторимых позах, точно груда нарубленных тел. Стены гудели от храпа.

Игнатий поискал глазами Закревского, прошел в горницу. Закревский спал на голом полу. Белая рубашка задралась к шее — видна была узкая спина с крупными мослами хребта.

Кондрат с трудом приподнял голову с подушки:

— Приехал. Узнаёшь дом-то?

Игнатий остановился посреди горницы, снял шапку, долго и внимательно смотрел на Закревского — как на покойника. Непонятно для чего сказал:

— У него отец генералом был.

— Пьет он тоже по-генеральски... Наших сосунов втравили, паскуды.

Игнатий поднял глаза:

— Кого?

— Макарку с Егором. Там лежат,— Кондрат устало прикрыл глаза, потрогал ладонью голову.— Что они тут выделывали! Был бы здоровый, всех до одного подушил бы, как собак бешеных... Вот этого особенно.— Он кивнул на Закревского.

Игнатий подошел к генеральскому сыну, крепко тряхнул за плечо:

— Э-э!

Тот поднял голову, долго ловил мутным взглядом лицо Игнатия.

— Ты?

— Соображать можешь сейчас? Поговорить надо.

— А что такое?— Закревский хотел вскочить, но его бросило в сторону. Он взмахнул руками и ударился головой об стенку. Потирая ушибленное место, сказал:— Здорово мы... черт возьми! У тебя что-нибудь серьезное?

— Пошли на улицу.

Они вышли и через некоторое время вернулись. Закревский был без рубахи, мокрый. Вытерся какой-то тряпкой, надел чистую рубаху Игнатия, пошел будить своих людей. Вид у него был озабоченный. Видно, вести Игнатий привез нехорошие.

Они вместе растаскали спящих, выгнали всех на улицу, чтобы те хоть немного отошли на вольном воздухе. Кажется, готовились уезжать.

В горницу вошел Егор. Присел на кровать к Кондрату.

— Дорвались до вольной жизни?— сердито спросил Кондрат.

Егор, подперев голову руками, мрачно смотрел в пол.

— Что дома-то наделали?

— С отцом подрались.

— Ну и что теперь?

— Что...

— С ними, что ли, поедете?

— Зачем? Я не поеду.— Егор похлопал себя по пустому карману.— Курево есть?

— Вон под подушкой. Надо домой ехать. Пахать скоро...

— Домой я тоже не пойду,— тихо, но твердо сказал Егор, слюнявя губами край газетки.

— Куда ж ты денешься?

— Найду.

— Здорово отца-то измолотили?

— Не знаю.— Егор затянулся самосадом, закрыл глаза. Вошел Макар. Держал в руках бутылку и два стакана. Подошел к Егору, повернулся боком:

— Достань в кармане два огурца.

Егор вытащил огурцы.

— Похмелимся. У меня во рту как воз назьма свалили.— Макар глянул на Кондрата, усмехнулся.— Может, тоже выпьешь?

— Вы домой поедете или нет?— строго спросил Кондрат.— Вы што, сдурели, что ли! Надо ж на пашню выезжать...

Макар выпил и закрутил головой:

— Ох, сильна, падлюка!

Егор тоже выпил и откусил половинку огурца.

Кондрат свирепо глядел на них.

— Домой?— переспросил Макар.— Домой я теперь долго не приду.

— Тьфу!— Кондрат перекатил больную голову по подушке к стене.— Дай бог поправиться — найду вас, обормотов, и буду гнать до самого дома бичом трехколенным. По три шкуры спущу с каждого.

— Бич два конца имеет,— без всякой угрозы сказал Макар.

— Увидишь тогда, сколько!.. Ты у меня враз шелковым станешь, погань ты!— Кондрат приподнял голову. Коричневые, с зеленоватой пылью глаза его смотрели до жути серьезно и прямо. Даже Макар не выдержал, небрежно игранул крылатыми бровями и отвернулся.

Вошел Закревский. Он был уже одет. Понимающе улыбнулся.

— Последние минуты? Пора, братцы. Рога, так сказать, трубят.

— Я никуда не поеду,— сказал Егор.

Закревскии не удивился.

— А ты?— повернулся он к Макару.

— Еду.

— Макар!— снова приподнялся Кондрат.— Последний раз говорю!

— А что он такое говорит?— спросил Закревский у Макара.— Мм?

— Ты... гад ползучий!— крикнул Кондрат.— Я счас соберу силы, поднимусь и выдерну твои генеральские ноги.

У Закревского на скулах зацвел румянец. Он вырвал из кармана наган и двинулся к Кондрату. Тонкие губы скривились в решительную усмешку.

Егор, не поднимаясь, ногой в живот отбросил его от кровати.

Макар подхватил падающего главаря и ловко вывернул из руки наган.

Закревский растерянно и нервно провел несколько раз ладонью по лицу.

— Что вы?..— Оглянулся.

Макар стоял у двери, прищурившись.

— Дай,— потянулся Закревский за наганом.— Черт с вами... сволочи. Дай.

— Пойдем, на улице отдам.

— Ты едешь со мной?

— Еду.

— Сволочи,— еще раз сказал Закревский и вышел, не оглянувшись.

Макар нагнул голову и пошел следом. Тоже не оглянулся.

Братья долго смотрели на дверь, как будто ждали, что она откроется, войдет Макар и скажет: «Раздумал».

Вместо Макара вошел Игнатий.

— Макарка поехал с ними,—тихо сказал Кондрат.— Удержи... а?

Игнатий махнул рукой:

— Пусть сломит где-нибудь голову. Мне об своей подумать некогда.

16

Показав Кузьме, как идти домой, Федя, не попрощавшись, скорым шагом пошел в другую сторону.

— Федор!— крикнул Кузьма, когда тот изрядно отошел.

Федя остановился.

— Возьми!— Кузьма показал наган.

Федя махнул рукой: «Нет» — и продолжал свой путь.

Напрямик, через лес, без дороги, вышел он к Баклани-реке, долго искал по берегу лодку. Наконец увидел чью-то плоскодонку, примкнутую к большой коряге. Сбил камнем замок, стащил в воду и, отгребаясь плашкой для сиденья, переплыл реку. Вытащил подальше на берег лодку и снова углубился в лес. Долго шагал, разнимая руками ветки... Перепрыгивал через ручьи и колоды.

К полудню вышел на открытую поляну. Посреди поляны стояла избушка. Избушка та была небольшая, с маленьким окошком и с жестяной трубой на крыше. Из трубы синей струйкой кучерявился дымок и низко, слоями, растягивался по поляне.

Федя огляделся по сторонам, вошел в избушку.

Перед камельком на корточках сидел белоголовый древний старик с мокрыми, подслеповатыми глазами. Он долго рассматривал вошедшего, потом сказал:

— Никак Федор?

— Он. Здорово, отец.

— За утятами?

— Не совсем... По делу шел, завернул обогреться.

— Правильно,— одобрил старик.— Садись. Сейчас щерба будет.

Федор сел, оглядел избушку. По стенам до самого потолка, висели знакомые пучки засушенных трав. Смешанный запах этих трав не выветривался из избушки ни зимой ни летом. В переднем углу висела большая икона божьей матери.

Этот старик Соснин Михей (Михеюшка, как его называли в деревне), был из Баклани. Жил у вдовой дочери, давно не работал. Случилось так, что на его глазах с деревенской церкви своротили крест... Михеюшка побледнел, ушел домой и слег. А когда поправился маленько, ушел совсем из деревни. Поселился в охотничьей избушке. Кормили его охотники, и раза два в месяц

приходила дочь, приносила харчишек. Иногда, в хорошую погоду, сам добывал в реке рыбку. В деревню не собирался возвращаться.

— Шел бы домой, чего заартачился-то? Живут же другие старики... Что они, хуже тебя, что ли?— говорила дочь в сердцах.

— Пускай живут,— покорно отвечал Михеюшка.— Пускай живут. Я им ничего говорить не буду. Я свой век здесь доживу.

— Как здоровьишко, отец?— спросил его Федор.

— Хорошо, бог милует.

— К тебе сёдня никто не заходил?

— Нет, никого не было.

— Я посижу у тебя тут до ночи.

— Сиди, мне што. Дочь моя не померла там?

— Не слышал.

— Долго не идет что-то. Я уж харчишками подбился. Увидишь — скажи ей.

— Скажу.

До поздней ночи ждал Федя. Наколол старику дров, натаскал в кадушку воды, рассказал все новости деревенские, поговорили о ранешней жизни.

Михеюшка, помолившись на сон грядущий, охая и жалуясь на нонешние времена, полез на нары, а Федя остался сидеть у окна.

Перед дверцей камелька, на полу, затейливо переплетаясь, играли желтые пятна света. Потрескивали дрова в печке; по избушке ласковыми волнами разливалось тепло. Ворочался и вздыхал в углу Михеюшка; сухо трещал сверчок.

Федя закурил и, удобнее устроившись на лавке, стал смотреть в окошко. Так, не двигаясь, просидел часа два. Никто не приходил.

Вдруг на улице послышалась какая-то возня. Федя втянул голову в плечи, перестал дышать, глядя на окно... Ему показалось — или он в самом деле увидел?— что в окно, в нижнюю клеточку, кто-то заглянул. Несколько минут было тихо. Потом скрипнули доски крыльца. Федя на цыпочках перешел от окна к стенке. Дверь медленно, с певучим зыком открылась. Кто-то вошел, так же медленно закрыл за собой дверь, стоял не двигаясь.

— Это ты, Гринька?— спросил Федя.

Вошедший громко глотнул слюну. Спросил:

— Кто это?

— Проходи. Я тебя давно жду.— Федя подошел к двери, захлопнул ее плотнее.

— Что-то не узнаю...

Федя выбрал около камелька лучину потолще, зажег, поднял над головой.

— Федя?!— Гринька с минуту заметно колебался, потом прошел к камельку, протянул к огню озябшие руки.— А чего... почему, говоришь, ждал меня?

— Так я же...— Федя воткнул лучину в пазовую щель над столом,— я ж за тобой пришел.

Гринька выпрямился, посмотрел на дверь, потом на Федю. Растерянно и жалко сморщился.

— Там есть кто-нибудь?— спросил он, кивнув на дверь.

— Есть. В кустах сидят с ружьями.— Федя гыкнул и стал подыматься с чурбака. Гринька тихо попросил:

— Погоди. Дай хоть отогреюсь маленько... окоченел весь. Ночи холодные еще.

Федя присел на корточки рядом с Гринькой, подкинул в камелек смолья. Огонь вспыхнул с новой силой, громко загудел в печурке.

— Разыскала беда... пошло косяком,— вздохнул Гринька.— Попадаюсь, как дитё.

Федя смотрел на огонь.

Гринька тоже замолчал: с удовольствием отогревался. На запястьях его больших грязных рук еще видны были следы вчерашнего ремня.

— Ты теперь сыщиком работаешь?— не без горечи спросил Гринька.

— Нет,— добродушно откликнулся Федя.— Помочь надо хорошим людям. Да и ты погулял, Гринька. Хватит, однако. Сколько уж? Годов восемь? До переворота ведь ишо...

— А чего... эти не заходют?— спросил Гринька и опять кивнул головой на дверь.

Федя тоже посмотрел в ту сторону.

— Там нету никого.

— Ну?— Гринька оживился.— Ты один?

— Ага.

— А если убегу?

— Не убежишь.— Федя подбросил в печурку.— От меня не убежишь.

Гринька оглядел гигантскую фигуру Феди, цокнул языком.

— М-дэ-э... Не та уж у меня силушка, верно. Утром пойдем?

— Можно утром.

Надолго замолчали. Потом Гринька скромно кашлянул в кулак и начал издалека:

— Ты говоришь — погулял...— Он прищурился, почесал около уха.— В том-то и загвоздка, что не погулял. Только собрался — и вот... не успел. А погулять бы сейчас можно. Хорошо, с треском!

Он посмотрел на Федю, проверяя действие своих слов. Федя не заинтересовался.

— Да-а,— вздохнул Гринька,— обидно. Всю жизнь копил — и так в земле все останется...— Он опять посмотрел на Федю.

Тот как будто не слышал.

Гринька нетерпеливо пошевелился и продолжал:

— Золота у меня с пудик припасено. В земле зарыто. Жалко — пропадет.

Федя покосился на него.

Гринька, не раздумывая больше, взял быка за рога:

— Пойдем выроем? Половину возьмешь себе, половину — мне. А? И я уйду из этих краев насовсем, от греха подальше. Начну мирную жизнь. Как думаешь?

— Нет, Гринька.— Федя покачал головой.

— Зря,— искренне огорчился Гринька.— Как был ты дураком, Федя, так дураком и помрешь.

— От дурака слышу,— ответил Федя.— Я честно работаю, а ты разбойник.

— Он работает!— Гринька сердито плюнул в огонь.— Конь тоже работает. Только пользы ему от этого нету, коню-то.

— Сморозил, однако. Мне есть польза.

Гринька неискренне, зло засмеялся.

— Как хочешь, Федор, но таких... уж совсем дураков... я еще не видывал. Как тебя земля дёржит?

— Ничего, дёржит,— не обиделся Федя.

— Тебе, наверное, наговорили: что вот, мол, Федя, работай, а мы тебя похвалим за это! А сами они небось ходют себе ручки в галифе. Видел я их в городе, когда в тюрьме был. Насмотрелся.

— Врешь ты все,— устало сказал Федя.

— Я ему одно — он другое. Ну и черт с тобой, коло-

да сырая! Ему же добра желают, а он брыкается. Што тебе это золото, помешает?

— Оно ворованное.

— Какое оно ворованное! Это мне товарищ один отдал. «Возьми,— говорит,— Гринька, потому что ты хороший человек и верный товарищ».

— Товарищ подарил... А потом ты куда этого товарища? В Баклань спустил?

— Тьфу!— Гринька опять сплюнул в огонь.— Дай закурить. С тобой разговаривать — надо сперва барана сожрать.

Закурили. Лучина заморгала и потухла. Некоторое время во тьме плавали два папиросных огонька. Потом Федя встал, зажег новую лучину.

— Пойдем выкопаем золото?— как бы в последний раз спросил Гринька.

— Нет. И тебя не пушшу, даже не думай про это.

— Кхм... Ну сделаем тогда так: не хочешь отпускать — не надо. Но пойдем выкопаем золото. Половину я с тобой вместе занесу одним хорошим людям, а другую берешь себе. Можешь отдать его кому хошь — хоть посмеются над тобой. Таких лопоухих любют. Но меня совесть заест, если я это золото в земле оставлю. Понимаешь? Вернусь я теперь не скоро... Еще не знаю, вернусь ли. Ну? Теперь-то чего думаешь?

— Далеко это?

— Версты полторы отсюда.

Федя долго молчал.

— Утром сходим.

— В том-то и дело, што утром нельзя,— могут увидать.

— А кому ты хошь половину отнести?

— Одним моим знакомым... Я потом скажу тебе.

Федя задумался.

Гринька с надеждой смотрел на него.

— Пойдем,— решился Федя.

Гринька крепко хлопнул его по плечу.

— Люблю я тебя, Федор, сам не знаю за што. Прямо вся кровь закипела, когда тебя увидал!

...Шли друг за другом. Гринька — впереди, Федя — сзади. Федя нес на плече лопату.

Прошли с километр.

— Счас... скоро,— сказал таинственно Гринька.

Подошли к какой-то горе, очертания которой смутно и сказочно-страшно вырисовывались на черном небе.

Гринька долго кружил около этой горы, отсчитывал шаги от одинокой сосны на заход солнца, бормотал что-то себе под нос. Подошли к большому камню-валуну, прислоненному к горе...

— Помоги,— велел Гринька.

Налегли на камень, он сдвинулся.

— Постой здесь. Я счас...

И не успел Федя заподозрить его в черных мыслях, не успел вообще подумать о чем-либо, Гринька исчез в дыре, которую закрывал камень.

Федя, склонившись над ней, ждал.

— Ну чо?— спросил Федя.

Никто не ответил.

— Гринька!— позвал Федя.

Ответом ему была черная немая пустота. Федя зажег спичку, влез в пещеру и осторожно пошел в глубь ее, держа спичку над головой.

— Гринька-а, гад!

Сырые гулкие стены, словно издеваясь, ответили: «...ад-ад-ад...»

Пещера разветвлялась вправо и влево. Федя остановился.

— Гринька, кикимора болотная!

И опять стены воскликнули насмешливо и удивленно: «...ая-ая-я-я-я!..»

Федя наугад свернул вправо, прошел шагов десять и... вышел из пещеры на вольный воздух. Долго стоял столбом, медленно постигая чудовищное вероломство. Ударил себя по лбу и пошагал прочь.

Утром в избушку пришел Егор.

— Здорово, Михеич!

Старик долго рассматривал парня.

— Что-то не узнаю... Чей будешь?

— Любавин.

— Емельян Спиридоныча?

— Ага.

— Молодые... Не упомнишь всех. За утями?

— Ага. Поживу тут у тебя недельку-другую.— Егор снял с плеча ружье, холщовый мешок, устроил все это в углу на нарах.

Михеюшка несказанно обрадовался:

— Правильно! Правильно, сынок. Дело молодое, только и позоревать на бережку. Я вот те расскажу, как мы раньше охотничали...

Егор с удовольствием стащил промокшие сапоги, завалился на нары, вытянув ноги к камельку.

— Ну, как вы раньше охотничали?

— Сича-ас,— весело засуетился Михеюшка. Наскоро подкинул в камелек, свернул «косушку» и, устроившись получше на чурбаке, начал:— Это ведь когда было-то! До японской. Соберемся, бывало, человек пять-шесть ребят, наладим, братец ты мой... тебя как зовут, я не спросил.

Ответа не последовало — Егор крепко спал.

Михеич не огорчился.

— Уморился. Молодые... знамо дело. Дэ-э...— Он поправил короткой клюкой дрова, подумал и стал рассказывать себе:— Соберемся мы это впятером, дружки... А здоровые какие все были! Эх ты, господи, господи!.. Прошла жись. Вроде сон какой.— Он замолчал, задумался.

17

Платоныч с Кузьмой припозднились в сельсовете. Платоныч выписывал из разных книг себе в тетрадку все крестьянские хозяйства в деревне. (Приезжал из района товарищ, и они долго беседовали о чем-то в сельсовете. После этого Платоныч и занялся списком).

Кузьма сидел рядом с ним, смазывал ружейным маслом наган.

Шипела и потрескивала на столе семилинейная лампа, поскрипывало перо Платоныча — он работал с увлечением (сказал, что попросили помочь в одном деле).

— Дядя Вася...

— Ну.

— Как ты вообще думаешь... не пора мне жениться?

Платоныч поднял голову, некоторое время смотрел на племянника. Тот, нахмурившись, старательно тер ветошью и без того сияющий ствол нагана.

Старик пошевелил концом ручки хилую бородку, опять склонился к тетрадке, но писать перестал.

— Ты серьзно, что ли?

— Конечно.

Платоныч опять посмотрел на Кузьму.

— Я думаю — еще не пора.

— Почему?

— Ты здесь, что ли, жениться-то хочешь, я никак не пойму?

— Здесь,— Кузьма впервые посмотрел ему в глаза.

— На Клавде?

— Нет.

— А на ком же?

— Ну... Нет, ты вообще-то как... твердо знаешь, что нет?

— Твердо.

— Чего же тогда говоришь...

Кузьма кхакнул, поднялся с места, прошел к порогу. Там остановился, посмотрел на Платоныча. Встретил его внимательный взгляд.

— Чудной ты парень, Кузьма. Что это, шуточки тебе — жениться? Приехал, чуть пожил — и сразу... Здо́рово живешь! А потом куда?

— Что «куда»?

— Ну, куда с женой-то?

— Куда сам туда и она. Вместе.

— Пошел ты!— рассердился Платоныч.— Рассуждаешь, как... Даже злость берет.

— Значит, не поможешь мне в этом деле?

— Хватит, ну тя к чертям! Ты просто ополоумел, Кузьма!

— Чего ты кричишь?

— Как же мне не кричать, скажи на милость? Ты ж сам говорил мне, чтобы я не забывал, зачем нас сюда послали. А теперь что получается? Сам и забыл.

— Я помню.

— Так о чем разговор?! Ты соображаешь хоть немного?! Его послали вон на какое дело, а он... Чтоб я больше не слышал этого!

— Да ты не кричи. Я же спокойно...

— Он спокойно!.. А я не могу спокойно, когда человек глупые слова на ветер бросает.

— Какой ты оказался...

Платоныч тихо спросил:

— Какой?

Кузьма прошелся от порога к столу и обратно.

— Не сердись, дядя Вася. Но чего ты, например, испугался? Ведь я сам могу за себя ответить.

— Вот и отвечай.

Платоныч заставил себя работать, но долго не мог

писать. Отодвинул тетрадь, устало потер пальцами седые виски.

— Помог бы лучше опись вот составить. Председательская работа вообще-то. А этот Колокольников в рот богатеям заглядывает. Такого понапишет, что Федор с Яшей зажиточными окажутся.

Кузьма ходил по комнате, курил.

— Чья девка-то?— неожиданно спросил Платоныч.

— Попова. Помнишь, мы были... где детишек много.

— Ну... и влюбился?

— Не знаю... Хожу, света белого не вижу. Вся голова в огне.

— Ты гляди, что делается! Когда ты успел-то?— изумился Платоныч.

Кузьма взъерошил пятерней короткие волосы, сказал недовольно:

— Сразу.

— М-дэ...— Платоныч встал, начал одеваться.— Не знаю, парень, что и придумать. Ты, конечно, думаешь: вот, мол, старый хрыч, ничего не понимает. А я понимаю. Будь это в другое время — на здоровье. А тут... даже перед крестьянством как-то неловко, понимаешь? Не успели приехать — бах-тарарах, свадьба! Подумают, что мы в каждой деревне так. Ты подожди малость. Это никуда не уйдет, поверь мне, племяш.

— Не поможешь?

Платоныч сердито сунул тетрадку в карман, первый направился из комнаты.

— Гаси лампу, пойдем спать.

На другой день Кузьма вскочил чуть свет, хозяева и Платоныч еще спали. Осторожно оделся, умылся на улице и пошел к Феде.

— Только сейчас вышел,— сказала Хавронья.— Вот по этой улице иди — догонишь его.

...Федя шагал серединой дороги. Руки в карманах, не спеша, вразвалку — тяжело и крепко. Когда его хотели обидеть, его называли «земледав». Но обидеть Федю было так же трудно, как трудно было бы свалить на землю это огромное тело.

Кузьма догнал его, поздоровался за руку. Сказал:

— Хороший день будет.

— Выезжают пахать,— Федя показал следы плугов на дороге.

— Да.

Федя через плечо сверху посмотрел на Кузьму.

— Ты не горюй шибко, Гриньку я вам добуду. Вот маленько управлюсь с работой... Я знаю, где его надо искать.

Кузьма кивнул головой, достал жестяной портсигар, щелкнул ногтем по крышке и снова положил в карман.

— Понимаешь, какое дело, Федор... Гринька этот... черт с ним. Найдем, конечно. Тут у меня сейчас другое дело.— Кузьма кашлянул в ладонь, огляделся зачем-то кругом. Посмотрел в глаза Феде и сказал просто: — Пойдем со мной жениться.

Глаза Феди округлились.

— Не жениться, то есть сватать,— поправился Кузьма.— Я один что-то трушу.

— Ха!— Федя остановился.— А к кому?

— К Поповым.

— К Сергею?

— Да.

— Пошли.— Федя решительно двинулся вперед, по его лицу было видно, что он одобряет выбор Кузьмы.— Постой,— он опять остановился.— А бутылку-то надо или нет?

— Не знаю.

— Возьмем на всякий случай. Потребуется — она у нас в кармане. Пошли ко мне.

Так же решительно направились в обратную сторону.

— Я люблю всякие свадьбы,— признался Федя.— Весело бывает.

— Федор, у меня денег-то нету.

— Пойдем. У меня тоже нету.

Хавронья встретилась в ограде.

— Давай нам на бутылку,— сразу сказал Федя.

Хавронья показала обоим фигу:

— Нате вот, на закуску еще.

— Нам для дела, глупая,— терпеливо пояснил Федя.

— Для какого дела?

— Мы свататься идем.— Федя посмотрел на Кузьму. «Извини, конечно, иначе не даст»,— говорил его взгляд. Кузьма согласно кивнул головой.

— Нету у меня денег,— отрезала Хавронья.

Федя долго смотрел на нее.

— Чего уставился-то? Правда, нету. Были бы — для такого дела дала бы.— Денег у нее действительно не было.

Федя почесал затылок.

— Хм... Достань мне рубаху новую.

Хавронья вынесла рубаху, синюю, с белыми горошинами; Федя тут же, в ограде, переоделся.

Хавронья сгорала от любопытства, но выдерживала необходимую паузу.

— Кого же сватать-то идете?— безразлично спросила она, скрестив на высокой груди полные руки.

— Секрет,— сказал Федя, подпоясываясь узким сыромятным ремешком.

Хавронья обидчиво поджала губы.

— Хоть бы уж молчал, пугало гороховое! Туда же... «Секрет»!

Федя пошел из ограды, Кузьма — за ним. Когда они были уже за воротами, Хавронья крикнула:

— У дружка твоего есть деньги-то! Они вчерась из города приехали! — Ей все-таки хотелось, чтобы они нашли денег. Она бы тогда имела возможность рассказывать у колодца бабам: «Мой-то сватать пошел за этого, приезжего-то. Длинного. Все утро бегали — деньги доставали». За кого пошли сватать — это она надеялась узнать.

— А верно она про Яшку-то,— сказал Федя.— Я совсем забыл. Пошли к нему.

Яша дал денег, изъявил желание тоже идти сватать, но Федя отказал:

— Ты после на свадьбу придешь.

По дороге зашли к старухе самогонщице, взяли бутылку самогону и направились к Поповым.

— Федор, разговаривать будешь ты.

— Конечно. Ты, главно... это... не волнуйся.

Но чем ближе подходили к поповской избе, тем больше Кузьма трусил.

— Пойдем потише,— попросил он.

— Ладно.

Оставалось каких-нибудь метров двадцать до избы.

— А как ты будешь говорить, Федор?

— Не знаю,— честно признался Федя.— Я ни разу не сватался.

— А как же ты женился?

— Так это ж просто у нас делается. Отец ходил. Я ее и не знал почти, Хавронью-то.

— Ну, уж ты как-нибудь... постарайся.

— Конечно!— Федя поплевал на ладонь, пригладил

жесткие прямые волосы. Волнение Кузьмы передалось и ему, он тоже начал робеть.

Кузьма застегнул ворот гимнастерки, на ходу стер рукавом кожанки какое-то пятно на колене...

Перед самой дверью, когда Федя уже протянул руку к скобке, Кузьма остановил его. Сказал шепотом:

— Погоди... постоим немного.

Федя охотно отступил от двери.

Постояли.

— Ну пошли? Постучись сперва.

— Зачем?

— Так лучше...

Федя казанком указательного пальца неуверенно стукнул в дверь. Им никто не ответил. Федя постучал громче. Дверь открылась...

На пороге стояла Марья.

— Здравствуйте. Проходите.

Федя хотел пропустить вперед Кузьму, а тот — Федю... Вошли вместе.

Сергея Федорыча дома не было. Ребятишек тоже не было — бегали на улице. У окна, на скамейке, в коричневой короткой шубейке и цветастом платке сидела подружка Марьи, Нюрка, щелкала семечки.

Федя остановился у порога:

— А где отец?

— А они с кем-то за лесом уехали. Вот,— показала глазами на Кузьму и покраснела,— для школы ихней.

— А-а...— Федя тяжело сел на кровать, хлопнул ладонями себя по коленям.— Жалко.

Кузьма стоял у порога, пристально смотрел на подружку Марьи.

Марья перевела взгляд с Феди на Кузьму:

— А вы что хотели-то?

— Да он нам нужен по одному делу,— сказал Федя.

Кузьма упорно глядел на Нюрку. Она страшно мешала ему. Не будь ее, казалось Кузьме, Федя давно бы заговорил о деле.

Федя потрогал бутылку в кармане. Встал.

— Ну, нет так нет.— Он двинулся к двери, стараясь не глядеть на Кузьму.

Вышли. В ограде остановились.

— Не оказалось Сергея дома,— словно извиняясь, сказал Федя, озабоченно глядя вдоль улицы.— Надо же...

— Да, не повезло, называется,— согласился Кузьма. Он тоже смотрел в ту сторону.

Они как будто ждали, что Сергей Федорыч вот-вот подъедет.

— Зря мы вышли,— сказал вдруг Кузьма.— Пойдем обратно!

Федя растерянно посмотрел на него.

— Сейчас?

— А что? Попросим, чтобы эта... вышла.

— Как ты ее попросишь? Придется уж так... А может, вечером? Сергей приедет...

— Пойдем, Федор. Что-то со мной... черт ее знает, что делается. Трясет всего.

Опять Федя постучал в дверь и сам открыл ее. Вошел первым.

— Марья...— начал он решительно, но запнулся, посмотрел на цветастую, строго сказал ей:— Нюрка, выйди на улицу! Сидишь — прямо быдто вросла в эту скамейку.

Нюрка удивленно посмотрела на Марью, фыркнула и пошла на выход, значительно глядя на Кузьму.

Федя опять сел на кровать и опять хлопнул руками по коленям. Кузьма опустился на низкое припечье (острые коленки его оказались почти на уровне головы), сжал до отеков кулаки.

— Марья... Ты... это... замуж-то собираешься?— спросил Федя, пытаясь изобразить на лице нечто вроде улыбки.

Марья занялась румянцем во всю щеку. Смотрела в пол.

Федя кашлянул и объявил — как гору с плеча свалил:

— Он хочет взять тебя. Он хороший человек.

Марья вскинула голову, посмотрела на Кузьму, потом на Федю, сказала негромко:

— Нет.

Кузьма не шевельнулся. Только крепче сжал кулаки.

— Не хочешь, значит?— спросил Федя, нисколечко не удивляясь.— Зря.

Наступила гнетущая тишина. Никто не знал, как выйти из этого положения.

— А пошто не хочешь?— спросил Федя.

Кузьма поднял на него умоляющие глаза, но Федя не заметил этого, он смотрел на Марью с упреком.

Марья качнула головой:
— Не хочу. Что вам еще?..
Кузьма встал. Федя тоже поднялся.
На этот раз Кузьма вышел первым.
На улице, вздохнув всей грудью, сказал Феде:
— Даже легче стало, ей-богу.
— А чего же... конечно,—«согласился» Федя. Ему не стало легче. Провал сватовства он относил только за свой счет. Он не верил, что Марья не хочет выходить замуж за Кузьму. Надо уметь сватать.
Пошли вместе. На перекрестке, прежде чем свернуть в кузницу, Федя замедлил шаг.
— Куда самогон теперь девать? — спросил он.
— А?— Кузьма тоже остановился.— Ты на работу?
— Ага.
— Пойдем, я тоже с тобой.
В кузнице уже шуровал молотобоец Гришка Шамшин, молодой парень с сильными, непомерно длинными руками.
Еще когда подходили к кузне, Кузьма, глядя себе под ноги, сказал Феде:
— Я выпить хочу, Федор.
— Сейчас выпьем,— понимающе откликнулся Федя.— Это надо.
Он усадил Кузьму на какой-то ящик, турнул Гришку домой:
— Бегом — огурцов и хлеба!
Гришка через пять минут явился с огурцами и хлебом.
Закрыли дверь на крюк, поддули горн, чтоб светлее было, сели в кружок.
Пили из большой медной кружки по очереди. Молчали.
После первой кружки у Кузьмы сделалось тепло в груди. Захотелось встать, взять кого-нибудь за грудки и, глядя в глаза, в чьи-нибудь глаза, рассказать все... Он не знал, что это «всё» и о чем рассказать, но начал бы он так: «Ты понимаешь? Понимаешь ты?.. Неужели вы ничего не понимаете?..»
— Что это вы такие хмурые?— спросил простодушный Гришка.
— У него горе,— серьезно сказал Федя.
Кузьма выпил еще полкружки самогона и теперь только понял, что у него — горе. Большое горе. Горе —

это то, что едко и горячо подмывает под сердце. Оказывается, это горе. Кузьме стало все понятно.

— Да, горе,— сказал он и заплакал, не мог сдержаться.

Плакал, уткнувшись лицом в ладони, горько, всхлипами. Плакал, качал головой.

Федя молчал. Серьезно смотрел на Кузьму и чувствовал, как этот длинный честный парень вместе со своим горем входит в его большую, емкую душу, становится понятным ему, становится другом. Могучий Федя испытывал острое желание как-нибудь помочь ему. Он не знал только, как помочь?

— Ты, может, уснешь?— спросил он.

— А?— Кузьма открыл лицо.— Что ты сказал?

— Уснуть бы надо...

— Ладно.

Постелили в углу сена. Кузьма лег и сразу уснул. Федя долго сидел около него, потом встал, махнул рукой Гришке — вышли на улицу и принялись разбирать косилку. В кузнице в этот день не стучали.

Домой Кузьма пришел ночью. Нарочно задержался у Феди, чтобы не встретить никого, особенно тяжело было бы видеть дядю Васю и Клавдю. Они, конечно, знали о его печальном сватовстве.

Не тут-то было. Клавдя ждала его у ворот. Заслышав знакомые шаги, пошла навстречу.

— Здорово, Кузя.— Она не кричала, не плакала, даже, кажется, не сердилась. Говорила спокойно, только голос чуть вздрагивал

— Здорово,— Кузьма наершился, приготовился быть кратким, дерзким, грубым, если на то пойдет,— приготовился к бою.

Боя не последовало.

Клавдя взяла его под руку, повела в дом.

— Два часа дожидаюсь тебя... замерзла... Свататься ходил?

— Ходил.

— Не вышло?

— Ну и что?

— И не выйдет. Зря старался.

— Почему это?

Клавдя помолчала, крепче прижалась к Кузьме, тихо, счастливым голосом сказала:

— А ребеночка-то куда денешь? Он ведь наш... Я уже отцу с матерью сказала про все.

Кузьма остановился:

— Как это?

— Так. Ты чего удивляешься?

Кузьма не верил. Хоть не много он понимал в этих делах, но все же знал, что для такого заявления рановато.

— Врешь.

— Я и не говорю, что сейчас. Но он же будет. Как ему не быть?— Она стояла близко,— беззаботная, неподдельно счастливая. Улыбалась.

— Ну, что дальше?

— Все. Я не обижаюсь, что ты ходил... туда. Пошли в дом.

Платоныч тоже дожидался его, не спал.

Когда Кузьма лег, он накрыл его с головой одеялом и заговорил тихо:

— Ты что делаешь?

— Ходил сватать,— так же тихо ответил Кузьма.

— У тебя все дома?

— Все.

— Завтра я поговорю с тобой.

— Ладно.

— Что «ладно»? Что «ладно»? Прохвост! Правильно, что не пошла за такого.

Кузьма лежал, вытянув руки вдоль тела... Смотрел в черноту и там, в черноте, видел, как вспыхивают и медленно рассыпаются в искры красные огоньки. В груди было пусто. В голове воздвигались какие-то маленькие миры из синего неба, домов, полей, безликих людей... Воздвигались и рушились.

Кузьма смотрел прямо перед собой, вверх, и думал смутно: «Ну и что? Ничего!» А миры в голове воздвигались и рушились — быстро и безболезненно.

18

Через неделю после того, как Егор поселился в охотничьей избушке, к Михеюшке пришла дочь.

Михеюшка рассказывал в это время Егору про «ранешных» разбойников. Это были разбойники! А што сичас?! Украл человек коня — разбойник. Проломил голо-

ву соседу — тоже разбойник. Да какие же они разбойники! Этак, прости господи, мы все в разбойники попадем. Если ты разбойник, ты должен убивать купцов. Должна быть шайка, и атаман — обязательно. И в земле у них не по пуду золота, а чуть поболе...

— Купцов-то нету теперь,— вставил Егор, заинтересованный рассказом.— А эти... нзпманы, что ли, какие-то.

И тут вошла Ольга.

— Вот и дочь моя заявилась! — обрадовался Михеюшка.

— Заявилась!— огрызнулась Ольга.— Пятнадцать верст по такой грязи — черт не ходил...

— Сразу надо начинать с черта,— недовольно заметил Михеюшка, развязывая большой мешок.— Хлебушко есть, сальце, пирожки разные... все правильно. Чего долго не была?

Ольга только теперь заметила в полутемной избушке гостя.

— Егорка ведь?.. Ты чего здесь?

Егор не ответил (как будто она сама не понимала, чего он здесь), слез с нар, прикурил от выпавшей из камелька щепочки, сел на чурбак: он знал, что баба сейчас будет выкладывать деревенские новости. Хотелось узнать, что делается дома.

Ольга долго распутывала шаль и все ворчала, что зто не погода, а наказание господнее. (Странное дело с зтими бабами: когда им даже не очень нужно и даже совсем не нужно, они могут так легко, просто врать, будто имеют на зто какое-то им одним известное право. Погода на дворе стояла ясная, тихая, холодная,— лето обещало быть хлебородным).

Раздевшись наконец, Ольга оглядела избушку, нашла вѐник, стала подметать и заговорила, кстати, о том, что вот если бы оставить мужиков одних, то их скоро надо было бы вытаскивать из грязи за уши. А все на баб ругаются, все недовольны: мол, ничего не делают, пятое-десятое...

— Интересно бы посмотреть на вас тогда...

Михеюшка отреза́л кусочки сала и подолгу жевал их беззубым ртом, очень довольный.

— Што нового там?— не выдержал Егор.

— Где?

— В Баклани, где...

— Чего там нового?.. Отца твово видела, по улице

шел. Слабый шибко. Идет — вроде улыбается, а самого, сердешного, ветром шатает...

У Егора под сердцем шевельнулась непрошеная жалость. Конечно, все не так, как расписывает эта шаларолка. «Отца ветром шатает»! Глупая баба! А все равно стало жалко отца.

Егор погасил окурок, хотел выйти на улицу, но Ольга продолжала рассказывать.

— А к Маньке-то новые сваты приходили. Пошла девка в гору с твоей руки...

— Кто?

— Городской парень этот... Как их называют, забыла уж...

— Полномоченный,— подсказал Михеюшка.

— Леший их знает. Ну, со стариком они приехали, школу еще хотят...

— Ну и што?— сердито оборвал Егор.

— Ну, и пришли... с Федей Байкаловым. Нашел кого позвать! Смех один...

— Ну?

— Ну, самого-то Сергея Федорыча как раз дома не было. Она и говорит, Манька-то: вот, мол, приедет отец, тогда приходите, а без отца я, дескать, не могу разговор вести.

Егор хлопнул дверью, сбежал с высокого крыльца... Лицо горело.

— Ах ты... — паразитство! Гадость!— Он несколько раз подряд негромко выругался.

Остановился посреди поляны, не знал, что делать дальше. Присел на дровосеку, но тотчас вскочил и вошел в избушку.

— А Макар-то тоже здесь живет?— спросила Ольга.

Егор не ответил, снял со стенки ружье и вышел, так хлопнув дверью, что с потолка, из щелей, посыпалась земля.

Лес просыпался от зимней спячки. Распрямлялся, набирался зеленой силы.

Солнце основательно пригревало. Пахло смольем. Земля подсохла, только в ложбинах под ногами мокро чавкало.

В полдень Егор пришел на пасеку к Игнатию.

Игнатий возился с ульями, сухой, опрятный, в черной сатиновой рубахе, сшитой красными нитками.

— Пришел, беженец? Домой?

— Нет. Мне Макара надо.

— Зря. Я думал, ты домой. Вертаться надо, Егор.

— Где Макара найти?

— А хрен его знает! Макар теперь залился. Дурак он у вас отпетый...

Егор понял, что Игнатий осторожничает. Пожалуй, не скажет, где скрывается банда. Он скинул с плеча переломку, взвел курок и нацелился в грудь Игнатию.

— Говори, где Макар? Или — ахну сейчас и не задумаюсь. Ты еще не знаешь меня.

У Игнатия отвисла нижняя губа и ярко покраснел кончик носа.

Долго стояли так.

— Как же мне не знать вас,— заговорил наконец Игнатий, не спуская глаз с Егора.— Живодеры... И породил вас живодер. Напугал, страмец, аж в брюхе что-то лопнуло.— Он плюнул под ноги Егору.— Бессовестный, на старика ружье поднял!

— Где Макар?!— крикнул Егор, бледнея.

— В кучугурах, за вторым перешейком, где Змеиная согла... подлец ты такой. Я тебе это запомню.

Егор опустил ружье, повернулся и пошел прочь широким шагом.

19

Макар с Закревским играли в шашки.

Обыгрывал генеральский сын. Макар злился и от этого играл хуже, просаживал одну пешку за другой.

— Ходи.

— Пойду. Ты только не расстраивайся.

— Думаешь, как этот...

— На.

— Так... А вот так?

— А я вот так!

— Угорела пешечка. Даже две. Дамка. Ваша не пляшет.

Макар наморщил лоб. Крякнул.

— Насобачился ты в этом деле! Давай еще?

— Надоело.

За дверью возник шум.

Закревский поднялся:

— Что там?

Дверь в землянку отворилась, вошел Егор.

— К вам, как в церкву, с ружьем не пускают.

Макар обрадовался брату. Он скучал без него, хотя не сознавал этого.

— Егорка? Тю!..

Закревский тоже улыбался:

— Проходи. Пришел... блудный сын. Давно пора!

Егор сел на пенек, огляделся:

— Неплохо живете.

— А как ты думал! — Макар, подбоченившись, с улыбкой смотрел на брата.— Увидишь, через полгода что будет. Ковры будут висеть и сабли. Ты в деревне был?

— Нет.

— А где ты живешь? У Игната?

— У Михеюшки.

— Что слышно из деревни?

— Ничего. Отец... живой. Пашут, наверно.

— Пускай попашут,— сказал довольный Макар.— Раздевайся. У нас теперь жить будешь.

— Мне надо поговорить с тобой.

— Ну.

Егор посмотрел на Закревского.

— Пойдем на улицу.

Макар первый вышагнул из землянки, Егор — за ним. Остановились, Егор долго смотрел в землю.

— Дай мне коня, браток. Ночью приведу назад.

— Зачем?

— Надо.

— Не скажешь — не дам.

Егор посмотрел на верхушки сосен, на Макара, криво улыбнулся.

— За невестой съездить.

— За Манькой?!

— Ага.

— Украсть хочешь? — Макар широко улыбнулся.— Давай вместе. Пошли! — Он втолкнул Егора обратно в землянку.

— Мы поедем в деревню за невестой,— объявил Макар.

Закревский насторожился:

— Как это — за невестой?

— Так. Воровать поедем невесту. Понял?

Закревский понял.

— На наших лошадях?

— Ну да. На чьих же?
— Нельзя.
Макар поднял брови:
— Как это нельзя?
— Нельзя, ребята. Я все понимаю, но... это глупый риск. Можете легко засыпаться.
— Не дашь коней?— спросил Макар.
— Не дам.
Макар снисходительно не то улыбнулся, не то поморщился.
— Пойдем, Егор, я покажу, каких подседлать.
— Макар!— резко крикнул Закревский.
Но Макар уже вышел из землянки и показывал Егору:
— Себе — вон того жеребца в чулках. Лев! Мне — во-он Гнедко... Седлай. Я пойду переобуюсь.
Егор долго примеривался к жеребцу, пока взнуздал его. Рослый скакун сердито косил большим темным глазом, прижимал уши и разворачивался задом, когда Егор приближался к нему. Наконец Егор загнал его в кусты и там обротал. Вошел в землянку.
Макар стоял перед Закревским — руки в карманы, одна нога небрежно отставлена.
— Не командуй шибко много. Понял? Это отец твой генералом был, а ты не генерал.
Закревский, прижимая руки к груди, кричал:
— Да ты же попадешься, дура! Лошади пропадут! Лошади же пропадут!..
— Хрен с ними. Что я, дешевле лошадей?
Увидев Егора, спросил весело:
— Подседлал?
— Ага.
Закревский, злой и уставший, сел к столу.
— Идиоты!
— Сейчас... переобуюсь. Промочил давеча...— Макар начал стаскивать сапоги.
— А куда вы ее привезете?— спросил Закревский.
Ему никто не ответил.
— Сюда, что ли? — опять спросил он, уже миролюбиво.
— Нет,— ответил Егор.
— Хоть бы уж свадьбу тогда сыграть,— сказал Закревский. По правде говоря, о лошадях он беспокоился меньше всего. Ему не нравилось, что Макар много сво-

евольничает. Это было тем более неприятно, что без Макара он теперь не мог обходиться.

— Но свадьбу мы все одно справим!— воскликнул Макар, подняв глаза на брата: он и утверждал, и спрашивал.

Егор неопределенно пожал плечами.

— Надо сперва невесту привезти.

— Привезе-ем! Сейчас мы ее, голубушку, скрутим. Хорошая девка! — похвалил он, обращаясь к Закревскому. Ему сейчас казалось, что он о Марье всегда так и думал, что она хорошая.

Закревский обиженно отвернулся от него.

Макар вдруг задумался.

— Может, мне тоже кого-нибудь украсть?— спросил он.— А?

— Укради уполномоченного,— сказал Закревский и улыбнулся.

Макар хохотнул.

— Хороший ты парень, Кирька, только гнусишь много. Лучше я погожу с невестой. Поехали? Ноченька как раз темная!..

Макар посвистывал, похохатывал: нравилось, что под ним легкая сильная лошадь, нравилась тихая темная ночь, нравилось быть вольным человеком.

Егора тоже дурманила эта бешеная гонка. Не мог он только представить, что через некоторое время у него в седле будет Марья. Как-то не верилось.

Влетели в деревню. Погнали по улице, мимо родительского дома. Свернули в переулок... Вот и Марьина изба. Огонек светится.

У знакомых ворот Макар остановился.

— Как будем?— спросил Егор.

— Не знаю... Зайти... и вынести без разговоров?

— Ребятишки там... перепугаются.

— Свистни ей под окном.

Егор соскочил с коня, подкрался к окошку, заглянул.

— Однако, дома нету.

— Ну-ка свистни.

Егор негромко свистнул и отошел на всякий случай к воротам: мог выйти сам Сергей Федорыч с какой-нибудь штукой в руках. Но никто не выходил. Тогда Макар заложил в рот два пальца, тишину ночи резанул тонкий, проникающий в сердцевину мозга свист. Тотчас

хлопнула избная дверь — в сенях послышались шаги, чьи угодно, только не девичьи. Егор подбежал к коню, сел. Успел шепнуть Макару:

— Не отвечай, если сам выйдет.

На крыльцо вышел Сергей Федорыч:

— Кто это здесь подворотничает?

Было совершенно темно.

Макар легонько тронул лошадей.

Выехали из переулка. Остановились.

— Что делать?

— Вот что: заедем к Нюрке Гилёвой, скажем, чтобы вызвала нам Маньку,— предложил Егор.— Они товарки.

Вышел брат Нюрки, Колька Гилёв, парнишка лет пятнадцати.

— Чего? Кто тут?

— Нюрка ваша дома?

— Дома.

— Вызови ее. Только не говори, кто зовет.

— А зачем тебе?— Колька подозрительно, с опаской всматривался в Макара.

— Надо. Да не бойся ты. Мужик, а сдрейфил.

Колька некоторое время колебался, потом пошел в дом.

Нюрка сообщила, что Марья дома, но у нее болят зубы.

— Поехали к ней. Садись ко мне.

— Поехали. Ой, да на конях! Вы чего эт, ребята. Чего затеяли-то? Откуда кони-то?

Братья молчали. Макар подсадил Нюрку к себе.

Тогда Нюрка сама принялась рассказывать, как приезжий парень Кузьма приходил сватать Марью. В середине рассказа она вдруг так взвизгнула, что жеребец прыгнул вперед,— это Макар решил от нечего делать побаловаться с ней.

— Дурак!

— А ты не прижимайся ко мне, не наводи на грех.

— Кто к тебе прижимается-то? Вот черт!— Нюрка, наверно, покраснела.— Бессовестный!

Снова подъехали к Марьиным воротам.

— Только не говори, что мы тут. Боже упаси! Мы хочем нечаянно...

Нюрка вошла в избу, и ее долго не было.

Макар сидел на коне, а Егор стоял около крыльца —

на тот случай, если Марья, заподозрив что-либо, захочет вернуться в избу.

Наконец скрипнула дверь... По сеням шли двое. Егор весь напружинился.

На крыльцо вышла Нюрка, за ней Марья.

— Вот — дожидаются,— сказала Нюрка.

Марья всматривалась в темноту.

— Кто?

Егор молчал. Марья была в двух шагах от него. Он мучительно соображал: сразу ее хватать или сперва сказать что-нибудь?

В этот момент избная дверь хлопнула. В сенях заскрипели мужские шаги. Это решило все.

Егор оттолкнул девушек от двери, ощупью забросил петлю на пробой, легко вскинул на руки Марью и побежал к лошади.

Марья громко вскрикнула:

— Тятя!

В дверь из сеней заколотили руками и ногами.

— Что там?! Эй! Откройте! Люди!— заполошным голосом кричал Сергей Федорыч, но людей на улице в такую пору не бывает.

Когда Нюрка догадалась откинуть петлю, кони были уже далеко — слышно было, как распинают грязную дорогу четыре пары лошадиных копыт.

20

Кузьма узнал обо всем от Клавди.

Она рассказала на другой день... Радости скрыть не умела.

Шли вместе домой.

— С Егором теперь Марья...

На мгновение Кузьме показалось, что дорога под ним круто вспучилась горбом. Он остановился, чтобы устоять на ногах. Почему же так? Разве он на что-нибудь еще надеялся после того скандального сватовства и после того, что было потом?.. Разве надеялся? Надеялся. А теперь — всё.

Кузьма повернулся, пошел к сельсовету — там был Платоныч. Он не знал, для чего нужен сейчас дядя Вася. Наверно, совсем не нужен. Просто надо было куда-нибудь быстро идти. И он шел. И думал: «Всё. Теперь всё». Представил, как Марья испугалась и плакала.

Раздумал идти в сельсовет.

Стал вспоминать, где живут Любавины. Спросил у какой-то бабы.

— Дак вот же! Рядом стоишь,— показала баба.

Кузьма вошел во двор к Любавиным.

Из-под амбара выкатился большой черный кобель и молчком кинулся ему в ноги. Кузьма выскочил за ворота. Крикнул:

— Хозяин!

Вышла Михайловна, прицепила кобеля.

— Мужики дома?

— Хозяин один.

Кузьма вошел в избу, сразу спросил:

— Где ваши сыновья?

Емельян Спиридоныч сучил дратву; рукава просторной рубахи закатаны по локоть, рубаха не подпоясана... Большой. спокойный.

— Какие сыновья?

— Твои.

— У меня их четыре.

— Младшие.

Емельян со скрипом пропустил через кулак навощенную дратвину.

— Я про этих ублюдков не хочу разговаривать.

— Они не были дома после того... как ушли?

— А тебе што? Не были.

Кузьма вышел.

Куда теперь? С какого конца начинать? К Феде? Федя работал.

Кузьма вызвал его... Отошли, сели на берегу.

— Отец сам не знает, это верно. Потом... я думаю, што они не в банде.

— Почему?

— Так. Наших, бакланских, там нету. Люди бы знали. Разговоров нет, значит, никого наших нету.

Долго молчали.

Кузьма курил.

— У их Игнашка есть...— заговорил Федя.— На заимке живет. Тот может знать. Не скажет только...

Приехали к Игнатию под вечер.

Хозяин долго не понимал, чего от него хотят, терпеливо, с усмешечкой заглядывал в глаза Кузьме и Феде. Потом понял.

— Не знаю, ребята. Чего не знаю, того не знаю. На-

ши оболтусы были у меня, когда сбежали из дома. А потом ушли. Я им сам говорил, что надо домой вертаться. Не послухали. Где они теперь, не знаю.

— Собирайся,— приказал Кузьма. Глаза его смотрели прямо, не мигая, внимательно и серьезно.

— Куда?— спросил Игнатий, и усмешечка погасла.

— С нами в деревню.

— Зачем?

— Посидишь там, подумаешь... Может, вспомнишь, где они.

— А-а!— Усмешечка снова слабо заиграла в сухих глазах Игнатия.— Пошли, пошли! Думать мне нечего, а посидеть могу. Глядишь, кой-кому и влетит за такие дела. Маленько вроде не то время, чтоб сажать без всякого...

Елизар Колокольников был в сельсовете, когда привели Игнатия. Он сделал вид, что хорошо знает, за какие делишки попался этот Любавин, строго нахмурился, глядя на него. Потом, когда того заперли в кладовую, спросил у Кузьмы:

— Эт за што его?

— Допросим. Он, наверно, знает про своих племянников.

Елизару показалось, что Кузьма действует, пожалуй, незаконно. Однако говорить с ним об этом не стал. Собрался и пошел к Платонычу.

Платоныч сразу же пошел в сельсовет. На Кузьму разозлился крепко. «За девку мстит, паршивец! Шутит с такими делами!»

Кузьма сидел за столом, положив подбородок на руки, смотрел на дверь кладовой, за которой «думал» Игнатий.

Платоныч вызвал его на улицу.

— Зачем старика арестовал?

— Он знает про банду. Я чую.

— Жалко, у меня ремня с собой нету. Снял бы с тебя штаны и всыпал, чтобы ты лучше почуял, что такими делами не балуются. Ты что, опупел?

— Не опупел. Ты занимайся своей школой и не мешай мне.

— Сейчас же выпусти его!

— Не выпущу.

Платоныч высморкался. Некоторое время молчал.

— Кузьма, ты делаешь большую ошибку. Ты во вред Советской власти делаешь. Чего же людей дергаешь, молокосос ты такой?! Кто дал тебе такое право?! Немедленно выпусти его!

— Нет!— Кузьма стоял, ссутулившись, смотрел на дядю исподлобья.— Это ты делаешь ошибку. Пять лет уж скоро Советская власть, а тут... какие-то разъезжают, грабят население. Это не во вред? До чего осмелели, гады!.. Не выпущу — и все. У меня сердце чует, что он знает про банду!

— Дай сюда наган!— сдавленным голосом крикнул Платоныч.

— Не дам.

Платоныч сам полез в карман Кузьмы, но тот оттолкнул его... Старик удивленно посмотрел на племянника, повернулся и пошел прочь, сгорбившись.

На крыльце появился Колокольников.

— Ты можешь идти домой. Я сам здесь останусь,— сказал Кузьма.

— А где Платоныч?

— Он тоже домой пошел.

Колокольников помялся... Хотел, наверно, что-то еще спросить, но промолчал. Скрипнул воротцами и удалился по улице.

Кузьма вошел в сельсовет. Подошел к окну, приложил лоб к холодному стеклу.

— Ничего,— сказал он сам себе. И зашагал длинноногим журавлём по пустой сельсоветской избе. Нехорошо было на душе, что с дядей Васей так получилось. Но другого выхода он не видел.

Платоныч направился не домой, а к Феде.

Вызвал его на улицу и путано объяснил:

— Там племяш это... разошелся. А у меня силенок нет, чтоб его приструнить. Пойдем уймем. Черт... какой оказался! Пошли, Федор.

Федя понял одно: надо помочь старику. Почему и как разошелся Кузьма, он не понял. Но спрашивать не стал.

— Пошли.

Кузьма допрашивал Игнатия.

Сидели друг против друга на разных концах стола. На замызганном голом столе между ними, ближе к Кузьме, лежал наган.

— Как ты думаешь, куда они могли уйти?
— А дьявол их знает.
— А про банду ты не слышал?
— Приходилось.
— Кто там ру... главарит у них кто?
— Бог его знает.
— Так...— Кузьма внимательно смотрел на благообразного Игнатия. И был почему-то уверен, что тот знает про банду.— У тебя коней нету?
— Не имею. У меня пасека.
— А как думаешь, на чьих они приезжали? Они тут одну девку увезли ночью...
— Зачем?— не понял Игнатий.
— Не знаю.— Кузьма встал, но сел снова, пригладил ладонью прямые жесткие волосы, кхакнул в кулак.— Увезли — и все.
Игнатий мотнул головой, сморщился.
— Вот подлецы!— Глянул на Кузьму боязливо. Хотел понять, как держаться в этом случае, с девкой: может, улыбнуться?— Что делают, озорники такие!
Кузьма хмуро встретил этот его трусливый взгляд.
— Ах, подлецы!— опять воскликнул Игнатий.
И снова показалось Кузьме, что старик знает про этих подлецов все.
— Где же они лошадей брали?
— Это уж... ты у них спроси.
Тут вошел Платоныч. А за ним вырос в дверях огромный Федя.
— Уведи арестованного,— распорядился Платоныч, глядя на Кузьму неподкупно-строго.
Кузьма с минуту удивленно смотрел на Платоныча, на Федю... не двигался.
Игнатий спокойно, с чувством полной своей невиновности поглядел на них на всех. От него не ускользнуло, что между стариком и молодым что-то произошло.
— Арестованный...— обратился было Платоныч к Игнатию, но глянул на Кузьму и в последний раз решительно приказал:— Вывести арестованного!
Кузьма поднялся.
— Пошли.
Игнатий покорно встал, заложил руки за спину, двинулся в свою кладовую.
— Гражданин... Кузьма Родионов! Я тебе приказы-

ваю освободить из-под стражи арестованного,— заговорил Платоныч казенным голосом, когда Кузьма вернулся в избу.— Иначе я тебя самого арестую. Понял? О нас черт те чего завтра заговорят,— повернулся он к Феде, ожидая, что тот его поддержит.— Скажут, мы тут... Ты это понимаешь?— Платоныч снова развернулся к Кузьме, повысил голос:— Или не понимаешь?

Кузьма молчал, смотрел на дядю.

— Ни черта не понимает,— пожаловался Платоныч Феде.

Федя деликатно шwыркнул носом и посмотрел в угол.

— Сейчас я начал его допрашивать и понял...— начал Кузьма.

— Опять за свое?!

— Ты послушай...

— Федор, иди выпусти старика.

— Федор!— Кузьма заслонил собой дверь.— Нельзя этого делать, Федор.

Феде было тяжело.

— Пусти меня,— остановил он Кузьму после некоторого раздумья.— Я уйду. Не понимаю я в таких делах...— И ушел.

Платоныч стоял посреди избы, смотрел прищурившись на племянника.

— Эх, Кузьма, Кузьма... Жалко мне тебя. До слез жалко, дурака. Баран ты глупый. Ты думаешь, такое великое дело — сломить голову? Это просто сделать. И ты ее сломишь. Вспомнишь меня не один раз, Кузьма... поздно только будет. Вот он, близко, локоть-то, да не укусишь тогда. Прочь с дороги!— Он прошел мимо — прямой, хилый и злой. Похоже было, что он не на шутку обиделся.

Кузьма сел на табуретку, задумался.

Дядя Вася был для него очень дорогим человеком. Собственно, на всем белом свете и был у него один только Платоныч, родной человек. Лет до восьми Кузьма вообще не знал, что Платоныч не отец его, а дядя.

Но ведь ошибается он сейчас! Это же так ясно.

Кузьма вывел Игнатия из кладовки, посадил к столу.

— Теперь говорить будешь прямо. Где племянники?

— Не знаю,— раздельно и отчетливо, в который уже раз объяснил Игнатий.

Кузьма подошел к нему, показал наган:

— А вот это знаешь, что такое?

Игнатий качнулся назад.

— Убери.

— Знаешь, что это?

— Эх... змеи подколодные!— холодно вскипел Игнатий.— Хорошую вы жизнь наладили! Свобода! Трепачи, мать вашу... Тебе, поганке такой, всего-то от горшка два вершка, а ты уж мне в рот наган суешь. Спрячь сейчас же его!

Кузьма устремил на него позеленевшие глаза. Заговорил, слегка заикаясь:

— Я тебе говорю честно... я тебе к-клянусь... если ты не скажешь, где скрывается банда, живой отсюда не уйдешь. Можешь подумать малость.— Он сел, спрятал наган в карман, вытер ладонью вспотевший лоб.— Я тебе покажу свободу... Христос!

Игнатий трухнул.

— Я еще раз говорю: не знаю, где эти варнаки. Можешь меня убить — тебе за это спасибо не скажут. Счас тебе не гражданская.

— Подумай, подумай, не торопись. Я не шутейно говорю.

Игнатий замолк.

«Не угостил бы на самом деле... дикошарый! Разбирайся потом»,— думал он.

— Ну как?

— Не знаю я, где они, милый ты человек.

— Иди еще подумай.

Игнатий поднялся.

Кузьма запер его, вышел на улицу, закурил. Потом вернулся в сельсовет, расстелил на лавке кожан, дунул в ламповое стекло. Язычок пламени вытянулся в лампе, оторвался от фитиля и умер. Лампа тихонько фукнула... Долго еще из стекла вился крученой струйкой грязный дымок. Завоняло теплым керосином и сажей.

Светало.

21

Михеюшка насмерть перепугался, когда под окном его избушки ночью заржали кони. Он снял икону и прижал к груди, готовый принять смерть. Подумал, что это разбойники.

Дверь распахнулась. Вошел Егор с ношей на руках.

— Михеич!

— Аиньки?

— Зажги огонь.

— Это ты, Егорушка? А я напужался! Сичас я...

Егор положил Марью на нары, взял у Михеюшки лучину...

Марья смотрела широко открытыми глазами. Молчала. Лицо белое, как у покойницы.

— Никак убиенная?— спросил шепотом Михеюшка, заглядывая через плечо Егора.

Егор отстранил его, воткнул лучину в стенку.

— Затопи печку.

Михеюшка суетливо захлопотал у камелька. И все поглядывал на нары.

Марья лежала не двигаясь.

Вошел Макар. С грохотом свалил в углу седла.

— А коней не потырят здесь?

— Кто, поди?.. Ты спутал их?

— Спутать-то спутал...— Макар подошел к Марье, заглянул в лицо, улыбнулся.— Ну как?

Марья прикрыла глаза. Вздохнула.

— Перепугалась... Может даже захворать,— объяснил Макар не то Егору, не то Михеюшке.

Егор сидел на чурбаке, курил. Смотрел в пол.

— Чего не хватает, так это самогону,— сокрушенно заметил Макар, тоже сворачивая папиросу.— Жалко, такой случай... Что бы прихватить давеча? Просто из ума вышибло.

Михеюшка вертел головой во все стороны. Он понял, что это не покойница — на нарах. Но больше пока ничего не понял.

— Самогон?— переспросил он.— Самогон есть. У меня к погоде ноги ломит, я растираю...

— Давай его сюда!— заорал Макар.— Ноги он растирает!.. Марья, поднимайся!

— Пускай лежит,— сказал Егор.

— А чего ей лежать? Ей плясать надо. А ну!..— Макар затормошил Марью, посадил на нары.

Марья нашла глазами Егора, уставилась на него, точно по его виду хотела понять, что с ней сделают дальше.

Тот докурил, аккуратно заплевал цигарку, поднял голову. Встретились взглядами. Егор улыбнулся:

— Замерзла?

Марья кивнула головой.

— А вот мы ее сичас живо согреем,— пригрозил Михеюшка. Нырнул в угол под нары и извлек на свет бутылку с самогоном, закупоренную тряпочной пробкой.— Это что такое?

— И всё?— спросил Макар.

— Всё.

— Свадьба получается!.. Ну, хоть это.

Сели к столу.

Михеюшка отказался сесть со всеми вместе, шуровал в печке и смотрел со стороны на непонятных гостей.

Марья сидела между братьями. Макар налил ей самогону.

— Держи. Ты теперь — Любавина.

Марья тряхнула головой, откидывая на спину русую косу. Взяла кружку и не отрываясь выпила все.

Она действительно замерзла.

— Ох, мама родная!— выдохнула она.

— Берет?— улыбнулся довольный Макар.— Мы еще не так гульнем! Это просто так...— Он налил себе, выпил, стукнул кружкой, закрутил головой.— Ничего!

Егору осталось совсем мало, меньше половины кружки.

— Тебе нельзя много,— многозначительно сказал Макар.

— Что же вы со мной делаете, ребята?— спросила Марья.

— Взамуж берем,— пояснил Макар.

— Кто же так делает? Неужели по-другому...— Марья опустила голову на руки. Видно, вспомнила вечер сватовства Егора, неожиданный налет старика Любавина с Ефимом.— Что же... здесь и жить будем?

— Пока здесь,— сказал Егор.

Макар посмотрел на Михеюшку и спросил:

— Тебе выйти никуда не надо?

Михеюшка не понял:

— Куда выйти?

— Пойдем проветримся, коней заодно посмотрим.

— Зачем ты его?— вмешался Егор.

— Мы с ним на вольном воздухе заночуем,— сказал Макар.

— Не валяй дурочку,— Егор покраснел.— Никуда вы не пойдете.

— Как хотите. Для вас же стараюсь, понимаешь.

Марье постелили на нарах, а Макар, Михеюшка и Егор устроились на полу.

В избе стало светло — из-за леса выплыла луна. Ее было видно в окошко — большая, круглая и поразительно близкая, как будто она висела в какой-нибудь версте отсюда.

На полу лежал бледный квадрат света, и в нем беззвучно шевелились, качались, вздрагивали тени ветвей.

Блестела на столе кружка.

— Ночь-то!— тихонько воскликнул Макар. Ему не спалось.

Михеюшка пошевелился. Сказал сонным голосом:

— Перед рассветом птаха какая-то распевает каждый раз... до того красиво!

— Ты ведь давно уже тут живешь, Михеич?— не то спросил, не то просто так, чтобы поддержать разговор, сказал Макар.

— Третий год пошел с троицы,— ответил Михеюшка.

— Наверно, все тут передумал один-то?

Михеюшка ничего не сказал.

— Скучно, наверно, тебе?

— А чего скучно?.. Люди заходют. До вас вот Гринька Малюгин с Федей Байкаловым были...

— Гринька? — Макар приподнялся на локте.— Его ж поймали.

— Ушел он... Федя-то как раз за им приходил. Ну, тот говорит: «У меня золото есть... пудик, давай, мол, выроем — ты себе половину забираешь, а я уйду».

Макар долго молчал.

— Слышь, Егор?

— Слышу,— отозвался Егор.

— Пуд золота...— Макар лег и стал смотреть в потолок.

— Федор-то не соглашался сперва. «Оно,— говорит,— ворованное»,— заговорил Михеюшка.

Макар перебил его:

— Ладно, давай спать, отец.

Михеюшка послушно смолк.

В окошко все лился серебристый негреющий свет, и на полу шевелилось тонкое кружево теней.

Во сне громко вскрикнула Марья, потом шепотом сказала:

— Господи, господи...

Егор сел, послушал, дотянулся рукой до стола, взял кисет и стал закуривать.

— Дай мне тоже,— поднялся Макар.

Закурили.

— Федя — не дурак,— негромко сказал Макар.

— Я тоже так думаю,— согласился Егор.

Легли и замолчали.

Михеюшка почесал спину, зевнул и, засыпая, пробормотал:

— Охо-хох, дела наши грешные...

Утром, чуть свет, Макар уехал.

22

После ареста Игнатия Платоныч взял коня у Яши Горячего и поехал в район.

Вернулся с каким-то товарищем. Пришли в сельсовет.

В сельсовете было человек шесть мужиков. Говорили все сразу, загнав в угол Елизара Колокольникова: отказывались ремонтировать мост на Быстринской дороге.

Кузьма сидел на подоконнике, наблюдал эту сцену.

— Да вы ж поймите! Поймите вы, ради Христа: не я это выдумал. Это из р а й о н у такой приказ вышел!— отбивался Елизар.

— А ты для чего здесь? Приказали ему!..

— Пускай быстринские ремонтируют, чего мы туда полезем?

— И быстринские тоже будут. Сообча будем...

— Пошел ты к такой-то матери! Сообча! Вы шибко прыткие стали: ломай им горб на мосту!..

В этот момент и вошли Платоныч и приезжий.

— Что тут делается?— спросил Платоныч, с тревогой посмотрев на Кузьму.

— Вот люди мост собираются чинить,— пояснил Елизар.

— Ну и что?

— Ничего. Сейчас поедут.

Мужики вышли с Елизаром на улицу и там долго еще галдели.

Платоныч прошел к столу, устало опустился на лавку.

Кузьма разглядывал приезжего.

Тот в сапогах, в галифе, в малиновой рубахе под серым пиджаком стоял у окна, сунув руки в карманы. Молчал, разглядывая Кузьму.

Вошел Елизар.

— Елизар, выйди на пять минут, — сказал Платоныч.— Мы по своим делам потолкуем.

Елизар, нисколько не обидевшись, вышел.

— Н-ну, так...— сказал приезжий, вынул руки из карманов.— Рассказывайте: что тут у вас?— Подсел к столу, облокотился на него одной рукой, закинул ногу на ногу, приготовился слушать.

— А чего рассказывать?— спросил Кузьма.

— Кого ты здесь арестовал?

— Любавина Игнатия. Родного дядю этих...— Кузьма споткнулся, посмотрел на Платоныча, хотел понять: можно ли все говорить?

— Это из милиции,— сказал Платоныч.

— Игнатий Любавин, по-моему, знает про банду,— досказал Кузьма.

— Так.— Приезжий с минуту обдумывал положение или делал вид, что обдумывает.— Вот что... товарищ Родионов. Старика немедленно выпустить. Банда бандой, а подряд сажать всех никто не давал права. Ясно?

— Ясно,— ответил Кузьма.— Интересно только, как мы все же узнаем про банду?

— Узнаем,— успокоил приезжий.— Иди выпусти его.

Кузьма вышел в сени... Загремел замком.

— Выходи.

Игнатий лежал на лавке. На оклик поднялся, пошел на выход. Решил держаться до последнего.

— Шапку возьми.

Игнатий вернулся, взял шапку. Опять направился к двери, не понимая: хорошо это или плохо, что приказали взять шапку?

Кузьма загородил ему дорогу.

— Я отпускаю тебя... пока,— негромко сказал он, заглядывая в серые глубокие глаза Игнатия,— но могу прийти еще.

— Приходи, приходи. Медком накормлю... А хочешь — медовухой,— Игнатий слегка обалдел от радости и не понимал, что эти его слова легко могут сойти за издевательство.— У меня такая медовуха!.. Язык проглотишь!

— Иди.

Игнатий напялил шапку и вышел. Пошел к Емельяну. Он давненько не был там и сейчас, по пути, хотел попроведать братца и, кстати, порассказать, какие он принимает муки через его лоботрясов. А главное, зачем надо было видеть Емельяна Спиридоныча и для чего он ненароком собирался приехать в Баклань, было вот в чем.

Прослышал Игнатий, что можно опять открывать лавочки. В городе-то их полно, и больших и маленьких — всяких. Но в город возвращаться теперь уж ни к чему (семьи у него не было: жена померла в двенадцатом году, единственный сын, Николай, ушел с колчаковцами в восемнадцатом и не вернулся), а вот в Баклани можно было сообразить лавку. На паях с братом. Построить он бы и один мог, но тогда всем кинулось бы в глаза: откуда такие деньги? Осторожности ради надо было уговорить дремучего брата войти в долю (хоть не на равных, для отвода глаз) и, благословясь, начинать дело. Жизнь вроде бы поворачивала на старый лад.

23

Через два дня после того, как увезли Марью, такой же темной ночью, до восхода луны, к Феде Байкалову пожаловали нежданные гости. Вошли без стука (Федя никогда не запирался на ночь). Чиркнули спичкой...

— Кто здесь? — спросил Федя, поднимаясь с кровати.

— Где лампа у вас? — спросил один и высоко поднял спичку.

— На окне.— Федя при свете лампы узнал Макара Любавина и всматривался теперь в его товарищей — желтолицего, в кожаном пальто, с поднятым воротником и второго, с чугунной челюстью, широченного, в полушубке. Те стояли у порога. Федя повернулся было к Макару, чтобы спросить, что им нужно... И вдруг сообразил: ведь это как раз, наверно, те самые разбойники, которых ищут! И Макарку-то тоже ищут. Обеспокоенный такой догадкой, он повернулся к жене, как бы желая что-то спросить у нее.

Макар опередил его:

— Хавронья, иди посмотри корову — она что-то мычит. Нам надо поговорить с Федором... насчет одного дела.

Хавронье не хотелось подниматься, и она ни в жизнь не поднялась бы, если бы не подумала, что тут, кажется, выгорит выгодное дело: наверно, они принесли починить какую-нибудь секретную штуку и хорошо заплатят. Этот, в кожаном пальто, показался ей денежным человеком.

Она оделась и вышла.

Федя окончательно понял: «Они самые, из банды». Сидел на кровати, уперев руки в колени. Смотрел на Макара. В уме прикинул, что легко уложит всех троих. Надо только выждать момент. Он был доволен, что жена ушла. А то визгу не оберешься.

Макар стоял около стола... непонятно смотрел на человека в пальто.

Тот отвернул воротник, прошел вперед, оглядывая избу.

— Что-то я не вижу здесь персидских ковров,— сказал он.— Ну, спрашивай.

Макар подошел ближе к Феде. Федя, таким образом, был окружен со всех сторон: у окна, справа от него, стоял Закревский, у двери, слева,— Вася. Прямо перед ним, заложив пальцы под ремень рубашки, остановился Макар.

— Где у тебя золото? — спросил Макар.

Федя с удивлением посмотрел на него:

— Чего-о? Какое золото?

— Которое тебе Гринька дал. Полпуда.

Федя хмыкнул. Некоторое время соображал, как лучше ответить. Потом спросил:

— Ты дурак или умный?

— Говори добром: где золото? — Макар вынул из кармана наган.

Федя медленно стал подниматься. Краем глаза увидел, как человек, стоявший у двери странно взмахнул рукой... А в следующее мгновение почувствовал на шее холодный, скользкий ремешок: Вася накинул петлю. Федя рванулся к Макару, но тонкая петля с такой силой резанула по горлу, что он открыл рот и судорожно стал выдирать пальцами врезавшийся в кожу сыромятный ремешок. Макар толчком в грудь посадил его на кровать. Вася ослабил петлю, но не настолько, чтобы ее можно было зацепить пальцами. Федя шумно вздохнул и ринулся на Васю. Макар ударил его рукояткой нагана по голове. Федя упал на кровать.

— Где золото, земледав? — зашипел Макар, близко склонившись над ним.

Федя глотал воздух и таращил глаза на Макара. Петля душила его.

Закревский тем временем открыл сундук и брезгливо, двумя пальцами, выбрасывал из него Хавроньины юбки.

Макар ударил Федю по лицу.

— Скажешь или нет? — Еще удар — тупой и смачный.— Скажешь?

Федина голова моталась от кулака. Из носа потекла кровь, заливая рубаху и кальсоны. Федя молчал.

Макар вытер об одеяло руку. Выпрямился.

— Ну?

— Ни черта здесь нету. Спрятал где-нибудь,— сказал Закревский.

— Вася, ну-ка вложь ему! — кивнул Макар на Федю Но не выдержал и сам опять склонился над ним и стал молча бить по лицу. Вид крови разъярял его. Бил немилосердно. По зубам, по носу, по глазам...

— Скажешь, гадина, или нет? — сквозь стиснутые зубы, скривив рот, спросил он.— Сейчас казнить буду!

Федя уже почти терял сознание.

Макар вытер руку, отошел от кровати.

— Нету?

— Ничего.

Макар достал из-за чувала клюку, начал выгребать из-под печки всякий хлам — старые пимы, обрывки кожи, ножницы для стрижки овец, поломанные замки...

Закревский бросил искать, подошел к кровати, зажег спичку и поднес ее к рыжеватой Фединой бороде. Она вспыхнула. Огонь на мгновение охватил лицо. Федя зажмурил глаза, заметался, глухо заревел, стал царапать лицо пальцами... Закревский подушкой погасил огонь. Понесло паленым.

— Где золото?

— Нету...— Федя качнул головой. Из глаз его катились слезы.

— Как так нету? — подошел Макар.— Как нету? Тебе же Гринька дал полпуда, за это ты его отпустил.

Федя опять слабо качнул головой, с трудом сказал:

— Обманул он меня... убежал он...

Закревский выразительно посмотрел на Макара.

Макар склонился к Феде.

— Врешь. Ты это сейчас придумал.— И снова стал бить, придавив к кровати Федину руку коленом.

Между ударами Федя негромко просил:

— Макар, хватит... Макар...

Макар бросил его. Выпрямился.

— Наверно, правда нету. Пошли.

Вася снял с Феди петлю, некоторое время любовался работой Макара и Закревского.

— Уделали вы его! А вышло — ни за что.

— Ничего. Это ему за уполномоченных этих пойдет. Он тут якшаться начал с ними.

Они ушли.

24

Свадьбу решили закатить великую.

С обеда начали съезжаться разбойнички. Всего набралось человек пятнадцать.

День был солнечный, теплый. Распрягали коней и валились на разостланные потники, кошмы — лежали, грели на солнышке грешные тела свои. Мужики были все как на подбор — здоровые, гладкие, очень довольные легкой жизнью. Пожилых не было.

Оглашали тайгу беззаботным здоровым гоготом. Тайга настороженно и терпеливо молчала.

Тут же, на поляне, под огромной треногой горел костер — варился баран. Специально ездили за котлом.

Марья вымыла в избушке, выскребла стол, нары, промыла оконце, перетряхнула всю рухлядь, устелила пол сосновыми ветками... Михеюшка не узнавал своего жилья.

Егор в свежестираной рубахе, несколько пришибленный всей этой веселой кутерьмой и огромным своим счастьем, слонялся из избушки на поляну и обратно — не знал, куда себя деть. С удовольствием рубил дрова, таскал Марье воду.

Марье дел было по горло. Заканчивала уборку в избушке, следила за варевом и еще урывала минутку-другую — поглядеть на себя в ведро с водой, переплести косу.

Макар с Васей и с ними еще человека четыре куда-то уехали верхами. Сказали, скоро будут.

Закревский в безукоризненно белой рубашке (кто только стирал их ему и гладил!) и в синем, очень нарядном пиджаке расхаживал по поляне, посвистывал.

Подолгу и внимательно смотрел на Марью, когда она проходила мимо или хлопотала у костра.

Марья заметила, сказала Егору. При этом не скрыла, как она думает о Закревском:

— Весь желтенький... как чирей.

Егор хмыкнул, промолчал.

Закревский раза два пытался заговорить с Марьей, но ей все некогда было.

Приехал Макар со своим отрядом. Привезли четырехведерный логушок самогона и гармонь.

— Ну как? — огласил поляну своим сильным, чистым голосом Макар.— Идут дела?! — Спрыгнул с коня, расседлал, хлопнул его по крупу, отгоняя в кусты, на зеленую травку.

Когда солнце поклонилось к закату и на поляну легли длинные косые тени, сели за стол. Уместились кое-как, несмотря на то, что стол удлинили досками с нар.

Во главе стола, под божьей матерью, сидели Егор и Марья. По правую руку от них, рядом с Егором,— Закревский, по левую, с Марьей рядом,— Макар.

Михеюшку тоже посадили за стол. Днем Марья постирала ему рубаху и обстригла тупыми ножницами волосы на голове — лесенкой.

Михеюшка тихо сиял и все хотел рассказать соседу про свою свадьбу... И вообще — как раньше игрались свадьбы.

Разговаривали все сразу. Делили посуду. Не хватало стаканов, вилок. Кто вынимал из-за голенищ нож, кто прямо руками выворачивал из барана ногу и волок к себе.

Закревский застучал вилкой по стакану. Постепенно затихли. Повернулись к Закревскому.

— Други мои! — начал тот, с трудом поднявшись, так как был стиснут с обеих сторон.— Мы сегодня собрались, чтобы...— Он посмотрел на Марью. Та покраснела и опустила глаза.— Чтобы отпраздновать как следует — по-русски! — бракосочетание этих молодых людей.

Закревский опять посмотрел на Марью и при общем молчании пригубил из стакана. Обвел взглядом настороженные, лукавые лица и сказал:

— А самогон-то горький.

Как будто потолок обвалился — все разом гаркнули:

— Горька-а!!

Егор первый поднялся и, не глядя ни на кого, ждал, когда встанет Марья. На крепких плитках его скул заиграл румянец.

Марья тоже поднялась... Шум стих.

Егор неловко обнял невесту, ткнулся ей куда-то в щеку и сразу сел.

Опять заорали... Кто-то стал доказывать, что это надувательство — так не целуются! Кто-то изъявил желание показать, как надо. Егор посмотрел на Марью. Она держала стакан в руке, не решалась пригубить. Егор кивнул ей. Она вдруг молча заплакала.

— Ты чего? — спросил Егор.

— Тятю жалко.— Марья смахнула ладошкой слезы.— Ничего, Егор, пройдет...

Макар завладел логуном — он стоял у него между ног, под столом,— черпал оттуда ковшом и разливал направо и налево в стаканы, в кружки, в туески и в крынки, везде по полной. Сам, через двух, прикладывался к ковшу, крутил головой, доставал левой рукой куски мяса — заедал, а правой не переставал черпать самогон.

Опять заревели:

— Горька!

Егор уже смелее обнял Марью, крепко поцеловал. Потом она поцеловала его — сама.

Кто-то поднял было:

Эх, я, как ворон, по свету скитался-а!..

Но этот единственный голос смяли, не дали вырасти в песню — рано еще.

Закревский пил много. Глаза его неприятно, нагло заблестели. Он все пытался поймать взгляд Марьи.

Макар наклонился под стол, поднатужился и с грохотом выставил логун на стол, посередине.

— Надоело мне вам подавать, зверье! Нате теперь...

Сам первый запустил в логун ковшик, повернулся к Егору.

— Давай, братка... хочу с тобой выпить. И с тобой, Марья. Дай вам бог жизни хорошей, как говорят... А еще...— он качнулся,— еще детей поболе, сынов. Штоб не переводились Любавины на земле.— Он запрокинул ковш, осушил его и заревел: — О-о-о!..— Потом, заку-

сывая, вдруг вспомнил: — Знаешь, кого мы позвать забыли?

— Кого? — спросил Егор.

— Дядю Игната. Хоть бы один от родни был.

— Дядя Игнат в каталажке сидит,— усмехнулся Егор.

Макар остолбенел:

— Как так?

— Так. За нас с тобой. Допытываются, куда мы ушли.

— Да што ты говоришь?!

— Что слышишь. Я вчера парня знакомого встретил, он за лесом приезжал, рассказывал. Били, говорят. Там этот молодой отличается шибко...— Егор посмотрел на Марью, усмехнулся,— жених вот ее.

Макар сел и мрачно задумался.

Никто не заметил, как они с Васей через некоторое время вышли из избушки.

Платоныч и Кузьма сидели в сельсовете. Они почти не разговаривали после приезда работника милиции...

Платоныч по-прежнему занимался списками. Из уезда потребовали точную опись имущества крестьянских хозяйств. Кузьме дано было поручение: обойти все дворы в деревне, переписать со слов хозяев наличие крупного скота, лошадей. А Платоныч сверял эти показания с другими, которые он добывал у крестьян победнее, и не без удовольствия поправлял богачей.

Елизару этого дела уездное начальство не доверяло.

Была уже глубокая ночь, но Платоныч все сидел и скрипел пером. Кузьме неудобно было уходить одному; он рассматривал проект школы, который выслали из губернии по просьбе Платоныча. Школа планировалась на сто двадцать человек.

— Сколько дворов обошел? — спросил Платоныч, утомленно откинувшись на спинку стула и глядя на Кузьму поверх очков (он хотел помириться с племянником, но хотел также, чтобы тот понял, что в этой истории с арестом не прав Кузьма).

Кузьма развернул тетрадный листок.

— Двадцать семь.

Платоныч устало прикрыл глаза, с минуту сидел, наслаждаясь покоем. Потом захлопнул тетрадку и встал.

— Пошли. Ты делай так: почувствуешь, что мужик может рассказать про соседа,— зови сюда. Только вежливо, не пугай.

Оделись... Кузьма погасил лампу.

Вышли в темные сени. Платоныч шел первым.

Едва он открыл сеничную дверь, с улицы, из тьмы, полыхнул сухой, гулкий выстрел. Платонычу показалось, что его хлестнули по глазам красной рубахой... Мир бесшумно качнулся перед ним. Он схватился за косяк и стал медленно садиться.

Кузьма несколько раз наугад выстрелил. В ответ из ближайших дворов громче залаяли собаки. Кузьма кинулся в улицу... Пробежал несколько шагов, прислушался. Никого. Тьма. Только гремят цепями кобели да где-то тоскливо мычит корова,— наверно, телится.

Кузьма бегом вернулся к крыльцу.

Платоныч умирал, зажав руками лицо, обезображенное выстрелом.

Кузьма приподнял его:

— Дядя Вася!..

Платоныч вздохнул раз-другой и сразу как-то отяжелел в руках... Голова запрокинулась.

Кузьма бережно положил его на пол, сдавил ладонями виски и сел рядом.

Тесная Михеюшкина избушка ходуном ходит.

Дым коромыслом... Рев. Грохот.

Несколько человек, обнявшись, топчутся на кругу, сотрясая слабенький пол. Поют хором:

Ух-ух-ух-ух!
Меня сватает пастух!..

Жарко. С плясунов — пот градом. Но тут важно пластаться до конца — пока не поведет с ног.

Михеюшка в углу рассказывает сам себе:

— ...Ну, тут я, конечно, сробел. Думаю: видно, нечистая сила играется. Да. Снял шапку, перекрестился. «Господи, говорю, господи, спаси, сохрани меня, раба грешного!» Только я так скажи, а сзади меня кэ-эк захохочут... ну, я и...

Кто-то захлестнул вожжами чувал камелька.

— Давай-ай, эй! (Обычай такой: на свадьбе разваливают хозяевам чувал.)

Ухватились за вожжи, потянули.

— Р-ра-аз!

Чувал выпучился и сыпанул градом кирпичей на пол. Пыль заполонила избу. Взрыв хохота.

Но все это покрыл вдруг могучий рев:

— Кто-о?! Кто натворил?! — Кому-то не понравилось, что разорили у Михеюшки печку.— Заче-ем?!

На кругу, по кирпичам, все топчутся плясуны.

Приходи ко мне, кум
Эх, я буду в завозне-е!

Закревский весь вечер кружил около Марьи, все заглядывал ей в глаза, улыбался. Она тоже улыбалась — потому что приятно кружилась голова, потому что рядом красивый, сильный муж и кругом веселые и вовсе не страшные люди...

Воспользовавшись тем, что Егор вышел с мужиками из избушки, Закревский подскочил к Марье, жарко дохнул сзади в шею:

— Там с Егором... плохо, пойдем.

— Где? — вскинулась Марья.

— Пойдем.

...В лесу, неподалеку, слышались голоса мужиков. Марья кинулась было туда, но Закревский схватил ее за руку и потащил в сторону.

— Вот сюда, сюда вот... Здесь...

В другое время Марья услышала бы, что голос Закревского подсекается, дрожит, почувствовала бы, как маленькая трепетная рука его вспотела и сделалась горячей. Но сейчас она думала о Егоре и забыла даже спросить, что с ним.

У первых сосен Закревский остановился... Обнял Марью. Она забилась, как перепелка в силке,— пыталась вырваться. Тонкие цепкие руки держали крепко.

— Зачем ты? Ты что это?..— Марья напрягала все силы, колотила Закревского, царапалась.

Закревский жадно хватал ртом мягкие девичьи губы. Бессвязно мычал.

— Егор! Ег...ор! Пусти, змей подколодный! Ег...

Закревский зажимал Марье рот, пытался повалить.

Увлеченные борьбой, не заметили, как в пяти шагах от них подхватился с земли (на корточках сидел) мужик и, поддерживая штаны, побежал в избушку.

...В шуме и гомоне свальной попойки прорезался веселый, радостный голос:

— А иде женихало-то наш?! Там его бабу... Х-хэк!.. Чуток не наступил на их.

Егора (он был в избушке уже) обдало как из лохани помоями. Он выскочил на крыльцо... И увидел под ближними соснами белую рубаху Закревского.

...Закревский успел немного отбежать, но споткнулся и упал. Егор навалился на него. Под руку сразу, как нарочно, попало горло Закревского, зобастое, липкое от пота. Егор даванул. Горло податливо хрустнуло в кулаке, как яйцо. Закревский захрипел. Егор поднял его и трахнул об землю. Еще раз поднял и еще раз с силой обрушил... Закревский икнул, вытянулся и перестал шевелиться.

Марья стояла у сосны ни живая ни мертвая — ждала. Слышала возню и страшных два — тупых, тяжких — удара тела о землю. Подошел Егор. Дышал тяжело.

Марья инстинктивно оградила рукой голову.

— Егор, я невинная... Егор,— заговорила торопливо,— он сказал, что тебе плохо...

— Было или нет? — странно спокойно спросил Егор.

— Да нет, нет... Нет, Егор.— Марья заплакала, стала вытирать рукавами глаза. Кофта, разодранная спереди, распахнулась (до этого она придерживала ее рукой). Матово забелели полные молодые груди.

Егора охватил приступ бешенства, какого он в жизни не испытывал. Он сел, почти упал, обхватил руками колени:

— Уходи... Скорей! Уйди от греха!

Марья торопливо пошла к избушке.

Егор вскочил, догнал ее, схватил сзади за косу.

— А зачем вышла? Сука...— Едва сдерживаясь, чтоб не ударить по голове, толканул в плечо.

Марья упала.

— Зачем вышла?!

— Да обманул он... Сказал, что плохо тебе...

— Чего мне плохо?! Чего плохо?!

— Не знаю.— Марья опять заплакала.— Не было ничего, Егор. Невинная я...

— Уйди. Иди куда-нибудь!.. Скорей!

Марья поднялась и, придерживая кофту, опять пошла к избушке.

А Егор широко зашагал в лес. По дороге. Ни о чем не думал. Немного тошнило.

Долго шел, так, совсем трезвый.

Впереди послышался конский топот пары лошадей. А через некоторое время — стало видно — смутно замаячили два всадника Егор сошел с дороги, остановился.

Ехали Макар с Васей. Макар — впереди. Негромко пел:

Бывали дни веселые,
Гулял я, молодец.
Не знал тоски-кручинушки...

Егор окликнул его. Макар придержал коня.

— Эт ты, Егор? Ты што?

Егор подошел к нему.

— Ехай, я рядом пойду.

Двинулись неторопким шагом.

— За Игната я расквитался,— сказал Макар.— Я их теперь уничтожать буду всех подряд.

— Я дружка твоего... тоже уничтожил,— негромко, без всякого выражения сказал Егор.

— Какого дружка? Кирьку?

— Кирьку.

— Как?.. Не понимаю...

— Убил.

Макар натянул поводья.

— За што?

Сзади наехал Вася, Егор не сказал при нем.

— Трогай. Сейчас расскажу.

До самой поляны молчали.

Еще издали слышно было, как гудит и содрогается избушка.

— Гуляют наши!— с восхищением сказал Вася.— Умеют, гады!

Расседлали коней.

Вася потер ладони, тоненько засмеялся и вприпрыжку побежал в избушку — наверстывать упущенное.

Егор повел брата в лес. Остановились над Закревским. Макар зажег спичку, склонился к мертвому лицу. Долго смотрел, пока не погасла спичка. Потом поднялся и сказал печально:

— Отпрыгался... Кирилл Закревский. Жалко все-таки.

Егор закурил, отошел в сторонку.

Макар подошел к нему.

— За што ты его?

Егор кашлянул, как будто в горло попала табачинка... Ответил не сразу, неохотно:

— С Манькой поймал...

Макар взялся за голову и наигранно, больше дурачась, но все-таки изумленно воскликнул:

— Мамочка родимая!.. Вот змей, а! Прямо на свадьбе?.. Так успел или нет? Манька-то что говорит?

— Говорит — нет.— Егор сплюнул.

— А иде она?

— Там,— Егор кивнул на избушку.

— Ну... живая хоть?

— Живая. Не знаю, што с ней делать.

— Та-ак,— протянул Макар. Присел под сосну, поцокал языком.— Надо подумать... Убил ты его, конечно, правильно. Я бы сам его когда-нибудь кончил. Боюсь только, как бы эти шакалы не устроили нам с тобой... Видал кто-нибудь, как ты его?

— Ну кто... Марья видела.

— Вызови ее.

— Пошла она!..

— Тогда я сам... Подожди здесь.

Макар ушел в избушку и долго не выходил. Егор успел еще один раз покурить.

Вернулся Макар повеселевшим.

— Никто не знает. Марье сказал, чтоб молчала. На ней лица нету. На, выпей, чтобы полегчало малость.— Сунул Егору крынку с самогоном. Сам он уже успел хватить — чувствовалось.— Этого ухажера мы сейчас в реку спустим.

Взнуздали первых попавшихся лошадей. Долго устраивали Закревского на спину серому мерину. Мерин храпел, поднимался на дыбы, волочил повиснувшего на узде Егора — не хотел принимать покойника. Макар таскался следом за ним с Закревским в руках, матерился — не очень приятно было нянчить холодеющее тело.

Наконец Егор зацепил повод за лесинку. Макар вскинул Закревского на спину дрожавшего мерина, вскочил сам.

Поехали.

Раскачали Закревского и кинули с высокого берега в Баклань.

— Прощай, Киря. Там тебе лучше будет,— сказал Макар, дождавшись, когда внизу громко всплеснула вода.

Утром рано Макар поднял своих людей.

Было тепло, сыро... По тайге низко стелился туман. Верхушки сосен весело загорались под лучами солнца.

Седлали коней, забегали в избушку опохмеляться. Кто-то хватился Закревского.

— Уехал вперед,— сказал Макар.

Он зашел тоже в избушку, дернул целый ковш самогона, простился с Егором (на Марью только мельком глянул) и выбежал. Повел банду в тайгу.

Остались Егор, Марья и Михеюшка.

Михеюшка изрядно хватил вчера... Пристроился в уголке на старом тряпье и крепко спал.

Марья лежала на нарах вниз лицом. Непонятно было, спит она или нет.

Егор сидел посреди разгромленной избушки на чурбаке. Перед ним стоял логун с остатками самогона. Он пил.

25

Начало лета. Непостижимая, тихая красота... Деревня стоит вся в зеленых звонах. Сладкий дурман молодой полыни кружит голову.

Под утро, в красную рань, кажется, что с неба на землю каплет чистая кровь зари. И вспыхивает в травах цветами. И тишина... Такая, что с ума сойти можно.

Каждую ночь почти Кузьма приходил к Платонычу на могилу и подолгу сидел. Думал. Хотел понять, что такое смерть. Но понять этого не мог. Нельзя разрыть землю, разбудить дядю Васю. Он не спит. Его нет. Начиналась бесплодная, отчаянная работа мысли. Как же так? Есть небо, звезды, есть где-то Марья, есть депо, товарищи — далеко только. А дяди Васи нету. Совсем. Нигде. Это непонятно...

Однажды на кладбище пришла Клавдя.

Кузьма услышал за спиной тихие шаги, не оглянулся: он почему-то знал, что это она. Клавдя села рядом, поджала коленки. Долго молчали.

— Совсем я один остался,— тихонько сказал Кузьма. Все эти дни ему очень хотелось кому-нибудь пожаловаться.

Клавдя погладила его по голове.

— Я с тобой.

Кузьма ткнулся в теплую, тонко пахнувшую потом, упругую грудь ее.

— Тяжело мне, Клавдя. Невыносимо.

— Я знаю.— Клавдя тесно прижала его голову.

— Ты хорошая, Клавдя.

— Конечно. И ты тоже хороший — добрый.

— Жалко дядю Васю...

— Говорят, Макарка Любавин убил. Видели их в ту ночь на конях.

— Я знаю. Федя поехал его искать.

— За что он его? Безвинный вроде старичок...

Кузьма ответил не сразу:

— Потому что он враг. Враг лютый.

Клавдя подняла его голову, заглянула в глаза.

— А если тебя тоже убьют когда-нибудь?

Кузьма не знал, что на это сказать. Он ни разу об этом не думал.

— С кем я тогда останусь? И ребеночек наш... как он будет? — Она готова была разреветься. На ресницах уже заблестели светлые капельки.

Кузьма обнял Клавдю. Успокаивая ее, успокоился немного сам.

— Пошли домой,— сказал он и почувствовал, как от этих слов стало теплее на душе. Это все-таки хорошо — иметь дом.

— Пойдем.— Клавдя высморкалась в кончик платка, поднялась.

Они пошли домой.

26

Сергей Федорыч после того, как увезли Марью, захворал и целую неделю лежал в лёжку. А когда немного поправился, пошел к Любавиным.

— Што же они делают, кобели такие?! — начал он, едва переступив порог любавинского дома.— Они што, хотят в гроб меня загнать?

Любавины-старшие были дома. Ефим тоже зашел к своим. Обедали.

— Садись с нами, поешь,— пригласил Емельян Спиридоныч.— Мать, подставь ему табуретку.

— До еды мне! — горько воскликнул Сергей Федорыч. Вытер глаза рукавом холщовой рубахи, устало присел на припечье.— Тут скоро ноги перестанешь таскать с такими делами.

Любавины доставали ложками из общей чашки, молчали. Емельян Спиридоныч нахмурился. Он последнее время заметно сдал: то с Кондратом история, то с младшими оболтусами. Да и за посевную порядком наломался.

Кондрат тоже смотрел в стол, задумчиво, с сытой ленцой жевал. На гостя не смотрел.

Только Ефим отложил ложку, икнул и, глядя на пришибленного горем Сергея Федорыча, сказал:

— Ты не убивайся шибко-то, Федорыч. Никуда они не денутся.

— Да... не убивайся...— Сергей Федорыч часто заморгал и опять вытер глаза.— Вам легко рассуждать... Налетели, коршунье... Гады такие!

Емельян Спиридоныч засопел громче. Однако промолчал.

Ефим вылез из-за стола, закурил.

— За Егоркой-то можно бы съездить,— неуверенно сказал он, глядя на отца.

Сергей Федорыч — точно только этой фразы и ждал — поднялся.

— Спиридоныч! Христом-богом прошу: поедем, привезем их! Срубим... Ну, хоть у меня сичас, правда, нечем помочь,— руками пособлю,— срубим избенку им, пускай живут, как все люди. Ведь это же стыд головушке! Как лиходеи какие.

— «Нечем сичас помочь!»— передразнил его Спиридоныч и фыркнул.— У тебя когда-нибудь было чем помочь?

Сергей Федорыч не был готов к такому жесткому отпору. От неожиданности даже руками развел.

— Ну что ж делать... раз мы такие...

Спиридоныч глянул на него, исхудавшего, с морщинистой шеей, с желтым клинышком бородки... Отвернулся. Неожиданно мягко сказал:

— Ладно, сичас подумаем. Может, привезем. Я только выпорю его там сперва. Кондрат, приготовь мне хороший бич.

— Так толку не будет,— сказал рассудительный Ефим.— Так он еще дальше зальется.

Все промолчали на это.

Емельян Спиридоныч вылез из-за стола, долго разглаживал бороду. Смотрел в окно.

— Поехали,— решительно сказал он,

Дорога, припыленная на взгорках и прохладно-волглая в низинах, часто поворачивала то вправо, то влево. Коробок подпрыгивал на корневищах. Монголка мотала головой, звякали удила.

Старики сидели рядышком. Беседовали.

— Как работенка-то? Строгаешь все?

— Копаюсь помаленьку. Руки вот трястись зачали,— Сергей Федорыч показал сморщенные, темные руки, сам некоторое время разглядывал их.— Отстрогался, видно.

— Да-а,— протянул Спиридоныч, с трудом подлаживаясь под горестно-спокойный тон Сергея Федорыча,— помирать скоро. Хэх! Ну и жизнь, ядрена мать! Мыкаешься-мыкаешься с самого малолетства, гнешь хребтину, а для чего — непонятно.

— Для детей,— сказал Сергей Федорыч, подумав.

— Ну, это — знамо дело,— согласился Емельян Спиридоныч. Ему захотелось вдруг обстоятельно, с чувством поговорить о близкой смерти, и он не стал возражать.— Это правильно, что для детей. Только... Ты вот можешь мне объяснить: что бывает с человеком, когда он кончается? В писании сказано, что он сразу в рай там или в ад попадает, смотря сколько грехов. Его вроде как берут под руки ангела̀ и ведут. Так? А в избе кто три дня лежит? И потом — он же в земле остается... Гниют они, конечно, но лежат-то они там. Кого же в рай-то ведут? Я тут не понимаю.

— Душу.

— Да эт я понимаю! Это я тебе сам могу сказать, что душу. А как это — душу?.. Как ее в смоле можно варить? Или говорят: «Будешь на том свете языком горячую сковородку лизать». А у души язык, што ли, есть?

— Должен быть. Вопче душа, наверно, похожа на человека.

— Непонятно.

— Ну, как же непонятно! Какой ты, такая у тебя душа.

Емельян Спиридоныч посмотрел сбоку на Сергея Федорыча. Сказал разочарованно:

— Ни хрена ты сам не знаешь, я погляжу.

Сергей Федорыч пожал плечами.

— Тебе, наверно, шибко в рай захотелось? Таких туда не берут, не собься.

Емельян Спиридоныч хотел что-то возразить, но Сер-

гей Федорыч повернулся вдруг к нему, оживленно сверкнул глазом,— вспомнил:

— Ты говоришь: как это — душа? А вот у меня свояк был... помер, царство небесное, на родине нашей жил — в Расее, так вот ехал он в позапрошлом годе из города порожнем...— Сергей Федорыч устроился удобнее — история была необыкновенная, он любил рассказывать ее.— Летом дело-то было, зеленя только еще грача скрывали. И как раз в этом-то году и недород у их страшный случился, мор...

— У их там вечно недород,— недовольно заметил Емельян Спиридоныч.— А мы — отдувайся.

— Погорело все, что ж ты хочешь! Да не один год, а два подряд — в двадцатом и в двадцать первом. «Отдувайся»!.. Убавилось у тебя, смотри. Люди семьями вымирали, а у него две брички хлеба лишнего взяли — дак сердце запеклось, забыть не может.

— Еслив бы только две брички...

— Тьфу! — Сергей Федорыч обозлился.— Вот пошто и ненавижу-то вас, прости меня, господи,— шибко уж жадные!

— Ладно, развякался...

— Лучше в яме сгноит, но чтоб никому не досталось! Чалдоны проклятые!

— Чо ж ты приперся к чалдонам-то? Мы никого не звали к себе.

Сергей Федорыч ничего не сказал на это.

Некоторое время ехали молча — отходили.

— Ну, што свояк-то? — первым заговорил Емельян Спиридоныч. Ему хотелось дослушать историю.

Сергей Федорыч еще маленько помолчал из гордости, но и самому хотелось рассказать, и он продолжал:

— Ну, едет, стало быть. Попадается на дороге старичок. Так себе — старичок. Бородка беленькая, сам небольшой... с меня ростом. И шибко грустный. «Подвези,— говорит,— меня, мужичок, маленько». А свояк у меня хороший мужик был, уважительный. «Садись, дедушка». Сел старичок. Ну, едут себе. Старичок помалкивает. Свояк мой тоже вроде как дремлет — намаялся в городе. Да. И тут видит свояк: лежит на дороге куль. Соскочил с телеги, подошел к этому кулю, посмотрел: пшеница. Да крупная такая пшеница — зерно к зерну. Обрадовался, конечно. Хотел поднять, а не может. Он уж его и так и эдак, не может поднять — и все. Что ты

будешь делать? Крикнул старичку, иди, мол, подсоби поднять, я не могу один. Старичок негромко так засмеялся и говорит: «Не поднять тебе его никогда, мужичок. Ведь это хлеб ваш... Видишь: будет он сперва большой, рясный, а потом сгорит все. И мор будет страшный». Сказал так и пропал. Нет ни старичка, ни куля. Свояк оробел. Подхлестнул лошаденку — и скорей в деревню. Рассказал знающим людям. Те услыхали и пригорюнились — не к добру это. «Это же,— говорят,— Николай-угодничек был! Ходит, сердешная его душа, по земле... жалеет людей». А уж к зиме и начался у них мор. Валил старого и малого. Вот и вышло, что не подняли они свой урожай тогда.

— К чему эт ты рассказываешь? — спросил хмурый Емельян Спиридоныч. История тронула его. Только не понравилось, что Сергей Федорыч рассказывает таким тоном, будто Николай-угодник тоже доводится ему свояком.

— К тому, что душа... тоже как человек бывает,— ответил Сергей Федорыч.— В образе.

Емельян Спиридоныч ничего не сказал. Чувствовал себя каким-то обездоленным и злился.

— А чего эт ты давеча про рай сказал? — спросил он.— Каких туда не пускают?

— Богатых.

— Почему?

— Потому что они... ксплотаторы. И должны за это гореть на вечном огне.

Емельян Спиридоныч пошевелился, сощурил презрительно глаза.

— А ты в рай пойдешь?

— Я — в рай. Мне больше некуда.

Спиридоныч потянул вожжи.

— Трр. Слазь.

— Чего ты?

— Слазь! Пройдись пешком. В раю будешь — наездишься вволю. Нечего с грешниками вместе сидеть.— Емельян Спиридоныч не шутил. Серые глаза его были холодны, как осенняя стылая вода.— Слазь, а то дальше не поеду.

Сергей Федорыч вылез из коробка, пошел рядом. Ехали давно уже не по дороге — коробок то вилял между деревьями, то мягко катился за лошадью по неожиданно широким тропам.

— Но в огне тебе все равно гореть,— сказал Сергей Федорыч.— Буду проходить мимо — подкину в твой костер полена два.

— Я тебя, козла вонючего, самого в костер затяну.

— Затянешь!.. Там вот с такими баграми стоять будут — сторожить. Но ты не горюй шибко: может, тебя еще не будут жечь. Ты мужик здоровый — на тебе черти могут в сортир ездить. Это все же полегче. Зануздают тебя, на хребтину сядут и...

— Я тебя самого сичас зануздаю! — озлился Емельян Спиридоныч.— Пристегну к Монголке, и будешь бежать, голодранец! Да еще бича ввалю.

Сергей Федорыч поднял с дороги большой сук, обломал с него веточки, примерил в руках.

— Иди пристегни... Я те так пристегну, что ты вперед Монголки своей прибежишь.

— Ой! — Емельян снисходительно поморщился.— Трепло поганое! Я ж тебя соплей зашибить могу.

— А ты спробуй. Иди.

— Руки об тебя не хочу марать.

— А я об тебя и марать не буду. Вот этим дрыном так отделаю...

— Хэх, козявка!.. Хоть бы уж молчал!

— Волосатик. Из тебя только щетину дергать. Боров!

Емельян Спиридоныч остановил лошадь.

— Ты будешь обзываться? Поверну сичас и уеду. Иди тогда один.

— А ты чего обзываешься? Ты думал, я тебе спущу? На, выкуси,— Сергей Федорыч показал фигу.

Емельян Спиридоныч подстегнул Монголку и скоро пропал за поворотом впереди.

— Ничего, тут уж немного осталось,— вслух сказал Сергей Федорыч и зашагал в том направлении, куда уехал Емельян Любавин. Он догадался, что Егор с Марьей живут у Михеюшки.

27

О том, что они, Клавдя и Кузьма, хотят пожениться, Клавдя объявила утром, когда завтракали:

– Тять, мам, я замуж выхожу.

Агафья вскинула глаза на Кузьму и опустила. А Николай, удивленный, спросил:

— За кого?

— Вот за него, за... Кузьму.

Николай еще больше удивился. Но и обрадовался. Ему нравился Кузьма. После смерти Платоныча он всячески хотел помочь парню, но не знал, как можно помочь. Только он никогда не думал, чтобы они — его дочь и Кузьма — сообразили такое дело.

— Я согласный,— сказал он.

Агафья не так представляла себе сватовство. Даже огорчилась.

— Так уж сразу и согласный! — накинулась она на мужа.— Отмахнулся! Одна-единственная доченька...— Она вытерла воротом кофты повлажневшие глаза.— Зверь какой-то, а не отец.

Николай растерялся. Посмотрел на Кузьму. Тот сам готов был провалиться на месте.

— А ты... не хочешь, что ли? — спросил Николай жену.

— При чем тут «хочешь», «не хочешь»? Никто так не делает. Не успели заикнуться — он уж сразу согласный. Как вроде мы ее навяливаем кому.

— Да зачем вы так? — вмешался Кузьма.— Кхе! Мы спросили... Я не знаю: как еще нужно?

— Сынок,— Агафья ласково посмотрела на него,— это ведь дело не шуточное. Тут подумать надо. Легко сказать — замуж! Замуж — не напасть, замужем бы не пропасть. Так говорят у нас. Мы тебя не шибко и знаем-то. Ты вон и к Марье ходил свататься...

Николай сморщился, отбросил ложку.

— Эх, повело тебя! Чего ты говоришь-то? Ну, ходил. И правильно. А я до тебя к Нюрке Морчуговой ходил. Да не один раз!

— Да ты-то уж сиди! — махнула рукой Агафья.— Ты шалопут известный.

— Что «сиди»! Что «сиди»! Я кто ей — отец или нет? Завела: ходил свататься... Мало, значит, ходил. Если несогласная, говори сразу. Нечего тут хвостом вилять.

Кузьма ерзал на табуретке... Шрам на лбу горел огнем.

Клавдя улыбалась. Ей, кажется, все это даже нравилось.

— Мам, дак ты согласная? — спросила она, запрятав усмешку в глубь серых прозрачных глаз.

— Несогласная! Вот! — выпалила Агафья, вконец разгневанная тем, что сватовство безнадежно скомкалось и что ее, Агафью, никто всерьез не принимает.

— Ну, тогда што же...— печально заговорил Николай и подмигнул Кузьме,— тогда и говорить нечего. Давно бы так сказала.— Он вылез из-за стола, начал одеваться.— Пошли, Кузьма, нам по дороге.

Кузьма обрадовался возможности уйти из дома. Он тоже быстро оделся, и они вышли.

— Не горюй, Кузьма,— начал Николай, когда вышли за ворота,— все будет в порядке. Это она так, выламывается.

Кузьма молчал. Он понимал, что Николай, этот добродушный, очень неглупый мужик, тоже становится его большим другом, как Федя. «Хорошие люди!»— невольно подумал он.

— Если глянется — всё. Сыграем свадьбу. У меня возражениев никаких нету,— продолжал Николай.

— Глянется,— бездумно сказал Кузьма.

— А жить-то... тут будешь?

— Здесь. Куда я теперь?..— Хотел досказать: «...без дяди Васи». Но смолчал.

— Ну и ладно! — Николай хлопнул Кузьму по плечу и свернул в переулок.

Кузьма пошел дальше, в сельсовет. Настроение у него было не жениховское, не радостное. «Буду работать — и все. Что еще надо в жизни?»

28

Рубили школу довольно дружно. Нежданно-негаданно сработала опись имущества, которую организовал Платоныч; одни струсили, другие решили — на всякий случай, чтоб власти зачли, когда понадобится.

Руководил строительством Сергей Федорыч. Он оживился в последние дни. (Марью с Егором они привезли тогда с Емельяном Спиридонычем. Сейчас Марья жила у Любавиных — как полагается.) Он покрикивал на мужиков, балагурил... Дело вел толково.

Кузьма все дни пропадал там. Почернел под солнцем. Обтесывал топором кругляки, первый лез закатывать на ряд готовые бревна, первый подворачивался, когда надо было подхватить доску или стропилину. Курил со всеми вместе. Обедал тут же, сидя на горячем, смолистом бревне. Мужикам нравился. Говорили про него хорошо, даже с оттенком некоторого изумления: «Вот тебе и городской!»

Про банду за все это время было слышно мало: в какой-то далекой деревне увели лошадей, где-то изнасиловали учительницу...

Любавины на стройку не ходили. Рубили всем семейством избу Егору. Сергей Федорыч частенько убегал туда — помочь, а потом, после полудня, приходил и несколько смущенно спрашивал:

— Ну, что у вас тут?

Кузьме свои отлучки объяснял просто:

— А как же? Должен.

Кузьма понимающе кивал головой.

Школа потихоньку росла.

Заложили ее посреди деревни, на взгорке. С верхнего ряда уже теперь видно было далеко вокруг; ослепительно блестела река, жарко горела под солнцем крашеная жесть трех домов — Любавиных, Беспаловых и Холманских. По береговой улице тулились друг к другу пятистенки и простые избы, среди них изба Поповых. Любавинский дом стоял почти на выезде из Баклани (их огород клином упирался в тайгу, которая с южной стороны вплотную подступала к деревне); Кузьма невольно по нескольку раз на дню смотрел сверху в их ограду — надеялся издали увидеть Марью. Так лучше — издали. Встретиться с ней сейчас, заговорить было бы... трудно. Недавно рано утром, завидев, что она идет с бельем с речки, почувствовал, что сердце споткнулось, враз зачастило, и свернул в переулок. А взглянуть на нее издали тянуло порою неодолимо... К жене стал все-таки вроде привыкать. Сперва он стыдился, когда Клавдя вместе с другими бабами приходила с обедом, а потом стал даже поджидать ее. Ему нравилось, когда кто-нибудь из мужиков, окликнув его, показывал:

— Твоя бежит.

Он отходил в сторонку, вытирал исподней стороной рубахи потное лицо и, улыбаясь, смотрел, как идет Клавдя.

— Уморился? — спрашивала она.

— Маленько есть. Что там у тебя? — Кузьма тянулся к корзинке, зная, что там будет что-нибудь вкусное: пирожки какие-нибудь, блинцы масленые, холодное молоко, мягкие шаньги, соленые крепкие огурцы с капустой впритруску...

Кузьма аппетитно хрумкал огурцами, а Клавдя сидела рядышком и говорила деловито:

— Пораньше не придешь сёдня?

— Не могу.

— Ну уж, парень!

— А что?

— Покосить отцу помочь. Ему тяжело одному.

— Не могу. Рад бы...

Клавдя критически оглядывала сруб школы и говорила, подражая кому-то из пожилых баб:

— Господи батюшка... когда вы уж ее кончите.

— Кончим.

С любовью Клавдя не донимала. Кузьма поначалу боялся: начнутся какие-нибудь попреки, обиды: поздно пришел, неласковый, мало разговариваешь... Ничего подобного! Как есть, так и есть.

С Николаем у Кузьмы наладились хорошие, неболтливые отношения.

Иногда вечерком, попозднее, они ездили за сеном (Николай, один из немногих хозяев, вывозил сено летом, и сметывал в прикладок на дворе, а зимой не знал горя). Ездили на двух парах, бричками. Навьючивая возы, Николай как-то очень ловко подхватывал вилами-тройчатками огромные пласты пахучего сена, чуть приседал и, крякнув, замахивал высоко на воз. Пласт ложился как влитой — не топорщился.

— От так,— говорил он с улыбкой, видя, что Кузьма наблюдает за ним.

Он помаленьку, с удовольствием приучал его к крестьянской работе.

— Может, сгодится,— рассуждал он.

Кузьма с не меньшим удовольствием постигал нехитрый, но требующий навыка и сноровки труд. Даже расколоть чурку — и то непросто.

— Вот, гляди,— показывал Николай,— вот сук,— так ты старайся попасть, чтоб вдоль сука. Оп! — Короткий взмах колуном — и чурка в добрый обхват легко разваливалась пополам с таким звуком, будто открыли плотную крышку какой-то деревянной посудины.— Понял? Силой тут не надо. Силой пускай медведь работает.

Или принимались пилить дрова. Кузьма старался, налегая что есть силы на пилу.

— Э, друг! — смеялся Николай.— Так у нас ничего не выйдет. Так мы с тобой упаримся только. Запомни: когда, значит, ты ее к себе тянешь, тут нажимай вовсю, но, конечно, не так, чтобы после первого урока скопы-

титься. И пила будет идти ровно. Вот. А когда я тяну, ты отпускай совсем. Есть, правда, хитрые — тут-то как раз и жмут. Но это... нехорошо. Ты ж не такой.

Долго не мог Кузьма научиться запрягать лошадь в телегу. То седелку забудет надеть, то наденет седелку, но забудет перевернуть хомут клешнями вверх и тщетно пытается надеть его на голову лошади. А когда седелка и хомут надеты и шлея верно заправлена под хвост, надо вспомнить, с какой стороны закладывается дуга... А сколько поднимать на переметнике, он так и не понял до конца.

Иногда за ними наблюдала Клавдя и хохотала над старательным и неловким мужем.

— Чего ты смеешься? — сердился Николай.— Посмотрел бы он на нас с тобой на заводе ихнем...

Просто и хорошо было с Николаем. Только с Агафьей у Кузьмы как-то не ладилось. Она все присматривалась к нему, все что-то прикидывала в уме. Иногда, когда они оставались вдвоем, она ни с того ни с сего спрашивала вдруг:

— А вот возьмешь да уедешь от нас?

— Куда же я уеду? Незачем теперь ехать.

— Ну... пошлют куда-нибудь.

— Ну и что? Поедем с Клавдей вместе.

Лицо у Агафьи сразу делалось кислым.

— Вот и начнется тогда жизнь... Нет, уж ты просись, чтобы тут оставили. Чего зря мотаться-то? А то заедешь куда-нибудь да бросишь там...

Кузьма не знал, что на это отвечать. Молчал. Старался вообще не оставаться с тещей наедине. При Николае она не затевала таких разговоров.

29

Когда Федя вернулся домой (его не было недели три), он увидел: рядом с его ветхим жильем, жарко сияя на солнце свежестругаными сосновыми боками, стояла новенькая изба.

Федя с удивлением разглядывал ее из своей ограды: «Кто-то работнул!»

В избе жили: на окнах висели белые занавески и стояли горшки с цветами. Перед окнами, на кольях, выжаривались под солнцем крынки. В ограде возились, играя, два голенастых щенка. Бродили куры.

Федя попробовал вспомнить, кто в деревне хотел строиться, но не мог. Повел Гнедка к колодцу. Напоил, искупал холодной колодезной водой. Дома насухо вытер его кошмой и насыпал в ясли отвеянного овса.

— Ешь теперь.

Постоял еще немного посреди ограды (Хавроньи дома не было, на двери висел огромный замок: вечно боялась за свои юбки) и пошел от нечего делать к новым соседям — узнать, кто они такие.

Вошел и остолбенел у порога: за столом сидели Егор и Марья. Обедали.

— Здорово, сосед,— сказал Егор, насмешливо разглядывая гостя.

— Здорово,— ответил Федя и сел на новую беленькую табуретку около печки, запыленный, в грязных сапогах, весь пропахший травами и конским потом.

Не знали, о чем говорить.

Марья под каким-то предлогом вышла из избы.

— Отстроился? — спросил Федя.

— Отстроился,— ответил Егор.

Опять долго молчали.

— Ну, бывай здоров! — Федя поднялся уходить.

— Погоди,— остановил Егор.— Ты вроде как зуб на меня имеешь?

Федя посмотрел на Егора.

— Нет. Ты-то при чем?

— Я за брата не ответчик...

Федя нетерпеливо шевельнул рукой: он не хотел об этом говорить.

— Посиди, что ж ты сразу уходишь? Нам теперь по-соседски жить.

Егор поднялся, вышел на крыльцо.

Марья сыпала курам просо.

— Слышь,— позвал ее Егор.

— Ты что, имени, что ли, не знаешь? — обиделась Марья.

— Там у нас есть под полом?

Марья прошла в избу.

Слазила под пол, налила туесок пива, поставила на стол. Потом так же молча нарезала огурцов, ветчины, хлеба, разложила все на тарелки.

Федя, серьезный и неподвижный, сосредоточенно курил. Смотрел в пол. С его сапог на чистый половичок

стекали черные капельки воды (обрызгался у колодца).

Егор налил три стакана.

— Ну, давай, сосед,— за хорошее житье.

— Давай,— охотно согласился Федя.

Дошагнув до стола, взял стакан, осторожно чокнулся с Егором. С Марьей забыл. Он как будто не замечал ее. А когда она сама осторожно звякнула своим стаканом о его, он почему-то покраснел и быстро, ни на кого не глядя, выпил.

Налили еще по одному.

— Давай, сосед.

— Ага.

Марья пить больше не стала. Сидела, облокотившись на стол, разрумянившаяся, красивая.

Федя упорно не смотрел в ее сторону. Пил и хмуро разглядывал туесок. Не закусывал.

Егор после каждого стакана вытирал ладонью губы и громко хрустел огурцом.

Выпили уже стакана по четыре. Пиво было крепкое, Игнатов подарок.

У Феди заблестели глаза, лицо помаленьку прояснилось.

— Макара искал? — спросил Егор.

— Ага.— Федя отодвинулся от стола. Закурил.— Пойдем прихватим бутылочку? — предложил он, глядя на Егора задумчивыми глазами.

— Хватит вам,— сказала Марья.— И так выпили... Чего еще?

— Ну, я пошел тогда.

— Будь здоров. Забегай когда...

— Ладно.

Федя ушел.

Марья некоторое время смотрела на дверь, потом призналась:

— Чудной какой-то. Большой такой, сильный, а его почему-то жалко. Как ребенок...

Егор поднял на нее помутневшие глаза, долго, непонятно смотрел. Потом сказал:

— Тебе всех жалко...— и отвернулся.

Вечером, когда пригнали коров, Марья вошла в избу с подойником, сообщила:

— Напился Федор-то... Поют с Яшкой песни. Хавронью выгнали из избы.— Помолчала и добавила задум-

чиво: — Что-то у него есть на душе — грустный давеча сидел. Хороший он человек.

Егор молчал. Он тоже пил один и сейчас вспомнил некстати поляну у Михеевой избушки, Закревского.

Марья процедила молоко, вытерла со стола.

— Ужинать собирать?

Егор встал — он сидел на кровати,— пошел к порогу разуваться.

Марья проводила его глазами.

— Что ты, Егор? — Подошла, хотела сесть рядом.

Егор стащил сапог и босой ногой, не говоря ни слова, толкнул ее в живот. Она отлетела к столу и упала на лавку. Схватилась руками за живот, заплакала.

— За что же ты меня так?.. Всю жизнь теперь будешь?.. Господи...

Второй сапог снимался трудно. Егор перегнулся, лицо налилось кровью, верхняя губа хищно приподнялась — открылись крупные белые зубы.

В избе было сумрачно и тепло. Настоявшийся запах смолья от новых стен отдавал вином.

Марья, всхлипывая, разобрала постель, сняла с кровати подушку, одеяло, раскинула себе на полу.

Егор незаметно следил за ней.

Марья разделась, легла, отвернулась к стене и затихла.

Егор не спеша, мягко ступая потными, до горяча натруженными ступнями по прохладному гладкому полу, подошел к жене. Постоял.

— Устроилась?

Марья не ответила.

Егор нагнулся, осторожно, чтобы не захватить тело, забрал в кулак ее рубашку и коротким сильным рывком поднял жену. Марья с испугом смотрела на мужа. Егор тоже смотрел на нее — в упор, внимательно. Потом тихонько, невесело засмеялся.

— Што?— И вдруг привлек к себе, крепко сдавил в руках, теплую, обиженную.

Марья обхватила голыми руками крепкую шею мужа и заплакала всхлипами, горько.

— Дурной ты такой... Что ж ты мучаешь меня? Убил бы уж тогда сразу... Понял ведь, что ничего не было. Забыть не можешь...

— Ну, ну, ладно...— Егор скупо ласкал жену и о чем-то думал.

— По животу меня больше не трогай.

Егор отстранил ее, поймал посчастливевшие смущенные глаза Марьи, заглянул в них, отвернулся, глуховато сказал:

— Давай спать.

30

Наступил покос.

Школу бросили строить. Объединялись семействами и выезжали далеко в горы: травы там обильные, сочные, не тронутые скотом. Выезжали все. В деревне оставались старики и калеки.

Кузьма поехал вместе с Федей, Яшей Горячим и другими. Николай на покос не ездил — он в это время уезжал в город и нанимался к подрядчику готовить лес на сплав. На этот раз поехали Агафья и Клавдя,— у них свой, бабий счет: за то, что они работали на покосе, бабы и девки из других семейств должны были зимой напрясть им пряжи или выткать столько-то аршин холста.

Покос — самая трудная и веселая пора летом. Жара. Солнце как станет в полдень, так не слезает оттуда,— до того шпарит, что кажется, земля должна сморщиться от такого огня. Ни ветерка, ни облачка... В раскаленном воздухе звенит гнус. День-деньской не умолкает сухая стрекотня кузнечиков. Пахнет травами, смолой и земляникой. Разморенные жарой, люди двигаются медленно, вяло. Лошади беспрерывно мотают головами...

Зато, когда жара схлынет и на западе заиграет чистыми красками заря, на земле благодать. Где-нибудь далеко-далеко зазвучит, поплывет над логами и ко́лками печальная девичья песня, простая и волнующая. Поют про милого, который далеко... И как тоскливо и холодно жить, когда неразумные мать с отцом выдадут за богатого дурака, некрасивого и грубого...

С лугов густо бьет медом покосных трав. Взгрустнули стога. В низинах сгущаются туманные сумерки, и по всей земле разливается задумчивая, хорошая тишина.

Выехали к вечеру, чтобы устроиться с жильем, переночевать, а с утра пораньше начать косить.

Ехали на четырех бричках. На трех разместились люди, четвертая была загружена граблями, косами, вилами и разным скарбом, который необходим людям вдали от дома: старая одежонка, посуда, ружья...

Кузьма сидел в одной бричке с Федей, Клавдя — в другой.

Бричка с бабами шла первой. Правил ею белоголовый парнишка Васька Маняткин, курносый и отчаянный. Свесился Васька набок, держит левой рукой ременные струны вожжей. А с правой тяжелой змеей упал в пыль дороги четырехколенный смоленый бичина... Орел!

Пара каурых рвут постромки. Бричка подскакивает на ухабах. А с нее вверх, в синее небо, летит песня. Что-то светлое, хрупкое — выше, выше, выше... Аж страшно становится.

Сронила колечко-о
Со правой руки-и-и;
Забилось сердечко
По милом дружке-е-е...

Высоко!— коснулась неба и — раз! Упало нечто драгоценное на землю, в травы. Разбилось.

Охх!..
Сказали — мил помер,
Во гробе лежи-ит,
В глубокой могиле
Землею зары-ыт.

Плачут голоса. Без слез. Горько.

Надену я платье,
К милóму пойду,
А месяц покаже-ет
Дорожку к нему...

Сплелись голоса в одну непонятную силу, и опять что-то живучее растет, крепнет. Летит вверх удивительная русская песня:

Пускай люди судят,
Пускай говорят,
Что я, молодая,
Из дома ушла...

И вот широко и вольно, наперекор всему — с открытой душой:

Пускай этот до-омик
Пылает огне-ем,
А я, молодая,
Страдаю по не-ом...

Дослушал песню Кузьма, и защемило у него сердце: захотелось, чтобы дядя Вася был живой. Чтобы и он по-

слушал дивную песню. И... взглянуть бы ему в глаза... Хоть раз, один-единственный раз. Понял бы дядя Вася, что в общем-то трудно Кузьме живется, слишком необъятный у него путь на земле и слишком нравятся ему люди. Порой трудно глаза поднять на человека,— потому что человек до боли хороший. Много, очень много надо сделать для этих людей, а он пока ничего не сделал. И не знает, как сделать. Иногда ему даже казалось, что с подлыми жить легче. Их ненавидеть можно — это проще. А с хорошими — трудно, стыдно как-то. Дядя Вася... он понял бы. Он много понимал. Со школой — это он правильно задумал. За это можно смотреть в глаза хорошим людям. А паразиты убили его... змеи подколодные.

— Что задумался?— спросил Федя.

— Так... Поют хорошо.

— Поют — да. Послушаешь, что они там будут делать!

— Мы долго там будем?

— Недели две.— Федя помолчал, улыбнулся и сказал, как большую тайну: — Я для того корову держу, чтобы летом на покос ездить. Шибко покос люблю. Молока-то я бы мог так сколько хошь заработать... На покосе люди другими делаются — умнее. А еще за то люблю, что там все вместе. Так — живут каждый в своей скворешне, только пересудами занимаются, черти. А здесь — все на виду. И робят сообща...

— Интересно говоришь, — отозвался Кузьма одобрительно,— мысли у тебя... хорошие. Вон кое-где мужики-то в коммуны организовались... Слыхал?

— Слыхать слыхал,— задумчиво проговорил Федор.— Поглядеть бы, что и как. Да поблизости от нашей Баклани-то нет их — как поглядишь?

Помолчали.

— Ты далеко был, Федор?— спросил Кузьма.

— Когда?

— Ну, когда Макара искал.

— А... далеко.— Федор сразу помрачнел.— В горы они подались. Макарка теперь атаманит. Там их трудно достать.

— А много их?

— С полста. Их в одном месте защучили было — отстрелялись. После этого и ушли. Теперь лето, каждый кустик ночевать пустит.

Солнце клонилось к закату. От холмов легли большие тени. Там и здесь с косогоров сбегали веселые березовые рощицы. Когда на них ложилась тень, они делались вдруг какими-то сиротливыми. Снизу, из долин, к голым их ногам поднимался туман, и было такое ощущение, что березкам холодно.

Бабы молчали. Мужики задумчиво смотрели на родные места. Курили. Далеко оглашая вечерний стоялый воздух, глуховато стучали колеса бричек и вальки.

Приехали поздно ночью. Разложили большой костер и при свете его стали сооружать балаганы. Это веселая работа. Парни рубили молодые нежные березки, сгибали их, связывали прутьями концы — получался скелет балагана. Потом на этот скелет накладывали сверху веток и травы. Внутри тоже выстилали травой.

Кузьма попробовал залезть в один. Там было совсем темно и стоял густой дух свежескошенной травы. Кузьма лег, закрыл глаза.

А вокруг — невообразимый галдеж — разбирали одежду, захватывали лучшие места в балаганах, смеялись. Время от времени взвизгивала какая-нибудь девка, и кто-то из взрослых не очень строго прикрикивал:

— Эй, кто балует?

Костер стал гаснуть, а люди еще не разобрались. Кто-то из парней «нечаянно» попал в девичий балаган. Там поднялся веселый рев, и опять кто-то из взрослых прикрикнул:

— Эй, что вы там?!

— Петька Ивлев забрался к нам и не хочет вылазить, черт косой!

— Я это место давно занял,— отозвался Петька.

— Я вот пойду огрею оглоблей,— спокойно сказал все тот же бас.— Нашел, дьяволина, где место занимать!

— Губа не дура,— поддержали со стороны.

Кто-то потерял друга и беспрерывно звал:

— Ваньк! Ванька-а! Где ты? Я тебе место держу!

Костер погас, а шум не утихал. Пожилые мужики и бабы всерьез начали ворчать:

— Хватит вам, окаянные! Завтра подниматься чуть свет, а они содом устроили, черти полосатые!

— Молодежь — под лоханкой не найдешь.

— Пусть хоть один проспит завтра! Самолично дегтем изгваздаю,

— Спать!— сурово сказал бас, и стало немного тише.

Кузьме нравилась эта кутерьма. Он понимал теперь, почему Федя любит покос. Это смахивало на праздник, только без водки и драк. Он лежал, прижавшись к чьему-то теплому боку, и беззвучно хохотал, слушая озорных ребят и девок. «Где-то Клавдя там моя»,— с удовольствием думал он.

Он попал в балаган с пожилыми. В нем было тихо. Зато в соседнем ни на минуту не утихала возня. Ребята прыскали в кулаки, гудели. Иногда кто-нибудь негромко звал:

— Маня. А Мань! Манюня!

— Чего тебе?— откликались из шалаша подальше.

— Это правда, что ты меня любишь?

— Правда. Высохла вся.

– Что ты говоришь! Я тебя тоже. Поженимся, что ли?

— С уговором, что ты, перед тем как целоваться, будешь сопли вытирать.

В том и в другом балагане приглушенно хохотали.

— Я сейчас пойду женю там кого-то!— опять сказал бас, уже сердито.— Кому сказано — спать!

Кузьма не мог никак вспомнить, кому принадлежит этот бас.

Возня стихала, но потом опять все начиналось сначала. Опять слышалось:

— Маня! А Маня! Х-хых...

Маня больше не отвечала.

— Девки! Пойдемте саранки копать?

— Спите, ну вас,— ответили из девичьего балагана.

Понемногу все затихло. Скоро отовсюду слышался легкий, густой, с придыхом, с присвистом храп. Люди спали перед трудным днем, как перед боем,— крепко.

Поднялись, едва забрезжил рассвет. Отбили литовки и пошли косить.

Молодые не выспались, ежились от утреннего холодка, зевали.

— Господи, бла-аслави!— громко сказал высокий, прямой мужик с выпуклой грудью (Кузьма узнал вчерашний бас), перекрестился и первый взмахнул косой.

Литовки мягко и тонко запели. Тихо зашумела трава.

Шли вниз по косогору. Мужики — впереди.

Кузьму еще раньше Николай научил косить. Шел

Кузьма в бабьем ряду, за Клавдей. Клавдя была в том самом легком ситцевом платьице — с мелкими ядовито-желтыми цветками по синему полю,— в котором Кузьма впервые увидел ее, и подвязана белым платочком под подбородок, маленькая, аккуратная, броская, сама как цветок, неожиданный и яркий в тучной зелени долины.

Кузьма с радостью смотрел на нее. «Чего я, дурак, искал еще?»— думал он.

Клавдя часто оборачивалась к нему, улыбалась:

— Не отставай!

Кузьма не жалел себя. Работа веселила его; в теле при каждом развороте упругой волной переливалась злая, размашистая сила.

Косы хищно поблескивают белым холодным огнем, вжикают... Жжик-свить, жжик-свить... Вздрагивая, никнет молодая трава.

Ряд пройден. Поднялись по косогору и пошли по новому.

К полудню выпластали огромную делянку. Стало припекать солнце. Прошли еще по два ряда и побрели на обед. Не смеялись.

Кузьма намахался... Руки как не свои висели вдоль тела. Упасть бы в мягкий шелк пахучей травы и смотреть в небо!

Кто-то показал на соседний лог:

— Любавины наяривают. О!.. жадность,— и солнце нипочем!

Кузьма посмотрел, куда указали. Там, на склоне другого косогора, цепочкой шли косцы. За ними ровными строчками оставалась скошенная трава, — красиво. Белели бабьи платочки. «Какая-то из них — Марья»,— спокойно подумал Кузьма.

Вечером, когда жара малость спала, еще косили дотемна.

Кузьма еле дошел до своего балагана. Есть отказался. Только лежать!.. Вот так праздник, елки зеленые! Ничего себе — ни рукой, ни ногой нельзя шевельнуть.

Клавдя пришла к нему.

— На-ка поешь, я принесла тебе.

— Не хочу.

— Так нельзя — совсем ослабнешь.

— Не хочу, ты понимаешь?

Клавдя положила ему на лоб горячую ладонь, наклонилась и поцеловала в закрытые глаза.

— Мужичок ты мой... Это с непривычки. Поешь, а то завтра не встанешь.

Кузьма сел и стал хлебать простоквашу из чашки.

— До чего же я устал, Клавдя!

— Я тоже пристала.

— Но ты-то ходишь, елки зеленые! Я даже ходить не могу.

— И ты, будешь. Привыкнешь. Ешь, ешь, мой милый, длинненький мой...

— Ты больше не зови меня длинненьким.

Клавдя размашисто откинула голову, засмеялась.

— Что ты?

— Да я же любя... Что ты обижаешься?

— Не обижаюсь... а получается, что я какой-то маленький.

— Ты большой,— заверила Клавдя и погладила его по голове.

Кузьма усмехнулся — на нее трудно было злиться.

Опять развели костер и опять колготились до поздней ночи.

Кузьма с изумлением смотрел на парней и девок. Как будто не было никакой усталости! «Железные они, что ли?!»

Пришли ребята и девки от Любавиных, Беспаловых, Холманских,— эти гуртовались в покос отдельно, на особицу.

Здешние парни косились. Не было дружбы между этими людьми — ни между молодыми, ни между старыми.

Затренькали балалайки. Учинили пляску.

В беспаловской родне был искусный плясун — Мишка Басовило, крупный парень, но неожиданно легкий в движениях.

И здесь тоже имелся один — Пашка Мордвин, невысокий, верткий, с большой кудрявой головой и черными усмешливыми глазами.

Поспорили: кто кого перепляшет?

Образовали круг.

Балалаечник настроился, взмахнул рукой и пошел рвать камаринского.

Первым в пляс кинулся Мишка Басовило. Что он вы-

делывал, подлец! Выворачивал ноги так, выворачивал этак... шел трясогузкой, подкидывая тяжелый зад. А то вдруг так начинал вколачивать дробаря, что земля вздрагивала.

Зрители то хохотали, то стояли молча, пораженные легкостью и силой, с какой этот огромный парень разделывает камаринского.

Мишка с маху кидался вприсядку и, взявшись за бока, смешно плавал по кругу, далеко выкидывая длинные ноги... Но вдруг он вырастал в большую крылатую птицу и стремительно летал с конца на конец широкой площадки. А то вдруг останавливался и начинал нахлопывать ладонями себя по коленям, по груди, по животу, по голенищам, по земле, сидя... В заключение Мишка встал на руки и под восторженный рев публики прошелся так по всему кругу. Это был плясун ухватистый, природный. Опасный соперник.

Пашка понимал это.

Он вышел на круг, дождался, когда шум стих... Кокетливо поднял руку, заказал скромненько:

— Подгорную.

Едва балалаечник притронулся к струнам, Пашку как ветром сдернуло с места и закрутило, завертело... Потом он вылетел из вихря и пошел с припевом:

Как за речкой-речею
Целовал не знаю чью,
Думал, в кофте розовой,
А это пень березовый.

Пашка хорошо пел — не кривлялся. Секрет сдержанности был знаком ему. Для начала огорошил всех, потом пошел работать спокойно, с чувством. Смотреть на него было приятно.

Частушек он знал много:

Я матанечку свою
Работать не заставлю,
В Маньчжурию поеду —
Дома не оставлю.

Ловко получалось у Пашки: поет — не пляшет, а только шевелит плечами, кончил петь — замелькали быстрые ноги... Ухватистый, дерзкий.

С крыши капали капели,—
Нас побить, побить хотели,
С крыши — целая вода,—
Не побить нас никогда!

Под конец Пашка завернул такую частушку, что девки шарахнулись в сторону, а мужики одобрительно заготали.

Стали судить, кто переплясал. Трудное это дело... Пришлые доказывали, что Мишка; Поповы, Байкаловы, Колокольниковы и особенно Яша Горячий отстаивали своего.

— А что Мишка?! Что ваш Мишка?!— кричал Яша, налезая на кого-то распахнутой грудью (его за то и прозвали горячим, что зиму и лето рубаха его была расстегнута чуть не до пупа).— Что Мишка? Потоптался, как бык, на кругу — и все! Так я сам умею.

— Спробуй! Чего зря вякать-то, ты спробуй!

В другом месте уже легонько поталкивали друг друга.

— Тетеря! Иди своей бабушке докажи!..

— Ты не толкайся! Ты не толкайся! А то как толкану...

— По уху его, Яша, чтоб колокольный звон пошел!

— Шантрапа! Голь перекатная!

— Катись отсюда... Мурло!

— Ну-ка, ну-ка... Что ты рубаху рвешь?.. Ромка, подержи балалайку...

Могла завязаться нешуточная потасовка, но вмешался Федя Байкалов.

— Э-э!.. Брысь! Кто тут?!— Он легко раскидал в разные стороны не в меру ретивых поклонников искусства, и те успокоились.

— Да обои они, черти, здорово пляшут!— воскликнул кто-то.

Это приветствовали смехом. Уладилось. Снова началась пляска как ни в чем не бывало.

Опять тренькала балалайка. Плясали девки. Парами, с припевом, сменяя друг друга.

Кузьма вздрогнул, когда во второй паре увидел Клавдю.

Клавдя плясала, вольно раскинув руки, ладонями кверху,— очень красиво. Ноги мелькали, выстукивая частую дробь. Голова гордо и смело откинута — огневая, броская.

«Молодец!— похвалил Кузьма.— Моя жена!»

Кабы знала-перезнала,
Где мне замужем бывать,—

Подсобила бы свекровушке
Капусту поливать,—

спела Клавдя и обожгла мужа влюбленным взглядом.

Некоторые оглянулись на Кузьму.

«Это она зря»,— смущенно подумал Кузьма, незаметно отступая назад. Ушел в балаган и оттуда стал слушать песни и перепляс. «Здорово дают... Молодцы. Но драка, оказывается, может завариться очень даже просто».

Разошлись поздно.

Кузьма нашел в одном из балаганов Федю, прилег рядом. Хотелось поговорить.

— Здорово ты их давеча!— негромко, с восхищением сказал Кузьма, трогая сквозь рубашку железные бицепсы Феди.— Одного не понимаю, Федор: как они могли тебя тогда избить? Макар-то...

Федя пошевелился, кашлянул в ладонь. Тихо, доверчиво сказал:

— Ничего. Что меня побили, это полбеды. Хуже будет, когда я побью.

— Найдем мы их, Федор,— не то спросил, не то утвердительно сказал Кузьма.

— Найдем,— просто сказал Федя.

— Федор, ты в партизанах был?

— Маленько побыл. Баклань-то не задела гражданская. Человек пятнадцать нас уходило из деревни — к Страхову. Шестерых оставили. А один наш в братской могиле лежит на тракте — сродственник Яши Горячего.

— А Яша тоже был?

— Был, ага. Яшка удалой мужик.

— А ты убивал, Федор?

Федор долго не отвечал.

— Приходилось, Кузьма. Там — кто кого.

— Больно тебе было?— тихонько спросил Кузьма.— Когда Макар-то...

— Больно,— признался Федя.— Когда бороду жгли... шибко больно.

— А сейчас не болит?

— Не... Потрогай,— Федя нащупал руку Кузьмы и поднес ее к своей бороде. — Еще гуще стала... чуешь?

— Ага. Как проволочная.

— Ххэ!..

Опять замолчали.

Кузьма, засыпая, невнятно сказал:

— Спокойной ночи, Федор. Знаешь... я как в яму начал проваливаться.

— Спи. Тут воздух вольный. Хорошо.

Мир мягко сомкнулся над Кузьмой.

В последующие дни продолжали косить. А часть людей ворошили подсохшее сено — переворачивали ряды на другую сторону. Копнили.

Кузьма втянулся в работу и теперь уставал не так.

31

По вечерам плясали, пели песни. Старые люди рассказывали диковинные истории про колдунов, домовых, суседок и другую нечистую силу. Сидели и слушали разинув рот.

Кузьма узнал за эти дни много всякой всячины. Что в нечистого можно стрелять только медной пуговицей — другое не берет. Что клад, который никому не завещали, будет мучить седьмое колено того, кто этот клад зарывал. Одного мужика замучил. Пойдет в поле — прямо из земли вырастает рука и машет ему: иди, мол. Или захочет переплыть реку, глядь, а с его лодкой стоит другая — из золота: все тот же клад в руки просится. А возьмешь его — примешь грех на душу. Вот и гадай тут: возьмешь — грехи замучают, не возьмешь — клад замучает, потому что ему в земле нельзя, ему к людям надо.

...Одного старика долго просили рассказать о том, как его когда-то — давно-давно — увозили черти.

Этого старичка Кузьма видел несколько раз в деревне — невысокий, плотный, с белой опрятной головой и неожиданно молодыми и умными глазами. Звали его Никон Дегтярев. Их было двое таких на покосе. Второй еще более древний — сгорбленный, зеленолицый старик с реденькой серой бородкой. Про его бороду парни говорили: «Три волосинки, и все густые». Звали его очень странно — дед Махор. Деды были приятелями. Дед Махор следил за лошадьми и починял сбрую, Никон отбивал литовки и ремонтировал грабли и вилы.

Долго просили Никона рассказать, как его увозили черти. Он согласился.

Придвинулся к огоньку, раскурил «ножку» — папиросу-косушку — и начал...

— Ну, значит... было это, дай бог памяти, годе во втором, не то в третьем — до японской ишо. Загулял я как-то — рождество было. День гуляю. два гуляю... На третий, однако, пришел домой. Стал разболакаться-то, да подумай — как подтолкнул кто: дай-ка, думаю, я еще к куму Варламу схожу Кума Варлама вы не помните. Вон Махор помнит Богатырь был. Как рявкнет, бывало, на одном конце деревни — на другом уши затыкай. Дэ-э... Вышел я. А уж под вечер. На дворе мороз с пылью.

Только я из ворот — а по переулку летит пара с бубенцами. Снег веется. Чуток с ног не сшибли: тррр! «Эй — кричат.— Кум! Мы за тобой. Падай в кошевку!» Кумовья оказались: кум Макар Вдовин и кум Варлам. Мне того и надо — пал в кошеву. Подстегнули они коней и понесли. Дэ-э... Ну, сижу я в кошеве и света белого не вижу — до того ходко едем. А кумовья знай понужают да посвистывают. «Куда,— говорю, — едем-то?» Кумовья только засмеялись. И тут,— видно, и на их, окаянных, сила есть,— только захотел же я курить Так захотел — сердце заходится. Ну, свернул папироску, стал прикуривать. Чиркаю спичками-то. Одну испортил, другую, третью — с десяток извел, ни одной не зажег. Ну и подумай про себя: «Господи, да что же я прикурить-то никак не могу?» Только так подумал — кумовьев моих как век не было рядом. И сижу я не в кошеве, а на снегу.

Вокруг — ни души. Темень — глаз выколи. Тут я струсил. Хмель из головы сразу вылетел. Сижу как огурчик. Главное — не пойму: что со мной делается? А тут еще поземка начинается, дергает низом: к бурану дело. Что делать? И слышу — далеко-далеко звенят колокольчики: динь-динь, динь-динь...

Похоже, ямщики с грузом.

Закричал я что было силы: «Не дайте душе сгинуть!» Кричу, а колокольчики все — динь-динь, динь-динь...

Я еще громче: «Карау-ул! Погибаю, люди добрые!» Слышу — смолкли колокольчики. — Я — кричать. Через немного времени замаячили в темноте двое. На вёршнах. Кричат: «Где ты там?! Шуми — на голос едем».— «Здесь,— говорю,— ребяты. Вот он я!»

Остановились саженях в пяти. «Кто такой?»— спра-

шивают. «Христианин,— говорю,— вот — крещусь. Плотник из Баклани, такой-то. Слыхали, может?» Один узнал,— ямщик, ночевал у меня раза два. «Как попал сюда?»— «А сам,— говорю,— не знаю».

Когда вышли на тракт, тут только узнал я, где нахожусь: верстах в семи от деревни.

Ну, сел я на воз-то и все не верю, что домой еду,— перепужался. Рассказал ямщикам, а те только засмеялись. «Ты сам-то,— говорят,— понимаешь, какие это кумовья были?»

Никон помолчал, погасил окурок, сплюнул в костер и закончил:

— Такая была история.

Все сразу заговорили. История понравилась.

Кто-то вспомнил подобную же:

— А я вот слыхал... тоже увезли одного... но только того — на болото. Тоже, говорит, пир горой шел, а потом закричал петух, и никого не стало. А он на кочке сидит...

И оттого, что такие истории, оказывается, уже бывали и что много похожего в них, рассказ Никона казался убедительным.

— Бывает, бывает... Чего только не бывает на белом свете.

— Окаянные, чо им нужно?

— Надо же — завезти человека вон куда и бросить!

Еще рассказывали про перевертушек... Про какую-то знаменитую колдунью...

Костер потрескивал, выхватывал из тьмы трепетный, слабый круг света. А дальше, выше, кругом — огромная ночь. Теплая, мягкая, гибельная. Беспокойно в такую ночь, без причины радостно. И совсем не страшно, что Земля, эта маленькая крошечка, летит куда-то — в бездонное, непостижимое, в мрак и пустоту. Здесь, на Земле, ворочается, кипит, стонет, кричит Жизнь.

Зовут неутомимые перепела. Шуршат в траве змеи. Тихо исходят соком молодые березки.

32

Следующий день начался для Кузьмы необычно.

Он копнил с бабами.

Работал в паре с Клавдей. У той все получалось както очень аккуратно. Воткнет вилы в пласт сена, навалит-

ся на них всем телом, упрет черенок в землю — раз! — пласт перевалился.

Кузьма тоже хотел так: глубоко загнал вилы, навалился на них...— черенок хрястнул.

Клавдя долго смеялась над ним.

Кузьма пошел к стану сменить вилы.

У крайнего балагана, на дышле, под которым была подставлена дуга, висела зыбка с ребенком. Мать ребенка, соседка Кузьмы в деревне, не захотела отстать от других, поехала на покос с грудным. Днем за ним присматривали старики — Махор и Никон. Она только кормить приходила.

Сейчас их не было ни того, ни другого.

Еще издали увидел Кузьма что-то черное на груди у ребенка, встревожился, прибавил шагу... И похолодел: змея. Она зашевелилась, гибко и медленно поднялась над краем зыбки. Как завороженные смотрели друг на друга человек и змея. Поразили Кузьму глаза ее — маленькие, острые, неподвижные, как две черные гадкие капельки.

То, что он сделал в следующее мгновение, было опасно не столько для него, сколько для ребенка: можно было не успеть подскочить.

Об этом Кузьма не подумал. Подскочил к зыбке, схватил змею, кажется, прямо за голову, кинул на землю.

В этот момент из-за балагана вышел Никон.

— Змея! — крикнул Кузьма.

— Где?

— Вон!.. Вон она!

Змея стремительно уползала по выкошенной плешине к высокой траве.

— А-а... Это — сичас... Черня! Черня! — позвал Никон.

Откуда-то вылетел большой красивый пес, вопросительно уставился на хозяина.

— Вон,— показал Никон.

Пес в несколько прыжков настиг гадюку, схватил ее, трепанул и отпрыгнул, загородив ей путь к траве. Змея поднялась чуть не наполовину, разинула рот и грозно зашипела. Пес изготовился к прыжку. Мах!..— промазал, вернулся. На несколько секунд змея и пес непонятно скрутились. Черня раза три высоко подпрыгнул. Змея успела свернуться в кольцо и вдруг с молниеносной быстротой развернулась. Прозевай Черня долю секунды,

ему пришлось бы плохо: она целила в голову. Гадюка мягко шлепнулась, тотчас опять вздыбилась и поползла к траве. Черня, не давая ей опомниться, прыгнул. Присев на задние лапы, быстро закрутился на месте, не позволяя ей дотянуться до своей головы. Бросил, отпрыгнул. Змея была уже сильно изранена и разъярена. Она кинулась сама. Тут-то и настиг ее Черня. Он обрушился на змею с такой силой, что сам не устоял, перевернулся, вскочил и принялся рвать ее и крутиться... Через минуту со змеей было покончено.

Кузьма и Никон наблюдали за этим сражением. Ни тот, ни другой не проронили ни слова. Только когда Черня подбежал к ним, Никон поласкал его за ухом и сказал:

— Умница.

Кузьма сел на землю. Колени противно тряслись от пережитого страха.

— Дед... ведь змея-то в зыбке была.

— Чего-о?!

— Так. Смотреть надо... Вам поручили, елки зеленые!

Никон тоже сел на землю.

— Ах ты, господи... грех-то какой! Только отлучился по нуждишке — и вот... Как же ты ее?

— Выбросил.

— Как выбросил?

— Сам не знаю. Рукой выбросил.

— Дак она не ужалила тебя? Ты, может, сгоряча не заметил?

Кузьма внимательно осмотрел ладонь.

— Нет, ничего.

— Господи, грех какой мог быть! — опять заговорил Никон. — Ты уж не говори никому, а то мать-то с ума сойдет.

— Ладно. Только ты смотри все же!.. — Кузьма поднялся. — Забыл, зачем пришел... А-а! Вилы. Вилы сломались.

Долго еще потом не мог очухаться Кузьма. Вздрагивал, вспоминая гладкий змеиный холодок в руке.

В обед, когда все разбрелись по балаганам соснуть часок-другой, пока не схлынет жара, Кузьма пошел в березник неподалеку — поесть костяники.

Ему нравилась эта ягода — кисленькая, холодная, с косточкой в середине.

Он сразу напал на такое место, где почти под каждым листиком была костяника. Долго ползал на коленях, не успевая собирать. И вдруг услышал негромкий разговор Поднял голову. На сухой колодине спиной к нему сидели дед Махор и Никон. Курили «ножки», беседовали.

— Давно хотел узнать у тебя... Это правда, что ли?

— Что?

— Что черти увозили.

Никон как-то странно хмыкнул.

— Так и знал,— сказал дед Махор, глядя сбоку на приятеля.— Здоров!.. А как было-то?

— Зачем тебе?

— Пошел ты к едрене-фене... Умирать скоро, а у его все секреты!

Никон сдвинул фуражку на затылок.

— Заблудился с пьяных глаз. Хотел в Куйрак, а попал... вон куды.

— Так. А зачем в Куйрак?

— Ну вот... расскажи ему все! Ты что — поп?

— Хэх, ты, бес! Да ведь ты к этой, наверно... черная бабенка там жила... Забыл теперь, как звать ее было, греховодницу. Цыганиста така... Ворожейка.

— Может, к ней,— согласился Никон.

Дед Махор некоторое время молчал, потом тронул темной, как высохшее дерево, рукой морщинистую шею, сказал негромко:

— Я тоже бывал там, язви ее.

— Ворожил?

— Ага.

Долго тихонько хохотали, не глядя друг на друга.

— Ну и ну!.. Как на тот свет-то явимся?

Никон подумал и в тон приятелю сказал:

— Попросимся, может, пустят. А не пустят — здесь тоже неплохо.

Кузьма неслышно выбрался из березника и пошел к стану. «Вот черти!.. Надо же такое придумать! И ведь как складно врал вчера!»

Когда стали собираться на работу, Кузьма не выдержал, отвел Никона в сторону.

— Я давеча невзначай подслушал ваш разговор... Так вышло. Я не хотел. Скажи, пожалуйста: для чего ты вчера так здорово... выдумал? Я не осуждаю... просто хочется знать. А? Я никому не скажу.

Никон ничуть не смутился. Заулыбался,

— А для антересу. Скажи людям, что заблудился пьяный,— скучно. Они это давно знают, что пьяный может заблудиться. А так... редко бывает... Теперь узнал?

После обеда, благословясь, заложили первый стог. Кузьма с ребятишками подвозил копны.

Федя Байкалов стоял под стогом. Без рубахи, бугристый, с неимоверно широкой грудью. Бабам он не нравился такой:

— Прямо смотреть страшно... Господи! Куда уж так?

Стогоправом стоял дед Махор — дело это не тяжелое, но искусное. Надо суметь так вывершить стог, чтобы он не скособочился через недельку и не подставил запавшие бока проливным осенним дождям,— иначе пиши пропало сено. Сгниет.

Бабы накладывали на волокушу большущие копны (чтобы окаянный Федя надорвался, а то вздохнуть не дает — все ждет), перехватывали копну веревкой, и копновоз волок ее к стогу. Федя показывал, где остановиться. Развязывал веревку, придерживал копну вилами, лошадь выдергивала из-под нее волокушу... Плевал на руки, некоторое время примеривался, с какого боку лучше взять! Всаживал вилы, подгибался рывком и...

— Опп!

Огромная копна с непонятной легкостью вздымается высоко вверх. Федя некоторое время танцует с ней, выискивая устойчивое положение.

Весь напрягся...

— Держи!— Толчок — копна на стогу.

Там ее долго растаскивает, раскладывает, утаптывает дед Махор. А Федя выбирает из волос насыпавшееся сено. Ждет следующую.

— Чего там? Заснули?— кричит бабам.

Кузьма захотел пить, но воды в ведре не оказалось.

— Съезди напейся и нам заодно привезешь,— попросила Клавдя.

Кузьма поехал к ручью.

Еще издалека узнал Марью. Сердце подпрыгнуло и словно провалилось куда-то...

Он остановил коня, хотел повернуть, но Марья уже увидела его. Быстро надернула юбку на голые колени — она стирала мужнину рубаху — распрямилась.

Кузьма подъехал к ручью.

— Здравствуй... те,— сказал он и улыбнулся.

— Здравствуешь.— Марья тоже улыбнулась.

Некоторое время молчали, глядя друг на друга.

— Как живешь? — спросил Кузьма, слезая с коня. Он сделал это как во сне — будто перелетел с горы на гору.

— Живем... Ты как?

— Да тоже.

Лошадь потянулась к воде, ссыпая глинистый край берега.

— Разнуздай коня-то, он пить хочет.

Кузьма суетливо и долго отстегивал удилину. Никак не мог.

Марья засмеялась. Негромко, необидно.

— Дай-ка.— Подошла, разнуздала и осталась стоять рядом.

Кузьма услышал запах ее волос, тонкий, отдающий сухостойным солнечным травняком. Увидел, как на шее, около уха, трепетно вспухает тоненькая синяя жилка. Шагнул. Глаза Марьи округлились, зеленоватые, с раружными стрелками-лучиками вокруг зрачка.

— Что ты?— спросила она.

Еще заметил Кузьма: когда она говорит, кончик носа ее чуть шевелится.

В груди даже больно сделалось — как горячая железка влипла.

— Ну, что ты?

— Не знаю,— Кузьма качнул головой.

— Люди же увидют,— сказала Марья, продолжая смотреть в глаза Кузьмы.— Увидют, что стоим... Уезжай.

— Сейчас...— Кузьма не шевельнулся.

Марья осторожно провела мокрой ладошкой по его лицу — со лба вниз, легонько толкнула.

— Уйди.

Кузьма повернулся, пошел к коню.

Марья зачерпнула в ведро воды, подала ему.

— На. — Посмотрела строго, внимательно. — Уезжай.— И отвернулась.

Кузьма ни о чем не думал, когда ехал обратно. Все время чувствовал прохладную Марьину ладонь на лице. Никак не мог отвязаться от этого ощущения.

Его поджидали с водой.

Он отдал ведро и сказал Клавде:

— Я сейчас... Мне нужно.

Поехал в стан.

Зашел в свой балаган, лег вниз лицом, закусил рукав рубахи. Долго лежал так. Всё. Короткое спокойное счастье его разлетелось вдребезги. Мир заслонила Марья. Стояла в глазах, какой была, когда подавала ведро с водой,— смотрела снизу.

Судьба словно сжалилась над ним.

Только он вернулся к работе, с косогора к ним скатился на коротконогой кобыленке молоденький парнишка из Баклани.

— Там пришли эти, с Макаром! Порох по домам ищут, лопотину забирают...

Федя уже надевал рубаху. Похватали ружья, какие были, пали на коней и понесли.

— Объехай всех, кто есть из деревни!— сказал Кузьма парню, с которым скакал рядом.

Тот кивнул головой, не сбавляя ходу, отвалил в сторону.

Лошади подравнялись на ходу одна к другой. Шли кучно. Дробный топот копыт слился в один грозный гул.

В деревню залетели на полном скаку.

Встретили на улице старика.

— Поздно хватились. Ушли...

— Куда?

— А дьявол их знает! У меня папаху отобрал один, чтоб ему...

— Куда, в какую сторону поехали?— заорал Кузьма, танцуя возле старика на разгоряченном коне.

— Что ты на меня-то кричишь? Сказал — не знаю.

— Давно?

— Не шибко давно.

Разделились на три группы, кинулись по разным дорогам.

Группа, с которой был Кузьма, поехала по дороге, которой только что приехали, с тем чтобы потом вернуть к парому через Баклань: там начинались согры, чернолесье. За деревней встретили еще человек пятнадцать, ехавших с покоса. Соединились.

Объездили километров двадцать в округе — банда как в землю ушла. Даже следов не оставила.

Вернулись под вечер.

Приехали другие группы. Бандиты ушли.

Разошлись по домам посмотреть, что они натворили.

Взято было немного: кое-что из одежды, сапоги, ремни... Зато порох подмели вчистую в каждом доме.

Кузьма заехал к Сергею Федорычу. Тот стоял в завозне и чуть не плакал.

— Топор взяли, паразиты! Ведь все равно иззубрят об камни... А он мастеровой.

Кузьма устало присел на верстак.

В завозне было прохладно, пахло стружкой и махрой. По стенам на деревянных спицах висели пилы, пилки, ножовки, обручи... В углу свалены неошиненные колеса.

— Ах варнаки проклятые!— ругался Сергей Федорыч, сокрушенно качая головой.— Что я теперь без топора буду делать?

Кузьма встал:

— Спросят — скажи, я в район поехал.

— Ты зачем туда?

Кузьма, не отвечая, вышел из завозни, сел на коня и выехал со двора.

33

Вернулся Кузьма через два дня.

Не заезжая домой, проехал прямо в сельсовет.

Его встретил на крыльце сияющий Елизар.

— У нас гость!— возвестил он, непонятно улыбаясь.

Кузьма почувствовал почему-то неприятный холодок под сердцем.

— Какой гость?

— Гринька Малюгин.

— Что ты говоришь!

Кузьма спрыгнул с лошади, прошел в сельсовет: подумал, что Гринька пришел сам.

— А где он?

— В кладовке.

— Его поймали, что ли?

— Ага. Федя Байкалов вчера привел. Накостылял ему, видно, по дороге. Едва приволок.

Гринька лежал в кладовой на лавке, закинув ноги на стенку. Харкал в низкий потолок, стараясь попасть в муху. Плевки ложились рядом с мухой. Муха почему-то упрямо не улетала, только переползала с места на место.

На стук двери Гринька повернул голову, широко улыбнулся.

— А-а! Здорово живешь!

— Здорово,— весело сказал Кузьма.— Со свиданьицем!

— Спасибо!— откликнулся Гринька, не снимая ног со стенки.— Опять меня поведешь?

— Нет, теперь по-другому будет. Как же ты попался?

— Бывает,— сказал Гринька и опять харкнул в потолок.— Бывает, что и петух несется.

— Федор тебя поймал, говорят?

— Этому человеку можешь от меня передать,— Гринька снял со стены ноги, сел на скамейке,— я у него в долгу.

— Какие вы грозные все! «В долгу-у»... Плевал он на таких страшных!

Гринька нахмурился, зловеще сломил левую бровь, но сам не выдержал этой гримасы, улыбнулся.

— Глянешься ты мне, парень,— сказал он.— По-моему, ты не дурак. Тебя как зовут?

— Отдыхай пока. Потом поговорим. Невеселые тебя дела ждут, могу заранее сказать.

Гринька вопросительно и серьезно глянул на Кузьму, но тотчас овладел собой.

— У меня, паря, всю жизнь невеселые дела. Так что не пужай.— Лег и опять закинул ноги на стенку.

— Ну, такого у тебя еще не было,— сказал Кузьма, вышел и запер кладовку.

Елизар что-то писал, склонив голову на левое плечо и сильно наморщив лоб.

— Гриньку беречь, как свой глаз,— сказал Кузьма. Бросил на лавку красноармейскую шинель и шлем.— Да, и вот еще что: я теперь буду секретарем сельсовета.

Елизар поднял голову, долго смотрел на Кузьму.

— Понятно.

— Что понятно?

— Что секретарем. Я думал, ты оттуда председателем приедешь. Что-то меня долго не снимают.

— Снимут,— добросердечно пообещал Кузьма.— Сами бакланцы снимут.— И вышел на улицу.

Федя был дома. У него расхворалась жена, и он старался не отлучаться.

— Как же ты поймал его?— спросил Кузьма, когда поздоровались и присели к столу.

— А он сам в руки шел. У нас телок вчера пропал, я

пошел вечером поискать за деревню. Смотрю — Гринька идет. Ну... мы пошли вместе.

Кузьма улыбнулся, хотел передать Гринькину угрозу, но подумал и не стал: Хавронья слышала их разговор, могла перепугаться.

— Я теперь секретарь сельсовета,— сказал Кузьма.

Федя с уважением посмотрел на него.

— Теперь, я думаю, Гринька знает про них — в одних местах были.

— И Гриньку тряхнем. За всех возьмемся.— Кузьма был настроен воинственно.

— Давно еще сказывал мне один человек,— заговорила слабым голосом Хавронья,— что есть, говорит, дураки в полоску, есть — в клеточку, а есть сплошь. Погляжу я на вас: вот вы сплошь. Какое ваше телячье дело до той банды? Они сроду по тайге ходют... испокон веку. И будут ходить.

— Лежи поправляйся,— добродушно сказал Федя.

— Тебе, дураку, один раз попало — неймется? Он вот узнает, Макарка-то, про ваши разговорчики! Нашли, с кем связываться... с головорезом отпетым.

Федя и Кузьма молчали. Кузьма незаметно подмигнул Феде, они вышли на улицу.

— Я вот чего пришел: Любавины с покоса приехали?

— Приехали.

— Возьми Яшу, и подождите меня здесь. Я домой заскочу на минуту. Потом пойдем арестуем старика Любавина.

Федя задумался.

— Зачем это?

— У меня, понимаешь, такая мысль: банда где-то недалеко, так? Узнает Макар, что отца взяли, и захочет освободить или отомстить. Он мстительный. А мы его встретим здесь. А? Что с ним, со стариком, сделается? Посидит. Отдохнет.

— Можно,— согласился Федя.

— Я быстро схожу.

Любавины только пришли из бани.

Емельян Спиридоныч распарил старые кости, лежал на кровати в исподнем белье, красный.

Кондрат ходил по горнице и тихонько мычал: ломило зубы. На покосе в самую жару напился ключевой воды и простудил их.

Михайловна собирала ужинать.

В избе было тепло, пахло березовым веником. Заливался веселой песней, мелко вызванивая крышкой, пузатый самовар. На полу два котенка гонялись друг за другом. Один, убегая от преследования, прыгнул на кровать, и ему попалась на глаза тесемка от кальсон Емельяна Спиридоныча. Он начал играться ею. Спиридоныч шваркнул его голой ногой.

— Щекотно, черт тя!..

— А? — спросила Михайловна.

— Не с тобой.

В сенях хлопнула дверь, заскрипели доски под чьими-то тяжелыми шагами.

— Ефим, наверно,— сказал Емельян Спиридоныч.

В избу вошли Кузьма, Федя и Яша.

— Здравствуйте.

— Здорово были.— Емельян Спиридоныч сел, тревожно разглядывая поздних гостей. «Макарка что-нибудь отколол»,— подумал он.

Из горницы вышел Кондрат, остановился в дверях, держась рукой за щеку.

— Собирайся, отец, пойдешь с нами,— сказал Кузьма Емельяну Спиридонычу.

Тот продолжал смотреть на них, не шевельнулся.

— Куда это он пойдет? — спросил Кондрат.

— С нами.

— Для чего?

— Я там объясню...— Кузьма переступил с ноги на ногу: слишком покойно и мирно было в избе для тех слов, какие сейчас, наверно, придется сказать.

— Ты здесь объясни.— Кондрат отнял от щеки руку.- -Где это там объяснишь?

— Одевайся! — строго сказал Кузьма, глядя на Емельяна Спиридоныча.

— Никуда он не пойдет! — тоже повысил голос Кондрат. Емельян Спиридоныч потянулся рукой к спинке кровати.

— Я только штаны надену,— сказал он сыну.

Все молча стояли и смотрели, как он надевает штаны. Он делал это медленно, как будто нарочно тянул время.

— Побыстрей можно? — не выдержал Кузьма.

— Ты не покрикивай,— спокойно сказал Емельян Спиридоныч.— Мне некуда торопиться.

— Ты арестован.

Емельян Спиридоныч прищурился на Кузьму.

— Это за что же?

— За дело.

— Вот что!..— Кондрат решительно стронулся с места и пошел на Кузьму.— Ну-ка поворачивайте оглобли — и... к такой-то матери отсюда!

Из-за Кузьмы на полплеча выдвинулся Федя, в упор, спокойно глянул на Кондрата.

— Не ругайся.

Кондрат остановился... Смерил Федю глазами.

— А ты-то чего тут?

— Так... на всякий случай.

Кондрат сплюнул, повернулся и ушел в передний угол. Сел на лавку.

— Земледав.

— Не ругайся,— еще раз сказал Федя.

— Ты чего, в партизанах, что ли? — спросил его Емельян Спиридоныч.— Ты, может, перепутал?

— Пошто? — не понял Федя.

— Чего ты тут командываешь?

— Я не командываю.

— Хватит разговаривать,— сказал Кузьма.— Собирайся.

Емельян Спиридоныч стал одеваться.

Вышли, громко стуча сапогами, спустились с крыльца.

— Хочу зайти по малому,— заявил Емельян Спиридоныч.

— Пойдем вместе,— сказал Кузьма.

Отошли за угол. Через некоторое время вернулись.

— Куда теперь?

— В сельсовет.

Ночью Кузьма беседовал с Гринькой.

— Дело плохо, Гринька,— грустно сказал Кузьма.— Есть такая бумага, в ней говорится, что к тебе применяется высшая мера наказания.

— Ха-ха-ха! — Гринька от души расхохотался.— Камздь!

— Мало смешного, Гринька,— не меняя выражения лица, продолжал Кузьма.— Я тебя не пугаю. Ты объявлен вне закона. Первый, кто тебя поймает, может убить без суда и следствия. Даже обязан.

— Покажи.

— Чего?

— Гумагу эту.

— У меня нет ее.

— Ха-ха-ха!.. Про банду хочешь выпытать,— я тебя наскрозь вижу.

— Она в районе. Но завтра я получу ее. Покажу тебе.

— Не верю.

— Как хочешь. Я тебя не уговариваю верить.

Замолчали.

Гринька сидел в небрежной позе, но в глазах его залегла тоскливая тень.

— Не верю я все ж таки,— опять сказал он.

Кузьма пожал плечами.

Гринька закурил.

— В районе знают, что меня поймали?

— Нет еще.

— Тогда давай говорить, как умные люди: я тебе рассказываю, где банда, ты отпускаешь меня на все четыре стороны. Тебе выходит повышение или награда какая, а мне жизнь дорога. Идет?

У Кузьмы загорелись глаза.

— Где банда?

— А отпустишь?

— Отпущу. Но сначала скажи: где банда?

Гринька оглушительно расхохотался.

— Все! Влип ты, парнища! По маковку! Никакой такой гумаги у вас нету. Эх, милый ты мой!..

Кузьма понял: поторопился. Однако быстро совладал с собой, выражение лица его стало скучным.

— Я думал, ты действительно умный человек. А ты — дурак в клеточку.

— Никогда товарищей своих я не выдам,— важно, даже торжественно сказал Гринька.— Отсидеть три года или пять — отсижу. Ничего. Убегу. Но с гумагой ты ловко придумал, дьявол. Я ведь правда поверил...

— Ладно, иди порадуйся последние минутки.

Гринька ушел веселым. Из-за двери хвастливо сказал:

— Редко кто обманывал Гриньку Малюгина. Это ты запомни.

— Запомню.

«Эх, черт! Поторопился...»

Домой Кузьма пришел перед светом. Хотел соснуть

пару часов, но не мог. Ворочался на жаркой перине, кряхтел...

— Чего ты? — сонным голосом спросила Клавдя.

— Ничего. Кто это у вас перины такие сообразил? Потолще нельзя было?

— Ты все чем-нибудь недоволен. Ему делают как лучше...

— Что ж тут хорошего? Лежит целая гора, елки зеленые! — усни попробуй! В кочегарке и то прохладней.

Наконец он ушел совсем от Клавдии — на пол. Но и там не мог заснуть. Дело было не в перине.

Утром, чуть свет, он вскочил, выпроводил из горницы Клавдю, закрылся и стал что-то вырезать из резинового каблука.

Клавдя несколько раз стучала в дверь, звала завтракать, Кузьма не выходил. Он делал печать.

Таким ремеслом еще никогда в жизни не доводилось заниматься. Но сейчас эта печать нужна была позарез. На столе лежала какая-то справка с губернской печатью — для образца.

В глазах у Кузьмы рябило от мельчайших буквочек, черточек, точечек, колосков... Наконец к полудню печать была готова.

Кузьма пришлепнул ее к бумаге. Сравнил с настоящей... Грустно стало. От его печати так явно несло липой, что надеяться можно было только на Гринькину великую грамотность.

Потом он написал бумагу. Она гласила:

«Приказ по Запсибкраю № 1286.

Настоящим подтверждается, что Малюгин Григорий...»

Кузьма не знал отчества Гриньки. Вышел, спросил у Агафьи.

— Ермолай у них отец был,— сказала Агафья.

«...Григорий Ермолаевич, уроженец д. Баклань, за свои безобразные поступки объявляется вне закона.

Местным властям, где Малюгин Гринька будет пойман, следует применить к нему высшую меру наказания, т. е. расстрел.

Начальник краевого управления ГПУ».

Кузьма долго придумывал фамилию начальника. Хотелось какую-нибудь такую, чтобы у Гриньки поджилки задрожали. Подписал: «Саблин». И — печать.

Долго любовался своим творением. Сейчас даже печать выглядела солидной и внушительной. «А — ничего! Что ему еще нужно?»

Пошел в сельсовет.

Гринька чувствовал себя превосходно.

— Что, дитятко?

— Вот, почитай,— Кузьма протянул ему сложенный вчетверо приказ.

Гринька вскинул брови, взял бумажку, развернул. Внимательно стал разглядывать ее.

— Ты читать-то умеешь?

— Читать-то?..— Гринька посмотрел бумагу на свет.— Читать я, парень, не умею.

— Давай я тебе прочитаю.

— Пусть другой кто-нибудь...

— Почему?

— А ты прочитаешь не то. Я ж тебя знаю.

— Да почему не то? — загорячился Кузьма.— Почему не то?! Что ты ерунду говоришь?

— А-а...— Гринька понимающе оскалился.— Пусть другой прочитает.

— Другому нельзя.— Кузьма растерялся: он не знал, что Гринька совсем не умеет читать, надеялся — по складам прочтет.— Это секретный приказ.

Гринька вернул бумагу.

— Тогда сходи с ней в одно место.

Кузьма озлился:

— Ну, Гринька!.. Не проси милости. Как человеку... помочь хотел. Не хочешь — не надо. Сегодня расстреляем. Всё.

Гринька пошел вразвалку. Прежде чем войти в кладовую, оглянулся:

— Ты такими шутками не шути.

— Все. Кончен разговор.

Лунной ночью Гриньку повезли на «расстрел».

Ехали с ним в телеге трое: Кузьма, Федя и Яша.

Гринька лежал на траве со связанными руками. Несколько раз пробовал заговорить со своими мрачными спутниками — ему не отвечали.

Выехали за деревню, в лес.

Гриньке помогли сойти с телеги, привязали к дереву. Сами отошли на несколько шагов.

Федя и Яша зарядили ружья.

Гринька внимательно наблюдал.

В лесу было сумрачно. По макушкам деревьев время от времени дергал верховой ветер, и они зловеще шумели. Тоскливо ухала сова.

Кузьма достал из кармана приказ, зажег спичку и громко прочитал его. Стал медленно складывать бумагу. На Гриньку не глядел.

Федя и Яша вскинули ружья...

— Стой! — крикнул Гринька.— Я расскажу про банду.

Яша и Федя ждали с поднятыми ружьями.

— Говори,— велел Кузьма.

— Я скажу, а эти... стрельнут.

— Нет,— Кузьма немного помедлил.— За то, что скажешь, тебя помилуют. Не совсем, конечно: сидеть все равно придется.

— Расскажу, черт ее бей.

В деревню гнали вмах. Телега подскакивала на рытвинах, трещала и скрипела по всем швам.

У первых домов Кузьма и Яша соскочили, побежали собирать людей.

Федя отвез Гриньку в сельсовет, запер в кладовой и помчался домой за лошадью.

Когда он верхом вернулся к сельсовету, там было уже человек пятнадцать мужиков и парней — все на лошадях и с ружьями.

Кузьма был в сельсовете: ждали еще с дальнего края деревни человек восемь надежных ребят.

Наконец подъехали и эти.

Тронулись в путь.

Кузьма ехал впереди с Федей. Федя знал место, которое указал Гринька. Верст двадцать от Баклани, в таежном предгорье.

Ехали уже часа два. Луна спряталась за плотный облачный полог.

Дорога сначала была торная, но потом, в тесных увалах, сузилась в еле различимую тропку, зажатую с обеих сторон плотной стеной леса и огромными камнями. Отряд далеко растянулся, даже две лошади не могли идти рядом.

«Выбрали место, сволочи»,— думал Кузьма.

Федя ехал впереди.

— Далеко еще, Федор?

— Верст семь-восемь.

Прошло еще полчаса. Федя остановил коня.

— Скоро уж... Надо, чтоб не шумели.

Кузьма передал назад: не шуметь!

Медленно и тихо двинулись вперед. У Кузьмы сильно колотилось сердце. Он напряженно, до боли в глазах, всматривался во тьму. Но ничего, кроме размытых очертаний гор на темном небе, не видел.

Лошади осторожно ступали по каменистой тропе, шуршала под ногами мелкая галька. Неожиданно тропинка расширилась и завернула вправо.

— Тут,— шепнул Федя, останавливаясь.

Кузьма осторожно выехал вперед, долго всматривался и вслушивался в ночь. Ничто не подсказывало присутствия здесь людей. «Неужели обманул Гринька?»— со злостью подумал Кузьма.

Сзади подъехал Федя.

— Тут небольшая ложбинка, как тарелка... А в ней полно камней. Они, наверно, в этих камнях.

— Надо сейчас брать. Верно?

Кузьма слез с коня и пошел к отряду. Объяснил, как лучше действовать. Разделились на две группы: одна двинулась в обход слева, другая начала карабкаться по камням вверх, чтобы обойти ложбину справа; справа ложбина примыкала к горе с отвесным почти уклоном. Коней оставили под присмотром двух парней.

Стрельбу открывать договорились по выстрелу Кузьмы.

Он пошел с группой вправо.

Путь был трудный. Лезли по узкому карнизу уклона, цепляясь за выступы камней, за ползучие чахлые кустики. Вдруг сзади под кем-то сорвался большой камень и с треском полетел вниз, в ложбину. Сделалось тихо. Все замерли.

— Кто там? — спросил снизу сонный голос.

Тягучая, томительная тишина.

— Кто там? — спросили еще раз встревоженно.

Опять никто не ответил.

Внизу прошумели шаги. Неразборчиво заговорили. Кто-то приглушенно кашлянул.

Кузьма, сжимая в руке наган, лихорадочно соображал: сейчас начинать или выждать? Внизу вспыхнул факел. Огонь начал приближаться к ним, вверх, освещая ноги в сапогах и замшелые валуны.

Кузьма выстрелил немного выше этих ног. Факел дрогнул, описал путаную кривую и покатился по земле. И сразу со всех сторон начали лопаться ружейные выстрелы. Долина загудела.

Снизу стали отвечать. То там, то здесь во тьме брызгали узкие стремительные огни. Вразнобой, сухо грохотали винторезы, гулко и дураковато бухали переломки большого калибра, редко пробивались собранно-четкие, тукающие винтовочные выстрелы. Звонко, с надсадой тявкали узкоствольные ружья. Над головами свистела дробь.

Кузьма стрелял из-за камня, ругаясь сквозь зубы. «Не так, не так надо было!.. Черт их достанет там, за камнями! Не окружили... Могут уйти, если поймут, что та сторона свободна. А понять легко, потому что оттуда не стреляют».

— Федя! Зайдем с той стороны! — крикнул Кузьма. И тут же увидел, что его опасения сбываются: огоньки выстрелов внизу начали продвигаться именно в ту сторону.

— Уйдут! — заорал Кузьма.— Уходят! Братцы!..

— Тахх! Тах! Тумм! Тахх! — гремели ружья.

— Пошли-и! Не давай им уходить! — Кузьма вскочил и, спотыкаясь, бросился вниз. Слышал, как сзади громко ломится Федя. Один Федя.

— Ну что-о?! — отчаянно закричал Кузьма тем, кто оставался наверху.— Что-о?!

Еще два парня спрыгнули вниз. Остальные постреливали из-за камней. Не очень хотелось выходить под выстрелы.

Другая группа не могла услышать — далеко.

«Провалили дело»,— понял Кузьма, перебежками двигаясь вперед, стрелял по огонькам.

— Ушли! — крикнул ему на ухо Федя.

Кузьма перебежал к следующему камню, зарядил наган и снова начал стрелять. «Надо преследовать»,— решил он.

Кто-то — человека три — из той группы тоже увязались за отступающими бандитами. «Правильно делают,— похвалил Кузьма.— Мы их замотаем к утру».

— Ушли,— еще раз с тоской сказал Федя.— У них там кони...

Кузьма чуть не застонал: ведь можно было заранее угнать коней-то!

Действительно, с той стороны горы у бандитов паслись кони. Приученные к выстрелам, они не разбежались. Бандиты ловили их и группами рассыпались по тайге. Оставшиеся отстреливались. Их становилось все меньше. Наконец последний, часто стреляя, вскочил на коня и ускакал. Всё. До обидного просто и быстро.

Кузьма сел на камень, закусил губу, чтоб стало больно. Хотелось зареветь, заорать на кого-нибудь. Но орать нужно было только на себя.

Пристыженные неудачей, злые и мрачные, собирались к лошадям. Сморкались, кашляли. Материли перепуганных коней. Подобрали двух раненых бандитов и поехали домой.

К рассвету были в деревне.

Кузьма расседлал коня, вошел в дом, разделся, завалился к стенке, за Клавдю, долго не мог уснуть.

34

Ночью в окно Егоровой избы несколько раз осторожно стукнули.

— Кто? — спросил Егор.

— Отвори.

— Макар?! — Егор открыл дверь. — Ты что, сдурел?

— Огня не зажигай, — сказал Макар. Ощупью прошел к лавке, в передний угол, тяжело опустился. Вздохнул. — Марья дома?

— Дома, — откликнулась с кровати Марья.

— Здорово, Марья.

— Здравствуй, Макар.

— Заделай чем-нибудь окна... хочу посмотреть на вас, — попросил Макар.

Егор завесил окна: одно — одеялом, другое — скатертью со стола. Зажег лампу.

Макар сидел, навалившись боком на стол. В высоких хромовых сапогах, в крепких суконных брюках и в зеленой атласной рубахе, подпоясанной наборным ремешком, — красивый и бледный.

— Соскучился, — сказал Макар, устало улыбнувшись. — Как живете?

— Тебя ж поймать могут! — Егор невольно глянул на дверь.

— Не поймают. — Макар поднялся, достал из кармана

какую-то золотую штуку, какое-то женское украшение на шею... Подавая Марье, качнулся — он был пьян.— На... подарок мой тебе. На свадьбе-то не подарил ничего.

— Господи!.. Красивая-то какая! — Марья примерила золото на себя.

— Носи на здоровье. Дай закурить, Егор. Все есть, а вот табачок — не всегда.— Закурил, сел, опять навалившись боком на стол.— Хорошую избенку срубили, я смотрю.

— Про отца-то слыхал?

— Что?

— Посадили ж его?

— Про это слыхал.

— От кого?

— Слыхал...— неопределенно сказал Макар.

Помолчали.

— Трепанули вас вчера, говорят?

— Было маленько.

— Взвозился, парень... Упрямый, гад. Накроет.

— Ничего-о,— спокойно протянул Макар.— Поглядим, кто кого накроет.

— Дома не был?

— Нет. Как живете-то?

— Живем,— сказал Егор, нахмурился и нагнул голову.— Ничего.

— Наши как?

— Ничего тоже. У Кондрата жена померла.

— Царство небесное. Отмучился Кондрат.

— Плакал, когда хоронили...

— Ну... привык. Жалко, конечно. Засеяли всё?

— Засеяли... что толку? Опять начнут хапать.

Макар поднялся:

— Ну... я поеду. Дай табачку на дорогу.

Егор высыпал ему в карман весь кисет.

— Больше нету. Завтра рубить хотел.

— Хватит этого. Поехал.— Макар вышел.

Под окном тихонько заржал конь... Приглушенно прозвучал топот копыт по пыльной дороге. И все стихло.

— Жалко Макара,— сказала Марья.— Связался с этими...

Егор дунул в стекло лампы, лег на кровать с краю и только тогда сказал:

— Мне, может, самому его жалко.

— Дай твою руку под голову,— попросила Марья и приподнялась с подушки.

— Лежи,— недовольно сказал Егор.

Марья опустила голову.

— Неласковый ты, Егор.

Он ничего не сказал на это. Думал о брате Макаре. Марья с минуту, наверно, лежала тихо, потом вдруг приподнялась и испуганным шепотом спросила:

— Егор!.. А он иде его взял-то?

— Кого?

— Подарок-то! Может, он убил кого-нибудь да снял? А?

— Откуда я знаю...

— Тошно мнеченьки!.. Как же теперь? Грех ведь!

— Лежи ты! — вконец обозлился Егор.— Не брала бы тогда.

— Так я откуда знала?.. В голову не пришло. Куда теперь деваться-то с ним? Может, в речку завтра?.. Он же задушит. На нем же кровь чья-нибудь...

— Отдашь завтра мне, я спрячу. А счас спи, не заполошничай.

Утром Агафья вошла в горницу к спящим Кузьме и Клавде. Толкнула Кузьму.

Тот быстро вскинул голову.

— Что?

— Вышла сичас, а в дверях бумажка какая-то... На, прочитай.

Кузьма развернул грязный клочок бумаги. На нем химическим послюнявленным карандашом неровно и крупно написано:

«Отпусти отца. А то разорву пополам на двух березах. Так и знай.

Любавин Макар».

— Что там?

— Так... Ерунда какая-то.

— Я думала, святое письмо. У нас, когда церкву сломали, святые письма находили так же вот.

— Нет, тут что-то неразборчиво. Хулиганит кто-нибудь.

— Чего доброго, этих варнаков хватает. В прошлом годе чего удумали, черти. Вот наспроть нас домик-то стоит с зелеными ставнями...

— Ну.

— Там Фекла Черномырдина живет, старая девка. А она шибко жадная до всяких тряпок. Прямо, где увидит лоскуток, затрясется вся. Так они, охальники, додумались: наложили в цветастую тряпочку отброса разного и засунули в скворешню. А кончик тряпки выставили наружу, чтоб его видно было. Ну, встает утром Фекла, видит в скворешне этот лоскуток. «Тошно мнеченьки,— говорит,— какую красивую тряпочку-то скворушки принесли!» Подставила лесенку, поднялась и залезла рукой в скворешню-то... Ну, вляпалась, конечно. Так ругалась, так ругалась — на чем свет стоит.

— Хм... А кто это делает?

— Да ребята холостые. По целым ночам ходют, жеребцы, выдумывают.— Агафья вышла.

Кузьма вскочил с кровати, одеваясь, сквозь зубы сказал:

— Клюнул, Макар Емельяныч! Клюнул, дорогой! Я те разорву на двух березах!

— Ты что это ни свет ни заря соскочил? — спросила Клавдя.

— Надо.

Он ополоснулся на скорую руку, пошел к Феде в кузницу. «Смелый, гад,— думал про Макара.— Не предполагал я, что он так рано побывает здесь».

Проходя мимо недостроенной школы, Кузьма остановился. Долго глядел на нее. «Кончать надо строить, пока погода хорошая стоит. Это памятник тебе, дядя Вася».

Федя был в кузнице. Ковали с Гришкой.

— Выйди-ка на минутку,— позвал его Кузьма.

Вытирая на ходу руки о фартук, Федя вышел на улицу.

— Смотри,— Кузьма вручил ему Макаров листок.— Твой друг-приятель весточку подал.

Федя беспомощно повертел в толстых черных пальцах бумажку.

— Какой друг-приятель?

— Макар. Слушай.— Кузьма взял у него листок, прочитал.

Федя заулыбался.

— Встретим. Год буду под плетнем сиднем сидеть — дождусь.

В тишине ночи, где-то совсем рядом, захлопали вы-

стрелы: короткие, лающие — из нагана и раза три раскатисто — из ружья.

Егора точно подкинуло с кровати. Он бросился к окну, но на дворе была кромешная темень.

Снова раздались выстрелы, кажется — прямо под окном. Потревоженная ночь удивленно заахала: ах! ах! ах!

Егор сшиб ногой табуретку, запрыгал по избе, надевая штаны.

— Зажги огонь! Наверно, Макар...

Марья нашарила на столе спички, трясущимися руками засветила лампу.

Опять начали стрелять.

Егор выскочил на улицу... Некоторое время его не было. Потом в сенях послышались шаги, короткая возня и голос Макара.

— Да погоди! Погоди ты, дура!..— негромко и быстро говорил Макар.

Егор втолкнул его в избу, сам бросился закрывать сеничную дверь.

Макар, хромая, дошел до кровати, сел. Из левого сапога его текла кровь.

Егор вошел в избу.

На улице опять начали стрелять. Макар сморщился, качнул головой.

— Пропадают люди... Они тебя не видали?

— Могли — я в белой рубахе.

И тотчас в дверь с улицы крепко ударили, наверно, прикладом.

— Гаси огонь! — приказал Макар.— Дай ружье.

Марья отбежала от окна, дунула в стекло.

— Заряды есть, Егор? Я из нагана все расстрелял.

Егор молчком мотнулся на полати, и оттуда со стуком посыпались патроны.

Макар издал какой-то странный горловой звук, зарядил ружье.

В дверь опять сильно застучали.

Егор ощупью нашел на стене еще одно ружье, снял. Тоже зарядил.

— Становись к окну. А я — у двери. Вместе не стреляй,— распоряжался Макар.

— Много их?

— Четверо, однако.

В дверь забарабанили в три приклада.

— Выходи! Все равно бесполезно! — крикнул кто-то с улицы.

Макар, вышагнув за порог, остервенело всадил заряд дроби в сеничную дверь.

С улицы ответил наган.

— До света бы уложить всех...— с тоской проговорил Макар,— и я бы спасен.

Егор качнулся от окна, осторожно прокрался в сени.

— Иди к окну,— шепнул он Макару.— Здесь одна дырка есть... попробую...

Макар дохромал до оконного косяка. За окном в этот момент ухнул выстрел, и среднее стекло брызнуло по избе звонким дождем. Почти одновременно с этим в сенях загремело ружье Егора. На улице кто-то коротко застонал и смолк.

Макар взвизгнул от радости... Стал перед окном на колено и сразу выстрелил по какой-то тени, мелькнувшей во дворе.

В это время раздался страшный удар в дверь. Одна доска вылетела, и в пролом два раза выстрелили. Егор шарахнулся в избу... Но успел тоже выстрелить в пробитую дверь. Судорожно зашарил рукой по полу.

В дверь опять ударили.

— Макар, скорей сюда!

Еще удар в дверь. Еще одна доска затрещала. И стало тихо.

— Слышь,— шепотом позвал Макар.

— Ну.

— Стой у дверей... я попробую в окно выскочить.

— Зря. Не надо,— сказал Егор.

Макар, не слушая брата, высадил прикладом раму. Егор выстрелил в дверь, в щель. С улицы — по двери и по окну сразу. Макар едва успел пригнуться.

— Нет, не выйдет. Пропал я, Егор.— Макар пополз по полу, шаря патроны.— Обложили. Патронов нет больше?

— На, у... меня... два есть,— слегка заикаясь, сказал Егор.

— Выходи, а то хуже будет! — предложили с улицы.

Макар быстро вскинул ружье, выстрелил в окно на голос.

— Не порть зря,— зашипел Егор.

Макар подполз к окну, положил на подоконник ствол переломки и громко сказал:

— Сдаюсь!

— Выбрось ружье!

Макар не уловил точно, откуда прозвучал голос, и еще раз сказал:

— Сдаюсь, чего вам еще?

— Выбрось ружье, тебе говорят!

Макар довернул ствол влево и выстрелил. С улицы ответили.

— Еще есть? — спросил Макар.

— Нету,— прохрипел Егор.

— Так. Всё, братка... Прячь ружье. Я сдамся.

— Зачем?

— Потом убегу. А счас пришить могут. Прячь, чтобы тебя не запутали.

Егор сунул ружье под печку.

— Держи!— Макар выкинул ружье в окно. Оно упало, тяжело звякнув.

Егор зажег лампу.

В сенях заскрипели шаги. Вошел Кузьма. Быстро оглядел избу, увидел на печке бледную как смерть Марью.. Задержал на ней взгляд на секунду дольше, чем нужно было, чтобы убедиться: жива!

Макар стоял у окна, глупо и напряженно улыбался, глядя мимо Кузьмы.

Егор дрожащими пальцами застегивал рубашку.

— Пошли,— кивнул Кузьма Макару.

— Покурить можно? — спросил Макар каким-то не своим голосом. Даже Егор с удивлением посмотрел на него.

— Там покуришь. Иди.

— Та-ак...— Макар понимающе прищурился.— Даже покурить нельзя? — Медленно, как-то боком, двинулся к выходу.— Кокнешь по дороге?

— Иди.

Макар поравнялся с Кузьмой, совсем замедлил шаг. Кузьма несколько отступил. Макар точно ждал этого — резко, словно падая, качнулся вперед и снизу вверх, в челюсть, бросил Кузьму на кровать. Сам кинулся к окну.

Кузьма привстал, но тут же нарвался на кулак Егора, от которого мешком свалился на пол и выронил наган.

Макар вымахнул в окно и... сразу споткнулся, обожженный двумя выстрелами в упор. Даже ногами не коп-

нул,— как бежал, так, с ходу, уткнулся лицом в сухую, теплую землю.

В избу вбежали двое.

Егор поднял руки.

35

Разговор с Гринькой произошел ночью в сельсовете.

— Я тебя отпускаю, Гринька. Иди.

— Совсем?

— Совсем. Иди в свою банду.

— Не удалось накрыть?

— Нет. Но главаря там уже нету.

— А где он?

— Весь вышел.

— Ну, главарей там хоть отбавляй. А зачем ты меня отпускаешь?

— Знаешь, что я думаю?.. Иди туда и посмотри хорошенько на них...

— Я ведь не с ними был,— сказал Гринька неохотно.— Просто знал, где они...

— А сейчас иди к ним.

— Но сказать потом про них... не смогу все равно.

— Почему?

— Я сам такой.

— Другим станешь. Тебе эта жизнь давно осточертела. Я вижу.

— Нет,— твердо сказал Гринька.— Ты парень хороший, но не могу... Лучше не отпускай тогда.

Кузьма долго смотрел на Гриньку.

— Но ты же один раз выдал их.

— Это — когда приперло. Смерть принимать за них я не собираюсь.

Помолчали.

— А с гумагой ты меня все ж таки облапошил! Молодец! — похвалил Гринька.

— Струсил?

— Струсишь...

Опять замолчали. Гринька курил. Кузьма смотрел в окно, обхватив челюсть, сильно болела.

— Ты любил когда-нибудь, Григорий? — неожиданно спросил Кузьма.

— Кого?

— Ну... девку, бабу...

Гринька невесело ухмыльнулся.

— Я-то любил...— Он долго смотрел на папироску, словно не решался говорить дальше, главное. Потом сказал: — А вот меня — не шибко. А я, может, и сичас люблю.

— Что ты говоришь! Расскажи.

— Хм! — Гринька с усмешкой посмотрел на Кузьму.— Тебе зачем?

— Интересно. У меня... Ну, интересно.

— Да тут и рассказывать нечего. Живет в одной деревне вдовая баба. Девчонка у ней лет восьми... не от меня, конечно. От мужа. Он бросил ее.

— Ну?

— Ну вот... не любит меня эта баба. А я люблю. Она, наверно, присушила меня. Деньги берет, а как переночевать, скажем,— не пускает.

— Ну, а ты что?

— А что я?.. По-хорошему-то надо бы задрать юбку да выдрать ремнем. А у меня рука не подымается.

— Не трогай. Раз не любит — ничего не сделаешь. Хорошая баба?

— Ну!..— Гринька весь засиял.— Бывает, примерзнешь где-нибудь в лесу — хоть волком вой. А как ее вспомнишь, так, может, не поверишь, сразу жарко становится. Загляденье, не баба. Так бы и съел ее, курву такую...

— Ладно, Гринька. Иди. Думаю, что ты еще придешь к нам. А баба правильно делает, что не любит. Перестань бродяжничать — полюбит. Это я тебе точно говорю.

Гринька еще с минуту сидел, как будто не хотел уходить. Задумчиво смотрел на огонь лампы. Потом встал и пошел к порогу. В дверях остановился:

— Не приду я, парень.

— Придешь. Могу спорить: до зимы придешь.

Гринька усмехнулся и вышел, осторожно прикрыв за собой дверь.

Кузьма навалился грудью на стол, положил голову на руки. Закрыл глаза. Болела челюсть (как еще зубы не вышиб Егор!), болела голова. Да и устал он за последние дни. Слишком много было всего... Обдумать бы надо все дела, а думать ни о чем не хочется.

В открытое окно с улицы веет прохладой. Где-то на краю деревни прокричал первый петух. Потом заголосило сразу несколько в разных концах, и скоро отовсюду

неслось пронзительное, с деловой хрипотцой и надсадой: «Ку-ка-реку-у!»

«Сейчас наш гаркнет»,— подумал Кузьма. (Был один петух, который каждую ночь приходил из соседнего двора и орал под сельсоветскими окнами, с плетня. Как будто специально делал, подлец.)

Действительно, за окном шумно захлопали крылья и тишину ночи прорезал звонкий сторожевой крик.

«Хорошо! Давай еще!»

Но петух прыгнул с плетня и удалился к своим курицам.

Опять стало тихо.

Ночь бесшумно летела на своих больших мягких крыльях.

Около головы Кузьмы тихонько шипела семилинейная лампа — очень ласково. На сердце от этого делалось покойно. «Не буду ни о чем думать»,— решил Кузьма, и тотчас в голове зашевелились разные мысли: о Гриньке, о Марье, о братьях Любавиных. «Правильно сделал, что отпустил Гриньку или нет? Кажется мне, что он придет. Что с Любавиным делать, с Марьиным мужем?.. А Марья?.. Нет, о Марье не буду думать. Не хочу. И не буду...» Мысли стали путаться в голове. Все отодвинулось куда-то, стало далеким и безразличным.

Проснулся оттого, что хлопнула дверь. Вскинул голову — у порога стоит Марья. Держится рукой за дверную скобку, смотрит на него. Подумал — сон, улыбнулся.

Она подошла к столу, села. А сама все смотрит и смотрит на него — внимательно и скорбно. «Что она так?.. Как будто я умер».

— Я к тебе пришла... Мне Клавдя сказала, что ты здесь.

«Это не сон,— понял Кузьма и подумал в смятении: — Зачем же она?»

— Отпусти Егора.

— А-а...— вырвалось у Кузьмы. Он встал и опять сел.— Не могу отпустить.— Помолчал и еще раз сказал: — Не могу. Они Федора ранили.

Марья внимательно глядела на него.

«Любит она Егора»,— подумал Кузьма и вдруг понял, почему он с таким жестоким упорством сказал, что не отпустит ее мужа: потому, что она любит его.

Он встал, сцепил за спиной руки, заходил по избе.

— Как же я могу его отпустить? — Кузьма остановился перед ней.
— Он невиноватый.
— Ну? А стрелял кто? А кто... Не могу! Всё.— Кузьма крутнулся на каблуках и опять начал вышагивать от стола к порогу и обратно.
— Он за брата заступился.
— А мне какое дело?
— Он не стрелял...
— Стрелял. Стреляли из окна и из двери.
— Отпусти его, Кузьма,— почти шепотом сказала Марья.
Кузьма почувствовал, что на какую-то долю секунды у него закружилась голова... Сдвинулись с места окна, дверь, Марья... Он перестал понимать: что, собственно, происходит? Ночь, никого нет, сидит у стола Марья — совсем близко, в белой застиранной кофточке... смотрит на него. Может, это все-таки сон? Он напряг память и вспомнил, о чем он с ней говорил: о ее муже. Нет, не сон.
— Не отпустишь?
— Нет.
Марья заплакала и сквозь слезы тихонько запричитала:
— Да как же я теперь... Хороший ты мой, отпусти ты его. Пожалей ты меня... Ну, куда же я одна-то? У нас ведь скоро... Невиноватый он совсем...
Кузьма не знал, что делать. Уйти бы сейчас отсюда — лучше всего. Но как же, куда уйдешь?!
— Не плачь. Не надо... Что уж ты так?
— Как же мне не плакать, Кузьма? Да я в ноги тебе упаду.— Она действительно брякнулась Кузьме в ноги. Тот подхватил ее под руки, поднял.
— Не плачь... Перестань. Не надо плакать.
Никогда еще лицо ее не было так близко — так невероятно, неожиданно и страшно близко. Оно было мокрое от слез, измученное тревогой — красивое, самое дорогое.
Кузьма закрыл глаза, резко отвернулся. Отошел, как пьяный, к окну... Сел на подоконник.
— Уйди, Марья. Тяжело. Уйди. Егора отпущу.

На рассвете пошел дождь. Зашумел ветер. В стекла окон мягко сыпанули крупные редкие капли. Потом ров-

но и сильно забарабанило по железной крыше. Запахло пылью и старым тесом...

Дождь шумел, гудел, хлюпал... Множеством длинных ног своих отплясывал на крыльце... Звонко и весело лупил по ведру, забытому на колу. Под окнами журчало и всхлипывало. Казалось, настроился надолго. Но кончился он так же неожиданно, как начался. По мокрой листве бойко пробежал ветер, и все стихло. Только с карнизов срывались капли и шлепались в лужи.

Утро занималось ясное, тихое. В синее, вымытое небо из-за горы выкатилось большое солнце. Мокрая земля дымилась теплой испариной и дышала, дышала всей грудью.

Поздно вечером Ефим Любавин вошел во двор к Егору. С любопытством, долго разглядывал разбитую дверь, потом открыл ее и, не входя в избу, позвал:

— Егор! Ты дома?

— Дома,— откликнулся Егор.

— Выйди, покурим.

Егор вышел, обирая с черной рубахи мелкие кудрявые стружки.

Сели на бревно около конюшни.

— Схоронили? — спросил Егор.

— Схоронили. Чего ж не пошел?

— Не могу я его видеть... такого.

— Там было дело,— вздохнул Ефим.— Мать водой отливали.

Егор скрипнул зубами, нагнул голову.

— Белый лежит... хороший,— рассказывал Ефим.— Прямо верба вербой. Большой какой-то исделался сразу.

— Куда попали?

— В бок, вот сюда,— Ефим показал рукой чуть ниже сердца,— и в висок... картечиной.

— Никогда этого не забуду,— тихо, но твердо пообещал Егор.

— Вот, я как раз поэтому и зашел.— Ефим строго посмотрел на младшего брата.— Первое дело: не вздумай сейчас пороть горячку. Хорошо еще — самого отпустили. Могли приварить, как милому.— Ефим помолчал, потом понизил голос и спросил: — Кто из вас Федє-то попал?

— Куда ему?

— В грудь. Да поверху как-то,— он, наверно, аккурат в этот момент повернулся. Доктора привозили из города. Длинноногий ездил. Выковыряли дробины.

— Надо было картечиной.

— Макара я тоже не одобряю,— заговорил серьезно и рассудительно Ефим.— У него, у покойника, сроду на уме была одна поножовщина. Сколько раз ему говорил: «Гляди, Макар, достукаешься когда-нибудь». Ну! Рази ж послухают!

Егор молчал, кусая зубами соломинку.

— Наше дело, Егор, спетое... Теперь помалкивай в тряпочку и не рыпайся. Ничего не попишешь — ихняя взяла. Раз уж не сумели...

— Какой-то ты...— Егор выплюнул соломинку, хмуро посмотрел на брата,— шибко умный, Ефим! Нас будут стрелять, а мы, по-твоему, должны молчать в тряпочку?

— Вас стрелять!.. А вы не стреляли? Кто старика городского-то хлопнул? Не вы, что ли?

Егор не ответил. Подобрал новую соломинку. Закусил в зубах.

— За тебя Марья хлопотать ходила?

— Она.

— Сумнительно мне, почему выпустили. Что-то не так...

— А что? — Егор так резко крутнул головой, что шейные позвонки хрустнули. Заметно побледнел.

— Ну, думают, наверно, что ты связан с этой шайкой... Следить, наверно, будут.

Егор отвернулся, осевшим голосом, устало сказал:

— Пускай следят.

Помолчали.

— Не могу никак с отцом сладить,— пожаловался Ефим.— Одурел совсем на старости лет: жеребцов каких-то покупает, веялки... Нашел время! А перед тем как Макара убить, привез двух каких-то бродяг из Мангура. Они ему дня три лес возили, он их потом напоил и выгнал — ничего не заплатил. Они — в сельсовет. Хорошо — там Елизар как раз сидел. Пришел вместе с этими мужиками к отцу. Тот на Елизара орать начал. Так ничего и не заплатил.

— А как он сейчас, после отсидки? — поинтересовался Егор, с любопытством прищурив глаза.

— Пьет второй день. Как случилось с Макаром, так начал...

— Эх, Макар, Макар...— Егор низко наклонил голову.— Как вспомню, так сердце кровью обольется. Как же они его быстро!.. У тебя самогон дома есть?

— Есть маленько.

— Пойдем, я хоть выпью. Может, полегчает.

Они поднялись и пошли по улице, большие, придавленные горем. Ефим сморкался на обочину дороги и все что-то говорил, Егор смотрел себе под ноги, и непонятно было: слушает он Ефима или думает о чем-то своем.

36

Федя лежал забинтованный от шеи до пояса. Очень слабый. Дремал или смотрел в потолок — подолгу, задумчиво.

Хавронья тоже еще не оправилась от своей болезни. Лежала на печке.

К ним часто приходили Яша Горячий и Кузьма.

Яша рассказывал деревенские новости, а также о том, как и из-за чего у них сегодня произошло «сражение» с женой.

Семейная жизнь Яши Горячего давно и безнадежно не только дала трещину, но просто образовала зияющую щель. Виноват во всем был господь бог.

Яша почему-то (он никому не объяснял, почему) с детства люто невзлюбил бога. И когда приехали из района решать судьбу старой деревенской церквушки, он первый изъявил желание влезть на маковку и сшибить крест. Влез и сшиб на глазах у всей деревни. Сколько проклятий, молчаливых и высказанных вслух, неслось тогда по адресу Яши! Каждый шаг его на церкви сторожили десятки внимательных глаз: ждали — вот-вот оступится Яша и полетит вниз. Яша не оступился. Добрался до верха, вынул из-за пазухи топор и, поплевав на руки, начал крушить обухом святое знамение. Своротил, проследил глазами за падающим крестом, выпрямился и громко спросил у всех:

— Что же он в меня стрелу не пустил, а?!

Никто ему не ответил.

На другой день после этого все верующие были потрясены новым неслыханным святотатством: Яша за одну ночь смастерил из самой большой церковной иконы во-

ротца в хлев. Собрались старики, хотели побить Яшу, но он вышел с ружьем на улицу, и никто к нему не подошел. Направили аж в уезд делегацию с жалобой на Яшу. Приехал какой-то начальник и велел снять икону.

Жена Яши, некрасивая чернявая баба, уходила от него, опять приходила, ругалась, плакала, умоляла... Ничто не помогало. Яша был верен себе. Разучил «Интернационал» и каждое утро исполнял его, стоя в переднем углу по стойке «смирно». На словах: «Никто не даст нам избавленья, ни бог, ни царь...»— Яша весь подбирался и пел так громко, что у соседей было слышно. В ближайших домах крестились. Жена уходила куда-нибудь на это время. В избе с Яшей оставался отец жены, тесть Яши, Степан Митрофаныч Злобин, старый высохший человек, много лет прикованный к постели какой-то непонятной болезнью — обезножел.

Яша кончал петь, трижды плевал в красный угол, где раньше висели иконы, и говорил:

— Вот тебе в седую бороду, вот тебе, вот, козел.

Набожный Степан, чуть не плача, говорил:

— Чтоб тебе провалиться, окаянному! Дождесся ты все-таки, будут тебя, отступника, на угольях жарить...

— Хватит,— спокойно говорил Яша.— Меня триста лет в темноте держали. Насчет углей — не пужай. Я не из робкого десятка.

— Богохульник! Анчихрист! Дурак! Наломал бы я тебе сичас бока, но не могу.

— Вот и лежи там, помалкивай. Если он у тебя шибко хороший, твой бог, чего же он тебя на ноги не поставит?

Кузьма, заинтересованный всем этим, однажды долго допытывался у Яши, за что он так яростно ненавидит бога. Яша под большим секретом рассказал:

— Я был один у матери и шибко жалел ее. Отца у меня не было... Ну, был, конечно, но я его не знал.

— Как?

— Ну, как бывает... Нагуляла меня мать. Ну вот... Чуток подрос я, стал мало-помалу соображать, что к чему, и приметил: похаживает к нам в избушку попик. Как стемнеет, так мать меня раз — посылает куда-нибудь. Я из дома, а поп в дом. Заело меня. Прямо места не нахожу. Один раз взял ружье, зарядил патрон солью и подкараулил попа. Только он вышел от нас, спустился с

крыльца-то, я ему и всади горсть соли в зад. Кэ-эк он подпрыгнет! Как припустит бежать!.. Я чуть со смеху не умер. Ну, узнали они, чья это работа. Поп отлежался на печке, заманил меня как-то вечером в церкву и так извозил медным крестом, что я с месяц, однако, не мог подняться. Орал тогда на всю церкву, а он, гад такой, затыкает мне рот своей рясой, а сам крестом по бокам лупцует. Два ребра сломал. Да-а... А тут мать у меня захворала и померла. Молодая еще была. Когда умирала, подозвала к себе и тут мне и сказала, что, значит, поп этот есть мой отец. Возненавидел я попа пуще прежнего. Из-за него, змея ползучего, мать раньше время в могилу ушла. Она была ладная собой... бедная, конечно, но все же могла бы подыскать себе какого-нибудь парня. А тут — я. Кто же возьмет с ребенком? Помучилась-помучилась да и померла. Надорвалась.

Остался я один. Пришлось хлебнуть горя. Родных-близких никого нету, молодой еще... Вспоминать даже неохота. В общем, батрачил ходил: где день, где ночь — сутки прочь. А он тут же, в нашей деревне, жил и, скажи, хоть бы раз кусок хлеба вынес: на, мол, поешь. Ведь сын все ж таки! Ни в жизнь! Увидит, бывало, на улице — отвернется. Ах ты гад такой... отец святой! Вот тогда я и на бога разозлился. Но я все ж таки допек его. Дом у него был здорове-енный, крестовый. Я этот дом поджег. Сгорел домик. Как он глядел тогда на меня, этот поп! Дай волю — съел бы с костями. Знает, гусь лапчатый, что это я поджег, а как докажешь? Отстроил второй дом, поменьше, правда. Этот я тоже поджег. Тут уж он не выдержал — уехал в другую деревню, в Верх-Малицу. Хотел я туда сходить, пустить петуха еще раз, но пожалел его ребятишек. Ну, потом женился я. Женился — так... без всякого выбора. Батрак, ни кола ни двора. Какая уж пошла, такая и моя. Вот так было дело, друг. Вишь, какая жизнь-то!..

С Федей Байкаловым дружил Яша давно и трогательно. Собственно, во всей деревне один Федя и знался с Яшей, и Яша платил ему за это беззаветной любовью и преданностью.

Он приходил к нему, садился у изголовья и часами рассказывал разную ерунду — только чтоб другу не было тоскливо.

Кузьма тоже заходил к Феде каждый день.

Однажды Хавронья подозвала его к себе и на ухо, чтобы не слышал Федя, сказала ему:

— Ты, парень, не ходи больше к нам.

— Почему? — тоже шепотом спросил Кузьма.

— Сгубишь мне мужика. Он сам, видишь, какой... Совсем доконают где-нибудь. Не втравливай уж ты его никуда больше. И не ходи. Скажи, что некогда, мол... Он отвыкнет.

— Чего это там? — спросил Федя, подозрительно скосив глаза на жену.

Кузьма отошел от Хавроньи, удивленный и обиженный ее простодушной просьбой.

— Это она просила, чтобы я лекарство одно достал,— успокоил он Федю. «Хитрая какая нашлась! Ходил и буду ходить. Не к тебе хожу».

И еще один человек приходил каждый день к Байкаловым — Марья.

Проводив мужа на работу, она бежала в соседнюю избушку, к Байкаловым. Доила корову, пекла хлеб, кормила больных...

Федя с утра начинал поджидать Марью, вздрагивал при каждом стуке и смотрел на дверь.

А когда Марья наконец приходила, он не сводил с нее добрых, тихо сияющих глаз. Почти не разговаривал. Только смотрел.

Марья распоряжалась в их избе, как в своей,— деловито, уверенно. Иногда, почувствовав на себе Федин взгляд, она оборачивалась к нему и улыбалась. Федя краснел и тоже застенчиво улыбался. Отводил глаза.

Хавронья то и дело встревала, как казалось Феде, с ненужными советами, подсказывала, где найти чугунок, крынку, куда поставить снятые сливки...

— Марьюшка,— говорила она жалостливым голосом,— это молоко процеди, матушка, и перелей... там под лавкой у меня малировано ведро стоит, перелей в это ведро и вынеси в погребок.

Убравшись по хозяйству, Марья кормила больных.

Подсаживалась на кровать к Феде (он опять краснел), устраивала чашку с супом у себя на коленях, и Федя свободной рукой (другая была прибинтована к телу) осторожно, чтобы не накапать Марье на юбку, носил из чашки. Марья смотрела на него и иногда говорила:

— Здоровый же ты, Федя! Как только выдюжил...

Федя шевелил бровями, подыскивал какие-нибудь хорошие слова и не находил. Неловко усмехался и говорил:

— Да ну... чего там...

Один раз он долго глядел на нее и вдруг сказал:

— Зря за Кузьму тогда не пошла.

Теперь покраснела Марья.

Поправила рукой волосы, коснулась ладошками горячих щек. Сказала не сразу:

— Не надо про это, Федор.

— Почему?

— Ну... не надо.

Как-то Егор вернулся с работы раньше обычного. Выпрягая из телеги коня, увидел через плетень в байкаловской ограде Марью. Он не окликнул ее. Вошел в избу, дождался.

Марья вскоре пришла.

— Где была? — спросил Егор.

— Помогла вон Байкаловым...

— Еще раз пойдешь туда — изувечу.

— Да ведь хворые они лежат!

— По мне они хоть сёдни сдохни, хоть завтра. Соль дешевле будет.

37

Возобновились работы на стройке.

Уже возвели крышу и теперь настилали пол, рубили окна, двери...

Один раз, с утра, туда пришел Ефим Любавин.

— Хочу пособить вам,— сказал он, улыбнувшись Кузьме.

— Хорошее дело,—сказал Кузьма, отметив, однако, что глаза у этого Любавина такие же, как у всех у них,— насмешливые и недобрые.

Клавдя, как и раньше, приходила в обед к школе, приносила в корзинке такие же вкусные пирожки и шаньги. Только радости она с собой теперь почему-то не приносила.

Кузьма молча устраивался на каком-нибудь кругляке, молча ел.

Клавдя не могла не заметить этой перемены, хотя виду не подавала. Внешне все было благополучно,

Но один раз Кузьма глянул на нее и поразился: в глазах у веселой, спокойной Клавди устоялась такая серьезная черная тоска, что он растерялся.

— Ты что это, Клавдя?

— Что?

— Какая-то... Чего ты такая грустная?

— Ничего,— Клавдя усмехнулась,— показалось тебе.

Кузьма решил поговорить с ней ночью.

Но она и ночью не хотела говорить о том, что ее терзает. И только когда Кузьма обнял ее, приласкал, она вдруг заплакала и сказала:

— Сохнешь об Маньке... Вижу. Все знала, заранее знала, что будешь сохнуть, только ничего не могла с собой сделать...

— Брось ты, слушай...— Кузьма не знал, что говорить. А если бы было светло, то и смотреть не знал бы куда.

— Думала, привыкнешь... забудешь ее.

— Брось ты, Клавдя.— Кузьма поцеловал ее в обветренные губы и невольно подумал: «Нет, что-то не то».

— Посылала тогда ее к тебе в сельсовет, а у самой сердце разрывалось на части... Знала...

— Ну, хватит! Ты как заведешь одну песню, так не остановишься. При чем тут сельсовет! — Кузьма отвернулся и стал смотреть в окно. В темном небе далеко играли зарницы. Лопотали листвой березки... Скрипел от ветра колодезный журавль, и глухо стукалась о края сруба деревянная бадья.

Клавдя притихла на руке мужа: может, заснула, а может, думает самую горькую думу на свете, которую никто еще никогда до конца не додумал.

38

Егор корчевал пни — расширял пашню. Уставал. Приезжал поздно вечером, наскоро ел, раздевался и падал в кровать. А Марья зажигала лампу и садилась шить своим братьям и сестрам штаны и рубашонки. Шила — и думала, думала.

В гости к ним редко приходили.

Один раз, рано утром, заявился Емельян Спиридоныч. Обошел весь двор, заглянул в пригон, в конюшню, покачал стойки, плетни. Потом вошел в избу. Поздоровавшись, сказал:

— Там один столбик в пригоне заменить надо — подгнил.

— Знаю. Руки не доходят,— отозвался Егор.

Марья начала торопливо собирать на стол. Молчала.

Емельян походил еще по избе, оглядел окна, постучал в стены, сел к порогу курить.

— Ничего изба получилась.

— Не жалуемся,— ответил Егор.

— Ты все корчуешь? — спросил Емельян.

— Корчую.

— Чижало одному. Завтра пришлю тебе двух мужиков. Из Ургана.

Егор не сразу согласился.

— У меня пока платить нечем.

— Я расплачусь,— сказал Емельян Спиридоныч.— Потом отдашь. Эт Ефим все учит меня жить, все боится чего-то... Побежал школу строить, дурак хитрый. Тьфу! — Емельян Спиридоныч в сердцах плюнул на папироску, кинул ее в шайку.— Я вот зачем пришел: надумали мы с Кондратом сено вывезти...

— Зачем сейчас-то?

— Надежней. Хотели попросить твою бричку... А может, и сам бы помог.

— Сёдня, что ли?

— Когда же?

Егор подумал.

— Ладно, приеду.

— Тятенька, завтракать с нами,— пригласила Марья, немножко взволнованная приходом свекра.— У нас, правда, не шибко на столе-то...

— Мы уж похлебали,— отказался Емельян Спиридоныч.— Мать лапшу с гусятиной варила. Ешьте. Я пойду. Ненастья бы не было — спина что-то болит.— Он, кряхтя, поднялся, взялся за скобку, спросил, ни на кого не глядя: — Марья-то брюхатая, что ли?

— Четвертый месяц,— ответила Марья и покраснела.

Егор хмуро сопел, гоняя черенком ложки таракана по столу.

Емельян Спиридоныч так же хмуро мотнул головой и вышел.

Некоторое время молчали.

— До чего же вы все нелюдимые, Егор! — не выдержала Марья.— Просто на удивление. Ну что бы ему по-

сидеть с нами хоть для блезира, спросить: как, мол, живете?.. Ведь отец он тебе!

— Что он, сам не видит, как живем,— лениво отозвался Егор.

— Да разве в этом дело?

— В чем же?

— Ну, я уж не знаю... Зачем же тогда жить, если так будем... как буки смотреть друг на друга? Ни ласки, ни привета.

— Хватит! — оборвал ее Егор.— Разговорилась...

Изредка забегал к ним Сергей Федорыч. Сидел, пил чай с вареньем и рассказывал что-нибудь. Рассказал, как один раз давно-давно они со Степанидой, покойницей, ездили в город...

— А там, в городе,— тихо говорил он, посматривая на Марью,— жила тогда материна сестра, тетка твоя — Настасья. А эта Настасья была замужем за богатым человеком. Он у нее не то купец, не то служил где-то. Шибко богатый. Дом об двух этажах, а в доме ковры всякие, зеркала... живой воды только не было. А вышла за него Настя шибко чудно. Приехал тот человек в деревню по своим каким-то делам и подвел к колодцу коней поить. А Настя-то как раз по воду пришла. Он увидел ее и говорит: «Где живешь?»—«Вон, недалеко»,— Настя-то. Поехал тот человек к деду твоему. Ну, тары-бары... Я, мол, такой-то, хочу, мол, вашу дочь за себя взять... Да-а... Ну, и увез в тот же день. Они сильно красивые были, Малюгины-то. Да. Так вот, приехали один раз в город и остановились ночевать у Насти. И сидели мы со Степанидой на печке и смотрели, как живут добрые люди. Какая же это красота! К ним как раз гости сходились. И до чего все обходительные! Входит какой-нибудь, весь в золотых цепях, при шляпе. Входит — и не то чтоб там «здрасте» или «здорово живете», а обязательно скажет: «Честь вашей красоте». А ему отвечают: «Салфет вашей милости». Насмотрелись тогда на них!

Или рассказывал Марье еще про что-нибудь... Иногда Марья почему-то плакала. А Сергей Федорыч говорил:

— Ничего, ничего, дочка, обойдется.

Один раз их застал Егор. Пришел откуда-то мрачный. Буркнул с порога невнятное «здорово», смахнул с плеч пиджак, достал из-под печки недоструганное топо-

рище, сел на лавку и принялся стругать. На гостя — ноль внимания, как будто его здесь нету.

Сергей Федорыч опешил. Встал, начал торопливо одеваться. Заговорил, чтобы хоть что-нибудь сказать:

— А я вот зашел... Дай, думаю, посмотрю: как они там?

Егор ухом не повел. Продолжал стругать.

Марья с изумлением и болью смотрела на мужа.

— Да ты сядь, тятя! Чего вскочил-то? Сядь,— сказала отцу.

— Да мне шибко-то рассиживать... Я вот попроведал и пойду. Там ребятишки заждались, наверно... Бывайте здоровы.

Егор даже головы не поднял, даже не кивнул.

Сергей Федорыч вышел из избы, дождался в ограде дочь.

— Ну, девка, попала ты к людям! Мать честная, какие они!..

Марья стала жаловаться:

— Прямо не знаю, что делать. И вот всегда так. Сил моих больше нету. Он меня и по имени-то не зовет. «Эй!»— и все.

Сергей Федорыч покряхтел, высморкался, развел руками.

— Что тут делать?.. Сам ума не приложу. Может, одумается еще, обживется. Ну, люди! Верно говорят — не из породы, а в породу. Я думаю, это от жадности у них. Ведь жадность-то несусветная!

— Погоди, ребятишкам отнесешь чего-нибудь.

— Да ладно уж... не бери ты у них ничего.

— Пошли они к чертям!

Марья сходила в сени, вынесла в платке большой узел муки и кусок сырого мяса.

— Нате вот,— пельмени сделаете.

Сергей Федорыч взял узел и пошел домой, сгорбившись.

Марья долго смотрела ему вслед, потом вошла в избу.

Егор сидел у стола, задумчиво смотрел в угол.

— Ну, Егор, давай говорить прямо,— начала Марья с порога.— Ты все время моего родителя так принимать будешь?

Молчание.

— Егор!

— Што? — Егор медленно повернул голову и не мог — не захотел — пригасить в глазах злые, колючие огоньки.

— Ты все время...

— Я их всех ненавижу, всю голытьбу вшивую. Дождались, змеи поганые, своей власти... Радуются ходют. Нарадуются!

Марья сдержала волнение, негромко сказала:

— Дай господи, рожу ребенка — уйду от тебя, Егор. Знай.

Егор спокойно выслушал, долго сидел неподвижно. Потом положил голову на руки, тихо, без угрозы, сказал:

— Далеко не уйдешь.

39

Федя скоро поправился. Ходил уже на работу и, когда его очень просили, поднимал подол рубахи и показывал мелкие шрамистые рытвинки — следы дроби.

— Две там сидят. Не могли достать,— не без гордости говорил он.

Поправиться-то он поправился, но... что-то случилось с Федей. Он загрустил. Всегда был на удивление спокойный, с хорошим, ровным настроением, а тут... Просто непонятно. После работы уходил Федя на Баклань и стоял на берегу столбом — смотрел на воду, подкрашенную свежей краской зари, на дальние острова, задернутые белой кисеей тумана, на синее, по-вечернему тусклое небо. Подолгу стоял так.

Стремится с шипением бешеная река. Здесь она вырывается из теснины каменистых берегов, заворачивает влево и несется дальше, капризно выгнув серебристую могучую спину.

Хавронья женским чутьем угадала, что происходит с Федей.

Однажды вечером он сидел задумчивый у окна. На дворе было ненастно. В окна горстями сыпал окладной, спорый дождь.

Хавронья вернулась от соседки. Долго, как курица, отряхивалась у порога, посматривала на Федю.

Тот не хотел замечать ее.

Хавронья разделась, села к столу, напротив мужа. Долго молчала. Потом вдруг спросила:

— Ты что, влюбился, что ли?
— А твое какое дело? — ответил Федя, продолжая смотреть в окно.
Хавронья схватилась за бока и захохотала. Да так фальшиво, что Федя с изумлением посмотрел на нее.
— Ой, матушка царица небесная! Уморит он меня совсем! О чем ты только думаешь своей корчагой?
Федя не счел нужным вступать в разговор.
— Как ты можешь понимать, что такое любовь? — не унималась Хавронья.
— Зато ты шибко умная. Неохота мне с тобой разговаривать, — отрезал Федя, не стерпел.
Хавронья опять притворно засмеялась.
— Да ведь ты же... как тебе сказать?.. Ты же лесина необтесанная! А туда же — про любовь думаешь. Ведь я же на тебя и так без смеха не могу глядеть, а ты взял да еще влюбился. Ну не дурак ли?!
Федя невозмутимо смотрел в окно.
— Так чего же ты сидишь-то? Ты иди и скажи: так, мол, и так, Марья, влюбился в тебя. Может, Егорка-то ноги хоть тебе переломает там.
— Заткнись варежкой, — сказал Федя.
— Завтра скажу Марье. Хоть посмеемся вместе.
Федя медленно повернулся к жене:
— Я так скажу, что ты в землю уйдешь до пояса.
Хавронья презрительно махнула рукой:
— Молчи уж, баран недобитый...

А через два дня Хавронья застала мужа (она не то что следила за ним, но все же приглядывала) за необычным занятием: Федя пробрался в высокую крапиву, присел на корточки к плетню и смотрел через него в соседнюю ограду — на Марью.
Марья только что вернулась с речки, развешивала мокрое белье.
Нежарко горело июльское солнце. Пахло увядающей ботвой и полынью.
Марья, в белой кофте и черной, туго облегающей бедра юбке, ходила босиком по ограде, отжимала сильными руками рубахи, встряхивала их и, приподымаясь на носки, перекидывала через веревку. На руках и ногах ее, как прилипшая рыбья чешуя, сверкали капельки воды. Когда она хлопала белье, высокие груди ее вздрагивали под тесной кофтой.

Федя смотрел на нее и крошил в пальцах тоненький, сухой прутик от плетня.

Хавронья неслышно подкралась сзади и вдруг чуть не над самым Фединым ухом громко позвала:

— Мань!

Федю точно ударили по затылку. Он ткнулся вперед, в плетень, испуганно оглянулся на жену. А она, не давая ему опомниться, закричала:

— Ну-ка, иди скорей ко мне!

Марья положила рубахи в таз, пошла к плетню.

Фетя втянул голову в плечи и замер. Он не знал, что делать.

— Да скорей, скорей ты! — торопила Хавронья.

Когда Марья была уже в нескольких шагах от плетня, Федя шарахнулся назад, с треском ломая крапиву. Сшиб Хавронью с ног и, пригибаясь, чтобы его не было видно Марье из-за плетня, побежал в избу.

— Вон он! Вон — побежал! Эй, ты куда?.. Эх ты, бессовестная харя! — кричала с земли Хавронья вслед Феде.

Марья только успела увидеть, как Федя одним прыжком замахнул на крыльцо и скрылся в дверях.

— Что это, Хавронья?

Злое, мстительное выражение на лице Хавроньи сменилось беспомощным и жалким. Не поднимаясь с земли, она некоторое время рассматривала красивое лицо молодой соседки и вдруг заплакала горькими, бессильными слезами.

— «Что, что-о»! — передразнила она Марью.— Змеи подколодные! Мучители мои!

Поднялась и пошла из ограды, отряхивая сзади юбку.

40

Страда. Золотая легкая пыль в теплом воздухе. Ласковое вылинявшее небо, и где-то там, высоко-высоко в синеве, затерялись голосистые живые комочки — жаворонки. День-деньской звенят, роняя на теплую грудь земли кружевное, тонкое серебро нескончаемых трелей.

В придорожных кустах, деловито попискивая, шныряют бойкие птахи. По ночам сходят с ума перепела. Все живет беззаботной жизнью, ничто еще не предвещает холодных ветров и затяжных, нудных дождей осени.

Хлеба удались хорошие. Люди торопились управиться, пока держится вёдро.

Жали серпами, косили литовками, пристроив к ним грабельки-крючья, лобогрейками. На полосах богачей, махая крыльями, трещали жнейки.

Николай Колокольников имел свою лобогрейку.

Настроились с утра. Сперва на беседку села Клавдя — показать Кузьме, как действовать граблями и когда поднимать и опускать полотно лобогрейки. Потом сел Кузьма.

Объехали круг, и Кузьма уже уверенно махал граблями, улыбался во весь рот.

Николай правил парой не приученных к лобогрейке лошадей. Перекрывая шум машины, крикнул Кузьме:

— Ну вот, видишь!

Кузьме нравилась эта работа. Четко обрезанная стенка ржи, а внизу движется, сечет ее зубастая, стрекочущая пила. Рожь вздрагивает, клонится...

На полотне уже набралось достаточно — на сноп. Теперь надо отпустить ногой педаль, которой плотно удерживается в наклонном положении, помочь граблями — и кучка ржи сползет с него. Следом идут бабы, вяжут снопы, а потом снопы составляют в суслоны.

Работа отвлекала Кузьму от беспокойных, въедливых мыслей. К вечеру он так устал, что заснул моментально. И во сне рожь все наплывала и наплывала на него, вздрагивала, клонилась — желтая, тучная...

С утра снова впрягли отдохнувших лошадей — и снова круг за кругом, круг за кругом по полосе...

В три дня все сжали. Начали свозить снопы на точок. Пошла молотьба. Ночевали тут же, под скирдой.

Неподалеку молотили Любавины.

Кузьма издали узнал Марью. Отошел за скирду, сел, привалившись спиной к снопам, задумался. «Что же делать? Неужели всю жизнь вот так мучиться?» Хочется ему, чтобы Марья была рядом, чтобы ей, а не Клавде, подавал он наверх, на скирду, ковш с водой... Чтобы ей смотрел в глаза.

Он не видел ее с того раза, когда она приходила в сельсовет. Хотел увидеть. Ходил на работу мимо их избы, думал встретить по дороге или около колодца. Один раз увидел ее в ограде, замедлил шаг — хотел хоть издали поздороваться. Но Марья, заметив его, ушла в избу.

«Забуду, забуду, ни к чему это все»,— думал Кузьма. Но не забыл. Аж с лица осунулся,— упорно, мучительно и бесплодно думал о ней. Вспоминал походку ее, губы, глаза...

Мужа ее встречал раза два на улице. Шел, нагнув голову, мрачный, как зверь какой-то. Лениво поднял на Кузьму глаза, задержал взгляд на мгновение — насмешливый... И опустил голову. Не поздоровался.

«Красивый он»,— подумал Кузьма.

Отмолотились рано. Вывезли хлеб, засыпали в закрома. И началось. Закучерявились, закрутились из труб в ясное небушко пахучие злые дымки—варился самогон из новой ржицы. Готовились свадьбы, крестины, именины...

Через пару дней появились первые ласточки: поздно вечером кто-то, громко топоча по дороге, бежал за кем-то и кричал диким голосом:

— Зарублю-у, змей такой!

Николай усмехнулся:

— Чуешь, секретарь? Начинается.

— Много драк бывает?

— Посмотришь.

На третий день, к вечеру, деревня кололась пополам. Почти в каждой избе гуляли. Ломились столы от земных даров. Самогон мерили ведрами. Пили. Пели. Плясали. Сосновые полы гнулись от топота...

Из одного дома переходили в другой, из другого в третий. В каждом начиналось все сначала. Потихоньку зверели. Затрещали колья, зазвенела битая посуда... Размахнулась, поперла через край дурная силушка.

На одном конце деревни сыновья шли на отцов, на другом — отцы на сыновей. Припоминались обиды годовалой давности.

Кузьма в эти дни был необходим, как гармонист. За ним прибегали и звали заполошным голосом:

— Скорей!

К ночи гулянка разгоралась, как большой пожар, неудержимо и безнадежно. Дикое, грустное мешалось со смешным и нелепым.

Ганя Косых, деревенский трепач и выдумщик, упился «в дугу», надел белые штаны, рубаху, вышел на дорогу и лег посередине.

— А я помер!— заявил он.

Кругом орали песни, плясали... Никто не замечал Ганю.

— Эй!— кричал Ганя, желая обратить на себя внимание.— А я помер!

Наконец заметили Ганю.

— Что ты, образина, разлегся здесь?

— Я помер,— скромно сказал Ганя и закрыл глаза.

— А-а-а!!— Поняли.— Понесли хоронить, ребяты!

Наскоро, пьяной рукой, сколотили три доски — гроб, положили туда Ганю, подняли на руки и медленно, с песнопениями, с причитаниями, понесли к кладбищу.

Впереди процессии шел Яша Горячий, нес вместо иконы четверть самогона, приплясывал и пел частушки. На нем была красная неподпоясанная рубаха, плисовые штаны и высокие хромовые сапоги-вытяжки.

Ганя Косых лежал в гробу, а вокруг него голосили, стонали, горько восклицали. Кто-то плакал пьяными слезами и громко сморкался.

— Ох, да на кого же ты нас покинул?! Эх, да отлетал ты, голубочек сизый, отмахал ты крылушками!..

— Был ты, Ганька, праведный. Пойдешь ты, Ганька, в златы вороты!..

— Ох, да куда же я теперь, сиротинушка, денусь?!— Какой-то верзила гулко колотил себя в грудь, крутил головой и просто и страшно ревел:— О-о-о-о-о!..

И тут Ганька не выдержал, перевернулся спиной кверху, встал на четвереньки и закричал петухом. Ждал — вот смеху будет. Это обидело всех. Ганьку выволокли из гроба, сдернули с него кальсоны и принялись стегать крапивой по голому заду. Особенно старался двухметровый сиротинушка.

— Мы тебя хоронить несем, а ты что делаешь, сукин сын?

— Братцы-ы! Помилуйте!

— А ты что делаешь? Помер — так лежи смирно!

— Так это ж... Это я, может, воскресать начал,— оправдывался Ганька.

— Загни ему салазки, Исусу!.. Чтобы не воскресал больше!

На другой день опохмелялись. С утра. Потом пошли биться на кулаках.

Был в деревне, кроме Феди Байкалова, еще один знаменитый кулачник — Семен Соснин. Он всегда и устраивал «кулачки». Около Семенова двора в такие дни

толпился народ. Сам Семен стоял на кругу и, кротко посмеиваясь, гладил могучей рукой окладную рыжую бородку — ждал. Кулак у Семена, как канатный узел,— небольшой, но редкой крепости. Мало находилось охотников удариться с ним (с Федей они не бились: Семен не хотел). А когда кто-нибудь изъявлял наконец желание «шваркнуться» с Семеном, он покорно расставлял ноги, точно врастал в землю, прикладывал обе ладони к левому уху и говорил великодушно:

— Валяй.

Мужик долго примеривался, ходил вокруг Семена, плевал на ладонь, разминал плечо... Бил. Потом бил Семен. Бил садко, с придыхом, снизу... Некоторых поднимал кулаком «на воздуся». Почти никто не оставался на ногах после его удара.

Емельян Спиридоныч шел с Кондратом по улице. Подвыпившие. Направлялись в гости. Увидели — у Сосниной избы толпился народ.

— Семка,— сказал Кондрат.

— Зайдем?— откликнулся Емельян Спиридоныч.

Подошли.

В кругу стоял не Семен, а Федя Байкалов. Рукава просторной Фединой рубахи засучены, взор мутный — Федя был «на взводе». С ним никто из бакланских не бился. Иногда нарывались залетные удальцы из дальних деревень, но после первого раза зарекались на всю жизнь — слишком уж тяжела рука у Феди.

Емельян Спиридоныч, увидев Федю, улыбнулся ему, как желанному другу.

— А-а, Федор!.. Что, трусит народишко выходить?

— Может, ты выйдешь? — предложил Федя.

— Ну куда мне, старику, равняться с вами! Вот разве Кондрат?— Емельян Спиридоныч выразительно посмотрел на сына, подмигнул незаметно.

Тот вяло качнул головой: нет.

Емельян Спиридоныч опять повернулся к Феде. С притворным уважением сказал:

— Боятся, Федор! — А у самого в глазах сатанинский огонь, подмывало желание врезать Феде: видел, что тот пьян.— Не те людишки пошли, Федор, не те...

Федя презрительно отвернулся от него. Плюнул.

В глазах у Спиридоныча заиграл зеленый огонь.

— А кого бояться-то?— продолжал он тем же добродушно-уважительным тоном.— Вот эту оглоблю?

Федя приоткрыл от изумления рот.

— Я, конечно, шутейно сказал,— пояснил Емельян Спиридоныч, продолжая непонятно улыбаться.— Но правда: стоит перед вами туша сырого мяса, а у вас у всех из носа капает. Тьфу! До чего мелкий народ пошел!

— Ты выйди сам,— сказал кто-то из толпы.— Крупный какой выискался! Или — хочется и колется?

— Он в коленках слабый, чтоб выйти...

— Я-то выйду,— неожиданно для всех сказал Емельян Спиридоныч. Скинул пиджак и вышел на круг.— Давай.

Наступила тяжкая тишина.

— Кто первый?— спросил Федя.

— А это кинем.— Емельян Спиридоныч поднял с земли камешек, заложил руки за спину, долго перекладывал камешек из ладони в ладонь. Зажал в одной.— Отгадаешь — первый бьешь.

— В правой.

Камешек был в левой.

Федя изготовился, приложил ладони к уху.

Емельян Спиридоныч медленно, очень медленно подошел к Феде, развернулся и с такой силой ударил, что огромная Федина голова мотнулась вбок. Он качнулся. Но устоял.

— Становись.

Стал Емельян Спиридоныч.

Федя оскалился и кинул свой страшный кулак в голову врага. Спиридоныча бросило вбок, на плетень. Он хватнулся за колья и упал вместе с плетнем. Тут же вскочил и, потирая ухо, сказал небрежно:

— Ничего.

Они удалились с Кондратом, гордые и злые.

За первым же углом Емельян Спиридоныч прислонился к заплоту и закрыл глаза.

— Не могу иттить. Ох, паразит!.. Я думал, он крепко выпимши, производитель поганый... Отведи меня домой, Кондрат.

Дома Емельян Спиридоныч обвязал голову полотенцем и весь день лежал на печке — прогревал на горячих кирпичах ухо. Тихонько матерился, вспоминал Федин кулак.

Гуляли еще два дня. Потом постепенно затихли и занялись делами. Близилась зима.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Пришла наконец и зима.

Всё сеялись, сыпали с низкого, грязного неба мелкие, холодные дожди... Серые дома, горбатые скирды, поля, ощетинившиеся стерней,— все намокло, потемнело, издавало тяжкий, гнилостный запах. Неуютно было на земле. Некрасиво. Люди смотрели в окна и говорили с тоской:

— Ну... теперь началось.

А однажды утром проснулись и, еще не выходя на улицу и не выглядывая в окна, поняли: пришла зима — пахло снегом и в избах посветлело.

За одну ночь навалил снег, и творения старческих рук осени разом накрылись. Этот первый снег уже не растаял.

1

Кузьма по первопутку поехал в район.

Коренастый, вислозадый мерин бежал резво. В кошеву летели крупные ошметья снега.

Дорога шла лесом.

Кузьма дремал, уткнувшись в теплый воротник полушубка. На душе было спокойно.

Вернулся Кузьма через три дня. Вез в кошеве книги и большеглазую девушку в шубке городского покроя. У девушки были огромные, ясные, немножко удивленные глаза.

Девушка говорила без умолку. Про Сибирь, про счастье, про Джека Лондона... Кузьма скоро устал от ее трескотни и сидел, откинувшись на спинку кошевы, смотрел на верхушки деревьев в белых шапках.

Девушку звали Галина Петровна Кравченко.

Эту Галину Петровну Кузьма встретил в уездном городе и уговорил ехать в Баклань учительствовать. Школа

не была готова — оставались внутренние работы. Но Кузьме не терпелось начать учить. Решил, что пока возьмутся за взрослых: вспомнил об удостоверении, выданном ему и дяде Васе обществом «Долой неграмотность».

Галина Петровна приехала в Сибирь с отцом, которого направили сюда с Украины. Он был секретарем укома.

Ей было двадцать пять лет, о чем Кузьма узнал с удивлением: на вид восемнадцать-девятнадцать, не больше. Первое, что она спросила:

— У вас там, кажется, стреляют?

Кузьма поймал ее на слове:

— Боитесь? Так и скажите.

— Я?

— Не я же.

— Вы так думаете?

— Думаю.

— Хм...— Большущие глаза Галины Петровны просто кричали: «Учтите, я никогда ничего не боюсь!» — Поехали.

Поначалу Кузьма пытался объяснить ей сложность ее работы. Люди взрослые, люди никогда книжку в руках не держали... Но это еще ничего. Над теми, кто вздумает увлечься книжками, смеются. Вообще считается, что грамота — дело не крестьянское.

Галина Петровна слушала рассеянно.

— Не открывайте мне, пожалуйста, Америк.

«Ох ты!»— изумился про себя Кузьма.

Остальную часть пути говорила она.

— Жить нужно для людей — это высшее счастье, которого, кстати, не понимал Джек Лондон, потому что его герои живут только для себя. Какое это счастье — жить для людей!

«Дуреха... будто это так просто»,— думал Кузьма.

Приехали под вечер, когда воздух стал синим, а звуки глухими и неразборчивыми.

Кузьма повез Галину Петровну к себе.

Клавдя, увидев незнакомую девушку с Кузьмой, почему-то испугалась, уставилась на нее вопросительными глазами.

— Здравствуйте! — звучно поздоровалась Галина Петровна и улыбнулась.

Кузьма долго не объяснял, кто она такая, хлопотал около нее: раздевал, устраивал вещи... Краем глаза на-

блюдал за домашними. Особенно смешно выглядела Агафья: вся наструнилась, поджала губы и внимательно разглядывала городскую, готовая в любую минуту выставить ее за дверь.

«Да-а... эти бабоньки, случись что-либо — отравят либо зарубят ночью топором»,— думал Кузьма.

— Новая наша учительница,— пояснил он наконец, когда Галина Петровна разделась и прошла в передний угол (своими огромными глазами она так и не увидела, какое внесла замешательство).

— Так,— сказал Николай, приподымаясь с кровати и вытаскивая из-за голенища кисет.— Учить будешь?

— Да,— сказала Галина Петровна. — Пока — вас, взрослых.

— А работать заместо нас кто будет?

— Как?..— Галина Петровна на секунду растерялась, но тут же ослепительно улыбнулась.— Никто. Вы сами.

— Так мы же все ученые будем.

— Ну до ученых вам далеко. Учеными вы не будете, а книжки читать будете. Это разве плохо — книги читать?

— А зачем?

— Интересно. Вообще необходимо.

Кузьма во время этого разговора стаскивал книги в избу и складывал на лавку.

Николай нагнулся, достал одну, полистал.

— Что тут интересного, я вот чего не пойму? — снова обратился он к учительнице.— Меня иной раз даже зло берет. «Интересно!— кричат.— Интересно!..» А я, к примеру, всю жизнь прожил без них — и хоть бы что.

Галина Петровна легко поднялась с лавки, взяла у него из рук книгу, посмотрела заглавие.

— Хотите, почитаю?

— А ну! — Николай тряхнул головой и сощурил глаза.

— Сейчас...— Она быстро зашуршала страницами, отыскивая нужное.— Ну вот... «Человек в футляре» называется.

— Как это в футляре?

— Ну... знаете, что такое футляр.

— Нет.

— Это оболочка, одеяние... Футляром можно накрыть что-нибудь... Что бы такое...— Галина Петровна стала осматриваться по избе.

— Вроде тулупа?— догадался Николай.

— Не совсем...

— Ну, шут с ним, с футляром,— великодушно сказал Николай.— Читай.

— Да нет, тут весь смысл в этом. Как же?

— Что-нибудь другое,— подсказал Кузьма.

Галина Петровна подсела к книгам, стала выбирать. Агафья снисходительно улыбалась, глядя на нее. Клавдя поднялась, накинула на себя вязаный платок — чтобы большой живот был не так заметен,— опять села.

— Вот!— Галина Петровна вышла на середину избы с книжкой в левой руке, чуть расставила ноги, чуть откинула голову, отвела правую руку.— «Погиб поэт!..» «Смерть поэта» называется,— прервала она себя.

Погиб Поэт — невольник чести —
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..

Она хорошо читала — громко, отчетливо, чистым сильным голосом. Понимала, что́ читает; глаза возбужденно сияли. Она не стеснялась, поэтому было приятно смотреть на нее.

Не вынесла душа Поэта
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света
Один, как прежде... и убит!
Убит!.. к чему теперь рыданья,
Пустых похвал ненужный хор
И жалкий лепет оправданья?
Судьбы свершился приговор!

Голос девушки зазвенел горестно и сильно. Все мелкое, маленькое, глупое должно было пригнуть червивые головки перед этой скорбной чистотой.

Николай во все глаза смотрел на девушку. Едва ли он был поражен силой и звучностью слов, едва ли дошло до него, сколь велик был и горд человек, так разговаривающий с сильными мира... Но что-то до него дошло.

Не могла не поразить его чуткий от природы слух гневная музыка, которая образовалась непонятно как — чудом — из обыкновенных слов. Не могло так быть, чтобы одна русская душа, содрогнувшаяся в бессильных

муках жажды мести, не разбудила другую — отзывчивую и добрую.

Но есть и божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный судия: он ждет;
Он недоступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперед.

От волнения щеки девушки побледнели. Раза два голос ее сорвался. Она, не прекращая чтения, трогала красивой рукой белое, гладкое горло, опять отводила руку в сторону и коротко взмахивала ею в ударных местах.

Клавдя опять с испугом смотрела на городскую — она чувствовала ее силу и боялась этой силы.

Кузьму стихотворение медленно накаляло...

И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!

Галина Петровна устало вздохнула.

— Как?— спросила она Николая.— Неинтересно?

Николай раскурил потухшую папироску, посмотрел на девушку и ничего не сказал, опустил голову.

— Ну ладно, песни песнями... Садитесь ужинать,— скрипучим голосом сказала Агафья.— Самовар скипел.

Кузьма думал о Галине Петровне: «Вот ты какая!..»

Когда ужинали, Николай с уважением посмотрел на девушку и признался:

— Крепко вы... просто, знаете... Только я не понял: кто кого убил?

— Убили нашего поэта Пушкина.

— А-а! — Николай кивнул головой.— Вон кого...

— А другой поэт — Лермонтов — обвиняет тех, кто его убил. А убил его царь.

— Ну?!

— Не сам царь, конечно, а его люди.

Николай поспешно кивнул головой — понял.

«Если она и дальше так будет переворачивать людей, то она натворит здесь хороших дел»,— думал Кузьма.

Городской постелили в горнице вместе с Клавдей.

Кузьма лег на полу в прихожей. Долго не мог заснуть: думал о стихотворении. Потом откинул одеяло, встал потихоньку, зажег свет, нашел ту книгу... Долго

рассматривал молодое, умное лицо поэта с холодноватыми глазами. Михаил Юрьевич Лермонтов.

Сзади, за спиной Кузьмы, негромко кашлянул Николай. Кузьма обернулся — Николай, приподняв голову над подушкой, смотрел на него.

— Погляди, какой он был.— Кузьма взял книжку и, придерживая одной рукой сползающие кальсоны, пошел к кровати.— Лермонтов. Вот...

Николай взял книжку, тоже долго глядел на поэта.

— Красивый,— шепотом сказал Николай.— Офицер. Вишь,— он показал обкуренным пальцем ряды пуговиц и шнурки на гусарской куртке.

— Ну, он такой офицер был... неугодный.

— Это уж конечно,— согласился Николай.— Как он их!.. И вы, говорит, не смоете вашей черной кровью его светлую кровь. Ты эту книжку припрячь, Кузьма. Мы ее читать будем.

Кузьма вернулся к столу, хотел было начать читать сначала, но Агафья недовольно заметила:

— Там керосину немного в лампе осталось. Завтра встать не с чем...

— Будет тебе!— строго сказал Николай.— Керосин пожалела... Читай, Кузьма.

— Не пожалела, а нету его. Сам же впотьмах завтракать будешь.

— Ну и буду. Небось в ухо не пронесу.

Кузьма с сожалением захлопнул книгу, погасил лампу и лег.

— Завтра почитаем, Николай.

— Колода,— негромко сказал Николай жене.

Агафья промолчала.

На другой день с утра начали устраивать Галину Петровну на квартиру.

Николай посоветовал идти к Фекле Черномырдиной: изба большая, живет одна — чего ей? Возьмет. Еще рада будет — все веселее.

Кузьма пошел к Фекле.

...Распахнул дверь и увидел, как метнулась к двери Фекла... Но поздно, Кузьма переступил порог.

— Здравствуй, хозяюшка! — приветливо сказал он.

Фекла стояла перед непрошеным гостем в простеньком, наспех надетом платье, с заспанным, сердитым лицом.

— Чего тебе?— Она хотела загородить собой кровать. Кузьма видел, что на кровати сидит Кондрат Любавин.

«Не выйдет тут с квартирой»,— понял Кузьма. Но на всякий случай сказал:

— Я вот зачем: приехала к нам новая учительница... не пустила бы ее на квартиру? Платить будем, конечно.

— Нет,— отрезала Фекла.— С учительницами еще тут возиться!

— А чего с ней возиться-то?

— Не пущу.

— Ну ладно. До свидания.— Открывая дверь, Кузьма не выдержал, обернулся и понимающе подмигнул Фекле.

У Феклы на широком лице проступили красные пятна. Она нахмурилась.

«Ишь ты... старая дева!»— весело думал Кузьма, шагая по утренней пустой улице. Вспомнилась некстати Марья. И подумалось: «Вот ведь все они — бабы, все с руками, с ногами... казалось бы: какая разница? Нет, елки зеленые, врежется одна в душу — и всё. Одна и есть на всем белом свете».

Галину Петровну устроили неподалеку от дома Кузьмы, у одинокой старушки Завьялихи.

Завьялиха занималась ворожбой и потихоньку варила самогон. В доме у нее было чисто, тепло и сухо. Галине Петровне понравилось.

— Ну вот,— сказал довольный Кузьма,— живите на здоровье.

Галина Петровна улыбнулась ему и занялась чемоданами.

2

Макарова смерть не выходила из головы Егора. Черная мысль о мести свила гнездо в его сердце и жила там ядовитой змеей, сосала сердце ласково и больно. Он знал, что никто не отомстит за Макара — ни отец, ни Кондрат, ни Ефим. Отец — слишком черствый человек для этого, Кондрат — этот при случае мог бы припомнить и Макара, но сам додуматься до этого, а главное — сделать умно не сумеет. Кондрат ходит только с козырного туза — в лоб, просто и глупо. Ефим — даже думать не станет об этом.

Не нужно было долго ломать голову, чтобы понять, кто стрелял в Макара. Их было в ту ночь четверо: сек-

ретарь этот — Кузьма, Федя Байкалов, Яша Горячий и еще один парень — Пронька Воронцов. Кузьма не стрелял, потому что был в это время в избе, Федя тоже не стрелял в Макара — он был уже ранен. Стреляли по Макару Яша и Пронька. Причем в висок, наверно, угодил Яша, заядлый охотник, отличный стрелок.

«В голову целил, гад подколодный,— мучился Егор.— Будешь за это кровью плакать, паскуда. Будешь».

Ни разу не подумал Егор о том, что Макар тоже имел такую привычку — целить в голову. Его заботило другое, как сделать, чтобы расквитаться за Макара и не оставить никаких следов?

Он здоровался с Яшей. Один раз даже разговорились. Егор пришел за водой к колодцу (Марье было уже тяжело таскать ведра), а Яша привел поить коняку.

— Здорово, сосед,— первым поприветствовал Егор.

— Здоров,— ответил Яша.

Сели на край промерзшей колоды.

Закурили.

— Рано нынче навалил,— сказал Яша, сбивая концом кнутовища снег с валенка.— На сырую землю лег.

— Да,— согласился Егор.— Для озими хорошо.

— Мгм...

— Коняка что-то у тебя...— сказал Егор, разглядывая шерстистую понурую кобыленку Яши.— Захудала.

— Она все ничего была, бойкая, а тут осенью нынче обожралась чего-то — разнесло, как бочку. Мне бы, дураку, выводить ее сразу, а я поперся к этому хромому, к ветеринару нашему. Тот, поверишь, ни слова, ни полслова — кэ-эк саданет ей шилом в пузо. «Сичас,— говорит,— из нее воздух пойдет». А из нее заместо воздуха кровь пошла. Кое-как кровь-то уняли да вместе по ограде начали гонять. Погоняли малость — она опала. «Для чего же ты,— говорю,— шилом-то ее, змей ты такой?»— «Значит, не попал, куда надо. Это тоже не всегда попадешь»,— это он мне. Вот с тех пор она и затосковала. Я думаю, он ей проколол чего-нибудь внутри. У нее ж тоже — своя организма. Так мне ее жалко, сердешную! Ночью заржет — я уж думаю: всё, подыхает. Выйду, приласкаю ее, а у ей — веришь, нет — слезы. Я уж сам ревел. Как-никак семь лет уж она у меня, привык.

— Что же он так? Ты б ему самому тем шилом-то... Что бы из него пошло, интересно?

— Впору, черту такому. Не умеешь — не берись.

Вода в Егоровом ведре подернулась светлым, с причудливыми стрелками ледком. Егор затоптал окурок, поднялся.

— Ну, бывай. Забегай.

— Будь здоров. Сам заходи.

Егор поднял ведро и зашагал к дому: «Может, с Проньки начать?— подумал он ни с того ни с сего, но тут же зло плюнул на снег.— Пошел ты к такой-то матери, гнус поганый! Разжалобишь меня. Из Макарки не воздух шел, а кровь ключом била. Сирота казанская...»

3

Собираться решили в сельсовете.

В первый вечер пришло человек десять: Федя Байкалов, Яша, Пронька Воронцов, Николай Колокольников и другие. Молодых, кроме Проньки, никого не было. Те были на вечерках. Явился и Елизар — начальство.

Галина Петровна сидела за столом, положив перед собой белые руки, серьезная и взволнованная. Кузьма незаметно наблюдал за ней. Он тоже волновался. Было такое ощущение, будто все это — праздник, и нужно, чтоб все было хорошо.

Елизар Колокольников суетливо рассаживал мужиков, запрещал курить, сморкался в платок, поглядывал на Кузьму и на учительницу: хотел знать — довольны им или нет.

Мужики переговаривались между собой, приглаживали заскорузлыми ладонями волосы, покашливали... И впрямь все это смахивало больше на предстоящую пирушку, чем на урок; у мужиков было великолепное настроение. Только очень хотелось курить, но Елизар, заметив кого-нибудь с кисетом, делал строгие глаза и укоризненно качал головой.

— Товарищи! — сказала Галина Петровна, и все замолчали и перестали шевелиться.— Я сначала хочу вам рассказать, для чего нужна человеку грамота. Здесь есть кто-нибудь, кто умеет читать? Поднимите руки.

Поднялась одна-единственная рука — Яши Горячего. Все оглянулись на Яшу... Ему даже неловко стало.

— Только.... я ведь тоже читок не резвый,— счел нужным сказать Яша.— Пока соберу слово-то, семь потов сойдет.

— Хорошо. Значит, все вместе начнем с самого на-

чала. Будем учиться читать. А сейчас я... мы с Кузьмой Николаевичем расскажем, для чего человеку необходима грамота.

Кузьма слегка покраснел от удовольствия и потянулся за кисетом, но вспомнил, что сам же подсказал Елизару — не разрешать курить, кашлянул в ладонь и стал слушать учительницу.

— Вот я,— начала она — человек. Я живу в деревне. Но мне хочется знать, как живут люди, например, в городе. Как я могу это узнать?

— Съездить туда,— сказал кто-то.

— Да нет... Ну и что — съездите? А если нельзя съездить? Да вообще, разве в этом дело?! Как же узнать!

— ??

— Я беру вот такую книжку,— Галина Петровна взяла со стола книжку и показала всем,— и начинаю ее читать. И узнаю постепенно, как живут люди в городе: что они едят, в чем ходят, о чем думают, чем интересуются... Понимаете? — Галина Петровна улыбнулась.

Мужики тоже вежливо заулыбались, зашевелились. Но, судя по их лицам, их не очень обрадовала и удивила такая блестящая возможность. Не поверили, что все это так легко и просто — взял книжечку, почитал и все сразу узнал. Это она, конечно, того... подбадривает. Но девушка им понравилась. Главное — они видели, что она старается для них.

— Можно также узнать о жизни в других странах, о животном мире,— продолжала Галина Петровна.

— А стих нам почитаете?— весело спросил Николай Колокольников и оглянулся с таким видом, точно хотел сказать: «Сейчас начнется!»

Но Галина Петровна почему-то не что чтобы обиделась, но показала, что она недовольна такой просьбой.

— При чем тут стих? Я же вам о другом совсем говорю. И потом... когда я говорю, меня перебивать не нужно.

Николай сконфузился и понимающе кивнул головой.

— Поняли теперь, для чего нужна грамота?— спросила Галина Петровна, уже без улыбки глядя на мужиков.

Мужики дружно ответили:

— Понятно.

— А сейчас... Может быть, вы что-нибудь скажете?— Галина Петровна посмотрела на Кузьму.— Вы сами ведь представитель общества «Долой неграмотность».

— Да нет... все ясно,— отказался Кузьма.

— Тогда займемся главным: будем разучивать буквы.

Всем роздали буквари, а Галина Петровна взяла со стола пачку картонок, похожую на колоду карт, и стала так, чтобы ее всем было видно.

— Вот это — «А», — показала она одну картонку с буквой.— Найдите у себя такую же.

Мужики уткнулись в буквари и стали водить пальцами по алфавиту.

— Да вот же! — подсказал кому-то Яша.

— Где?

— Да вот, чучело гороховое! Что ты, ослеп?

— Подсказывать нельзя!— строго сказала Галина Петровна.

Яша послушно уткнулся в свой букварь.

— Все нашли?

— Федя тут никак не может... Вот же она! На тебя смотрит,— опять не выдержал Яша.

— Не мешайте. Так. Запомните, что это — «А». Теперь вот такую найдите,— Галина Петровна показала еще одну букву.

Опять заползали пальцами по букварям. Яша беспокойно завертелся во все стороны.

— Да вот же... вот...— шепотом подсказывал он.

— Ты сиди тут!— громко возмутился Николай Колокольников.— Крутишься, как сорока на колу. Без тебя найдем.

— Все нашли?

— Я что-то никак не найду,— сказал Федя и посмотрел на Яшу. Тот молча ткнул пальцем в Федин букварь.

— Запомните — это «М». А теперь я вот так сложу их, рядом: что получилось? Вы пока не говорите,— Галина Петровна имела в виду Яшу

Все с завистью посмотрели на него. Вообще Яша сегодня неизмеримо вырос в глазах мужиков.

— Где ты успел, Яша? Вот черт...

— Он сразу грамотным родился, — заметил Николай.— И знаю, почему...

— Ну а что получилось-то? — не выдержал Кузьма.— Поняли?

Никто не знал, что получилось.

— Это какая буква?— спросила Галина Петровна, теряя спокойствие.— Вот вы скажите,— она показала на Федю.

Федя уставился на учительницу:

— Где?

— Да вот, вот же... я вам показываю! — воскликнула Галина Петровна. Посмотрела на Кузьму и покраснела.— Вот эта какая буква?— переспросила она тихо.

— Не знаю,— Федя кашлянул в кулак.— Можно я выйду? Шибко курить захотел.

— Хорошо.— Галина Петровна положила картонку на стол.— Выйдите все, отдохните.

Облегченно закашляли, заговорили... Закурили прямо здесь же — в сенях было холодно.

— Уела попа грамота,— хмуро сказал Николай Колокольников.— Для меня это не под силу, ребята. Я отрекаюсь.

Федя Байкалов посмотрел на Кузьму — тоже хотел отречься, но увидел его расстроенное лицо и промолчал.

— Почему отрекаешься?— спросил Кузьма тестя.

— Не могу, Кузьма.— Я лучше десятину земли спашу — и то легче. Я, конечно, извиняюсь, но мне это ни к чему.

— Я тоже, однако,— поддержал Николая мужик в тулупе.— Я думал, нам тут читать будут... Дело зимнее, можно послушать разные истории, а тут... Нет, я тоже отказываюсь.

Галина Петровна растерянно посмотрела на Кузьму. Тот встал с места и, прижимая руки к груди, горячо заговорил:

— Вы погодите! Чего вы сразу в кусты полезли? Чего испугались-то?! Ну, трудно, конечно, с непривычки... Ну, покряхтите недельку-другую, потом пойдет легче. Вот увидите. Когда сами научитесь читать, вас тогда от книжки не оторвешь. Это всегда так сначала бывает. Потерпите малость. Ничего с вами не случится.

— Конечно, ничего не случится,— согласился Николай.— Но я просто не осилю. Я себя знаю.

— Да осилишь! Все осилите!

— Нет,— не сдавался Николай,— вы уж молодых соберите, вернее будет. А нам лучше бы стих почитали.

Кузьма не знал, что еще говорить, смотрел на мужиков и понимал, что их сейчас никакими словами не убедишь. Он сел. Но тут вскочил Яша Горячий.

— Бросьте вы трепаться!— обрушился он на своих товарищей.— «Не оси-илим»! Ты, Николай, серьезный мужик, а такого дурака ломаешь, что уши вянут. Что он, лучше тебя?— он показал на брата Николая, Елизара.— Он-то осилил! Нам же для пользы делают, стараются, дак мы начинаем тут... Даже зло берет.

— Тебе хорошо, конопатому, ты их знаешь, а у меня они все перепутались, эти буквы! У меня от них в глазах струя,— Николай ткнул пальцем в букварь.— Насыпано их тут, как вшей...

Галина Петровна поморщилась.

— Чего насыпано? Ничего там не насыпано!— кричал Яша, размахивая руками.— Ты присмотрись хорошенько!

Федя потянул его за полу полушубка вниз.

— Сядь.

Яша послушно сел.

— Не хотите, значит?— спросила Галина Петровна.

— Нет,— дружно сказали мужики.

— Все?

— Все.

Промолчал только Яша.

— Жаль...

— Да вы не волнуйтесь шибко-то,— сказал Николай повеселевшим голосом.— Вы соберите молодых, у них мозги не заржавелые. А нам для чего она, грамота-то, если разобраться? С кобылами мы и так умеем разговаривать.

Галина Петровна опять поморщилась:

— Вы только не грубите, пожалуйста. Не хотите — не надо, силой не заставляют.

Кузьма встал и объявил:

— На сегодня всё. Пошли домой.

4

Больше всего Егор любил охотиться на зайцев. Всякий раз, когда он брал бегущего зайца на мушку, им овладевало жгучее, сладостное чувство. Заяц улепетывает со всех ног... Через прорезь прицела он кажется далеким, смешным и глупым. Рука каменеет, ствол движется несколько впереди зайца... Толчок в плечо, сухой гром выстрела... Зайчишка, высоко подпрыгнув, кувырком летит в снег.

— Есть,— негромко говорит Егор.

В тот день, наохотившись до устали, Егор пришел в избушку Михеюшки рано.

В избушке уже кто-то был — у крыльца, прислоненная к стенке, стояла пара лыж.

Егор скинул с плеча связку убитых зайцев, снял лыжи, вошел в избушку.

На нарах сидел Яша Горячий и что-то с азартом рассказывал Михеюшке.

— ...Я — туда-сюда, так-сяк — ничего не получается. Эт, собачий выродок, думаю...— Увидел Егора.— Здорово, Егор.

— Здорово.— Егор присел к камельку, вытянул к огню руки.

— Как убой?— спросил Яша.

— Так... не шибко. Снег плохой.

— Ночью подсыпет свежего. Я тоже пустой вернулся. Ты давно здесь?

— Два дня.— Егор посмотрел снизу на Яшу.— Ничего там не случилось, в деревне-то?

— Все тихо.

Егор глотнул слюну и стал закуривать. С недавнего времени, когда он видел Яшу, он испытывал такое же чувство, какое испытывал, когда целился в зайца.

— Может, настрелял все же?— опять спросил Яша.

— Та-а... чего там...

— Что у тебя за ружье?— Яша встал с нар, снял со стенки Егорово ружье, долго разглядывал его.— Осечки не дает?

— Нет.

Яша повесил ружье.

— Эх, какое у меня ружье было!.. В двадцатом году в тайге отобрали. Золото, а не ружье. Сейчас и то жалко.

Михеюшка тоже хотел поделиться воспоминаниями:

— Эх, а вот я помню... Мы это под вечер...

Но Егор оборвал его:

— Ну что, ужин сварганим?

— Это дело,— согласился Михеюшка.

Спал Егор плохо, несмотря на усталость. Вставал, пил теплую воду, курил. Подолгу смотрел на спящего Яшу. Подкидывал в камелек дров, снова ложился и ненадолго забывался неглубоким, чутким сном. И даже во сне слышал, как ворочается и чмокает губами Яша. Только под

утро заснул Егор. Заснул и тотчас увидел странный сон...

...Как будто живет он еще у отца... Откуда-то пришел Макар — в папахе, в плисовых шароварах. Веселый. Дал деньги и говорит: «Сбегай возьми бутылку». Пошел Егор к бабке, а там народу — битком набито. Егор стал дожидаться, когда все уйдут. А люди все не уходят. Егор еще подумал: «Макар теперь злится сидит». Потом к бабке-самогонщице вошла Марья, вела за руку какого-то мальчика. Егору сделалось неловко, что она пришла на люди с ребенком. Он подошел к ней и спросил: «Чей это?» И хотел погладить мальчика по голове, а мальчик вдруг зарычал по-собачьи и укусил Егора за руку.

Егор проснулся и сел: «Что за сон такой?..» И сразу, как кто в бок толкнул, подумал: «Марья рожает». Вскочил, оделся, стал на лыжи и побежал домой.

Было еще темно и очень морозно. Даже быстрая ходьба плохо согревала. Снег громко звенел под лыжами. Вокруг лица все закуржавело, веки слипались. Егор часто останавливался и протирал глаза варежкой.

«Наверно, сын будет»,— думал он.

Пришел домой, когда на востоке только-только пробивался красноватый свет.

Огня в избе не было. Егор постучался. Через некоторое время промерзшая избная дверь со скрипом разодралась.

— Кто там?— спрашивала Марья.

— Я.

— Ты, Егор?

— Кто же еще?

Марья отодвинула засов, вошла в избу, зажгла лампу.

В избе было тепло, пахло хлебом.

Егор долго распутывал закоченевшими пальцами опояску. Огляделся по избе, увидел на печке чьи-то ноги — кто-то спал.

— Кто это?

— Учительша. Читала нам вечером... Она ходит по избам, книжки читает. Вчера припозднилась — я оставила.

Учительница зашевелилась, приподняла голову.

— Это ваш муж пришел?— Галина Петровна смотрела на Егора большими сонными глазами.— Здравствуйте.

— Здорово живешь,— откликнулся Егор и повернулся к жене:— У нас самогонки нисколько нету? Продрало меня крепко.

— Маленько, однако, есть.— Марья полезла в шкаф.

Егор развязал наконец опояску, скинул полушубок, зябко повел плечами.

— Хотите, я пущу вас на печку погреться?— предложила Галина Петровна. Она свесила с печки босые ноги и смотрела на хозяина с любопытством.

— Сейчас согреемся.— Егор взял у Марьи бутылку, налил полный стакан и одним духом осушил. Понюхал корку хлеба и только после этого выдохнул: — Кхо-ох!

— Вы же сожжете себе все горло,— заметила Галина Петровна. Она все еще смотрела на Егора.

Егор стал закуривать.

— Ничего.

— Вы похожи... знаете, на кого? На Андрия.

— На какого Андрея?

— На Андрия. Из «Тараса Бульбы». Только характер у вас, наверно, не такой. Почему вы такой мрачный?

«Балаболка какая-то»,— подумал Егор и ничего не сказал.

— Постели на полу, я сосну маленько,— сказал он жене.

Вспомнил сон, посмотрел мельком на ее живот.

— Ложись на кровать, а я к ней на печку полезу.

— Куда полезу!.. Полезу...— Егор сам снял со стенки большой бараний тулуп, раскинул на полу, сбросил с кровати одну подушку, скинул валенки, рубаху, лег и с хрустом, сладко потянулся. Закинул руки за голову.— Накрой полушубком.

Галина Петровна смотрела на крупного красивого хозяина, шевелила пальцами босых ног.

Марья укрыла мужа полушубком, он зевнул и повернулся на бок, спиной к учительнице.

Марья дунула в лампу, долго шуршала платьем, потом тяжело завалилась на кровать и затихла.

Своей бани у Егора не было еще, ходили по субботам к Емельяну Спиридонычу.

Вечером Егор засобирался к отцу.

— А меня не возьмешь, что ли?— обиделась Марья.

— Куда тебе... И так еле ходишь,

— Я хоть в вольном пару посижу. Мне шибко охота, Егор.

Егор подумал, вышел на улицу. Минут через пять вернулся:

— Собирайся. На коне поедем.

Марья накутала на себя поверх шубейки две вязаные шали и еще набросила сверху одеяло. Еле пролезла в дверь. Егор не выдержал, засмеялся:

— На кого ты похожа сейчас!

— Ничего. Зато не простыну, когда оттуда поедем. Поехали.

На половине пути Марья вдруг позвала мужа:

— Егор!

— Ну.

— Однако у меня... господи!.. Поворачивай!

Егор оглянулся. Марья посинела... Глаза сделались невозможно большими. Он подстегнул коня,— до своих было ближе, чем до дома.

— Говорил ведь, русским языком говорил! Нет! — свое...

Сани подкидывало на выбоинах.

Марье стало хуже.

— Ой, умираю! Смертонька моя пришла, мама родимая!— закричала она.

— Ну, я потише поеду.

— Ой, да все равно. Останови ты, ради Христа!..

Егор остановил коня, огляделся — на улице ни души.

— А что делать-то?! — заорал он. Выпрыгнул из саней, склонился над Марьей.— Мань!

Марья кусала затвердевшие губы.

— Мамочка милая... смерть пришла,— шептала она; из больших глаз текли слезы.

Егор подхватил ее на руки и бегом понес в ближайший двор. Пинком отворил тяжелые ворота, вбежал на высокое крыльцо.., И тут только увидел, куда забежал,— к Николаю Колокольникову.

Дверь открыла Агафья.

— Господи Исусе!.. Что с ней!..

— Помирает,— кратко пояснил Егор, он был бледен.

— Рожает, что ли?

— Ну...

— Неси в горницу... заполошный.

Егор пронес Марью в горницу, положил на пол... Засуетился вокруг нее, начал раздевать. Руки тряслись.

— Да не пужайся ты, дурной! Ну, рожает. Делов-то. Вези бабку скорей.

— Где?

— Куксиху, она ближе всех.

Егор вылетел из избы, в сенях ударился головой о притолоку, чуть не упал от боли... Доплелся до саней, свалился в них, подстегнул коня...

Минут через десять он летел обратно. Вез бабку-повитуху.

Марья так кричала, что в ушах звенело.

Егор сидел на припечье, зажав руками голову... Не выдержал, сунулся было в горницу, но на него зашикали бабы. А Марья, увидев его, каким-то не своим голосом страшно крикнула:

— Уйди, проклятый! Ненавижу тебя!..

Егор опять сел на припечье.

Кузьма был дома. Он забился в угол и смотрел на все испуганными глазами. С Егором они не обмолвились еще ни словом. Только когда Марья закричала на Егора и когда он сел и зажал руками голову, Кузьма почувствовал что-то похожее на жалость.

— Не переживай. Это всегда так бывает,— сказал он.

Егор поднял голову, посмотрел на Кузьму затравленным зверем.

— Бывает,— сказал он тихо. И опустил голову.

— На, закури,— Кузьма подошел к нему, с кисетом.— Надо было заранее в больницу.

— Да,— согласился Егор.

— Больно, поэтому они кричат.

Егор промолчал.

— Кого ждешь?

— Сын должен...

Кузьма несколько раз подряд затянулся.

— Как назовешь?

— Ванькой.

— А я — Василием. У меня тоже сын будет.

Марья все кричала.

— Главное — помочь никак нельзя. Как поможешь?— Кузьма погасил окурок о подошву валенка и стал закуривать снова.

— В том-то и дело,— согласился Егор.— Сижу как связанный... Дай, я тоже закурю. Треснулся у вас даве-

ча... как пьяный сейчас.— Егор потер ушибленное место.

— Дверь низкая. Я с непривычки тоже долго бился.

Марья перестала кричать.

Из горницы вышла Агафья. Егор поднялся навстречу ей.

— Сын,— сказала Агафья. — Здоровенный, дьяволенок... насилу выворотился.

— Так,— сказал Егор и вытер со лба пот.— Правильно.

— Здорово!— с завистью сказал Кузьма.— Как думал, так и вышло. У меня бы так.

— Ванька...— Егор устало улыбнулся.— Не горюй, тоже так будет.

— Посмотрим.

Крестины справили пышные. Гуляли у старших Любавиных. Два дня пластались.

Сергей Федорыч, пьяненький, обнимал Емельяна Спиридоныча, дергал его за дремучую бороду и кричал:

— Ты с этой поры не шибко выкобенивайся! Это — мой внук!.. Понял? Дупло ты!— А Егору грозил пальцем и говорил:— И ты тоже — сопи не сопи, все равно приду. К внуку приду, не к тебе. К Ваньке. Понял?

Марья побыла немного со всеми и пошла домой. До́рогой, не в силах сдержать радость, то и дело останавливалась, откидывала одеяльце, смотрела на сына.

— Сынуленька мой хороший, ангелочек мой маленький, кровиночка моя!— шептала.

Подходя к своей избе, увидела в ограде Федю Байкалова. Тот правил на точиле топор.

— Федор!— позвала Марья.

Федя выпрямился и, продолжая ногой крутить точило, смотрел на Марью.

— Зайди, сына-то посмотри.

— Сейчас? Ага... зайду.

Он пришел в новой папахе и в новом дубленом полушубке (забежал в избу переодеться). Неловко потоптался у порога.

— Я маленько согреюсь, а то с мороза, с холода... как бы он не простыл.

— Ну! Он сам с мороза. Иди.

Федя заглянул в зыбку и неподдельно изумился:

— Лоб-то у его какой! Учитель, наверно, будет.

Марья хотела дать Феде подержать ребенка, но тот запищал. Она отвернулась, достала грудь и стала кормить его.

Федя смотрел в угол, на божницу.

— Федор, а почему у вас-то детей нету? — спросила счастливая Марья.

Федя покраснел, долго молчал, опасаясь взглянуть на Марью. Осторожно кашлянул и сказал:

— Не знаю. У нее чего-то не в порядке. Ванькой окрестили?

— Ванькой.

— Лучше бы Серегой.

— Да он уперся. Я хотела Михайлом — в честь братки. Не дал.

— Гуляют теперь?

— Гуляют.

— Теперь, конечно, можно.

— Ты бы свозил Хавронью-то в город, к доктору.

— Я уж говорил ей...— Федя перевел взгляд с божницы на окно.— Не хочет. Божеское дело, говорит. Бог не дает.

— Ну, бог богом, а к доктору надо.

— Я понимаю. Ну, я пошел.

— Забегай, Федор.

— Ага.— Он ушел, осторожно ступая по полу...

5

С крестин завелись на сватовство: Кондрат с отцом поехали договариваться с Феклой.

Заложили иноходца в легкую кошеву и через пять минут подлетели к Феклиным воротам.

Кондрат выпрыгнул из кошевы, по-хозяйски распахнул ворота. Емельян Спиридоныч въехал во двор, критически оглядывая скромное Феклино хозяйство.

Фекла вышла на крыльцо и, скрестив на могучей груди полные руки, спокойно смотрела на Любавиных.

— Может, в дом пригласишь, корова комолая? — сказал Емельян Спиридоныч.

— Заходите, раз приехали. А коровой меня нечего обзывать.

— Скажите какая... Ну, телка.— Емельян Спиридоныч молодо выпрыгнул из кошевы — в руках по бутылке и еще из карманов торчат две.— Режь огурцы,— рас-

порядился он.— Честь тебе великая привалила, а ты стоишь, как в землю вросла. От радости, что ли?

Фекла была тоже из гордых людей; в свое время из-за гордости и проворонила всех женихов.

— Ты не петушись тут,— осадила она Емельяна Спиридоныча.— Приехал... царь-горох.

— Поменьше вякай, дура. А то ведь и повернуть можем.

— Ладно вам,— вмешался Кондрат.— Чего схватились? Давай, Фекла, капусты, что ль...

Фекла пошла в погреб, а отец с сыном прошли в избу.

— Не глянется она мне,— Емельян Спиридоныч пьяно икнул.— Она сейчас должна перед нами на цыпочках ходить...— Он опять икнул и плюнул на чистый половичок.— Что она, девка семнадцати лет?

— Я тоже не парень.— Кондрат скинул полушубок, привычно устроил его на гвоздь возле двери.— А одному с этих пор тоже не сладко. Я не поп.

Емельян Спиридоныч пропустил это последнее замечание мимо ушей.

— Ты мужик, а мужик до сорока годов парень.— Он тоже разделся.— Смотри не распускай перед ней слюни, а то живо скрутит в бараний рог. С ними — во как надо,— он показал сыну жилистый кулак.— Для первого раза обязательно выпори. Вожжами.

Вошла Фекла с капустой и с огурцами.

Сели за стол.

— Вот так, договоримся... — Емельян Спиридоныч положил темные лапы на свежестираную камчатную скатерть.— Ты перед нами не выгибайся, как вша на гребешке. Мы тебя не первый год знаем. Кондрат хочет взять тебя... подобрать, можно сказать. Жить будет у тебя. Всё. Наливай, Кондрат. Я тебе, девка, советую: с нами поласковей. Мы не любим, когда хорохорются.

— Один у вас уж дохорохорился,— заметила Фекла.

— Цыть!— Емельян так треснул ладонью об стол, что бутылки подпрыгнули.— Ни разу не заикайся про это, толстомясая!

— Чего ты, на самом деле?— Кондрат неласково посмотрел на будущую жену.

— А чего он! Изгаляется сидит, как хочет. Как будто я ему потаскушка какая-нибудь.— Фекла отвернулась и заплакала молча.

— Ну ладно,— Кондрат налил ей полный стакан водки, повернул за плечо к столу,— пей.

Фекла вытерла слезы, взяла стакан.

— А сами-то чего же?

Емельян Спиридоныч взял стакан, потянулся к Фекле — чокнуться.

— Не сердись. Давай выпьем. Мы ж родня теперь.

— Давай.

Выпили. Стали закусывать.

— Капусту солить не умеешь. Вялая, — заметил Емельян Спиридоныч.

— Поздно срубила, заморозком хватило.

— У тебя сколько скотины-то?

— Две коровы, конь, овечек держу, курей... Хватает.

— Теперь больше будет. Пару коней я вам даю, две бороны, плуг... новенький плуг, из лопотины — само собой: тулупишко, пимы, шаровары... Обчим, не обижу.— Емельян Спиридоныч задумался, долго молчал.— Один теперь остаюсь. А ить мне уж скоро семисит. Турнёт скоро курносая со двора... Налей-ка, Кондрат.

Еще выпили.

Потом еще. И еще. Отяжелели.

Ночевать остались у Феклы.

Проснулся Емельян Спиридоныч рано. Долго ходил по избе, кряхтел... Зажег лампу.

На широкой кровати спали Кондрат с Феклой.

Емельян Спиридоныч остановился над ними, долго смотрел на сына... Тихонько позвал:

— Кондрат! А Кондрат! Поднимись, ну тя к дьяволу, развалился тут.— Ему стало почему-то очень грустно, и обида взяла на сына.

Кондрат поднял голову, посмотрел в окно.

— Рано еще, чего ты?

— Встань, не могу тебя видеть с этой дурой. Уйду — тогда уж спите. Давай похмелимся.

Проснулась Фекла. Потянулась так, что хрустнули кости.

— Чего ты, тятенька?

— Здоровá спать!— с сердцем сказал Емельян.— Другая давно бы уж соскочила, блинов напекла.

Фекла сыто улыбнулась.

— Все ворчишь?

Емельян Спиридоныч прищурился на нее, хотел, видно, что-то сказать, но не сказал. Долго сворачивал «ножку», мрачно сопел. Грусть и злость не унимались.

— У нас осталось чего-нибудь со вчерашнего? — спросил он.

— Все выпили,— ответил Кондрат.

— Сейчас сбегаю к Завьялихе,— сказала Фекла.

Емельян Спиридоныч сел к столу, подпер кулаком голову.

— Макарку во сне видал.

Кондрат промолчал.

— Пришел откуда-то. «Прости,— говорит,— меня, тятя, шибко я виноватый перед тобой».— Емельян Спиридоныч заморгал, отвернулся. Что-то непонятное творилось с ним. Ему до боли стало вдруг жалко Макара, жалко стало прожитую жизнь. И обидно, что Кондрат в чужой избе чувствует себя как дома.— Убили. А за что? Он сроду курицы не обидел. Эхх...

...Опохмелились. Емельяну Спиридонычу стало вроде полегче, захотелось с кем-нибудь поговорить о жизни. Но здесь он говорить не мог — Фекла злила его.

— Пойду к Егорке. Коня сам отведешь. Загуляю, наверно,— сказал он.

Егор стоял над зыбкой — всматривался в лицо ребенка. Он часто так делал: Марья из избы — он подходит к сыну и подолгу изучает его красную, сморщенную рожицу. Непонятно было, о чем он думал в такие минуты.

Когда в сенях заскрипели шаги отца, Егор поспешно отошел от зыбки и сел к столу.

— Здорово,— Емельян Спиридоныч огляделся.— Маньки нету?

— К своим пошла.

Емельян разделся, прошел мимо зыбки, мельком заглянул в нее.

— Не хворает?

— Ничего пока.

— Затосковал я, Егорка.— Емельян Спиридоныч тяжело опустился на лавку, навалился на стол.— Крепко затосковал.

— Чего?

— Хрен его знает, чего... От Кондрата сейчас иду. Женился Кондрат. Баба у него — дура набитая.

— Чем так не поглянулась? — Егор притаил в глазах усмешку — не везло отцу с невестками.

— Кобыла она. На ей пахать надо, а Кондрат угождает ей.

— Кондрат угодит... жди.

— Макарку во сне видал.— Емельян Спиридоныч поднял на сына красные, печальные глаза.— Жалко мне его. Убили, гады. Какого парня!..

Егор отвернулся. Промолчал.

— У тебя выпить есть чего-нибудь?

— Не знаю. Посмотрю,— голос Егора осел до хрипотцы.

— Посмотри. Выпьем хоть... за помин души Макаровой.

Егор слазил под пол, достал большую зеленую бутыль с самогоном.

Нарезали ветчины, хлеба.

Выпили по стакану. Сидели, склонившись локтями на стол,— лоб против лба, угрюмые, похожие друг на друга и не похожие. У старшего Любавина черты лица навсегда затвердели в неизменную суровую маску. Лишь глубоко в глазах можно еле заметить слабый отсвет тех чувств, какие терзали этого большого лохматого человека. У молодого — все на лице: и горе, и радость, и злость. А лицо до боли красивое — нежное и зверское. Однако при всей своей страшной матерости отец уступал сыну, сын был сильнее. Одно их объединяло, бесспорно: люди такой породы не гнутся, а сразу ломаются, когда их одолевает другая сила.

— Один знакомый мужик из Суртайки рассказывал — нонче быдто еще больше на нашего брата, кто покрепше, налогов навешают.— Емельян налил из зеленой бутылки.— От жись пошла! Руки опускаются.— Выпил.— А ишо не то будет. Сейчас половину забирают, потом все начисто подметут.— Емельян Спиридоныч, как мог, подогревал свою злобу.

Егор слушал, обняв голову. Ему нездоровилось последнее время.

Налил себе в стакан, выпил. Спросил:

— Знаешь, кто Макара убил?

— Яшка?

— Яшка.

Еще молча выпили. Лениво жевали хлеб и сало. Потом стали закуривать.

— Яшка — он змей подколодный. Таких еще не было. Спроси, почему я его оглоблей не зашиб, когда он у меня до переворота ишо на покосе робил.— Емельян Спиридоныч заметно пьянел.— А я мог... Имел права: он у меня жеребенка косилкой срезал, урод. А я — ничего... пожалел. Сирота. А сичас радуется ходит...

— Он нарадуется.— Егор провел ладонью по лицу.— Он нарадуется.— Ему передалась отцовская злость, охватило яростное нетерпение и страх. Показалось, что он навсегда упустил момент, когда можно было расквитаться с Яшей. Теперь Яша будет ходить и радоваться. А брат родной в земле гниет, неотмщенный.— Ты куда сейчас? — спросил он, поднимаясь.

— Никуда. Я загулял.

— Мне уйти надо...

— Иди. Я дождусь Маньку.

Егор оделся, вышел на улицу, надел лыжи и пошел скорым шагом из деревни. На окраине оглянулся — улица была пуста. Он поправил ружье и скрылся в лесу.

6

Подойдя к знакомой избушке, Егор внимательно осмотрелся. От крыльца по поляне шла свежая лыжня. Больше следов не было. Егор двинулся по лыжне, старательно попадая лыжами в глубокие колеи.

Он шел так с час. Смотрел вперед, прислушивался... Один раз, остановившись, услышал далекий, похожий на треск сучка, выстрел. Прибавил шагу.

...В полдень он догнал Яшу.

Был ясный, морозный день. Снег слепил глаза.

— Здорово, Егор! — крикнул издали Яша.

— Здорово.— Егор глотнул пересохшим горлом.— Здорово, Яша.— Он медленно приближался к нему.

Яша стоял, широко расставив ноги. На снегу, рядом с ним, лежала убитая лиса. Яша улыбался.

— Убил? — спросил Егор.

— Ага. Спускаюсь вон с той гривки,— гляжу: хромает, милая.— Яша показал носком валенка на переднюю левую ногу лисы: вместо ноги у нее был короткий огрызок.— Из капкана ушла, а под пулю угодила, дурочка.

Егор остановился шагах в трех от Яши. Снял рукавицы... Странно улыбнулся. Яша чуть заметно приподнял

одну бровь. Ружье у него было за спиной. У Егора ружье на плече. Он воткнул палки слева от себя...

— Что, Яша?..— Егор опять не то улыбнулся, не то сморщился.— Погань ты такая, ублюдок...

Яша побледнел.

Мгновение смотрели друг на друга... Одновременно рванулись к ружьям...

Грянул одинокий выстрел. С Яши слетела шапка, точно невидимая рука сорвала ее и откинула далеко в сторону; Егор взял сгоряча выше. Яша не успел снять свое ружье. Он теперь стоял, опустив руки, и как завороженный смотрел на Егора,— у Егора двустволка, и палец лежит на спусковом крючке второго ствола.

— Не надо, Егор,— тихо сказал он, с трудом разлепляя сведенные судорогой губы.

— Ты Макара убил!..

— Егор... прости...— Яша глядел в глаза Егору.

— Ты Макара угробил... паскуда! — Егора трясло все сильнее. Ему было жалко Яшу.— Ты Макару в висок попал. Рвань...— Егор матерно выругался.

— Егор, не губи... Егор... Эх ты, гадина! Су...

Грохнул выстрел. Яша схватился за лицо, упал и засучил ногами, залезая головой в снег. Егор рывком перезарядил оба ствола, добил Яшу в затылок. Закидал труп снегом и пошел обратно, так же старательно попадая лыжами в глубокий след. В горле стояла теплая тошнота, не проходила. Раза два он останавливался, ел горстями снег. Он вдруг страшно устал. Напрягал последние силы, передвигая лыжи.

...Перед самой деревней его вырвало. Стало жарко; жаром дышала в лицо дорога; глаза застилал горячий туман. Глядя на Егора со стороны, можно было подумать, что он беспробудно пил неделю. Его шатало из стороны в сторону.

Держаться он уже не мог. «Ну, все...»— подумал. И лег на дорогу. И вытянулся. И погрузился в теплый, глухой, непроглядный мир, ласково и необоримо влекущий куда-то.

Еще час, полтора — и Егор уже не вернулся бы из этого непонятного, сладостного мира. Даже молодая неистребимая сила не вернула бы его к жизни: он замерзал.

Подобрал его один мужик, ехавший в деревню с сеном.

7

Неделю Егор пластом покоился в жаркой перине, не приходя в сознание. Марья кормила его с ложки. Егор тихо стонал, не хотел открывать рот; Марья ножом разжимала стиснутые зубы и вливала молоко или бульон.

Мерещились Егору какие-то странные, красные сны... Разнимали в небе огромный красный полог, и из-за него шли и шли большие уродливые люди. Они вихлялись, размахивали руками. Лиц у них не было, и не слышно было, что они смеются, но Егор понимал это: они смеялись. Становилось жутко: он хотел уйти куда-нибудь от этих людей, а они все шли и шли на него, Егор вскрикивал и шевелился; на лице отображались ужас и страдание.

Чьи-то заботливые руки, пахнувшие древним теплом, укладывали ему на лоб влажное полотенце... Две женские головы склонялись над ним.

— Снится, что ли, ему?..

...Очнувшись, Егор увидел около себя Галину Петровну.

— Как вы себя чувствуете?

— Ничего.— Егор хотел посмотреть по сторонам, но тотчас прикрыл глаза: они так наболели, что в голове, подо лбом, заломило.— Где я?

— Дома.— Галина Петровна положила ладонь на лоб больного. Ладонь чуть вздрагивала.

— А где... Марья?

— Она ушла. У нее отец тоже заболел.

— А ты чего здесь?

— Я? Так просто. А вам что, неприятно?

— Почему?.. Ничего.— Егор отвернулся к стене и замолчал.

Яшу нашли через три дня. Охотники с гор.

Притащили в избушку к Михеюшке:

— Знаешь такого, отец?

Яша стукнулся об пол, как чурбак. Он так и застыл — скрюченным.

Михеюшка заглянул в лицо покойнику, медленно выпрямился и перекрестился.

— Наш... Яша Горячий... Царство небесное... Кто его?

— Кто-то нашелся. Кто он был-то?

— Человек... кто? Надо сказать нашим-то.

Охотники поколготились в избушке, отогрелись и ушли. Один на лыжах побежал в Баклань.

Кузьма, когда узнал об убийстве Яши, побледнел и, стиснув зубы, долго молчал.

— Из ружья? — спросил он Николая, который сообщил ему эту черную весть.

— Из ружья. Всю голову размозжили.

Кузьма накинул полушубок и пошел к Любавиным. Но по дороге одумался:

«Нет, так не пойдет. Надо умнее делать».

А как умнее, не знал. Пошел медленнее. Незаметно пришел к Фединой избушке.

Федя сидел в переднем углу, около окна, подшивал жене валенки.

— Здорово, Федор!

Кузьма присел на табуретку.

— Здорово,— откликнулся Федя.

И нахмурился... Швыркнул носом и низко склонился над валенком. Смерть Яши удивила Федю, крепко опечалила. Он ходил смотреть друга, долго стоял над ним, потрогал его холодную руку... Лицо Яши было закрыто полотенцем. И вот это полотенце, небольшая, конопатая, холодная рука, белая чистая рубаха — все это странным образом не походило на Яшу, а вместе с тем это все-таки был Яша...

— Что, Федор? — спросил Кузьма.

Федя медленно поднял большую взлохмаченную голову.

— Угробили Яшу,— тихо сказал он и снова склонился к валенку.

— Пойдем посмотрим то место? — попросил Кузьма.

На месте, где убили Яшу, была неглубокая ямка в снегу, несколько больших темно-красных ягодин крови — и все. Сколько ни искал Кузьма вокруг, ничего больше не обнаружил. Пошли обратно.

Когда подходили к деревне, Кузьма твердо решил:

— Федор, пойдем к Любавиным. Это они за Макара.

— Я не пойду,— сказал Федор.

— Почему?

— Так. Не могу пока... Шибко горько.

— Тогда я пойду один. К Егору сперва.

— Егорка хворый лежит.

— Он на этой неделе тоже охотился.

— Сходи. А я... не сердись — не могу. Я, может, выпью пойду.

Егор опять впал в беспамятство. Около него сидела Марья.

Кузьма в первую минуту пожалел, что пришел сразу сюда, но отступать было поздно.

— Здравствуйте! — громко сказал он.

Марья от неожиданности приоткрыла рот... Молча кивнула.

Кузьма снял шапку, прошел к столу. На Егора не посмотрел. Вытащил из кармана замусоленную тетрадку, аккуратно расправил ее.

— Когда твой муж пришел с охоты? — спросил он.

— Неделю, как...— Марья вопросительно и удивленно смотрела на Кузьму.

— Он принес чего-нибудь с собой?

— Чего?

— Дичь какую-нибудь?

— Нет.

— Ничего не принес?

— Нет.

— Где его полушубок?

— Вон висит.

Кузьма подошел к полушубку, похлопал по карманам. В одном что-то звякнуло. Кузьма вытащил четыре пустых патрона.

— Так,— значительно сказал он. Осмотрел весь полушубок, снял со стенки ружье, заглянул в стволы.— Понятно.

Надел шапку и вышел, не посмотрев на Марью.

В тот же день он собрался и уехал в район.

Не было его три дня.

Возвратился обновленным: похудевший, собранный, резкий.

Забежал на минуту домой. Клавди не было в избе. Дверь в горницу закрыта. По глазам домашних понял: что-то случилось.

— Что такое? — не поздоровавшись, с порога спросил он.

— Ничего,— усмехнулся Николай.— С прибавлением нас...

— Родила?

— Ага. Девку. Хорошая девка получилась.

Кузьма прошел в горницу — там никого не было.

— А где она?

— У наших. Вечером съездим за ними.

Кузьма пошел в сельсовет.

Приехал он не один — в сельсовете сидел тот самый работник милиции, которого привозил Платоныч.

— Жена родила,— сообщил ему Кузьма.

— Дело,— похвалил мужчина.

— Девку... елки зеленые! — Кузьма сел к столу и рассеянно стал смотреть в окно.

— Где председатель-то? — спросил мужчина.

— Сейчас придет. Сына хотел...

— Ничего. Девки тоже нужны.

Пришел Елизар, вопросительно уставился на приезжего.

— Здравствуйте, товарищ.

— Здравствуйте. В каком состоянии Егор Любавин?

— Ходит. Давеча видел — по ограде ходил.

— Надо вызвать его.

— Для чего?

— Для дела. Не надо ничего говорить. Вызывают — и всё.— Работник милиции говорил молодым звучным голосом, короткими фразами, уверенно. Был он в том же костюме, в каком приезжал прошлый раз.

Елизар ушел.

— Сына, говоришь, хотел?

— Сына,— упавшим голосом сказал Кузьма; он сразу как-то устал. Он, конечно, обрадовался, но он так свыкся с мыслью, что у него будет сын Василий, так много думал об этом, что теперь несколько растерялся.

— Ну-у... уж ты совсем что-то скис, брат! На, кури.

Кузьма закурил. Попытался представить свою дочь... Усмехнулся.

— Ничего. Я так просто, думаю.

...Егор сильно похудел за эти несколько дней. Держался, однако, прямо. Смотрел спокойно, угрюмо.

Кузьма так и не привык к любавинскому взгляду; всякий раз, когда кто-либо из них смотрел на него, его охватывало острое желание сказать что-нибудь резкое, вызывающее.

— Садись,— сказал приезжий.

Егор сел.

Елизар, сообразив что-то вышел.

Кузьма и приезжий внимательно смотрели на Егора.

— Ты убил Горячего?— неожиданно в упор, спросил приезжий.

Не столько спросил, сколько сказал утвердительно.

Голова Егора дернулась, точно его кто позвал сзади.

«Он»,— подумал Кузьма.

— Нет.

— Это чьи патроны? — приезжий расставил на столе рядком четыре патрона.

Егор посмотрел на патроны, потом на следователя и на Кузьму, на душе у него стало немного веселее: он думал, что им известно больше.

— Не знаю. Может, мои,— у меня такой же калибр.

— Ты охотничал в среду? Перед тем, как захворать?

— Охотничал.

— Видел Горячего?

— Нет. Я не дошел до избушки... плохо стало, я вернулся.

— В кого же ты стрелял?

— В зайцев.

— Не попал, что ли?

— В одного попал, но испортил шкурку, не взял. А зачем это все?

— Ты четыре раза стрелял?

— Четыре.

— Так...

Следователь уставился на Егора угнетающе долгим, насмешливым взглядом.

Егору снова сделалось не по себе, он лихорадочно вспоминал: четыре раза он стрелял или больше? Один раз промазал, потом попал, двумя выстрелами добивал Яшу в голову — четыре. Двумя добивал или тремя?

— Вспомнил?

— Что?

— Сколько раз стрелял?

— Четыре.

Следователь пружинисто выкинул свое тело из-за стола, рявкнул в лицо Егора:

— А пятый раз в кого стрелял?!

Это было так неожиданно, что даже Кузьма вздрогнул.

— Почему у тебя в кармане было пять патронов? Почему?! Ну?!

— Ты не ори,— негромко сказал Егор. Он заметно побледнел; момент был жуткий.

— В кого стрелял?!

— Не ори, понял! — Егора душили страх и злоба.— А то не погляжу, что ты власть. Нечего орать.

Шрам у Кузьмы багрово накалялся.

— В кого стрелял? — сквозь зубы, тихо спросил он. Он сам в эту минуту верил, что в полушубке Егора было пять патронов.

Егор не шевельнулся, только настороженно прихмурил глаза. Он отчетливо вспомнил ясное морозное утро, Яшу, его побелевшее, растерянное лицо... Выстрел. Негромкое: «Не губи, Егор». Еще выстрел. Потом еще. И еще. Откуда же их пять?

— У меня на полатях еще двадцать пять патронов,— что же, я за всех покойников отвечать должен? — Егор обретал уверенность. Поднял глаза на следователя. На Кузьму упорно не смотрел.— Забыл, наверно, в кармане — и всё. А где он, пятый-то? — Егор кивнул на патроны.

Следователь прошелся по комнате, закурил.

Егор отдыхал от великого напряжения.

«Его вовсе и не было, пятого-то,— думал он.— Ах, сволочи!.. Чуток не влопался».

За спиной Егора следователь поманил Кузьму, вышли в сенцы.

— Отпустим его,— негромко заговорил он.— Сделаем вид, что все кончилось. Потом продолжим следствие.

— Я думаю, это все-таки он.

— Мало мы слишком знаем. Думать — одно, а... Пойдем. Извинись для блезиру... Надо успокоить его.

— Нет уж, сам извиняйся.

Вошли в избу.

— У меня один вопрос к тебе,— как ни в чем не бывало, добродушно заговорил следователь,— не знаешь, у Горячего не было врагов среди охотников с гор?

Егор не сразу ответил. Молчал, думал: «Подвох какой?»

— Не знаю. Может, в тайге встречались...

— Ну ладно,— легко примирился следователь.— Иди. Извини нас.

Егор спокойно поднялся, медленно пошел к выходу.

В дверях излишне низко склонил голову, чтоб не удариться о притолоку.

«Ослаб,— подумал он, спускаясь с высокого сельсоветского крыльца; ноги дрожали.— Ослаб совсем».

— Где председатель-то твой? — спросил приезжий.— Позови, я ему передам... А то еще заартачится.

Кузьма нашел Елизара в соседней избе.

— Пошли, с тобой поговорить хотят.

— Про чо? — испугался Елизар.

— Скажут.

Елизар подозрительно посмотрел на Кузьму, пошел неохотно.

— Собери в субботу на сходку всех нелишенцев,— заговорил сразу приезжий.

Но Елизар перебил:

— В субботу — баня, черт их вытянет.

— Ну, в воскресенье.

— Мгм, так...

— Будут тебя переизбирать.

— Понимаю.— Елизар нисколько не удивился.— Его, да? — показал на Кузьму.— А мне какое место?

— Дело покажет. Я только передаю... В общем, приедут к вам два товарища из укома. Встретите.

8

Шел Егор из сельсовета и упорно думал: почему сразу вызвали его? Все сделано было аккуратно. В чем же дело? В чем дело?.. И вдруг пришла догадка: проболтался в бреду. Когда бредил, наверно, поминал Яшу. А эта учительша слышала... тварь глазастая. Ее нарочно подослали.

Он завернул к своим.

— Эк тебя перевернуло! — заметила мать.— Не рано поднялся-то?

— Ничего... Где отец?

— Ушел куда-то. Не знаю.— Михайловна опять принялась месить тесто.

Егор сел на припечек, закурил. Стало отчего-то тоскливо — пусто было в родительском доме.

— Не хворает парнишка-то? — спросила мать.

— Нет пока.

— У Авдотьи Холманской запоносила девчонка. Го-

ворят, поветрие ходит. Если прохватит, поите черемуховым отваром. У Маньки-то нет, наверно, черемухи? Пусть придет, я дам.

— Кондрат бывает здесь?

— Редко. С Феклой анадысь зашли посидели... Не любит наш ее чегой-то. Зря,— баба хорошая, работящая.

— Он всех их не любит.— Егор бросил в шайку недокуренную папироску, поднялся.— Не придет скоро, однако. Он не загулял?

— Нет вроде. А там бес его знает.

На крыльце заскрипели знакомые шаги. Зашуршал по валенкам березовый веник.

— Вон он... идет.

Емельян Спиридоныч вошел раскрасневшийся с мороза. Долго раздевался, кряхтел.

— Моро-оз, язви тя в душу! До костей пробирает. Скотине давала?

— Давала,— откликнулась Михайловна.

— Сейчас поболе давать надо. Такой навалился, черт те что... Воробьи падают. Поправился? — обратился к сыну.

— Поправился.

— Заходил к тебе раза два... Думали уж каюк пришел. А чего училка около тебя сидела?

Егор нахмурился, полез за кисетом.

— Пойдем в горницу, поговорить хочу.

Отец искоса, вопросительно глянул на сына, прошел в горницу.

— Вызывали сейчас в сельсовет,— сказал Егор, прикрывая за собой дверь.

— Зачем?

— Думают, я убил Яшку.

Емельян опять внимательно посмотрел на сына.

Егор присел на подоконник.

— Ну? — спросил отец.

— Допросили.

— А ты что?

— Что? Ничего.

— А почто сразу к тебе пришли?

— А я откуда знаю? Патроны какие-то нашли в полушубке, привязались. Я в тот день тоже на охоте был.

— А Яшку видал? На охоте-то?

— Стречались,— уклончиво ответил Егор, не выдержав отцовского откровенного взгляда.

— А больше ничего? Кроме патронов-то, ничего больше не нашли?

— Ничего не нашли.

— Посылай их подальше. Нет такого закона, чтобы зазря клепать на человека.

— Ты, когда был у меня, не слышал, я бредил?

— Нет вроде. Не помню. А что?

— Сидела там эта городская... Боюсь, не слыхала ли она чего.

— У Маньки-то не спрашивал?

— Нет, я только сейчас подумал про это.

— А чего она там сидела? — опять поинтересовался Емельян Спиридоныч.

— Черт ее душу знает! Я думаю, ее подослали.

Емельян Спиридоныч долго молчал, посасывая рыжую усину... Сплюнул, полез за кисетом.

— Жись, мать ее...— И вдруг пришла ему в голову такая мысль: — Вот чего: прикинься опять хворым, она, эта училка, снова придет, а ты туру́сь чего попало. Про хлеб скажи... Поговаривают, ишо будут нас облагать, сверху налогу. А я налог не отвез. Придут скоро. Налог, конечно, придется отвезти, а этот я зарыл. Под баней. Чижало догадаться, но все же... опасно. А ты, когда туру́сить-то будешь, дык вроде под пол мне советываешь. А я вроде не соглашаюсь — в завозню велю. Вроде ругаемся с тобой. Пусть тогда роются. Нету,— и всё — съели.

— Не получится у меня,— с сомнением сказал Егор, удивляясь про себя отцовской хитрости.

— А тут же,— продолжал увлеченный Емельян Спиридоныч,— брякни насчет Яшки: мол, не убивал я его, чего зря привязались!.. Нет. Вроде опять со мной говоришь: жалуйся мне, что на тебя такой поклеп возводют.— Старик даже устал от таких вывертов, но был доволен.

— Не получится,— еще раз сказал Егор.

— Получится! Чего тут не суметь-то? Только не все подряд рассказывай, а вперемежку. А то догадаются.

Егор ушел от отца с нетерпеливым желанием немедленно увидеть учительницу.

Марья подрубала топором ледок на крыльце.

— Давеча чуть не брякнулась,— сказала она.— Наросло черт те сколько.

— Пойдем в избу,— буркнул Егор.

Марья положила топор, вошла в избу с недобрым предчувствием.

— Я хворый турусил или нет?

— Турусил чего-то...

— Ну и что?

— Чего ты?

— Что говорил-то? — почти крикнул Егор.

— Господи, чего ты орешь-то? Неразборчиво было... Да я и не слушала.

— А эта... твоя слушала? Учительша-то?

— А я откуда знаю! Она тут много раз одна оставалась. Может, слушала.

Егор с ненавистью глянул на жену.

— Не можешь, чтоб кого-нибудь не тащить в дом.

— Господи!.. Да она ко всем ходит читать. А когда ты захворал, она сказала, что умеет выхаживать. Училась, говорит, этому делу. Спасибо надо...

— Вот что,— оборвал Егор.— Призови ее счас, а сама куда-нибудь выйди...

— Зачем это?

— Надо! Не разговаривай много!

Марья пошла к учительнице.

...Галина Петровна пришла сразу.

— Здравствуйте!

Егор молча кивнул.

— Как вы себя чувствуете?

— Где Манька-то? — спросил Егор, чувствуя, что скоро может сорваться; особенно злили большие, чистые глаза девушки. «Сука... Святая».

— Она сказала, что зайдет на минутку к соседям.— Галина Петровна присела на табуретку.— А почему вы ее так — Манька?

— Я слышал, что тебе надо уехать отсюда,— негромко заговорил Егор.— Пока живая. А то у нас тут... есть ухари — враз оторвут голову.

Большие глаза Галины Петровны сделались еще больше.

— Как это?.. Вы что?

— Уезжать, говорю, надо, откуда приехала! Нечего наших баб от дела отваживать. В городе надо книжки читать. А здесь надо работать. А ишо ребята обижают-

ся, что девки по вечерам с тобой сидят — им тоскливо одним, ребятам-то.

— Пусть тоже приходят...

— Я ей одно, она — другое. Уезжать, говорю, надо!

— Но почему?

— Да потому, что ты, змея ползучая, суешь нос куда не надо.— Оттого ли, что он ослаб здорово, или оттого, что давеча в сельсовете сильно перепугался, Егор уже не мог сдерживать себя.— Последний раз тебе говорю: не уедешь — пеняй на себя.

Галина Петровна словно онемела, только моргала голубыми глазами.

— Два дня тебе на сборы, дальше... смотри сама,— подытожил Егор.— Жалеючи говорю. Всё. Иди отсюда, чтоб я тебя больше не видел.

— Вы в своем уме? Как вы смеете...

— Еще раз говорю: хлопнут — и концов не найдешь.

Галина Петровна поднялась с табуретки. И молча вышла из избы.

Через два дня она уехала. Вместе с Кузьмой, которого вызвали в район, и следователем. О причине отъезда сказала неопределенно:

— Нужно...— В Баклань больше не вернулась.

9

Из района Кузьма ехал с заданием: срочно, кто не отвез хлеб по продналогу, чтоб вывезли. И поговорить на сходке с крестьянами: может, кто сверх налога раскошелится. Хотя бы помаленьку. Богачей, если не дадут, обыскивать. Спрятанный хлеб считать достоянием государства. Задача нелегкая. Это не то, что собрать ворчливых мужиков на лесозаготовку на семь дней или на строительство школы на день. Это — хлеб. Хлеб есть, но... половина по ямам, половина — семенной, неприкосновенный. В районе строго-настрого предупредили: не махать наганом без дела, убеждать словами. Сознательность крестьян повысилась, этим надо пользоваться. Богачей, зажимающих хлеб, всенародно осуждать.

«Ты сперва найди его, а потом считай достоянием государства»,— невесело думал Кузьма.

Первое, о чем позаботился Кузьма,— чтобы от каждого семейства на сходке присутствовали глава семьи

и старшие сыновья. Баб на собрание не пускать. Некоторый опыт показал ему, что этот народ по части собственности более стойкий, чем мужики.

Собрались в церкви. Можно было собраться в школе (пол в зале настелен, потолок тоже), но у Кузьмы был свой расчет: в сломанную церковь богомольные бабы не пойдут. Не пойдут также и старики. А они-то как раз и не нужны там.

Долго рассаживались, кто на чем — кто прямо на полу, кто притащил из дома табуретку... Расселись. Помялись-помялись, покряхтели и закурили. Некоторые, правда, держались — то и дело выскакивали курить на улицу и очень мешали. Кузьма счел нужным объяснить:

— Раз церковь без креста, значит, курить можно. Это когда на церкви крест, тогда нельзя.

Большинство согласились с ним.

— Нужен хлеб, товарищи,— начал Кузьма, когда расселись и стало немного потише.— Кто по налогу не вывез — это само собой, надо завтра же вывезти. Но надо еще сверх налога — сколько можем.

— Эхма-а! — громко вздохнул кто-то в задних рядах; все засмеялись.

— А сколько надо-то? — спросил Ефим Любавин.

— Я сказал: по справедливости, кто сколько может. Кто больше собрал — больше, кто меньше — поменьше.

— А сеять-то что будем?!

— Семенной хлеб никто у вас брать не собирается.

— А ежели его нету, окромя семенного-то?! — спросили звонко.

Кузьма приподнялся, чтобы увидеть, кто спрашивает.

— Давайте так: кто хочет говорить, подымайте руку. Кто сейчас спрашивал?

— Я спрашивал,— поднялся невысокий мужичок в добротном тулупе.— У меня вот нет никакого хлеба, кроме семян. Налог вывез. А какой был лишний, отвез на базар. Осталось маленько, но самим надо кормиться.

Кузьма молчал. Он видел этого мужичка раза два на строительстве школы и один раз пьяным на улице. Был он, видно, не из богачей и говорил, может быть, правду. Как быть в таком случае, Кузьма не знал. То есть он знал, что в таком случае никак не быть. Нет хлеба — его не нарисуешь. Однако для начала сходки такой разговор был крайне нежелателен.

— Садись,— сказал Кузьма.— Мы еще дойдем до этого. Начнем с тех, у кого хлеб есть.

Кто-то, засмотревшись на стенную роспись, негромко спросил соседа:

— Это Микола-угодник, что ли, с бородкой-то? Не пойму никак.

В тишине это услышали и опять засмеялись.

У Кузьмы неприятно засосало под ложечкой: хлеба, кажется, не будет. Уж больно спокойно они себя чувствуют.

— Любавины! — вызвал Кузьма.— Сколько можете?

Никто не поднялся.

— Кто Любавины-то? — спросил Ефим.— Любавиных теперь много.

— Емельян Спиридоныч.

Емельян Спиридоныч поднялся (он сидел в первом ряду), неторопливо разгладил бороду и только после этого сказал:

— По налогу вывез, а больше — ни зернышка.

— Почему?

— Нету. Мы же разделились. Кондрат ушел — взял, Егорка ушел — тоже взял. Осталось себе.— Емельян Спиридоныч объяснял одному Кузьме — терпеливо, вразумительно.

— Нисколько нету?

— Не.

— А если проверим?

— На здоровье.— Емельян Спиридоныч сел, очень довольный.

— Беспалов!

— Я! — бодро ответил Ефим Беспалов, поднимаясь.

— Сколько можешь?

— Самую малость...

— Сколько?

— Куля два.

Опять захихикали. Кузьма до боли стиснул зубы.

— Садись.

— А куда же он у вас подевался-то, хорошие мои? — не выдержал Сергей Попов.— Уж шибко вы развеселились сегодня, я погляжу!

— Давай, Федорыч, подсоби властям,— съехидничал Ефим Беспалов.— Ты что-то давно не горланил. Прихворнул, я слышал?

— Поискать у них, чего тут лясы точить! — сказал

Сергей Федорыч, обращаясь к Кузьме.— Припрятали, это ж понятно. Я первый пойду к Ефиму Беспалову.

— Милости просим! — откликнулся Ефим.— Угощу, чем бог послал.

— Чем ворота закрывают,— негромко подсказал Ефимов свояк.

— Попробуй,— спокойно сказал Сергей Федорыч и сел, не глядя на Беспаловых.

— Я тоже гляжу, что вам сегодня что-то весело! — заговорил Кузьма.— А зря! Зря веселитесь, мужики. Хлеб нужен рабочим. Им сейчас не до смеха, они голодные сидят. Неужели вам не стыдно? Ведь есть у вас хлеб! И предупреждаю: найдем — не жалуйтесь.— Он обращался в ту сторону, где сидели Любавины, Беспаловы, Холманские — богачи.— С вами, видно, только так надо разговаривать. Простого русского языка вы не понимаете. Всё. Можете расходиться.

Расходились весело, точно на представлении побыли. Шутили... Тут же сговаривались группами человек по пять, соображали насчет самогона — воскресенье было.

Хоть и обозлился Кузьма, но, наблюдая, как расходятся мужики, слушая их разговоры, он понял, что им невыносимо скучно зимой, и ему пришла в голову неожиданная мысль: а что, если закатить какую-нибудь постановку, а в постановке той поддеть богачей — про то, как они хлеб зажимают? На постановку охотно пойдут, а тут уж постараться допечь их.

К Кузьме подошли Сергей Федорыч, Федя Байкалов, Пронька Воронцов.

— Надо искать,— сказал Сергей Федорыч.— Так ничего не выйдет.

— Будем искать,— кивнул Кузьма.— Завтра начнем. Найдем, думаете?

— Черт его...— Федя поскреб в затылке.— Под снегом — это нелегко.

— Потом — даже, наверно, не в деревне прятали,— высказал предположение Пронька.

— А где?

— На пашнях.

— Ладно, попробуем,— Кузьма поймал себя на мысли, что даже сейчас думает про постановку. Представил, с каким недоверием, любопытством и интересом будут собираться на эту постановку. Только, конечно, не в церкви надо, а в школе.

Он пошел в сельсовет и долго сочинял докладную в район. Честно описал сходку и высказал соображения насчет дальнейших своих действий. Искать он, конечно, будет, но едва ли найдет. Середняки могут поделиться и поделятся, но это крохи. Весь хлеб — у богачей и зажиточных, а они его надежно припрятали.

Взял бумажку с собой и пошел домой.

И дома, ночью, думал Кузьма о постановке. Надо, конечно, ее сперва написать... А может, готовые есть?

Он вскочил, оделся и среди ночи поперся к Завьялихе (вспомнил, что Галина Петровна книги оставила здесь).

Завьялиха, привычная к поздним посетителям, скоро открыла ему.

— Я книги возьму, бабушка.

— Возьми, милай, возьми... Я одной тут надысь печку растопила, отсырели дровишки, хоть плачь.

— Ладно, хорошо, что одной хоть. Помоги собрать.

— Да ведь не унесешь один-то? Возьми саночки у меня, только завтра привези их, саночки-то, а то я без их как без рук.

Кузьма сложил книги в мешок, завалил мешок в санки и привез домой.

Почти до света сидел он в горнице на полу, листал книгу за книгой — искал пьесу. Нашел «Ревизора» Гоголя, некоторые коротенькие пьесы Чехова, «Грозу» Островского...

Того, что нужно, не было.

«Придется писать самому»,— решил Кузьма.

10

Три дня ходили Кузьма, Федя, Пронька и еще четыре мужика — искали хлеб по дворам. Искали в конюшнях, в сараях, под полами. Простукивали все стенки, тыкали щупами куда попало — хлеба не было. Заглядывали на всякий случай в закрома, но там ровно столько, сколько нужно для посева и для себя — кормиться до нового урожая.

Из районного центра ответили, что пошлют в Баклань двух товарищей на помощь, но товарищей что-то все не было.

Днем Кузьма искал хлеб, а ночами сидел над пьесой. Хотел было попросить пьеску в районе — наверняка

там что-нибудь такое было,— но постеснялся: подумают, что он тут вместо хлеба шутовством занимается.

Пьеса подвигалась быстро. Сюжет был таков.

Приходят к махровому богачу несколько деревенских активистов:

— Хлеб есть? Рабочим надо помочь.

— Какой хлеб? Вы что! Сам зубы на полку положил. Семенной доедаю.

Активисты уходят, но не все. Один незаметно прячется за дверью. В это время к богачу приходит другой богач — сосед. Начинается такой разговор:

— У тебя были? — спрашивает сосед.

— Только что вышли. А у тебя?

— Были.

— Нашли?

— Как же, найдут черта с два!

Богачи хохочут. Потом садятся за стол и начинают жрать. И ведут разговор в таком духе:

— Пусть там рабочие поголодают. Пусть попрыгают.

— У тебя сколько зарыто?

— Восемь бричек.

— А у меня десять.

— Ты где схоронил?

— На гумне. А ты?

— А я — на пашне, около березки.

Активист, который притаился за дверью, незаметно уходит.

Тут занавес закрывается. Кто-нибудь выйдет и скажет:

— Прошла ночь!

Опять сидит этот богач и пьет с похмелья рассол.

Приходят активисты:

— Ну как? Подумал?

— А чего мне думать-то?

— Может, вспомнишь, где хлеб?

— Нету у меня, чего вы привязались! Я с сыновьями разделился и весь хлеб роздал по паям.

Тогда один активист, главный, говорит:

— Последний раз спрашиваю!

— Пошел ты!..

Главный активист говорит другому:

— Доставай волшебную книгу.

Один из активистов достает таинственную книгу и начинает с ней разговаривать.

— Вот нам интересно бы знать,— спрашивает он,— где этот паразит спрятал хлеб?

Потом прикладывает книжку к уху, некоторое время слушает и заявляет громко:

— Книга сказала: «Этот паразит спрятал хлеб на гумне».

Богач падает в обморок, а активисты, довольные, уходят к его соседу...

Чем дальше подвигалась пьеса, тем больше нравилась Кузьме. Смущали только два обстоятельства: активист, который подслушивает, и волшебная книга. Хотелось, чтобы как-нибудь иначе находили хлеб. Волшебная же книга — это как-то... тоже не то. Но сколько ни мучился Кузьма, не мог ничего другого придумать. Без подслушивания рассыпался сюжет, а книжка... черт с ней, пусть будет. Видно же, что они ее называют волшебной шутя. Поймут небось.

Один раз к Кузьме в горницу вошел Николай.

— Какую ночь уже не спишь, все пишешь?

— А ты чего бродишь?

— Спина разболелась. Ломит — спасу нет. Табак есть?

Кузьма решил поделиться с Николаем своими планами насчет постановки. Он мужик умный, подскажет чего-нибудь.

Николай внимательно слушал, улыбался, смотрел на Кузьму с уважением.

— Здорово! — сказал он.— Голова у тебя работает.

— Получится, думаешь?

— Хрен ее знает. Придумано ловко. Это надо знаешь с кем поговорить? С Ганей Косых. Он у нас на такие штуки дошлый. Поговори.

— Ладно. Значит, поглянулось тебе?

— Просто здорово!

Кузьма был доволен.

На другой день он вызвал в сельсовет Ганю Косых, Федю Байкалова, Проньку, Сергея Федоровича и рассказал о своем замысле. Прочитал с выражением всю пьесу. Всем понравилось. Только один Федя что-то кисло принял произведение Кузьмы.

— Ты чего, Федор?

— Я изображать никого не буду,— сказал Федя.

— И не надо. Не обязательно всем. Ты так поможешь.

— Так можно,— Федя заулыбался.

Стали распределять роли.

Единодушно решили, что богача должен играть Ганя. Ганя покраснел от удовольствия и скромно сказал:

— Можно.

Второго богача решил попробовать изобразить Сергей Федорыч. Кузьма должен играть самого себя — главного активиста. Пронька будет подслушивать. Надо было еще одного, кто бы разговаривал с книжкой...

— Федор...

— Я изображать никого не буду,— уперся Федя.

Думали-думали и вспомнили — Николай Колокольников.

Тут же сидел Елизар Колокольников и обиженно молчал: его почему-то обошли в этом веселом деле. Он скептически морщился и смотрел в окно. Сергей Федорыч показал Кузьме глазами на грустного Елизара.

— Елизар! — спохватился Кузьма.— А ты будешь еще один активист. Активистов может быть сколько угодно. Мы вон по четверо ходим. Согласен?

— Можно,— сказал Елизар.

Тут же, в сельсовете, начали репетировать.

Дело пошло.

Ганя вмиг преобразился: сделался степенным, самодовольным и важным. Стал вдруг гундосить, как Ефим Беспалов. А когда он сказал: «Что вы! Да какой же у меня хлеб? Не-е...» — все засмеялись. Федя Байкалов просто за живот взялся. Ганя все делал серьезно, и от этого было еще смешнее. Он даже разулся, сидел, развалившись, у стола, чесал пяткой худую ляжку свою, сыто икал и ковырял в зубах пальцем. Это было уморительно. Кузьма тоже хохотал, суетился и помаленьку по примеру Гани входил в роль. Когда надо было, он становился строгим и неподкупным. А когда заговорил о рабочих, их женах и детях, которые голодают, то говорил долго — так, что у самого перехватило горло от жалости и горя.

Ганя не сдавался. Он тоже пошел шпарить не по-написанному, а как бог на душу положит: повторял, что у него нет хлеба, вставал на колени и размашисто крестился, клялся такими причудливыми клятвами, что Федя то и дело прыскал в кулак и вытирал слезы на глазах.

Зато, когда дошли до Сергея Федорыча, дело засто-

порилось. Богач из него был неважный. Вернее — артист. Он, например, никак не мог заставить себя искренне хохотать с Ганей.

— Нет, ребята, не выйдет у меня,— сказал он.

Попробовал богача делать Елизар — вышло. И неплохо.

Засиделись до полуночи. Прошли всю пьесу. Решили, что богач в конце должен умереть от разрыва сердца.

— Будем его хоронить! — воскликнул Ганя.— А?

— Давайте,— согласился Кузьма.

— Я буду гробик строить...

— Гробик я могу строить,— сказал Сергей Федорыч.

Но Ганя тут же сымпровизировал эту сцену; сел, по-татарски скрестив ноги, и, стругая воображаемым фуганком, запел тоненьким голоском гнусаво:

Гробики сосновые,
Гробики дубо-овые,—
Строим для люде-ей...

Он, наверно, где-то видел такого плотника — уж больно точно, правдиво у него получалось, у дьявола.

Федя вдруг о чем-то задумался. Долго соображал, глядя на Ганю, потом сказал:

— Как же, Ганя?.. Ты, выходит, самого себя будешь хоронить? Ты же умираешь!

— Ну и что? — небрежно сказал лицедей Ганя.— Приклею бороду, и никто не узнает.— В Гане проснулся ненасытный творческий голод. Он только начинал расходиться.

Не хотелось уходить из сельсовета, хотелось придумывать новые и новые шутки, хохотать, беситься... У всех было такое хорошее настроение! Люди открыли вдруг источник радости.

Как-то так получилось, что и Федя с головой ушел в работу: он был зритель и как зритель судил, что хорошо, что плохо. Его слушались.

— Нет,— орал Федя,— стой! Пусть Ганька тут кукарекнет! Как тогда, помнишь, Ганька?.. когда тебя хоронить носили.

Хором громко обсуждали, нужно тут Гане кукарекать или нет.

Разошлись поздно ночью. Договорились завтра опять

сойтись вечерком и продолжить работу. Постановка обещала быть развеселой и злой.

Но собраться больше не пришлось.

На другой день, рано утром, в Баклань из уезда приехали два товарища (Кузьма видел обоих в городе, но никогда с ними не разговаривал). Оба предъявили Кузьме документы. (Елизара опять не было — пьянствовал.) И сразу спросили: как с хлебом?

Один был небольшой, толстенький, с круглой, полированной головой, с веселыми глазками на круглом лице, другой тоже невысокий, но, видать, жилистый, с крепким подбородком, чернявый.

Пока Кузьма объяснял создавшееся положение, оба внимательно слушали, кивали головами — как будто соглашались, а когда кончил, они переглянулись между собой, и понял Кузьма: не так все расценили. Уяснили только одно — хлеб есть и Кузьма, мальчишка, не сумел его взять.

— Искал?

— Искал. Зимой без толку искать.

— Беседовал с людьми? Рассказывал, для чего нужен хлеб?

— Рассказывал.

— Плохо рассказывал,— резко сказал маленький толстенький.— Как же другие хлеб собирают?

— Не знаю. Попробуйте вы.

— Попробуем. Кстати, что нового известно по делу Горячего?

— Ничего не известно. Обещались же приехать.

— Хорош! — не выдержал другой, с крепким подбородком.— Хлеб есть — нельзя собрать, активиста убили — ничего не делается. Ты кто — Советская власть или...

— Он тут первый парень на деревне,— ввернул толстенький и засмеялся.— Председатель пьет с богачами, а секретарь...

— Ты бы полегче, между прочим,— сказал Кузьма.

— Что полегче?! — Толстенький сразу посерьезнел.— Что полегче!.. Распустил тут!.. В общем — так: ехай в уезд, там скажут, что дальше делать.

Этого Кузьма никак не ожидал.

Вышел он из сельсовета растерянный. Пока шел домой, все спорил про себя с этим толстеньким:

«Я же сам говорил — надо провести настоящее следствие. А в уезде тянули кота за хвост. Теперь я же и виноват!..»

Дома попросил у Николая коня, заложил легкую кошевку и поехал в уездный город.

11

Вернулся Кузьма в Баклань по весне.

Уже отсеялись. Только кое-где еще на пашнях маячили одинокие фигуры крестьян.

Кузьма беспричинно радовался. Спроси его, чему он так уж сильно радуется, он не ответил бы. Радовался просто так — весне, черной, дымящейся паром земле, молодой травке на сухих проталинках, теплому, густому запаху земли...

Каурый иноходец (отныне за ним прикрепленный) шел легко, беспрестанно фыркал и просил повод.

«Вот жизнь...» — думал Кузьма, и дальше не хотелось думать. Голова чуточку кружилась, на душе было прозрачно.

А один раз вдруг пришла некстати мысль: неужели когда-нибудь случится, что все на земле будет так же — дорога петлять в логах, из-за услонов вставать солнце, орать воронье, облетая острые гривы косогоров, — а его, Кузьмы, не будет на земле?

И не поверилось, что когда-нибудь так может быть. Уж очень хорошо на земле, и щемит душу радость...

Под Бакланью, на краю тайги, Кузьма увидел Егора Любавина.

Егор корчевал пни под пашню на будущий год. Кузьма остановился, некоторое время смотрел на него.

Егор подкапывался под пень, подрубал его крепкие коричневые корни и, захлестнув ременными вожжами, выворачивал пенек парой сильных лошадей. И оттаскивал в тайгу.

Дорога проходила рядом с ним. Кузьма не захотел сворачивать.

Когда он подъехал ближе, Егор посмотрел на дорогу и узнал Кузьму. И отвернулся, продолжая делать свое дело.

Кузьма сбавил шаг лошади.

«Надо же, елки зеленые!.. С первым — обязательно с ним».

Он не знал, как вести себя. И, как всегда, решился сразу: поравнявшись с Егором, остановил коня, сказал громко:

— Бог помощь, земляк!

Спрыгнул, пошел к Егору.

Егор выпрямился с топором в руках, прищурился...

Долго не отвечал на приветствие. Потом кинул топор в пень, буркнул:

— Спасибо.

Кузьма остановился. Смотрели друг на друга: один — откровенно зло и насмешливо, другой — с видимым желанием как-нибудь замять неловкость. Кузьма полез в карман за кисетом.

«Зачем мне это надо было?» — мучился он.

— Отпахался?

— Отпахался.— Егор тоже полез за кисетом.

Опять замолчали. Тяжелое это было молчание. Пока закуривали — еще туда-сюда: хоть какое-то дело,— но, когда прикурили, опять стало ужасно неловко. Кузьма готов был провалиться сквозь землю. И уйти сразу тоже тяжело: знал Кузьма, какие глаза будут смотреть ему в спину.

— Ну ладно,— сказал он.— Пока.— И хотел уйти.

— Опять к нам? — спросил Егор.

Кузьму этот вопрос удивил:

— А куда же?

— Так у нас же Елизарка теперь секретарит,— Егор улыбнулся. Кузьма сразу успокоился.

— Ничего.— Сплюнул по-мальчишески, через зубы, посмотрел на Егора.— Мне тоже дело найдется.

— Это конечно. Это же не пахать, а готовый искать.

— Надо будет — будем и пахать. Не ваше поганое дело.— Кузьма с виду был спокоен.

— Чего это ты поганиться начал?

— За Яшу Горячего ты все равно ответишь,— продолжал Кузьма.— Я для того и еду сюда.

Егор не изменился в лице, не посмотрел в сторону. Только еще больше прищурился.

— Смелый ты — на теплый назём с кинжалом.

— Хм...— Кузьма не нашелся сразу, что ответить, некоторое время смотрел прямо в глаза Егору.— Не знаю, где ты бываешь смелый, но хвост теперь подожмешь! И братьям передай это, и папаше своему лохматому...

Кузьма подошел к коню, вдел ногу в стремя.

— Все понял?

— Ехай,— негромко сказал Егор.

Кузьма легко кинул тело в седло, тронул каурого. Отъехал немного, оглянулся...

Егор стоял не двигаясь, смотрел ему вслед.

Клавдя одна была дома.

Увидев Кузьму, она как-то странно посмотрела на него и села на кровать.

— Приехал, долгожданный.— Голос чужой, злой. Глаза тоже чужие и сердитые.

Кузьма опешил:

— Ты чего?

— Ничего.— Клавдя легла на подушку и заплакала. Кузьма подошел к ней.

— Ну чего орешь-то? Клавдя?!

— Уехал... пропал... Тут все глаза просмеяли...— сквозь слезы выговаривала Клавдя.— Уехал — так уж совсем бы не приезжал, на кой ты мне черт нужен такой...

Кузьма обозлился, сбросил с себя шинель, фуражку, заходил по избе.

— Ты гляди что!.. Что же, мне отъехать никуда нельзя теперь?

Ребенок в зыбке проснулся и заплакал. Кузьма подошел к дочери, развернул одеяльце, взял ее на руки.

— Здорово, Машенька ты моя! Чего эт вы в слезы-то ударились? Машенька... Маша, Марусенька...— Ребенок не унимался. Клавдя тоже рыдала на подушке.— Да ты-то хоть перестань!— закричал Кузьма на жену.— Что ты, сдурела, на самом деле?!

Клавдя поднялась, взяла ребенка, и он сразу затих.

— Доченька, милая, миленочек ты мой родной...— приговаривала Клавдя, а у самой еще текли слезы.

У Кузьмы от жалости шевельнулось под сердцем. Подошел к жене, неловко обнял ее вместе с дочерью.

— Ну? Вот дуреха-то!.. Ну уехал. На курсах был. Я теперь милиционером здесь на законном основании. Чего же плакать-то? — То ли жалость, то ли жалость и любовь вместе вконец овладели Кузьмой. Он сам готов был заплакать. На какой-то миг он поверил, что осиротил дочь, вернее — представил себе, что было бы, если бы так случилось. Крошечное родное существо, брошен-

ное им на произвол судьбы... Ему стало не по себе.— Милые вы мои...

— Не мог уж два слова домой написать! Уехал — как сгинул... От людей не знаешь куда деваться...

— Ладно, ладно! — Кузьма гладил жену по голове и совсем не думал о ней. Думал о дочери, которая осталась бы без отца. Представил, как бы она плакала.— Ну как вы здесь?

— «Как»?.. Ни стыда, ни совести у человека...

— Да хватит, слушай,— обозлился Кузьма.— Ну чего ты взъелась — не остановишься никак! Ну, уехал! И приехал. Собери поесть чего-нибудь.

Кузьма присел на скамейку, закурил.

«Не люблю я ее, вот в чем дело,— неожиданно подумал он.— Не привязанный, а будешь теперь визжать».

— Как новый председатель?

— Откуда я знаю — как?

— Хлеб искал?

— У Беспаловых нашли. У Холманских тоже...

— Много?

— Не знаю. Говорили — нашли, а сколько — не знаю. У тебя один хлеб только на уме! — Клавде не хотелось так просто сдаваться.

Кузьма промолчал на этот ее упрек.

— А где нашли? У Беспаловых-то?

— В простенке между амбаром и конюшней, отец сказывал. Насовсем хоть приехал-то?

— Ну.

Наскоро перекусив, Кузьма засобирался в сельсовет.

— Побудь хоть немного дома-то.

— Побуду еще. Я же приехал.

— Сейчас-то побудь. Ведь от людей стыдно: не успел забежать...

— Я приду скоро! — повысил голос Кузьма.

— Сгорел бы он синим огнем, сельсовет твой проклятый!

Кузьма выскочил из избы.

«Эх, елки зеленые!..» — горько подумал он. Настроение вконец было испорчено.

В сельсовете сидел Елизар Колокольников, раздобревший, улыбчивый. Сидел, развалившись за столом, как хозяин.

Поздоровались.

Кузьма подошел ближе и почувствовал, что от Елизара несет перегаром.

— С приездом! — Елизар широко улыбнулся.

— Ты пьяный, что ли? — спросил Кузьма.

— По какому делу к нам?

— Новый председатель тоже пьет?

Елизар враз посерьезнел.

— Мы на вопросы... разных людей не отвечаем.

— Где председатель? — строго спросил Кузьма.

— Поехал в район,— поспешил с ответом Елизар, но потом вдруг озверел: — Ты не ори на меня! — Он стал подниматься.— Ты кто?! Документы! А то я те счас...

Кузьма толкнул его в грудь. Елизар грузно плюхнулся на лавку и навел на Кузьму свирепые мутные глаза.

— Ты что... длинноногий?.. Тебя поперли раз — мало? Еще надо?! — Елизар стукнул кулаком по столу.— Сма-атри у меня!

— Сиди.

Елизар не присмирел, как ожидал Кузьма, а снова медленно стал подниматься.

— Сядь!

Елизар, не сводя с него пьяных глаз, зашарил правой рукой по кромке стола, отыскивая скобочку выдвижного ящика.

Кузьма дал ему выдвинуть ящик. И только когда тот начал лапать по ящику, отыскивая что-то среди бумаг, Кузьма, резко перегнувшись через стол, взял из ящика наган и пошел из сельсовета, не оглянувшись на Елизара.

«Ну, дела!.. Тьфу, черт!» — Кузьму коробило от неприятных чувств. На душе было погано.

Весь день сегодня какой-то — через пень колоду. То с Егором стычка, то Клавдины слезы при встрече, то этот дурак с наганом... Надо было что-то придумать, куда-то девать себя, унять как-то взлохмаченные чувства. И пришла желанная и властная мысль — Марья. Захотелось увидеть ее, услышать голос... И уж ноги сами собой свернули в переулок и зашагали под горку, к береговой улице, где жил Любавин Егор... И вспомнился опять сам Егор, утренняя встреча с ним.

Кузьма остановился.

«Егор — враг, враг сильный и жестокий». Кузьма ехал в Баклань с неуклонной и ясной целью: уничто-

жить врага. Марья все усложняла. Он понимал, что, преследуя Егора, будет больно бить Марью. Будет бить Марью, будет тяжело и больно бить себя. Так, очевидно, и произойдет. И тем сильнее захотелось увидеть ее теперь.

...Марья, ничего не понимая, долго смотрела на него.

— Здорово! — повторил Кузьма, невольно улыбаясь.

— Опять с Егором что? — спросила она, так и не поздоровавшись,— перепугалась, увидев Кузьму в милицейской форме.

— Что с Егором? — Кузьму несколько насторожил этот вопрос.— Ничего с твоим Егором не случилось, корчует пни.

— Ну?..

— Что?

— Зачем пришел-то?

— Так. В гости.

— Господи! — Марья села на лавку.— Ты сдурел, что ли?

— Почему?

— Он еще спрашивает! А зайдет кто?.. Егор приедет?

— Ну и что?

— Нет, Кузьма, уходи.— Марья решительно поднялась.— Уходи, Кузьма.

— Да погоди ты! Что ты, как эта... Что я тебе сделаю-то? Посижу и уйду.

Марья неохотно покорилась. Задернула занавески на окнах и стояла посреди избы, одолеваемая противоречивыми чувствами.

Кузьма снял фуражку, шинель, сел к столу, огляделся.

— Как сын? — Привстал, заглянул в зыбку.

— Растет, что ему... Ты где был-то?

— На курсах. Милицейское дело проходил.— Кузьма как будто впервые посмотрел на Марью. Она пополнела за это время. Налилась здоровой, разящей силой. Только глаза все те же — ласковые, умные и добрые.

«Так и будет всю жизнь мучить меня»,— подумал он.

В окна било лучами заходящее солнце. Красноватый мягкий сумрак заполнял избу.

— Смешной ты, Кузьма. Жену-то видел?

— Видел. А что?

— Тут уж подумали, что совсем уехал.

— Ты тоже так подумала?

— А мне-то чего думать? — Марья зажгла лампу.

— Да, конечно...— голос Кузьмы дрогнул. Подумалось: «А что, если бы она опять пришла за Егора просить? Отпустил или не отпустил бы? — И решил: — Нет, не отпустил бы».

Марья тряхнула головой, запрокинула назад полные, крепкие руки, поправила волосы.

— Ой, Кузьма, Кузьма...

Он встал с лавки, хотел подойти к ней.

— Кузьма! — Марья сделала строгие глаза.

Он сел.

— Ты что? Ты в своем уме?.. У нас дети у обоих.

— Эх, Маша... что-то не так у меня в жизни.— Кузьма, запустив пятерню в волосы, несколько минут сидел неподвижно, смотрел в пол.

Неподдельная скорбь его тронула Марью, она подошла к нему, положила на плечо руку.

— Чего мучаешься-то?

— Не люблю Клавдю. Что я сделаю?.. Разве можно так? Домой идти — хуже смерти. Нельзя так! А дочь люблю до слез. И тебя люблю.

Марья осторожно убрала руку. Кузьма поднял голову — в глазах стояло горе. Марья погладила его по голове.

— Головушка ты моя бедная... Опять мне тебя жалко, Кузьма. Ну как же ты так? Ведь Клавдя-то хорошая вон какая... Ждала тебя...

— Да... Хорошая, конечно. Может, я плохой.

— Зачем же ты женился, раз не по сердцу она тебе?

— Откуда я знал?.. У тебя есть выпить?

— Напьешься ведь?

— Нет, выпью немного,— может, лучше станет.

Марья колебалась: и хотелось дать Кузьме выпить,— может, действительно легче ему станет,— и боялась.

— Слабенький ты, Кузьма, опьянеешь... Иди домой.

— Что ты все время меня — слабенький, слабенький!.. Какой я слабенький?

Марья негромко засмеялась и полезла под пол.

Кузьма сидел у стола и думал так: заложить бы сейчас коня, взять Марью с сыном, маленькую Машу и уехать куда глаза глядят. «Небось место на земле найдется».

Марья подала ему из-под пола четверть с самогоном:

— Подержи-ка.

Он поставил четверть на лавку, помог Марье вылезти.

— Что мы делаем, Кузьма?

— А ничего.— Кузьма полез в угловой шкаф за посудой.— Стаканы где у тебя?

— Там. Подожди, я сама достану. Садись уж и сиди. Не миновать нам беды, Кузьма, сердце чует.

— Ничего! — Кузьма размашисто прошелся по избе, сел к столу.

— Клавдя-то не будет тебя искать?

— Нет, не будет.— Однако пугливое счастье его поджало хвост, мимолетно подумалось: «Что же все-таки будет сегодня?»— Давай не говорить об этом, Марья.

— О чем?

— О Клавде, о муже твоем...

Кузьма налил себе стакан, Марье — поменьше. Взял свой, посмотрел на Марью... Не думал он, что так кончится его день. А может, он еще не кончился?

— Ну?..

— Давай,— Марья тоже подняла стакан.

В этот момент взыкнула уличная дверь, простучали в сенях чьи-то сапоги. Кто-то остановился перед дверью в избу и искал рукой скобу — в сенях темно было...

Кузьма похолодел. В ушах зазвенело.

Дверь распахнулась... Вошел Елизар Колокольников. Остановился у порога.

— Здорово живете,— сказал он. Кузьме показалось, что Елизар усмехнулся.

— Здорово, Елизар,— откликнулась Марья тихо.

Кузьма насилу проглотил комок, распиравший горло.

— Ты чего?

— Кузьма Николаевич...— Елизар прошел на середину избы, он был уже трезв.— Отдай мне его. А то я не знаю... Отдай, Кузьма.

Кузьма не сразу понял, что речь идет о нагане, который он взял у Елизара из стола. И вместо страха — так же быстро — вскипела в нем острая злость. Он достал наган, разрядил, ссыпал патроны в карман, бросил его Елизару.

— Иди отсюда.

Елизар взмахнул руками — хотел поймать... Наган

с коротким стуком упал на пол и закатился под кровать. Елизар торопливо наклонился и полез туда. Долго кряхтел, даже простонал два раза... искал.

Кузьма усилием воли сдерживал себя на месте; подмывало вскочить и броситься на Елизара.

Марья сидела в той же позе, в какой застал ее Елизар, только поставила стакан.

Елизар нашел наконец наган, поднялся. Посмотрел на Кузьму, на Марью, на стол... На этот раз он действительно усмехнулся.

— Вот, Кузьма Николаевич... А то мало ли чего...— сказал он и пошел к двери.— Приятно вам посидеть.

Хлопнула дверь, опять тяжело простучали по доскам тяжелые сапоги, пропела сеничная дверь, звякнул цепок... Шаги по земле... Потом слабо взвизгнули воротца, и шаги удалились по дороге. Стало тихо.

Все это походило на бредовый сон.

Кузьма посмотрел на Марью. Она тоже смотрела на него.

— Пропали, Кузьма,— одними губами сказала она.

Кузьма вскочил и бросился догонять Елизара.

На улице было темно.

Кузьма огляделся. Наклонился, увидел силуэт Елизара. Тот ушел уже далеко. Кузьма кинулся за ним.

Елизар — слышно было — остановился, потом тоже побежал, не оглядываясь. Черт его знает, чего он испугался, о чем подумал...

— Догнал его Кузьма только около сельсовета.

— Тебе чего надо?! — заорал Елизар.— Эй, люди!!

— Не ори. Пойдем в сельсовет.

— Тебе чего от меня надо? — Елизар с перепугу обнаглел.

Кузьма вытащил наган, и Елизар затих.

— Пойдем в сельсовет.

Пока подымались на крыльцо, молчали.

В сельсовете разговаривали впотьмах, стоя.

— Как ты узнал, что я... там?

— Жена твоя сказала, Клашка.

— А она как узнала?

— Это уж я не знаю. Это вы сами разбирайтесь.

— Ладно... Теперь так: если ты хоть кому-нибудь скажешь, что нашел меня... там, то вот, Елизар,— Кузьма поднес ему под нос наган,— клянусь чем хочешь — убью.

— А какое мне дело до вас? Сами накобелили — сами и разбирайтесь. И нечего тут угрожать. За угрозы тоже можно ответить.

— Елизар, прошу тебя по-человечески — молчи.

— А то «убью»!.. Ишь ты! Молод еще! Еще сопляк! — Елизар опять осмелел.

— Елизар, еще раз тебе говорю... Я не угрожаю, я тебя на самом деле пристрелю, если скажешь. Не говори никому. Ведь разнесут, чего сроду не было, — что́ у ней за жизнь пойдет! Не за себя прошу, Елизар. Пожалей бабу. Не говори, Елизар. Это я виноват — зашел просто... Просто так зашел — и все.

— Я сказал: не мое это дело, — голос Елизара несколько потеплел. — И нечего меня просить. Отдай патроны.

— Завтра отдам, утром. Честное слово, отдам. Сейчас не могу. Ладно?

— Ладно.

— Дай руку. — Кузьма брезгливо пожал широкую потную ладонь Елизара и пошел из сельсовета.

«Скажет или не скажет? — мучился он, шлепая впотьмах прямо по лывам. — Если скажет, будет горе. Откуда Клавдя-то узнала, что я там? Видел кто-нибудь?..»

Огня у Марьи не было.

Кузьма взошел на крыльцо, споткнулся обо что-то, вздрогнул. Наклонился — лежит его шинель, рядом фуражка. Постучался. Никто не вышел. Изба мертвая. Еще постучал — ни звука, ни шороха в избе. Кузьма постоял немного, оделся и пошел домой. Шел и мычал от горькой обиды и отчаяния. Вспомнил, как он весь день сегодня то ругался с кем-нибудь, то бегал, как дурак, по деревне за другим дураком, то злился, то радовался трусливо... Но все бы ничего, если бы все кончилось. Еще впереди — Клавдя, Егор и, наверно, вся деревня. Страшно было за Марью. Страшно подумать, что с ней будет, если Елизар или Клавдя разнесут по деревне грязный слух.

Дома горел огонь.

Кузьма толкнулся в дверь — заперто. Постучался. Избная дверь хлопнула, кто-то постоял в сенях... Потом скрипучий голос тещи спросил:

— Кто там?

— Я, — ответил Кузьма.

Дверь закрылась. Прошло несколько минут. Кузьма понимал, что против него что-то затевается, но не мог сообразить — что. Стоял ждал.

Наконец дверь снова открылась. Шаркающие босые шажки по сеням, долгая возня с засовом... Кузьма хотел войти, но его оттолкнули, выставили на крыльцо старый сундучишко, с которым они с Платонычем приехали сюда, и дверь снова захлопнулась, и только после этого голос тещи ласково сказал:

— Иди, милый, откуда пришел.

Агафья развернулась по всем правилам древней российской тактики наставления зятьев на путь праведный. Кузьме даже как-то легче стало. Он сел на приступки крыльца, задумался.

Значит, так: есть в деревне три человека, от которых сейчас зависит судьба Марьи. Как сделать, чтобы эти три человека — Елизар, Клавдя, Агафья — набрались терпения и промолчали? Просить — бесполезно, пугать — глупо. Что делать? Хоть бы посоветоваться с кем. Николая, наверно, нет дома, иначе он вышел бы к нему. Как ни стыдно перед Николаем, а надо было посоветоваться с ним.

Так думал Кузьма, когда услышал, как около прясла Колокольниковых протарахтела телега и остановилась у ворот. Кто-то спрыгнул на землю, что-то начали двигать по телеге, негромко переговаривались — двое. Торопились. Кузьма затаился. Пригляделся и узнал Николая. Николай нес в руках что-то квадратное, похоже — ящик. Спустился в погреб, заволок туда свою ношу, вылез и побежал обратно. Опять приглушенный торопливый разговор, хихиканье... Телега затарахтела дальше, а Николай опять побежал к погребу и опять с ящиком. Заволок и этот ящик, закрыл погреб, высморкался и пошел к дому. Кузьма поднялся навстречу, Николай испуганно вскинул голову, остановился.

— Кузьма, что ли?

— Я. Здравствуй.

— Испугал ты меня... тьфу! Аж в поясницу кольнуло. Ты чего тут?

— Так... Воздухом свежим дышу.

Николай сел на приступку, снял фуражку, вытер потный лоб.

— Ночь хорошая,— сказал он. Он растерялся от такой нежданной встречи и не знал, что говорить.

— Хорошая,— согласился Кузьма. Его подмывало узнать, что такое Николай прятал в погреб.

— Ты когда приехал-то? — спросил Николай.

— Сегодня.

— Мгм... Табак есть? Я намочил свой...

Кузьма подал кисет.

— Что это вы? Прятали, что ли, чего?

— Кто? Мы-то? Да тут...— Николай совсем смутился, ожесточенно высморкался и решил открыться: — Тут, понимаешь, плотишко один на реке растрепало. Об камни на быстрине шваркнуло, и поплыло все. А мы как раз там сети ставили. Ну, переловили их кое-как, сплавщиков-то. Смеху было! Они переполохались, орут... А сейчас самогонки им принесли, греются.

— А что на плоту было?

— Масло.

— Это ты масло в погреб-то прятал?

— Масло. Прихватил на всякий случай пару ящиков, пригодится.— Николай раскурил папироску и небрежно сплюнул.

— А много ящиков было?

— Двадцать, говорят. Мы штук двенадцать поймали. Мужики ниже поплыли — за остальными, но, думаю, не найдут — темно.

У Кузьмы шевельнулось подозрение: уж не ограбили ли они тот плот?— но тут же пропало: слишком мирно настроен Николай.

— Николай...

— Чего?

— Придется отдать эти ящики.

Николай долго молчал. Попыхивал папироской, освещая при каждой затяжке кончик покрасневшего от холода носа.

— С какой стати отдавать-то? — спросил он спокойно.

— С такой, что они государственные.

— Так их же унесло! Они же все равно для государства потерянные.

— Ничего подобного. Их бы все равно собрали — не сегодня, так завтра. А за то, что вы их поймали, вам спасибо скажут.

— Вон как!— Николай начал злиться.— Умно́ говоришь, нечего сказать!

— Ничего не сделаешь, Николай. И потом... надо же

все-таки стыд иметь: у людей несчастье, а вы обрадовались. С них же спросят, со сплавщиков-то.

— Никто не радовался, чего зря вякать. Наоборот, помогли людям. В общем, я не отдам. Я думал, ты почеловечески разберешься — рассказал, а выходит — зря. Помешают они нам, эти ящики?

— Отдашь, Николай.

Долго молчали. Николай глубоко затягивался вонючим самосадом, сердито сплевывал и сопел. Кузьма щелкал ногтем по голенищу сапога.

— Ты кто сейчас будешь-то? — спросил Николай.

— Милиционер. Так что это... кхм... с маслом-то — отдать надо, Николай.

— Мы уж потеряли тебя.

— Я на курсах был.

Еще помолчали.

— Я-то — отдам, а вот другие... здо́рово сомневаюсь.

— Не сомневайся, отдадут. Кто там еще был?

— Беспаловы ребята... четыре ящика хапнули, паразиты. Сергей Попов... Этому я бы по бедности его великой оставил. Ребятишек хоть накормит. Он тоже два взял. Малюгин Игнашка, Николай Куксин с сыном три взяли. Эх, Кузьма!.. А я уж гульнуть собрался. Думаю: продам один ящичек в городе — хоть шикану разок. Не даешь ты мне душу отвести.

Кузьме стало жалко тестя.

— Все равно бы их у вас взяли. Не я — так другие. Из города бы приехали.

— Эт пока они там приедут, у нас уж все масло растает.

Кузьма промолчал.

— Давай так: один ящик я отдаю...

— Нет, Николай.

— Тьфу! — Николай поднялся, затоптал окурок. — Нехозяйственный ты мужик, Кузьма. Трудно тебе жить будет.

— Николай...

— Ну.

— Дело вот в чем: меня из дома выгнали.— Кузьма заговорил торопливо, опасаясь, что не доскажет всего.— А выгнали за то, что я зашел давеча к Любавиной Марье... Ну, кто-то увидел и передал. Я и зашел-то случайно...

Николая это известие развеселило.

— Вон как!— воскликнул он, толкнул запертую дверь и вернулся к Кузьме.— Так. Ну-ка дай еще закурить. Так ты, значит, хэх! Ты поэтому и кукуешь тут сидишь?

— Ну да.

— Понятно. Клюкой не попало?

— Нет.

— Мне клюкой попадало. Один раз погулял, значится, в Обрезцовке с кралей,— ну, донесли, конечно. Являюсь — подарок купил дуре такой,— она меня р-раз по спине клюкой, у меня аж в глазах засветилось. Чуть не убил ее тогда. Подарок пропил, конечно. Ты к Марьето в самом деле случайно?

— Конечно. Никаких у меня мыслей... таких не было.

— М-да-а... У нас так. Вообще-то с Любавиными лучше не связываться.

— Я и не связываюсь.

— У нас так, Кузьма. Придется на сеновале переспать: сегодня с ними не столковаться. Я сейчас тулуп вынесу — ночуешь как барин.

— Я к Федору пойду переночую.

— Не ходи. У Феди Хавронья — ботало, завтра вся деревня знать будет.

«Верно ведь!»— подумал Кузьма.

— У меня тулуп хороший, не замерзнешь. А главное — не тоскуй. Бабы — они все такие.

— Да я не тоскую.— Кузьме действительно сделалось легче. Все-таки золотой человек этот Николай.— Стыдно только.

— Стыд не дым, глаза не ест. Сейчас вынесу тулуп.

— Спасибо.

Николай постучался. Тотчас — словно этого стука ждали — из сеней спросили.

— Кто там?— спрашивала Агафья.

— Я,— откликнулся Николай.

— Ты один?

— Нет, с кралей,— сострил Николай.

Агафья открыла дверь. Николай вошел в избу. Не было его довольно долго. Потом он вышел в тулупе внакидку, сказал негромко:

— На. Там, значит, такие дела: одна ревет, другая вся зеленая сделалась от злости. Иди. Завтра будем както-нибудь подступаться.

Кузьма взял тулуп и пошел к сеновалу.

Ночь была темная, холодная. Высоко в небе зябко дрожали крупные, яркие звезды. Тишина. Ни одного огонька нигде, ни шороха, ни скрипа. Только, если хорошо вслушаться, можно уловить далекий ровный шум реки.

Кузьма выгреб в сухом сене удобную ямку, лег, накрылся тулупом, вытянулся. Он устал за день, издергался. Сейчас было тошно.

Самые разные мысли ворошились в голове, и не было сил прогнать их. Думалось о Марье, о Николае, о Клавде, о дочери своей, о Яше, опять о Марье... О Марье думалось все время.

«Лежит теперь Марья, мучается, милая. Родная ты, родная, добрая...

Вот тебе и любовь, елки зеленые!.. Одно мучение».

Из края в край по селу прокатился петушиный крик. Потом опять стало тихо. Только далеко-далеко, на другом конце деревни, шумит река, да в углу двора хрустит овсом лошадь, да жует свою бесконечную жвачку и глубоко вздыхает сонная корова.

Вдруг сеничная дверь тягуче скрипнула, и чьи-то шаги едва слышно зашуршали по земле. Кузьма приподнялся, высунул голову в пролом крыши. Сперва ничего нельзя было разобрать, потом различилась высокая мужская фигура — Николая. Николай прокрался к погребу, неслышно открыл крышку, спустился, вытащил ящик с маслом и понес к бане.

«Перепрятать хочет,— понял Кузьма. — Весь измучился сегодня с этим маслом, бедный».

Николай перетащил оба ящика в баню, так же тихо,— он даже, кажется, разулся, чтобы не шуметь,— ушел в избу. Он бы так и остался неуслышанным, если бы не проклятая дверь: оба раза она предательски певуче пропела. Николай, наверно, всю изматерил ее.

«Завтра скажет, что масло украли. Надо как-нибудь нечаянно наткнуться на эти ящики»,— решил Кузьма, устраиваясь под теплым тулупом Николая. Он только сейчас, когда смотрел через пролом в крыше, вспомнил, что на этом самом сеновале они были с Клавдей год тому назад, и пролом в крыше все такой же. Только тогда через него была видна ярко-красная, праздничная заря, а сейчас — холодное небо и звезды.

«Год прошел, елки зеленые...»

12

Елизар Колокольников, конечно, не утерпел.

Получив наган, он тут же забыл свои обещания, выждал, когда еще больше стемнеет, и прямехонько направился к старику Любавину. Емельяна Спиридоныча дома не было, он остался ночевать у Кондрата. Елизар постоял, подумал и пошагал к Кондрату. Шел и напевал песенку про Хаз-Булата — у него было хорошее настроение.

У Феклы в избе горел небольшой огонек. Занавески на окнах спущены, а на окно, выходящее на дорогу, навешана шаль.

«Что-то делают»,— подумал Елизар и тихонечко перелез через прясло — решил подглядеть на всякий случай. Перелез, сделал два шага и остановился: вспомнил про знаменитых любавинских волкодавов. Он не знал, взял себе Кондрат одного кобеля, когда делился с отцом, или нет. Если взял, тогда не стоило подходить к окну: кобели у Любавиных такие, что впустить он тебя впустит, гад, а когда выходить начнешь, тут он кидается. Послушал-послушал Елизар — вроде тихо. Значит, не взял себе Кондрат собаку. Осторожненько подошел к окну, заглянул под занавеску и видит: Фекла стоит в кухне, оперлась могучей грудью на ухват. На ее и без того красном лице играет красный свет пламени из печки. На полу, на лавке, на столе — всюду крынки, миски, туески. «Что за хреновина?»— удивился Елизар.

За столом сидят Кондрат и Емельян Спиридоныч. Кондрат сидит ближе к окну, загородил своей широкой спинищей все, что есть на столе. Но, судя по всему, а главное — по выражению лица Емельяна Спиридоныча, пьют. Пьют и о чем-то беседуют. Фекла прислушивается к ним, время от времени улыбается.

Елизар долго смотрел на эту немую странную картину, но так ничего и не понял.

«Не то масло топят, не то сало»,— решил он. Ему показалось уютно в избе, тепло, чистенько. А главное — на столе прозрачная, как ручеек, водочка. Булькает она, милая, из горлышка — буль-буль-буль... От одного вида под сердцем теплеет. Сидят за столом два умных мужика, с которыми можно про жизнь поговорить, пожаловаться можно, можно нахмурить лоб и сказать, между прочим:

«Я еще про это не слыхал. Узнаю».

Или:

«Вчерась указание прислали...»

И два умных мужика будут слушать. А это ведь не просто — когда тебя слушают.

Елизар так размечтался, что забыл даже, зачем пришел сюда, а когда вспомнил, то обрадовался. И пошел от окна. И тут ему на спину прыгнул кто-то живой и тяжелый... Елизар заорал раньше, чем сообразил, что это собака.

— Мельян! Кондрат!..— дурным голосом закричал он, закрывая от собаки лицо.

Кобель норовил вцепиться в горло. Елизар пинал его ногами и орал:

— Мельян! Кондрат!

Из избы выбежали, оттащили пса. Емельян Спиридоныч держал его, а Кондрат взял Елизара за грудки. Негромко, нисколько не угрожая, спросил:

— Ты что тут, сука, подсматриваешь?

— Кондрат, я это! — взмолился Елизар. — Елизар. Не подсматривал я... С важными вестями к вам... хотел в окно постучать, а он налетел, гад полосатый. Пусти ты меня!..

Кондрат отпустил Елизара.

— С какими вестями? — спросил встревоженный Емельян.

— С такими... Наплодили зверей каких-то. Еще немного — и я бы его стукнул здесь.— Елизару было совестно за свой заполошный крик.

— Я б тебя тогда самого на цепь посадил заместо кобеля,— сказал Кондрат.— И лаять заставил.

— Посадишь... Бабку мою Василису посади, она еще резвая. Герой мне, понимаешь...

— Посторонись, Кондрат, я на него Верного спущу,— серьезно сказал Емельян Спиридоныч.

— Э-э! — вскрикнул Елизар. — Пошли, в избе новость скажу.

— Здесь рассказывай.

— Здесь не буду. Нельзя.

— Подожди тут.— Емельян Спиридоныч повел собаку, а Кондрат один зашел в избу.

Когда в избу вошли Елизар с Емельяном Спиридонычем, крынок и туесков на лавках уже не было. Устье печи прикрыто заслонкой.

Фекла встретила незваного гостя настороженным, злым взглядом; удивительно быстро она сделалась Любавиной.

— Раздевайся, проходи, — как ни в чем не бывало пригласил Кондрат Елизара.

Елизар быстренько скинул полушубишко, потер ладони, крякнул.

— Ночи холодные стоят!

— Садись погрейся.

— О-о! Да у вас тут... так сказать...

— Сапоги-то вытри,— сказала Фекла.

Елизар обшмыгнул сапоги о мешковину и устремился к столу.

Емельян Спиридоныч налил ему:

— Держи.

— А себе-то чего же?

Емельян Спиридоныч мельком глянул на сына, налил себе и ему по половинке стакана.

Елизар повеселел, оглянулся на Феклу.

— А я думал, ты блины печешь. Чего, думаю, так поздно?

Фекла подарила его таким взглядом, что Елизар быстро отвернулся и больше не оглядывался.

Выпили.

— Ух-ха!— Елизар для приличия закрутил головой.— Не пошла, окаянная.

Фекла фыркнула в кути:

— У тебя не пойдет!

Кондрат и Емельян Спиридоныч выпили молчком.

Долго все трое хрустели огурцами, рвали зубами холодную розоватую ветчину, блаженно сопели.

— Какая новость?— не выдержал Емельян Спиридоныч.

Елизар смело потянулся к бутылке — хотел налить себе, но Кондрат отодвинул бутылку локтем и уставился на Елизара неподвижным, требовательным взглядом. Елизар сказал резковато:

— Фекла, выдь!

— Куда это?— Фекла строго посмотрела на Елизара, потом вопросительно — на мужа.

— Ну, выйди,— нехотя сказал Кондрат.— Нам поговорить надо.

Фекла послушно накинула шубейку, взяла ведра и вышла из избы.

— Какая новость?

— Новость-то... — Елизар не торопился.— Табачишко есть у кого-нибудь?

Емельян Спиридоныч налил ему полстакана водки, сунул в руку.

— Пей и рассказывай. Выкобенивается сидит тут...

Елизар выпил, громко крякнул, вытащил кисет и стал закуривать.

Емельян Спиридоныч как-то обиженно прищурился и подвинулся к Елизару.

— Значит, так,— торопливо заговорил тот,— жена Егорки вашего, Манька, спуталась с этим, с длинноногим, с Кузьмой. Он сёдня приехал — прямо к ней.

У отца и сына Любавиных вытянулись лица. Смотрели на Елизара, ждали. А ждать нечего — все сказано. Только всегда в таких случаях чего-то ещё ждут, каких-то еще совсем незначительных, совсем ничтожных подробностей, от которых картина становится полной. Елизар продолжал:

— Я, значит, по одному делу забежал к нему домой, к Кузьме-то, а мне Клашка наша и говорит: «А он,— говорит, — у Маньки сидит». — «Как у Маньки?» — «А так»,— сама в слезы. Я — к Маньке: как-никак она мне племянницей доводится, Клашка-то. Жалко. Плачет... Захожу к Маньке — он там. Выпивают сидят. Я и говорю ему: «У тебя совесть-то есть, Кузьма, или ты ее всю загнал по дешевке?» Он на меня с наганом... Там было дело.

— Давно это?— осевшим голосом спросил Кондрат.

— Ну, как давно? Нет, только стемнело.

— А сейчас он там?— спросил Емельян.

— Там, наверно.

— Кондрат, сходи. Ничего пока не делай, только узнай.— Емельян Спиридоныч встал, снова сел, запустил лапы в лохматую волосню и страшно выругался.

Кондрат в две секунды оделся, вышел, ничего не сказав.

Емельян Спиридоныч сидел, опустив голову на руки, молчал.

Елизар осторожненько протянул руку к бутылке, стараясь не булькать, налил полный стакан...

Емельян Спиридоныч поднял голову. Елизар вздрогнул.

— Налей мне тоже,— сказал Емельян.

Выпили. Закурили.

— Он кем теперь? Опять в сельсовете, а тебя куда?

— Да нет, он милиционером.

— Во-он што!..— Емельян Спиридоныч качнул головой.— Са-абаки! Не мытьем — так катаньем...

Елизар сочувственно вздохнул. Помолчали.

— А ведь говорил Егорке, подлецу: «Не бери вшивоту Попову, не бери»,— нет, взял. Ну во-от... Он ей подарил чего-нибудь, она и ослабла, сука.

— Без подарков не обошлось, конечно,— поддакнул Елизар. То состояние, о котором он думал и которого хотел себе, заглядывая в окно, наступило.— А я даже так думаю: сын-то у ее от Егора?

Емельян, застигнутый врасплох этим вопросом, некоторое время тупо смотрел в стол, потом шаркнул ладонью по лицу, отвернулся и сказал громко:

— Откуда я знаю? Что я ее, за ноги держал, гадину? — Это было горе, которого Емельян Спиридоныч сроду не чаял. — Ростишь их... кхэ! — Емельян Спиридоныч остервенело высморкался, вытер глаза.— Думаешь — толк будет. Вырастил! Одного хряпнули, как борова, другому... мм! За что?!

Елизар сочувственно молчал.

— За что, спрашиваю?— Емельян грохнул кулаком по столу.

— Жись...— трусливо вздохнул Елизар.

— «Жи-ись»! — передразнил его Емельян.— Что она, жись-то?..

Вошел Кондрат.

— Не открыли. Стучал-стучал — чуть дверь не выломал...— Он скинул полушубок, сел к столу.

— Так. О!..— Емельян Спиридоныч посмотрел на Елизара.— А ты тут про жись толкуешь!

У Елизара отлегло от сердца: он боялся, что Кондрат придет и скажет: «Никакого там Кузьмы нету».

— Выпьем?— предложил он.

Ему никто не ответил. Отец и сын Любавины сидели понурые, убитые позорным горем.

Вошла Фекла. Долго раздевалась, приглядывалась ко всем троим — хотела понять, что произошло.

— Лизар, поздно уж, иди спать,— бесцеремонно сказала она, заметив, что ни муж, ни свекор не обращают на Елизара никакого внимания.

Елизар поднялся, нашел свой полушубок, вышел из избы при полном молчании хозяев. И тотчас вернулся.

— Там собака-то...

— Привязана!— заорал Емельян Спиридоныч.

Елизар поспешно вышел.

— Спать!— скомандовал Кондрат. — Завтра видно будет.

13

Егор поднялся в то утро чуть свет. Напоил коней, закусил на скорую руку и принялся за пни. Выкорчевал один, взялся за другой... И увидел на дороге всадника. Кто-то торопился, и похоже — к нему. Егор приложил ладонь ко лбу, долго всматривался. Всадник пропал в лощинке и появился снова — на взгорке. Егор узнал сперва коня, потом уж брата.

— Корчуешь?— спросил Кондрат.

— Ты чего?— У Егора похолодело в груди от недоброго предчувствия.

— Жену-то там...— Кондрат прибавил словцо, от которого удивленные глаза Егора сделались глупыми, как у телка.

— Ты тронулся, что ли?— Он попробовал улыбнуться — растерялся.

— С Кузьмой ночевала эту ночь. Опять объявился, гад. Милиционером теперь.— Лошадь под Кондратом забеспокоилась, засучила ногами. — Той! — сказал Кондрат и дал ей кулаком по шее.

Егор все стоял и смотрел на брата. Долго стоял так... Потом сел на пенек и охрипшим голосом упрямо трижды повторил:

— Я не верю. Не верю. Не верю тебе.

— Апостол!— Кондрат плюнул и стал заворачивать коня.— Нарожает она тебе длинных — заживешь тогда! На крестины только не зови, пошел ты... Не верит он, когда я сам ходил к ним и достучаться не мог. Не пустили.

Егор схватил топор и пошел к Кондрату,— он ошалел от горя, не понимал, что делает. Кондрат саданул в бока коню, тот прыгнул с места.

— Врешь,— сказал Егор, останавливаясь.

— Не сходи с ума-то, черт!— Кондрат резко натянул поводья.— Если я вру, так Елизар Колокольников не

врет — он их сам видел. Распустил слюни, с бабой управиться не мог. Опозорила, сволочь, на всю деревню!

— Врешь!— Егор опять пошел к нему.

Кондрат понужнул коня. Обернулся, крикнул издали:

— У нас в роду этого еще не было! Ты — первый!

Крикнул и пропал в лощинке, потом появился снова — на взгорке, оглянулся... Егор стоял с топором в руках. Дождался, когда брата не стало видно за поворотом, вернулся к лошадям, отстегнул одну, пал ей на спину и полетел прямиком, без дороги. Он знал еще один путь в Баклань — короче.

Перед самой деревней надо было перебраться через студеный ручей. По весне ручей широко разливался — целая речка.

Мерин с маху влетел в него, ухнул по грудь, испугался и заупрямился.

Егор долго мордовал его, толкал вглубь, потом вывел на берег и начал бить. Мерин пятился, поднимался на дыбы, ржал. Егор, обезумев от ярости, хлестал его по морде. Мерин тоже взбесился — начал изворачивать и бить задом. Егор намотал повод на руку и, увертываясь от копыт, стал доставать пинками в брюхо. Долго кружились так по вязкому берегу. Егор негромко матерился, мерин храпел и рвался из узды... Один раз Егор достал его особенно больно. Мерин оскалился и кинулся грудью на человека. Сшиб с ног, проволок по земле на поводу, развернулся, накинул пару раз задними ногами... Егор выпустил повод. Мерин отбежал недалеко и остановился. Егор лежал без памяти. Удар одним копытом вскользь пришелся по голове — он-то и выхлестнул его из сознания.

Было еще рано.

Солнце только оторвалось от гор и заливало долину веселым желтым золотом.

Земля исходила паром — дышала всей грудью.

Потревоженные утки снова начали подавать голоса. Из-за кустов тальника на середину ручья выплыла небольшая серая уточка. Почистила перышки, огляделась и крякнула громко и требовательно. И тотчас на воду с ясного неба упали два красавца селезня и поплыли рядом. Потом еще один крупный селезень низким косым лётом шаркнул вдоль кустов и шлепнулся на воду, подрулил к двум своим товарищам. Трое самоуверенных, гордых, хвастливо выпятив груди, преследовали одну — и ничего,

не проламывали друг другу хрупкие черепа крепкими тупыми клювами. У людей так не бывает.

Егор долго лежал неподвижно. Уже солнце стало припекать основательно, несколько раз ржал тревожно мерин. Катились с тихим плеском, играли на солнце маленькие бойкие волны ручья, разговаривали утки...

Наконец Егор пошевелился, приподнял голову... И показалось ему, что лежит он на той самой полянке, где стоит избушка Михеюшки, где праздновали его свадьбу, где угробил он Закревского. Он даже как будто услышал неподалеку голос Макара — Макар смеялся.

«Выпил, что ли?» — подумал о себе Егор. Потом стал приглядываться, увидел ручей, коня своего, тальник... и вспомнил, и лег опять. Полежал, с трудом поднялся, намочил в ручье голову, медленно пошел к коню. Конь вскинул голову, всхрапнул и отошел от него. Егор сел на сырую землю. Закурил. Курнул несколько раз, бросил папироску. Хотелось заплакать от слабости, пожаловаться кому-нибудь на жизнь и на коня. О Марье не думал. Марьи живой для него не было. В мутном сознании своем Егор перешагнул какую-то грань и не злился больше — только тяжело было. Муторно было. И жалко кого-то. И себя тоже жалко.

Но жизнь еще не кончилась.

К обеду Егору стало легче. Боль в голове поутихла. Только шумело в ушах и в глазах — нет-нет да сдвигалась куда-то в сторону большая гора перед Бакланью. Она ужасно мешала, эта гора.

Конь, когда Егор подошел к нему, задрожал, но остался стоять. Егор долго ласкал его, гладил по голове, потом сел и поехал вокруг, через мостик.

Марья сидела посреди избы на разостланной дерюге — выбирала из решета в ведро клюкву. Ванька играл рядом с ней.

Егор вошел спокойный, усталый... Остановился на пороге, прислонившись плечом к дверному косяку.

— Ягодки выбираешь? — спросил негромко.

Марья побледнела, смотрела на мужа испуганными глазами.

— Приехал?

Егор подошел к ней, грохнул сапогом по ведру с клюквой,

Марья потянулась к Ваньке — хотела взять его на руки.

— Не трожь, сука!

Второй удар прозвучал мягко и тупо. Марья опрокинулась на спину, не вскрикнула, не охнула... Схватилась за грудь. Из открытого рта ее на пол протянулся клейкий ручеек крови.

Егор с минуту ошалело смотрел на этот ручеек... Ванька, сидевший рядом с матерью, молчком поднялся и, ковыляя, пошел к отцу. Егор попятился от него к двери, давил сапогами клюкву, она лопалась. Споткнулся о ведро, чуть не упал... В сенях сшиб с лавки еще одно ведро, оно оглушительно загремело. Ванька заплакал.

Егор, как впотьмах, нащупал сеничную дверь, толкнул ее, вышел на улицу...

Ванька плакал в избе.

Егор побежал к воротам, где стоял конь, потом вернулся, осторожно закрыл сени, накинул петлю на пробой, поискал глазами замок, не увидел, воткнул в пробой палочку, как это делала Марья, когда уходила в огород или за водой к колодцу. Вернулся к коню, вскочил и пустил в мах по улице. Поехал к Кондрату.

— Я, однако, убил ее,— прохрипел он, входя в избу (Феклы не было дома). Егор был белый, в глазах стояли отчаянное напряжение и боль; он как будто силился до конца постичь случившееся и не мог.

Кондрат враз утратил тупое спокойствие свое, бестолково заходил по избе.

— Совсем, что ли? Может, нет?

— Совсем.

— Тьфу!— Кондрат выругался.— Пошли к отцу.

Емельян Спиридоныч лежал на печке — нездоровилось.

— Егорка Маньку убил, — с порога объявил Кондрат.

— Цыть!— строго сказал отец.— Орешь чего ни попадя! Как убил?

— Убил. Совсем.

Егор сел на припечье и стал внимательно рассматривать головку своего правого сапога, — точно речь не о нем шла, а о ком-то другом, кто его не интересует.

Емельян Спиридоныч легко прыгнул с печки, натянул сапоги.

— Иде она теперь?

Егор качнул головой:

— Там.

— Ну-ка... мать!

Михайловна стояла тут же, ни живая ни мертвая, смотрела на своего младшего.

— Пойдешь со мной, — велел Емельян. — Молоко иде стоит у вас?

— Там,— опять вяло кивнул Егор.

— Никуда не выходить! Пошли. Смелей гляди, старая,— громко, как будто даже весело говорил Емельян Спиридоныч.— С убивцами живешь!.. Обормоты...

Мать с отцом ушли.

Когда за ними закрылась дверь, Егор зачем-то поднялся.

— Сядь,— сказал Кондрат.

Егор сел.

Кондрат напился воды, вытирая ладонью подбородок, сказал:

— Теперь держись: лет десять вломают, если до смерти зашиб.— Вытащил кисет, стал дергать затянувшийся узелок веревочки.— Рази ж так можно бить!

Егор молчал. На его лице было тупое безразличие и усталость. Хотелось даже спать.

Кондрат развязал наконец кисет, свернул папироску.

— На, покури.

Егор машинально протянул руку, взял папироску. Кондрат поднес ему горящую спичку. Прикуривая, Егор ясно увидел вдруг маленького Ваньку, протянувшего к нему руки, и сразу в груди огнем вскинулась резкая, острая боль. Он встал и пошел к двери.

Кондрат сзади облапил его.

— Куд-да ты?..

— Пусти.

— Нельзя туда.

Егор сдался.

Кондрат стал у двери. Объяснил еще раз:

— Сейчас нельзя туда. Сперва узнать надо.

Егор сидел, уронив на колени большие руки, бессмысленно смотрел на них.

— Чего уж раскис-то так? Помрет — надо уходить... Есть такой закон: побыть сколько-то лет в бегах — все прощается. У отца в горах знакомые... ни один черт не найдет.

«Почему у нас так все получается — через пень колоду?— пытался понять Егор, не слушая брата.— Почему нас не любят в деревне? Зачем надо ехать куда-то, скрываться, как зверю, мыкать по лесам проклятое горе?.. Почему не с кем-нибудь случилось сегодняшнее, а со мной? Почему в висок угодили не кому-нибудь, а брату Макару? Почему, когда односельчане хотят сказать о нас обидно, плохо, говорят: «Любавины...» Что это?»

Впервые так горько и безысходно думал Егор и впервые смутно припомнил, что он никогда почти открыто и просто не радовался. Все удерживала какая-то сила, все как будто кто-то нашептывал в ухо: «Не радуйся... Не смейся». А почему? Кто мешал? Ведь живут другие — горюют, радуются, смеются, плачут... И все просто и открыто. А тут как проклятие какое — вечная, непонятная подозрительность, злоба, несусветная гордость... «Любавины...» «Какие же мы такие — Любавины, что нет нам житья среди людей, негде голову приклонить в лихое время?..»

Уже сейчас страшно стало своего скорого одиночества. Без людей нельзя. А они гонят от себя.

В сумерки пришли старики.

Марья скончалась у них на руках.

В полутемном большом доме Любавиных началась тихая, шепотливая суетня: Егора собирали в далекий путь. Он сидел безучастный.

Емельян Спиридоныч объяснил сыну:

— Как этот лог проедешь, так сейчас бери вправо— на гору Бубурлан. Его даже ночью заметишь. И держи его на виду все время. Потом пасека одна попадется... старик Малышев там. Он меня тоже знает. Дальше расспроси его, он лучше расскажет. Добирайся ночами.

Кондрат набивал в мешок хлеб, сало, патроны.

— Ваньку мы к себе возьмем, не думай про это,— сказал он.

— Он сейчас-то иде?— спросил Егор.

— К Ефиму занесли,— ответил отец,— он принесет его проститься.

В сенях в это время заскрипели осторожные шаги. Вошел Ефим. Нес на руках спящего мальчика.

— Куда бы его?..

— Давай сюда,— Михайловна приняла внука, положила на кровать.

Егор подошел к кровати, долго ломал о коробок спички — не мог зажечь. Ефим достал свои, чиркнул... Желтый трепетный огонек выхватил из мрака лицо мальчика. Он крепко спал. Верхняя губенка оттопырилась и вздрагивала от дыхания. Все молча смотрели на него. Слышно было, как по жести крыши застучали первые капли дождя.

Лицо Егора окаменело. Глаза сухо горели невыразимой тоской.

Ефим послюнявил пальцы, перехватил спичку за обгоревший конец, поднял огонек выше. Он последний раз усилился, пыхнул и погас. В темноте захлюпала Михайловна.

— Пореви ишо! — сдавленным голосом зашипел Емельян Спиридоныч, сам едва сдерживая слезы.

...В полночь Егор выехал с родительского двора.

Тихо шуршал дождь. Деревня спала. Огней нигде не было.

До ворот по бокам лошади шли отец и братья.

— Не горюй особо,— напутствовал отец. — Передавай о себе с надежными людями. Проживешь как-нибудь.

Кондрат и Ефим молчали. Только у ворот пожали один за другим руку Егора. Ефим сказал:

— Счастливо добраться.

Егор подстегнул коня и пропал, растворился в темноте.

14

Марью хоронили на другой же день. Торопились: опасались, что Сергей Федорыч тронется умом.

В гробу лежала черная, какая-то старая, чужая женщина. Трудно было узнать в ней красавицу Марью.

Когда Сергей Федорыч приходил в себя, он начинал выделывать такое, что даже у мужиков волосы вставали дыбом. Он склонялся над гробом и разговаривал с дочерью, как с живой.

— Доченька, Маня! — звал он. — Проснись, милая. Вставать пора, а ты все спишь и спишь. Кто же так делает?.. Манюшка! Ну-ка поверни головушку свою...

Сергей Федорыч брал в руки голову покойницы, шевелил, качал из стороны в сторону, поднимал веки...

Мертвые глаза Марьи смотрели внимательно и жутко. Присутствующие не выдерживали, Сергея Федорыча брали под руки и выводили из избы. Он вырывался, снова вбегал в избу, падал лицом на грудь мертвой дочери и начинал:

— Ой, да не проснешься ты теперь, не пробудишься! Да кровинушка ты моя горькая, да изорвали-то они все твое тело белое, да надругались-то они над тобой, напоганились!..

Его силой оттаскивали от гроба, и он терял сознание. Любавиных никого у гроба не было. Только на могилку, когда хоронили, пришли Емельян Спиридоныч с Михайловной.

Стали в сторонке.

Сергей Федорыч увидел их, пал на колени, сделал земной поклон могиле дочери и взмолился к небу:

— Господи батюшка, отец небесный! Услышь меня, раба грешного: пошли ты на их, на злодеев, кару. Никогда я тебя не просил, господи!.. Шибко уж мне сейчас горько!.. Господи!

Емельян Спиридоныч круто развернулся и пошагал прочь с могилок. Михайловна — за ним. Так шли по деревне, один — впереди, другая — сзади, шагах в трех. Когда подходили к дому, Емельян Спиридоныч сказал:

— Караулить дом надо ночами: может подпалить.

15

Федя Байкалов узнал о смерти Марьи через два дня, когда ее схоронили уже. Он возвращался из города — ездил за углем и железом — и встретил около Баклани дальнего своего родственника, Митьшу Байкалова. Тот ехал домой с возом чащи для сарая.

— Слыхал новость-то?!— крикнул с воза Митьша.

— Каку новость?— Федя придержал коня.

— Егорка Любавин бабу свою решил.

Федя выронил из рук вожжи... С минуту беспомощно смотрел на Митьшу, потом подобрал вожжи, подстегнул коня. И опять остановился.

— За что?

— А черт его знает! Никто толком не может сказать... Спуталась, что ль, с кем-то!

Федя погнал коня.

Дома быстро распряг его, засыпал овса в ясли, вошел в избу.

Хавронья белила печку. Увидев мужа, она почему-то испуганно съежилась и, не поздоровавшись (Федя тоже не поздоровался), усердно зашаркала щеткой по шестку.

Федя сел к столу, вынул из кармана бутылку водки.

— Дай закусить.

Хавронья молчком, послушно достала из печки жареную картошку. Взяла с полки пустой стакан, поставила на стол.

Федя налил вровень с краями, выпил.

— Егорка, конечно, ушел?— сказал он, не обращаясь к жене.

— Нет, дожидаться будет,— буркнула Хавронья.

Федя медленно повернул к ней голову:

— Я тебя не спрашиваю.

— А я не разговариваю с тобой. Нужен ты мне, пьянчуга!

— Выйди в один момент из избы!— приказал Федя.— Не доводи до греха.

Хавронья вышла.

Федя допил водку, долго искал в сундуке, среди жениных юбок, свою новую синюю рубаху, надел ее и вышел на улицу. Пошел к Любавиным, к Кондрату.

Кондрат собрался куда-то идти. Встретились у ворот.

Федя, заложив руки в карманы, стал перед ним.

— Здорово, Данилыч! — первым поздоровался Кондрат.

Федя продолжал стоять молча. Руки не вынул из карманов.

— Здорово, говорю! — Кондрат протянул руку, беспокойно-настороженно играя глазами.

Федя плюнул в протянутую руку и спокойно и выжидательно посмотрел на Кондрата. Рук из карманов так и не вынул.

Кондрат натянуто улыбнулся, вытер ладонь о штаны, оглянулся по сторонам.

— Ты чего это?

Федя повернулся и пошел в направлении к могилкам. Не дошел немного, постоял... и двинулся обратно. Решил пойти к Кузьме.

Кузьмы дома не было.

— Уехали с Пронькой — искать,— недовольным голосом сказала Клавдя.

Федя не знал, куда себя девать. Яши не было, Кузьма уехал...

Он пошел в кузницу.

16

Кузьма уже четыре дня мотался с Пронькой Воронцовым по тайге — искали Егора.

Первым делом кинулись к Игнатию Любавину.

Игнатий страшно перетрусил, забожился, закрестился — не видел и слыхом не слыхал.

— Что он натворил-то?

— Мы у тебя побудем пока,— Кузьма сделался в эти дни раздражительным, резким.— Подождем.

Игнатий подумал и сказал:

— Зряшное занятие: не придет он сюда. Что он, дурак, что ли?

Это была трезвая мысль.

— А куда он может податься?

— Черт их, оболтусов, знает. Тайга большая.— Игнатий успокоился, в глазах появился любавинский насмешливый блеск. Это обозлило Кузьму.

— Ничего, придет и сюда. Так что — поживем здесь.

— Живите,— согласился Игнатий.— Только я вам дело говорю: зря.

Пронька предложил, вызвав Кузьму на улицу:

— Поедем к Михеюшке? Сюда он правда не придет.

Поехали к Михеюшке.

В избушку, чтобы не насторожить Михеюшку, зашел один Пронька. Побыл там немного и вышел.

— Никто не был. Михеюшка хворый лежит.

— Что с ним?

— Говорит — грудь.

— Подождем здесь,— решил Кузьма.

Выбрали место в кустарнике так, чтобы избушка была на виду, залегли. Коней спутали и отогнали в тайгу кормиться.

Прошел остаток дня, прошла ночь — никто к избушке не подъезжал.

Спали по очереди.

На рассвете бодрствовали оба. Было холодно. Курили, чтобы согреться, вполголоса говорили. Пронька, чтобы хоть немного отвлечь Кузьму от горьких дум, рас-

сказал историю своей любви к одной городской женщине. История была странная и смешная.

Зимой Пронька с отцом продавали в городе мясо. Подошла молоденькая бойкая бабенка и стала выбирать кусок. Уж она выбирала-выбирала — кое-как выбрала. Потом начала торговаться. Отец Проньки разозлился и отдал кусок почти в два раза дешевле. А Пронька, пока отец ругался, разглядывал покупательницу. Бабенка была ладная, белозубая, острая на язык. Когда она, расплатившись, пошла, Пронька был готов. Незаметно отошел от отца, догнал бабенку и сказал, чтобы она еще приходила, попозже, когда отец пойдет в лавочку греться. Он ей даст мяса за так, за красивые глаза. Она охотно приняла такое предложение. Одним словом, Пронька отвалил ей чуть не половину свиньи и договорился прийти к ней вечерком с бутылкой. Закуска будет—жареное мясо.

— И, понимаешь,— рассказывал Пронька,— не знаю, как думать — специально она так подстроила или это правда было. Сидим, значит, с ней, толкуем. А живет она аж на краю города, под горой...

— Где кладбище?

— Ага, около кладбища. Ночь на дворе. А у ней тепло, хорошо так. У меня аж душа радуется,— думаю: заночую тут. Ну, захмелели. Она, значит, целоваться лезет. Я — ничего, мне это на руку. Ну, значит, целуемся пока с ней. И тут, значит, стук в дверь. Она соскочила, забегала по избе,— я все-таки думаю, притворялась, зараза. «Ой,— говорит,— муж!» А до этого — ни слова про мужа. Да. «Он,— говорит,— у меня бешеный». Куда? Давай под кровать. Я — под кровать. Она, значит, открыла. Слышу — вошли. Этот мужик, значит, разделся... И спрашивает: «Кто у тебя был?» — «Никого не было». Ну, в общем, выволок он меня из-под кровати и начал причесывать. Здоровый попался. Да я еще выпил... Значит, уделал он меня, отобрал деньжонки, какие были, и выставил.

— А она что?

— Она? А ничего. Стоит у печки, посматривает, как он меня метелит.

Кузьма закурил и стал смотреть, как над тайгой, с восточной стороны, все шире и шире — просторно — разливается свет. В тишине в настороженной шел по земле новый, молодой день. Птицы еще молчали. Туман поднимался от земли: на той стороне полянки кряжистые

сосначи стояли по колено в белом молоке. И сделалось Кузьме до того горько вдруг, до того одиноко, что не стало больше сил сдерживаться. Он уткнулся в рукав, выдохнул со стоном.

Пронька замолчал.

— Надо Егора найти,— сказал Кузьма.— Жить лучше не буду, но найду.

— Он теперь один шатается. Банды той что-то не слышно.

Еще ждали до полудня.

— Ладно,— сказал Кузьма.— Поехали. Не придет он сюда. Он теперь далеко залился. Зайдем посмотрим старика.

Михеюшка был совсем никудышный, даже кашлять как следует не мог. Увидев людей, долго шевелил губами — хотел, видно, сказать что-то, потом махнул рукой и прикрыл глаза.

— Съезди за доктором, Пронька. Коня у Николая Колокольникова возьми. Скажи, я просил. И еще к Феде заехай, пусть он тоже сюда едет, если дома. Я здесь подожду.

Пронька переобулся, закурил на дорожку и пошел ловить коня. Кузьма остался с Михеюшкой.

17

Егор, как советовал отец, пробирался ночами. Днем отсыпался в сограх, кормил коня, а ночами осторожно ехал.

До Малышевой пасеки он добрался на третью ночь, к рассвету.

Пасека располагалась в логовине, в редкой березовой рощице. Обнесенная ветхим березовым пряслицем, точно опоясанная белой опояской, она была видна с горки как на ладони — серенькая избушка с покосившейся трубой, с полсотни ульев, колодец с гнилым срубом, старая колода около него и, конечно, огромные молодые волкодавы, три. Зачуяв всадника, они подняли такой устрашающий лай, что конь под Егором сам остановился. Долго никто не выходил из избушки. Наконец на крыльцо вышел белобородый старик в холщовых шароварах, с костылем в руке. Цыкнул на собак, огляделся.

Егор спустился в логовину, остановился поодаль от прясла — кобели хоть замолчали, но были наизготовке.

— Здорово, отец!— сказал Егор.
— Здорово, здорово,— неохотно откликнулся старик, присматриваясь к Егору.
— Подержи собак-то, я заеду!
— Ты откуда будешь?
— Из Баклани.
— Чей?
— Любавин.
— Емелькин сын, что ль?
— Ну.
Старик сошел с крылечка, отвел собак куда-то за избушку, вернулся и, пока Егор въезжал в ограду, все недоверчиво присматривался к нему.
— Говорили, убили у Емельки какого-то сына...
— Брата,— сердито буркнул Егор. Его начала раздражать подозрительность старика.
— Тебя как зовут-то?
— Егором.
— Ты младший, что ль?
— Младший.
Старик успокоился, даже как будто обрадовался. Помог Егору расседлать коня, показал, куда сложить мешки с провизией.
— Похож ты на брата-то, на Макарку, я, вишь, обознался. Слыхал, что убили его... Как же, думаю? Бывал он тут. Отчаянный парень. А ты чего?
— В горы еду, а дорогу не знаю. Отец велел к тебе завернуть.
— Это можно. Как отец-то?
— Ничего.
— Заходи. У меня там ишо один бакланский гостит.
— Кто? — Егор невольно попятился от двери.
— Гринька Малюгин.
У Егора отлегло от сердца — он подумал почему-то, что его ждет Кузьма.
Старик заметил растерянность Егора, про себя, должно быть, отметил.
Гринька проснулся и ждал гостя, ничуть не встревожившись, даже с кровати не поднялся. В избушке был полумрак.
— Боженька человечка живого послал? — спросил он старика, с любопытством разглядывая Егора.— Кто такой?
— Ты же сам говоришь, человечек.

— Нет, может, ты купец — тогда твоя жизнь конченая. А может, ты от властей посланный — тогда поворачивай оглобли, нам не о чем толковать. А может, ты добрый молодец — тогда мы с тобой выпьем.— Гринька, видно, намолчался в тайге, разглагольствовал с удовольствием.

Егор много слышал о Гринькиных похождениях, поэтому сам тоже с интересом рассматривал его. Он видел Гриньку, когда того водили по деревне за конокрадство, но тогда Гринька был не такой, и Егор, пожалуй, не узнал бы его, встреться он где-нибудь один на один с ним.

— Я проездом тут. В горы еду.

— В горы едет,— с дурашливой многозначительностью пересказал Гринька старику слова Егора.— А зачем, спрашивается? Коня прогулять? Или, может, тяпнул кого-нибудь по темечку? — тогда надо в горы.

Егору стало нехорошо от Гринькиных шуток, он нахмурился и, ничего не сказав, полез в карман за табаком.

— Не глянутся мои слова,— заметил Гринька старику.— А?

— Твои слова редко кому поглянутся,— сказал старик.— Он ведь земляк твой, из Баклани.

Гринька враз утратил беспечность, впился в Егора маленькими жуткими глазами.

— Нет, не помню,— сказал он.— Чей?

— Любавин.

— А-а...— Гринька опять лег, закинул руки за голову, долго молчал.— Помнишь, меня водили за коней Беспаловых.

— Помню.

— Я тоже помню. Я всех тогда запомнил. Любавиных не было. Правильно?

— Где не было?

— Бил кто-нибудь из Любавиных меня?

— Нет.

— Правильно. Давай, Кузьмич, медовухи. Мне чтото тоскливо сделалось.

— Давай-ка лучше поспим маленько,— сказал старик.— Да и парень умаялся с дороги, пусть отойдет. А потом выпьем, этого добра не жалко.

— Согласный,— сказал Гринька.— А ты?

Егор усмехнулся:

— Я тоже.

Ему постелили на полу. Старик полез на печку.

Егор с удовольствием вытянул натруженные за ночь ноги, зевнул.

В два маленьких оконца вливался ранний свет. Постепенно в избушке все четче обозначались отдельные предметы: печь с большим, неуклюжим чувалом и с непомерно широким устьем, кадка в углу, куль с мукой, старенькое ружьишко на стене, волосяные маски от пчел, пучки сухих трав... Откуда-то — Егор не понимал откуда — потягивало свежим воздухом. На стене, над дверью, шевелились слабенькие тени — под окном стояла березка, и ее чуть трогал утренний ветерок.

Егор заснул незаметно, но и во сне все от кого-то убегал, а ноги плохо слушались, и сердце замирало от стоаха. Потом — не то приснилось, не то почудилось: как будто он так и лежит на полу в избушке. На печке спит старик Малышев, на кровати — Гринька. Вот Гринька полежал-полежал, зевнул и сел.

— Не спится.

— Мне тоже,— сказал Егор.— Ты Макара, брата, не знал?

— Знал, как же! Он атаманил в одной шайке.

— Так вот,— убили Макара.

— Да ну?! Кто? — Гринька опять, как давеча, уставился на Егора страшными глазами.

— Уполномоченный у нас... Кузьмой зовут. На Клашке Колокольниковой женатый.

— Так чего же ты ушел из деревни?

— Я все равно его убью. Он тоже недолго погуляет. Примешь меня в свою шайку?

— Конечно. Ты Маньку-то любил свою?

Егор помедлил с ответом.

— А ты откуда знаешь про... Откуда ты все знаешь?

— Знаю, добрый молодец! — сказал Гринька и захохотал.— Я все знаю.

— Любил. Мне теперь тоскливо без нее.

— Ничего, не тоскуй. Сейчас выпьем. Правильно сделал, что убил.

— Кого?

— Уполномоченных-то.

— Я говорю: без Маньки мне теперь тоскливо будет.

— Ничего. Сейчас выпьем.

— Я же не хотел ее убивать. Я только ударить хотел, а получилось...

— А Яшу Горячего тоже ты убил?

— Нет.

— Ты мне не ври, добрый молодец! — Гринька опять громко захохотал, а глаза смотрели пронзительно.— Я ведь все знаю. И ты мне никогда не ври. А то я тебе самому сейчас голову отверну!

Гринька встал и начал кривляться над Егором и все хохотал оглушительно... Егор всмотрелся лучше и увидел, что у Гриньки нет лица. А Гринька подходил все ближе к нему и все хохотал и кривлялся... Егор проснулся от ужаса, охватившего его.

...Гринька, скорчившись в кровати, надсадно кашлял. Егор пошевелился. Гринька повернулся к нему.

— Вот, брат, до чего...— прохрипел он.— Всю душу выворачивает.

— Простыл?

— Простыл... Кузьмич! А Кузьмич!

Старик на печке поднял голову.

— Чего?

— Хватит спать! Давай медовухи.

Малышев протяжно зевнул и полез с печки.

— До чего утренний сон хороший!

— Ты как жених спишь,— упрекнул его Гринька.

— А чего ж? Я людей не убивал — душа не болит.— Непонятно, к чему он сказанул это. То ли недоспал — обозлился на Гриньку, то ли из ума стал выживать, забывает, с кем и о чем не следует говорить. Скорей всего не подумал и брякнул.

Гринька внимательно посмотрел на старика.

— Ты к чему это?

— Да так... присказка такая есть.

Гринька промолчал.

У Егора совсем пропал сон.

Было уже светло.

Позавтракали.

Егор напоил коня из колодца, спутал и пустил около ограды. Взял у старика драный тулупишко и полез на вышку. От выпитой медовухи голова отяжелела, и сон снова обуял Егора. Ни о чем больше не думалось.

На вышке было хорошо — тепло. Сквозь многочисленные щели крыши глазело солнце. Пахло пылью и старой кожаной сбруей. На карнизе дрались воробьи,

18

Кузьма вернулся домой через неделю. Похудел, оброс смешной рыжей бороденкой.

Домашние встретили его гробовым молчанием. Даже Николай не нашелся, что сказать сразу.

Кузьма разделся, ополоснул в сенях лицо. Когда вошел с мокрым лицом, Клавдя молча подала ему полотенце.

— Баню можно истопить? — спросил Кузьма, ни к кому в особенности не обращаясь.

— Баню надо,— поддержал Николай.

— Истопим,— сказала Клавдя.

Кузьма прошел в горницу и стал раздеваться — хотел спать лечь.

Вошел Николай, плотно прикрыл за собой дверь.

— Ну как? — участливо спросил он.

— Нет... Ушел.

— Ушел.— Николай сел на краешек кровати, глядя на Кузьму с отеческой неподдельной заботой.— Его теперь в горах надо искать.

— Где?

— В тайге, в горах. Там знакомство у Емельяна...

— Посоветоваться надо с председателем.

— Председателем-то счас другой. Пьяных Павел...

— Я слышал. Он ваш, кажется, бакланский?

— Наш, ага. Сейчас только нету у него тут никого. Мать была, в позапрошлом году схоронили. А он, как в армию тогда взяли, в тринадцатом, однако, так его с тех пор не было. Никто не знал, иде он. А когда выбирали, рассказал: воевал сперва в империалистической, а потом за совецкую власть. Барона тут какого-то гоняли... А счас потянуло, видно, на родину...

— Хороший мужик?

— Дык вить... как скажешь? Его толком-то никто не знает. Ушел молодым ишо... В парнях вроде не выделялся, жили бедновато. Отца в японскую убило, а мать — чего она? А он — малолеток, незаметный... Хороший, говорят. Лизара нашего попер от себя.— Николай усмехнулся, качнул головой.— Третьего дня приходит пьяный. «Выгнали»,— говорит. Давно пора...

Председателя в сельсовете не было. Сказали, в школе.

Кузьма пошел в школу.

Дороги подсохли, затвердели. Под плетнями зазеленела молодая крапива. Мирно и тепло в деревне, попахивает дымком и свежевыпеченным хлебом... Опять была весна. Надо бы радоваться, наверно, а на душе неспокойно. Тяжело, что Марьи нет. Невыносимо тяжело и больно, что виноват в этом он. Как страшно и просто все вышло!

Захотелось очень поговорить с Платонычем. И он стал сочинять ему письмо (он иногда матери тоже «писал» письма).

«Дядя Вася!

У нас опять весна. Много всякого случилось без тебя — Марью убили, Яшу... Мне сейчас трудно. Жалко Марью, сердце каменеет... С семьей у меня тоже вышло как-то не так. Но школа твоя уже достраивается, скоро совсем достроим. Хорошая получилась школа. Ребятишки учиться будут, скакать, дурачиться, и ты будешь как будто с ними. Я теперь понял, что так и надо: все время быть с людьми, даже если в землю зароют. А с Марьей-то — я виноват. Не могу в глаза людям глядеть, дядя Вася. Хоть рядом с тобой ложись... Сергея Федорыча еще не видел и не знаю, как покажусь. Плохо!»

19

Председатель ругался с плотниками. Втолковывал, какие вязать рамы, чтоб больше было света. Даже показывал — чертил угольком на доске. Плотники таких никогда не вязали, упрямились. Уверяли, что и так хватит света.

— Куда его шибко много-то?

— Так дети же!— кричал председатель.— Черти вы такие! Дети учиться-то будут! Им писать надо, задачки решать... Наши же дети!

Плотники, нахмурив лбы, стали совещаться между собой.

Кузьма окликнул председателя. Тот повернулся, и Кузьма узнал его: один из тех, кто тогда приезжал на заготовку хлеба, невысокий, плотный, с крепким подбородком. Улыбнулся Кузьме.

— Здорово! Что ж долго не заходишь?

— Я заходил — ты в уезде был. А эти дни...

— Слышал.— Председатель посерьезнел. — Никаких следов?

— Нет. В горы ушел.

— Ждать не будет, конечно. Ну, давай знакомиться: Павел Николаевич. Тебя — Кузьма?

— Я помню — приезжали...

— Отойдем-ка в сторонку, поговорим.

Походка у Павла Николаича упружистая, и весь он как литой. Шея короткая, мощная. Идет чуть вразвалку, крепко чувствует под ногой землю.

Вышли из школы, сели на бревно.

— То, что ты милиционер, это хорошо. Что молод, это малость похуже, но дело поправимое. А?

— Думаю...

— Я тоже так думаю. Надо, Кузьма, начинать работать. Ты тут, прости меня, конечно, ни хрена пока не сделал.— Павел Николаич посмотрел своим твердым, открытым взглядом на Кузьму. Тот невольно почувствовал правоту его слов, не захотелось даже ничего говорить в свое оправдание.— Деревня глухая, я понимаю, но дела это не меняет, как ты сам понимаешь.

— Понимаю.

— У тебя как с семьей-то?— вдруг спросил Павел Николаич.

— Что с семьей?

— Ну... все в порядке?

Кузьма нахмурился. Подумал: «Вот так и будет теперь все время».

— Ты же знаешь... Что спрашивать?

— Что знаю?

— Не в семье дело, а... Ну, знаешь ты! Из-за меня убийство-то... случилось. Марью-то Любавину...

Председатель жестоко молчал.

— Знаешь или нет? Говорят ведь!

— Говорят.

— Ну вот. Зашел к ней, а сказали... Да ну к черту! Тяжело.— Действительно, было невыносимо тяжело. Но именно оттого, что было так тяжело, нежданно прибавилось вдруг: — Я любил ее, не скрываю. Только ничего у нас не было. Вы-то хоть поверьте. Вот и все. Теперь мне надо найти его. Возьму человек трех, поедем в горы. Возможно, к банде пристал...

— В горы не поедешь. Из-за одного человека четверо будете по горам мотаться... жирно. А банду ту накрыли. У Чийского аймака. Человек шесть, что ли, ушло

только. Сейчас туда чоновцев кинули — вот такие группы ликвидировать. Никуда и Любавин твой не денется.

— А когда банду?

— Четвертого дня.

— Далеко это?

— У границы почти. Наверно, хотели совсем уйти. Суть сейчас не в Любавине. Есть дела поважнее. Надо молодежь сколачивать — комсомол. Комитеты, актив... Богачи могут поднять голову. Раз «кто — кого», так и нам ушами не надо хлопать. Насчет убийства Марьи — считай, что это тебе урок на всю жизнь. Переживать переживай, а нос особо не вешай, а то им козырь лишний, всяким Любавиным да Беспаловым. Понял?

— Сергей Федорыча жалко... Прямо сердце заходится.

— Жалко, конечно. Не везет старику: трех сынов потерял, и теперь вот...— Председатель замолк, подобрал с земли щепочку, повертел в руках, бросил и сказал негромко, но с такой затаенной силой, что Кузьма вздрогнул: — Сволочи!..

— Егора надо найти.

Председатель поднялся с бревна.

— У дяди бумаги какие-нибудь остались?

— Есть... дома.

— Пойдем. Отдашь мне.

Пошли от школы.

— В уезде ничего не требуется?

— Нет. А что?

— Я сейчас еду туда. Со школой надо тоже утрясать. Деньги нужны. Что за учительница здесь была?

— Она не учительница, так просто... попробовала, и ничего не вышло. Испугалась, что ли...

— Вот надо все налаживать. А за нас никто ничего не сделает. Так, Кузьма.

20

В тот же день, проводив председателя, Кузьма пошел к Сергею Федорычу.

Увидел его кособокую избенку, и с новой силой горе сдавило сердце.

Сергей Федорыч ковырялся в ограде — починял плетень. На приветствие Кузьмы только головой кивнул. Даже не посмотрел.

— Дядя Сергей...— заговорил было Кузьма.

Но тот оборвал:

— Не надо ничо говорить. Ну вас всех к дьяволу!— Присел у плетня, вытер рукавом рубахи глаза, посмотрел на ребятишек, игравших в углу двора, вытер еще раз глаза, долго сидел не двигаясь.

Кузьма стоял рядом.

— Не надо про то... Сядь-ка, — сказал Сергей Федорыч. Кашлянул в ладонь. Голос дрожал.— Хлеб-то, помнишь, искали?

— Ну?

— У Любавиных тоже искали — не нашли. А хлеб есть.

— Есть, наверно.

— Не «наверно», а есть. И — оё-ёй, сколько!

— Ну?

— Не понужай — не запрёг. Значит, так: мылся я у них как-то в бане — когда еще родней были,— и показалось мне подозрительно, что сам старик — мы вместе были — мало воды на себя льет. И на меня один раз рявкнул, чтобы я тоже не плескал зря.

Кузьма опять хотел сказать: «Ну?» Он ничего не понимал пока.

— А чего бы ее, кажись, беречь, воду-то?— продолжал Сергей Федорыч.— Заложил коня да съездил на речку с кадочкой. Нет! Он прямо на дыбошки становится: не лей зря воду — и все! Я и подумал тогда: не хлеб ли лежит у них там, под баней-то?

Кузьма смотрел в рот Сергею Федорычу, слушал. Но тот кончил свой рассказ и тоже смотрел на Кузьму.

— А зачем им его под баню-то прятать?

— А куда же его прятать? Тебе в голову придет искать хлеб под баней?

— Так он же сгниет там!

— Не сгниет. Поглубже зарыть — ничего с ним не будет. А они и баню-то редко топили нынче, я заметил. Да еще накрыли его хорошенько, вот и все. И воды поменьше лили.

— Чего же ты раньше-то молчал?

— Чего молчал!— Сергей Федорыч рассердился.— Родня небось были!..— Рыжий клинышек бородки его опять запрыгал вверх-вниз, он отвернулся, высморкался и опять вытер глаза рукавом вылинявшей ситцевой рубахи.— Вот и молчал. Скажи тада, дочери бы житья не было. А счас мне их, змеев подколодных, надо со

света сжить — и все. Не ной моя косточка в сырой земле, если я им что-нибудь не сделаю.— Эти слова Сергей Федорыч произнес каким-то даже торжественным голосом, без слез.

Кузьма в душе еще раз поклялся отомстить за Марью.

— Дак вот я и думаю, как у их этот хлеб взять?

— Возьмем, да и все.

Видно, Сергея Федорыча такая простота не устраивала, он хотел видеть здесь акт мщения.

— Тогда скажите, когда найдете: это я подсказал, гда искать.

— Может, его нет там...

— Там!— опять рассердился Сергей Федорыч.— Я уж их изучил. Там хлеб! Говорят — надо слухать.

Когда стемнело, к Любавиным явились четверо: Кузьма, Федя Байкалов, Пронька Воронцов и Ганя Косых.

Емельян Спиридоныч вечерял.

Когда вошли эти четверо, он настолько перепугался, что выронил ложку. Смотрел на незваных гостей и ждал. Михайловна тоже приготовилась к чему-то страшному.

— Выйдем, хозяин,— сказал Кузьма, не поздоровавшись (из четырех поздоровались только Ганя и Пронька).

— Зачем это?

— Надо.

— Надо — так говори здесь.— Емельян Спиридоныч начал злиться, и чем больше злился, тем меньше трусил.

— Пойдем, посвети, мы обыск сделаем. И пошевеливаться надо, когда говорят!— Кузьма помаленьку терял спокойствие.

— Ишь какой ты! — Емельян Спиридоныч смерил длинного Кузьму ненавистным взглядом (он в эту секунду подумал: почему ни один из его сыновей не стукнул где-нибудь этого паскудного парня?).— Лаять научился. А голоса еще нету — визжишь.

— Давай без разговоров!

Емельян Спиридоныч встал из-за стола, засветил еще одну лампу и повел четверых во двор. Он был убежден, что ищут Егора. Даже мысли не было о хлебе. Давно все забылось. Успокоились. И каковы же были его удивление, растерянность, испуг, когда Кузьма взял у него лампу и направился прямо в баню. Но это еще был не

такой испуг, от которого подсекаются ноги... Может быть, они думают, что Егор прячется в бане? И тут только он обнаружил, что двое идут с лопатой и с ломом. Емельян остолбенел.

Трое идущих за ним обошли его и скрылись в бане.

Емельян Спиридоныч лихорадочно соображал: взять ружье или нет? Пока он соображал, в бане начали поднимать пол — затрещали плахи, противно завизжали проржавевшие гвозди...

Емельян Спиридоныч побежал в дом за ружьем.

Увидев его, белого как стена, Михайловна ойкнула и схватилась за сердце: она тоже подумала, что Егор потайком вернулся и его нашли.

Емельян Спиридоныч трясущимися руками заряжал ружье.

— Да что там, Омеля?

— Хлеб,— сипло сказал Емельян Спиридоныч.

— Осподи, осподи!— закрестилась Михайловна.— Да гори он синим огнем, не связывайся ты с ними. Решат ведь!

Емельян Спиридоныч бросил ружье и побежал в баню.

— Гады ползучие, гады! — заговорил он, появляясь в бане.— Подавитесь вы им, жрите, собаки!.. Тебе, длинноногий, попомнится этот хлебушек...

Пронька орудовал ломом, Федя светил.

Подняли четыре доски. Пронька с маху всадил в землю лом, он стукнул в глубине о доски.

— Вот он... тут!— сказал Пронька.

Емельян Спиридоныч повернулся и пошел в дом.

Кузьма, растирая ладонью ушибленное колено, бросил Гане:

— Гаврила, давай за подводами.

21

Кондрат узнал обо всем только утром. Фекла пошла за водой к колодцу, а там все разговоры о том, как от Любавиных всю ночь возили на бричках хлеб. Фекла не стала даже брать воду, побежала домой.

— Наших-то ограбили! — крикнула она.

Кондрат подстригал овечьими ножницами бороду. Бросил ножницы, встал.

— Что орешь, дура?

— Хлеб-то нашли ведь!

Кондрат как был, в одной рубахе, выскочил на улицу и побежал к отцу.

Емельян Спиридоныч сидел в углу, под божницей, странно спокойный, даже как будто веселый.

— Проспал все царство небесное!— встретил он сына.— Хлебушек-то у нас... хэх!.. Под метло!

Кондрата встревожило настроение отца:

— Ты чего такой?

— Какой? Сижу вот, думаю...

— Как нашли-то?

— Найдут! Они всё найдут. Они нас совсем когда-нибудь угробют, вот увидишь.

— Весь взяли?

— Оставили малость на прокорм...— Емельян Спиридоныч махнул рукой.

Кондрат скрипнул зубами.

— Знаешь, что я думаю?— спросил отец.

— Ну?

— Петуха им пустить. Школа-то стоит?..

— Какой в ней толк, в школе-то?

— Дурак, Кондрашка! Сроду дураком был...

— Ты говори толком!— окрысился Кондрат.

— Школа сгорит — они с ума посходют. Строили-строили... Старичок-покойничек все жилы вытянул. Мне шибко охота этому длинногачему насолить, гаду. Я всю ночь про это думал. Его вопче-то убить мало. Он разнюхал-то... Но с ним пускай Егорка управляется, нам не надо. Тому все одно бегать. А школа у их сгорит! Все у их будет гореть!.. Я их накормлю своим хлебушком.

Кондрат молчал. Он не находил ничего особенного в том, в чем отец видел сладостный акт мести.

— А маленько погода установится,— продолжал Емельян Спиридоныч,— поедешь в горы, расскажешь Егорке, как тут нас...— Старик изобразил на лице терпеливо-страдальческую мину. — Гнули, мол, гнули спинушки, собирали по зернышку, а они пришли и все зачистили. А? Во как делают!— Емельян Спиридоныч отбросил благообразие, грохнул кулаком по столу.—Это ж поду-умать только!..

— Не ори так,— посоветовал Кондрат.

В глухую пору, перед рассветом, двое осторожно по-

дошли к школе, осмотрелись... Темень, хоть глаз выколи. Тишина. Только за деревней бренькает одинокая балалайка — какому-то дураку не спится.

Кондрат вошел в школу с ведерком керосина.

Емельян Спиридоныч караулил, присев на корточки.

Тихонько поскрипывали новые половицы под ногами Кондрата, раза два легонько звякнула дужка ведра. Потом он вышел.

— Всё.

— Давай,— велел Емельян Спиридоныч.

Кондрат огляделся, помедлил.

— Ну, чего?

— Надо бы подождать с недельку хоть. Сразу к нам кинутся...

— Тьфу! Ну, Кондрат...

— Чего «Кондрат»?

— Дай спички!— потребовал Емельян Спиридоныч.

Кондрат вошел в школу. Через открытую дверь Емельян Спиридоныч увидел слабую вспышку огня. Силуэтом обозначилась склоненная фигура Кондрата. И тотчас огонь красной змеей пополз вдоль стены... Осветился зал: пакля, свисающая из пазов, рамы, прислоненные к стене.

Кондрат быстро вышел, плотно закрыл за собой дверь.

Двое, держась вдоль плетня, ушли в улицу.

Из окон школы повалил дым, но огня еще не было видно — Кондрат не лил под окнами керосин. Потом и в окнах появилось красное зарево. Стало слышно, как гудит внутри здания огонь. Гул этот становился все сильнее, стреляло и щелкало. Огонь вырывался из окон, пробился через крышу — все здание дружно горело. Треск, выстрелы и гул с каждой минутой становились все громче. И только когда огнем занялись все четыре стены, раздался чей-то запоздалый крик:

— Пожар!.. Эй!.. Пожа-ар!

Пока прибежали, пока запрягли коней, поставили на телеги кадочки и съездили на реку за водой, за первой порцией, тушить уже нечего было. Оставалось следить, чтобы огонь не перекинулся на соседние дома. Ночь, на счастье, стояла тихая, даже слабого ветерка не было.

Стояли, смотрели, как рассыпается, взметая тучи искр, большое здание, большой труд человеческий...

Прибежал Кузьма.

— Что же стоите-то?!— закричал он еще издали.— Давай!

— Чего «давай»? Всё... нечего тут давать.

Кузьма остановился, закусил до крови губу...

Подошел Пронька Воронцов:

— Любавинская работа. Больше некому.

Как будто только этих слов не хватало Кузьме, чтобы начать действовать.

— Пошли к Любавиным,— сказал он.

Дорогой к ним присоединились Федя и Сергей Федорыч.

— Они это, они...— говорил Сергей Федорыч. — Что делают! Злость-то какая несусветная!

— Они-то они, а как счас докажешь?— рассудил Пронька.— Не прихватили же...

— Вот как.— Кузьма остановился.— Сейчас зайдем к старику, так?.. Пока я буду с ним говорить, вы кто-нибудь незаметно возьмете его шапку. Потом пойдем к Кондрату. Скажем: «Узнаешь, чья шапка? У школы нашли». А?

— Попытаем. Не верится что-то.

...Ворота у Любавиных закрыты. Постучали.

Никто не вышел, не откликнулся, только глухо лаяли псы. Еще раз постучали — бухают псы.

— Давай ломать,— приказал Кузьма.

Втроем навалились на крепкие ворота. Толкнули раз, другой — ворота нисколько не подались.

— Погоди, я перескочу,— предложил Пронька.

— Собаки ж разорвут.

— А-а...

Еще постучали,— все трое барабанили.

— Стой, братцы... я сейчас.— Кузьма вынул наган, подпрыгнул, ухватился за верх заплота.— Пронька, подсади меня!

— Собаки-то!..

— Я их постреляю сейчас.

Пронька подставил Кузьме спину, Кузьма стал на нее, навалился на заплот.

— Кузьма!— позвал Федя.

— Что?

— Собак-то... это... не надо.

— Собак пожалел! — воскликнул Сергей Федорыч.— Они людей не жалеют...

— Не надо, Кузьма, — повторил Федя,— они невиновные.

— Хозяин!— крикнул Кузьма.

На крыльцо вышел Емельян Спиридоныч.

— Чего? Кто там?

— Привяжи собак.

— А тебе чего тут надо?

— Привяжи собак, а то я застрелю их.

Емельян Спиридоныч некоторое время поколебался, спустился с крыльца, отвел собак в угол двора.

Кузьма спрыгнул по ту сторону заплота, выдернул из пробоя ворот бороний зуб.

— Пошли в дом, гражданин Любавин!

Емельян Спиридоныч вгляделся в остальных троих, молчком пошел впереди.

В темных сенях Кузьму догнал Сергей Федорыч, остановил и торопливо зашептал в ухо:

— Ведерко... Счас запнулся об его, взял, а там керосин был. У крыльца валялось. На. Припрем...

Федя и Пронька были уже в доме. Ждали, когда Емельян Спиридоныч засветит лампу.

Вошли Кузьма с Сергеем Федорычем.

Лампа осветила прихожую избу.

Кузьма вышел вперед:

— Ведро-то забыли...

— Какое ведро?

— А вот — с керосином было... Вы его второпях у школы оставили

Емельян Спиридоныч посмотрел на ведро.

— Ну что, отпираться будешь?— вышагнул вперед Сергей Федорыч.— Скажешь, не ваше? А помнишь, я у вас керосин занимал — вот в этом самом ведре нес. Память отшибло, боров?

— Собирайся,— приказал Кузьма.

Михайловна заплакала на печке:

— Господи, господи, отец небесный...

— Цыть!— строго сказал Емельян Спиридоныч. Ему хотелось хоть сколько-нибудь выкроить время, хоть самую малость, чтоб вспомнить: нес Кондрат ведро домой или нет? И никак не мог вспомнить. А эти торопили:

— Поживей!

— Ты не разоряйся шибко-то...

— Давай, давай, а то там сыну одному скучно. Он уж все рассказал нам.

Емельян Спиридоныч долго смотрел на Кузьму. И сказал вроде бы даже с сожалением:

— Но ты, парень, тоже недолго походишь по земле. Узнает Егорка, про все узнает... Не жилец ты. И ты, гнида, не радуйся,— это к Сергею Федорычу,— и тебя не забудем...

— Тебе сказали — собираться?— оборвал Сергей Федорыч.— Собирайся, не рассусоливай.

— Построили школу?.. Это вам не хлебушек. Дорого он вам станет...— Емельян Спиридоныч сел на припечье, начал обуваться.— Не раз вспомните. Во сне приснится...

Пронька остался в сельсовете, караулить у кладовой Емельяна Спиридоныча и Кондрата.

Сергей Федорыч, Кузьма и Федя медленно шли по улице. Думы у всех троих были невеселые.

Светало.

В воздухе крепко пахло свежей еще, неостывшей гарью. Кое-где уже закучерявился из труб синий дымок. День обещал быть ясным, теплым.

У ворот своей избы Сергей Федорыч приостановился, подал руку Кузьме, Феде:

— Пока.

Федя молча пожал руку старика, Кузьма сказал:

— До свидания. Отдыхай, Сергей Федорыч.

Сергей Федорыч посмотрел на него... Взгляд был короткий, но горестный и угасший какой-то. Не осуждал этот взгляд, не кричал, а как будто из последних сил, тихо выговаривал: «Больно...»

Кузьму как в грудь толкнули.

— Сергей Федорыч, я...

Сергей Федорыч повернулся и пошел в избу.

Кузьма быстрым шагом двинулся дальше.

— Пошли. Видел, как он посмотрел на меня?.. Аж сердце чуть не остановилось. Сил нет, поверишь? На людей — еще туда-сюда, а на него совсем не могу глаз поднять. И зачем я зашел к ней?..

Федя помолчал. Потом тихо произнес:

— Да-а.— И вздохнул.— Это ты... вобчем... это... Не надо было.

— Разве думал, что так получится!..

— Знамо дело. Да уж так оно, видно... А вот хуже, что Егорка ушел. Ему, гаду, башку надо бы отвернуть. Теперь не найдешь...

Егор проспал на вышке до обеда. Выспался. Слез, посмотрел коня и стал собираться в дорогу.

Гринька сидел на завалинке, грелся на солнышке.

— Как теперь в деревне-то?— спросил он.

— Ничего,— откликнулся Егор, зашивая несмоленой дратвой лопнувшую подпругу.

— Отпахались?

— Давно уж.

Гринька задумался. Долго молчал.

— А ты чего дернул оттуда?

— Надо.

— Какой скрытный!— Гринька засмеялся хрипло.

Егор поднял голову от подпруги, посмотрел на него.

— Выкладывай,— сказал тот,— легче станет, по себе знаю. Убил кого-нибудь?

— Жену,— не сразу ответил Егор. Он подумал: может, правда, легче будет?

— Жену — это плохо. — Гринька сразу посерьезнел.— Баб не за что убивать.

— Значит, было за что.

— Сударчика завела, что ли?

— Завела.— Егор жалел, что начал этот разговор.

— Паскудник ты, — спокойно сказал Гринька.— Падали кусок. Самого бы тебя стукнуть за такое дело.

Егор, не поднимая головы и не прекращая работы, прикинул: если Гринька будет и дальше так же вякать, можно — как будто по делу — сходить в избушку, взять обрез и заткнуть ему хайло.

— А сударчик-то ее что же, испугался?

У Егора запрыгало в руках шило, он сдерживался из последних сил.

— Чья у тебя жена была?

— Ты что это, допрос, что ли, учинил?— Егор поднял глаза на Гриньку, через силу улыбнулся.

— Поганая у тебя душа, парень. Не любит таких тайга. Я бы тебя первый осудил. Хворый вот только... Эх, падаль!

Егор для отвода глаз осмотрел внимательно седло и направился в избушку.

Малышев был у своих пчел.

Егор вынул из мешка обрез, зарядил его и вышел к Гриньке. Подошел к нему, пнул больно в грудь.

— Говори теперь.

Гринька никак не ожидал этого. Он даже не поднялся, сидел и смотрел снизу на Егора удивленными глазами.

— Неужели я сгину от такой подлой руки? — спросил он серьезно.— Даже не верится. Ты что, сдурел?

Егор проверил взведенный курок,— отступать некуда, надо стрелять. А убивать Гриньку расхотелось — слишком уж спокойно, бесстрашно смотрит он. Самому Егору не верилось, что вытянется сейчас Гринька на завалинке и уснет вечным сном. Но и оставлять его живым опасно. Кто знает, сколько придется пробыть в тайге,— и все время будет за спиной Гринька или его товарищи.

— Не балуйся, парень, убери эту... Не бойся меня, я хочу менять свою жизнь. Вишь, хворый я. Поеду домой, покаюсь...

— Что же ты лаяться начал, хворый-то?

— А ты что же, чистым хочешь быть? Нет, врешь.— Гринька засмеялся. Он все-таки не верил, что умрет сейчас.— Врешь...

— Хватит!

— Чистым тебе теперь не быть, врешь, парень. Теперь тебя кровь будет мучить. Слыхал, что давеча старик сказал? Спать плохо будешь... А старик этот повидал нашего брата мно-о-го. Так что... вот. Ты думал: «Выехал на раздолье, погуляю»? Не... За все надо рассчитываться. От людей уйдешь, от себя — нет.

Слушал Егор грозного разбойника и понимал, что тот говорил сущую горькую правду.

— Я уж и так измучился эти дни. — Он опустил обрез.

— Во-о! — торжествующе сказал Гринька.— Чшо не то будет.

— А что делать?

— Это ты во-он,— Гринька показал на небо,— у того спроси. Он все знает. А я к зиме покаюсь.

— А я не хочу. Перед кем?

— Тебе рано,— согласился Гринька не без некоторого превосходства.

— Так что же делать-то, Гринька?— еще раз с отчаянием спросил Егор.

— Не знаю, парень. Бегать. Узнаешь, как птахи разные поют, как медведь рыбу в речках ловит. Я ему шиб-

ко завидую, медведю: залезет, гад, на всю зиму в берлогу и полеживает...

Та небывалая, острая тоска по людям, какую Егор предчувствовал дома в последнюю ночь, опять накинулась с такой силой, что хоть впору завыть. Он даже забыл, что случилось пять минут назад... Сел рядом с Гринькой. Тот легко выхватил у него обрез. Егор вскочил, но поздно — его собственный обрез смотрел прямо на него, в лоб. Даже лица Гринькиного не увидел он в это мгновение, даже не успел ни о чем подумать... Показалось, что он ухнул в какую-то яму, и всего обдало жаром. На самом же деле, вскочив, он сунулся было к Гриньке, но, увидев направленный на него обрез, отшатнулся и крепко зажмурился... Грянул выстрел. Горячее зловоние смерти коснулось лица Егора. Он оглох. Открыл глаза...

Гринька смеется беззвучно. Что-то сказал и протянул обрез. Похлопал ладонью рядом с собой.

Егор крепко тряхнул головой, шум в ушах поослаб.

— Садись,— сказал Гринька.— Возьми эту штуку свою.

Егор взял обрез, сел.

— Ну и шуточки у тебя...

— Это чтоб ты знал, как других пужать. А то мы сами-то наставляем его, а на своей шкуре не испытывали ни разу. Теперь знай. Крепко трухнул?

Егор ничего не сказал, опять покрутил головой.

— Оглох к черту.

— Пройдет.

— Тьфу!.. Прямо сердце оторвалось.

— Надо было. А то я разговариваю с тобой, а сам все на него поглядываю,— Гринька кивнул на обрез.— Думаю: парень молодой ишо, ахнет — и все. Курево есть?

Закурили.

— Значит, нет выхода? — все о том же заговорил Егор.

С пчельника неторопким шагом пришел старик Малышев.

— Живые обое?

— Слава богу, старик.

Старик ушел.

— Выход? Выход есть — садись в тюрьму.

— В тюрьме мне совсем не вынести.

— Сидят люди... ничего.

Егор подумал.

— Нет, не вынести.

— Значит, бегай.

Опять тоска прищемила сердце. Егор зверовато огляделся.

— Обложили...

Гринька задумался о чем-то своем.

— Не поедешь со мной? — спросил Егор.

— Не. Отлежусь маленько. А потом — с таким все равно бы никуда не поехал.

Егор встал, пошел к коню. Подвязал обрез к седлу, сел, тронул в ворота.

— Счастливо оставаться!

— Будь здоров!

Дорогу Малышев давеча утром объяснил. И сказал, что тут можно и днем ехать. Но не радовало это Егора. Ничто не радовало. Тоска не унималась.

А день, как нарочно, разгулялся вовсю. Зеленая долина, горы в белых шапках — все было залито солнцем. В ясном небе ни облачка.

«А может, вернуться?» — мелькнуло в голове. Егор даже приостановил коня. И сразу встали в глазах: Федя, Кузьма, Яша Горячий, Пронька, Сергей Федорыч, Марья, сын Ванька...

Он почти физически, кожей ощутил на себе их проклятие. Тронул коня.

Гнали они его от себя — все дальше и дальше...

23

...Сидели на берегу, у кузницы.

Федя подбирал с земли камешки, клал на ладонь и указательным пальцем другой руки сшибал их в воду. Кузьма задумчиво следил за полетом каждого камешка — от начала, когда Федя прицеливался к чему пальцем, до конца, когда камешек беззвучно исчезал в кипящей воде.

Из-за гор вставало огромное солнце. Тайга за рекой дымилась туманами — новый день начинал свой извечный путь по земле.

— Да, Федор...— заговорил Кузьма. — Вот как все вышло. В голове прямо мешанина какая-то...

— Душу счас надрывать тоже без толку.— Федя вытер ладонь о штанину.— Вот Егорка ушел — это да. Это шибко обидно.

— Егор, может, найдется, а они-то никогда уж!

— Знамо дело,— согласился Федя.

— Понимаешь, не могу поверить, что их нету... Марьи... дяди Васи... Забыться бы как-нибудь...— Кузьма лег на спину, закинул руки за голову.

— Как забудешься?

— И школа... Строили, строили... Теперь все сначала.

Федя ничего не сказал на это.

Ревет беспокойная Баклань, прыгает в камнях, торопится куда-то — чтобы умереть, породив новую большую реку.

Кузьма закрыл глаза.

— Слыхал, старик-то Любавин давеча: «Недолго,— говорит,— по земле походите». Может, так и будет?

— Кто его знает? — Помолчав, Федя положил руку Кузьме на плечо.— Не горюй, брат... Я так считаю,— поторопился он,— ишо походим.

— Ну и рука у тебя, Федор! Железная какая-то. До сих пор не пойму, как они тогда побили тебя!.. Макар-то... с теми...

Федор смущенно кашлянул.

— Что меня побили — это полбеды. Хуже будет, когда я побью.— И рука его, могучая рука кузнеца, притронулась к худому плечу городского парня.

Свело же что-то этих непохожих людей!

Жизнь... Большая она, черт возьми!..

СОДЕРЖАНИЕ

Рассказы

Роман

Текст печатается по изданию:
Василий Шукшин. Избранные
произведения в двух томах. М.,
«Молодая гвардия», 1976

ИБ № 576

Василий Макарович
Шукшин

ИЗБРАННОЕ

Редактор Ю. В. Забелло
Худож. редактор Г. Г. Говорков
Техн. редактор А. М. Кобыльниченко
Корректоры З. М. Кулиш,
Н. И. Яковцева

Сдано в набор 9/VIII-77 г. Подписано к печати 19.V.78 г. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага типографская № 3. Усл. печ. л. 36,96. Уч.-изд. л. 38,91. Тираж 75 000. Первый завод 25 000. Заказ № 1448. Цена в пер. № 5 — 2 руб. 50 коп., в пер. № 7 — 2 руб. 70 коп., в пер. № 7, бумага типографская № 1 — 2 руб. 80 коп.

Ставропольское книжное издательство,
г. Ставрополь, ул. Артема, 18.

Краевая типография, г. Ставрополь, ул. Артема, 18.

Ш95 **Шукшин В. М.**

Избранное. Ставрополь, кн. изд-во, 1978.

В книгу вошли рассказы талантливого писателя и его роман «Любавины».

701 с.

Ш $\frac{70302-37-78}{М159(03)-78}$ 37—78 Р2

2 р. 50 к.

СТАВРОПОЛЬСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 1978